АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ


Скан и обработка:
krestik





АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ

РОМАН

Москва • Советский писатель • 1986

ББК 84.Р7
И 20

Художник
Геннадий НОВОЖИЛОВ

И $\frac{4702010200-205}{083\ (02)-86}$ 52—86


ПРОЛОГ

ГАЛИНЕ ИВАНОВОЙ,
ВЕРНОМУ ДРУГУ

Оттого молодец с лошади свалился,
что мать криво посадила.

Пословица

1

Когда-то стояла здесь угрюмая, сумеречная тайга, сквозь которую с трудом пробивалась безымянная речка.

Однажды пришли на ее берега люди, разложили костер. Пламя лизало сухой валежник, отсвечивало на черных от времени, липких от проступавшей смолы стволах деревьев, отражалось в глубине спокойных вод.

На другой день начали валить деревья и строить жилье.

Трудно сказать, почему облюбовали они эти необитаемые места. То ли понравился им могучий каменный утес, возвышавшийся над тайгой неподалеку, на противоположной стороне реки, то ли сама река. А может, решили они поселиться тут потому, что не было сюда путей-дорог, не досягал ничей глаз, не доставала ничья рука.

Так или примерно так возникали в вековечной сибирской глухомани заимки, раскольничьи скиты, всякие поселения. И вот стояло уже к зиме на берегу несколько торопливо и кособоко срубленных домишек, воровато курившихся по утрам желтым дымком от сосновых и кедровых сучьев.

Всю зиму люди продолжали валить деревья и таскать их к берегу на веревках по оледенелым накатам. И к следующей осени количество домов утроилось.

Деревне еще и названия не было, а реку наименовали Светлихой — наверное, за чистые и прозрачные, как сосновая смолка, воды, за тихий нрав, за приветливо приютившие людей берега.

Правда, весной река ревела и пенилась, грозя выплеснуться из берегов. Неслись по ней могучие деревья, вывороченные где-то из мягкого грунта. Крутились в водоворотах, с треском разламывались об утес. Но уже к концу апреля вода спадала, быстро очищалась от мути, щепок и прочего мусора, виновато плескалась под ноги расхаживающих по берегу людей.

А потом, много лет спустя, случился страшный пожар. Он начисто выжег тайгу по всему левобережью, обуглил землю на мно-

го верст, оплавил и закоптил каменные глыбы утеса. Гореть бы жирным смольем и деревне, если бы не Светлиха.

После пожара люди попробовали было селиться и на левой стороне Светлихи, но воды смирной летом реки за три-четыре весны размыли оголенный берег и в половодье затапливали все левобережье, до самого утеса. Люди перевезли на правый берег свои домишки. На образовавшихся громадных заливных лугах каждое лето волновалось теперь буйное разнотравье — коси не хочу! С тех времен и называется деревня Зеленый Дол. Может быть, до пожара она имела какое-то другое название, но история его не сохранила.

Деревня хотя и медленно, но разрасталась из года в год только по правому берегу. Он был немного холмистый, домишки лепились по отлогим залесенным склонам. Кое-где над домами, как безмолвные часовые, стояли даже кряжистые кедры. Теперь в селе было несколько улиц, тянувшихся вдоль речки, и десятка полтора переулков, нырявших между холмами.

Чем дальше к окраине, тем гуще становились заросли. Однако настоящая тайга начиналась только за Чертовым ущельем. Зубчатой стеной она подпирала самое небо.

Чертово ущелье находилось километрах в двух от деревни. Это была глубокая, саженей в пятнадцать, впадина с почти отвесными каменистыми краями. Бока ущелья зарастали крушиной, вереском и мелким кустарником. На дне его, неумолчно позванивая, холодно кипел, брызгая белой пеной, ручей, питавшийся подземными ключами, что били из-под обомшелых, насквозь прозеленевших камней. Спуститься в ущелье можно было только в двух-трех местах.

Каждому, кто заглядывал в ущелье летом, оно дышало в лицо холодным черным сумраком. Очевидно, поэтому дикое ущелье и называли Чертовым.

Каждое утро, когда еще не было видно солнца, гранитная верхушка утеса над Светлихой уже окрашивалась в красно-розовый цвет. По мере того как где-то поднималось солнце, краска с вершины утеса стекала все ниже и ниже. Розовый цвет превращался в желтоватый, блекнул прямо на глазах. Казалось, вот-вот камни совсем потухнут. Но через несколько минут бледно-желтая краска начинала густеть, принимала медноватый оттенок. И вот уже весь утес горел золотом, горел столь ослепительно, что на него больно становилось смотреть. Каждый гранитный кристаллик яростно отражал лучи невидимого еще людям солнца, эти лучи сливались в один огромный огненный, полыхающий столб.

Утес потухал, когда показывалось над землей солнце. Некоторое время поблескивали еще, переливались, как живые, белые искорки по его каменному срезу, висевшему над Светлихой, но скоро и они гасли.

Люди издавна заметили эту игру света и окрестили утес Златкамнем.

А однажды пустил кто-то слух: неспроста называется так утес — под каменными глыбами лежит несметное количество золота в самородках и россыпью.

Слух загудел по Зеленому Долу, как памятный таежный пожар, раздуваемый ураганом. Люди кинулись через Светлиху на лодках и вплавь, долбили ломами брызжущий железными осколками гранит, рыли лопатами, а то и руками мокрый, тяжелый, как свинцовая дробь, песок. Облазили все скалы сверху донизу, изогнули ломы, истерли лопаты, до костей спустили мясо на ладонях, но никакого золота не нашли.

Со временем люди утихомирились, перестали долбить камни и рыть песок. Но молва о богатствах, скрытых под утесом, не исчезла. Она жила среди народа и была как летнее марево: вот дрожит оно под ближним пригорком, а подойди — ничего здесь нет, оно струится над следующим. И, витая над деревней, легенда все больше и больше окутывала утес ореолом таинственности.

На самой вершине утеса из широкой, забитой землей расселины рос огромный, развесистый осокорь. Он был настолько могуч, что казалось, каменный утес не выдержит его тяжести и вот-вот развалится; настолько высок, что в ненастные дни тяжелые облака спускались ниже его ветвей. Может, поэтому в него ни разу не ударила молния. Только ветер отламывал иногда от него ветки и бросал в Светлиху.

Осокорь был виден за много километров. Солнце теперь освещало прежде всего верхушку дерева и уж потом начинало расцвечивать камни.

Люди удивлялись: почему осокорь вырос на самой вершине утеса, каким ветром и откуда принесло сюда его семечко? Ведь, кроме берез да осин, в этих местах не растут лиственные деревья. И лишь немногие знали, что осокорь посажен был человеческой рукой.

Сейчас уж никто не помнит имен первых поселенцев Зеленого Дола и никто не знает их судьбы. Но лет за сорок до революции появился в деревне мужичонка с деревянной ногой — Авдей Меньшиков. Этого старожилы уже помнят.

«Хром ногой, да прям головой»,— с завистью шептали о нем одни. «Нога у него деревянная, да руки железные,— с отчаянием говорили другие.— Схватит за горло — уж не отпустит».

Авдей Меньшиков действительно в скором времени взял всех за горло и держал намертво. Он отобрал у прежних хозяев тучные покосы и лучшие земли. Больше полдеревни стало работать на него.

Авдей Меньшиков умер ровно за двадцать лет до революции. После него в деревне хозяйничал свирепый и своенравный, как дикая лошадь, Филька Меньшиков. У этого руки были уже не железными, а стальными. И, кроме того, у него, в отличие от родителя, было две ноги. Он так и говаривал:

— Батя все одной ногой давил нас, а я — обеими! Обеими, понятно?

Понятнее было некуда.

Филька любил выпить. А выпив, ходил по деревне, останавливал встречного и поперечного, жаловался:

— Вот что я? Филипп Меньшиков. Помру я — что тогда? Ничего, останется мой брат, Демид Меньшиков. Понял? Сына бы, конешно, надо мне. А баба проклятая дочерь народила, с-стерва... Натахой прозвали, Натальей, значит. Я предупреждал: «Девку принесешь — возьму тебя за ноги и надвое раздеру...» И раздеру! Понял? Я десять лет наследника ждал, а она — на тебе! Разродилась, называется...

Помолчав, Филипп обычно добавлял:

— А с другой стороны, дочерь — она тоже хоть и баба вроде, да Меньшикова. Понял? И вечно мы будем на земле — Меньшиковы. Понял? Ну, дуй колесом, пока в рыло не сунул!

Особенно тяжело и безжалостно давил Филипп своих односельчан в годы мировой войны, наживая бешеные деньги на военных поставках зерна, мяса, кож. Он раздобрел, расплылся и по запустевшей без мужиков деревне ходил неторопливо, переваливаясь с боку на бок, как раскормленный селезень.

Все операции по поставкам Меньшиков производил через Парфена Сажина, богатого мужика-старовера с мохнатой, как овчина, шеей, жившего в волостном селе Озерки, что верстах в сорока за Светлихой.

2

Стояло душное лето пятнадцатого года.

Филипп Меньшиков и Парфен Сажин отмечали одно из своих многочисленных удачных дел.

За столом, кроме них, сидели еще Демид да Анисим Шатров, гуляка-парень лет двадцати пяти, сын зеленодольского мельника.

— Эх, Парфен, да мы с тобой... ить...— икал осоловевший вконец Филипп.— Токмо вот мужичишки бы с войны повозвертались! Не хватает рабочей силки. Н-да ништо, не всех перебьют, поди, там. Ух, уж развернусь тогда!..

— Не шибко-то надейся, Авдеич,— хрипел в ответ Парфен.— Они, которые возвращаются... того, однако...

— Чего «того»?..

— Как бы там и не слез, где сесть хочешь. Вернулся один такой бывший работник ко мне... Я ему рупь за работу даю, он два требует. Я было горлом на него, а он костыль половчее берет...

— Хе! — воскликнул Филипп.— У меня не возьмет! У меня они все шелковые. По струнке ходят. И бывшие и настоящие. Н-нет, мой рупь они уважают! — распалялся Меньшиков все больше и больше.— Понял? Чего? Не веришь?! А ну, айда!

Филипп и Парфен вывалились на крыльцо, чуть не сломав перила. Возле конюшни высокий парень в черной рубахе навыпуск кидал навоз.

— Захарка! Подь сюда! — закричал Меньшиков.

Парень воткнул вилы в навозную кучу, отер пот с лица, подошел:

— Чего тебе?

На вид парню можно было дать года двадцать четыре, если не больше. Здоровый, крепкий, как лиственничный сутунок, он стоял, чуть пригнув голову, спокойно разглядывая Меньшикова и Сажина большими серыми глазами. Его широкие влажные скулы матово отсвечивали на солнце, капельки пота поблескивали и в пробивающемся пушке над верхней, резко очерченной губой. Ветерок шевелил ворот расстегнутой рубахи, сушил мокрые, давно не стриженные, буйные волосы, закрывавшие половину лба.

На самом же деле Захару Большакову едва исполнилось двадцать. Он уже четвертый год жил у Меньшиковых в работниках.

— Ишь, уставил гляделки! — нахмурился Филипп.— Чего, дурак, набычился?

Парень промолчал, только сунул руки в карманы измазанных навозом домотканых штанов да переступил с ноги на ногу.

— Прибавки к жалованью хочешь? — спросил Филипп.

— Кто ж не хочет.

— Ну, всем-то жирно будет. А тебе единовременно сейчас выдам. Ежели не упадешь, конешно.

Филипп сполз с крыльца, не спеша засучил рукава. Захар все так же спокойно наблюдал за ним, по-прежнему держа руки в карманах. Меньшиков качнулся и наотмашь ударил парня в лицо.

Голова Захара мотнулась, струйка крови разрезала надвое крутой подбородок. Но парень и теперь не вынул рук из карманов.

А Меньшиков, пьяно ухмыляясь, полез в карман за кошельком.

— Вот так, Парфен... Вот этак они мой рупь-то уважают. Сейчас, Захар, сейчас... На. Заработал — получи.

Захар вынул наконец руки из карманов, но вместо того, чтобы взять деньги, тяжело размахнулся и что есть силы звезданул своего хозяина в волосатую скулу. Пошатнулась под Меньшиковым земля. Филипп отлетел в сторону, грузно шмякнулся оземь, перевернулся несколько раз. Затем, лежа на спине, чуть приподнялся, заморгал удивленно, непонимающе.

А Захар, вытирая пропахший навозом кулак, сказал:

— Прости уж, платить нечем.

Со Светлихи с большим тазом выполосканного белья подошла Марья Воронова, поденщица Меньшиковых.

Высокого роста, с ясными глазами цвета вызревающей черемухи, с крутыми бровями и длинной, чуть не до колен, косой,

Марья, по общему мнению зеленодольцев, была самой красивой девкой в деревне. Самой красивой девкой, но и самой старой невестой. Годы ее подходили к двадцати пяти, а она все еще не обзавелась семьей, по не понятной никому причине отказывая всем женихам. Потом причину узнали — сохнет Марья по мельникову сыну Анисиму.

Филипп давненько уже поглядывал на Марью мутным глазом. В последнее время, краснея и шмыгая носом, начал тереться, крутиться вокруг нее и Демидка. Однако ни тот, ни другой трогать ее не решались. Едва встречался ей кто-нибудь из них будто случайно, в глухом месте, Марья, гибкая и крепкая, точно отлитая из одного куска резины, ошпаривала их крутым предостерегающим взглядом красивых глаз, чуть шевелила густыми бровями, и каждый из братьев поспешно убирался восвояси.

Она поставила таз с бельем на землю, поглядела на распластанного Филиппа, усмехнулась, показав белые зубы, и сказала:

— Я бы, Захар, уплатила за тебя ради такого случая. Да тоже не заработала.

И словно только теперь к Филиппу вернулся разум, и понял он, что произошло.

— Т-ты?! Кого эт-то ты! — заорал он, вскакивая.— Демидка! Анисим! Парфен! Скрутить Захарку! Обломать ему кулачища-то...

Из дома выскочили Демид Меньшиков и Анисим Шатров. Не понимая, что произошло, они кинулись на помощь Парфену и Филиппу, крутившимся вокруг Захара Большакова.

Со всеми ими трезвыми Захару, конечно, было не справиться. Но пьяных он раскидал их, как мешки с мукой, отшвырнул крепче других вцепившегося Демида, оставив в его руках кусок рубахи, и выскочил с подворья.

— И Марью-потаскуху тоже в шею! — орал взбешенный Филипп.— Аниська, поддай, говорю, своей ухажерке! Она слюной-то на тебя исходит — всем известно. Вдарь по шарам ее бесстыжим!

— За что? — спросил Анисим.

— За насмешку...

И только теперь Анисим увидел заплывший Филиппов глаз.

— А-а...— махнул рукой Шатров.— Если уж обидно тебе, что бесплатно фонарь подвесили, я заплачу...

— Анисим! Что городишь?! — заворочал глазами Филипп.

— А-а...— еще раз протянул Анисим.— А ты, Марья, смелая... хозяину-то эдак! За это погуляю с тобой сегодня ночку. Приходи на Светлиху к вечеру? Придешь?

— К пьяному-то...— подняла на него глаза Марья, но тут же опустила их. И, никого не стесняясь, прибавила: — К трезвому вот приду.

— А трезвый-то я, может, и не позову тебя,— нахально сказал Анисим и повернулся к Демиду: — Айда, допьем, чего там осталось. Очухаются — приползут.

Анисим с младшим Меньшиковым ушли в дом. Парфен Сажин, чертыхаясь, отряхивал пыль с колен, с рубахи.

— Ладно он нас, пострел этакий... Силища как у дьявола.— Парфен подошел к Филиппу, стал помогать подниматься.— И в самом деле — айда, пображничаем еще... Вот сына мово, Матвейки, нету здесь. Он бы его, Матвейка-то... в два счета. Ладный у меня сын, далеко только. На Урале, на самой родимой Печоре разъезжает. Знаешь, где Печора-то, благословенная река? Нет?.. А сын у меня к большим делам приставлен, к самому Аркадию Арсентьевичу Клычкову. Знаешь Клычкова-то? Нет?.. Да где тебе!..

3

Примерно в то же время этот самый «сам» — Аркадий Арсентьевич Клычков, известный по всему Уралу купец и промышленник, «обмывал» покупку Большереченских золотых приисков. Третий день над североуральским таежным селом стоял дым коромыслом.

— Эх, ядрена шишка, знай, народ, Таежного Клыка, ложись травой перед Аркашкой Монахом, сволочи-и! — тряс широкой староверческой бородой Клычков. Он схватил бокал коньяку, разбавленного шампанским, долго сосал обжигающую влагу распухшим за трехдневное гульбище ртом.

— Аркадий Арсентьевич... Аркаша-а! — простонала знаменитая екатеринбургская проститутка Дунька Стелька, женщина накрашенная, тонкая, как змея. Вот уже полгода ее таскал с собой повсюду Клычков.— Право же, неудобно... Люди к тебе с почтением...

— Цыц, Дунька! — оборвал ее Клычков.— Знаем мы, что за почтение... Знаем, как за глаза-то навеличивают...

Клычков презрительно оглядел разномастных гостей, шумевших в большой и высокой зале с люстрами. Теперь эти люстры, и зала, и весь огромный дом бывшего хозяина рудников — его, Аркадия Клычкова, собственность. Да и люди, смятые, взлохмаченные, куражившиеся за столами, вповалку лежавшие на плюшевых потертых диванах вдоль стен (неважно шли дела у бывшего золотопромышленника, Аркадий Арсентьевич это слышал, но, когда увидел потертые диваны, сразу сбавил цену за рудники на одну четверть), эти люди тоже почти принадлежали ему. А ведь в зале копошились не какие-нибудь трень-брень — ирбитские ярмарочные воротилы, тюменские скупщики хлеба, скота, масла, златоустовские промышленники со своими компаньонами, тагильские заводчики. Было время, кланялся им Клычков каждому в отдельности, пусть теперь кланяются ему все вместе. Ведь у него, у Клычкова, хлебные, галантерейные, москательные, меховые и разные другие лабазы в Ирбите, у него медные и серебряные рудники по реке Чусовой, угольные шахты на Вишере,

торговые конторы во многих уральских городах, в том числе в самом Екатеринбурге, он неограниченный хозяин вычегодских и печорских лесов со всеми их богатствами.

Все, все есть у него, Аркадия Клычкова. Не было только золотых рудников, а теперь пожалуйста!

Высокие окна раскрыты настежь, теплое августовское солнце заливало залу, ветер чуть шевелил легкие кружевные занавески. Занавески были уже клычковскими, он приказал их повесить перед приездом гостей.

С улицы доносились пьяные крики, матерщина, песни — третий день вместе с новым хозяином рудников гулял и рабочий люд. Клычков приказал кабатчику поить всех бесплатно.

В открытые окна налетело множество больших зеленых мух. Они кружились над столами, облепили развороченные закуски, целыми полчищами ползали по скатертям, образуя живые темные островки там, где было пролито вино или варенье.

Один такой островок был как раз напротив Клычкова. Он глядел-глядел и вдруг хлопнул по столу тяжелой ладонью.

Мухи разлетелись не все. Около десятка остались раздавленными на столе, примерно столько же прилипло к ладони.

— Вот! — сказал Клычков, поднимая руку.— А Таежный Клык — пусть. Лишь бы не затупился. И Монах пущай. Старой веры мы, это верно. Хотя в бога я вроде уже не верю. Сестра моя, правда, живет по старому укладу. Па-агадите, жирные брюханы, я вас еще приглашу в Черногорский скит на Печору, вы еще поздравите у меня игуменью Мавру с ее именинами! Растрясете важность-то по тайге. Поедете аль откажетесь?

— Аркадий Арсентьевич... да хоть в самое пекло, только дай знать, что желаешь...— откликнулся ирбитский купец Прохор Воркутин, мотнув начинающей лысеть головой.— Уважаем мы тебя.

— Уважаешь? — Клычков усмехнулся.— А не припомнишь, годков с десяток эдак назад я слезно просил у тебя тыщонки три на поправку, когда единственный мой амбар с первой в моей жизни закупленной партией зерна вдруг сгорел? Взял да и сгорел. А, как? Легко мне было? А ты...

— Так, Аркадий Арсентьевич... У тебя розмахи-то сразу объявились... Ты — с места вскачь, наметом пошел... Где у меня такие капиталы были? Я и сейчас не смог бы. Да и сдавалось мне тогда — для виду просил ты, не по нужде...

— Что-о?! — багровея, хлопнул Клычков еще раз по столу ладонью с прилипшими мухами.

Самое больное место задел Воркутин. По всему Уралу метался слух — с чужого добра пошел жить Клычков. Лет десять — двенадцать назад безвыездно сидел он на Печоре, где в глубине таежных дебрей сохранились еще старообрядческие общины и целые скиты. Жили Клычковы небогато, были яростными приверженцами и хранителями старой веры. За это сестра Аркадия,

бобылка Мавра, была избрана уставщицей [1] при игуменье одной из черногорских обителей. Уставщица Мавра столь исправно несла часовенную службу, столь истово соблюдала все религиозные каноны, что игуменья перед смертью выбрала ее своей заступницей.

Новая настоятельница обители перебралась на житье в игуменскую стаю [2]. И, в обход всех староверческих канонов, сделала своей ключницей некую Пелагею Мешкову, которая вместе с другими женщинами-ткачихами из напряденного льна и шерсти ткала на общину пестряди, новины, сукна.

Долго гудела приглушенно обитель: почему именно Пелагею, женщину замужнюю, соблюдением основ старой веры особо не отличающуюся? Болтали даже потихоньку злые языки, что новая игуменья и ключница делят напополам мужа Пелагеи — рябого и белобрысого мужичонку Никодима, сокрушались: экое святотатство, гибнут, рушатся вековые устои и заповеди.

Но постепенно новая игуменья так забрала власть, что самые болтливые языки прикусили.

И вскоре после этого появились в Ирбите два шустреньких скупщика хлеба — чернявый Аркашка Монах и белобрысый Никодим Мешков.

Мешков, совершив две-три удачные операции, уехал с кучей денег в Екатеринбург, открыл там большой универсальный магазин, а Клычков остался...

Об этих слухах знал Аркадий Клычков. И обидно было, что все считают, будто на общинные обительские деньги начали разживаться они с Мешковым. А все было не так. Что касается денег, Мавра была строгой и честной игуменьей, у нее копейки не выпросишь обительской. Просто чистили однажды они с Никодимом Мешковым заплесневелый погреб в игуменской стае, и провалилась лопата в стенку. Раскидали землю, гнилье какое-то, ржавые железки, обнаружили подземелье. Со страхом вошли, засветили свечку и увидели десятка два полусгнивших кованых сундуков, а в них — прах от тряпья да мехов. Что сохранилось, так это серебряная посуда да с горсть старинных золотых монет, колец и серег — всего тысяч на десять — пятнадцать. Стали думать, откуда это все здесь и что делать с золотом.

Умница была Пелагея Мешкова, ничего не скажешь. Она рассудила так: сундуки чьи — неизвестно, только видно — не при последней покойной матушке игуменье спрятаны были, а лет сто назад. Навряд ли она знала о них. Слышно было, в войну с французами в двенадцатом году московские купчишки по скитам добро прятали. Может, спрятал кто, а взять забыл. Говорить теперь об этих сундуках не надо — пойдет спрос да говор:

---

[1] Уставщица скитница, ведающая религиозными службами, наблюдающая за выполнением обрядов.

[2] Стая — несколько изб в скиту под одной крышей, соединяемых обычно меж собой сенями или крытыми переходами.

сколько сундуков, чего в них? И не поверят, что ничего. А это золото меж находчиками пополам, да дело с концом. Бог дал, бог разделил, да и думать об этом забыл...

— Ладно уж...— согласилась нехотя тогда Мавра.

Вот как оно было на самом деле, да разве объяснишь людям...

— Так я спрашиваю, что ты сказал? — пуще прежнего закричал Клычков, потому что Воркутин испуганно молчал.

Но в эту минуту в залу вошел длинноногий, поджарый, как гончий пес, парень с красивым лицом — личный секретарь и помощник Аркадия Арсентьевича Клычкова Матвей Сажин. Он днем и ночью находился при своем хозяине.

Этого парня хорошо знали все, с кем в последние годы имел дело Клычков. Сажина побаивались и перед ним заискивали, потому что он мог при острой необходимости за «соответствующее уважение» оказать на своего всемогущего патрона то или другое влияние.

Сажин был совершенно трезв. Отличный городской костюм сидел на нем как влитой. Манжеты сверкали невиданной белизной. Тонкие черные усики брезгливо вздернулись.

— Ну,— повернулся к нему сердито Клычков.— Чего усами дрыгаешь? Говори.

— С горы просигналили, Аркадий Арсентьевич. Едут, значит...

— Слава богу,— кивнул Клычков, кажется, даже довольный, что Сажин прервал неприятную сцену, и выпил еще один бокал коньяка с шампанским.— Веди прямо сюда.

Со всех сторон пьяно зашумели.

— К-кыто едет?

— Откуда?

— Еще поздравители, что ли?

— Припоз-днились, коли так, хе-хе!

— От радости ноги отнялись...

— Серафима Аркадьевна едут,— сказал Сажин и вышел.

У купцов, промышленников, лабазников от трехдневной пьянки туман в глазах, звон в голове. Первой сообразила, что к чему, Дунька Стелька, вскрикнула:

— Дочь твоя, Аркадий? Как же я?.. Что же мне?.. Неудобно!

Вскочила и заметалась было. Но Клычков ухватил ее за платье, бросил возле себя на стул:

— Сиди уж... Застеснялась! В обморок не упадет, не такова девка.

А под окнами брякнул меж тем колокольчик. Снова распахнулась дверь в залу, снова вошел Матвей Сажин, даже не вошел, а вскочил задом, попятился:

— Пра-ашу, прашу, Серафима Аркадьевна! Батюшка заждались. А также... и другие.

Другие, однако, даже не подозревали, что Аркадий Арсентьевич послал несколько дней назад людей в Екатеринбург, где третье лето подряд гостила у Мешковых его дочь.

Все притихли. Даже корчившиеся от изжоги на диванах приподнялись — всем было интересно поглядеть на единственную наследницу несчитанных миллионов Клычкова.

Она появилась в дверях, стремительно сбросила черную пыльную накидку на безукоризненный костюм Сажина, расталкивая пьяных, отбрасывая стулья, побежала к поднявшемуся навстречу отцу, повисла на шее, заболтала ногами в грязных дорожных сапожках из мягкой кожи.

— А это кто, батюшка? — спросила она, отпустив его шею и ткнув рукой в залу.

— А так... люди. Друзья мои. Вот гуляем на радостях...

Серафима Клычкова была хороша. Вся ее крепкая фигура дышала лесной таежной свежестью, немного диковатой силой.

Опомнившись, придя в себя, зашевелились, загалдели заводчики, купцы и прочие промышленные и торговые люди:

— Что и говорить...

— И такое сокровище скрывал от нас, Арсентьич...

— Одно слово — в отца дочка...

— Счастливый же ты, Аркадий Арсентьич...

— Я и толкую — чего тут говорить! Нечего...

— Нет, есть чего! — крикнул Клычков. Все смолкли.— Какое сегодня число?

— Слава богу, четырнадцатое августа.

— Так вот...— Клычков покачнулся, но успел схватиться за плечи дочери. Девушка тоже шатнулась, но удержала отца.— Так вот... объявите всем вы, деловые люди: августа четырнадцатого дня тыща девятьсот пятнадцатого года на благословенном Урале изволили стать и появиться новый золотопромышленник...

— Аркадий Арсентьевич Клычков,— подсказал ирбитский купец Прохор Воркутин, когда Клычков на секунду приостановился.— Ура Аркадию Арсенть...

— Не-ет!! — что есть силы заорал Клычков.— Серафима Аркадьевна Клычкова!! Вот теперь — ура-а!

Однако никто не закричал. Пьяная компания глядела на отца и дочь Клычковых осоловелыми глазами, ничего не понимая.

У Серафимы перехватило дыхание. Перехватило до того, что ее маленький носик побелел, а тонкие ноздри чуть подрагивали.

— Однако постой, Аркадий Арсентьевич,— выговорил наконец кто-то.— То есть как все понять-разуметь? Замуж, что ли, дочь выдаешь и рудники вроде бы за ее приданым...

— А ты попробуй посватайся,— вяло сказал Клычков и сел, начал ковырять вилкой в тарелке.— Если всего твоего капиталу на свадьбу-то не хватит, я добавлю уж.



— Так как же тогда понять?

— А так. Дочка в столице... в самом Петрограде... желаю, чтоб жила. И чтоб по всяким заграницам ездила. Золотые рудники дарю ей на шпильки и шляпки... Поняли? Скажите всем: Клычков Аркадий подарил дочери золотые рудники на карманные расходы. Пусть весь Урал знает! Вся Россия!! Вот. А об приданом другой разговор будет... когда время придет.

И опять в зале установилась тишина.

Ноздри Серафимы уже перестали дрожать, дышала теперь девушка легко и свободно. Она только что заметила сидящую рядом с отцом Дуньку Стельку и внимательно глядела на нее, чуть удивленно приподняв брови.

Клычков откинулся на стуле, повернулся к дочери, понял ее взгляд, махнул рукой:

— Это ничего, дочка, прогоню ее сегодня. Матвей, а Гаврила-то Казаков приехал?

— Гаврила! — тотчас крикнул стоявший у дверей Сажин.

Вошел кряжистый, угрюмого вида мужик, перекрестился двумя перстами, поклонился и молча встал рядом с Сажиным.

— Ты вот что, Гаврила. Будешь теперь не на медных, а на золотых рудниках главным управляющим.

Казаков опять молча поклонился.

— Семью перевезешь, будешь жить в этом доме. Понял? Для важности. Только скажи, чтоб диваны заменили.

Гаврила отвесил еще один поклон.

— Жалованья кладу вдвое против прежнего. Только чтоб держал у меня все тут! Как на медных...

Гаврила сверкнул глазами, глухо вымолвил:

— Уж будьте покойны, Аркадий Арсентьевич.

— Все рудники чтоб пустили к зиме. Сколь капиталу надо вложить — вложим. Ступай. Да скажи кабатчику — пусть запрет заведение. Хватит водку задаром жрать.

Гаврила поклонился в последний раз и ушел.

— Н-ну, дочка...— промолвил Клычков, встал, обвел мутными глазами разопревших, ошарашенных гостей.—Чего глазами лупаете? Завидуете? Н-ну-ка, кто из вас такой подарок дочери своей сделать может?

— Иван Андреевич Сорокин из Екатеринбурга может...

— Ха-ха, Сорокин! Я вас спрашиваю... То-то!.. Далеко драным воробьям до сорок, не то что до орлов. Н-но, погодите, и Сорокин у меня на Печоре побывает, дайте время. И Сорокин будет мне «ура» кричать, как... П-постой, погодите-ка, разлюбезные мои! — вдруг зловеще протянул Клычков.— Да вы что, ув-в-важаемые мои гостенечки?! Это почто вы «ура» не прокричали дочери моей, как я желал, а?! Прошка-а! Воркутин, сын с-сукин! Ты почто не кричал, спрашиваю?!

— Так я, Аркадий Арсентьевич... От изумления голос перехватило. Я... ежели желаешь...— залепетал купец.

— Перехватило! — забушевал Клычков.— Сейчас тебя кондрашка перехватит! Матвейка! Сажин! Завтра же взыскать с него по всем векселям...

— Аркадий Арсентьевич, отец родной,— взмолился Воркутин, схватил руку Клычкова.— Разоришь ведь, по миру пустишь. Погоди маленько, я обернусь и все выплачу.

— А-а-а! — торжествующе закричал Клычков. И вдруг завернул на столе скатерть вместе с посудой, с бутылками, с закусками, сбросил ее на пол, схватил Серафиму, посадил ее на стол.— Тогда обмети пыль бородой с сапог моей дочери, обсоси всю грязь!

Клычков взял Воркутина правой рукой за шиворот, поставил на колени, левой схватил ногу дочери и ткнул в лицо ирбитскому торговцу.

— Целуй, в печенку тебя!! И... все остальные... по очереди. Матвейка! Глядеть у меня в оба! Об увильнувших доложишь завтра...

Сажин с разбегу вскочил на стол, стал рядом с Серафимой, вынул из кармана карандаш.

Девушка сперва пыталась было оттолкнуть старика Воркутина, но не смогла — тот уцепился уже за ее ногу, как клещ. А со всех сторон гремели стулья, слышался стеклянный хруст — люди, как бараны, толкая друг друга, старались пробиться к ней один вперед другого. И тогда... тогда она улыбнулась своими капризно-тонкими губами, чуть откинулась назад, уперлась в стол руками и, не переставая улыбаться, подставляла склоняющимся перед ней заводчикам, владельцам промыслов, торговых лабазов и контор попеременно то правую, то левую ногу...

Когда поднялся с колен последний купец, маленькие сапожки ее блестели, будто побывали у добросовестного чистильщика. Серафима внимательно оглядела их и повернула голову к Дуньке Стельке, которая сидела все время почти рядом, опершись локтями о стол, зажав голову руками.

— Ну а вы? — тихо спросила Серафима, будто даже с застенчивой улыбкой.

— Нет! Нет!! — вскрикнула Дунька, вскочила, побежала из залы.

Серафима проводила ее задумчивым взглядом голубых глаз.

— Ну, а теперь гуляй дальше, господа! — объявил Клычков.— Душно тут. Матвейка, распорядись там — столы на двор, на зеленую травку, на воздух! А к вечеру баньку истопить — попаримся, чтоб отрезветь...

Вечером Серафима, освещенная последними лучами солнца, сидела на террасе дома. Внизу, на столах, уткнувшись в тарелки, и прямо на земле валялись, храпели, стонали перепившиеся вконец гости.

Усадьба дома была огорожена высоким штакетником. Недалеко, на берегу протекающей прямо на усадьбе речушки, выстаивалась уже натопленная баня.

Вскоре возле бани появился Гаврила Казаков с четырьмя здоровенными парнями, которых он привез с собой с медных рудников. Парни волокли упирающуюся Дуньку Стельку.

— Значит, так...— Гаврила потряс перед носом Дуньки кулаком.— Сейчас пропаривать гостей Аркадь Арсентьича будешь... Поработаешь — и домой. Кони уж приготовлены. Веники в кадках с квасом мокнут.

— Не буду, не буду! — орала Дунька, пытаясь вырваться.

— Еще чего! — прикрикнул Казаков.— Приказ самого Аркадь Арсентьевича. Гляди у меня, а то живо... платьишко сдернем — да в тайгу, на ужин комарам. У нас ить тут свои порядки.

Угроза сразу подействовала. Дунька, пошатываясь, вошла в баню. Вместе с нею вошли двое парней. А двое других принялись подбирать валявшихся по всей усадьбе гостей и волоком стаскивать в баню.

Серафима улыбнулась одними уголками губ и крикнула, чтоб ей принесли чаю с ее любимым малиновым вареньем.

4

Большереченское лежало в длинной неглубокой лощине. По самой сердцевине ее текла, виляя, маленькая, по колено, речушка, вдоль которой было разбросано сотни полторы домишек.

— Кто это громкое название такое дал селу? — спросила Серафима у Матвея Сажина, останавливаясь на берегу речушки, заросшей лопухами и осокой.— В насмешку, что ли?

— Не могу знать,— виновато ответил он и повернулся к обветренному домишку, стоявшему неподалеку от берега.— Эй! — крикнул Сажин двум мужикам, которые сидели возле дома за грубо сколоченным столиком и наблюдали за Серафимой и Сажиным.— Не скажете ли вы?

— Чего? — переспросил один из них, худой и рыжеволосый мужик. Несмотря на жару, он сидел в шапке и рваной тужурке — видимо, был болен.

— Оглохли, что ли? Отчего поселок так прозывается, спрашиваем.

Ответил, усмехнувшись, другой мужик, низкорослый, но плотный, с обвислыми седоватыми усами:

— А тут другая большая река есть, по ей и сельцо кличуть. Тильки вам ее не увидеть...

— Что за такая река? Что за чушь городите? — возвысил голос Матвей Сажин.

— Река человеческих слез да горя,— пояснил рыжеволосый.

Сажин вздернул усики, растерянно глянул на Серафиму — угораздило же, мол, спросить их!

— Пойдемте,— сказала девушка.

— Да, да... Хамье, чего уж ожидать...— Но все-таки снова повернулся к мужикам, спросил строго: — Кто такие? Рудничные? Почему не на работе?

— Тут все либо рудничные, либо больничные,— ответил тот, что в шапке.

Откуда-то подскочил большереченский кабатчик, закрутился вокруг Серафимы и Сажина:

— Зря вы с ними, разве это люди? Смутьяны и баламуты. Тот, усатый,— Гришка, по прозвищу Кувалда. Хохол с Украины. А этот, рыжий,— Степка Грачев. За девятьсот пятый в тюрьме сидел, сюда из Сибири заявился. Бывший хозяин рудника хватил с ними горя. Одно слово — рвань...

— Пойдемте,— еще раз сказала Серафима и быстро зашагала прочь.

Случай этот не то чтобы произвел на Серафиму тяжелое впечатление — она бывала на некоторых рудниках и заводах отца, насмотрелась всякого,— но просто ей мучительно и остро захотелось обратно в губернский город, в Екатеринбург, где много шума, света, блеска, где есть у нее много знакомых — дочери и сыновья купцов Коробовых, владельцев огромных магазинов Мешковых, фабрикантов Казаровых.

Три года назад белица Настасья Мешкова, привезенная когда-то родителями на воспитание в обитель Мавры Клычковой, сговорила Серафиму поехать на лето в Екатеринбург, к ним в гости. Серафима, всю жизнь прожившая в лесах, только по книжкам, по рассказам отца да подружки Настасьи знала, что такое город. Очень уж ей хотелось взглянуть на него. К тому же до тошноты опротивели ежедневные чтения божественных кафизм, бесконечные посты и те полторы тысячи «местных, средних и штилистовых» икон, что стояли в большом и малом придельных иконостасах, а также на полках по всем стенам обительской часовни. Игуменья обители, а ее родная тетка, имела особую слабость к двум вещам — к иконам и к пасхальной песне «Велия радость днесь в мире явися...». И поэтому она заставляла ее, Серафиму, наравне с другими белицами обители подолгу каждое утро петь заунывную «Велия радость...», а днем подолгу выстаивать в часовне под спускающимися с потолка паникадилами и созерцать лики святых. Частенько она устраивала своим послушницам строгие экзамены и очень сердилась, если кто путал имена апостолов, пророков, праотцев, богородиц. И каждый раз не то стращала, не то сожалела, что скиты давно обветшали и порушились, что вот когда-то раньше в иных обителях бывало по три тысячи и даже много более икон. Свою мать Серафима не знала — та умерла во время родов.

Обительская жизнь опротивела Серафиме, но и спросить разрешения у тетки на поездку в гости к подруге не решалась. Знала, что не пустит.

И уговорила Настасью подождать приезда отца: тот души в ней не чает и — была уверена — не устоит перед любой ее просьбой.

Так и вышло. Едва отец уловил суть просьбы, сказал:

— Об чем речь! Давно пора. Нечего киснуть тут, показывайся, дочка, на людях.

— Окстись! — побелела тетка.— На срамные бритые подбородки глядеть! На поганых щепотников Никоновых...

— Ничего, пусть едет,— решительно сказал отец.— Я как раз тоже в Екатеринбург. Там попрошу Мешкова Никодима Осиповича — пусть по старой дружбе приглядит за дочкой. Да и вон твою прислужницу Мотрю снарядим для генерального руководства.

И Серафима поехала.

У Никодима Мешкова от старой веры, как и у Клычкова, осталась одна борода. Приезду своей Настасьи и дочери Аркадия Арсентьевича он обрадовался и после объятий сказал, подмигнув:

— Наша-то мать тоже редко теперь ладан в домашней келье жгет. А вам-то, раскрасавицы мои, и вовсе ни к чему вонючий дым глотать. Воспользуемся тем, что мать на Волгу к родным уехала, да поглядим на белый свет. Настенька, посылай-ка записочку дочерям Коробова, они уж заспрашивались про тебя. Шустрые девки у Коробова Анания, они тебе, Серафимушка, Екатеринбург наш славный снизу доверху покажут. А ты, Арсентьич, не беспокойся, в полной сохранности твоя дочка будет...

...Не заметила Серафима, как и лето пролетело. Шум, блеск и разливанное море радости с головой захлестнули ее. Вечера с танцами то у Мешковых, то у Коробовых, то еще, еще и еще у каких-то знакомых. Ложились спать на рассвете, а то и позже, завтракали в четыре дня, обедали в восемь — десять вечера. Сперва смешно и страшновато было — вот бы узнала тетка! — а потом понравилось. Модные губернские портнихи, катанье на лодках по Исети-реке. А один раз были даже на лошадиных скачках.

...На Печору вернулась Серафима поздней осенью. Настасья осталась в Екатеринбурге, отец более не пустил ее в скит.

Еле-еле дождалась весны и по первой дороге снова укатила на целое лето в Екатеринбург, несмотря на слезы и заклинания тетки.

В середине лета в городе появился отец. К Мешковым он почему-то не зашел, и Серафима решила повидаться с ним в гостинице, где он обычно квартировал.

Открыв дверь в номер, она ахнула: измятый, всклокоченный, в нижней рубахе навыпуск, отец стоял среди комнаты и махал

откупоренной бутылкой, расплескивая вино. А вокруг него прыгали, кривлялись, визжали десятка полтора растрепанных, полуголых женщин.

Кроме них и отца, в комнате было еще несколько мужчин, среди которых она с удивлением заметила и Никодима Мешкова, и старика Коробова.

— А-а, дочка...— грустно как-то сказал отец.— Ну что же, и ладно. Не сегодня, так завтра узнала бы про это... Понимаешь, родимая моя, рано или поздно — все равно помирать. Так уж пожить хоть. Я всю жизнь в темных лесах просидел. Теперь наверстать хочу, взять от жизнюхи, что еще можно. И тебе... и тебя в Екатеринбург вот... зря, думаешь? Ты отца прости, пример с него не бери. Дурак он, отец твой. Но, доченька моя... Эх, да мы же Клычковы! Не имеем титулов да званий. Но пусть завидуют все нам, пусть удивляются все! Власти-то у нас, может, побольше, чем у иных высокопревосходительств! Власть не в чинах, а в деньгах. Помни это, дочка... И — пользуйся! Пользуйся! Коротка жизнь-то. А я для тебя ничего не пожалею. Скоро Москву тебе покажу. Петроград... Эй, музыку для Клычковых!

Ударил оркестр, сгрудившись в дверях соседней комнаты, задребезжали стекла. Серафиме было муторно, противно, она хотела крикнуть отцу в лицо что-то обидное, резкое, повернуться и убежать, но... не крикнула почему-то, не повернулась, не побежала. Она постояла немного, внимательно оглядела притихших под ее взглядом мужчин и женщин и чуть скривила тонкие губы.

Потом медленно повернулась, опустив голову, пошла на улицу, не замечая почтительно поддерживающих ее на лестницах швейцаров, не замечая, как осторожно посадили ее на извозчика...

И снова, как в прошлое лето, бездумно и весело потекла ее жизнь, понеслась в сверкающем вихре. Отца она больше не видела, хотя раза два читала в газетах о его скандальных попойках в гостинице. Читала и... улыбалась про себя одними уголками губ.

Бездумье кончилось осенью, когда она снова оказалась в скиту. «Власть не в чинах, а в деньгах. Помни это, дочка... И — пользуйся! Пользуйся!» — начали и начали вдруг стучать в голове слова отца.

Власть... Что это такое? Как ею пользоваться?

Ведь и тетка, едва Серафима стала помнить себя, тоже все время толковала ей о власти. «Ты несмышленыш еще, а подрастешь — поймешь, какую тетка твоя власть над людьми держит. И на Печоре, и на Вычегде, и по всему Северному Уралу люди, хранящие в сердце своем пречистую веру божью, знают и уважают игуменью Мавру. А за что? За то, что веру эту истовее других блюду. А вот помирать стану — обитель свою

крепкую тебе передам. И чтобы власть твоя была не слабже, пропитывайся, доченька, духом божьим, как снег вешней водой. Учись, как молитву богу сотворить, как снадобье из трав лесных для хворого сварить, ибо мы, слуги божьи, должны исцелять души и тела людские. Почаще читай Библию, пониже бей поклоны, и заранее пойдет о тебе удивление высокое, молва далекая. Я уж позабочусь об этом. И станешь после меня владычицей лесной, обретешь власть сильную — уж догадаешься, как ею пользоваться...»

Серафима, подрастая, видела, что тетка ее действительно обладает большой властью: каждое слово ее — закон не только в обители, во всем Черногорском скиту. Не замечала Серафима только, что год из года меняется к ней самой отношение всех окружающих. Сперва она просто баловницей была всей обители, люди говорили с ней легко и ласково. Эта ласковость сменялась постепенно услужливостью, почтительностью и, наконец, откровенным заискиванием. И если случалось ей выезжать куда из обители, люди, узнав, кто она такая, мгновенно преображались, смиренно и просяще как-то предлагали наперебой свои услуги.

Серафима привыкла все это принимать как должное, принимать, ни о чем не думая, не размышляя.

И, может быть, поэтому она не замечала, что и в Екатеринбурге люди, узнав, что она дочь небезызвестного Аркадия Арсентьевича Клычкова, сразу становились внимательными и предупредительными.

И вот, вернувшись в скит, задумалась: что же такое — власть над людьми? Правда, мелькнула было об этом мысль впервые еще там, в гостинице, когда она, потрясенная открывшейся перед ней картиной, слушала отца, размахивающего бутылкой, плескавшего из нее вином на полуобнаженных вспотевших женщин. Где-то в груди пролился вдруг холодный, обжигающий ручеек, но тотчас иссяк, высох...

А едва переступила порог обители, с удивлением обнаружила, что ручеек этот окончательно не высох, что он снова засочился, сладко пощипывая внутри...

Таежная северная зима долгая. От молитв и бесконечных служб, от запаха трав, из которых тетка варила лекарства, Серафиму тошнило, и она, к ужасу тетки, перестала отправлять службу, забросила и Библию, и псалтырь, и часовник и даже лампаду перестала зажигать в своей светлице.

А ручеек уже превратился в ручей, что-то размыл внутри мягкое и податливое, хлынул горячим потоком, затопив ее всю...

— Доченька, побойся господа нашего, он не простит,— ныла тетка ежедневно.— Я ведь духовная матерь твоя. От счастья и власти — видано ли! — отворачиваешься, в мирские грехи погружаешься, как отец твой непутевый. Я ли тебя не готовила

к приятию власти?! И святую песню нашу «Велия радость...» забыла. А ты спой-ка ее, спой и погляди, как разгладятся лики, тебе внимающие, какое благочестие разольется на них... А ты, греховодница, тетку в могилу кладешь! Ну, тетку — ладно... А от власти-то над людьми зачем отказываешься...

— Ах, отстаньте, ради бога! — резко говорила уже Серафима.

Что ей была теперь власть над обителью, над скитом или даже над всеми староверами Печоры и Вычегды! Она почувствовала, кажется, чем пахнет другая власть, о которой говорил отец, или стала догадываться, как она пахнет. Вон, к примеру, эти самые фабриканты Казаровы. Как же все это было?.. Ну да, кажется, так. В позапрошлом году сразу же после приезда в Екатеринбург у этих самых Казаровых, с которыми в хорошем знакомстве состояли купцы Коробовы, был вечер. При знакомстве, в общей суматохе, старшая дочь Коробова отрекомендовала ее, Серафиму, так: «Это наша новая подружка Сима, приехала из лесов погостить к нам. Порядков здешних она не знает, так что уж повнимательнее к ней...»

Повнимательнее... А никто даже простой вежливости не оказал. Сидела весь вечер в уголке, как дура, а все козлами прыгали вокруг этих неповоротливых купеческих дочек. Лишь когда вышла подышать и успокоиться от обиды на балкон, сзади неслышно появился сын иссохшего, как гороховый стручок, старика Казарова Артамон, схватил за плечи, начал тыкаться в щеки и шею мокрыми, горячими губами. И в ответ на звонкую оплеуху прошипел, как гусак, втянув голову в плечи: «Ах, ты... хамка лесная! Виноват-с... Не думал, что и к вам с обхождением надо...»

Глотая слезы, ушла с вечера.

А на другой день к Мешковым пожаловал Артамон и, краснея, просил у нее прощения. Затем приезжал сам Казаров, долго скрипел, извинялся, расшаркивался, невнятно бормоча что-то о своей личной неучтивости. Из всех его слов Серафима запомнила только: «Что ж вы сразу не сказали, что вы... Как же-с, знаем Аркадия Арсентьевича! Да и кто его не знает в здешних местах! Большой человек...»

Серафима простила, сама не понимая почему. Казаровы устроили в ее честь настоящий бал. Теперь долговязый Артамон крутился только вокруг нее. Все лето Артамон таскался по пятам, превращаясь иногда в самого обыкновенного лакея у всех на виду.

Обо всем этом размышляла дочь Аркадия Клычкова, отдыхая на берегу пруда после прогулки по селу.

Пруд был выкопан прямо не усадьбе владельца рудников, за баней, и наполнялся водой из речушки. Огромный, заросший густым камышом, он отражал высокие плывучие облака и казался бездонным.

Справа, метрах в десяти от скамейки, торчал из камышей нос какой-то лодки.

Серафима сидела на скамейке, глядела, как играет рыба. Но мысли были далеко. Скорей назад, в Екатеринбург! Вот уж вытянется и без того длинная рожа Артамона, когда узнает про отцов подарок! От лакейского усердия язык на ветру высушит. Да и все остальные знакомые и подруги только ахнут от удивления, присядут...

Но что ей теперь Екатеринбург? Впереди — Москва, Петроград! Обязательно, обязательно на следующий год — в столицу! А там, может, и в самом деле — Париж, Рим, заграница...

У Серафимы захватило дух, в груди сладко постанывало.

— Вот-с вы где, Серафима Аркадьевна! — раздался голос Матвея Сажина.— А я искал, искал... Договаривались на рудники поглядеть после обеда. Аркадий Арсентьевич разрешили сопровождать, как и утром...

Серафима досадливо поджала губы, промолчала. Сажин потоптался рядом, не решаясь сесть на скамейку.

— Я все эти дни хотел тебе сказать, Симушка...— выдавил он наконец, переходя на «ты»,— хотел сказать, что... э-э... заждались. А также рады видеть тебя... очень и безмерно...

— Кто? Батюшка, что ли?

— Батюшка. А также другие...

Серафиме стало смешно. И она откровенно захохотала.

Родители Матвея жили когда-то тоже в Черногорском скиту, но затем, не поделив что-то с бывшей до Мавры игуменьей, уехали в Сибирь. Когда настоятельницей стала тетка Серафимы, Парфен, глава семьи Сажиных, приехал в скит с молодым сыном Матвейкой, постоял несколько служб, повздыхал: как ни хорошо в Сибири, а тянет, тянет в родные места... Вернулся бы теперь с радостью, да хозяйство большое в Сибири, жалко зорить.

Так, вздыхая, и уехал, оставив в скиту Матвея для обучения божественным писаниям.

Учился Матвей под руководством Мавры прилежно. Вскоре он наизусть шпарил и часовник, и все двадцать кафизм псалтыря. Чернявый, похожий на девушку и лицом и хрупкостью, он мог вместе с Серафимой да Настасьей справлять многие уставные службы.

И в те-то времена проскочила меж Серафимой и Матвеем, разрезала со свистом тугой воздух быстролетная ласточка, которая, по скитским преданиям, уносила на своих крыльях покой парня и девушки...

— Ой, ласта, ластушка крылом задела меня! — упав на грудь подружке своей, призналась Серафима, когда Настасья спросила, отчего она сумрачная такая да задумчивая, отчего сторониться, избегать стала Матвейку.

Ойкнула Настасья, поиграла от великого изумления да интереса глазами и сказала:

— Постой-ка... Я узнаю, задела ли она другим-то крылышком Матвейку... А, узнать?

Серафима перегорела вся огнем, но тихонько кивнула головой.

...Потом при помощи и под покровительством все той же разбитной Настасьи они, страшась не столько гнева божьего, сколь матушкиного, передавали друг другу записочки. Затем стали встречаться тайком то в лопухах за часовней, то в темных пустых сенях, то в еще в каком-либо укромном и безопасном местечке.

В одном таком скрытом уголке — густом-прегустом смородиннике — они в знойный июльский день неумело прижались губами к щекам друг друга и от стыда разбежались в разные стороны, оставив березовые туески, в которые собирали ягоды...

Чем бы кончилась их детская любовь — кто знает... Но однажды Матвея призвал к себе Аркадий Арсентьевич и сказал:

— Вот что, Матвей... Приглядываюсь к тебе — шустрый ты и грамотный. Пора, однако, к делу приучаться. Возьму-ка я тебя в доверенные секретари к себе. Делов у меня много, будешь помогать. К отцу в Сибирь я отписывал, он благословляет. Будешь служить честно и старательно — не обижу. Женю, придет пора, на дочери какого-нибудь тысячника, помогу собственное дело завести. Слышишь? А то и... вон дочка-то у меня растет... Чем не невеста?

Аркадий Арсентьевич был навеселе и про дочку сказал в шутку. Но Матвей воспринял это всерьез, припал к руке Клычкова.

...Теперь Матвей Сажин все время был в разъездах. Серафима сперва потосковала о нем, а потом, к своему удивлению, быстро успокоилась, стала забывать. И когда Матвей появился в обители, почувствовала себя неудобно, неуютно как-то, старалась не попадаться ему на глаза.

— Что это, Сима, ты... вроде будто я тебе чужой-незнакомый совсем? — спросил однажды Матвей.— А я очень даже вспоминал... И вообще...

— Да вы теперь такой занятый стали,— нехотя ответила Серафима.

— По своей ли воле я? Да и то сказать — батюшка твой не обидеть обещал... дело помочь завести. Вот я езжу с ним, присматриваюсь, приглядываюсь, как хозяинует он. Очень даже пригодится это мне... нам пригодится. Потому что я об тебе...

Серафиме стало скучно и тоскливо. Она махнула ему рукой и побежала, крикнув на ходу:

— Совсем забыла я... мы с Настасьей шелковый кошелек да опояску отцу вышиваем. Надо закончить, пока он в обители. А то вы живо укатите...

Серафима убежала, а Матвей растерянно потер ладонью подбородок, точно он чесался.

Серафиме же и дела теперь до Матвея было мало. А тут первая поездка в Екатеринбург, потом вторая... До Матвея ли уж и вовсе!

...Рыбы все играли в пруду, а Серафима все хохотала и хохотала.

— Тебе смешки, Сима, а мне слезы,— обиженно проговорил Сажин.— Неужели ты забыла все...

— Не называйте меня больше на «ты»,— холодно и жестко сказала вдруг она.— Да и какая я вам Сима? Ничего я не забыла, а только... все, что было тогда,— это детство... Неужели не понимаете?..

Усики Матвея испуганно дрогнули. Щеки, нос и даже подбородок побелели.

— Сима... Серафима Аркадьевна...

И Сажин, как в прошлом году Артамон Казаров, рухнул перед ней на колени.

— Встаньте, еще увидят...

— Пусть видят... пусть! — плаксиво заныл Матвей, преданно заглядывая ей в глаза.— Ведь я тебя... я вас, Серафима Аркадьевна... я все эти годы об вас... И Аркадий Арсентьевич обещал... Завели бы свое дело. У меня жалованье за все годы целехонько... И помимо кое-чего имеется. Тем более теперь... Эти рудники... Хорошие рудники, тыщ до двухсот будут давать в год. Уж я наладил бы их... А, Серафима Аркадьевна?! Жили бы тут — горя не знали. А я бы для тебя... для вас... верней и понятливей собаки был. Я, помоги бог развернуться, на руках носил бы тебя... и все, что ни пожелала, со дна доставал бы.

Серафима, сидя на скамейке, глядела на него своими голубыми глазами с любопытством.

— Понятливей собаки, говоришь? Со дна? — переспросила она.

— Серафима Аркадьевна! Ей-богу!!

— Ну-ну... поглядим. Расшнуруй-ка.— И она приподняла ногу в ботинке с высоким голенищем.

— Зачем? — недоуменно спросил Матвей.

— Чего же ты?! — нетерпеливо проговорила девушка.

Сажин принялся расшнуровывать ботинок, Серафима сняла его, швырнула в пруд и молча подняла глаза на Матвея. Тот уж поднялся с колен, растерянно глядел то на исчезающие круги на воде, то на Серафиму.

— Так чего же ты, понятливый?! — опять усмехнулась Серафима.— Пока надо достать со дна только ботинок.

Сажин покрутился на месте. Серафима по-прежнему глядела на него с любопытством.

Матвей, согнувшись, как побитый, сделал несколько шагов к пруду и... бултыхнулся в воду в чем был.

Он долго барахтался в воде, нырял, всплывал на поверхность, отфыркивался и снова нырял.

Матвей Сажин отыскал-таки на дне ботинок, вылез на берег, перепачканный илом и тиной. Шатаясь, подошел с Серафиме, молча протянул его. Но Серафима снова усмехнулась:

— Что-то я не видела собак с руками...

Сажин, правда, помедлил. Но все-таки взял ботинок в зубы, снова опустился на колени...

Серафима вынула у него изо рта ботинок и вздрогнула, услышав хохот. Лодка, торчащая из камышей, дернулась и поплыла. В лодке сидел отец, на корме торчали две удочки.

— Ну, детки, испортили вы мне рыбалку! — громко и весело проговорил Клычков, выходя на берег там же, где только что выполз Сажин.— Я сидел, боясь удилищем взмахнуть. Зато уж...

Сажин, мокрый, вонючий, жалкий, не знал, куда деваться.

— Так как же, Матвейка, жениться хочешь? — со смехом спросил Клычков, опускаясь на скамейку.

— Аркадий Арсентьевич, благодетель...— пролепетал Сажин.— Я бы ей верой и правдой...

— Вижу. Слышишь, дочка? — повернулся к Серафиме Клычков, вытирая проступившие от душившего его смеха слезы.— Я бы еще посидел в лодке, да уж невтерпеж.

— Это ему еще заслужить надо,— сказала Серафима. И вдруг вспыхнул, зашатался в ее прищуренных глазах шальной огонь, она, чуть помедлив, прибавила:— А знаешь что, отпусти его, батюшка, в Екатеринбург со мной.

— То есть? — На лице Клычкова смешинки стали таять.

— А заслуживать будет,— чуть улыбнулась Серафима.— Он, вишь, понятливый да исполнительный...

— Неудобно как-то — у девицы в лакеях мужик!

— Положим, в городе-то и другие лакеи найдутся. Матвей будет вроде телохранителя.

— А, Матвей? — повернулся теперь к нему Клычков.— И как же я без тебя, брат, буду?

— Аркадий Арсентьевич! Отец родной, я на все согласный.— Сажин опять готов был упасть на колени.— Вместо меня вы найдете кого-нибудь. А я бы уж Серафиме Аркадьевне с таким усердием... Волоса с ее головы не упало бы. Перед вами и богом говорю... Люблю ее... И докажу. Всем поведением.

— Это вот и посмотрим еще,— с прежней улыбкой проговорила Серафима и, капризно взмахнув длинными ресницами, протянула: — Ну, батюшка, сам же говорил — коротка ведь жизнь...

— Эх, черт! — Клычков вскочил со скамейки.— Ну и дочка! Чую, кровь-то в тебе чья! Быть посему! Н-но, Матвейка, гляди у меня! И ежели что... гнев мой знаешь... И уж прямо говорю: в жены тогда ее взять можешь, а капиталу на приданое — фигу с маслом.

Поглядеть на свои рудники Серафима поехала на другой день. Сопровождал ее снова Матвей Сажин, со вчерашнего дня получивший новое «место».

Рудники находились примерно в полуверсте от села, в холмах, проросших густым лесом. Серафима легко шла по тропинке впереди Сажина. Матвей шагал сзади, нагруженный зонтами, галошами, плащами, так как весь день небо хмурилось, грозя дождем.

Скоро меж стволов завиднелось несколько построек, похожих на бараки.

— Пришли, что ли? — спросила Серафима.

— Вроде бы... Погодите, я сейчас. Там не знаючи легко провалиться в выработки.

В это время от ближнего барака послышались голоса, ругань, какой-то стон.

— Что это?! — воскликнула Серафима.

— Поглядим сейчас,— проговорил Сажин.— Теперь уж вы, Серафима Аркадьевна, следом за мной ступайте.

Когда подошли к бараку, Серафима невольно остановилась: перед ней на земле лежал окровавленный человек. Вокруг него толпились люди, и те четверо здоровенных парней, которые недавно стаскивали в баню гостей отца, отгоняли их прочь.

— Что здесь происходит? — поморщившись, спросила Серафима.

Из-под навеса, устроенного возле барака от дождя и солнца, вышел Гаврила Казаков, стряхнул крошки с бороды (он пил под навесом чай из самовара), чуть поклонился.

— Да вот в забое человека привалило. Не поостерегся. Сам виноват.

Со всех сторон закричали:

— Ты, управляющий, не выгораживайся...

— Больного человека в шахту погнал...

— И лес на крепи — одно гнилье...

— Кровопийцы проклятые!..

— Тихо! — во всю глотку гаркнул Казаков.— Знаем мы таких больных. Сами на работу не выходят, да еще других смущают разговорчиками. А вы, Серафима Аркадьевна, шли бы домой. Не женское тут дело... смотреть-то.

— Доктора ведь надо,— сказала Серафима. Желание осматривать рудники сразу пропало.— И перенесите его хоть в помещение куда-нибудь.

— Перенесем,— ответил Казаков.— И за доктором послано.

— Спасибо и за это, наша новая хозяюшка,— проговорил из толпы глухой голос. Серафима глянула — узнала вчерашнего усатого мужика Григория Кувалду.

— Теперь-то видишь речку, по которой поселок наш прозывается? — пошевелился окровавленный человек, пытаясь сесть.

Серафима обернулась. На нее смотрел рыжеволосый, что сидел вчера за столом в шапке и рваной тужурке,— Степан Грачев.

Настроение у Серафимы окончательно испортилось.

— Перенесите в помещение, говорю! Слышите? Дождь же собирается,— еще раз сказала она и быстро пошла обратно в село.

...На другой же день, рано утром, наскоро простившись с отцом, Серафима уехала в Екатеринбург.

— Черта с два Гаврила послал за доктором! Знаю я его,— дорогой проговорил Матвей.— А этого мужика он, видно, специально в обрушивающийся забой послал. Не с одним десятком неугодных людишек так он... расправился.

— А если узнают про это... про такое власти-то?!

— Ну-у, не очень-то просто! Ан узнают — чего для Аркадь Арсентьевича власти! Подумаешь... Вся власть у него в кармане. И у вас самой теперь-то ее не меньше будет.

Глава 1

Было самое начало июня 1960 года.

Всю ночь над Зеленым Долом хлестал проливной дождь с грозой.

Весна стояла на редкость сухой и жаркой. Земля еще в середине мая взялась твердой коркой. Потом эта корка начала пузыриться, трескаться, сворачиваться жесткой и ломкой шелухой, которая под ногами рассыпалась в прах. Посевы желтели, кучерявились. На самых высоких местах пашни появились серовато-черные пролысины, которые даже при незначительном ветерке начинали куриться седой пылью.

Это были зловещие дымки. Каждый в деревне понимал: постоит еще неделю-другую такое пекло — «загорится» вся земля. Даже травы на заливных лугах, не успев отрасти, сникали и, обваренные до корней, сохли, жухли. Осокорь на утесе бессильно свесил ветви, точно старался коснуться ими живительных вод обмелевшей Светлихи, пока она совсем не пересохла.

И вдруг ночью, когда никто не ждал, с грохотом раскололось небо, ударил дождь. Холодный, освежающий, с ветром. Тяжелые дождевые струи, казалось, раздробят, выхлещут, выдавят в домах стекла, обильный ливень проломит деревянные крыши, прогнет железные...

Всю ночь Захар Большаков не мог уснуть. Несколько раз он ложился в постель, укрывался с головой. Вскоре отбрасывал одеяло, зажигал свет, брал с этажерки книгу. Но и читать не мог. Тогда вставал, принимался ходить от окна к окну, трогать ладонями холодные стекла, которые при вспышках молний были мутными, толстыми от потоков воды. На улице шумело, выло и грохотало.

Шел дождь. По радио обещали его неделю назад. И вот он шел. А Большаков все-таки не верил.

Перед рассветом он натянул дождевик, хлюпая в темноте по лужам, пошел к скотным дворам. Дождь гулко стучал по одеревенелому плащу, ветер пытался сорвать не только фуражку, но и отяжелевший дождевик.

Подойдя к телятнику, заметил у бревенчатой стены какого-то человека.

— Кто тут? — спросил Захар Захарович, останавливаясь, хотя спрашивать было не нужно. Захар не столько узнал, сколько догадался, что это Ирина Шатрова, телятница.

Председатель подошел и молча стал рядом, прижавшись спиной к стене. Дождь все равно мочил их, хлестал прямо в лицо. С усов Захара стекала вода.

Когда ночную темень просекала молния, над зареченским утесом четко и могуче вырисовывался громадный осокорь.

— Ты чего здесь? — снова проговорил председатель.

— Дядя Захар! — прошептала девушка и ткнулась мокрой головой ему в плечо.— Дождь ведь! Неужели это дождь?

И, не дожидаясь ответа, убежала в ревущую темноту.

Девушка убежала, а Захар Захарович помрачнел. Да, это был дождь. Ему радуется Иринка Шатрова, радуются все колхозники. Но никто из них не знает пока того, что знает он, Захар Большаков: в бумажке, присланной вчера из районного центра, черным по белому написано, что «обильные дожди предполагаются в течение всего июня и июля». Да если бы и знали, не обратили бы сейчас никакого внимания на это предположение — слишком долго ждали они дождя. Но он-то, Захар Большаков, не имеет права не обратить. Для нынешних хлебов затяжные дожди еще, может, и ничего, а как в непогоду заготавливать корма? Ведь в колхозе одних дойных коров более семисот. Да свиньи, да овцы, да лошади...

Председатель постоял несколько минут возле стены, вздохнул и успокоил себя: «Ну да ничего, прогноз прогнозом, а о затяжных дождях еще на воде вилами писано...»

Он заглянул по очереди во все скотные дворы, убедился, что соломенные крыши не протекают, в помещениях сухо, и пошел домой. «А перекрыть крыши давно пора уж,— подумал он.— Обветшали, а в телятнике совсем худая. Еще один такой дождь — и прольет...»

Скинув у порога грязные сапоги и мокрый дождевик, Захар Захарович, не зажигая света, прошел к кровати и прилег. Он понимал, что надо бы хоть часок-другой поспать, но сон его не брал, хотя веки налились свинцом.

Забылся он, когда шум дождя утих. Забылся вроде на секунду, но когда открыл глаза, в окна били ослепительно-желтые солнечные лучи.

Кровать сына была пуста. Как вчера, как позавчера, как почти каждое утро за последние три года, она, аккуратно заправленная, сиротливо стояла у стенки. Мишка учился в районной десятилетке и сейчас сдавал экзамены на аттестат зрелости.

Захар Захарович улыбнулся каким-то своим мыслям, поправил подушку на кровати сына, провел ладонью по железной спинке, выпил стакан молока и пошел в контору.

Было рано, шестой час. Солнце уже плавало довольно высоко над омытой ночным ливнем землей в седых космах утреннего тумана.

Но раньше солнца встают летом в деревне люди. Контора была уже полна. Звонко кидал костяшки на счетах колхозный бухгалтер Зиновий Маркович. За своим столом сидел зоотехник. А за столом главного агронома Корнеева — бригадир первой бригады Устин Морозов. Видимо, Борис Дементьевич уехал по бригадам, поглядеть, все ли поля захватил ночной дождь, в каком они состоянии.

И вокруг каждого стола толпились доярки, скотники, птичницы, механизаторы. Одни требовали выписать для коров комковой соли, другие — подкормки для свиней, кто-то настойчиво просил зоотехника сегодня же осмотреть бычка с белым пятном на лопатке, а два тракториста совали под нос Устину Морозову истершиеся поршневые кольца и настойчиво спрашивали:

— Это как? Можно с таким работать? Машину угробить, что ли? Вы куда смотрите? Ведь сенокос на носу...

— А я при чем тут? Спрашивайте у главного инженера, у председателя,— мотал широкой бородой Устин.— Где я вам возьму? Нету запасных частей.

— То-то же, что нету! У меня вон еще магнето ни к черту. Все обмотки попробивало. Ты бригадир — ты и беспокойся.

Разноголосый гул немного смолк, едва Большаков переступил порог.

— Здравствуйте,— сказал председатель.

— С добрым утречком!

— Здорово ночевали! — послышалось со всех сторон.

— А дождичек-то, Захарыч, а?

— Дождичек славный,— весело подтвердил Захар, направляясь в свой кабинет.— У животноводов как, все в порядке?

— Да смотря что. Коровники сухи, а вон Маньку-доярку насквозь промочило.

— Как же это ты? — спросил председатель у курносой девчонки в сереньком платье.

— Дык с Колькой, известное дело, за деревней шастала. Их и прихватило,— пояснил кто-то.

— Ну и шастала! — огрызнулась девчонка.

— Да нам что! Чихать ведь будешь от простуды. А так — на здоровье.

— «Здоровье»-то как раз ей и промочило. Головенку-то Колька ей своим пиджаком замотал...

Вместе со всеми смеялась и девушка-доярка. А отсмеявшись, проговорила:

— Ежели и промочило, высохну. А вот тебя, Данилка...

Остальных ее слов Захар не разобрал, потому что прошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Но девчонка, видно, насмерть убила чем-то своего обидчика, потому что контора снова

вздрогнула от хохота, да такого, что даже Зиновий Маркович закричал, выйдя из себя:

— А, чтоб вас! Тут ведь бухгалтерия, а не какой-нибудь караван-сарай...

Оттого, что утреннее солнце весело проливалось в кабинет сразу через все окна, что ночью прошел долгожданный и хороший ливень, оттого, что скоро возвратится, закончив десятилетку, Мишка, и, наконец, оттого, что за дверью все еще плескался беззлобный, веселый смех, раздавались возбужденные голоса, настроение председателя стало совсем хорошим. «Караван-сарай»,— подумал он, вешая фуражку на гвоздь, и опять улыбнулся. Контора действительно была неудобной — его кабинет да гулкая общая комната, в которой размещался весь колхозный штаб. Скоро будет новое помещение под контору. Но все равно ведь бухгалтер будет называть ее по привычке «караван-сараем».

Зиновий Маркович из эвакуированных в годы войны. В молодости он жил где-то в Таджикистане.

Каждый рабочий день Захара Захаровича начинался с одного и того же: он приходил в контору, садился за стол, к нему гурьбой вваливались люди для подписи разных счетов, распоряжений, ведомостей, накладных. Большаков сам установил такой порядок и даже с удовольствием подписывал бумаги и прикладывал к ним печати. Люди затем получали в кладовых по этим документам продукты, соль, комбикорм, различные материалы — словом, все то, что было необходимо для жизнедеятельности огромного хозяйства. И всегда, хотя Большаков воевал давным-давно, только в гражданскую, это чем-то напоминало ему выдачу боеприпасов перед очередным боем.

Вот и сейчас, едва повесил фуражку, дверь распахнулась, толпой ввалились люди, обступили еще пустой стол. Когда Захар сел на свое место, перед ним легли первые документы. Но Большаков на этот раз отодвинул их, взялся за телефон.

— Алло! Дайте Ручьевку... Как занято?.. Тогда пятую бригаду... Ага, я... А потом следом четвертую... Что, навстречу звонит? Так я и говорю — давайте... Игнат Прохорыч, доброе утро! Как у тебя?

Игнат Прохорович Круглов, бригадир второй бригады, гудел в трубку:

— Захарыч, здорово! Доброе, доброе утро у нас! Об чем и докладываю.

— Все поля захватило?

— Все. Накрыло, как широким одеялом. Помочило добре, дороги вот только развезло, машины по самые кузова вязнут. Тут Корнеев появился, так последние километры до нас пешком пришлось, бедняге. Мы его на подводу пересадили, в бригаду к Горбатенке направился.

— Коровники как?

— Ничего, выдержали. В свинарнике у нас только покапало маленько. Да свинья ничего, грязь любит. В общем, перекроем на днях свежей соломкой. Слушай, Захар Захарыч, у нас тут два комбайновых мотора никак не идут. И коленчатый вал у одного С-80.

— Что с ними? Может, главного инженера подослать? — спросил Большаков.

— Да нет, в нашей самодельной мастерской с ними ничего не сделаешь. Надо везти в вашу механическую. Подсохнет маленько дорога — я отправлю к вам ребят.

— Ладно, давай.

Председатель помолчал, пощипал пальцами усы, похожие на толстую подкову.

Затем по очереди Захар поговорил с третьей, четвертой и пятой бригадами. Дождь прошел везде, и везде было все в порядке.

Наконец председатель принялся за бумаги.

Когда последняя накладная была подписана, в кабинет в ту же секунду вошел Зиновий Маркович. Так повторялось каждое утро. Захар когда-то пытался узнать, каким чутьем бухгалтер угадывал эту секунду, но давным-давно отказался от своего бесполезного желания.

Бухгалтер входил в кабинет независимо от того, были у него дела к председателю или нет. Своей очереди он не уступал никому, даже если кто-то являлся с самым неотложным делом. «Мало ли что,— заявлял он всякому.— А финансы есть финансы. Если у меня нет к председателю дел, возможно, у председателя есть ко мне».

Сегодня дела были и у того, и у другого. Еще вчера они решили: нынче утром оформить счета кирпичного завода, райпромкомбината, оплатить кооперации стоимость ста тонн цемента и двенадцати тонн водопроводных труб.

— Вот,— положил бухгалтер перед Большаковым денежные документы.— Ровным счетом — девяносто тысяч триста сорок два рубля восемьдесят две копейки. Сейчас позавтракаю и поеду в район производить расчеты.

Захар поворошил документы, задумался, глядя в окно. Там, примерно в полукилометре от конторы, на высоком холме штабелями навалены доски, груды красных, облитых ночным ливнем кирпичей. Все это было приготовлено для строительства водонапорной башни.

На животноводческие фермы Зеленого Дола водопровод был проведен давно. Но воду качали почти для каждой фермы отдельно. Как поить скот — так и качать. Электромоторы и насосы давно поизносились. Водопроводные трубы, проржавевшие за много лет, часто лопались, особенно зимой, и тоже требовали замены. А это удовольствие не дешевенькое.

Строительство мощного колхозного водопровода, который дал бы воду не только на все фермы, но и в дома колхозников,—

давнишняя мечта Большакова. Прошедшей зимой подсчитали, сколько будет стоить замена старых моторов, труб, насосов и сколько — строительство нового водопровода. Результат вышел далеко не в пользу нового. И все-таки решили его строить.

Пока заложили только фундамент водонапорной башни. И вот этот цемент, кирпич, трубы, за которые надо было платить сейчас же деньги, тоже предназначались для водопровода.

Захар вздохнул, еще раз поворошил лежащие перед ним бумаги.

— Сколько у нас, Зиновий Маркович, всего на счету?

— А сколько? Остается на сегодняшний день десять тысяч двести два рубля тридцать восемь копеек,— без всякой запинки ответил старый бухгалтер.

— А поступления какие ожидаются?

— Так тебе, Захарыч, лучше знать. Молоко сдаем. Скоро зелень пойдет, огурчики там, у Клавдии Никулиной, уже зацветают.

— Это еще не скоро,— опять вздохнул председатель.

— Договора на продажу хлеба...

— Об договорах чего говорить! — перебил бухгалтера председатель.— Сперва вырастить хлеб надо.

За закрытой дверью послышались голоса. Большаков знал — это пришли заведующий гаражом Сергеев, одновременно являющийся автомехаником, и колхозный прораб Иван Моторин.

— Отойдите от кабинета, не мешайте. У Захар Захарыча Зиновий Маркович,— строго предупредил девичий голосок.

Этого предупреждения счетовода всегда удостаивались только почему-то Сергеев с Моториным. И их прокуренные голоса всегда бубнили за дверью что-нибудь вроде: «Ты, дочка, знай себе сальду свою да бульду, а в настоящие дела не лезь. Занимают председателя по пустякам!»

Однако оба терпеливо ждали, пока выйдет из кабинета бухгалтер.

— Кстати,— сказал Большаков, прислушиваясь к голосам,— как там с автомашинами?

— Так по разнарядке нам только на третий квартал дают два самосвала и один ГАЗ.

— Я в финансовом смысле.

— А что смысл? Хорошо бы, конечно, заранее оплатить.

— Ну?

— А что «ну»? — по своей привычке переспросил бухгалтер.— На следующий месяц зажму все щелки, Захарыч, ты уж так и знай. И копейка не просочится.

— Что ж,— медленно проговорил Большаков,— пожалуй, действительно зажимай. Чем скорее за машины рассчитаемся, тем лучше. Только сперва вот что... Сперва надо нам в кооперации выкупить шифер.— Председатель собрал все бумаги, протянул их бухгалтеру.— Придется переделать все, Зиновий Мар-

2*

кович. Я вчера вечером договорился насчет шифера с райпотребсоюзом. Завтракай — и в район, забирай все, что там у них есть. Иначе другие заберут. На следующей неделе как хочешь, но чтоб и водопроводные материалы были оплачены. А потом уж и зажимай. Все.

...Заведующий гаражом с самого порога закричал о том, что еще неделя, ну от силы две — и его разорвут на части. Все требуют машин, а у него их всего с гулькин нос.

«Гулькин нос» выглядел все-таки довольно внушительно — за первой зеленодольской бригадой было закреплено двенадцать автомашин, не считая его, председательского, «газика». Но Сергееву не давало покоя, что в Ручьевке, в бригаде Круглова, на две машины больше. И, зная о разнарядке, он шумел не без умысла.

— А ты не кричи, криком ничего не возьмешь,— остановил его Большаков.— Сказал тебе — из новых одну машину, может быть, дам, больше не получишь... Теперь — как дела у строителей?

Иван Моторин, щупленький, жилистый человек, лучший по всему колхозу плотник, столяр, печник, каменщик,— да были ли строительные профессии, которыми он не владел бы в совершенстве? — заговорил спокойно, неторопливо:

— Сводка с фронта строительства обнадеживающая, Захарыч. В бригаде у Горбатенки на клуб можно прилаживать вывеску. Правда, застеклить окна надо, да старик Петрович захворал.

— Что с ним?

— Да ведь как сказать...— помялся Моторин.— Оно, может, и уважительная причина, может, нет. Дочку замуж выдавал.

— Что же, он единственный стекольщик в бригаде?

— Стекольщиков-то нашли бы. А вот такой нехитрый инструмент — алмаз — один на поселок. Петровичева собственность. Никому не доверяет старик. Вот и ждать приходится. Я к тому — купить бы алмазов штук десяток для колхоза.

Большаков вынул толстый блокнот со стертыми уже золотыми буквами «Делегат областной партконференции» и рядом с записями о токарных станках, комбайнах, тракторах сделал пометку об алмазах.

— Что там с коровником в бригаде Притворова? — спросил Захар, пряча блокнот.

— Стропила поставлены. Завтра крыть надо начинать. Опять соломой, что ли?

— Нет уж, хватит соломой баловаться. Вечером туда отправлю шифер. А с водопроводом так, Иван: снимай всех людей с башни, пусть сбрасывают сопревшую крышу с телятника. Тоже закроем шифером. Да потолок там погляди — его утеплить надо.

— Погляжу. А с водопроводом надолго?

— Прервемся на недельку.

Ровно в девять утра, когда начался рабочий день в райцентре, Большаков позвонил в Озерки секретарю райкома партии Григорьеву.

— Зашиться можем без запчастей,— говорил приглушенно председатель, поглядывая через окно вдоль залитой солнцем улицы.— Фонды, конечно, выбрали, да какие это фонды! Не поможет ли чем райком?

Невдалеке виднелся дом бригадира Устина Морозова. Из ворот вышла жена бригадира, старая Пистимея, на секунду остановилась, глянула по сторонам, потуже затянула светленький платочек под подбородком и, быстро перейдя дорогу, юркнула в переулок.

Большаков нахмурился. Он знал, куда направилась Пистимея.

— Да, да, я слушаю...— встрепенулся Захар Захарович.— Трудно?.. Да я понимаю, что нелегко. Но что же делать? Сенокос на носу, а там уборка... Ага, спасибо... В городе будешь? Когда?.. Знаешь что — давай и я подъеду. Вдвоем что-нибудь и наскребем, глядишь... Ага, попробую указать тебе самые добычливые мои места...

Положив трубку, Захар продолжал глядеть в окно, все так же хмурясь. По улице, прижимаясь к обочинам, обходя дождевые лужи, тащились несколько старушонок. Иные тыкали впереди себя, как слепые, костылями.

Миновав дом Морозовых, старухи ныряли в тот же переулок, что и Пистимея. Там, в конце переулка, в самом его тупике, стоял на краю деревни баптистский молитвенный дом.

Он был Захару да и всем остальным как бельмо на глазу. Сколько по поводу этого религиозного гнезда он выслушал едких замечаний, недвусмысленных намеков и шуток! Как совещание в районе, обязательно кто-нибудь в перерыве подденет Большакова. Конечно, говорили всегда ради шутки, беззлобно. Но тем не менее шутили, смеялись. А что Захар Большаков мог поделать с молитвенным домом? Он стоял — и все. Вот уже полтора десятка лет.

До революции в Зеленом Доле была только православная церковь. Однако среди деревенских старух было и около десятка баптисток. До самого окончания гражданской войны их не было видно и слышно. Но однажды старая-престарая старушонка Федосья Лагуткина зашла в контору к Захару, постукивая костылем по деревянному полу.

— Вот, значит, сынок... по ентому я делу, получается... Православного-то попа вытурили вы, да и бог с ним. А поскольку баптисты теперь того... тоже разрешенные Советской властью и поскольку опять же богу-то легче благословлять не каждую овцу в отдельности, а все стадо Христово гуртом, мы, значит, и просим тебя, касатик,— уж позаботиться...

Не скоро, не враз понял Захар, что старуха просит не более не менее как похлопотать об открытии баптистского молитвенного дома. А поняв, выпроводил старуху ни с чем.

Выпроводил — и забыл как-то об этом случае. Да и вообще не придавал большого значения деревенским религиозникам — мало ли осталось повсюду верующих, в Озерках вон православная церквушка до сих пор действует, многие зеленодольские старушонки иногда ездят туда молиться. Баптисты же поют молитвы дома, собираясь то на одной квартире, то на другой.

Так прошло немало лет, началась и почти прошла Отечественная.

И вот раз, другой, третий их песнопения стали доноситься из одного и того же полуразрушившегося дома, принадлежащего родственнице той самой Федосьи Лагуткиной. А потом оттуда на всю деревню посыпался стук топоров. Захар подвернул в глухой переулок на ходке полюбопытствовать, что за ремонт затеяла старуха.

Однако возле дома его встретила не Лагуткина, а жена ушедшего на фронт бригадира Устина Морозова, Пистимея:

— Вот, Захар Захарыч... Мы, значит, в совет писали, в Москву... Нам и разрешили.

— В какой совет? Чего разрешили? — не понял Большаков.

Несколько расторопных, незнакомых Захару плотников меж тем ловко отдирали полусгнившие тесины с крыши, выворачивали старые, трухлявые оконные коробки и тут же выстругивали новые.

— Так в Совет по религиозным культам. Какой, слава богу, при правительстве организовался недавно. А то ведь несправедливо как-то. У православных есть свое начальство, а мы-то, баптисты, словно сироты какие. И заступиться за нас некому. А теперь-то... Разрешили вот, говорю, в общинку нам собраться и молитвенный дом открыть. Мы сложились да купили этот домишко. Неказистый, правда. А ничего, подправим его. А ты... ты спроси там, в райисполкоме,— там бумага насчет нас имеется...

И ему, Большакову, оставалось только усмехнуться.

— Кончилось, значит, сиротство ваше? Воскресли родители? — невесело спросил он.

— Ты... об чем это? — сухо промолвила Пистимея тусклым голосом.

— Да-а...

Не понимал, не мог никак взять в толк Большаков, что же происходит в стране с религиозниками. В середине войны вдруг начали расти по деревням, как грибы, всякие религиозные общины, открываться церквушки и молитвенные дома. В 1943 году при Совете Министров СССР был создан Совет по делам русской православной церкви, а в 1944-м еще один Совет — по делам религиозных культов. Оба совета, словно наперебой, еще усилен-

нее принялись плодить по всей стране общины и секты. И нельзя, невозможно было помешать этому. Захар даже удивлялся: как это бог миловал их деревню. И вот...

Поразило в тот день его еще одно обстоятельство. «Мы-то, баптисты, словно сироты...» — сказала Пистимея.

— Как же это так? — спросил у нее Захар.— Что ты верующая, я знаю. Но ведь ты, кажется, православной веры...

— Так что вера? Христос-то один... А и дитю малому все глуби да глуби раскрываются, ежели с усердием науки учит,— как-то туманно ответила Пистимея.— А мы, сказываю, по закону все. Бумага, говорю, есть.

«Бумага» в райисполкоме действительно была. Но когда Большаков заметил, что нелишне было хотя бы поставить председателя колхоза в известность об этой «бумаге», ему ответили:

— Религия — деликатное, знаете ли, дело. Особенно сейчас, в военное время. И верующие, знаете ли... не те уже... не прежние религиозные мракобесы. Христианство в СССР проповедует сейчас и воспитывает любовь к народу, патриотизм, ненависть к немецким фашистам. Зайдите-ка в нашу озерскую церковь хотя бы. Все молитвы верующих — о ниспослании нам победы...

— Вот тут-то и богомольцам надо кое-что разъяснить... Победу пошлет не бог, а сам народ только может ее...

— Слушайте! Мы не можем сейчас отталкивать от себя верующих. Понимать же надо! И кроме того... Ну вот хотя бы у вас в колхозе. Разве верующие сейчас трудятся хуже, чем атеисты?

Это была, пожалуй, правда — верующие работали нисколько не хуже. Та же Пистимея Морозова дни и ночи хлесталась на полях, на фермах. Куда бы Захар ни ставил ее, она делала дело молчком, но добросовестно, не жалуясь на усталость, хотя временами чуть не падала с ног. Захар даже слышал несколько раз, как Пистимея подбадривала измотавшихся вконец баб, мягко, по-женски напоминая, что мужьям-то на фронте потяжельше да пожарче. «Ничего уж,— говорила она.— Надо ведь. А за молитвой уж отдохнем душой и телом...»

— Так что не обижайте там ваших верующих. Само собой, конечно, присматривайте за ними. Чтоб, знаете ли, ничего такого...

На этом и закончился разговор в райисполкоме. Закончился, в сущности, ничем, потому что Захар так и не уразумел тогда, в чем была суть религиозной политики. Он не обижал верующих, как ему советовали. Он присматривал за ними.

«Ничего такого» за все годы, кажется, не произошло. Только вот молитвенный дом, аккуратненький, чистенький, всегда со свежепокрашенными голубыми наличниками, напоминал чем-то пасхальное яичко и вызывал теперь сильнее, чем когда бы то ни было, тошноту.

Проводив взглядом старух, Большаков вытряхнул пепельницу в мусорную корзину, прибрал на столе бумаги, закрыл

металлическим колпачком стеклянную чернильницу и пошел на берег речки.

Уже много-много лет подряд Захар каждое утро перед завтраком купался в холодной, прозрачной Светлихе.

Не изменил он этому правилу и сегодня.

Тело обожгло, ошпарило, едва он кинулся с головой в воду. Покрякивая и отфыркиваясь, Захар доплыл почти до середины реки. Хотя течение и было слабеньким, совсем незаметным, его все же порядочно снесло вниз. Тогда он лег против струи и еще энергичнее заработал руками, с удовольствием ощущая, как прохладные волны обтекают плечи, грудь, ноги.

И только поравнявшись с огромным валуном, возле которого всегда раздевался, повернул к берегу.

Когда выбрался на теплую, успевшую нагреться под солнцем гальку, от его крепкого, загорелого тела шел пар. Все мышцы, размятые во время купания, еще подрагивали, а сероватые глаза поблескивали по-мальчишечьи задорно и хвастливо.

Что же, если бы не поседевшие голова и усы да не предательские морщины на лбу и возле глаз, вряд ли посторонний человек определил бы его возраст. Впрочем, стариком его и так никто до сих пор называть не решается... Мало ли отчего, в самом деле, могут изрезать лицо морщины и поседеть голова.

А между тем Захару Большакову шел шестьдесят пятый год.

Усевшись на гальку, Захар с удовольствием подставил солнцу уже и без того задубевшие от лучей плечи, закурил и стал смотреть на Светлиху.

Течет, переливаясь на солнце, течет, не иссякая, эта удивительная таежная речка. Всякое видела она. Принимала когда-то в свои воды зарубленных колчаковцами зеленодольцев (самыми первыми приняла она теплым вечером родителей Марьи Вороновой да отца с матерью Захара Большакова), расстрелянных по окрестным деревням партизан, а то и живых, связанных по рукам и ногам людей, кружила их в омуте под утесом и несла трупы дальше, куда-то вниз. Не раз и не два окрашивались ее воды заревом пожарищ и теплой человеческой кровью.

Помнит все это Захар, помнит.

Но другое великое половодье, разлившееся тогда по всей стране, захватывало, переламывало и уносило всякую нечисть человеческую. Исчезли в горячем водовороте и зеленодольские «властелины» братья Меньшиковы, собиравшиеся стоять вечно на земле.

Из всего меньшиковского рода остались только дочь Филиппа Наталья да его жена. Жена после революции помутилась разумом и через несколько лет умерла.

Сперва Наталья дичилась немного людей. Но, видя, что к ней относятся все по-человечески, никто никогда даже не напомнит об отце, она повеселела, заулыбалась, как улыбается ромашка утреннему солнцу.

Наталья и по сей день живет в Зеленом Доле.

Когда организовали в селе колхоз, назвали его коротко и выразительно «Рассвет». Колхозу понадобились пахотные земли. Корчевать было под силу только мелколесье, молодняк на бывшей гари. Не пожалели ни ельник, ни малинник. Захар сам подкапывал лопатой кусты и деревья, захлестывал их веревкой и погонял лошадь. Известно, какая была тогда техника.

И это помнится Захару. И многое-многое другое.

...По некрутой травянистой тропинке, вилявшей меж тальников и зарослей смородины, Захар поднимался в деревню. Потом заросли кончились, открылась небольшая луговина, сплошь покрытая разливом цветущих лютиков. Казалось, на землю просыпалась солнечная стружка и переливалась горячим пламенем, слепила глаза...

А само солнце поднималось все выше и выше, обливая землю желтым веселым цветом. Под его горячими лучами давно высохли разноцветные железные крыши домов, а тесовые еще дымились дрожащими дымками. Блестели разлитые по улицам дождевые лужи, отсвечивали черными, зелеными и золотистыми зеркалами тракторы, выстроившиеся возле ремонтной мастерской. Вспыхивали разноцветными огнями мокрые верхушки кедров, промытая дождем огородная зелень.

Захар любил ходить по своей деревне. Знакомая с детства до последнего плетня, она все вытягивалась и вытягивалась вдоль речки.

Когда-то строились беспорядочно, кто где хотел. Домишки торчали так и сяк, создавая впечатление неуютности и тесноты. В конце концов Захар самовольничать запретил, усадьбы застройщикам начал отводить лично. И постепенно улицы и переулки вытягивались, в деревне как-то стало просторнее и будто светлее. И, шагая по улицам, Большаков всегда прикидывал, как и когда убрать или передвинуть тот или иной домишко, поставленный когда-то не на месте, чтобы улица стала еще шире, еще ровнее, красивее.

Сейчас, направляясь к ремонтной мастерской, Захар ни о чем не думал. Больно заныла вдруг рука, покалеченная в далекий двадцатый год. Вроде вот и здоровьем бог его не обделил, вроде есть еще и сила во всем теле — разве что уступит он только угрюмому заведующему конефермой Фролу Курганову (да ведь и то сказать — Фрол моложе его на пять лет), а рука в последнее время начинает побаливать все чаще. Что ж, годы идут, и вскоре, видно, придется оставить ему это баловство — бороться каждое утро с течением Светлихи, как несколько лет назад бросил зимние купания в проруби. Теперь он осмеливается только, зло напарившись в бане, поваляться чуток в снегу. Да и то опасается уже простуды, тем же моментом нырнет в обжигающий банный пар.

В мастерской разносился грохот и лязг железа. Захар прошел на машинный двор, где стояли комбайны.

Людей он не увидел, зато издалека услышал голос:

— Шутки шутками, а это вопрос философский. И не оплеухой называется, а пощечиной. Один ученый, говорят, целую книгу об этом написал. Он вывел, значит, в этой книге два вывода. Первый: девичья пощечина пришла к нам из глубины веков, второй — пощечина пришла вместе с любовью.

«Так и есть,— безошибочно определил Захар,— Митька Курганов баланду травит».

За комбайном раздался смех, кто-то спросил:

— Ты, Митяй, к щеке-то холодный компресс бы приложил. А за что она тебя?

— Милый ты мой! — воскликнул Митька.— За двадцать веков все человечество так и не могло даже толком установить, что же влияет на настроение женщины. А ты у меня спрашиваешь.

— Погоди, не перебивай. А что еще тот ученый пишет?

— Ну, дальше там всякие рассуждения и примеры,— продолжал Митька.— И даже очень любопытные. Оказывается, все мужчины рано или поздно подвергаются этой болезни под названием любовь. И девяносто девять процентов из них вот уже несколько тысячелетий получают пощечины...

За комбайном сдавленный смех и нетерпеливый возглас:

— Ну?

— Вот и ну! Тот ученый — добросовестный трудяга, брат. Он подсчитал, что если силу всех этих пощечин сложить, то получился бы та-акой удар, от которого Кавказские горы бы в пыль рассыпались... А-а, Захар Захарыч, привет! — как ни в чем не бывало воскликнул Митька, увидев председателя, незаметно сунул под каблук папиросу, вскочил.

Посмеиваясь, поднялись и другие ремонтники.

— Значит, рассыпались бы? — переспросил Захар.

— Так точно, Захар Захарыч. В пыль,— тряхнул Митька своим великолепным чубом.— А отсюда, значит, можно и нам, грешным, уж без труда определить стойкость и крепость мужской части человечества.

— Раздерут когда-нибудь девки твой чуб по волоску.

— Так каждой надо что-нибудь на память. Пожертвую уж.

— Ох, Митька, Митька! — покачал головой Захар.— Да вслед за чубом они и головешку твою расколотят. Про крепость Кавказских гор не знаю, а это уж как пить дать — разобьют.

— Верно, дядя Захар,— согласился вдруг Митька, понизив голос.— Лимит на эти оплеухи я давно перебрал, чувствую. И давненько прикидываю — как бы свой чуб подставить в руки одной тут... Пусть уж теребит каждый день.

— Жениться, что ль, надумал?

— Да вот... почищусь морально с годик...

Захар прошел в кабинет заведующего мастерской.

В комнате, тоже пропахшей соляркой, сидели трое: сам заведующий Филимон Колесников — кряжистый, неповоротливый колхозник с огромными узловатыми руками, черный, как ворон, бородатый бригадир первой бригады Устин Морозов и редактор районной газеты Смирнов. Несмотря на то что Смирнов был в дождевике, по выправке в нем сразу можно было узнать бывшего кадрового военного.

Перед Колесниковым лежала районная газета, но разговор шел не о районных делах.

— Мы, конечно, предлагаем эти американские базы убрать мирным способом,— говорил заведующий мастерской, внимательно рассматривая свои огромные кулачищи.— А не придется ли все же вот этими руками их ликвидировать? А, как ты думаешь, Петр Иваныч?

— Здравствуйте,— сказал Захар, цепляя фуражку на самодельную вешалку.— Все мировые проблемы обсуждаете?

— Да что же... Оно ведь невольно обсуждается, вроде бы само собой,— сказал Колесников.

— Я вот что заглянул, Филимон... К обеду должны из Ручьевки два больных комбайновых мотора подвезти и тракторный коленвал. Как у тебя, загрузно?

— Когда у нас незагрузно-то было? Да ведь чего поделаешь... А что с ними?

— Не знаю. Круглов говорит — что-то серьезное.

— Ладно, поглядим.— Колесников подвинул к себе толстую тетрадку, что-то долго выводил в ней, напряженно сосредоточась.— Так вот, значит, проблема-то какая,— продолжил он, отодвинув тетрадку.— Как, спрашиваю, думаешь, Петр Иваныч?

— Тебе сколько лет, Филимон Денисыч? — спросил вместо ответа Смирнов.

— С десятого года я. Аккурат осенью круглую половину простукнет.

— Сколько из них воевал?

— Да сколько... Всю Отечественную, как и ты, чуть ли не день в день отшагал.

— И как думаешь, не хватит с тебя?

Филимон вздохнул глубоко, протянул руку за кисетом к Устину Морозову, который крутил самокрутку, просыпая на могучие колени, обтянутые засаленными штанами, табачные крошки.

— По-человечески сказать — вроде бы хватит. И ежели еще по совести — какой с меня солдат! Мне вечно говорили, что я в строю как корова в конском ряду. Мне этими руками,— и Филимон покрутил в воздухе широкой, как лопата, ладонью,— мне этими руками привычнее вилы держать или там лопату, гаечный ключ... Да ведь не согласятся они на разоружение, на добровольное ликвидирование этих баз.

— Как же, не затем строили,— усмехнулся в бороду Устин, принимая обратно свой кисет, тоже засаленный, как штаны.

— А война что же — кому она нужна,— промолвил Колесников, зажигая папиросу.

Большаков присел рядом со Смирновым и сказал:

— Может, и есть такие, кому нужна.

В кабинете установилась тишина. Только Устин уронил, качнув головой:

— Это кому же?

Редактор газеты смотрел на председателя не мигая, чуть прищурив глаза. Филимон Колесников полез было зачем-то в стол, но передумал и осторожно задвинул ящик.

— Я так мир понимаю,— продолжал Большаков.— Мироедов мы придавили намертво. А те из них, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели и уж не осмелились оттуда выползти. Большинство из них подохло там без воздуха, от тесноты да собственной обиды. А может, кто и по сей день жив. Живет, как сверчок, да исходит гнилым скрипом в иссохший кулачок. Все ждет — не наступит ли его время, все надеется...

Под Устином Морозовым затрещал стул, он приподнялся и раздавил в металлической пепельнице, стоявшей на столе перед Колесниковым, окурок. Но тут же снова вытащил кисет и проговорил:

— Не осталось уж таких. На что таким надеяться?

— А вот на американскую бомбу хотя бы,— сказал Захар.

Редактор газеты проговорил:

— Такие, пожалуй, еще сохранились кое-где. Во всяком случае, в войну их было порядочно. По деревням то староста, то полицай объявлялся из таких. Многих мы переловили. А вот одного...

Голос у Смирнова вдруг перехватило, он встал, подошел к единственному в комнатушке окну и с минуту постоял, глядя на прибитую ночным ливнем, мокрую еще траву вдоль заборов. Потом продолжал, не оборачиваясь:

— А одного вот старосту не успел я поймать. В моей родной деревне всю оккупацию свирепствовал, всю мою семью погубил — отца, мать, невесту... А ведь мой батальон брал деревню. Улизнул, сволочь...

— Эк, жалко! — согласился Морозов.— Как же ты!

— Так вот. Сам я был тяжело ранен, в сознание пришел когда уж...

— Что ж, может, и в самом деле живут где еще такие,— проговорил Морозов. Он сидел в своей любимой позе — согнувшись, облокотясь на колени, разглядывая крашеный пол между ног.— Как невесту-то звали?

— Хорошее было у нее имя — Полина.

— Поля, значит? И правда хорошее,— просто сказал Морозов, чуть качнув головой.

Еще раз установилось в кабинете молчание. Филимон свернул газету, положил ее на стопку других газет, лежащих на этажерке возле стола.

Председатель проговорил:

— Не сомневайся, Устин, есть такие. Вот были у нас в деревне кулаки — братья Меньшиковы. Ты, конечно, не знаешь их. А Филимон, однако, помнит.

— Слышать слышал. А вспомнить чего-то не могу,— сказал Колесников.— Мал, видно, еще был.

— Зато я их до последнего своего дня не забуду. Уползли куда-то после двадцатого года, скрылись. И, кто знает, может, живы еще. Старшему, Филиппу, лет восемьдесят, правда, теперь, да ведь и по сто, и больше люди живут. А младшему, Демиду, где-то за шестьдесят всего. Он моложе меня, кажется, года на два. Во время войны оба еще находились в силе и, может... может, говорю, в твоей деревне, Петр Иваныч, кто-то из их породы...

— Может быть,— негромко промолвил Смирнов.

Филимон Колесников глянул в окно:

— Иришка Шатрова, кажись, идет сюда.

Захар Большаков при имени Ирины машинально встал, снял с вешалки пропыленную фуражку.

— Эх, черт, не улизнешь теперь! — с досадой проговорил он.— Далеко она там?

— Вон подходит,— ответил Колесников.— Теперь где уж улизнуть... Да, может, и не к тебе она.

Но Ирина Шатрова шла к председателю.

Сноп солнечных лучей, бивших через окно, перерезал надвое кабинетик Колесникова. Переступив порог, девушка, маленькая и тоненькая, настолько тоненькая, что, казалось, вот-вот переломится, стояла, облитая этими лучами, и не то щурилась, не то улыбалась. Солнце отсвечивало на ее гладко зачесанных волосах, переливалось зелеными, голубыми, ярко-розовыми искрами на ее простенькой, дешевой брошке, закалывающей вырез платья, насквозь пронизывало это самое легонькое ситцевое платьишко, ясно обозначая чуть длинноватые по-девчоночьи ноги. Она, конечно, не знала этого, не догадывалась, а если бы догадалась, то сейчас же смутилась бы устремленных на нее четырех пар мужских глаз. А сидящие в кабинете пожилые и просто старые мужчины смотрели на нее не отрываясь. Казалось, она зашла сюда не из мира сего, явилась не из той жизни, которая шумит за окнами, и вот если бы сейчас потухли солнечные лучи, девушка исчезла бы навсегда вместе с ними.

— Фу, а накурили-то! Лодку пустить, так поплывет! — воскликнула она, подбежала к закрытому окну и распахнула его.

Но, очевидно, один из четырех мужчин смотрел на девушку пристальнее, чем остальные, девушка почувствовала это и живо обернулась.

— Ты чего, дядя Устин, так на меня глядишь?

Морозов медленно опустил черные, как закопченное стекло глаза, опять согнулся и облокотился о свои засаленные колени.

— Да мы все на тебя смотрим,— сказал Захар.— Больно уж ты сейчас была красивая.

Ирина, обернувшись к председателю, воскликнула:

— А ты не на меня, ты лучше в окно посмотри, дядя Захар. И если ты... если не разучился еще красоту понимать...— Ирина Шатрова не договорила, указала рукой в окно.

Через оконный проем виднелся переулок, не очень широкий, но прямой, с аккуратными палисадниками. В каждом из них были разбиты цветнички.

Еще не расцветшие, омытые ночным дождем георгины и гладиолусы покачивались на клумбах, роняя на сырую землю прозрачные капли. Построенные весной деревянные тротуары, высыхая под горячим солнцем, дымились, как и крыши домов.

Председатель колхоза, не вставая, невольно взглянул в окно:

— Ну, смотрю...

— Красиво?

— Ничего.

Ирина чуть не до крови закусила губу.

— А это?

— Что? — переспросил Большаков.

— Да грузовик-грязевик ваш!

По чистенькому переулку к мастерской действительно шел пятитонный грузовик, глубоко врезаясь колесами в раскисшую дорогу, брызгая во все стороны ошметками грязи.

Автомашина проехала, оставив после себя две глубокие колеи. На тротуарах лежали комья мокрой земли, палисаднички тоже были заляпаны. Переулок сразу потерял свой привлекательный и свежий вид.

— Ну? — торжественно произнесла Ирина, тряхнув головой.

— Высохнет,— проговорил Захар и посмотрел на сидевших в кабинете так, словно просил поддержки.

— Грязь не сало, конечно. Обсыпается,— произнес Морозов.

Колесников ничего не сказал, только двинул неопределенно плечами. Редактор же газеты с любопытством посматривал то на девушку, то на председателя колхоза.

— Эх, вы!.. Петр Иванович, вы только поглядите, какие они...— губы Ирины задрожали, в карих глазах накопились слезы, готовые вот-вот пролиться.

— Ты погоди, погоди...— Захар встал.— Тротуары вон построили? Построили. И асфальтируем... И не одну улицу... со временем.

— Какие вы... толстокожие все! — с обидой и презрением бросила Ирина.— И ты, дядя Филимон,— повернулась она к Колесникову.— Ведь по этому переулку к твоей мастерской... и автомашины и тракторы. Его в первую очередь надо...

Колесников поднял голову, тряхнул рыжеватой, тоже уже с проседью, копной жестких, как прутья волос.

— Так ведь не отказывает председатель, калена штука... Ну, что ты? — остановился он, видя, что Ирина презрительно усмехается.

— Ничего. Сказка есть такая. Должен был черт мужику. Приходит мужик за долгом, а черт: «Завтра отдам». На другой день удивляется: «Опять сегодня пришел? Я же сказал, что завтра». И так до сих пор...

— Вот что, Ирина-малина. Сказочка эта вроде не к месту,— сердито прервал девушку председатель.— Насколько помнится, в долг ты мне не давала...

— Да ты не мне, народу должен! — воскликнула Ирина, подступая к нему.

— Ну-у...— протянул Захар и развел в стороны руками, как бы говоря: «Против этого что же возразишь!» — Только сейчас не об асфальтах у меня голова болит. Видишь, какая погода стоит?! И вот,— председатель вытащил из кармана какую-то бумажку, потряс перед носом Ирины.— Весь июнь и июль дожди обещают. А мокрядь в сенокос...

Ирина выдернула у него бумажку и обеими руками положила ее на стол перед Колесниковым.

— Ты не отговаривайся, дядя Захар! Я вот и хочу, чтобы у нас в деревне грязи в непогоду не было.

— А-а!..— устало отмахнулся Захар и нахлобучил фуражку, давая понять, что разговор окончен.

Эта Ирина Шатрова, как жаловался Захар, проела ему все печенки. То ей тротуары строй, то стеклянную, с золотыми буквами, вывеску на колхозную контору в городе закажи, то поставь на общем собрании вопрос о палисадниках и цветочных клумбах под окнами колхозников. До смешного дошло — обсуждали ведь этот вопрос на собрании. Заставили пилорамщиков напилить для продажи колхозникам штакетника, а кладовщика — закупить голубой краски и цветочных семян. И все чтоб избавиться от настырной девчонки. Сама весной ходила по домам и заставляла высаживать цветы... А теперь вот требует асфальтировать главную деревенскую улицу и переулок к мастерской! Это уж не цветочки...

Но жаловался так, для виду. В душе он был «настырной девчонкой» доволен. Асфальт не асфальт, а насыпать шоссейку вдоль хотя бы главных улиц надо. В деревне действительно грязно, после дождя так не пролезешь. Но сейчас главной проблемой в хозяйстве были не улицы, а корма. И даже пока не корма, а земли, на которых можно их выращивать. Уже второй

год колхоз ведет раскорчевку тайги за Чертовым ущельем. Вот и нынче с самой весны чуть не половина тракторов занята на этой работе. И хороша же земля под тайгой, да трудно дается. За полтора сезона всего гектаров около семидесяти расчистили. К осени будет, кажется, вся сотня. На следующий год должна отличная кукуруза уродиться... Но что этой девчонке кукуруза! Ей вынь да положь сейчас же асфальт!

Ирина только в прошлом году окончила десятилетку. За время экзаменов похудела так, что остались одни глаза да косы. Зато привезла аттестат почти с одними пятерками.

— Э-э, как состругало тебя, цветочница! — улыбнулся Захар.— Для поправки ступай-ка на молокоприемный пункт. Раз любишь чистоту — заведуй нашей молоканкой. Вот там и разворачивай во всю ширь эту... санитарию с гигиеной...

Однако Шатрова не приняла ни его улыбки, ни его шутки.

— Я лучше в телятницы пойду,— заявила вдруг она.

— Почему? — удивился Большаков.

— Потому что телки дохнут у вас, как цыплята.

«Как цыплята» — сказано, конечно, чересчур. Но телки иногда падали, это верно.

Разговор происходил как раз на скотном дворе, и телятница Пистимея Морозова, жена бригадира, старуха ласковая, тощая и молчаливая, обиженно поджала губы.

— На все воля божья. Человек мрет, а скот и подавно господним перстом не защищен.

— Скот не перста требует, а ухода. А ты, бабушка-пресвитерша, больше в молитвенном доме сидишь...

Это было правдой. По три-четыре раза в неделю Пистимея проводила в молитвенном доме свои баптистские богослужения. Кроме того, чуть не каждую неделю праздновала то день рождения, то день крещения, то день бракосочетания дряхлых старушонок своей общины. А уж о рождестве, пасхе, троице или преображении и говорить нечего. В эти религиозные праздники для нее хоть подохни все телята... Хорошо еще, что она перед праздниками каждый раз приходила в контору и просила подмены.

Захар несколько раз пытался снять ее с телятниц, но старуха обижалась и чуть не плакала.

— Это как же, Захарыч... За что обижаешь?

— Да ведь от ваших молитв телята в весе не прибывают,— говорил каждый раз с раздражением Захар.

И каждый раз Пистимея отвечала:

— Вот-вот, ты всю жизнь шпыняешь бога... и нас, весь молитвенный дом, грозишься раскатать. Да убудет ли, коли старушонки мои какую молитву прошепчут? Перемрем — тогда и раскатывайте. А я ведь живу как? Молитву — богу, а руки — людям. Какие ни есть, а все польза. Уж ты не строжись, а я старательней буду приглядывать за животинками.

На этот раз Пистимея, однако, не стала уговаривать оставить ее на работе. Она только оглядела с тоской свои руки, одна из которых была покалечена — указательный и средний пальцы на правой руке наполовину обрублены,— и произнесла:

— Одряхли, знать, совсем, проклятые. Отработали свое, кормилицы.

И пошла, сгорбившись, тяжело шаркая ногами. Шла так, что Захару даже жалко стало старуху.

— Считай, бабушка, что перст господень распростерся и над скотом,— сказала ей вслед Иринка. И, почувствовав, что получилось это как-то грубовато, прибавила, оправдываясь: — Не люблю я ее...

Распростерся ли перст над беспомощными, тонконогими бычками и телками, защищала ли их теперь целая божья длань,— во всяком случае, телки с тех пор не падали. И Захар только удивлялся: откуда берутся силы у этой хрупкой девчонки! Когда шел отел, она день и ночь пропадала в телятнике. В это время Ирина становилась раздражительной — лучше не приходи в ее царство без дела, из простого любопытства,— глаза ввалились, лицо бледнело.

Но чуть телята набирали силу, Ирина снова принималась за председателя, требовала чего-нибудь — например, заново покрасить облупившиеся ставни на колхозной конторе,— и не отставала до тех пор, пока не добивалась своего.

...Нахлобучив фуражку, председатель опять присел на стул у стены и долго оглядывал Ирину с головы до ног. Оглядывал так, будто видел впервые. Ирина даже смутилась, отступила к окну:

— Ну чего ты, Захар Захарыч?..

— Да ты понимаешь,— Большаков постучал пальцами себе в лоб,— вот этим приспособлением соображаешь, сколько будет мороки с асфальтированием целой улицы!

— И верно, как это я не подумала! Еще вот с севом, дядя Захар, сколько этой мороки, особенно с уборкой каждую осень. Да и со скотом, если разобраться... И корма заготавливай, и коровники строй... И чего мы, в самом деле, себя мучаем!

— Ну! С таким ядовитым языком теща из тебя славная выйдет. Потолкли воду в ступе — и хватит. Пойдем, Устин, глянем на твои сенокосы.

И председатель пошел к выходу.

Колесников, Устин Морозов и редактор Смирнов тоже поднялись.

— А я говорю — не хватит! — воскликнула Ирина, загораживая дверь.

— Ты напрасно горячишься, калена ягода,— проговорил Филимон, подошел к Ирине и мягко отстранил ее от дверей.— Дорогу проложить — не половину застелить. Нынче об асфальте и говорить нечего...

— Нечего и на будущий год,— сказал председатель.— Шутка, что ли? Одна главная улица почти два километра длиной. Не до того сейчас. Да и где мы асфальт этот самый возьмем? Ты подумай-ка...

— Ну, пусть не асфальт, ладно. Давайте хоть булыжником замостим,— не сдавалась Ирина.— Камней не покупать, все берега Светлихи ими засыпаны. Бульдозеры свои. А я комсомольцев, всех ребят и девушек... Ночами работали бы... Все увидели бы, как... ну, как это нужно всем и... Дядя Захар! Давайте начнем нынче, а?

Морозов усмехнулся, проговорил тихо, с каким-то злорадством:

— Начать можно с криком, до середки дойти — с хрипом, да там и язык вывалить.

Все, кроме Ирины, вышли из конторы. Захар послал Устина Морозова запрягать лошадь: когда было не к спеху, Большаков предпочитал ездить на лошадях, так как в последние годы от автомобильного чада у него быстро разбаливалась голова, и повернулся к Смирнову:

— По каким делам у нас?

— Да вот о ремонтниках твоих хочу материал в газету дать. Как?

— Чего ж... Люди заслуживают. Где остановился? У Шатровых, конечно.

— У них.

— Ага... Может, по лугам хочешь проветриться? Поедем.

— С удовольствием бы, да...— Петр Иванович взялся за сердце. Несколько раз его скручивал у них в колхозе тяжелый недуг.— Чувствую, отдохнуть надо. Кажется, зря сегодня так рано поднялся.

— Так чего же ты! — нахмурил брови Захар.— Машину, может, надо? Мы сейчас... Филимон!

— Да нет, не беспокойтесь. Пока ничего страшного. До Шатровых дойду, недалеко. Отлежусь немного. Вечером загляну в контору.

Глава 2

Как бы потешаясь над незадачливыми предсказателями погоды, предупредившими о длительных и затяжных дождях, установилась знойная безветренная сушь. Целыми днями полыхало над головой солнце, сваривало огуречные листья на колхозных огородах, травы на лугах. За неделю солнце содрало, спустило лохмотьями кожу на деревенских ребятишках. Казалось, оно испепелило бы молодой зеленодольский люд начисто, если бы не прохладная Светлиха. С утра и до вечера ребятишки барахтались на отмелях, шныряли, как мальки, вокруг парома, доставляя немало хлопот старому паромщику Анисиму Шатрову.

Но Захара Большакова не покидало беспокойство. По многолетнему опыту он знал, что такое эта безветренная сушь в их краях.

И хотя после благодатного ливня не оправились еще как следует травы на лугах, хотя по-доброму с недельку-полторы им постоять бы еще, он бросил главные силы на заготовку кормов.

— Не раненько ли, Захарыч? — высказывали сомнение некоторые.— Через пяток дней укосы бы вдвое пошли. Эко, погодка!

— Валить травы как можно больше и без промедления стоговать! — отдал распоряжение Большаков.

Опустели деревни. На лугах загудели тракторы, затрещали сенокосилки, поднялись первые стога и скирды.

Зловещий прогноз погоды начал сбываться с опозданием ровно на две недели.

Сперва спала жара. Тотчас гудом загудели комары, не давая работать. Потом стало мутнеть небо, то и дело подхлестывал холодный, как осенью, ветерок.

Тучи так и не появились, а небо мутнело все больше, опускалось все ниже. Скрылось, словно провалилось в бездну, солнце, и начал падать на землю сеногной — мелкий-мелкий дождичек. Его еще называют «мокрец» или «сеянец». Он шел день, другой, неделю...

И великое зло брало людей. Шпарил бы уж настоящий дождь, а здесь не поймешь — не то туман, не то морось. Проглянет на часок-другой солнце, пригреет, припечет и опять утонет в серых клубах, поднимающихся над сенокосами. Эти ядовитые клубы словно выпирали друг из друга, множились с непостижимой быстротой, заваливая все небо.

Тогда Большаков прекратил сенокос во всех бригадах, перевел людей на силосование.

И вот силосные ямы и траншеи были заполнены. Остались лишь те, что предназначались под кукурузу. А погода не улучшалась.

Председатель собрал всех бригадиров: что делать? Трава на лугах местами начала вымокать, гнить на корню. Продолжать ли силосование или приберечь оставшиеся силосные емкости под кукурузу, которая обещает быть хорошей?

— Засилосовать-то все травы можно, да как же мы без сена будем? — говорили бригадиры.— На одном силосе не уедешь, белка в нем — кот наплакал, можно за зиму все животноводство угробить. Силос с сенцом хорошо.

Решили: легко ли, трудно ли, а косить травы на сено.

Захар Большаков каждый день отправлял на луга чуть не всех животноводов, полеводов, огородников и даже механизаторов, занятых в ремонтной мастерской и на раскорчевке леса. И что только не делали, с какого боку не подступались! Сушили накошенную траву на козлах, пробовали сметывать влажное сено

в стога, пересыпая его солью. Островерхие зароды молчаливо и угрюмо стояли неделю, другую, а потом над ними начинали струиться зловещие парки. Зароды разбрасывали, вываливали черную, перегоревшую в труху сердцевину, снова пытались как-то сушить побуревшее уже сено, снова складывали. И опять через несколько дней стога принимались куриться прозрачными дымками.

— Тьфу! — то и дело в бессильном отчаянии плевал Андрон Овчинников, низкорослый и неразговорчивый колхозник.

— Н-да,— уныло отвечал ему всегда сутулый, с красным, как кирпич, лицом Егор Кузьмин, заведующий животноводством первой зеленодольской бригады.

— Что «н-да»? Для тебя ведь сено! — остервенело накидывался на него старый, тощий, как засохший кол, но крепкий еще на ногах мужичонка Илюшка Юргин, по прозвищу «Купи-продай».

— А я что сделаю? — обиженно говорил Егор.— Я, между прочим, сено не ем.

— Ладно вам,— останавливала готовую было вспыхнуть ни из-за чего ссору Наталья Лукина, до замужества Меньшикова, та самая «дочерь Натаха», после рождения которой Филипп собирался разодрать жену надвое.— Отдохните лучше, чтобы искорки попритухли.

Клашка Никулина, тридцатисемилетняя, уже полнеющая женщина, произносила средь общего молчания:

— Нынче зандакаемся, однако.— Клашка так точно ухватила интонацию, с которой Кузьма произносил свое «н-да», что все засмеялись.

— Завтра будет солнышко. Вот увидите! Вот увидите! — старалась рассеять уныние мокрая, как цыпленок, Ирина Шатрова. Но она говорила это каждый день, и ей никто не верил.

Отдыхали подолгу. Женщины поправляли сбившиеся волосы, перевязывали отсыревшие платки, мужчины курили. Табачный дым мешался с серой водяной пылью, плавающей в воздухе, и был почти незаметен. Только заведующий конефермой Фрол Курганов не курил. Он обычно сидел где-нибудь в сторонке и, тяжело свесив почти совершенно белую голову, о чем-то угрюмо думал.

Не садился отдыхать лишь Антип Никулин, Клашкин отец. Он суетливо топтался меж людей и без конца нудно, тоскливо ныл:

— Вона, хлюпь-то, до зимы, может, будет! А в газетах хвастают — человек, дескать, спутник запустил, природу покорил. Этот, как его... газетный редактор, что к нам все с району ездит... Смирнов, что ли?.. то и дело пишет через свою газету: человек может то, достиг этого... А чего достиг? Я подписчик районной газеты, поскольку там Зинка, моя младшая дочь, работает. Перед раскуркой читаю, конечно. И думаю: «Ты, мил человек,

жену хоть сумей покорить, да хвастайся тогда. Или хлюпь под носом убери. А то — природа... Прыток больно...»

Своими разглагольствованиями Антип добивался того, что то один, то другой замахивался на него вилами. Старик, не обижаясь, переходил на другое место и начинал снова...

Захар Большаков снимал теперь людей откуда только было можно и посылал на луга. Совсем приостановил раскорчевку леса. В самом Зеленом Доле не раздавался теперь из мастерской лязг и грохот металла. Сиротливо лежали груды кирпичей вокруг только-только начатого строительства водонапорной башни, все более чернели с каждым днем штабеля плах и теса.

Новую контору с недостеленными полами и не покрашенной еще железной крышей замкнули от вездесущих ребятишек на замок (внутри много сухих стружек, долго ли до греха). Даже дряхлых набожных старушонок председатель попросил взять грабли и хотя бы сидя разгребать помаленьку сырые валки. Анисим Шатров накрепко привязывал свой «крейсер» к припаромку и тоже отправлялся раздергивать копешки. Перевоз через Светлиху прекращался до вечера. Да и некого было перевозить.

Сам председатель тоже, давно пересев с рессорного ходка на «газик»-вездеход, с утра до вечера мотался по заречью, по сенокосам других бригад.

Люди измучились окончательно, валились с ног от смертельной усталости. Только Антип Никулин, не уставая, хрипуче проклинал погоду и колхозный скот, ради которого люди принимали такие муки, и Большакова с Устином, без конца заставлявших переметывать набрякшие водой пудовые пласты сена.

— А чего тут руками сделаешь! — крутился Антип однажды с самого утра вокруг председателя, приехавшего на заречье.— Тут машины надо. То есть технику. А что? Почему стога складывать есть машины, а разваливать — нету? Непорядок. Раз в колхозе имеются такие работы — давай машины. Это раньше было просто: выкосил лужок да сложил в стожок. А ныноче — все иначе. Ныноче, проще сказать, трансляция. Надо покосить, да надо и дождичку дать помочить. Должны были предусмотреть разваливательные машины. Деньги зря, что ли, получают?

Маленькая голова Антипа еще в детстве попала, видимо, в какой-то жом, лицо сплющилось, да так и не выправилось за всю жизнь. В тот момент Антип был, наверное, в кепке. Кепка, превратившись в блин, намертво прилипла к голове. Во всяком случае, никто еще не видел Антипа с непокрытой головой.

Ноги Антипа росли как-то странно, нараскоряку. Несмотря на это, толстые, висевшие трубками холщовые штаны, в которых Антип, вероятно, и родился, все время сползали, и старик Никулин поминутно их поддергивал.

— Так я спрашиваю: деньги зря, что ли, получают? — передохнув, еще ближе подступил Антип к Захару.— И ведь — знамо дело! — немалые. По тыщам огребают. А тут колхозник...

И вдруг неожиданно для многих Фрол Курганов, не стесняясь женщин, крепко-накрепко обложил все поле матом и с размаху глубоко вонзил вилы в землю — аж мелко-мелко задрожал до черноты отполированный ладонями черенок.

— Да почему я должен, на самом деле, зря спину надламывать?!

— И пуп надрывать,— тотчас добавил работавший рядом его рыжечубый сын Митька, тоже бросил вилы, протер рукавом залитые едким, соленым потом глаза и припал к ведру с холодной водой.

Непонятно было как-то, всерьез говорит Митька, в поддержку отцу, или, наоборот, вставил это в насмешку.

— Вот именно! — прикрикнул Фрол на сына, видимо тоже не понявший, что к чему в его словах.

Митька пожал плечами, закурил, упал лицом вверх в развороченное сено и стал равнодушно пускать в серое и без того мутное небо табачные кольца.

Бригадир Морозов окинул всех тяжелым взглядом, задержал глаза на Большакове.

А Захар, точно крик Курганова упал ему на плечи многопудовой глыбой, медленно опустился на кучу сена.

Устин подождал, пока он сядет, погладил свою черную бороду и ушел в балаган, служивший во время сенокоса походной бригадной конторой.

Рядом с председателем села Клашка Никулина, разморенная и, казалось, распухшая от тяжелой работы.

Над всем заречьем установилась туго натянутая тишина. Но Захару чудилось, что она вот-вот лопнет с какого-то края, вот-вот выплеснется и вспыхнет злое человеческое отчаяние.

Прошла минута, две. Захар все сидел на копне. Где-то в глубине он чувствовал и понимал, что растерялся, что жалок сейчас, и ненавидел себя за эту минутную слабость.

Однако вместо злых человеческих голосов услышал Захар сквозь дрожащую тишину — не то шуршит чахлый ивняк, растущий сбоку в ржавой и гнилой мочажине, не то друг о друга трутся серые, теплые клубы луговых испарений. И только еще минуту спустя понял — это тяжело дышат приостановившие работу люди.

Он медленно поднял глаза и оглядел колхозников. Клашка Никулина обливала Фрола укоризненным взглядом умных, по-женски мягких, обведенных синеватыми кругами глаз. Бухгалтер Зиновий Маркович неуклюже стоял по колено в сене, словно намертво врос в землю. Потом перевернул вилы и стал выправлять согнувшиеся рыжие тройчаки. Ирина Шатрова наглухо сдвинула брови. Была она похожа на ястребка, который, казалось, взовьется сейчас и кинется на Фрола. Может быть, ястребок разобьется о его мокрую и крепкую, как ослизлый камень, грудь, но все равно ринется... Наталья Лукина, сложив

отяжелевшие руки на груди, тоже внимательно и грустно смотрела на Курганова. Казалось, она знает и видит то, чего не видят другие, и смотрела на Фрола не столь с осуждением, сколь с жалостью и материнской печалью.

И тогда горло Большакова чем-то перехватило, начало пощипывать глаза. От чего? От переполнившего чувства благодарности к этим людям за доверие и поддержку его, Захара Большакова? Может быть. От гордости за этих вот неприметных с виду, мокрых, уставших сейчас людей? Возможно, и от этого...

Захар опустил голову, поняв, что не прорвется у них возглас отчаяния и злости. Но если прорвется, то обрушится не на него, а на Фрола Курганова.

Видимо, понял это и Фрол. Он поспешно отвернулся, отступил и сказал уже примирительно:

— Тот руководит, другой руководит...— И, помолчав немного, опять вскипел неизвестно почему.— От руководства спина не болит!

Недобро усмехнулся Фролу в лицо заведующий гаражом Сергеев, взял вилы и направился к ближайшей копне. Качнулась мокрая бороденка старика Анисима Шатрова, сосульками стекавшая на узкую, прикрытую старенькой черной рубахой грудь. Он повернулся к Митьке и проговорил сурово:

— Пуп, говоришь, надрывать? У него не с пупка грыжа вывалится, а скорей всего из того места, откуда язык растет. Пошли, Арина!

И тоже принялся раздергивать влажную копну на мелкие клочки.

Ирина, так и не раздвигая бровей, полоснула взглядом Фрола, а заодно Митьку и встала рядом с дедом.

Вслед за стариком Шатровым и его внучкой поднялся с копны Митька. Поднялся, отбросил окурок, потянулся, словно сытый кот после спячки,— аж хрустнуло что-то в его бычьей груди,— и объявил:

— Это бы, конечно, дело сейчас — минуток шестьсот храповицкого подавить... Да еще на пару с горяченькой вдовой вроде вон Клашки. Чтоб просушила насквозь...

Митька глянул в задумчивое Клашкино лицо, нахально подмигнул ей и, насвистывая, подошел к Анисиму с Ириной.

— Посторонитесь, товарищ капитан, на два лаптя правее солнца,— попросил Митька и легонько отнял у старика вилы.— Дай-ка, папаша, так называемый ручной инвентарь. А проще говоря, отдохни малость.

Когда старик отошел в сторону, Митька двумя-тремя взмахами развалил копну, так же, как минуту назад Клашке, подмигнув Ирине:

— А коли вдова походила бы на воспитателя подрастающего поколения крупного рогатого скота, то и минуток тысячу...

Захар увидел, как вспыхнули гневные искры в глазах внучки Шатрова, как розовый отсвет от этих искр растекся по ее чуть загорелым щекам. Видел, как выхватил дед Анисим вилы у Иринки и замахнулся на Митьку, как со смехом отскочил Митька — и пошел, пошел разбрасывать многопудовые копны, словно машина.

Зашевелился остальной народ, приступая к работе.

— Ну, дьявол! — восхищенно произнес дед Анисим вслед Митьке.

— Надо же позор отца-то прикрыть,— усмехнулась Клашка.

— Чего, чего ты на него уставилась! — крикнул вдруг на свою внучку дед Анисим.— Глаза полиняют, мир не в том свете казаться будет!

И уже тише, насмешливо сказал, мотнув бороденкой в сторону Фрола:

— Грех да позор — как дозор: хошь не хошь, а нести надо.

А Фролу, видимо, было бы легче, если бы вместо каждого слова ему вбили в голову по раскаленному добела гвоздю. Он пошатнулся и, обмякнув, сел, как упал, на кошенину, будто его в самом деле ударили по голове. Глянул на балаган, куда скрылся Устин Морозов, и медленно сник как-то, сжался, стал смотреть вниз.

Садясь, Курганов заметил, что в это время поднялся Захар. Фрол думал, что председатель подойдет и добьет его сейчас каким-нибудь словом. Но Большаков ничего не сказал, даже не посмотрел в его сторону.

...Вокруг крохотного, всего метров тридцать в диаметре, лугового озерка стояло несколько бревенчатых бараков, в которых жили колхозники во время сенокосной страды, помещалась кухня, столовая, склад для мелкого инвентаря. Но и бараки и столовая обычно пустовали. Почти все предпочитали есть и спать на чистом воздухе, для чего возле кухни соорудили два длинных стола, для ночлега каждое лето ставили на скорую руку травянистые балаганы.

Однако нынче балаганы пустовали. В них было холодно, сыро, неуютно. И комары, залетая туда, видимо, по привычке, пищали жалобно и обиженно.

...Вечер, как и все предыдущие вечера, навалился тяжелый, молчаливый и сразу, без обычных сумерек, превратился в ночь. На небе не было видно ни звездочки.

Все бараки ярко светились окнами. Полосы света падали с разных концов на темную гладь озерка, разлиновав его вдоль и поперек, разрезав на треугольники, ромбы, квадраты.

Из столовой доносились голоса, звон посуды. Но Фрол Курганов ужинать не стал. Выйдя из барака, он направился к стоявшей метрах в пятидесяти конюшне,— видимо, проверить, все ли там в порядке.



Через полчаса вернулся, спустился по тропке к самой воде и сел.

Озерко по-прежнему лежало молчаливое, неподвижное, словно застывшее. Но минут через пять Фрол все-таки уловил еле слышимый шорох крохотных волн. Уловил и, удивившись чему-то, стал внимательно прислушиваться к этому шороху.

Так он недвижно просидел еще с полчаса. Спина затекла. Фрол вздохнул, потянулся. И тотчас сзади раздался испуганный голос Клашки Никулиной:

— Кто тут?!

На землю упало что-то тяжелое.

— Ну, я это,— недовольно промолвил, вставая, Фрол.

— Фу-ты... Я думала — зверь какой. Или собака.

— Собака тоже зверь,— сказал зачем-то Фрол.— Чего по темноте шляешься?

— Да постирать вот...

Никулина, присев на корточки, начала складывать в таз вывалившееся белье.

— В темноте-то чего настираешься...

— Мне сполоснуть только.

— Ну, иди.— И посторонился.

Клашка зашла по колено в воду, принялась полоскать белье. По озерку прокатились волны, светлые полосы заколебались, ожили.

Фрол, покуривая, сидел на старом месте, смотрел на эти извивающиеся по воде огненные полосы, точно ждал, когда они перестанут извиваться, успокоятся.

Кончив работу, Клавдия пошла обратно.

— Караулишь, что ли, кого тут? — спросила она.

— А, чтоб тебя! — вдруг рассердился Курганов.— Проваливай ты...

Однако Клашка поставила таз с бельем на землю и сама опустилась на траву.

— Эт-то еще что? — удивленно спросил Фрол, снова поднимаясь.

— А ты сядь,— попросила тихонько Клашка.— Поговорить хочу с тобой.

— Вот как? Не время вроде. И не место.— В голосе Курганова была насмешка.

— Это-то верно,— согласилась Никулина.— Да ведь что время! К тебе ни днем, ни ночью не подступишься. Одичал, что ли, с конями ты?

Курганов усмехнулся в темноту.

— В контору вызвала бы для разговоров. Ты имеешь право.

— Да ведь не придешь.

— Не приду,— вздохнул Курганов.

— Вот-вот... А почему?

— Слушай! — повысил голос Фрол.— Какого тебе черта от меня надо? О сегодняшнем... за эту стычку с председателем, что ли, прорабатывать пришла? Как колхозная активистка? Как член правления?

— Зачем? — негромко произнесла женщина.— Не за эту стычку. И не как член правления...

— Ну уж... знаем! Давай совести!

— Ничего ты, Фрол Петрович, не знаешь,— еще тише, с печалью в голосе проговорила Клавдия.

Курганов долгим взглядом посмотрел на Никулину, точно хотел в темноте разглядеть выражение ее лица.

В одном из бараков уже давно, кажется — с тех пор, как подошла к озерку Клавдия, играли на гитаре. Оттуда доносились озорные частушки, прерываемые взрывами смеха.

Фрол прислушался невольно, как выговаривает под гитару лукавый девичий голосок, сообщает:

...А милый пристает опять:
— Можно ль вас поцеловать? —
Я сказала: — При луне
Целоваться стыдно мне...

И тотчас взмыл сердитый мужской бас:

А месяц ходит по небу —
В тучу скрылся хоть бы,
Этот месяц взять бы
Снять да расколоть бы...

Фрол до конца прослушал частушечников, до самого того места, когда наконец парень и девушка поцеловались во время свадьбы при всем честном народе, и сел.

Несколько минут они молча слушали, как веселится молодежь. Озеро снова было гладким, квадраты и треугольники лежали на нем спокойно.

— Я вот, Фрол, все гляжу на тебя и думаю: с чего ты такой? — подала наконец голос Клавдия.— Сколь я тебя помню, ты все угрюмый, нелюдимый. И злой.

— Ишь ты какая приметливая,— в голосе Фрола засквозил прежний холодок.

Клавдия уловила его.

— А ты, Фрол, не сердись. Ведь, сдается мне, сам на себя сердишься.

— Слушай, уйди-ка ты, а?

Но Фрол это произнес уже не гневно, как первый раз, а просящим, уговаривающим тоном.

— Да я могу и уйти. Только... Ты вот говоришь: «Давай совести за сегодняшнее». Но ведь тебе и без меня совестно. Перед самим собой. А?

Фрол, огромный, неуклюжий, пошевелился и чуть отодвинулся от Клашки. Помолчал и сказал неожиданно:

— Слышишь, живет?

— Кто живет? — не поняла Никулина.

— Озеро. А так вроде мертвое.

Клашка прислушалась и тоже уловила еле внятное всплескивание невидимых в темноте маленьких волн. И вдруг ей стало понятно, что хотел сказать этим Курганов.

— Тогда в чем же дело, Фрол? — осторожно спросила она.

Фрол сидел к Никулиной боком, сильно ссутулившись. Он плотнее запахнул пиджак, точно ему было холодно. Но ничего не ответил.

Тогда Клавдия, почти шепотом, спросила еще раз:

— Что же, Фрол Петрович, происходит с тобой?

Курганов сворачивал новую папироску. Но при этих Клашкиных словах пальцы его дрогнули, кисет с табаком выпал из рук. И то ли от того, что дрогнули руки и выпал кисет, то ли от чего другого, Фрол вскипел вдруг, швырнул в темноту незажженную папиросу, повернулся к Никулиной, сдавленно прокричал:

— Слушай, чего ты в душу лезешь? Кто тебя просил?

— Да никто, сама я хотела...

— Сама? — перебил ее Фрол.— А что сама?! Чего ты хочешь разглядеть во мне? И чего можешь? Катитесь вы все... Может, я ненавижу всех вас! А, как это?! Ненавижу за то, что живете так, как хотите. За то, что для вас все дни будто из одной радости сотканы, что... Вишь, поют вон, на музыках играют... Э-э, да разве вы поймете...

И Фрол умолк, словно в недоумении, словно только что сам услышал свои слова. А Никулина с упреком и горечью произнесла:

— Это у меня-то сотканные из одной радости...

Уже много лет Клавдия Никулина жила отдельно от отца, в маленьком, всего в три оконца, деревянном домике. Жила тихо и строго, как монашка, и все ждала, ждала своего мужа, Федора Морозова, сына Пистимеи и Устина, с которым ей не пришлось даже и переночевать. Ранним августовским утром 1943 года ее жених вскочил верхом на подведенную ему лошадь и ускакал в военкомат. Рассеялась пыль из-под копыт — и словно не было на свете Федора Морозова.

А потом, спустя год, вызвал председатель колхоза, Захар Большаков, Клашку в контору, отворачивая лицо, дал ей маленький листок, на котором прыгали, как черные пауки, неровные буквы: «...Федор Устинович Морозов... геройски погиб в боях за деревню Усть-Каменку...»

— Нет, нет... Не может быть...— проговорила Клашка совсем спокойно. Только голос был тихий и бесцветный. И уж потом

закричала и в беспамятстве упала на крашеный, чисто вымытый пол.

Потекли годы. Ложились на землю снега, таяли. Шумело травами заречье. Снова толстый слой снега покрывал их на долгие месяцы. Но проходило время — и он снова таял.

Клашке казалось: придет час — и ее женская тоска растает, распустится, как снег под солнцем, и выльется, стечет теплыми и радостными, облегчающими душу слезами. Это произойдет, когда вернется Федор.

И это казалось Клавдии уже почти двадцать лет.

Зеленодольские бабы смотрели на Клавдию с удивлением и женской жалостью, мужики — с уважением, а деревенские девчушки просто благоговели перед ней. Иринка Шатрова так вообще считала ее чуть ли не за святую. И только Илюшка Юргин иногда ронял в ее адрес грязноватые смешки, Андрон Овчинников глубокомысленно произносил при случае «сомневаюсь», да ее родной отец, Антип Никулин, слушая разговоры о Клашке, всегда вставлял в конце презрительное: «Хе!»

...Голоса молодежи в бараках по-прежнему не утихали. Только теперь не пели, а, кажется, затеяли танцы под гармонь. Промокшие поля, влажная темнота то и дело оглашались взрывами хохота.

— Это у меня-то сотканные из одной радости...— снова повторила Клавдия с упреком. Но горечи в ее голосе теперь не было.— Эх, Фрол, Фрол... Ну ладно, не хочешь поделиться своей печалью — не надо.

— Нечего мне делить,— упрямо проговорил Фрол.— И ничего со мной не происходит.

— Не вижу, что ли, я?

Курганов захлопал ладонью по траве, пытаясь отыскать табак. Клашка тоже пошарила в темноте, протянула ему кисет.

Огненные полосы на водной глади снова чуть заколыхались — потянуло ветерком. И кажется, стало чуть светлее, будто после всего получасовой ночи вдруг наступил рассвет.

Ни Фрол, ни Клавдия долго ни о чем не говорили. Сидели друг подле друга, думали каждый о своем. Фрол курил, освещая вспышками самокрутки тяжелый, с широкими ноздрями нос, обветренные губы, крутой, с неделю не бритый подбородок, большую, с жесткими пальцами руку, в которой держал папиросу.

Вдруг на небе образовался просвет в тучах, проглянуло несколько звезд, стало немного светлее, и оба, Клавдия и Фрол, подумали, что ночь еще не наступила, что, не будь туч, над землей плыли бы светлые сумерки, а над горизонтом отцветал бы веселый закат, обещая на завтра погожий день.

— Неужели к утру разведреет, Фрол, а? — проговорила Никулина.

Фрол поднял голову к небу:

— Вряд ли так скоро... Вон, видишь, все погасло...

Редковатые звезды над головой действительно исчезли, открывшийся в тучах небольшой просвет снова затянуло наглухо.

— Пойду бельишко раскину. Может, проветреет к утру. И она поднялась.

Фрол бросил папиросу, но остался сидеть на месте. Только спросил:

— Слушай, а все ж таки... ради чего ты это со мной вдруг тут... такой разговор?

— Н-не знаю...— произнесла она неуверенно, вероятно потому, что не могла до конца понять смысла его вопроса.— Жалко мне тебя, может. Человек ведь ты.

— Я-то?

— А как же... Озерко-то вон, сам говоришь, живое все же...

Курганов медленно встал, подошел к Клавдии почти вплотную.

— Во-он что! — протянул он с изумлением. Помолчал и прибавил, чуть склонившись к ней: — Интересно бы при свете в твои глаза поглядеть.

Это женщину вдруг не то смутило, не то испугало. Она сделала несколько шагов назад, остановилась, точно хотела что-то сказать. Но повернулась и быстро ушла к баракам.

Там, куда она ушла, было тихо, молодежь больше не плясала, не шумела. Оттуда доносился только тоскующий девичий голос:

Над землею солнце тихо поднимается...
Солнцем высвечены дальние края,
Где-то счастье, словно утро, занимается,
Где-то ждет меня любовь моя...

Песня была чуточку грустноватая и какая-то очень доверчивая.

Фрол, уронив тяжелые руки, стоял, ни о чем не думая. Ему только казалось, что если он пошевелится, то неминуемо спугнет песню, и она тотчас умолкнет.

Шли дни за днями, а погода не улучшалась. Унылое и промозглое небо теперь почти совсем не пропускало солнечных лучей.

Все заречье превратилось в сплошную хлюпь. Оттуда плыла на деревню теплая, сладковатая прель.

Захар по-прежнему несколько раз на день приезжал на луга. Если он появлялся во время отдыха, бригадир Устин Морозов, работавший наравне со всеми, морщился, нехотя брал свои вилы, вздыхал тяжело:

— Поднимайтесь...

— Ты, дядя Устин... Председатель, что ли, виноват?! — воскликнула однажды с обидой Ирина.

Устин глянул на девушку — словно плетью мокрой хлестнул, но ничего не ответил. Вместо него на Ирину окрысился Илюшка Юргин:

— А что, панфары ему бить, что ли, за издев над людями?

— Фанфары,— насмешливо поправил Митька и добавил: — Музыка такая. Исполняется в торжественных случаях.

— И ты, Митька...— вздрагивая губами, повернулась к нему Ирина.

— Замолчи-ка ты, щенок, в самом деле,— негромко сказал Митьке отец и почему-то глянул на Устина Морозова. Тот, не поворачиваясь, сдержанно усмехнулся.

Ирина быстро-быстро задышала, сжала обеими руками вилы, будто хотела проколоть Юргина. «Купи-продай» приподнял мокрую верхнюю губу, утыканную кое-где толстыми и жесткими, как прошлогодняя пшеничная стерня, волосами, выдавил сквозь зубы длинную струйку слюны и, бесстыдно смакуя каждое слово, проговорил:

— Сучат ногами тут всякие... Ровно их за голую титьку щупают.— И демонстративно отвернулся.

В лицо Ирины будто ударился ком ослизлого, вонючего гнилья и растекся, не давая дышать. Вспыхнув от стыда и злости, она хотела что-то крикнуть, уже шагнула было к Юргину. Но Лукина положила руку ей на плечо, удержала:

— Не тронь ты их. Ну их, право... Подальше от грязи — чище будешь.

— Так ведь Устин кривится, как от зубной боли, едва председательская машина покажется. Бригадир ведь. А люди не слепые, видят. А этот... этот...

— Измотались люди, вот и плещет злость. Устин — он тоже человек,— сказала Наталья.

— И ты, Митька! — еще раз повернулась к нему со слезами на глазах Ирина.

Митька, колючий и зубастый, на этот раз виновато отошел прочь, как побитый.

В этот день, как, впрочем, и в другие, председатель, приехав, ничего не спросил, потому что все было ясно и так. Давно не бритое лицо его осунулось, подковки усов свесились, казалось, еще ниже.

— Прогноз там... не изменился? Нет просвета? — спросил Морозов.

— Переменная облачность, незначительные осадки,— ответил за Большакова агроном Корнеев, подъехавший на ходке почти одновременно с председателем.

— Незначительные! — поводил черными бровями Устин.— Останемся без сена, однако, Захар. Как в других бригадах там?

— Одна картина,— махнул рукой Большаков.

В безмолвии выкурили по папиросе.

Агроном Корнеев, чуть грузный, приземистый, напоминал увесистый пшеничный сноп. Вероятно, потому, что буйные рыжие волосы его рассыпались во все стороны, свешивались, как колосья, на круглый лоб, на виски. Сейчас из-под фуражки не выглядывало ни одной пряди, лоб его казался огромным, как булыжник.

Время от времени на этом лбу возникали неглубокие морщинки, потом исчезали.

— А может, Захарыч, еще посилосовать травки? — сказал Морозов.— Ведь так и так...

Большаков помял обеими ладонями лицо. На лбу главного агронома опять образовались морщинки и расправились.

— Так что же делать, Борис Дементьевич?.. — вздохнул Морозов.— А кукурузку, бог даст, осенью в стога смечем... на сухой корм.

— Кукуруза-то, Захар, в иных местах гнить начинает. Вот что,— промолвил тихонько Корнеев.— В Ручьевке вон...

— Знаю, Борис Дементьевич. Я и попросил тебя сюда подъехать, чтоб посоветоваться... В четвертой бригаде я уж распорядился сегодня силосовать ее...

— Кукурузу?! — воскликнул Филимон Колесников, тоже покинувший сегодня свою мастерскую.— А если...

— Что «если»? — строго поднял голову агроном.

Морозов тоже поглядел внимательно на Филимона, ожидая, что он еще скажет. Но тот ничего больше не сказал. Тогда бригадир перевел взгляд на председателя. Захар приметил: еле различимые зрачки его черных глаз чуть пошевеливались.

Корнеев поднялся:

— Что же, Захар Захарыч... поеду в Ручьевку, тоже распоряжусь.

— Езжай.

Когда агроном уехал, Морозов сообщил:

— Сегодня утром еще три стога загорелись.

— Надо разваливать и как-то сушить. Больше выхода не вижу.

Захар старался не глядеть на бригадира. Ему казалось, что зрачки Морозова до сих пор неприятно пошевеливаются.

Пообещав подослать на луга еще людей, Большаков пошел к машине.

— Каждый день обещает, а где их возьмет? — спросил неизвестно у кого Илья Юргин.— Сядут, что ли, вместе с Корнеевым на яйца к ночи да высидят к утру?

— Я тоже сомневаюсь,— ответил ему Андрон Овчинников.

Андрон с детства работал в колхозе возчиком. Каждый день, в летний зной и зимнюю пургу, он куда-нибудь за чем-нибудь ехал. По деревне ходил всегда с кнутом. И даже сейчас странно было видеть в его руках не кнут, а вилы.

— Обманывает народ еще...— цедил Юргин, оглядывая насмешливо колхозников.— Все они горазды обещать да работать заставлять...

...Как-то дней через пять после этого колхозники возвращались субботним вечером домой — хоть помыться в бане да просушить одежду.

Уставшие люди входили по одному, по двое на паром, рассаживаясь прямо на полу.

— Все, что ли? — спросил Анисим, готовясь отправить свое судно.

— Митьки еще с Егоркой нету.

— Жди их, окаянных! — заворчал старик.

— Погоди, вон, кажись, Митька бежит,— проговорила Ирина.

Когда Митька зашел на паром, раскисшие его сапоги сердито чавкали.

— Со скрипом обутки. Фертом, Митяй, ходишь,— заметил Овчинников, будто даже позавидовал.

— Гробишь новые сапоги, Митря. Похуже, что ль, нет? — покачал головой Филимон. И спросил у Фрола: — А ты чего не смотришь за парнем?

Фрол Курганов угрюмо глядел на Клавдию Никулину, которая сидела напротив, и будто соображал — она или не она говорила с ним недавно на берегу озера? На коленях у нее лежал платок, в зубах были шпильки. Она брала изо рта по одной и закалывала волосы.

— Ничего, папаша. Мне жениться надо, потому и хожу в новых сапогах,— откликнулся вместо отца Митька и подошел к Клашке.— Подвиньтесь, девушка.

Митька бесцеремонно втиснулся между Клавдией и Варькой Морозовой, дочерью Устина. Положил возле ног веревку, которую неизвестно для чего притащил с собой. Фрол Курганов перестал глядеть на Клашку, медленно отвел глаза.

— Расточительно, конечно,— поддержал Филимона Зиновий Маркович.— За неделю сгниют союзки.

— Ничего,— опять уронил Митька, кося глазом то на Клашку, то на Варьку,— скоро по асфальтам ходить будем. Красота! Сушь и твердость.

Ирина, сидевшая по другую сторону Клашки, не выдержала, фыркнула:

— У него одна забота — как бы чуб не сгнил в такую погоду! Где уж о сапогах еще думать!

Митька пропустил мимо ушей ее слова, наклонился, шепнул что-то дочери бригадира. Варька Морозова, рослая, сильная, с полураспущенными косами, выглядывающими из-под шерстяного платка, которым она была укутана, пугливо отстранилась, скользнула по Митьке печальными глазами и еще ниже надвинула на лоб платок.

— Отстань!

— Вон Егор-то идет,— улыбнулась Клашка.

Митька взглянул на приближающегося Егора, притворно вздохнул:

— Эх... как говорится, с чужого воза средь дороги долой!

Поднял свою веревку, перешел на другой конец парома, достал на ходу папиросу, сел возле Юргина на бревно, которое совали под брички, чтобы сдвинуть их плотнее для экономии места на пароме.

— Дай-ка прикурить, дядя Илья.

«Купи-продай» ткнул ему чуть не в лицо папиросу.

Такое необычное прозвище Юргин получил не зря. Что-нибудь продавать и что-нибудь покупать было у него необъяснимой и никому не понятной страстью. Стоило Илье у любого колхозника увидеть новый копеечный мундштук, плоскую банку для табака, перочинный ножик, как он начинал ходить по пятам и уговаривать продать неизвестно почему понравившуюся ему вещь. В свою очередь, он постоянно предлагал и настойчиво уговаривал купить у него то кисет, то плоскогубцы, набор пуговиц для нижнего белья или зажим для галстука. Вообще ассортимент товаров у него был велик — от иголки до средних размеров детских резиновых мячей, то есть до тех предметов, которые могли уместиться в карманах.

Дед Анисим отправил паром. Зашлепали волны, ударяясь в промасленные борта карбузов. Разговор угас. Только Митька вел с Юргиным беседу на «божественную» тему:

— Тетка Пистимея говорит, что ты, брат мой во Христе, еще водного крещения не принимал.

Юргин подозрительно покосился на Митьку, чуть отодвинулся, буркнув:

— Тоже мне брат нашелся! Пес шелудивый твой брат.

— Не сподобился, значит, ты еще,— не унимался Митька.— Тетка Пистимея так и говорит: «Глас божий не достигает души его».

— Отстань!

Все знали, что Юргин похаживал время от времени в баптистский молитвенный дом — «из интересу с любопытством», как он сам об этом говорил.

— А я так думаю, дядя Илья, что глас божий тебя достиг уже, хоть ты еще и не чуешь этого. Ведь сказано же у пророка Иеремии: «Ты влек меня, господи, и я увлечен».

— Что ты понимаешь? — усмехнулся Юргин.— Иеремия так говорил, а Иаков иначе. Вот: «В искушении никто не говорил: «Боже меня искушает», потому что бог не искушается злом и сам никого не искушает». Тоже читывали и мы когда-то кое-что.

— Эх, дядя Илья! Так ведь Иаков про искушения зла говорит, а Иеремия — о проникновенном гласе божьем, зовущем к добру,

к перерождению духовному.— И, поглядев в глаза Юргину, заключил: — Но я все равно считаю, что ты достоин водного крещения.

— Да отстань ты! — прикрикнул уже с раздражением Юргин.— На черта мне оно, это крещение!

Так ничего и не понял «Купи-продай». Митька хмыкнул и замолчал.

А паром между тем был уже на середине реки.

Вдруг Клашка толкнула сперва Ирину, потом Варьку, показала глазами на Митьку:

— Смотрите-ка! Смотрите... Чего это он?

«Купи-продай», свесив с бревна ползада, сидел, облокотившись о колени, всем своим видом показывая величайшее презрение не только к присутствующим на пароме, но и еще, по крайней мере, к половине человечества, если не ко всему сразу. А Митька, откинувшись на перила парома, сосредоточенно прижигал папиросой его штаны.

Потом Митька стал невозмутимо курить, раздувая струйками табачного дыма занявшееся, видимо, уже место. В глазах его прыгали чертики.

Пока Клашка, Ирина и Варька соображали, что там колдует такое Митька, Юргин вдруг заговорил, не меняя позы:

— Тоже мне руководители! Хошь Устин этот, хошь Захарка... Чего народ мучить! Жилы рвем, а сено все одно гниет. Может, им панфары за геройство бить на собраниях будут, а я при чем? Я, откровенно даже сказать, здоровьем слабый. В груди у меня что-то заходится... Или вот еще, тоже работнички в нашем сельповском магазине,— съехал он вдруг на свою любимую тему.— На днях в скобяном отделе ухват покупал. Мне его швырк на прилавок. Заверните, говорю. «Бумаги нет...» Как это нет, спрашивается?! Коли зашел трудящийся колхозник в магазин, так ты его культурно обслужи. В торговом деле первый вопрос — культура и взаимная вежливость, потому что... Ой! Ой!!

— Что, что, дядя Илья? — участливо заглянул в глаза Юргину Митька.

— О-ой! — Юргин выскочил на середину парома, пританцовывая, закрутился на месте, хлопая себя то одной, то другой рукой по заду.

Первой захохотала Клашка, поняв, в чем дело. За ней закатился басом Филимон.

Но большинство колхозников молча и удивленно смотрели на Юргина.

— Батюшки, не родимец ли его схватил? — испуганно воскликнул женский голос.

— Обыкновенная самодеятельность,— успокоил Митька. И отчетливо пояснил: — Знаменитый артист «Купи-продай» исполняет баптистский танец.

3*

— Бапти... Самодель... э-э, люди! — прыгал посреди парома Юргин, высоко вскидывая ноги.— Ведь он, однако, Митька...

И это было до того уморительно, что даже колхозники, настроенные самым мрачным образом, начали улыбаться. Улыбнулся и Фрол Курганов, засветилась веселая искорка в продолговатых, вечно печальных глазах Варьки Морозовой. А Ирина уткнулась в плечо Клашки Никулиной и вытирала кулаком проступившие от хохота слезы.

— Да отчего это он... Клашенька? — с трудом прокричала Ирина.

— Видишь ли... понимаешь ли...— только и смогла проговорить Клашка.

Илья Юргин вдруг сел на доски. Но тут же вскочил, точно подброшенный пружиной, закрутился еще сильнее.

— Горю... горю ить я!.. Штаны еще новые почти были! Э-э...

— Что ты говоришь?! — подскочил к Юргину Митька.— Где, где горит?

— Еще спрашиваешь, дьявол! Вот тут, тут смотри! — повернулся к Митьке спиной Юргин и чуть согнулся.— Туши, что ли, гад!

Митька ковырнул в брюках пальцем, оторвал полуистлевший кусок. И тогда откуда-то из недр Илюшкиных брюк повалили сразу клубы дыма.

Сквозь неудержимый хохот послышались выкрики:

— Сгорит живьем человек!

— Воды скореича! Где ведро?

— Скидывай штаны-то! Скидывай! Сгоришь вместе с ними!

Но громче всех вопил сам Юргин, пятясь задом на Митьку:

— Туши, говорю, сволочь! Туши, паразит!

— Сейчас, браток, сейчас! — ласково говорил Митька, торопливо разматывая свою веревку.— А заодно и окрестим. Жди, когда тетка Пистимея решит, что сподобился уж... Правда, без положенного обряда.

В следующее мгновение Митька захлестнул веревку под мышками Ильи, взял его в охапку и потащил к перилам парома. Никто не успел опомниться, как «знаменитый артист», болтая руками и ногами, мешком плюхнулся в воду.

— Это еще что за шутки? — перестав смеяться, крикнул Сергеев.

— В самом деле добалуешься... Утопишь человека,— подал голос и Колесников.

— Ничего, пусть вымочит ему всю желчь.

— Да, ему вымочишь! В бензине разве с недельку выдержать...

Веревка была не очень длинной. Юргин барахтался метрах в пяти от парома, истошно выкрикивал:

— Сволочь чубатая! Анархист проклятый...

— Ну как, потухло?

— И-и-ы-ы! — простонал в ответ Юргин посиневшими губами.

— Что, еще идет дым? — огорченно переспросил Митька.— Ну, не падай духом, не бросим в беде человека. Давай еще помочим.

— Ты в самом деле... шути, да знай меру,— поднялся все-таки Сергеев.— Захлебнется же...

Он подошел и отобрал у Митьки веревку. Но паром был уже почти у причала. Почуяв под ногами дно, Юргин с такой силой дернул к себе веревку, что вырвал ее из рук Сергеева и выполз на песок.

Досмеиваясь, люди сходили на берег.

Митька как ни в чем не бывало подошел к Илье, снял веревку и начал ее молча сматывать. «Купи-продай» беззвучно открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать, подпрыгивая вокруг Митьки, размахивал руками, но это не помогало ему обрести дар речи.

— Сучат ногами тут всякие... будто их голой рукой щекочут... за обгорелые места,— сказал Митька, так же смакуя каждое слово, как сам Юргин несколько дней назад.

И ушел домой, оставив Юргина соображать, что к чему.

Знаменитый «Купи-продай» сообразил не сразу. Зато мгновенно догадалась обо всем Ирина. Она перестала смеяться, поискала глазами Митьку. Но его уже не было на берегу.

Задумчиво глядя себе под ноги, она пошла в деревню, забыв подождать деда.

А дед Анисим, между прочим, был единственным человеком на пароме, который ни разу не улыбнулся за все время. Он один в течение всего рейса молча сосал потухшую трубку, поглядывая то на Митьку-озорника, то на свою внучку...

Глава 3

Поздним вечером промокшие, молчаливые Большаков и Корнеев возвращались домой из обкома партии. Каждый из них вез с собой по выговору за «головотяпство» по отношению к «королеве полей», как выразился один из членов бюро обкома.

В обком их вместе с секретарем райкома партии Григорьевым вызвали неожиданно, не объясняя причин. И только там сообщили, что от группы колхозников Зеленого Дола поступило письмо, в котором говорилось о «преступных действиях» председателя колхоза Захара Большакова и главного агронома Корнеева, распорядившихся всю «недавно только взошедшую, еще низкорослую кукурузу» скосить на силос.

Само письмо не показали, да Большаков с Корнеевым и не просили этого. Сообщили — потребовали объяснений.

Сверху сыпалась все та же морось. Копыта лошади чавкали по грязи, тяжелые, скользкие ошметки глины летели из-под

колес, падали на спины, на головы. Андрон Овчинников, встретивший председателя с агрономом на станции, уныло сидел на передке, время от времени покручивая над головой бичом и почмокивая губами.

— Ну вот так, головотяп! — впервые за всю дорогу с горечью произнес Захар.

Большаков и Корнеев знакомы давно, около полутора десятков лет. Когда-то они вместе учились на курсах председателей колхозов. Затем Корнеев несколько лет возглавлял соседнюю ручьевскую артель, окончил заочно сельхозинститут. После объединения колхозов бессменно состоит главным агрономом укрупненного хозяйства.

Они отлично сработались, понимали друг друга с полуслова, давно стали друзьями.

— Спасибо еще Григорьеву, он все-таки пытался объяснить, что к чему,— откликнулся так же невесело Корнеев.— Кабы не он, мало-мало по строгачу с предупреждением, а то и... Шутка ли — головотяпство? Так хоть простые выговоришки.— Помолчав, добавил: — Хороший, видать, человек Григорьев-то.

— А что, Боря, если мы с тобой и впрямь... того? — спросил Захар.— Вот завтра перестанет непогодь, обыгает кукуруза, да и вымахает у всех в рост-полтора к осени? Вот уж разъяснит нам тогда... всем троим.

— Н-да, риск. А вот у кого окончательно погибнет кукуруза, тем ничего разъяснять не будут.

От ближайшей станции до Зеленого Дола всего десять километров, но с лошади давно летели клочья пены. Когда показались огни деревни, мерин поплелся шагом.

— Черт, Морозов не догадался за нами машину послать! — сказал в темноту Большаков.

— Дождя в обед не было,— не оборачиваясь ответил Овчинников.— Устин говорит: «Давай езжай, председатель больше уважает чистый воздух». Ну а мне что? Кнут в руки — и все сборы.

— Интересно бы все же знать, что за «группа колхозников» такая? — раздумчиво промолвил Корнеев.

«Она, может, в одном лице, эта «группа»,— подумал Захар, вспоминая, как зашевелились зрачки Устина Морозова, едва он сказал недавно, что распорядился в четвертой бригаде скосить кукурузу на силос. Подумал, но вслух говорить ничего не стал. Да и что говорить? Ну, не любит Захар этого человека, не сошлись они когда-то в чем-то. Из-за его религиозной сверх всякой меры жены ли, из-за нелюдимости ли самого Устина? Но вот и с Фролом Кургановым не сошлись. Отношения его с Фролом еще сложнее. То есть настолько сложны, что Захар давно оставил попытку разобраться в них. Что ж, и Фрола подозревать в таком случае? Нет, не годится... Да и что думать теперь об этом письме! Если в самом деле они с Борисом ошиблись с ку-

курузой, осенью будет второе. Знает Захар, что будет. Не знает только, от кого, от какой «группы». Устин все-таки не должен бы... А Фрол, как Захару кажется, тем более. Этот лучше уж в морду харкнет, как недавно на лугу...

Анисим, ожидавший их с паромом, давно перевез на другой берег, давно они ехали по такой же раскисшей, как проселочная дорога, улице села. А Захар незаметно для себя все думал о Фроле Курганове, его жене Степаниде, об их сыне Митьке. Да, не разобраться в их отношениях. Может, и лежал когда-то наверху конец ниточки, потянув за которую можно было размотать весь клубок. Да с годами кончик тот истерся, оборвался, время обкатало клубок, как камень-голыш. Хоть ногтем колупай, ножом скреби. Пыль наскоблишь, а кончика не найдешь.

Очевидно, эта пыль и оседала всегда на сердце Захара, пощипывала каждый раз при виде Митьки, затягивала тоненькой холодной пленочкой... Митька был первым и единственным сыном Фрола Курганова и Стешки. А мог бы быть сыном его, Захара Большакова. Захар злился сам на себя, а пленочка не таяла. Чем же виноват Митька, что не его он сын? И ведь парень как парень, озорной и смешливый. Правда, в шутках своих не знает края, смелый до дерзости. Но зато в работе отчаянный и неутомимый, лучший механизатор. Надо, однако, поставить его механиком ремонтной мастерской.

Какие-то странные звуки заставили Захара очнуться. Что за черт, гимн, что ли, кто поет? Кто? Где? По какому поводу?! И почему — поет? Давно уже Государственный гимн исполнялся без слов. Может, кто завел сохранившуюся с давних времен патефонную пластинку? Да нет, гимн пели торжественно, величаво, а тут тянется и тянется заунывный мотив.

— Что за наваждение? — спросил Большаков, нахмуриваясь еще больше.— Слышите?

Корнеев что-то промычал удивленно, а Овчинников уронил смешок, указал бичом в переулок, во тьму:

— Там...

— Что там?

— А поют. Эти самые...

Песня слышалась теперь отчетливее:

Союз нерушимый великой свободы
Сплотила навеки святая любовь.
Нас, верных лишь только единому богу,
Омыла Христова пречистая кровь...

— Эти самые поют... баптисты Пистимеины,— сказал Овчинников.— Третьеводни я проезжал мимо ихнего дома — разучивали только, вразнобой тянули. А теперь, ишь, с подголосками выводят.

— Ах, старые песочницы! — воскликнул Корнеев.— Это что же получается?! Еще бы на мотив «Интернационала» вздумали... Сворачивай, Андрон! Живо!

Овчинников защелкал бичом. Уставший мерин захлюпал по грязи чуть быстрее.

Возле молитвенного дома их встретил Филимон Колесников. Размахивая руками, он подбежал к ходку.

— Это что же такое, Захар, а? Борис Дементьич? Это до каких пор такую вонь терпеть будем, я спрашиваю?!

— Спокойно, Филимон! — дотронулся Большаков до его плеча, сойдя на землю.

А вдоль улицы меж тем тягуче и тоскливо тянулось:

Сквозь грозы и бури житейского моря
Пойдем мы вперед, не страшась вражьих сил.
Христос нам поможет, ведь в нем наша сила,
И он, первенец, этот путь проложил...

Колесников ринулся в молитвенный дом.

— Филимон! — еще раз предупредил Большаков.— Гляди, дров наломаешь...

Колесников, горячий и порывистый, до сих пор не мог примириться с существованием в Зеленом Доле баптистского молитвенного заведения. Когда он вернулся с Отечественной и, проходя по деревне с немецкой трубкой в зубах, впервые услышал доносящиеся из дому песнопения, обошел его сперва кругом и с гневной укоризной спросил у Большакова:

— Эт-то что?! Как допустил?!

— Разве я? Меня тут не спрашивали...

— Все равно! Эх!.. Ну, я их!

Филимон, тогда еще молодой и, несмотря на пережитое, опалившее огнем время, немного ветреный и легкомысленный, около года трезвонил по деревне, что раскатает молитвенный дом по бревнышку, а всех старушонок баптисток заставит вместо своих молитв петь «распроклятый черт, камаринский мужик...».

— Но-но, ты не очень-то! — сказал ему однажды Юргин, стоя, однако, от Филимона на приличном расстоянии.— Я то не верю в бога, я, можно сказать, даже этот... атеист-антирелигиозник. По мне хоть по щепочке разнеси их гнездо. А только статья сто двадцать четвертая Конституции — это, брат, что? — И вытащил из кармана книжечку.— Вот она, ногтем отчеркнутая, эта статеечка... «В целях обеспечения свободы совести в СССР...» Понял, в целях обеспечения... И дальше: «Свобода отправления религиозных культов... признается за всеми гражданами». Дошло? Свобода! А старушки тоже граждане... И тоже свободы хотят.

Ух как вскипел Филимон, роняя изо рта заграничную трубку:

— Кто тебе, дурак немытый, статью эту отчеркнул, а?! С чьих слов ты, атеист-антирелигиозник, песню поешь?! Да я тебя...

— Но, но!..— снова проговорил Юргин уже помягче.— Давай лучше того... Зачем тебе трубка-то? Продай лучше. Или давай сменяемся. Я тебе за нее пинцет дам.

— Ч-чего?! — совсем открыл рот Колесников.

— Пинцет... такой блестящий, большой. В медицине им пользуются. А сейчас вилок нету, так можно его и вместо вилки... Очень надежно хоть пельмень, хоть вареное сало брать. Я пробовал. И еще бутылку самогону в придачу дам.

Бутылка и решила дело, обмен состоялся.

— Трубка, верно, не нужна мне,— сказал Колесников.— Так, для форсу дымил с нее. А тебе-то она зачем? Ты же совсем не куришь.

— А так... редкая вещь все же...

— Ну, дуй от меня! Пинцет свой обратно возьми, ешь им пельмени. Да гляди у меня, поагитируй еще за богомолок... Я все равно схвачу их вот этим пинцетом поперек глотки.— Колесников сжал и разжал огромный кулак.— И тебя вместе с ними, если что...

Вскоре после этого, воинственно обойдя еще раз вокруг молитвенного дома, Филимон укатил в район, оттуда в область...

Вернулся сердитый, хмурый, как туча.

— Ну что? — спросил Большаков.

— Вот,— бросил Колесников на стол брошюрку «Церковь в СССР».— Дали почитать в области. Я тут ногтем, как Юргин, тоже отчеркал некоторые места... про свободу совести. «Законы СССР запрещают ограничивать свободу совести, преследовать за религиозные убеждения и оскорблять религиозные чувства верующих». Все яснее ясного. Это мне еще Юргин разъяснил. Да что это за законы такие? А если они, эти богомолы, мои антирелигиозные чувства оскорбляют?

С годами Филимон утих, посерьезнел. Но когда речь шла о молитвенном доме, Колесникова нет-нет да и прорывало.

Отправив Овчинникова с лошадью, Большаков с Корнеевым тоже вошли в тускло освещенные сени, оттуда — в большую комнату, устланную половиками. Вдоль стен по лавкам сидело десятка полтора старух. Посреди комнаты стоял простенький, ничем не покрытый стол, на нем лежала Библия. На стенах ни икон, ни лампад. Только в простенке между окон висел обыкновенный отрывной календарь. Электрическая лампочка на потолке была закрыта наглухо плотным зеленым абажуром с кистями, отчего в комнате был мягкий, умиротворяющий полумрак.

Сложив руки на груди, старухи жалобно выводили:

Наш путь в небеса, ко Христу, есть сраженье,
Борьба с своей плотью, грехом и со злом.
Но в трудный момент ко Христу, без сомненья,
Мы все воззовем, и поможет нам он...

— Эт-то что еще тут за филармонию развели?! — загремел Колесников.

Старухи испуганно замолкли.

— Тихо, ты...— подтолкнул его Захар.— Пистимея Макаровна, у нас к тебе...

— Клавдия! Никулина!!! — воскликнул вдруг Корнеев, перебивая председателя.— И ты здесь?! Вот это... Это уж не филармония, а, как выражается твой отец, целая трансляция. Нука, Захар, нет ли тут еще кого из членов нашего правления?

Никого из членов правления колхоза в комнате больше не было. А Клавдия Никулина, бригадир огородниц, действительно, опустив голову, сгорая, видимо, от стыда, сидела среди старух.

Впрочем, кроме Клашки и старух, тут находилась еще дочка самой Пистимеи. Прижавшись в уголке, закрыв до половины лицо платком, Варька тупым и безнадежным каким-то взглядом глядела в черное окно.

— Так...— Захар тяжело переступил с ноги на ногу.— Пистимея Макаровна, поговорить надо. Давайте... А помолитесь завтра...

— А я вот что скажу вам, касатики,— строго поблескивая голубыми, чистыми даже в старости глазами, проговорила Пистимея, выпрямляясь.— По какому такому праву вы... вломились сюда? Слава богу, по советским законам мешать богослужениям запрещается...

Тогда Большаков жестко проговорил:

— А сегодня — помешаем...

— Кончайте свои молитвы, живо! — Колесников шагнул было к столу, но Большаков удержал его.

— Мы будем жаловаться,— предупредила Пистимея.

Большаков погладил усы, снял фуражку.

— Кто тебе запрещает? А сейчас в самом деле кончайте. Ты знаешь, я не полезу в те ваши дела, куда не положено.

Пистимея это знала. Она обиженно поджала высохшие губы, пробормотала что-то невнятно.

Старухи одна по одной зашаркали к выходу. Поднялась и Клашка.

— А ты останься, пожалуй, Клавдия,— сказал Корнеев.

Когда все, кроме Клашки, вышли, Захар прошел к столу, сел на табурет, отодвинул в сторону Библию. Пистимея, торжественно сложив на груди руки, стояла рядом, как столб.

— Что это вы за песню тут пели? — спросил Захар простуженным, ничего хорошего не предвещавшим голосом.

Вся строгость в Пистимеиной позе сразу как-то растаяла, хотя руки она по-прежнему держала сложенными на груди. В глазах проступило недоумение.

— Так, обыкновенная песня... божественного содержания.

— Ты не юли, бабка! — вмешался Колесников.— Не об содержании пока речь, об музыке.

— Никакой музыки у нас не было...

— Пистимея, не притворяйся-ка, в самом деле! — чуть повысил голос Корнеев.— На какой мотив вы приспособили... божественное содержание вашей песни?

Пистимея наконец опустила руки, беспомощно и чуть заискивающе улыбнулась старческой улыбкой, сбивчиво забормотала:

— Так чего уж... Мы уж... Вроде похоже, правда... А мне невдомек...

— Вот что я тебе скажу, Пистимея Макаровна! — Большаков пристукнул кулаком по столу.— Ты не представляйся глупее, чем ты есть. Все тебе «вдомек». Услышу еще раз эту песню — будем ставить вопрос о закрытии вашего молитвенного заведения. Поняла?

— Как же, как же...— поспешно закивала головой пресвитерша.

— Ты законы об религии хорошо знаешь,— усмехнулся Колесников,— когда-то ногтем в Конституции статью отчеркнула, которую мне Юргин в нос совал. Но и мы знаем условия прекращения деятельности всяких религиозных общин. И не позволим Государственный гимн похабить...

— Господи, слово-то какое!

— Слово хоть и грубое, но точное,— сказал Большаков.— А теперь еще насчет молодежи. Мы не раз говорили с тобой об этом и по-хорошему и по-плохому.

Пистимея снова сложила руки на груди, приняла торжественный вид.

— Ты, Захар, напраслину не возводи. Не приманиваю я сюда молодежи. Одни старухи...

— А Варька? Сами же видели...

— Что Варька? — Пистимея холодно блеснула глазами, поглядела на Клашку.— Уж коль на то пошло, это дело каждого — верить в бога али нет. Свобода совести, по-вашему. Я никого не принуждаю. Вон и Клавдию мы тут не принуждали и не на веревке сюда ее привели. Пришла — сиди, слушай, не прогоним. А западет хорошее слово в душу — согреет теплом божественным. И уж тогда, коль потребует душа излить за это благодарность богу, перечить не станем. И сами помолимся, чтоб благодарность дошла и принята была с благословением. Для этого государство и молитвенные дома держать нам разрешило. Так же и с Варькой.

Разговор был долгим...

На улице Захар сказал:

— Неглупа. Песню эту больше не затянут. А насчет молодежи — ох, глядеть надо, мужики...

— Да глядим, кажется. И, кроме Варьки, вроде никто сюда не похаживает. Но ведь с Варькой...— Корнеев чуть приостановился.— В детскую еще душу заложила ей Пистимея это самое слово Христово. Попробуй вынь... Да что там Клавдия, ночевать собирается? Клавдия?

Никулина, кутаясь в платок, вышла из сеней и остановилась, низко уронив голову.

— Как же так, Клаша? — спросил Большаков негромко.— Вот уж расскажи кто днем, посмеялся бы над рассказчиком.

Клашка постояла-постояла и всхлипнула, шатнулась и упала на грудь к Корнееву, стоявшему ближе к ней.

— Борис Дементьич... Захарыч... Не знаю я, как вышло... Все одна да одна, скоро двадцать лет — и все одна,— плача, говорила Клашка.— А чуть что — бабка Пелагея тут как тут: «Христос не забудет страждущих да жаждущих...» И сама Пистимея: «Зайди как-нибудь, не чужая, чай, остудится сердце. Если и умер Феденька — для нас он живой... Христос может воскресить человека из праха. Поверишь в Христа — и воскресит...» Вот и зашла. Из любопытства, может...

— Ну ладно, ладно, Клавдия... Что ты, в самом деле? — неумело и потому несколько грубовато сказал Корнеев, бережно поддерживая женщину.

Захар тоже подошел, тронул ее легонько за плечо:

— Клаша...

— Я никогда... Захар Захарыч... Борис Дементьич, слышите... и ты, Филимон... Я никогда не приду больше сюда...— И она оторвала от груди Корнеева мокрое, блестящее под лунным светом лицо.— Только вы забудьте... И чтоб никогда... словно и не было меня тут, словно не видели...

— Да само собой, об чем разговор! — поспешно промолвил Колесников.

— Ты иди-ка домой, отдохни...

Клашка вытерла ладонью мокрые щеки и пошла.

Большаков, Корнеев и Филимон постояли еще немного молча и так же молча пошли по грязи в другую сторону.

— Да-а...— промолвил через некоторое время со вздохом Корнеев.— А я читал недавно — брошюрка такая попалась,— сколько у нас еще церквей и молитвенных домов, сколько еще монастырей! Да две этих... духовных академии.

— Во-во... Сколько эти самые академии каждый год таких вот... утешителей выпускают! — буркнул зло Филимон.— И это кроме всяких там подпольных, не взятых на учет сектантов...

И еще несколько минут шли молча до самого дома Большакова.

Прощаясь, Захар сказал:

— А насчет Варьки вот... Пропадет девка, если мы как-то...

— Слушай, Захар. Попроси Иришку Шатрову, пусть подружится с ней. И, может, она...

— Да я попрошу, объясню ей все. Только сдается мне, Боря, есть еще один человек, который... Словом, этот человек, однако, может сделать больше Иринки, больше всех нас, вместе взятых.

— А-а, Егор Кузьмин! — промолвил Колесников.

— Во-во! И ты приметил? Идут по улице как-то, у Егора все на лице написано, а Варька... Озирается пугливо, а тоже вроде ухо опростала из-под платка, чтобы слова не пропустить.

— Да ведь как к ним, чертям, подойдешь... Не прикажешь же — женитесь, дьяволы! Хотя... С Егоркой-то можно потолковать по-мужски. Но ведь Пистимея с Варьки глаз не спускает, держит при себе, как привязанную.

— Тут придумаем что-нибудь. Вот и давай, Филимон. Я — с Иринкой, ты — с Егором. И какое спасибо нам Варька потом скажет! Ну, еще раз прощайте.

Глава 4

В последних числах июля сеногной наконец прекратился. Однажды с полудня клубы тяжелых, как густой дым, туманов оторвались от земли, поползли все выше и выше. К вечеру они перекатывались уже высоко над головами, сбивались там в неуклюжие облака, а ночью вдруг поплыли за тайгу, как тяжелые, неповоротливые льдины в густой ледоход. Перед рассветом ледоход стал пореже, в открывшиеся разводья просыпались первые горсти звезд. А утром как ни в чем не бывало засияло на чистом небе солнце.

Сена во всех бригадах удалось спасти немного. Добрая половина так и сгнила.

— Ну, что будем делать, друзья-товарищи? — грустновато спросил Захар, когда зеленодольцы дометали последний стог.— В других бригадах еще хуже. Чем кормить скот зимой будем?

— А что тут...— махнул рукой Устин. И добавил, будто оправдывался, хотя его никто не обвинял: — Во всем районе так.

— Петька Смирнов, редактор, вчерась приезжал. В других колхозах, говорит, и того не могли сберечь,— указал Анисим Шатров на редковатый строй островерхих невысоких стожков.

— Мы хоть как-никак кукурузу не потеряли,— сказал Устин.— А во всем районе так и погнила на корню.

— Сомневаюсь,— вставил Андрон Овчинников свое любимое слово, но никто так и не понял, в чем он сомневается.

Захар разрешил людям немного отдохнуть. Но через день-другой ожила, загудела, зазвенела железом ремонтная мастерская, затюкали топорами плотники в недостроенной конторе, закопошились люди вокруг водонапорной башни. Кладка круглого тела башни давалась каменщикам-самоучкам нелегко, а Моторин целыми днями сам держал в руках мастерок, растолковывая и показывая, как управляться с кирпичами.

Но основные силы всех бригад Большаков бросил теперь на раскорчевку леса. День и ночь над тайгой стоял надрывный тракторный вой и треск выворачиваемых деревьев.

Однажды председатель вызвал в контору Варьку Морозову. Несмело перешагнув порог, она прижалась к косяку.

— Вот что, красавица,— сказал Захар.— Поедешь в тайгу, к раскорчевщикам, поварихой. Там людей Мироновна кормит,

но сейчас едоков сильно прибавилась, ей одной не управиться. Будешь помогать ей.

Варька сперва пошевелила плечами, поежилась, будто ей было холодно. Потом сказала еле слышно:

— Ладно.

Через полчаса, как Захар и ожидал, в контору заявилась Пистимея.

— Не пущу дочку! — закричала она с ходу.— Еще чего выдумал — девку к мужикам! Мало ли в деревне работы.

— Это уж мое дело, куда кого послать,— спокойно сказал Захар.— И не одна она, Варька, будет среди мужиков. Там Мироновна, там...

— А я говорю — не пущу! Я уж, коли так, вон любую сестру во Христе в помощь Миронихе уговорю. Мало одной — две...

— А я говорю — поедет! — хлопнул ладонью по столу Большаков.— Что это за штуки еще такие? В доярки дочь твою нельзя, в свинарки тоже — в отлучке из деревни за километр-другой, видите ли, придется Варьке бывать. Чего ты за нее боишься? Никто ее не тронет... В общем, чтоб не ныла мне больше тут! Ступай собирай дочку...

В обед Большаков встретил возле пыхтящей электростанции Морозова, проговорил:

— Сколько же с твоей женой насчет Варьки воевать, Устин? Как-то оно получается у нас не так.

Морозов нахмурился, сплюнул на землю.

— Да я уж и сам с греха сбился. Всю душу вымотала она с меня, ладанка ржавая,— сказал о своей жене Устин. Сказал со злостью, почти с ненавистью. И, помолчав, добавил решительно: — Ничего, поедет.

К вечеру этого же дня Варька действительно была уже в тайге, за Чертовым ущельем, сидела на низенькой скамеечке возле лесного ручья и чистила картошку, обмывая ее в студеной воде.

Совсем рядом где-то трещало, ухало, рвало, и Варька каждый раз взмахивала длинными ресницами, а потом вздрагивала.

— Ничего, корчуют матушку,— говорила Мироновна, пожилая, мягкая, круглая женщина.— С корнями выворачивают. Иная сосница уж так крепко сидит — возятся-возятся с ней. Придут мужики обедать — все промокшие от поту. А ничего, вывернут-таки. Корнища-то вскинет дерево в небо, а в корнях — гора земли. А интересно глядеть. Завтра вот сходи-ка погляди.

— Что ты, что ты... Зачем я пойду?

— Так, интересно, говорю. Ну, айда печь растапливать! Как бы еще поспеть нам с ужином. Скоро накатится горластая орава.

Печь с большими котлами была сложена на расчищенной от леса поляне. Вокруг печки стояли полукругом длинные, сколоченные из неоструганных досок столы. За столами — несколько дощатых вагончиков, в которых жили колхозники...

«Горластая орава» действительно накатилась. С шумом, с гамом, с хохотом высыпала из-за вагончика толпа перемазанных грязью и машинным маслом людей.

— Мироновна, горяченькой воды — отмыться бы!

— Чего-то, братцы, сильно запашистый дух от котлов сегодня.

— Всегда так — как соберусь в деревню, к жинке на ночь, тут ужин как для королей.

— Не облизывайся, мотай скорее. А то уж заждалась поди, с обеда в окно глядит.

— Николаха, заправь там мотоцикл мой!

— Братцы, да ведь у нас повар новый! Варька, ты, что ли?

— Вон отчего ужин-то сегодня особый!

— Какая Варька? Морозова, что ли?

— Братцы, я тоже хотел в деревню. Однако не поеду теперь...

Мужчины и парни сгрудились вокруг Мироновны и Варьки, гоготали, дымили папиросами, отпускали шуточки, пока Мироновна не замахнулась на них половником:

— Хватит вам... Разоржались, как жеребцы! Варюшка, вон с того котла дай им горячей воды помыться.

...После ужина некоторые действительно укатили на мотоциклах по деревням. Две группы мужиков при свете от аккумуляторов долго стучали по столам костяшками домино.

Варька лежала в вагончике с открытыми глазами, слушала, как хохочут за стенкой мужчины, что-то рассказывая друг другу.

В каком-то вагончике работал батарейный радиоприемник, далеко оглашая тайгу веселыми песнями.

Уснула она почти перед рассветом. Но утром поднялась бодрая, не ощущая никакой усталости. Незнакомый парень в майке, видимо, из какого-то другого села, колол для поварих дрова вместо физзарядки.

Дня через два-три Варька все-таки пошла поглядеть, как корчуют тайгу. Оказалось, очень просто. Небольшие сосенки и ели захватывают стальными канатами и тащат тракторами прочь. Могучие же деревья сначала спиливают, затем пни выворачивают корчевальными машинами и заравнивают бульдозерами образовавшиеся ямы.

Растопыренные корневища деревьев валялись всюду. «Ну да убрать их уже пустяки»,— подумала почему-то Варька и пошла назад.

А еще через день в тайгу приехал верхом на низкорослой лошаденке Егор Кузьмин.

— Покорми, Мироновна,— попросил он. И, поглядев на Варьку, прибавил: — Езжу вот по лесу, ищу, где какой клочок можно хоть литовками выкосить. И Захар тоже ездит, и все бригадиры. Да что...

— Варвара, налей мужику,— сказала Мироновна, перетирая чашки.

Егор года три назад овдовел. С тех пор ходил всегда какой-то мятый, сумрачный и немного растерянный. И Варьке было его всегда жаль.

Ел Кузьмин не спеша, склонив крупную, угловатую голову над чашкой, словно раздумывал над каждой ложкой — отправлять ее в рот или нет? «Однако не нравится ему наш суп»,— решила Варька. Он еще не выхлебал и полчашки, а она подставила ему миску с мясом и картошкой.

— Ага... Ну да,— встрепенулся виновато Егор, торопливо отодвинул суп. Но и второе ел тоже будто с неохотой.

«Все о ней думает. О жене»,— решила про себя Варька и неприметно вздохнула.

Детей у Егора не было. Все эти три года Кузьмин жил в одиночестве, и, проходя иногда вечером мимо его дома, Варька всегда глядела на светящиеся окна и думала: «Тоскливо, поди, одному-то в пустых стенах».

Каким-то образом Егор узнал, что ли, про эти ее взгляды (может, иногда видел) и при случайных встречах несколько раз пытался заговорить. Она испуганно убегала.

— Скажи-ка, Варвара, чего ты пугаешься меня? — спросил он ее однажды, загораживая дорогу.

— Вот еще! — опустила она голову.— Пусти давай, еще чего... Не дай бог, увидит кто...

Егор посторонился.

Потом еще встречались на улицах, перекидывались тремя-четырьмя ничего не значащими словами. В деревне это, конечно, незамеченным не осталось. И пошел слух, что у них с Егором любовь.

Никакой любви не было, и вообще ничего не было. Но Варька, кажется, хотела, чтоб была.

Хотела и знала, что ее желание пустое, несбыточное вовеки. Никогда, ни за что мать не разрешит ей выйти замуж.

— Корчуют, значит,— услышала Варька голос Егора и вздрогнула.— Ишь какой треск идет!

Варвара привыкла уж к реву тракторов, к шуму и треску выбираемых из земли деревьев, к крикам колхозников, не обращала на них внимания.

— Ага, корчуют...

И вдруг что-то случилось с ней, захотелось убежать от этого шума и рева, от внимательно разглядывающих ее светло-зеленых глаз Егора, от самой себя.

— За свежей водой... сбегаю! — крикнула она и схватила ведро.

— Куда нам! — проговорила Мироновна.— Вон еще полная бочка.

— Все равно...

Варвара остановилась на берегу ручья, прислонилась спиной к дереву, бросила ведро в траву и закрыла горящие щеки руками. «Так лучше, так лучше,— лихорадочно колотилось в ее голове.— Пусть уезжает, скорей, скорей! Потому что все равно ничего, ничего... Не разрешит мать, не разрешит... А без благословения как можно? Грех, грех... Испепелит Христос. А раз так — зачем?..»

Понемногу она успокоилась, опустилась на колени в траву, сложила руки на груди, запрокинула голову и начала шептать молитву. Косы ее упали на землю.

Когда встала, увидела: Егор в пяти шагах поит из ручья коня, держа повод в руке. Когда он привел лошадь — она не слышала.

Варвара во время случайных встреч в деревне каждый раз опасалась, что Егор заговорит с ней о боге, как заговаривали с ней многие, насмехаясь над ее верой, не вызывая в ней ничего, кроме холодной неприязни, смешанной с некоторой долей жалости к заблудшим, обреченным рано или поздно на погибель людям. Однако Егор не заговаривал. Но сейчас, проходя мимо, он, конечно, видел, что она молилась. И уж сейчас, она чувствует, обязательно что-нибудь скажет богопротивное. «Ну и пусть. И пусть...» Это даже к лучшему, даже поможет ей замкнуться в привычную холодную скорлупу.

Но Егор, напоив коня, сказал совсем о другом:

— Я, между прочим, Варвара, ради тебя ведь завернул сюда.

— Вот уж...— От неожиданности девушка растерялась.

— Оно конечно...— усмехнулся Егор.— Я сейчас вон в ближайшую балку загляну — нельзя ли там копешку-другую наскрести. А как сосмеркается, подъеду сюда, а? Выйдешь?

— Да... зачем?! — прошептала Варька, чувствуя, что опять вся вспыхивает.

— Я и говорю — оно конечно...— опять повторил Егор.— Мне уж сорок лет. По свиданиям-то вроде и неловко шастать. Засмеют мужики, коли узнают... Так выйдешь?

— Нет, нет, что ты! Ночью?!

Егор подтянул подпругу.

— Что ж ночью... Днем-то мне и вовсе стыдней. Я не баловник какой-нибудь.— Егор вскочил в седло.

— Я же в бога верю! — почти простонала Варька.— А ты...

Егор вынул кисет, свернул папиросу.

— Чего — я? Отец вон твой безбожник, да ведь всю жизнь прожил с твоей матерью. Так слышь — подъеду.

Варька стояла, опять прислонясь к дереву, дрожащими пальцами то заплетала, то расплетала косы. «Нет, нет, не приезжай!» — кричали ее черные, как у отца, глаза. Но язык не повиновался.

Егор тронул коня.

...Всю эту ночь Варька металась по жесткой постели, несколько раз вставала, подходила к маленькому, запотевшему

от ночной прохлады оконцу, падала на колени, исступленно молилась. Ложилась, опять вставала...

Но выйти из вагончика так и не осмелилась.

До уборки ржи колхозники успели отвоевать у леса еще гектаров около двенадцати. Но вслед за рожью поспели овсы, а там пшеница — и пошла, зазвенела страда. О раскорчевке теперь до следующего лета нечего было и думать.

Урожай зерновых вышел нельзя сказать чтобы отменный. Середнячок урожай, а может, и пониже — сказалась все-таки и свирепая засуха в начале лета, и наступившая следом затяжная непогодь. К тому же хлеба вызрели поздно. Времени для уборки было меньше чем в обрез. Несмотря на это, Захар все-таки во всех бригадах выделил группы косцов, которые беспрерывно мотали косами по таежным опушкам, лесным полянам, высмотренным Егором Кузьминым, бригадирами да и им самим. В тайге, возле круглого Камышового озера, в Пихтовой пади, бригада Морозова с горем пополам поставила несколько стожков. Ждали отаву... Кошенина вроде сразу же покрылась тонким зеленым ковриком. Но после сеногноя не упало ни одного дождя, и отава, не успев отрасти, ушла под снег.

Не дожидаясь конца уборки, когда освободятся тракторы и автомашины, председатель отдал распоряжение всем бригадам возить сено к фермам пока на лошадях. Возили его зеленодольцы, как и все другие, невесело. Прелые, сухие пласты не пахли луговым разнотравьем, как обычно. Андрон Овчинников, утрами являясь на конный двор к Фролу, прежде чем запрячь лошадей, долго курил, разговаривал с Кургановым о том о сем... Подходили другие возчики. Андрон на правах старшего усаживал и их курить.

— Давай разбирайте лошадей! — поторапливал их всегда Фрол.

— До белых-то мух успеем. Куда нынче торопиться...— невозмутимо отвечал Андрон.— Еще вот маленько повозим, да и кнут набок. Освободим нынче трактористов от вывозки.

Фрол не выдерживал и в сердцах кричал:

— Стебли вареные! За день можно трижды обернуться, а вы два раза еле успеваете...

Однажды на конный двор заглянул Корнеев:

— Ты чего там с подводой для огородниц мудришь? У них огурцы пропадают. Никулина два раза жаловалась.

— Сено же возим,— сказал Курганов.

— Сено успеется, теперь не сгниет. Больше чтоб не слышал от Клашки жалоб! Ей и подводу-то на два дня надо.

Когда агроном ушел, Фрол Курганов снял со стены конюшни уздечку, надел ее на рослого мерина.

Запряг коня в бричку-бестарку и не спеша поехал на колхозные огороды.

Ехал и думал — куда же это он едет и зачем?

Уже много дней стояла у Фрола перед глазами такая картина. Сидит Клашка Никулина на мокрой копне среди луга, рядом с председателем, и жжет Фрола злыми глазами. Вокруг стоят Филимон Колесников, бухгалтер, Анисим Шатров, его внучка... У этой глаза еще злей, и будь у нее такие же кулаки, как у Филимона, она бы измолотила его, Фрола, тут же, не раздумывая.

Но это бы ничего, текли мысли Фрола дальше, наплевать бы и на старика Шатрова с его внучкой, и на самого председателя, и на других... Все знают — мало ли за всю жизнь было у Фрола стычек с Захаром! Все понимают: прожить бок о бок в одной деревне да не задеть друг друга локтем — все равно что бежать по лесу да не натолкнуться на ветку.

Все бы ничего, кабы не эти Клашкины глаза...

Они разбудили его однажды ночью. Вдруг ни с того ни с сего приснился ему недавний случай на лугу. Прохватившись от сна, Фрол даже плюнул со злости и... продолжал, ворочаясь с боку на бок, до света думать о Клашке: ведь именно так и смотрела она тогда на него. И так же, конечно, глядела на него из темноты, когда вечером, выполоскав белье, сидела рядом с ним на траве.

Миновал день, другой, а наваждение не проходило, стоит перед глазами проклятая баба — и все!

А недавно пришла к нему на конный двор с огородов дочка Натальи Лукиной Ксюха, длинноногая застенчивая девчонка, и сказала, забрасывая за спину тяжелую косу:

— Тетя Клаша подводу просила огурцы вывезти. Бригадир велел у вас спросить. Конечно, нам бы сподручнее автомашиной, да они все на уборке. Тетя Клаша просила сегодня же...

Чуть-чуть не взорвался Фрол. И так целыми днями торчит в голове эта чертова Клашка, а тут еще напоминают про нее! Но сдержался, буркнул только:

— Ты... чего тут вожжи размотала? Ступай, без тебя знаем.

Фрол выпроводил Ксюху, но подводу на огород так и не направил. Ксюха приходила еще два раза и уходила ни с чем, потому что Фрол поставил неожиданно для самого себя условие: пусть сама Клашка придет за лошадьми. И только сегодня, когда агроном спросил: «Чего там с подводой для огородниц мудришь?» — решил дать подводу. Но, опять-таки неожиданно для самого себя, поехал на колхозный огород сам.

— Это куда? — спросил у него Анисим Шатров, отправляя паром.

— На кудыкину гору,— бросил Курганов, не глядя на него.

— Ишь ты...— Старик присел на телогрейку, брошенную в углу парома, стал сосать холодную трубку. А в висках у Фрола

вдруг больно застучало: «Грех да позор... как дозор... нести надо...»

В висках стучало потом всю дорогу, до самых огородов.

Клавдия не удивилась, что Фрол приехал сам. Презрительно сложив губы, она стала насыпать в корзину из огромной кучи перезрелые и желтые, как кукурузные початки, огурцы и вываливать их потом в бричку.

Фрол молча стоял рядом, не зная, что сказать, что делать, глядел на маячивших кое-где баб, обиравших с грядок огурцы и помидоры.

— Помог бы хоть,— язвительно сказала Клашка.

Фрол торопливо кинулся наполнять корзину.

— Да сама насыплю,— остановила его Клашка.— Вываливать в бричку пособи.

Курганов покорно взял корзину за плетеные ручки и, легко подняв, опрокинул над бричкой.

Когда бричку насыпали с верхом, Клашка тяжело разогнулась, схватилась рукой за спину.

— Что, болит? — участливо спросил Фрол.

Клашка раздраженно ему ответила:

— А у тебя вот ни спина, ни совесть, видно, не болят.

— Недавно вроде другое говорила... что мне перед самим собой стыдно,— как-то обиженно проговорил Курганов.

— Не прикидывайся-ка! — сказала Клавдия.— Ишь обидчивый какой...

Фрол смотрел на ее грязные босые ноги с широкими ступнями, на забрызганный помидорным соком подол и думал почему-то, что ночами Клашка, наверное, лежа вниз лицом на своей постели, вдавив в подушку тугие, не троганные никем груди, плачет от своего бабьего одиночества.

— Дура,— сказал он вдруг ей ласково.

— Может, и дура,— согласилась она. Но тут же голос ее опять окреп и зазвенел: — Только хватило бы ума, будь я на твоем месте, подводы вовремя давать. Кому теперь эти деревяшки нужны? — Клашка схватила желтый и твердый, как камень, огурец, ткнула им чуть ли не в лицо Фролу и бросила обратно в бричку.— Неделю назад труд наш чего-то стоил, а теперь все за бесценок пойдет.

«Так уж и за бесценок?» — хотел он сказать, но вместо этого проговорил, чтобы успокоить ее:

— Ты трудодни получишь одинаково. Что сейчас, что тогда свезли бы огурцы на рынок...

— Трудодень запишут, да на трудодень натечет с этих огурцов шиш два уха! Татьяна! — закричала она женщине, обиравшей грядки.— Отвези в деревню — да той же минутой назад! Сегодня дотемна возить будем.

— И куда тебе одной-то много денег? — попробовал пошутить Фрол.

— Впрок коплю! — зло отрезала Клашка.— Вернется вот муж — чтоб до конца жизни ему хватило. Посажу его в комнату — и мухе сесть не разрешу. Окно занавешу — и любить буду. За все двадцать лет, что жду его, отлюблю...

— Да ты умеешь любить-то? — спросил Фрол.— Тебе еще, поди, учиться надо.

Но Клашка не ответила. Она подняла пустую корзину и пошла прочь.

Был полдень. Солнце, как перезревшая дыня, висело над головой, обмывало землю густыми лучами. Теплый ветерок бил Клашке в бок, трепал волосы, запрятанные под ослепительно белый платочек. Клашка то и дело нагибалась, одергивая подол юбки,— очевидно, чувствовала, что Фрол безотрывно смотрит ей вслед.

И Фрол смотрел, видел всю ее фигуру, крепкую, стройную, немного располневшую, но все еще почти девичью. Он отвернулся, когда Клашка Никулина глянула вдруг назад и погрозила ему кулаком. Может, она что-то крикнула, но из-за ветра не было слышно.

Глава 5

Октябрьские праздники торжественно отметили в колхозном клубе.

Доклад о сорок третьей годовщине, если это можно было назвать докладом, сделал секретарь райкома партии Григорьев. Расхаживая по сцене и время от времени поглаживая бритую голову, он как-то по-домашнему вспоминал годы своей молодости, работу в продовольственном отряде, затем говорил о коллективизации на Дальнем Востоке, об организации первых зимовок в Арктике, об участии в жестоких боях под Москвой... Оказывается, этот человек испытал кулацкие пытки, чудом избежав смерти, едва не утонул в Северном Ледовитом океане, помогая попавшим в беду товарищам, перенес несколько ранений в Отечественную, два из которых чуть не оказались роковыми.

Зал был набит битком. Люди внимательно слушали Григорьева. По лицам многих колхозников можно было безошибочно определить — нечасто им приходится слушать таких диковинных докладчиков.

Только по лицу Фрола Курганова нельзя было понять, что он думает. Поблескивая орденами Славы всех трех степеней, с которыми пришел с войны, Фрол сидел в четвертом ряду, неподалеку от Устина Морозова, чуть нахмурив брови. Устин же, в новом темно-синем костюме, смотрел на секретаря райкома чуть удивленно и осуждающе: дескать, чего это подвиги ты свои расписываешь?

Григорьев, будто прочитав мысли Морозова, остановился возле дощатой трибунки и сказал:

— Вы думаете, наверно: «Ну и чудак человек этот секретарь райкома! Чего это он о себе тут распространяется? Расхвастался...» А я ведь не о себе говорю. Подумайте-ка сейчас в этот день каждый о своей жизни, припомните некоторые подробности. И я уверен, что жизнь многих-многих из вас напоминает чем-то мою, а у некоторых, бесспорно, еще интереснее. Я знаю, как, например, воевал в гражданскую ваш председатель Захар Захарович Большаков, как он жил и боролся за новую жизнь все последующие годы. Я слышал, как дрался в Отечественную с врагом ваш сын, Устин Акимович, Федор Морозов, которого, к сожалению, нет сейчас рядом с нами. Я знаю, как воевал Фрол Петрович Курганов. Об этом говорят его ордена...

Фрол расправил нахмуренные брови, чуть выпрямился в кресле, оглядел зал. Глаза его на секунду задержались на Клавдии Никулиной, сидевшей неподалеку, возле стенки. Морозов же, наоборот, опустил голову, спрятав от всех глаза.

Захар Большаков едва сдерживал волнение. Ведь не торжественные, не громкие, а самые что ни на есть простые и обыденные слова произносил секретарь райкома, произносил без всякого пафоса, приглушенным, спокойным голосом. А глаза пощипывало, в груди что-то возникало горячее, радостное, волнами растекалось по всему телу. И Захар почти физически чувствовал, как прибывают в эти секунды силы.

— ...Так как же нам, как же каждому из нас, дорогие мои друзья и товарищи, не гордиться своей жизнью, если эта жизнь — борьба! — продолжал меж тем Григорьев.— И в такие вот праздники, как сегодня, мы каждый раз будто впервые видим, каких же хороших успехов добились в этой борьбе! Видим и удивляемся. Потому что невольно начинаем думать: что было и что стало?! А ну-ка, товарищи, давайте сейчас, вот здесь, на нашем собрании, попытаемся сравнить, что было у нас прежде и что есть теперь...

С самого начала собрания Захара не покидало ощущение: кто-то безотрывно смотрит и смотрит на него. Тем более такое ощущение казалось странным и необычным, что он сидел в президиуме и, конечно же, на него смотрели все.

В глубине сцены за фанерной перегородкой, раздавались суетливые шаги, шепот, звуки осторожно передвигаемых столов и стульев — там Иринка Шатрова командовала подготовкой к выступлению самодеятельности.

В разных концах зала Большаков видел Колесникова, Кузьмина, Зиновия Марковича, Митьку Курганова — этот демонстративно развалился на первом ряду («Учуял, шельмец, что и ему премию будут выдавать»,— подумал Захар), Сергеева, Моторина, Пистимею Морозову... Стоп! Не ее ли взгляд он ощущает на себе весь вечер?

Еще вчера Захар, увидев Морозову на улице, специально свернул ей навстречу. Поздоровавшись, проговорил:

— Не запамятовали твои старушки — завтра у нас большой праздник...

— Как же, знаем... Красное число в календаре.

— Не просто красное число, а большой, самый дорогой для советских людей праздник,— еще раз отчетливо произнес Большаков.

— Так я и говорю...

— Вот-вот... А то, думаю, забудете.

И пошел своей дорогой. Он знал — этого достаточно, чтобы Пистимея привела своих старух на торжественное собрание.

И она привела. Старухи сидели кучкой, прижавшись друг к другу, точно заняли круговую оборону, почти на самых последних рядах. Помаргивая, они старательно глядели на докладчика. Только сама Пистимея смотрела почему-то безотрывно на Большакова, воткнувшись взглядом ему в грудь, на которой поблескивали орден Трудового Красного Знамени, полученный еще в довоенные годы, и два ордена Ленина, которыми Захар был награжден в сорок четвертом и пятьдесят третьем.

...Так она и не оторвала глаз от его груди весь вечер. «А дочери ее все-таки нету в клубе,— подумал Захар, когда раздались шумные аплодисменты.— Все-таки не пустила ее на собрание, старая песочница».

Затем слово взял Корнеев, считавшийся заместителем Большакова, и сообщил, что правление решило премировать особо отличившихся колхозников. А Захар пошел за кулисы.

Иринка уже заканчивала одевать для концерта своих девчат и ребят.

— Почему Варвары нет в клубе? — спросил он у нее.

Девушка устало вздохнула:

— Ой, дядя Захар... Замучилась я с ней. Сегодня утром часа два уговаривала. Плачет — и все. Правда, обещала, в конце концов, прийти...

-- Нету же.

— Мать ее замкнула.

— Это как же?

— Да как! Ушла — на дверь замок. Я постучала в окно. «Вылазь»,— говорю. Окно-то еще не замазано у них. Да... боится.

Захар помолчал, проговорил невесело:

— Худо, Иришка! Как же так? Бессильны, значит, мы?

И пошел на сцену, где вручали уже под гром аплодисментов премии.

— Дядя Захар! Дядя Захар! — воскликнула девушка.— Я сейчас еще раз схожу... Девочки, вы тут не теряйтесь без меня. Галка, твой номер первый, поторапливайся... Я еще попробую, дядя Захар.

— Попробуй,— ответил Большаков.— Если осмелится Варька сегодня выйти из дома, большое ты дело сделаешь, дочка.

Когда Большаков вернулся на сцену, ни Пистимеи, ни богомольных старух в зале уже не было. «Уползли-таки, старые каракатицы,— с досадой подумал Захар.— Теперь Иришке бесполезно идти, не успеет...»

...После вручения премий Захар вышел из клуба. Надо было проверить скотные дворы, позвонить во все бригады. Чего греха таить, нередко во время праздников кое-где то скот забывали покормить, то электростанцию оставляли без присмотра.

Возле колонн Большаков услышал девичьи голоса:

— Да идем же, идем, Варя... Галя Трушкова сейчас петь будет. Вон уж поет, кажется. Потом Нина Воробьева, потом я... После концерта танцы устроим. Очень, очень весело будет...

— Не-не могу я, не могу! И так... Господи, что теперь будет!

— Вот чудачка! Да что же случится такого? Ничего. Не понравится — уйдешь.

— Нет, нет... Если еще и в клуб, то матушка... Да и насмешки там всякие.

— Какие еще насмешки? Чего выдумала! А потом, говорю, танцы устроим. И слушай — там ведь в клубе...

И Шатрова перешла на шепот.

Захар стал за колонну. О чем шептались Ирина с Варварой, он теперь не слышал. Только временами до него доносились не то всхлипы, не то вздохи да отдельные слова: «господь», «грех», «матушка»...

В конце концов Ирина все-таки втащила упирающуюся Варвару в клуб.

«Молодец, Иришка! Успела!» — подумал Большаков и пошел на электростанцию.

А успела она потому, что Пистимея Морозова в это время сидела в доме Клавдии Никулиной и выкладывала на стол зажаренного целиком поросенка, штапельный отрез на платье, небольшую палехскую шкатулку, несколько кусков кружев, два ситцевых платка и Евангелие.

— Вот, доченька, прими ради праздничка. От чистого сердца сестрицы прислали.

Сама Клашка металась по комнате из угла в угол и выкрикивала:

— Зачем?! Зачем?! Что ты все ходишь ко мне?!

— Ведь не чужие, чай.

— Отстань ты от меня ради... Я тебе давно сказала — не пойду, не пойду больше в ваш молитвенный дом.

— Да разве я тебя зову туда, доченька? — с укором произнесла Пистимея.

Клашка села к столу, положила на него руки, уронила на них голову и заплакала. Пистимея погладила ее по волосам, вздохнула:

— Страдалица сердешная!

Клашка подняла голову, вытерла слезы, поправила выбившиеся из-под платка волосы и, беря себя в руки, сказала, отодвигая разложенные на столе подарки:

— Убери сейчас же.

Пистимея, вздохнув еще раз, проговорила строго:

— Как хошь, как хошь.— И принялась складывать в сумку кружева и платки.— От колхоза приняла бы небось подарки. Да не дали.

— Давали, когда было за что. А нынче — не за что.

— Не за что,— произнесла Пистимея раздумчиво, чуть нараспев. И еще раз, прислушиваясь к своему голосу, повторила: — Не за что... Да ин ладно уж... Сестрицы только обидятся.

— Да поймите же — никого я не хочу обидеть.

— О-хо-хо...— простонала Морозова.— Это, может, и так. Да ведь часто обижают не потому, что хотят. Они ведь, сестрицы во Христе, до-олгую жизнь прожили. И они, присылая гостинцы, знают, есть за что или нет. Да ладно уж, они-то поймут и простят. Но... дите неразумное, сама ведь себя обижаешь, бессердечная.

— Пистимея Макаровна... уходи! И без того мне... Оставьте меня в покое,— из последних сил умоляюще прошептала Клавдия.

— Уйду, уйду, Клашенька! Я ведь не сержусь, знаю: настанет день — сама позовешь меня, сама к нам придешь.

— Н-нет, нет...

— Придешь, касатушка,— ласково повторила Пистимея.— Бог управляет всем миром вместе и поведением каждого человека в отдельности. И твоим вот тоже. Да-авно ты живешь по его, властителя нашего и заступника, заветам.

— Никаких заветов я не слыхала от него. Я сама по себе живу...

— Вот ить какая ты... Чуть чего — сразу жало навстречу. И не услышишь, если этак-то. Но все равно не сама по себе. Многие ли, которые сами по себе, по стольку ждут своих мужей? Чего встрепенулась?

— Ничего, так я...

— Ну вот. Не хватает почто-то силушек у других? Ну год, ну другой, третий от силы — и захлестывает их мирской грех. А ты — ровно святая. С чего силы-то?

— Люблю я Федю. С того и силы.

— Ну... пусть так,— уступила Пистимея.— А надолго ли еще хватит твоей силы?

— На всю жизнь,— выдохнула Клашка.

— Ой ли! Соблазн в разных видах ходит. Возьмет да перейдет ненароком дорогу.

— Пистимея Макаровна!!! — воскликнула невольно Клашка.

— Али перешел уж? — Старуха вытянула шею, повернула к Никулиной свою маленькую головку.

А Клавдия опять упала грудью на стол.

Несколько минут она беззвучно плакала. Старуха сидела рядом, плотно сжав сухие губы, не моргая глядела на вздрагивающую спину немолодой уж женщины.

Наконец легонько положила высохшую руку на горячее Клашкино плечо, заговорила:

— Одно пойми, моя хорошая,— бог тебя до сих пор поддерживал. И Христос, заступник наш перед богом, не единожды поручался за тебя перед господом. Христово слово веское, и бог терпелив, но доколь же?! Нынче летом совсем было ты вняла его зову, да... Кого испугалась, кого засовестилась? Захара, что ли, с Корнеевым? Им что! Твой огонь их не жжет.

— Пистимея Макаровна! — всхлипнула Клашка.— Да что же это такое...

— Так я же и объясняю, доченька. С того дождливого вечера и начал соблазн пересиливать тебя.

— Я же им слово дала — не ходить больше в молитвенный дом! — воскликнула Клашка.

— Господи! Да ведь я сказала уж — не зову тебя туда. Не хочешь — не надо. Только вот чую — без бога тебе не выдержать больше, погрязнет в срамоте душенька твоя чистая. Богу больно будет, да ведь что поделаешь... Силком к себе он никого не тянет.

И вдруг Пистимея тоже заплакала скупыми старческими слезами.

Но плакала она недолго. Вытерев концом платка тонкий нос и глаза, сказала:

— Вот и говорю — сама себя ты обижаешь, Клашенька. То начала уж распускать веточки, как березонька, а потом ободрала их сама же, повыломала... Ну, пойду, засиделась. А эти подарочки-то возьми уж, а? Там как ты решишь — господь тебе простит. А сестриц моих не обижай уж. Я оставлю на столе, слышишь, Клашенька?

— Оставь,— прошептала Клавдия, помедлив.

Пистимея встала, оделась, пошла к двери. У порога проговорила осторожно:

— Там, Клашенька, Евангелие святое. Ты почитай-ка, лебедушка. В сам деле незачем тебе в наш молитвенный дом ходить. Нечего Захарку дразнить и прочих скандальников. Степанидушку вон тоже Фрол не пускает ить к нам, даже книжки святые в печь бросает. А ты живешь одна, ничего... Коли что будет непонятно, я Пелагеюшку пришлю. А то сама объясню когда. А не найдешь в Евангелии ничего для облегчения души — заберу книгу. Но ты найдешь обязательно. Ты только почитай, почитай... Слышь?

Никулина, вероятно, слышала. Но она ничего не сказала. Пистимея постояла еще у порога, подождала и толкнула плечом дверь.

Глава 6

До самого декабря с неба на закостеневшую землю сыпались только редкие сероватые снежинки. Утрами земля, крыши домов и лес были покрыты тоненьким слоем невесомого пуха. Ветерок сдувал его с крыш, с ветвей деревьев, гонял вдоль улиц, забивал им мерзлые неглубокие колеи, наметал сугробики у плетней. Но едва вставало солнце, насыпавшийся за ночь снег все же таял, улицы деревни становились ослизлыми и липкими, точно их залили яичным белком.

— Тьфу! — плевался Антип, целыми днями болтавшийся по пустынной, затихшей после горячей страды деревне.— В городе для себя-то небось камнем улицы выложили да эти... асфальты всякие понастилали. А люди, значит, и так пусть, в грязи, потому что ничего, мол, пускай, постольку поскольку...

— Аринка вон Шатрова, говорят, заставляет председателя асфальтировать улицы,— сказал однажды вечером Антипу Фрол Курганов.

— Чего? — удивился Антип, остановился средь улицы и захлопал глазами.

— Захар, сказывают, обещал...

— Хо! — воскликнул вдруг Антип.— А что им, и зальют! Не из своего кармана. Людского труда не жалко. Выкамаривают, понимаешь... Антилегенты! Сперва деревянные кладки им положь вдоль улиц, а потом, значит, асфальту налей.

— Разве плохо?

— А что хорошего? Ни стебелька, ни травки... одна твердость. Спокон веков жили — ничего. А ныноче иначе... Вчерась я в новой конторе был. Егорка Кузьмин тоже к председателю: водопойка, дескать, в каком-то коровьем стойле испортилась, надо новую. Я говорю: «А вы бы еще сортиры там понаставили фарфоровые каждому животному, эти... которые по-городскому унитазом называются...» Ка-ак Захар на меня... Ну да ладно. Прощай покудова...

И Антип нырнул в темный зев сенок, как хомяк в нору, но тотчас высунулся оттуда.

— Постой... ты, сказывают, того, а? — Антип подбежал к Курганову.— Под Клашку-то, слух идет, сенца стелешь, а? На огороды, значит, самолично к ней ездишь?

Фрол тряхнул Никулина за грудки так, что у того зазвенело в голове.

— Кто... сказывает?!

— Фролка! — взвизгнул Антип.— Жилу ить шейную порвал, обормот...

— Кто говорит, спрашиваю? — угрожающе повторил Фрол, не отпуская старика.

— Да кто... Бабы вон болтают. А также Андрон Овчинников. Да я что! Стели под стерву... Бросила отца-то, кобылица. Отца-то...

Фрол оттолкнул Никулина, точно кинул его обратно в темный зев сенок, и широко пошагал к избе Овчинникова.

Андрон, несмотря на ранний час, уже спал, похрапывая, на кровати.

Фрол сдернул с него одеяло.

— А? — вскочил Андрон, протер глаза.— Фу-ты... Я думал, баба убралась уже по хозяйству.

— Ты... кнут размокший! — крикнул Фрол.— Ну-ка повтори, когда это я с Клашкой... под Клашку...

— А-а... про Федьки Морозова вдову-то? — протянул Андрон.— Я и говорю — сомневаюсь, а он с усмешечкой: «Сомневался Данила, пока дочь не родила...»

— Кто «он»?

— Да этот, «Купи-продай».

Курганов сорвался с места и выбежал, оставив Андрона в недоумении.

Андрон зевнул, почесал правой рукой левый бок, раза два клюнул носом и всей спиной упал на подушки.

А Фрол стремительно шагал к Юргину. Но постепенно замедлял и замедлял шаги, так как ему еще в избе Овчинникова стало уже ясно, откуда идет слух о нем и Клашке.

Возле невысокого, в девять венцов, но огромного, всего три года назад отстроенного дома Илюшки Юргина Фрол остановился и задумался.

К действительности его вернул скрип колес. Юргин подвез к своему дому бричку зеленого, пахучего сена.

— Чего тебе тут? — спросил он сверху.

— Откуда это? — не отвечая на вопрос, кивнул Фрол на бричку.— Где сумел накосить?

— Сумеешь тут! — Юргин выругался.— Все лето, как каторжник, под дождями гнил.

— Каторжник? — усмехнулся Фрол.— Ты мне-то хоть не кричи об этом в ухо.

Юргин соскочил с воза, долго и молча глядел прямо в лицо Фролу.

— Вон что! — разжал наконец губы Юргин.— Сам допер?

— О чем? — спокойно спросил Фрол.— О том, что ты Илья-юродивый, об этом давно догадался.

— Вон что! — опять насмешливо и вместе с тем зловеще протянул Юргин.

Открыл ворота и, взяв лошадь под уздцы, завел бричку с сеном на двор. Фрол зашел следом, сел на какой-то ящик, валявшийся на земле.

Развязав бастрык, Юргин залез на воз и принялся сметывать сено.

— Про Клашку-то... с чьих слов наболтал Андрону? — спросил Фрол.

Юргин перестал сбрасывать сено, сказал:

— Коль ты догадливый такой, чего спрашиваешь?

— Не притворяйся, сволочь! Устин Морозов это тебе...

— Вот что я скажу, Фрол Петрович,— перебил его Илья.— Догадалась было телушка, зачем хозяин с ножом в сарай зашел. Да поздно уже было...

Фрол невольно поднялся с ящика.

— Вот так,— усмехнулся Илюшка и опять принялся за работу.

Пошатываясь, Фрол вышел из ограды юргинского дома, постоял в темноте средь улицы.

На небе не было видно ни луны, ни звезд. С заречья тянула стужа, напахивало холодным запахом снега, точно там уже легла зима.

— А-а! — махнул вдруг Фрол рукой и пошел к дому Клашки Никулиной.

Когда Фрол вошел в комнату, Клашка, одетая, лежала на неразобранной кровати и, положив руку под голову, смотрела в потолок. Огня в комнате не было, и Клашка спросила, не вставая:

— Кто там?

Фрол помолчал и сказал несмело:

— Я это.

Еще секунду-две полежала Клашка, стремительно соскочила на пол, босиком кинулась к выключателю. Электрический свет облил ее, вдавил в стену. Она прижала руки к груди, точно боялась, что сейчас выскочит сердце. Метнулась к окнам, задернула занавески, потом, растерявшись окончательно, сдвинула их в сторону, опять сложила руки на груди.

— Ты... ты не бойся! — проговорил Фрол.— Я ведь... так я.

Он снял шапку, сел возле двери на стул. Белые волосы его рассыпались в обе стороны. При электрическом свете они переливались и поблескивали, казались еще белее.

— Чего тебе?.. Зачем ты?.. Чего надо? — задыхаясь, выговорила Клашка. Крепко притиснутые к груди ее небольшие, шершавые от работы руки приподнимались и опускались.

— Не знаю я,— ответил Фрол, встал и одну за другой принялся задергивать оконные занавески. Клашка следила за ним с ужасом, но не останавливала.— Пришел вот... Ты зачем тогда, возле озерка, со мной? Так и я — не знаю...

Закрыв окна, Курганов сел к столу и застыл, не глядя на Клашку.

— Уходи... уходи, ради бога! — попросила Клашка. Голос ее дрожал и рвался.— Ты... ты ведь седой весь...

— А ты молодая разве? — с грустью спросил Фрол. И после долгого молчания усмехнулся: — Я, считай, с двадцати годов седой. Ты еще в люльке качалась, а я уже поседел.

— Люди-то... люди-то что скажут? — голос ее рвался.

— Люди? — с тоской переспросил Фрол. Он поднял голову и поглядел на стенку, где в простенькой березовой рамке под стеклом висел портрет Федора Морозова.— Что люди? Все равно говорят уж...

Клашка, пошатываясь, побрела куда-то вдоль стены. Остановилась возле печки, оперлась о шесток.

— Нет, нет... не может быть! Не имеют права! Я Федю жду...

— Потому и говорят, что не имеют,— горько и как-то обреченно уронил Фрол.

Потом долго-долго молчали. Ослепительно, как солнце в пустом небе, горела посреди комнаты электрическая лампочка. Но света ее все равно хватало только на эту комнату, а там, за тонкими стеклами, за окнами, стояла густая тьма. Оба видели ее поверх занавесок, прикрывающих окна лишь до половины. Тьма прилипла к самым стеклам, давила и давила на них.

— Снег, наверное, завтра упадет,— сказал Фрол.

Клашка не понимала, о чем он говорит. Она, вся сжавшись, ждала, что сейчас посыплются со звоном выдавленные стекла, тьма хлынет в комнату, зальет все сплошной чернотой. Она была твердо уверена в этом, знала, что произойдет это через минуту. Вот осталось только полминуты, десять секунд, пять, две, одна...

Стекла выдержали, не посыпались. Но зато распахнулась дверь, все равно зазвенел в ушах звон, и все равно стало темно в глазах.

У порога, одетая в новую фуфайку, стояла жена Фрола Курганова, Степанида.

Клашка была без кровинки в лице. Но — странное дело! — звон в ушах вдруг утих, точно растаял, тьма рассеялась. Она стояла теперь окаменевшая и спокойная, смело глядела в злые и вместе с тем тревожные Степанидины глаза. Глядела и чувствовала, что где-то внутри разливается острый холодок, ползет вверх по всему телу.

— Чего надо? — спросил вдруг Фрол у жены, не вставая. И Клашка улыбнулась чуть-чуть, одобрила: именно, чего, мол, ей здесь надо?

— Мимо я шла,— сообщила Стешка.— Простите уж...

— Ну? — проговорил Фрол.

— Видела, как... занавески открывали да закрывали.

Фрол пожал плечами, будто удивляясь, и сказал:

— Ступай домой. Сейчас приду.

— Фрол! — закричала вдруг Степанида, подавшись вперед.— Ты что делаешь-то?! Опомнись!

Ее тяжелый полушалок скользнул по гладким, туго зачесанным назад волосам и упал на плечи. От электрического света волосы поблескивали, делали ее красивой и молодой.

— Ступай, сказал! — чуть повысил голос Фрол.

— И ты?! — укоризненно повернулась Степанида к Клашке, сделала к ней два шага.— И ты?.. Что делаешь-то, а?

— За что ты меня коришь? — шепотом начала говорить Клашка.— Что я делаю?! Ты всю жизнь с мужиком прожила, а я не знаю даже, как мужская пропотевшая рубаха пахнет. Ты это понимаешь, а? Понимаешь или нет, я спрашиваю? — закричала уже Клашка, не помня себя.— Занавески, говоришь, задернули? Ну, задернули. Чтоб любопытные глаза не пялили. Дверь вот еще не успели закрыть да на стол собрать!

Клашка кричала, не трогаясь с места, а Степанида все пятилась и пятилась назад, пока не прижалась спиной к двери.

— Клавдия! — выкрикнула наконец Степанида.— Подумай, ради бога, чего говоришь!

Клашка и в самом деле не отдавала себе отчета. Ей казалось: у нее хотят отобрать то, о чем она всю жизнь мечтала, чего ждала и дождалась наконец и что должна защищать.

Но это было только мгновение, как после вспышки, когда на несколько секунд становится темно в глазах. А потом темень медленно рассеивается, выплывают из ее глубины знакомые очертания предметов, и все становится как прежде.

— Прости меня, Стешенька, прости! — всхлипнула вдруг, как девчонка, Клавдия, кинулась к жене Фрола, уткнулась ей в плечо и, обнимая Степаниду, сползла к ее ногам.

— Что ты, ей-богу, Клашенька...— растерянно проговорила Степанида. Голос ее перехватывало, по круглому, матово-бледному лицу прошла судорога. Обессилев, она присела у двери на тот же стул, где сидел недавно Фрол, положила к себе на колени Клашину голову и стала ее гладить. — Будет, Кланюшка, перестань! И тоже... тоже прости меня...

Обе женщины теперь плакали. Фрол крякнул, встал, потоптался. И осторожно вышел из дома.

С заречья все так же тянула стужа, все так же напахивало запахом снега, хотя воздух был недвижим. У Фрола замерзла голова, и он понял, что забыл у Клашки шапку. Поднял барашковый воротник суконной тужурки и медленно, словно боясь споткнуться в темноте, пошел к своему дому.

На половине пути его догнала Степанида. Она молча сунула ему шапку и пошла рядом. Фрол почти до самого дома нес шапку в руках, пока жена не сказала:

— Застудишь голову-то. Зима ведь...

Фрол очнулся и увидел, как неслышно и густо сыплются вокруг него тяжелые снежинки. В темноте они казались крупными шариками, похожими на град. Странно было только, почему они не барабанят о его голову, о мерзлую землю.

— Зима, дядя Фрол, а! — радостно закричал вдруг Мишка Большаков, сын Захара, вывернувшись откуда-то из переулка.— Видишь, как она незаметно! Утром люди проснутся — и ахнут: зима! Как у Пушкина.

...Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор...—

продекламировал Мишка и воскликнул: — Хорошо! — не то о Пушкине, не то об этом сегодняшнем вечере.

Плечи и шапка его были густо забелены снегом. Мокрое от растаявших снежинок лицо блестело в косой полосе электрического света, падавшего из чьего-то окна, занавешенного снаружи живой, вздрагивающей сеткой.

— Вот ведь, а! — также восторженно прибавил Мишка и вытер рукавом мокрое лицо.— Я хожу-хожу по улицам... А батя на ходке уехал...

— Куда? — спросил Фрол, но не остановился и не стал ждать ответа.

Возле дома Юргина Фрол замедлил шаг и посмотрел через ограду. На дворе не было уже ни брички, ни самого Ильи. Аккуратно сложенный приметок к большому стогу сена не был еще запорошен снегом — очевидно, Юргин только что кончил работу.

«Точно рассчитали, дьяволы! — со злостью и горечью подумал Фрол.— Иди-свищи теперь следы...»

Фрол был почти уверен, что «Купи-продай» привез сегодня колхозное сено.

Степанида так и не проронила ни одного слова до самого дома. Фролу казалось, что она идет рядом и тихонько, беззвучно плачет.

Может быть, так оно и было, потому что, войдя в кухню, Степанида, не раздеваясь, не показывая лица, пробежала в горницу, оттуда в угловую комнату, служившую спальней, с грохотом закрыв за собой одну, потом другую дверь.

А в кухне, расставив широко ноги, сидел Устин Морозов. Полы его расстегнутого полушубка, как черные крылья большой и уставшей птицы, свисали вдоль ног до самого пола.

Стряхнув под порог с шапки налипший снег, Фрол разделся:

— Откуда Юргин сено привез?

Морозов пожал плечами, и крылья его пошевелились.

— Осенью председатель разрешил же всем по очереди для себя покосить. Где-нибудь опушку, может, выкосил. Ты сам-то где косил?

— Не видел что-то я его с литовкой осенью.

— Ты не видел, зато другие видели,— равнодушно проговорил Устин. И тем же голосом спросил: — Понял?

Фрол вздрогнул от этого «понял?», точно его хлестнули ременной плетью, и надолго замолчал.

— Так понял, что ли? — переспросил вдруг бригадир.

Фрол не ответил и на этот раз. Но его крупная сутулая спина как-то сжалась, обмякла, на лице, измятом и несвежем, отразилась щемящая внутренняя боль. Он тяжело опустился на табурет.

Бригадир усмехнулся удовлетворенно. Потом долго, не мигая, смотрел на крутые плечи Курганова, на большие, резко выделявшиеся лопатки, на его седую растрепанную голову.

— Так она из-за Клашки, что ли? — снова спросил Морозов, кивнув на плотно закрытую дверь, за которой скрылась Степанида.

Спина Фрола качнулась и начала выпрямляться. Лопатки на его спине сошлись, и серая рубаха, туго обтягивавшая их, повисла складками.

— Слушай, ты...— быстро проговорил Фрол и тут же захлебнулся, сник.— Откуда ты знаешь про это... когда сам я не знаю? Э-э...— И Фрол безнадежно и покорно махнул рукой.

А посидев с полминуты, опять заговорил негромко и вяло, не глядя на Морозова:

— Сатана ты, Устин. Ну, из-за Клашки, ну, саданула в башку гнилая кровь...

И вдруг вскочил, опрокидывая табурет, жадно хватнул ртом воздух, словно внизу, где он только что сидел, нечем было дышать, закричал:

— Ну, виноват я перед Стешкой... и перед тобой, перед твоим Федором! Разрежьте меня напополам, сволочи, выпустите кровь!

Фрол бросал слова, как булыжники, тяжело и быстро ходил из угла в угол. Он не заметил, когда вошел с улицы залепленный мокрыми ошметками снега Митька. А увидев сына, остановился и подумал, что Митька, наверное, давно уже слушает их разговор.

— Чудак! — спокойно сказал Устин.— Чего звенишь, как самоварная конфорка? Какая тут вина передо мной?

Фрол хотел сказать что-то сыну, но при последних словах Устина торопливо обернулся к бригадиру:

— А?

— Я говорю: был бы виноват, совратив девицу, а вдова — божий дар.

— Чего? — еще более вытаращился на него Фрол.

— Фу-ты! — насмешливо и неторопливо воскликнул Устин.— Я вот все Митьке хотел намекнуть: «Хоть ты, парень, не зевай, пожалей бабу...»

— Ну-ка иди отсюда! — вспомнив наконец о Митьке, заревел Фрол в лицо сыну.

Митька, ни слова не сказав, ушел в соседнюю комнату, подняв по пути опрокинутую табуретку и поставив ее к стене.

— Н-да... Ну ладно! — Шумно вздохнув, Устин встал и застегнул полы-крылья своего полушубка.— Прощевай, Фрол Петрович.

— Постой, постой! — торопливо проговорил Фрол, сел на табуретку.— Значит, божий дар?

— Ага.

— Она же родня твоя, Устин,— печально, точно это были его последние слова, проговорил Фрол.

— Родня? — негромко переспросил Устин.— Вся моя родня давно на кладбище переселилась.

Голос Устина был сухой и жесткий, как шелест ржавой пересохшей травы. Фрол не понимал, что он говорит, не догадывался, чего он хочет. Всю жизнь Фрол понимал Устина с полуслова, с полунамека. Там, на лугу, под дождем, Устин только поглядел в лицо Фролу, кивнув на мокрого, измотавшегося председателя: «Перетянутый канат пружинит, да не рвется. А прикоснись чуть острой бритвой...» Устин даже не договорил. Но Фрол понял его и не только прикоснулся, а со всего маха резанул бритвой по канату. Резанул не из ненависти к Захару Большакову, не из-за усталости, а от захлестнувшей его слепой и отчаянной злобы и едкого раздражения на самого себя, на Устина Морозова, от тупого и жгучего сознания, что не может, не найдет в себе силы сделать вид, будто не понял намека бригадира, не найдет смелости не резануть... И еще оттого, может быть, что никто не понимает его состояния...

Но сегодня, сейчас Фрол Курганов не мог догадаться, чего хочет от него Устин. И поэтому спросил прямо, может быть, впервые за всю жизнь:

— Чего ты хочешь от меня?

— Ничего,— пожал плечами Устин.— Что ты, в самом деле?

Тогда Фрол ровным голосом высыпал один за другим еще несколько вопросов:

— Ты знал, что у меня с Клашкой... что случилось со мной... это вот?..

— Догадался, допустим.

— Зачем своему Илюшке и прочей шайке-лейке рассказал?

— Хотел тебе лишний раз доказать: ты еще только подумаешь о чем, а мне уже известно. Довольный теперь?

Фрол, точно враз сварился, молчал.

— А отсюда что следует? — безжалостно продолжал Устин, расстегнув полушубок. И черные крылья опять начали подрагивать, готовые вот-вот развернуться со свистом. Фролу казалось, что Морозов в самом деле превратится сейчас в страшную птицу, взмоет кверху и оттуда ринется на него.— А следует вот что, любезный... Вижу я — задумчивый шибко стал. Гляди, жить-то недолго нам с тобой осталось. Давай уж в дружбе и доживать...

— Ага,— кивнул головой Фрол.— Слышал уже: чтоб хозяин с ножом в сарай не зашел. Догадается, мол, тогда телушка, да поздно будет... Предупреждали уже.

Устин поглядел на склоненную Фролову голову.

— Кто предупреждал?

Фрол не ответил.

Морозов пошел к дверям.

— Ну, будь здоров.

— Зачем хоть приходил-то? — не шевелясь, устало вымолвил Фрол.

— Да вот... Сказали мне, что Степанида к Клашке ворвалась. Думаю — как бы теперь Фрол не отступился...

— Я ни к чему и не подступался. И ничего мне не надо — ни Клашку, ни Степаниду.

— Вот-вот... Видишь, я и об этом догадывался. А я вот что хочу.— И Устин Морозов впервые в жизни ясно и отчетливо сказал Фролу, чего он хочет: — Со Степанидой — как знаешь, но с Клашкой чтоб продолжал... Не сробел чтоб.— Улыбнувшись, добавил отчетливо: — Божий дар не принять — грех, как моя старуха говорит.

— Да зачем, зачем это тебе, сволочь ты египетская?! — крикнул во весь голос Фрол.

Но Устина в комнате уже не было.

Фрол стоял не шевелясь, словно пытался что-то вспомнить. И вспомнил: не в первый, не в первый раз сказал Устин Морозов, чего он хочет. Давно, очень давно не говорил так прямо Устин, но не в первый...

Глава 7

Зло и угрожающе скрипел мерзлый снежный наст. Фролу Курганову казалось, что еще шаг, ну, два — и тот, кто беспрерывно огрызается под его лыжами, остервенеет окончательно, вцепится в ногу, прохватит мясо до костей.

Фрол зашагал быстрее, будто в самом деле хотел убежать от опасности. Тяжелая двустволка больно заколотила по спине сквозь полушубок, а болтавшаяся на поясе, еще не успевшая окаменеть на морозе лиса-огневка стала путаться в ногах. К тому же шагов через пятьсот горячей пробкой все плотнее и плотнее стало закладывать горло. Но Фрол из какого-то самому себе непонятного упрямства не сбавлял хода. Он жадно ловил бесчувственными, не повинующимися на морозе губами стылый воздух, с хрипом и хлюпаньем втягивал его в себя. Воздух тот был словно со стеклянным песочком, и растертая им глотка горела, саднила все сильнее и сильнее.

Остановился Фрол на самой вершине увала, по склону которого почти до самого низа угрюмо стоял закуржавевший редковатый кедрач. У подножия увала начиналась деревня.

Остановился, но и теперь ему не хватало воздуха. Широкая, когда-то могучая грудь работала сейчас вхолостую.

Да, не тот уже стал Фрол Курганов. И силы не те. А ведь когда-то ему ничего не стоило отмахать по тайге, по буреломам и сумрачным, жутким крепям полсотни верст за день, отчертомелить с темна до темна на покосе или жатве, а потом как ни в чем не бывало колобродить с парнями по деревне до самого рассвета, тискать по овинам да сеновалам пищавших девок. Льнули же к нему девки — значит, красив и удал был Фролка Курганов. И он

любил их, тугих, как крутое тесто, пахнущих смешанным запахом полдневного солнца, холодноватой речной мяты и почему-то парного молока. Каждая надеялась удержать его навсегда, но не могла удержать больше недели, как бы крепко ни держала.

...Долго стоял Фрол Курганов среди редкого кедрача, навалившись на лыжные палки. Давно уже перестало жечь и першить в горле. А Фрол все стоял, все думал.

Что ж, когда человеку двадцать, он думает о будущем. А когда стукнуло шестьдесят, он вспоминает прошедшее.

Солнце еще не село, но день шел к вечеру. Неяркие зимние тени от редких деревьев расплывались на снегу.

Внизу, у самого подножия увала, чернели квадраты скотных дворов. Они были похожи на огромные кирпичи, в беспорядке высыпанные прямо в снег.

Первый из этих дворов, вон тот, где размещается сейчас телятник, был построен еще при Марье Вороновой. Он стоял тогда далеко от села. Потом отстроили второе, пятое, десятое помещение. Но даже спустя несколько лет после войны эти коровники, овчарники, конюшня стояли на отшибе. А сейчас дома колхозников прижались к самым дворам, обступили их полукругом. Меж домов виляли переулки, стекая, как ручьи, в три-четыре широкие улицы, тянувшиеся вдоль Светлихи.

Главной улицей считалась самая ближняя к речке. На ней и поставили минувшим летом новую контору на левой нечетной стороне. А на четной, чуть поправее конторы, на месте прежней лачужки, стоит сейчас его, Фрола Курганова, дом, высокий, просторный, светлый, спускаясь огородом чуть не к самой воде. А усадеб через пять, почти напротив конторы,— дом Устина Морозова. За Морозовым, ближе к паромному перевозу,— ее, Клавдии Никулиной, изба...

Да, разрослась деревня. Вон ни того, ни другого конца не видно в вечерней дымке. Разрослась, изменилась. Поглядела бы мать — ахнула удивленно.

Да, мать... Редко он вспоминает ее, а нехорошо. Он, Фрол, хотя и мал был годами, а помнит, как во время первой германской войны пришло известие о гибели отца. Мать, уже больная, износившаяся на непосильной работе у кулака Меньшикова, вскрикнула:

— Как же мы теперь, сыночек, без отца-то... без кормильца!..

Вскрикнула, упала и больше не поднялась. Она только прошептала еще, с трудом открыв неживые уже глаза:

— Фролушка... видит бог... взяла бы я тебя с собой... да как? Ничего, ты уже большенький. Ты крупный у меня, крепкий. Иные и не подумают, что парнишка еще. Ты уж прости... и отца и меня... Уж ты сам покрепче на ногах стой. Поклонись Филиппу Меньшикову — может, он поддержит тебя на первых порах. По совести-то — должен бы поддержать сироту, ему наперед за то отработала...



Давно нету матери, шумят над ее могилкой лето за летом высокие березы, засыпает земляной холмик каждую осень желтый, легкий лист.

Нету в деревне теперь и полуразвалившихся домишек со стропилами-ребрами. А где церквушка с вечно дребезжащим колоколом? Вон в самом центре клуб на ее месте — каменный, двухэтажный, с четырьмя квадратными колоннами. Это пока самое высокое здание. И каждый, кто подъезжает из заречья, видит его издалека. На месте голоребрых домов в разных концах деревни — механическая мастерская, гараж, амбары, склады.

Все, все изменилось в Зеленом Доле. И продолжает меняться. Вон с краю деревни, недалеко от старого здания конторы, уже перестраиваемого под ясли,— холм. Вечно он торчал, как чья-то огромная лысая голова, мозолил всем глаза, портил вид. В деревне давно с местом стало тесно. Склоны холма облепили со всех сторон избы, взбираясь все выше и выше. Были желающие поселиться даже на самой макушке. Но Захар не разрешил. Почему — Фролу было непонятно. А оказывается, вот почему. Вон уже почти заканчивается кладка водонапорной башни. Насколько пришлось бы тянуть ее, заложи не на холме, а в другом месте? Что ж, хорошо, по-хозяйски рассудил Захар. Давно прикинул, для чего эта высокая лысина может пригодиться. Умеет вперед глядеть... Значит, и этот уголок деревни скоро изменится. Только вот он, Фрол, остается все таким же. Давно у него что-то застыло внутри, не то окаменело, не то оледенело...

Снизу, от скотных дворов, доносился голодный рев скотины. «Видно, еще не задавали корма на ночь,— подумал Фрол. И еще подумал: — Скоро вообще давать скотине будет нечего».

Вспомнилось Курганову проклятое прошлое лето. Вспомнилась и Клашка, которая сидела на мокрой копне, жгла его глазами. А потом — как сидела она в темноте рядом с ним возле маленького лугового озера. Вспомнилась — и вздохнул он, невесело подумав: а ведь чудно... Что до того была ему Клашка Никулина? Что куст в поле, что ветер в небе. А сейчас... Лезет в глаза — хоть вырви их! — бесстыжая вдова, да и только. И смешно, и больно, и... стыдно. Перед Митькой стыдно, перед Стешкой, перед людьми. А больше всего перед самим собой. Стыдно — и обидно почему-то. Может, потому, что его любили многие, а он — так, посмеивался только. Не отказывал им в любви, но и никогда не горел, теплился еле-еле. И вдруг сейчас, под старость, всплеснулся пламенем, как догорающее полено.

Это было непонятно самому Фролу, а главное — страшно. Не потому, что взметнулось, загудело пламя, а от смутной догадки, что, взметнувшись, огонь с отчаянной торопливостью пожрет остатки горючей своей пищи, дико пропляшет последнюю свою пляску — и беззвучно навсегда потухнет. И полено, тяжелое и пахучее когда-то,— словом, все, что называлось Фролом Кургановым,— превратится в кусок черного, мертвого, никому не

нужного угля. Выбросят уголь в мусорную яму, размочит его дождь, превратит в кучу мелкой сыпучей золы. Солнце высушит эту кучку пыли, ветер развеет ее по белу свету — и все! Был и не был...

Еще раз вздохнул Фрол, переступил с ноги на ногу. И дважды провизжало, дважды огрызнулось внизу, под лыжами...

...Но пока пламя еще горит, пока непохоже, что оно скоро потухнет, начал снова думать Фрол. Начал, как ему показалось, откуда-то с середины. Оно все опалило внутри. И эта опаленная его внутренность представилась вдруг Фролу страшным темным зевом, и по ее стенкам ползают горячие искры, меж искр брызгают частые фонтанчики огня — точь-в-точь так, когда загорается сажа на сводах старой, давно не чищенной печки. Эти искры и фонтанчики больно жгли, распарывали Фролу грудь иглами, резали острыми холодными ножами. Но боль была приятной, и Фрол хотел, чтобы она никогда не кончилась, становилась все сильнее и сильнее. И, может, поэтому он, несмотря на звеневшие в голове слова: «Со Степанидой — как знаешь, а с Клашкой чтоб продолжал...» — ничего не продолжал, не подходил к Клашке... Много раз Фрол видел перед собой прищуренные, блестевшие, как черное лезвие, Устиновы глаза. Но все равно не подходил к Клашке, потому что боялся: подойдет — взметнется последний огонь на том полене и потухнет.

И не подходил еще потому, что слышал, как тот же голос, может быть, не такой хрипучий и изношенный, говорил ему: «С Наташкой — как хочешь, а Стешка-то, Стешка — погляди! Дотронься пальцем — однако лопнет, до того сочная. Был бы холостой, не раздумывая, женился... Хоть на денек бы. Понял?»

Слышал тот же голос Фрол и видел перед собой те же поблескивающие черные лезвия. Тогда они поблескивали острее, чем сейчас.

Не говорил разве только тогда этот голос, что чужая невеста — божий дар. Вот и вся разница.

Когда это было? Давно, очень давно. Пожалуй, в тридцатом. Во всяком случае, еще не совсем пришла в угомон жизнь вокруг после коллективизации, они, зеленодольцы, еще только-только начали распахивать и засевать зареченские гари, и он, Фрол, кружил над раздобревшей, пышно разневестившейся в последнее лето Наташкой Меньшиковой, как коршун над цыпленком.

— Высматривает, сволочь, как бы вцепиться в девку без промаха,— сказал однажды Захар Большаков Стешке, возвращаясь вечером с лугов.— Ты бы предупредила Наташку.

Фрол и Устин Морозов лежали в траве возле дороги, оба слышали слова председателя.

— Не успеешь, однако, предупредить-то,— усмехнулся Фрол, встал и пошел к холодному ключу, где умывалась после работы Наташка.

Как сейчас помнит Фрол — обернулась Наташка торопливо на шум его шагов, задрожала на щеке прилипшая водяная хрусталинка. Она отступила к низкорослым кустикам, с сизоватыми, точно покрытыми изморозью, длинными листьями, вся подалась назад, точно хотела упасть на них спиной.

— Что ты? — улыбнулся Фрол.— Не съем же. Зацелую если только до смерти... Да упадешь же! — И, протянув руки, взял ее за плечи и пригнул к себе.

Наташка скользнула вниз между его рук, отбежала в сторону, подхватила оставленные кем-то вилы. Побежала дальше. Но словно достигла невидимой какой-то черты — резко остановилась.

— Вот давно бы так! — усмехнулся самодовольно Фрол. Он был уверен, что теперь ноги ее намертво вросли в землю, не торопясь, вразвалку пошел к ней.

Однако Наташка попятилась, прошептала и испуганно и тревожно:

— Не подходи...

— Не дури, говорю,— еще раз ухмыльнулся Фрол. И побледнел.

Мимо его уха просвистели вилы-тройчатки, воткнулись, зазвенев, во влажную землю шагах в трех позади.

— Ах ты... кулацкое отродье! Мало вас подавили вокруг, уцелела, стерва...— проговорил сбоку голос Морозова. Устин вышел из-за кустов, выдернул вилы и подал Фролу.— Возьми... на память...

Наташка бежала где-то уже далеко. Над травами катилась одна ее голова. Голова подскакивала, как мячик,— Наташка прыгала, наверное, через кочки.

Фрол принял вилы, внимательно, с любопытством пощупал по очереди пальцами острие каждого рожка, сел на траву и задумался.

— Я говорю — на Стешку лучше погляди,— снова сказал Устин.— Стешка не будет вилами кидаться.

Запах зеленого неба и черных трав мутил голову. Светлая полоса на краю неба загибалась и спускалась куда-то за горизонт.

— Чего глядеть на нее? На ней Захарка-председатель собирается жениться,— ответил Фрол.

Стешка, девчонка шустрая, хитрая, с большими, чуть раскосыми глазами, была самой младшей из трех дочерей Михея Дорофеева, сторожа деревенской церкви. Во времена колчаковщины большие услуги оказывал партизанам этот тощенький, с виду пугливый, забитый мужичонка. Укрывал в церкви разведчиков Марьи Вороновой, прятал там же оружие, передавал связным разные сведения.

Дочери Михея, не в пример отцу, рослые, разбитные, все с быстрыми шельмоватыми глазами, тоже жили при церкви. Стар-

шая и средняя по очереди нанялись в свое время в экономки к зеленодольскому попу, отцу Марковею, человеку вроде бы мягкому, ласковому, с постоянной улыбкой на ярко-красных, как у девушки, губах. А спустя некоторое время так же по очереди вышли замуж: старшая — за дьякона из Озерков, средняя — даже за какого-то родственника отца Марковея, жившего где-то в центре России...

Михей Дорофеев все это воспринимал безучастно, только, когда говорили ему о дочерях, сплевывал молча и отходил прочь.

Перед самым боем за Зеленый Дол Михей Дорофеев впустил ночью в церковь двух партизан. Они быстренько собрали из заранее припрятанных частей пулемет, установили на колокольне. Да ветер ненароком сорвал с одного из партизан фуражку, швырнул вниз, прямо на проходящего на улице попа.

Через полчаса Михея Дорофеева, его жену и десятилетнюю Стешку выволокли из их домишка, швырнули к церковной стене, где лежали изуродованные, но еще живые партизаны.

Прежде чем раздались выстрелы, кто-то (сама Стешка не поняла кто, не то отец, не то один из партизан,— было темно) подмял ее под себя...

На рассвете колчаковцы из села были выбиты. Расстрелянных подняли. Стешка была без сознания, но дышала — пуля задела ей только правый бок. Захар Большаков поднял ее, осторожно отнес в пустой домишко, приставил сиделку...

А потом время от времени приходил справляться о здоровье девочки.

Месяца через три в деревню приехала средняя дочь покойного Михея, помолилась на могиле родителя и уехала, забрав с собой Стешку.

В двадцать восьмом году Стешка вернулась. Сразу ее и не узнали — она превратилась в рослую, как и ее сестры, шуструю, с большими, чуть раскосыми глазами девушку.

— Вон ты какая стала! — удивленно воскликнул Захар.

— Ну да, такая,— хитро повела Стешка глазами.— А что?

— Ничего. Что вернулась, это хорошо. Домишко ваш совсем прохудился — подправим. А чего от сестры-то уехала?

— Померла она...

— Вот как...

— Ага. А я помню — ты все приходил ко мне, когда я раненая после расстрела-то лежала. Пирожки все приносил с клубникой и черемухой.

— Верно, кажется, и с черемухой,— рассмеялся Захар. Постояли, помолчали. Стешка, припустив глаза, спросила:

— Значит, ты председатель тут?

— Да вроде.

— Значит, не придешь теперь... не принесешь пирожка с черемухой?

И, не дожидаясь ответа, убежала, сверкнув белками огромных глаз.

Обо всем этом все знали в деревне. Знал и Фрол Курганов. И поэтому повторил:

— Нечего глядеть на нее. У них с Захаром любовь давняя...

— Ну... давняя ли, крепкая ли, я не знаю. И все ж таки замечаю, как деваха при виде тебя ноздрей подрагивает. И я на твоем бы месте... Подождал бы для любопытства, пока у них свадьба не разгорится. Да прямо от свадебного стола и увел бы невесту, как кобылицу из стойла...

Устин дал подумать немного Фролу и положил тяжелую, как каменная плита, руку на его плечо:

— Понял?

Фрол попробовал снять с плеча Устинову руку, но она словно прикипела.

— Понял, что ли? — еще раз спросил Морозов, встряхнув Фрола.

Курганов, ощущая на плече тяжесть, смотрел на светлую полосу, спускавшуюся за горизонт, и думал, что, раз она туда спускается, значит, земля в самом деле круглая и что за горизонтом сейчас, наверное, до того светло и чисто, что режет в глазах.

— Зачем тебе... чтоб я женился на Стешке? — тихо спросил Фрол.

— Чудак! — откликнулся Устин и убрал руку.— Да я о твоем счастье забочусь!..

...Так началась в его, Фрола Курганова, жизни Стешка, Степанида, перед которой сейчас, после случая в доме Клашки Никулиной, Фролу стыдно и неловко. Она ничего не говорит, Стешка, только стала молчаливее. И Митька ходит какой-то замкнутый, задумчивый. Фрол замечал, что сын иногда посматривает на него любопытно и ожидающе, а сам точно прикидывает что-то в уме. Третьего дня Фрол не выдержал и, когда Степанида вышла во двор, крикнул Митьке:

— Чего примеряешься которую неделю? Звездани уж батьку сразу под дыхало, чтоб свет померк...— И, немного успокоившись, прибавил: — Может, мне тогда легче станет.

Митька, точивший какую-то деталь к трактору, бросил в ящик напильник, раскатал рукава.

— Зачем? — холодно улыбнулся он.— Примерки разные бывают.

Фрол так и не мог понять, что означают его слова. Подумал только, что все время живут они — он, сын и жена — вроде далеко-далеко друг от друга. По какому-то недоразумению они вынуждены собираться под одной крышей, по три раза в день садиться за один стол. Но каждый будто одет в ледяную корочку.

Посидят, похлебают что-нибудь молча и так же молча разойдутся по своим комнатам. Разойдутся не спеша, точно боясь неосторожным движением разбить, разрушить свои ледяные скорлупки.

«...Так началась она, Стешка,— вернулся Фрол к прежним мыслям.— А что было дальше?»

После разговора с Устином у ключика Фрол, точно и знать никогда не знал Наташку, начал поглядывать на Стешку. Заметив это, она округляла удивленно глаза и оглядывалась растерянно, будто хотела у кого спросить: правда ли это? Фрол только встряхивал белыми волосами, подмигивал и, закусив язык, принимался махать косой.

Не было еще человека в Зеленом Доле, который мог бы угнаться за Фролом в работе.

Когда начали в то лето метать скошенную рожь в скирды, Курганов брал с собой на всякий случай пару запасных вил. Разойдется, бывало,— не остановить его ничем, только с треском ломались, как сухие прутики, черемховые, железной крепости черенки вил. И снова подмигивал Стешке, когда оказывалась она рядом. Стешка теперь вспыхивала, запиналась и боязливо глядела по сторонам — нет ли рядом Захара Большакова?

— Боишься? — спросил однажды Фрол у нее.

— Отойди, седой дьявол! — жалобно попросила Стешка.

— Ладно, я подожду, пока привыкнешь,— сжалился Фрол над ней.

К середине страды Стешка привыкла настолько, что во время работы сама искала вороватыми глазами Фрола. Но ничего не говорила, держалась поближе к людям. А домой каждый вечер уходила с Захаром, который неизменно заворачивал к концу дня на ток.

«Ага...— ухмыльнулся Фрол про себя.— А ну, так попробуем». И несколько дней подряд бродил вокруг Стешкиного дома, как волк вокруг овчарни. Стешка не выходила, но она чуяла и знала, что он бродит, и однажды, когда молотили конями пшеницу, чтобы выдать хлеб на трудодни, шепнула:

— Дурак! Захар ведь... Он каждый вечер у меня сидит. Ни на шаг не отпускает.

— Вон что! — протянул Фрол.— Сегодня ночью я вот под этим ометом балаганчик устрою, а? А завтра вечером...

— Что ты, что ты! — встрепенулась Стешка и поспешно отошла.

Ночью Фрол действительно пришел на ток, вырыл в куче вымолоченной соломы глубокую нишу, замаскировал вход. Посидел возле омета на мягкой холодноватой земле, выкурил самокрутку, поглядывая на мерцающие за речкой деревенские огоньки, и, заплевав тщательно окурок, пошел на берег, к лодке.

На следующий день, перед вечером, сказал Стешке:

— Видишь, где куст полыни висит на омете? Там балагашек...

— Фролка... н-не могу,— попятилась, сильно замотала головой Стешка.

— Тогда как хошь. Дважды просить не буду,— равнодушно пожал он плечами.

До самой темноты Стешка была рассеянной и неловкой какой-то, вздрагивала при каждом щелчке бича. А под конец, закидывая на круг пласт колосьев, выброшенный копытами, повредила передние ноги коня. Разгоряченная лошадь с ходу припала на грудь, ее тотчас стоптали задние, путаясь в постромках, раскатились по сторонам. Взметнулись человеческие крики, лошадиное ржание и дикий храп, поднялась тучей пыль.

— Раззява косорукая! — замахнулся на Стешку кнутом Филимон Колесников.— Угробила коня, однако, с-стерва...

Филимон, может быть, и опоясал бы Стешку, но кнут схватил подъехавший председатель колхоза.

— Погоди, Филимон,— попросил он.— В чем дело?

Стали освобождать лошадей от постромок, разводить в стороны. Сбившись кучей вокруг пораненного коня, осматривали его ногу.

Стешка, прислонившись спиной к скирде, дико поводя глазами не то от испуга, не то еще отчего, незаметно для себя переступала ногами, двигалась к краю омета.

Как только Стешка скользнула за угол скирды, наблюдавший за ней краем глаза Фрол усмехнулся. Растолкав людей, он посмотрел, как голый по пояс Филимон Колесников перематывал лошадиную ногу своей располосованной рубахой. Захар сидел на корточках возле лошадиной морды и поглаживал ее ласково по плоской щеке.

Выпрямившись, Фрол задумчиво обошел круг, на котором молотили пшеницу, еще раз поглядел на сбившихся вокруг коня людей, еще раз усмехнулся и не спеша, будто шел по своей надобности, скрылся за ометом.

Когда залез в темную, пахнущую сухой пылью дыру в соломе и стал заваливать лаз, услышал, как тяжело дышит позади него кто-то и Стешкин голос проговорил глухо, сквозь рыдания:

— Сволочь ты, Фролка... Дракон ты проклятый...

— Тихо! — прошептал Курганов.— Добровольно ведь залезла.

Стешка примолкла. Фрол не видел ее, но слышал, как затихало ее дыхание.

По шуму голосов, глухо доносящихся с противоположной стороны соломенной скирды, по топоту лошадиных ног, по лязгу составляемых к стенке омета вил Фрол и Стешка догадались, что люди уезжают наконец домой. Оба затаились не дыша. Оба ждали, когда простучит ходок, на котором приехал Захар Большаков. А он не стучал.

Вдруг прямо возле заваленного соломой лаза прошуршали шаги. Шаги удалились, потом вернулись. Кто-то искал кого-то.

Стешка и Фрол знали — кто и знали — кого. И все-таки, когда рядом, почти над ухом, прозвучал тревожный и призывный голос Захара: «Стеша!» — Стешка дернулась. Фролу показалось, что она вскрикнет, он быстро протянул в темноте руку, чтобы предупредить этот крик, торопливо нащупал ее плечо. Стешка жадно схватила его жесткую ладонь и закрыла ею свои горячие губы — может быть, в самом деле боялась, что не выдержит.

Захар еще походил вокруг омета, еще несколько раз позвал Стешку. Наконец колеса его ходка застучали, удаляясь. Стешка опустила Фролову ладонь и облегченно вздохнула.

— Да любит же он тебя,— негромко проговорил Фрол.

— Ага,— грустновато откликнулась она.— Уж так любит... Останемся одни — он вроде и дохнуть на меня боится. Только все смотрит, смотрит...

— А ты его?

— Я? Что — я? Председатель ведь. Не каждой так-то в жизни пофартит... Тут уж люби не люби...— И Стешка вдруг рассмеялась радостно и сыто, потянулась хищно.— Я его, теленка, без веревки за собой вожу. Вот кабы тебя так...

Фрол целую минуту молчал.

— Ах ты, сука ласковая! — выдавил он наконец сквозь зубы и повернулся к ней, взял обеими руками за плечи и приподнял.— Коня-то нарочно ты сегодня, а? Тебя спрашивают!

— Что ты, ей-богу? Какого коня? Ой, не трогай меня, Фролушка, не трогай! Может, я за него еще выйду, за Захарку,— со свистом зашептала вдруг Стешка ему в ухо.

Фрол замер на мгновение, как бы соображая, о чем это она просит.

— Ах ты, сука ехидная! — снова усмехнулся он, оскалил в темноте зубы.

И, не отпуская ее плеч, навалился на Стешку всем телом, точно хотел раздавить, мял ее безжалостно под себя, как подушку, стараясь причинить боль, вырвать из ее тугих, как резина, губ хотя бы один вскрик. Но она, большая и сильная, молча билась под ним, мотая головой из стороны в сторону. И Фролу хотелось ударить кулаком по этой голове, чтоб она перестала мотаться...

...Потом Фрол опять сидел, как прежде, спиной к Стешке. Глаза щипало, горько пахло почему-то полынью. Стешка так и не вскрикнула ни разу, не заплакала, как ожидал Фрол.

И вдруг она всхлипнула, повторила глухо, сквозь сдерживаемые рыдания, как полчаса назад:

— Дракон ты проклятый...

Фрол задыхался от духоты и пыльной горечи, вытолкнул ногой соломенный пласт, закрывавший лаз. Холодный ночной воздух пахнул в лицо, обжег легкие. Как и вчера, на той стороне речки мигали деревенские огоньки.

Прямо в дыру, где они сидели, смотрела равнодушно круглая луна. Слабый, неясный свет высвечивал только отдельные соло-

минки и толстые Стешкины ноги. Фрол покосился и в полусумраке разглядел ее всю. Она валялась за его спиной, измятая и жалкая, и по-прежнему всхлипывала. Но Фрол ей не верил.

Потом Стешка перестала плакать, приподнялась и сказала полным голосом:

— Все тело трухой облипло...

Курганов не обернулся, не пошевелился.

— Фролушка! — простонала Стешка и положила ему на плечо горячие, потные руки и растрепанную голову.— Что же теперь-то, а? Не бросай ты меня...

Брезгливо поморщившись, Фрол двинул плечом, стряхнул с себя Стешку.

— Липкие же у тебя руки. Не хнычь, сказал!

— Все вы кобели. Сперва... а потом... Возьми меня, Фрол, за себя, ради бога.

— Я же не председатель,— усмехнулся Фрол.— И никогда им не быть мне...

— Будешь, ей-богу, будешь, Фролушка,— торопливо зашептала она, опять вскидывая руки ему на плечи.— Ты работящий, все видят. Вона как вилами-то махаешь! Даже Захар хвалил. Этой силе да ума бы, говорит... А вдвоем-то мы с тобой... эх... Ум-то что — рассудок только. Пущай и не хватает, да главное — люди чтоб не знали. А обмануть их легче легкого, потому что сами дураки. Так мне сестра все время говорила. Где надо — поддакнуть, где надо — промолчать. И главное — на собраниях выступать об чем-нибудь. Уж я бы тебе подсказывала, что и когда...

Теперь Курганов не стряхнул, а отшвырнул Стешку от себя с такой силой, что, ударься она не в соломенную, а в деревянную стенку, убилась бы насмерть, и вылез на свежий воздух.

Стешка выползла следом, обхватила его пыльные ноги, заголосила, по-волчьи подвывая:

— Ну, ударь еще раз... Переломи с хрустом, как палку, разотри в кровь сапогом. Мне нисколько не больно, бабы любят мужскую силу, любят, чтоб кости у них хрустели. Ну, бей, чтоб искры из глаз, чтоб зверем кричать...

— Ты человек ли? — удивленно и тихо спросил Курганов.

— Я буду, как ласковая собачонка, в глаза тебе заглядывать... Как Захарка в мои сейчас, так я в твои глядеть буду... И заживем! Фролушка! Я ведь не с пустым карманом. Передала мне сестрица-то кое-что перед смертью вместе с наказом, как жить. Умница была...

Фрол выдернул, как из трясины, ноги из Стешкиных рук и пошел к деревне, оставив ее лежать на колючей стерне.

Две недели затем он работал молча, ни разу не взглянул на Стешку, хотя чуял, что она будто привязалась к нему своими раскосыми, хищноватыми глазами. Куда ни пойдет — тянется за ним какая-то невидимая нить, и не оборвать ее, не сбросить

с себя. Раньше Стешка, а теперь сам Фрол старался быть поближе к людям, а вечером вместе со всеми уходил в деревню. Стешка плелась позади с бабами. Председатель перестал отчего-то заезжать на ток вечерами. Он приезжал иногда днем, хмурый и обросший, но долго на току не задерживался.

Однажды, в начале третьей недели, Захар все-таки задержался, а вечером поехал в деревню, как это бывало раньше, вместе со Стешкой.

— Вот что, Фрол, ты не порти мне спектакля,— жестко сказал в тот же день Морозов.— Чтоб все по нотам было, как договаривались. Понял?

— Не могу я! — скрежетнул даже зубами Фрол.— Не могу...

Устин запрокинул голову и захохотал. Потом резко оборвал смех, прищурил черно-угольные, отливающие холодным блеском глаза.

— Ты ляг сегодня пораньше спать. Укройся с головой, в темноте подумай... припомни, что можешь. А что забыл, я подскажу.

На другой день Фрол, выбрав время, шепнул Стешке, глядя в сторону:

— Как стемнеет, жду тебя в тайге, возле обгорелого кедра.

...Так она, Стешка, продолжалась в его жизни. А что было еще дальше?

Были ворованные поцелуи, жадные, ненасытные Стешкины ласки по ночам, которые вызывали у Курганова тошноту и отвращение, высасывали из него все силы. И довольные смешки Устина Морозова, его одобрительные возгласы: «Так... Молодец, Фрол... Скоро будет последнее действие... На масленицу Захар свадьбу готовит. И ты готовься...»

— И ты готовься,— повторял Фрол Стешке Устиновы слова. Голос его был усталый и безразличный.— Отведете свадьбу, а перед тем, как лечь спать, выйдешь на улицу. За плетнем будет кошева стоять...

— Выйду, родимый. Что хошь, сделаю. Пешком за тобой побегу хоть на край света,— покорно шептала Стешка.

А зимой, уже перед самой свадьбой,— остатки совести, что ли, пошевелились в ней,— она попросила робко Курганова:

— Может, не надо бы, Фролушка, а?.. Свадьбу-то с Захаркой... Давай я сегодня к тебе перейду. Начисто убьет это Большакова. А коль со свадьбой еще комедь устроить...

— Жалко, что ли, его?

— Не то чтобы жалко... Неловко все же.— И, опустив взгляд раскосых своих глаз, добавила: — А по правде если — жалко. Не его, может, а просто так. Сердце томит отчего-то...

Стешка помедлила, поводила глазами и снова опустила их вниз.

— Летом он для меня цветки собирал. Когда едем вечером домой на ходке, вытащит их, привялые, запыленные, из-под ног откуда-то, сунет неловко в колени мне, а сам покраснеет... А ко-

гда в скирде мы... догадался он, в общем, как-то. За одну ночь похудел. Глаза только одни и не похудели. Потом простил...

— Может, и сейчас догадывается?

— Не знаю. Только еще преданнее в глаза смотрит. Как больному ребенку. И весь какой-то... виноватый весь. Будто не я перед ним, а он передо мной провинился. Когда сказала: «Давай свадьбу через месяц»,— повеселел.

— Можешь не выходить под конец свадьбы ко мне, если хочешь. Чтобы он не погрустнел потом,— проговорил Фрол суховато, вроде попросил о чем-то неуверенно.

Но Стешке показалось, что он сказал это с издевкой.

— Ты не смейся, Фрол. Я к тому, что душа у него, у Захарки, человеческая.

— И я к тому...— еще тише проговорил Фрол, оглянулся по сторонам и странно втянул голову в плечи.— Легко ли наплевать в такую...

Стешка недоуменно подняла голову в толстом полушалке, испуганно глянула на него узковатыми глазами, ткнулась в кислую шерсть Фролова полушубка.

— Нет! Фролушка, ты верь мне. Я ведь это так... вспомнила. Да ради тебя, ради... Я им всем наплюю! Всем!.. Фролушка, родимый...

Курганов, грубо оттолкнув ее от себя, брезгливо растер рукавом мокрую от ее слез шерсть на отворотах полушубка.

— Я и не сомневался. Вот тут, за этим самым плетнем, будут сани стоять,— хрипуче и тяжело сказал он, отвернулся от Стешки и пошел, горбатясь, в темноту.

...Свадьба Захара Большакова со Стешкой была в морозный, искристый день. С утра гудело и волновалось все село — шутка ли, председатель женится! Кучами ходили люди из конца в конец деревни, толкались перед домом Захара, сорили подсолнечной лузгой, окурками на чистый, только что нападавший сверху снег.

И весь день ждали чего-то необычного, не виданного в этих краях. Приближение этого необычного чувствовалось во всем — в испуганно-подленьком блеске Стешкиных глаз, в счастливо-обеспокоенном выражении худого Захарова лица, в молчаливых и зловещих усмешечках Илюшки Юргина, точно он хотел сказать: погодите, мол, вы не знаете, что сейчас произойдет, а мне-то известно...

Но свадьба началась своим чередом, после первых рюмок исчезла скованность и неловкость гостей. Кричали, как обычно, «горько», Захар целовал Стешку в холодные губы. Устин Морозов, подвыпивший и разлохматившийся, обнимал Захара, говорил, смахивая со щек самые настоящие слезы:

— Захар Захарыч, дорогой ты наш председатель... Видим, видим, как вы любите друг друга... И мы радуемся твоему счастью. Мир да совет вам до гроба... Гляди, Стешка, береги его,

заботься. Самое дорогое, что у нас есть, отдаем тебе. Сынов чтоб нарожала ему...

Захар, тогда молодой, еще безусый, разволновался, приподнялся со стула. Кто-то снова крикнул в это время: «Горько!» Стешка обхватила Захара обеими руками, прижалась к нему крепкой, как камень, грудью, внутри которой часто и глухо колотилось что-то живое. Тогда Захар расчувствовался окончательно, усталые и счастливые глаза его подернулись живой влагой.

— Друзья дорогие мои! Товарищи дорогие...— начал он.

В это время Фрол Курганов почувствовал на себе две пары глаз — Устина Морозова и Стешки. Встал из-за стола и, покачиваясь — то ли от выпитой водки, то ли еще отчего, не спеша вышел на улицу.

...Ночь была тоже морозной и искристой. Сотни человеческих ног гладко притоптали за день снег вокруг дома Захара Большакова. Скрипа полозьев, когда Фрол и Илюшка Юргин подъезжали к плетню, не было слышно.

Гости уже начали расходиться от председателя. В освещенных окнах маячило еще несколько теней, болталась, прыгала по мерзлым стеклам огромная кудлатая голова Устина Морозова.

Стешка перелезла через плетень молча и торопливо. Если бы не затрещали под ее ногой мерзлые прутья, можно было подумать, что это тоже скользнула какая-то неясная, зловещая тень. Полураздетая, придерживая одной рукой полы незастегнутой жакетки, другой — концы полушалка, она тяжелым мешком бухнулась в сани, простонала Фролу в колени:

— Ой, скорее...

«Купи-продай», сидевший за кучера, изо всей силы вытянул кнутом горячего жеребца. В две минуты он домчал их до Фроловой избы. Стешка спрыгнула с саней, все так же придерживая руками жакетку и полушалок, прибежала к двери, ударилась о нее плечом.

Сам Фрол вылезал из са́ней не спеша. Он сперва проводил взглядом Стешку и потом уже ступил на снег.

— Да скорей ты, и так чуть не опоздали! — нетерпеливо крикнул Юргин Фролу, заворачивая жеребца.— Невесту уволокли, слава богу. Сейчас гостенечков, какие еще на ногах, попробую перевезти. Как говорится, со свадьбы на похмелье...

— Не надо, а? — слабо запротестовал Фрол.

— Ну, ха-ха-ха! — засмеялся радостно Илюшка.— Кусок мяса-то из когтей вырвали, теперь глянуть, как лапы обсасывает... бывший жених! — И снова хлестнул — смачно, с оттягом — танцевавшего жеребца.

Фрол нехотя пошел в избу. Когда открыл дверь в горницу, видел, что Стешка сидит уже за длинным, уставленным закусками столом, чокается граненым стаканом с Антипкой Никулиным и Андроном Овчинниковым.

— Мир да любовь... Вот теперь мир да любовь! — кричал Антип, изрядно хлебнувший еще у Захара.

— Я сомневаюсь,— качал головой Андрон, тоже хмельной и красный, как помидор.— Баба — это что? Это, брат, ежели по-пролетарски назвать, домашний подкулачник. Одним словом — женщина. И у нее любовь — что такое? Один ветер в голове. Куда дунет, туда клонит...

— Не скажи, не скажи,— сопел Антип.— Стеха-потеха, ах... трансляция! — И вдруг Антип, зажав в руке стакан, грохнул им об стол, расплескал водку и заплакал.— Стерва ты, Стеха! И Фрол стервяк. И вот Андрон. Один я вот человек, да и то... не шибко положительный.

Гости к Фролу так и не приехали. Через некоторое время ввалился «Купи-продай» с расквашенным лицом. Скинув полушубок в угол, он сел за стол, размазал по щеке кровь рукавом, молча опрокинул в стакан бутылку.

Фрол только усмехнулся.

— А что? — сказал Антип.— Ране, бывало, где свадьбу начинали, там и кончали. Гости расходились, а жених да невеста спать ложились. А ныноче иначе.

И вдруг поднялся, швырнул стакан с водкой в Стешку:

— Потаскуха мокрогубая! Вы кого обидели? Вы моего партизанского командира обидели...

Юргин хотел осадить пьяного Антипа, но тот вцепился ему в глотку. Задыхаясь, Илюшка торопливо шарил рукой по столу, опрокидывая стаканы и тарелки. Нащупал толстую, зеленого стекла бутылку. Фрол хотел задержать руку Юргина, но не успел — Илюшка размахнулся и звезданул Никулина по черепу. Антип осел, повалился под стол.

В это время зазвенели стылые оконные стекла, посыпались, как льдины, на пол. Тяжелое полено, просвистев возле Фролова уха, врезалось в стену. Андрон Овчинников с перепугу приклеился к стене и мотал руками, как бабочка крыльями, пробовал оттолкнуться от стены и не мог.

Фрол Курганов еще раз усмехнулся. Спокойно посмотрел на разбитое окно, встал, потушил висевшую над столом лампу. Взял с кровати подушку и заткнул окно. Потом проговорил так же спокойно:

— Вот и все.

— Филимон это Колесников,— сообщил Юргин.

— Знаю, что не Захар! А только если бы он со мной так, я бы не поленом в окно. Я бы дом его поджег. Припер ломиком двери, облил керосином — и поджег.

Повернулся и ушел в боковушку, прямо в сапогах завалился на кровать. Через минуту туда же зашла Стешка, остановилась у стены, не зная, что делать. Наконец прошептала:

— Фролушка... Все равно теперь уж... нету обратно дороги... ни мне, ни тебе.

Фрол еще помолчал и сунул ей в лицо пахнущий дегтем сапог:

— Стаскивай! Р-разувай мужа, говорю!

Стешка, не говоря ни слова, прижала сапог к груди, откинувшись назад всем телом, потащила его с ноги.

Так кончилась его «свадьба» со Стешкой...

...Стоя на вершине увала без движения, Фрол Курганов почувствовал, что замерз. Однако не тронулся с места, не пошевелился, даже не переступил с ноги на ногу. Он стоял, уперев в грудь обе лыжные палки, и смотрел вниз. А внизу, покачиваясь, полз на деревню с речки Светлихи вечерний туман. Крайние дома уже тонули в нем, как прошлым летом стога в сеногнойной мороси.

«Так кончилась «свадьба» и началась семейная жизнь со Стешкой,— вернулся Фрол к своим мыслям.— Как она началась?»

Все следующее утро до обеда просидели в избе молча. В обед вылез из-за стола с проломленной головой Антип, стоя на коленях, посмотрел на разбитое окно, на валявшееся в углу полено, пощупал свой череп и спросил:

— Кто это меня, а?

Фрол выпил стакан водки, поманил Антипа:

— Ну-ка встань.

Когда Антип встал, Курганов взял его за шиворот и, не говоря ни слова больше, вытолкнул из избы.

До вечера опять молчали. Стешка несмело принялась убирать со стола.

Ночью Фрол застеклил окно и сказал, как вчера:

— Я бы не только окно вышиб — дом подженг.

И снова молчали несколько дней.

Когда, почти через неделю, вышел на улицу, деревня стояла тихой и белой. Люди на улицах появлялись редко, ходили бесшумно. Фролу никто ничего не сказал, никто с ним не поздоровался, никто его не заметил, словно он был невидимкой. И на второй, и на третий день, и через неделю никто его не замечал. «Вон что...» — догадался он.

— Общественное презрение. Передовая форма наказания,— усмехнулся однажды Устин Морозов.

— А ты не смейся, гад! — крикнул Фрол.

Морозов дернул ноздрями, но проговорил ровно, чуть суше:

— Понимать надо, над чем я смеюсь... А ругаться друзьям — последнее дело. И наплевать на всех. Тебя и до этого не особенно любили.

Не особенно, верно. И Фрол знал за что — за замкнутость, за угрюмость.

— Захар приказал всем — ни тебя, ни Стешку чтоб не трогали. На остальное плюнь, говорю.

— Он знает, что страшнее смерти...

— Да что ты, в самом деле, как баба?! У тебя друзья есть... не бросим.

— Вот что... друг,— повернулся к нему Фрол всем телом,— желаю тебе когда-нибудь попасть... в тюрьму без решеток.

С этого дня Фрол Курганов еще больше ушел в себя.

Из рассказов Юргина Фрол знал, что случилось на квартире у Захара после того, как он увел Стешку. Собственно, там ничего не случилось, если не считать, что самому Юргину Филимон Колесников раздробил переносицу. Едва «Купи-продай» с кнутом зашел в комнату, Филимон словно ждал его, поднялся, схватил за грудки и рванул от дверей на середину избы.

— Что это за фокус ишшо! — еле удержался на ногах Илья.— Я... хе-хе... с добрым словом, с приглашением.

— Ну? — бледнея, спросил Захар и поднялся со скамейки. Его всего трясло.

Юргин не торопясь оглядел оставшихся в темноте гостей, сказал поклонившись:

— Приглашаем теперича на свадьбу... на настоящую свадьбу... по поводу законного бракосочетания девицы... то есть... хе-хе... бывшей девицы Стешки с Фролом Петровичем Кургановым...

Разогнуться сам Илюшка не успел — ему помог Филимон. Помог и, не отпуская, тяжело, как железной болванкой, ткнул ему дважды в лицо. Юргин не почувствовал еще боли, а Филимон замахнулся в третий раз. Но между ними встал Захар.

— Убью паразитов! — хрипел Колесников.— Дом Фролки по щепке разнесу!

Захар оттолкнул Филимона, пошатываясь добрел до скамейки, почти упал на нее. И только тогда сказал шепотом:

— Не надо. Я знал... чувствовал...

— Нет, что это вы, Илья, делаете, а? — удивленно крутя шеей, спросил Устин Морозов. И повернулся к людям: — Что это они, а?

— А-а-а! — снова ринулся Филимон к Юргину.

Илья, пятясь, выскочил в сени.

— Р-разнесу! По щепке! — ревел Филимон сзади, гулко топая по мерзлому снегу. Он, может, настиг бы Юргина, но его догнали выскочившие из избы люди, повисли на нем.— Пустите, говорю! Пустите, дьяволы! — вырывался Филимон.

«Купи-продай» сдернул вожжи с плетня, огрел жеребца и на ходу, боком, упал в сани...

С Захаром Большаковым Фрол встречаться долгое время избегал, почти до весны ходил без работы.

— Жизня... Гуляй себе! Хоть тросточку заведи,— усмехнулся Морозов.

Залечивший нос Илья Юргин хохотал:

— На племя, должно, выделил тебя Захарка! Ишь, в работу не впрягает, как жеребца-производителя!

— Шутки вам! — угрюмо ронял Курганов.— А мне жрать скоро нечего будет.

— Пососи на ночь Стешкину губу — да спать,— посоветовал однажды Юргин.

Фрол опешил даже, быстро вынул затяжелевшие руки из карманов:

— Ах ты, слизь зеленая!..

— А что? Раз ты не требуешь работы у председателя...— поддержал вдруг Юргина Устин Морозов.— Он тебя не только в тюрьму посадил... без решеток этих, но еще и голодом морит. Тюремникам-то хоть баланды наливают...

Фрол, и без того бывший на взводе, сорвался и побежал в конторку к председателю.

Захар встретил его спокойно, только выпрямился за столом да покатал желваком на худой скуле. Выслушав несвязные выкрики Фрола, сказал:

— Скотники нам требуются.

— Скотники?! — воскликнул Фрол. Ему вдруг показалось, что неспроста Большаков предлагает ему эту работу.— В отместку, значит? Быкам хвосты крутить?

— Не хочешь быкам — крути лошадям. Конюхи тоже нужны. Вся работа в колхозе такая...

— Л-ладно! — зловеще произнес Фрол.— Посмотрим еще, кто кому больнее мстить будет...

— Мне больнее уже не сделаешь...

— Это посмотрим. Во всяком случае, постараемся,— пообещал Фрол на прощание.

На другой день с утра пошел на конюшню.

Со Стешкой по-прежнему жил как чужой. Завтракал, глядя в чашку, уходил молча на работу. Редко-редко скажет разве слово-другое за ужином. Сапоги снимать ее не заставлял больше, разувался сам, но спать с ней ложился как с бревном.

— Фролушка... Долго ли...— начала было она как-то зимой.

Но он бросил ей коротко:

— Не вой.

— Думала ли я о такой жизни, когда от Захара...

— О чем думала, того и добилась.

Это был у них первый, самый продолжительный после свадьбы разговор.

Конец зимы и весну прожили по-старому. Стешка иногда начинала прежнюю песню, что не на такую жизнь надеялась, что в доме ничего нет. Но Фрол или отвечал прежним «не вой», или ничего не отвечал.

Летом Стешка развела полный двор цыплят и гусей. Фрол, проходя по двору, со злостью пинал неповоротливых распаренных квохтушек и шипящих, как змеи, гусынь. Но когда Стешка принесла откуда-то поздней осенью четырех розовых поросят, он спросил:

— А это зачем?

— К весне выкормлю, лето погуляют, а к следующей зиме деньжат огребем...

Фрол ничего не сказал. Но, выбрав время, когда Стешки не было дома, перерезал всех поросят, а заодно всех кур во главе с петухом, всех гусей, оставленных на расплод. Поросячий визг и ошалелые куриные крики стояли над всей деревней. Когда прибежала побледневшая Стешка, он объяснил ей коротко:

— Чтоб не слыхал я больше хрюканья да кудахтанья. Развела тут вонищи!

Стешка как стояла, так и села на заснеженное крылечко, опустив чуть не до земли руки, словно и их надрезал Фрол.

Месяца два после этого ходила как прибитая. Он молчком — и она молчком. Наконец разжала свои резиновые губы:

— Ну что же... Так-то вроде и лучше. Не как иные-некоторые. Охозяйствовались, словно прежние кулаки. А ты — бедняк-пролетар.

Удивленно глянул Фрол на жену, хотел вроде спросить, что, мол, сие значит — «бедняк-пролетар», да махнул рукой. А назавтра и вовсе забыл об этом разговоре.

Перед Новым годом объявили, что скоро будет отчетно-выборное колхозное собрание. На собрания Фрол ходил, слушал, о чем спорят, но сам в споры никогда не вступал.

— Нынче осенью-то перестояла полоса пшеницы за глинистым буераком,— сказала вдруг Стешка утром того дня, на которое назначено было собрание.

Фрол громко и сердито фыркнул у рукомойника, выгнув горбом широкую спину.

— Намолотили с той полосы, говорят, всего шестьсот пудов. А ежели на недельку бы раньше, всю тыщу взяли бы,— продолжала Стешка, подавая ему завтрак.

— Тебе-то откуда знать? Счетовод выискался!

— Так ураган повыбил пшеницу. Сам Захар говорил — тыщу пудов худо-бедно уродило. И коли бы не проворонили недельку-то, до бури управились бы... Лишних четыреста пудов колхознику плечи не оттянули бы, сусеки бы тоже не развалились, выдержали.

— И так с голодухи не пухнешь пока! — обрезал Фрол жену.

Собрание должно было начаться после обеда. Фрол пришел с работы пораньше, сказал с порога:

— Собирайся.

— Сейчас, сейчас! Надень вот эту тужурку.

— Дура! Давай новый полушубок. Пимы новые достань. Шарф покупной...

Стешка нехотя полезла за вещами.

— Конюшня-то твоя тоже... смех, а не конюшня колхозная. Решето решетом. На днях заглядывала — снег сквозь стены

пробивается. И хоть бы лесу не было в колхозе! Что зимой мужикам делать! Навалили бы ельника, а по весне перебрали весь конный двор. А?

— Переберем. Все видят, что к лету завалится она. Ее и строили на время.

— Не в том дело, что видят. А раз видят, и говорить легче — сразу поймут. Вот ты бы и поговорил на собрании.

— Чего мне! Другие поговорят, коли надо.

— А ты не жди других, ты сам наперед. И про конюшню, и про хлебную полосу за буераком. И нынче хватит...— Стешка подошла к мужу с полушубком, но не протянула его Фролу, а прижала к своей груди.— Слышь, нынче и хватит. А при следующем собрании я тебя еще надоумлю, про что говорить. И все увидят — заботишься о колхозном-то. И Захар увидит...

Фрол, закручивавший портянку, глянул снизу вверх на Стешку.

— Что, что? — сунул ноги в валенки, тяжело разогнулся.— Ну-ка, ну-ка, об чем ты?..

— Ей-богу, Фролушка, клюнет. И об личном подсобном хозяйстве ты не печешься, без корысти живешь, не как иные-прочие. Курей и тех порубил.

— Вон ты куда стелешь! Ловко...— сквозь зубы выдавил Фрол.— Без корыстия я, говоришь? Бедняк-пролетар?

Фрол вырвал у жены полушубок. Стешка испуганно отступила шага на два.

— Конечно... Сколь тебе еще на конюшне-то торчать? За конюха я бы в любое время замуж выш...

Она оборвала на полуслове, потому что Фрол подошел к ней, сгреб в кулак лопнувшую на груди кофточку, нагнулся к самому Стешкиному лицу.

— Гляди прямо, не виляй глазами, и так косая... Значит, значит, должен я... чтобы...

— Ну да, ну да... Фролушка, родимый! Я обещала вывести в люди тебя и выведу. Чего же, каждый об себе должен заботиться,— глотая слова, умоляюще заговорила Стешка.— Вот увидишь, не пройдет и году — главным на конеферме будешь. Потом — бригадиром. А там и... Захар — он что, не вечный... Ты на собраниях только не сиди молчком... Ты делай вид... вид делай...

Фрол сильнее сжал кулак, и Стешкина кофта треснула теперь и на спине. Он отбросил жену в сторону, усмехнулся:

— Ладно. Сделаю... вид.— И, не дожидаясь ее, вышел.

На собрании Фрол не был. Домой пришел за полночь, вдрызг пьяный. Стешка сидела на кровати в коротенькой, выше колен ночной рубашке, с распущенными волосами. С минуту она смотрела, как Фрол раздевается. Пуговицы полушубка не поддавались, словно пальцы были мерзлыми. Тогда Фрол так рванул полушубок, что пуговицы стрельнули в стену и покатились по

полу. Стешка вздохнула и поджала губы. И вдруг заголосила:

— Господи, достался же мне идиот полоумный! У других мужья как мужья, живут по умению да по совести... У тебя ведь силищи невпроворот. А кабы к этой силе да умишка капельку! Нет своего — так пользуйся жениным...

Фрол кое-как стащил стылый пим с правой ноги, прислушался к голосу жены. Потом вдруг размахнулся и пустил тяжелый валенок в Стешку, стараясь почему-то попасть в ее голое толстое колено. Но не попал, валенок ударился в окно, и опять, как в день свадьбы, посыпалось со звоном на пол стекло.

— Вот, во-от! — завопила Стешка, вскакивая с кровати.— У тебя силищи только и хватает — водку жрать да одежду рвать! Да над женой изгаляться! Уйду я, уйду, коли так, коли не будешь... А на черта мне?! К Захару в ноги кинусь — он поднимет, подберет. Выбирай, милок: или будешь, как я говорю, или...

У Фрола плавало, качалось перед глазами ее мокрое лицо, мотались спутанные волосы, блестели зеленые, рысьи глаза. Он поднялся, пошел на Стешку. Ее лицо, и волосы, и глаза становились все ближе и ближе... В ушах стоял звон разбитого стекла...

— Кинешься под ноги? — спросил он хрипло.— Значит, совсем хочешь жизни человека решить?

— Тебе... тебе какое дело? — взвизгнула Стешка.

Тогда Фрол наотмашь хлестнул ее рукой, как мокрой, тяжелой тряпкой, по лицу. Стешка упала на колени, испуганно глядела снизу на мужа, словно соображая, что же такое произошло.

— Фролушка... Не тронь меня! Не хочешь, я сама... сама буду...

— Что-о? — рявкнул Фрол.

— Сама выйду в люди... сделаю вид...

Он вдруг, осатанев окончательно, сдернул висевшие на гвозде у порога толстые волосяные вожжи...

Стешка не кричала, распустила все тело, расплылась по полу, словно нежилась под его ударами. Она только прикрыла руками голову да чуть-чуть вздрагивала, когда вожжи обжигали ей спину.

Наконец Фрол выдохся, отшвырнул вожжи, доплелся до кадки с водой. Стуча зубами о железо, выпил подряд три ковша, обливая водой горячую грудь. Подошел к кровати и бухнулся в постель.

Стешка до утра так и пролежала на полу недвижимо, словно муж засек ее насмерть.

Утром Фрол обмыл изуродованную спину жены теплой водой, помазал топленым маслом. Перенес ее на кровать, положил вниз лицом, прикрыл простыней и сел возле на стул.

Стешка долго лежала без движения, потом повернула к мужу голову. Из глаз ее неслышно катились слезы.

— Подурили — и будет,— виновато сказал Фрол.— Давай жить.

...И стали жить тихо, безрадостно, как старики. Свадьба была без веселья, и жизнь потекла без любви, похожая на скучный осенний день, которому нет конца.

Стешку Фрол никогда больше не бил. Потому, может, что не за что было. После того как исхлестал ее вожжами, она сделалась тихой и покорной. Только нет-нет, да и вздыхала тяжело о чем-то.

— О чем? — спросил он однажды прямо.

Она вздрогнула, как от удара, тоскливо опустила голову, сказала с тихой обидой:

— Дурак ты все-таки.

— Ишь ты умная...

— Не умней, может, тебя, да разумней.. Кабы послушался...

— Замолчи! — построже повысил голос Фрол.

И она опять вздохнула, словно загнала в себя что-то.

Стешка работала на общих работах. Косила сено, жала серпом хлеба, веяла зерно. Зимой ездила даже за сеном вместе с Андроном Овчинниковым. К любому делу относилась старательно. Иногда вдруг ни с того ни с сего начинала обмазывать к зиме колхозный коровник, хотя ее об этом никто не просил, или на собрании вдруг наседала за какую-нибудь промашку на председателя. Но это случалось редко, потому что после каждого такого случая Фрол срезал ее:

— Вид делаешь, что ли?! Смотри у меня... Вон вожжи-то висят.

Вожжи действительно постоянно висели на стене. Стешка несколько раз убирала их с глаз. Но Фрол разыскивал и молча вешал на прежнее место.

Стешка поеживалась и надолго сникала.

Да и вообще она вяла год от году, как вянет день ото дня цветок в бутылке с водой. И как-то утром, поставив перед Фролом завтрак, заплакала вдруг, вытирая по-старушечьи слезы концом платка:

— Сам не живешь и мне не даешь, изверг проклятый! Сбрил под самые ноги, как траву литовкой...

— Не жизнь у нас, это верно,— сказал Фрол, откладывая ложку.— Сошлись мы с тобой крадучись и живем как воры. Расходиться давай, что ли.

— Как теперь разойдешься? Куда я... с брюхом-то.

Фрол осмотрел круглыми глазами жену. Живота у Стешки пока не было заметно. Взялся за ложку.

— И давно?

— Месяца четыре, должно.

— Ну что ж... Выходит, жить надо...

Когда родился Митька, Степанида вся ушла в заботы о сыне. Она учила его ходить, учила говорить. Фрол был доволен, что

родился сын, что жена оказалась хоть заботливой матерью, стал относиться к ней потеплее.

— Гляди береги его,— сказал Фрол, как только она оправилась от родов.

— Что ты! Пылинке сесть не позволю,— ответила Стешка.

И не позволяла. Сын рос, держась за материну юбку. К отцу шел нехотя, как-то сторонился, пугаясь его угрюмости.

— Ах ты, маткин сын! — смеялся иногда Фрол и тут же, погружаясь в свои хмурые думы, забывал о сыне и жене.

Так дожили они до сегодняшнего дня. Не заметил Фрол, как вырос Митька, не заметил, как подошла старость...

...Отрывочные картины прошлого теснились в голове Фрола, проносились беспорядочные, как рваные, перемешанные ветром облака. Все походило на тяжелый, перепутанный сон...

«Да, Митька...— снова подумал Фрол.— Не заметил, как вырос сын, и, кажется, не заметил, каким он вырос. А каким?»

В школе Митька учился хорошо. «Неугомонный, бойкий, любознательный»,— в один голос говорили учителя. Это Фрол знал и сам. Знал и втайне гордился им. Митька всегда был предводителем своих сверстников, зеленодольские ребятишки всегда признавали его превосходство.

Помнит Фрол, как уходил Митька в армию на действительную. Два дня с гурьбой девчат и парней бродил он по деревне, расправив плечи, будто хотел сказать всем своим видом: «Глядите, пока я еще на земле, но сейчас сорвусь и полечу в голубые выси».

Однако, уезжая, сказал совсем о другом:

— Ну, прощайте... Вы еще обо мне услышите.

И услышали. Митька частенько присылал домой вырезки из военных газет, в которых рассказывалось, как — то во время стрельб, то боевых учений — отличался солдат Курганов. Сперва солдат, потом ефрейтор, потом младший сержант Курганов. Степанида давала читать эти вырезки каждому.

Через два года от командира части пришло письмо, в котором он благодарил Степаниду Михеевну и Фрола Петровича за то, что они воспитали такого отличного сына, «показывающего солдатам пример в боевой и политической подготовке, в служении Родине». Письмо пришло почему-то на имя Степаниды Дорофеевой. Но Фрол не обиделся. А через два с половиной года Митька, уже сержант, прислал фотографию, на которой он стоял с автоматом в руках под развернутым знаменем полка...

После армии Митька стал работать трактористом. Скоро о нем заговорили как о лучшем механизаторе колхоза. И опять в районной газете замелькала его фамилия, а однажды напечатали и портрет. Да и не мудрено — выработка у Митьки всегда намного больше, чем у других трактористов, урожай на вспаханных им землях всегда почему-то выше.

— Все очень просто,— маленько красуясь, говорил Митька.— Земля — она пот любит. Самое лучшее удобрение — человеческий пот.

Фрол гордился сыном. Когда слушал толки, что быть скоро Митьке главным инженером колхоза, ничего не говорил, никак не выказывал к таким предположениям своего отношения, но про себя думал: «Не удалась у меня жизнь. Так пусть сын проживет ее так, как хотел бы прожить сам я. Пусть сын сделает на земле то, что не сумел сделать его непутевый отец...»

Думал об этом Фрол, ощущая одновременно и тяжелую горечь, и затаенную, волнующую радость.

И вдруг три дня назад...

— Чего примеряешься которую неделю? Звездани уж батьку под дыхало, чтоб свет померк,— сказал он вгорячах сыну, заметив, что Митька, замкнутый и задумчивый, поглядывает на него иногда любопытно, изучающе.

— Зачем? — холодно усмехнулся Митька.— Примерки разные бывают.

Разные... Сперва-то Фрол и не понял, что означают слова сына, как-то не обратил на них и внимания. А потом, через день, и долбануло: это какую же мерку хочет сын с него снять?!

И начало казаться вдруг: ведь не просто из ребячьей гордости посылал Митька из армии газетные заметки о самом себе... И потом, после армии, работал не ради своего удовольствия, а опять же вымачивал в поту рубахи для того, чтобы в газетах о нем писали. Если это так, то что же он, шельмец, делает, что думает?..

Когда-то доходил глухой слух до Фрола — из-за Митьки уехала из деревни Зина Никулина, младшая дочь Антипа. Фрол спросил у сына:

— Это как понять? Тесно, что ли, в Зеленом Доле стало?

Митька только плечами пожал:

— Вольному воля... Что я, догонять ее должен? На каждый каприз не угодишь.

Услышав, что у Зины родился сын, Фрол, подозвав Митьку, сурово сдвинул брови:

— А ну-ка объясни... Каприз, говоришь? Не выкатывай от удивления глаза, я об Зинке говорю...

— Ну, готов уж сына съесть ни за что ни про что! — вмешалась Степанида.— В чем ты подозреваешь-то родного сына, подумай! Да и чего ей, Зинке этой... Не споганится море, если пес полакал...

— Что-о?! — грузно приподнялся тогда Фрол, взял сына за плечи, притянул к себе и встряхнул.— Ну-ка гляди мне в глаза!

Митька поглядел — смело, открыто. Легонько снял отцовские руки со своих плеч, проговорил:

— За кого ты, батя, принимаешь-то меня?

Фрол поверил сыну.

Тогда поверил, а сейчас, после разговора о примерке, засомневался в искренности Митькиных слов. «Если он, козел двуногий... башку отверну тогда! — думал Фрол, чувствуя, как волной бьет в груди горячая обида.— Отверну... а сам-то, сам что делаю?!»

Горячая волна откатывалась, ей на смену приходила другая — холодная, останавливающая сердце.

Сыну хотелось все же верить. И хотелось верить себе, хотелось пожалеть самого себя, что-то посоветовать. Но что? И как?

...Сколько времени Фрол стоял на вершине увала — он уже не мог определить. Судя по тому, что промерз окончательно, стоял долго, может быть, несколько часов. Уже давно умолк внизу голодный рев скотины, значит, коровам задали скудную порцию того кукурузного силоса, за который Большаков получил выговор, или полугнилого сена, которое они ворочали в прошлом году, на котором сидел тогда раздавленный его вскриком Захар Большаков, а рядом с ним уставшая до предела Клашка, та самая туготелая Клашка, которая сейчас...

Фрол прислушался к своим мыслям и усмехнулся: с чего начал, к тому и вернулся, словно по заколдованному кругу прошел, а теперь хоть опять выворачивай себя наизнанку — стыдно, мол, за Клашку перед людьми, перед собой, перед Степанидой, перед Митькой, вспоминай, как появилась Стешка в его жизни, как отобрал ее у Захара, как прожили с ней без любви и ласки...

Чтоб покончить со своими думами и воспоминаниями, надо скользнуть вниз, оставить их здесь, на вершине увала. И Фрол, до сих пор висевший грудью на лыжных палках, выпрямился. Палки поставил так, чтобы можно было с силой оттолкнуться ими. Он уже глубоким и долгим вздохом набрал в себя побольше воздуха, чтобы хватило на весь спуск. И вдруг сжался и замер, окаменел... Вдруг мелькнула, опалив горячим жаром, мысль: ведь он сам, хотя и бессознательно, направлял свои воспоминания по этому заколдованному кругу. А направлял потому, что...

Если не у каждого человека, то у многих рано или поздно наступает такая пора, когда надо разобраться в жизни. У Фрола Курганова она наступила вот сейчас, когда он собирался съехать вниз с увала. Вернее, наступила она раньше, когда он остановился на вершине и, обдуваемый слабым ветерком, принялся вспоминать прошлое. Сейчас же он просто-напросто ясно и отчетливо ощутил это... Ощутил и в то же мгновение с ужасом подумал об Устине Морозове, вспомнил полы его расстегнутого полушубка, напоминавшие страшные черные крылья. И еще вспомнил, увидел явственно холодную, предостерегающую улыбку на его черном лице. И даже будто услышал слетавшее с его сухих, потрескавшихся губ безжалостное и зловещее: «В чем это разбираться вздумал?! Попробуй только...»

Постояв еще немного, Фрол усмехнулся, но жалко и беспомощно: это не Устин его предостерегает, а он, Фрол, предупреждает сам себя. И не столько страшится он Устина Морозова, сколько боится самого себя. Поэтому и воспоминания свои направляет по заколдованному кругу. И вспоминать-то начинает уже с того времени, когда вошла в его жизнь Стешка. А начинать надо совсем не с этого, а несколькими годами раньше. Надо начинать с Марьи Вороновой, первой председательницы зеленодольского колхоза. И даже не с Марьи, а еще раньше, со времен братьев Меньшиковых. А то получается так, опять усмехнулся Фрол, но уже едко и горько, будто ходит по избе он и выковыривает грязь из углов, выволакивает ее на середину комнаты, на свет. А надо прежде всего приподнять крышку подпола, заглянуть в его темный и холодный зев, взять фонарь, вывернуть побольше фитиль и спуститься в зловещую яму. Тогда будет ясно, почему он, Фрол, безжалостно отобрал Стешку у Захара Большакова, почему он всю жизнь бьет председателя в самые больные места, как, например, ударил в прошлом году на лугу.

Кое-кто говорил тогда:

— Много дурной крови накопилось у тебя, Фрол, шибанула она тебя в мозг. Надо было работать, как другие работали,— переломился бы хребет, что ли! Не так еще, бывало, рабатывал ты, Фрол Курганов! На том же колхозном сенокосе за семерых управлялся.

— Верно, зря раскипятился я, старый хрен, на лугу,— отвечал Фрол. Но тут же добавлял: — Да ведь знаете, как мы всю жизнь с Захаром...

Объясняя людям так свой поступок, Фрол хотел как бы напомнить: «Сами понимаете, с какого времени и из-за чего разошлись наши пути-дороги, почему косовато глядим мы друг на друга, отчего тесно нам в Зеленом Доле вдвоем...»

Люди, кажется, действительно вспоминали, покачивая головами, отходили. А Фрол с недоумением думал, глядя им вслед: «Зачем я говорю им это?! Да если бы вы знали, если бы догадался кто, что раздражение, которое как свинцом облило тогда председателя, в первую очередь обожгло меня самого... Если бы вы знали, что я говорю совсем не то, что хочу, и что вообще я запутался до того — хоть прыгай с утеса в омут с камнем на шее?!»

И вот, кажется, один человек догадался. Как это она сказала? «Тебе и без меня совестно. Перед самим собой...» Ага, перед самим собой...

Сейчас, коченея на вершине увала, Фрол почувствовал вдруг, как шевельнулась в нем слабенькая надежда: «Раз думал тогда так и раз кто-то, кажется, понимает меня,— может, неконченый я человек, может, найду силы приподнять ту крышку подпола, показать людям, что там, в темноте... Они поймут, простят. Клавдия, во всяком случае, поймет. Должна понять».

Но тут же почувствовал, что это тоже сознательный самообман. Ничего он не найдет, ни сил, ни мужества. Так и будет мучиться, корчиться, как на огне. Недаром старый Анисим Шатров ухмыльнулся тогда, на лугу: «Грех да позор — как дозор... хошь не хошь, а нести надо...»

Но почему он, засохший стручок, все-таки сказал так? Какой позор? В смысле — кишка оказалась тонка, надорвалась на работе? Или... Или...

Морозный туман, ползший из-за Светлихи, заволок уже всю деревню, остановился у подножия увала и закачался, как пена на волнах. Туман закрыл скотные дворы, и Фрол, чтобы отогнать как-то или изменить свои мысли, стал упорно думать, чуть не вслух повторять, что в других колхозах вон падеж вовсю, а у них в «Рассвете», благодаря тому кукурузному силосу — молодец все же Захар! — еще держатся коровенки. Да все равно, наверное, падать зачнут. Зиме еще быть да быть, а силос на исходе, прелое сено тоже...

Солнце село, и внизу, в тумане, засветились огни невидимых домов. Тоненькие огоньки мерцали лучистыми звездочками, то гасли, то разгорались. Фрол стоял и почему-то ждал, когда тумана наволочит еще больше и сквозь холодную молочную густоту не в силах будет пробиться даже искорка. Но огоньки упорно мерцали и мерцали — то бледнее, то ярче. Они словно ныряли куда-то в белый, молочный омут, а потом всплывали на самую поверхность.

«Грех да позор... Хошь не хошь...» Эти слова тоже временами проваливались куда-то, а потом всплывали. Отогнать свои мысли, отвязаться от них было не так-то просто. Даже когда они проваливались, Фрол знал, что они всплывут. А это было тяжело. От этого разламывалась голова.

Глава 8

Обжигающий ветер засвистел в ушах, когда Фрол, резко оттолкнувшись наконец палками, скользнул под увал.

Был Фрол не из последних лыжников в деревне, даже иным молодым мог дать сто очков вперед. Но от бешеного спуска у него сейчас остановилось сердце.

«Да, не тот стал Фрол Курганов, не тот»,— опять мелькнула горькая, угнетающая мысль.

«В-зж-ы-и-и...» — тянулся и тянулся злорадный визг вслед за Фролом. Длинными черными тенями мелькали по сторонам кедры. О каждый из них можно было расколоться, как колется глыба льда, брошенная с высоты на каменную плиту,— в мелкие стеклянные брызги, в пыль. Фрол думал об этом, но ни страха, ни даже беспокойства почему-то не испытывал. Он, наоборот, несколько раз оттолкнулся палками, чтобы увеличить и без того сумасшедшую скорость.

Навстречу летели, покачиваясь, белые космы тумана. Фролу показалось, что это не он несется вниз, а белая муть вдруг неудержимо поползла вверх, как закипевшее молоко из кастрюли. Вот-вот это молоко захлестнет его, накроет с головой, ошпарит...

Он плотнее сжал губы, втянул голову в плечи, нырнул в глубь этой мути... Через минуту он остановился. Почти рядом чернел сквозь туман приземистый коровник, маячили возле него в пригоне люди. У самой изгороди стояла лошадь, запряженная в сани-розвальни. Фрол растер рукавом занемевшие от ветра при спуске губы и пошел к пригону.

Захар Большаков и зоотехник сидели на корточках возле павшей коровы, ощупывали ее со всех сторон.

— Всё,— сказал хрипло Большаков и поднялся.

— Ведь я говорил — прирезать бы на мясо, пока она еще дышала,— раздался голос Устина Морозова.

— Мяска захотели, да ножичек, понятное дело, наточить не успели,— усмехнулся Антип Никулин, оглянулся вокруг и зачем-то подмигнул уже подошедшему к пригону Фролу.— А кто бы вам, спрашивается, корову дойную колоть разрешил?

— Все равно ведь пропала. А то бы хоть мясо,— сказал заведующий гаражом Сергеев.

— Хе! — протянул Антип.— Все равно... А как бы районное руководство узнало, что она,— Антип пнул в мягкий коровий бок,— «все равно»?! Районное руководство — это вам не девки-мальчики. Оно, того... бумаги всякие выпускает. А в бумаге все пропечатано — как нам жить и что делать в разных подобных случайностях. Понятно тебе? А что в бумаге на сей конкрет сказано? — И Антип опять пнул в коровье брюхо.— Ничего! Значит, пусть своим ходом животное дохнет. А то много всяких разных слюной на говядину исходят.

Антип говорил, беспрерывно подпрыгивая на снегу, и так же беспрерывно застегивал на одну-единственную нижнюю пуговицу — остальные давным-давно отскочили — расходившиеся полы шубенки. Но петля была разношена, и эта единственная пуговица снова выскальзывала.

— Заткнись ты, ради бога, старый свистун! — сказал ему бухгалтер Зиновий Маркович.— Тут тебе не караван-сарай.

— Не об этом речь! — с новым жаром подхватил Антип.— Я говорю вообще, так сказать, о порядках. А ты деньги все считаешь, так вот, подсчитай-ка... Раньше какой хозяин допустил бы, чтобы скотина зазря дохла? То-то и оно. А нынче иначе. Не тяни лапу, стало быть, даже к дохлой говядине. А почто, собственно? Я, конечно, не о себе говорю. Я могу и на стороне мясца прикупить, с дочерей по суду получаю...

Захар Большаков, до этого безучастный ко всему, повернул к Антипу худое, чисто выбритое лицо и сказал сурово:

— Ну-ка не копоти тут!

— Хе! — снова воскликнул Антип, намереваясь, видимо, вступить в жаркий спор с председателем.

Но Захар нахмурил брови:

— Марш отсюдова сейчас же! Чего тут языком соришь?!

В голосе председателя зазвучало то, чего всю жизнь боялся Антип,— зловещее присвистывание, будто Захару не хватало воздуха. Антип без дальнейших рассуждений вильнул вдоль пригона. За воротами он ткнулся, как слепой, в бок Фролу Курганову, снимавшему лыжи, чертыхнулся и побежал прочь.

Курганов, скинув скрипучие, пересохшие на морозе лыжи, прислонил к изгородине ружье, отцепил мерзлую, закостеневшую лисицу от пояса, положил ее на снег и вошел в пригон. Так и есть — пала Зорька, та ласковая, тихая, застенчивая какая-то Зорька, которая нынче принесла, на удивление всем, двух телят. Каждый раз, когда коров прогоняли мимо телятника, Зорька останавливалась, поворачивала голову, смотрела в заиндевевшие окна и тихонько, жалобно мычала, будто просила показать детенышей.

Фрол почему-то особенно любил эту низкорослую коровенку. Проходя мимо скотных дворов, он нередко заворачивал в помещение — посмотреть, не оттерли ли Зорьку от яслей. Чаще всего так и бывало. Тогда Фрол разгонял буренок и стоял у яслей до тех пор, пока Зорька, испуганно кося лиловатым глазом, хрустела жестким с мороза, как железные прутья, сеном.

Иногда Фрол загонял Зорьку в конюшню и, отрывая от своих коней, наваливал ей полный угол аржанца. Сам стоял с вилами рядом и отгонял тянувшихся к сену лошадей.

И вот все-таки Зорька пала.

Фрол, будто никому не веря, скинул рукавицы, нагнулся и пощупал коровьи ноздри. Они были скользкими, уже заледеневшими.

— Отвезти на скотомогильник,— распорядился колхозный зоотехник.

Курганов медленно выпрямился и так же медленно отошел в сторону.

— Захар Захарыч, ну как же это, а? — пискнула где-то сбоку Ирина Шатрова.— Какая корова-то была!

— Ты береги ее телят,— негромко проговорил Захар Большаков, засовывая руки в карманы полушубка.

Проговорил так, словно речь шла о детях.

— Давайте, что ль, подводу,— снова сказал зоотехник.

— Надо вытащить из пригона, отсюда не выедешь. Ну-ка, мужики! — проговорил Егор Кузьмин.

Несколько человек сгрудились вокруг павшей коровы, ухватили ее за ноги, за рога, за хвост и поволокли к воротам.

Тащили рывками, с криком: «Раз-два!» Тяжелая коровья туша медленно ползла вдоль изгороди, оставляя на занавоженном снегу пригона клочья рыжей шерсти.

— Стой! — крикнул Фрол.— Кому говорю — стой!

И, тяжело дыша, подошел к колхозникам.

— Ты чего, Фрол Петрович?

— Ничего,— буркнул Фрол, засовывая рукавицы за пояс полушубка.

Потом Курганов обошел вокруг коровьей туши, стал к ней спиной, присел на корточки.

— А ну-ка навали... Чего, как девки, переглядываетесь?! Навали, говорю, на загорбок.

— Ей-ей ли?!

— Я тоже говорю — сомневаюсь...

— Надломишься, Петрович!

— Да валите же, дьяволы! — раздраженно крикнул Фрол.— Долго мне еще на карачках сидеть? — Голос его задрожал от нетерпения.

Колхозники еще помедлили несколько секунд в нерешительности. Затем Илюшка Юргин с ожесточением потер заскорузлые ладони, будто садился за полную миску дымящихся пельменей:

— Завалим, раз просит человек. Уважим просьбу. Налетай, мужички!

И тотчас люди снова обступили тушу, перевернули ее через хребет. Коровьи ноги упали на плечи Фролу.

— Подмогните... малость,— выдавил он из себя, хватая уже не гнущиеся, как жерди, коровьи ноги.— Еще... Еще, пока не встану...

Фрол начал потихоньку разгибаться. Колхозники подпирали снизу коровью тушу плечами.

— Еще поддержите,— попросил Фрол шепотом.— Крепче...— И, подогнув ноги, неуловимым движением подался назад. Туша, мягко качнувшись, плотно легла теперь на широкие кургановские плечи.— Отходи... Отходи, говорю!

Но, когда люди отошли, колени Фрола начали медленно и мягко подгибаться.

— Дядя Фрол!... Дядя Фрол!! — воскликнула Иринка Шатрова, и голос ее прервался.

— Господи, угробится мужик-то! — испуганно прокричала Наталья Лукина.— Бросай, Фрол! Бросай!!

— Тихо вы!! — перекрыл всех Егор Кузьмин.

И действительно, стало тихо. Но все равно только один Фрол слышал, как хрустнуло что-то у него в самой середине спины и вдоль позвоночника резанула горячая, обжигающая струя.

«Всё! Упаду... Падаю...» — трижды ударило ему в распухшую голову и отдалось нескончаемым гулом.

Потом гудело в голове, больно покалывало в ушах, нестерпимо жгло в позвоночнике. И по-прежнему давила на плечи страшная тяжесть. Но Фрол уже знал, что выдержал, что не упал. Он вдруг сам с удивлением обнаружил, что идет. Идет,

покачиваясь, на подгибающихся ногах, но все же идет. И что дойдет до розвальней, стоящих за воротами пригона. Вот только положить коровью тушу в сани у него уже не хватит сил. «Догадались бы помочь, что ли...»

Колхозники догадались.

— Остался еще порох у тебя, оказывается, Фрол Петрович,— сказал агроном Корнеев, когда корова лежала в розвальнях.

Голос агронома еле-еле дошел до Фрола. Курганов не ответил, посмотрел через его плечо на светящиеся в темноте огни деревни. Они покачивались из стороны в сторону до тех пор, пока Фрол не прислонился к изгородине. Но теперь зато огни закрутились, как колеса, все сильнее и сильнее. Колеса были красные, синие, зеленые, черные...

— Погоди, Борис Дементьич, дай ему отойти... Вишь, зашелся,— услышал Фрол голос Морозова.

— Ничего, отдышится,— успокоил всех Егор Кузьмин.

— Он раньше-то жеребцов таскал за милую душу,— начал объяснять Овчинников.— И для-ради чего? Удаль все перед девками показывал. Подлезет коню меж ног, да и... Тот брыкается только, как ягненок. А он прет.

— А чего вы зубы скалите? — заругалась вдруг Наталья.— Шутка ли в самом деле — такую тяжесть...

— Дык я и говорю — он прет, а девки визжат...

— Да когда это было-то!

И снова все смолкло.

А разноцветные колеса все крутились, правда, уже медленнее, перекрашиваясь по одному в бледновато-желтые. И скоро все превратились в обычные деревенские электрические огни, утонувшие в глубоком вечернем тумане.

«Когда это было-то? — грустно переспросил сам у себя Фрол Курганов. И сам же себе ответил: — Давно. Очень давно. А было. Было!»

— И все же, Фрол, надорваться ведь дважды два...— мягко промолвил председатель.

Но Фрол перебил его угрюмо:

— Тебя бы волоком по мерзлым глызам, чтоб мясо до костей сошло! — Нагнулся и стал надевать лыжи.

Захар Большаков двинул седой бровью. Красное и жесткое на морозе его лицо сразу посерело.

— Меня таскали. Не мертвого, а живого...

Фрол Курганов медленно, с трудом выпрямился. Спину разламывало, и он невольно потер ее рукой через полушубок.

Председатель, не вынимая рук из карманов, уже уходил вниз, в деревню.

Фрол, ни на кого больше не глядя, поднял с земли подстреленную в тайге лисицу, ударил ею, как палкой, об изгородь, чтобы стряхнуть налипший снег. Встал на лыжи и тоже зашагал

к своему дому. Шагал на согнутых ногах, словно все еще нес коровью тушу. По-прежнему больно ныла спина. И в третий раз подумал сегодня о себе Курганов: «Не тот стал ты, Фрол. Не тот. Был порох, да сгорел. А нового никто не подсыплет».

Глава 9

«Тебя бы волоком по мерзлым глызам, чтоб мясо до костей сошло»,— вспомнил Захар слова Фрола Курганова, едва открыл глаза.

Захар откинул одеяло, спустил на пол босые ноги. За ночь изба выстыла, пол был как ледяной.

Рассвет еще не пробился в комнату, по мерзлым черным окнам только-только поползла густая синь. Захар нащупал электрический выключатель. Синь со стекол сразу исчезла, отпрянула за занавески, притаилась где-то там, в глубине складок.

Мишка еще сладко похрапывал. Его голые ноги высовывались сквозь прутья железной кровати.

«Вот и кровать мала стала Мишке,— с тихой радостью подумал Захар, ежась от холода.— А давно ли сын не мог даже влезть на нее... Надо купить новую, вчера, кажется, привезли в магазин хорошие кровати, с никелированными спинками, с панцирными сетками».

Мишка заворочался, зачмокал губами, пробормотал, натягивая одеяло на голову:

— Ага, ты уже встал... Я тоже сейчас, батя... Я сейчас...

Но стряхнуть обволакивающий его сон так и не мог.

Захар потушил свет и вышел в кухню. Ольга Харитоновна копошилась уже с завтраком — резала мясо, чистила картошку.

— Ну чего поднялся ни свет ни заря? Убежит она от вас, что ли, ваша проклятущая работа...— заворчала старуха.

Захар ничего не ответил.

Харитоновна ворчала так каждое утро, и он давно к этому привык.

Весело топилась огромная, одна на все три комнаты, печь. Огонь жадно лизал березовые поленья. Они трещали, щелкали недовольно, капали чистыми слезами на горячий кирпич пода.

— Ну вот, сейчас завтрак сварится,— сказала Ольга Харитоновна, задвигая чугуны в печь.— А я прилягу пока, закрутилась чегой-то...

— Да, да, отдыхай, Харитоновна. Я погляжу тут,— откликнулся Захар от умывальника.

Старушка ушла в свою комнату. Захар закурил, выключил электричество, сел на табурет и стал смотреть на огонь.

«Тебя бы волоком по мерзлым глызам...»

Плясали огненные блики на лице Захара, на стене, розовато окрашивали пышную, нездешних мест растительность на мерзлых стеклах окна.

Многое вспоминается в темноте у горящей печки. Огненные блики словно освещают то, что не только давным-давно прожито, но и забыто.

Но там, в этом прожитом, есть такое, что не забывается. Есть раны, которые не заживают. И когда вот так сидишь у печного огонька, прежде всего начинают саднить эти раны.

Захар погладил правое плечо. Погладил потому, что оно и в самом деле заныло, очевидно к перемене погоды.

«Ах, Фрол, Фрол! Уж кто-кто, а ты-то знаешь, что я испробовал своими боками эти глызы!»

Вот так же, как сейчас березовые поленья, гудели когда-то, постреливали бревна старенького Захарова домишка. Хотя не так. Бревна не потрескивали, а гулко стреляли в морозной ночной тишине, далеко просекая искрами жавшуюся к огню темь.

— ...И гнездо большевистское не может без вони да копоти сгореть. А спалим! Все спалим!! — кричал в лицо Захару Демид Меньшиков.— Говори, где братка? Говори, сволочь!! Говори, а то небо не с овчинку покажется, и не с рукавичку, а с напалок от рукавички!

Захар смотрел на него и почему-то думал: голос Демида вырывается не из глотки, а из глаз. Может, потому так казалось, что горели выпуклые Демидовы глаза страшным, белесым каким-то огнем. А может, еще и потому, что в это время шевелились не губы Демида, а еле заметные, совсем недавно, видно, проступившие морщинки вокруг его глаз.

Давно это было. И будто недавно. Будто вчера красные лоскуты пламени полоскались над избенкой, багрово отсвечивая на февральском снегу. И будто не замолк еще в ушах сожженный самогоном голос Демида Меньшикова:

— Где братка? Говори! Говори! Говори!

А он, Захар, не знал, куда девался старший брат Демида, Филипп Авдеич Меньшиков, самый богатый человек в Зеленом Доле. И никто во всей деревне не знал этого.

...Захар Большаков еще раз погладил ноющее плечо и раз за разом выкурил до конца папиросу.

От печки по всему дому волнами растекалось тепло, отчего в темной кухне, наполненной дрожащими бликами, стало как-то радостнее и уютнее. Захар подбросил в печь еще несколько поленьев, сыроватых и скользких от проступившей на них в тепле испарины. Потом сел на прежнее место и стал опять смотреть в огонь.

...Давно это было, вскоре после колчаковщины. Воронова Марья, первая председательница зеленодольской коммуны «Рассвет», лётом двадцатого года конфисковала все имущество Фильки Меньшикова. Двое или трое суток Филька синь синем, простоволосый, сидел на высоком крыльце своего опустевшего дома, невидящими глазами смотря перед собой. Теплый июнь-

ский ветер свободно гулял по огромному дому, хлопал дверями, резными ставнями. Филька не слышал этого.

— Филя... Филя, поешь хоть, родимый мой, а... Ну, поешь ты, ради господа, Филенька! — ныла жена Филиппа, остроносая и острозубая, как щука, Матрена, ползая у ног мужа.

— Тятька... Пойдем в дом, тятенька-а-а! — размазывала по лицу грязные слезы десятилетняя дочка Филиппа Меньшикова Наташка.

— Да не нойте вы, с-стервы! — угрюмо и раздраженно бросал им Демид Меньшиков.— Не троньте его, отойдет, может.

И, черный, как банный чугун, кидался лицом вниз на землю где-нибудь под забором, в холодке. И лежал мертвяком час, два, сутки.

Однажды утром, еще до восхода солнца, хватились — нету Марьи Вороновой. А Филька все сидит на том же месте. Побежали к Марье домой — все распахнуто, но пожитки не тронуты. Только кроватишка сбуровлена, будто тащили Марью с постели, а она хваталась за нее. Марьино платьишко на табурете валяется. Дочки ее трехлетней тоже нету.

Шел тогда слух по деревне — от Анисима Шатрова дочка у Марьи. Так ли, нет ли — Захар не знал. Но вряд ли, думал он. Анисим, верно, все видели, давно начал ходить по ее следу, как привязанный. Да только Марья с тех же самых пор косилась на Анисима, как лошадь на кнут.

Тревогу об исчезновении Вороновой первым поднял тот же Анисим. Заметались мужики по деревне. Только Филька сидит и сидит на своем крылечке неподвижно, как пень.

И вдруг, уже к вечеру, вой по всему Зеленому Долу:

— На утесе!.. На утесе она!!

Хлынул народ туда. И Анисим Шатров побежал. Расступились перед ним люди, словно Марья и в самом деле была ему женой...

Марья лежала на краю утеса на спине, а запрокинутая голова ее свисала с камней над речкой, над омутом. И на восход солнца она смотрела. Смотрела, да не видела ничего. Не было больше глаз у Марьи, одни кровавые ямы.

Понимал Захар, и все понимали, что хотел сказать тот, кто учинил над председательницей артели «Рассвет» эту дикую расправу: вот так, мол, каждый будет смотреть на свой рассвет. Понимали — и молчали. Жуть висела над утесом. Казалось, вот-вот случится что-то еще более страшное, чем то, что уже произошло.

И случилось: откуда-то из-под земли вдруг донеслось как шелест ветра:

— Пи-ить...

Закрестились и без того онемевшие бледные мужики, заголосили вконец обезумевшие от страха бабы. Первым опомнился Анисим и выбросил, вытолкнул из своей точно луженой глотки:

— Замолчь!

И сразу стало тихо. Только подвывали бабы жалобно и испуганно. Они зажимали рты кулаками, фартуками, платками, до крови закусывали губы, а вой все-таки просачивался. И сквозь него опять простонал измученный голосок:

— Пи-ить...

Огляделись мужики. И он, Захар, заметил под ногами, в широкой расселине скалы, забитой землей, камнями, лоскут ситцевой тряпки. Потянул — нет, не лоскут. Раскидал трясущимися руками траву, камни. И вынул... Марьину дочку вынул.

Подскочил Шатров, вырвал замотанную в какие-то тряпки девочку, прижал к себе. Кажется, что-то хотел сказать Анисим, да не мог — только беззвучно пошевелились его бескровные губы.

Девочка лежала на руках Анисима обмякшая, неживая. Головка ее свесилась, и из нее струйка крови сочилась... тоненькая, как ниточка. Да еще из закрытых глаз выкатились слезинки, маленькие, наверно, последние...

Захар уже не помнил, как все ушли с утеса, кто привез на следующий день в деревню доктора. Наверное, кривоногий Антипка Никулин. Лениво помахивая кнутом, время от времени стараясь стегнуть зачем-то рывшихся в дорожной пыли кур, Антип ехал на телеге по улице и, поравнявшись с Захаром, натянул вожжи и вывалил сразу кучу новостей и вопросов:

— Как будем жить без председательши-то? Вот те Марья-партизанка! Крутенько обошлась с Филиппом. А по другим деревням, чтоб трясти богатеев, не слышно вроде. Али тоже зачнут теперь? А то живут, понимаешь, аксплотаторы... Царство небесное ей, Марье-то. А девчушка ее ничего, отошла. Доктор сказывал — будет жить. Из городу начальник какой-то приехал с кучей милиционеров. Тут начальник, а Фролка, боров вонючий, с перепою посреди улицы в грязи мертвяком валяется. Не мог уж подождать, дьявол. Я вот тоже не без греха — веселый, словом, человек. Но чтоб в грязь носом когда, как свинья... Уж такую напраслину никто не скажет. Завтра хоронить Марью собираются. Демид Меньшиков сгинул с деревни, слыхал? Марью-то не он ли? На него народишко думает. Так что зря, однако, Фильку вы связали да под замок в амбар кинули. Жена Филькина ходит по улице, трясет головою да кланяется каждому. Как думаешь, не тронулась она сознанием?

Антип помолчал, что-то соображая, и усмехнулся:

— Приезжий-то так себе мужичонко, в заплатанной гимнастерке, а начальник! Ране, бывало, приедет кто с уезда — весь в ремнях скрипучих, а то и при сабле. А у этого, поди, штаны веревьем подвязаны, а?

— Поди да спроси,— зло сказал Захар.

— Спросить — не вопрос,— храбро ответил Антип, видимо, полагая, что никто другой, кроме него, не осмелится это сделать.— Да я и так знаю — веревьем.

И объяснил, почему он знает:

— Ныноче все иначе.

И поехал дальше, бороздя босыми ногами по дорожной пыли. А Захар пошел к Анисиму Шатрову.

Жил Анисим до революции не то чтоб богато, но и не бедно. Его отец много лет держал неподалеку от Зеленого Дола, на одном из таежных притоков Светлихи, мельницу. Старшего Шатрова в деревне называли «колдуном» — за вечное отшельничество (за свою жизнь вряд ли он более трех раз бывал в Зеленом Доле), за огромную, чуть не до пояса, бороду, которая скрывала его лицо и его годы. Сколько лет мельнику — никто не знал. Кто говорил — сто, кто — чуть ли не полтораста. Во всяком случае, самые древние старики Зеленого Дола рассказывали, что еще в детстве их пугали мельниковой бородой.

Захар помнит, как однажды по весне — было это, кажется, перед самой германской — мельник неожиданно появился в Зеленом Доле, заявив:

— Помирать приехал.

Однако, вместо того чтоб помереть, выстроил на самой окраине села крестовый дом и справил шумное новоселье. Рассказывали, что «колдун» беспрерывно заставлял плясать своего двадцатитрехлетнего сына Анисима, всех гостей. А сам сидел за столом, покачивая головой, поблескивая глазами.

А потом встал, стоя выпил стакан водки, завязал в узел бороду.

— Н-ну, люди! Помните «колдуна». Знаю ить, как величали...— И ударил такого трепака, что самые заядлые танцоры пооткрывали рты.

Плясал мельник до тех пор, пока не упал. Его подняли и положили на лавку.

— Ну вот, отплясал свое — и на место,— тяжело проговорил старик.— Анисим, домовина моя на мельнице, в сараюшке. Прошлогод выстрогал. Ты ступай-ка за ней, привези к утру. Да останешься мельником — мужичков не обижай. Славные они, мужички-дурачки. Бороду развяжите мне. Вот так. И гуляй, гуляй веселее, чтоб дым коромыслом!

Анисим уехал на мельницу, а «дым коромыслом» шел всю ночь, до утра. Мельник, лежа на лавке, все глядел, глядел, не закрывая глаз, как веселится народ.

Утром обнаружили, что «колдун» давно закостенел. Когда он умер, никто не заметил.

В отличие от отца Анисим каждую неделю наведывался в село, ночи напролет толокся с девками на игрищах. Когда же отец умер, молодой Шатров и вовсе не стал вылезать из деревни, гулял по солдаткам, как кот по крышам...

— Других-то на войну берут, а этого жеребца на расплод, что ли, оставили...— зло говорили старики.

— Погодите, может, еще и возьмут...

— Ну как же, жди в петровки снегу! Откупится, коли что...

Вскоре, однако, Анисим поутих. Правда, в село приезжал по-прежнему часто, но теперь — все видели — только из-за поденщицы Меньшиковых Марьи Вороновой. И о чем судачили все зеленодольские бабы, чего никак не могли взять в толк — так это поведение самой Марьи. Раньше, когда Анисим гулял с солдатками, Марья сохла — это тоже все видели — по молодому мельнику. А теперь сторонилась его, не пускала в свой домишко, хотя Анисим простаивал под окнами ночи напролет.

— Дура, вот дура... Счастье ведь само в руки лезет,— неодобрительно качала головой и мать Захара Большакова.

В семнадцатом году, летом, Анисим взял да сжег свою мельницу.

Разно толковали в селе об этом случае. Одни кричали: «Нарочно поджег, сволочь! Ни себе, ни людям чтоб!» Другие говорили: «Это Марья довела его до пределов терпения. Вон, набегала прошлогод ребенка где-то... Шатров и сдурел...» Третьи считали: Анисим сделал это по пьянке, когда дурь в голове свистела.

Что было всего ближе к истине — неизвестно. Но в тот год Шатров действительно снова сорвался с зарубки, не просыхал от пьянства, хороводился с кулачьем, с тем же Филькой Меньшиковым. В эту же компанию затесался тогда гуляка-голодранец Антип Никулин, а затем подпарился семнадцатилетний Фролка Курганов.

— Один ведь ты, сынок, на свете, один как перст,— сказал однажды Меньшиков Фролке.— Твоя мать-покойница просила меня поглядеть за тобой. Так что приваливайся под мое крыло. Пропасть не дадим. Накормим, напоим, Анисим баб любить научит... Эх!

Где было устоять Фролу!

Мир в семнадцатом году плескался, шумел, гудел, раскалывался пополам, а четверым собутыльникам на все это было наплевать. Они устраивали дикие попойки то у одной вдовы или солдатки, то у другой или вваливались всем скопом в дом Меньшиковых, часто били там зеркала, окна, распарывали иногда зачем-то перины или подушки, обсыпали себя с головы до ног перьями, орали на всю деревню песни. Из всей их компании о совершившейся революции знал вроде только один Антипка Никулин, у которого открылся вдруг ораторский талант. Насосавшись до посинения вонючего самогону, он, шмыгая носом, начинал рассуждать о собственной значительности:

— Не-ет, революция — это вам не девки-мальчики. Раньше я что был? По праздникам выпить не на што было. А ныноче — иначе. Ныноче я и по будням пьян. Ты вот, Филька (раньше Антип старшего Меньшикова называл «Филипп Авдеич»), ты вот, говорю, угощаешь меня, по отчеству... по отчеству!.. величаешь: «Не угодно ли хлобыстнуть, Антип Минеич?» Угодно Антипу Минеичу. И Фролке угодно. А, Фролка?

— Ага...— говорил Фрол еще не окрепшим баском и шевелил сильными, крепкими плечами.

— Что «ага»! Тебе «ага»-то другое надо, которое в юбке ходит. Каждое утро искать у солдаток тебя с Аниськой приходится. Давай-давай, он тебя обучит. Филька научил водку пить. Аниська — девок любить... А я вот человек нераспущенный. Мне там наплевать на всяких... И я не позволю себе...

— Да это они тебе не позволяют,— еле ворочая языком, говорил Фролка.— Ты рылом не вышел, девок от тебя и воротит...

— Хе, воротит! А Фильку вот с Демидом не воротит. Потому что я пролетарский, можно сказать, элемент. А раз так, я уважения заслужил... Правда, Филька?

— Правда,— кивал тяжелой головой Филипп.— Окажи-ка, Демид, уважение Антипу Минеичу.

После таких слов Демид вставал и неизменно выбрасывал Никулина, как щенка, за дверь.

В начале 1918 года эта компания маленько угомонилась. Сразу же после нового года уехал куда-то из деревни старший Меньшиков, оставив за себя хозяином Демида.

Когда началась колчаковщина, Антип и Фрол Курганов оказались вместе с ним, Захаром, в партизанском отряде Марьи Вороновой. О Фильке Меньшикове все еще не было ни слуху ни духу. Демид вел себя тихо, с колчаковцами вроде не водился. Зато Шатров пил с ними водку напропалую. Партизаны хотели тайно пробраться в деревню и пристукнуть его, но Марья не разрешила.

— Так ведь он, сволота, сгубил, однако, твоих стариков да Большаковых,— волновались партизаны.— Он или Демидка Меньшиков, больше некому.

— А я сказала — не трогайте его! — прикрикнула Марья. Потом добавила тише: — Про Демида не знаю, а Шатров на это не способен. Он ведь так... дурь выгоняет. Разберемся. И если что — не уйдет.

Слово Марьи было законом...

После колчаковщины Демида и Анисима действительно забрали в милицию. Но через месяц отпустили с миром — видимо, ни тот, ни другой в гибели зеленодольцев от рук карателей виновны не были.

А вскоре вернулся Филька Меньшиков. С костыльком в руках. Самодельный этот костылек сразу привлек внимание тем, что набалдашник его был вырезан в виде человеческой головы.

Где все это время был Филипп, что делал?

Сам он на все вопросы отвечал так:

— Где был, там и наследил. Кинулась вдогонку свора, да вернулась скоро... Вы что думаете, коль Меньшиков, так и сволочь? На Демидке вон убедились. Живем справно — это куда денешь, только совести еще не прожили. Думаем, до смерти хватит...

С приездом Филиппа опять загудел Зеленый Дол от ежедневных пьянок. Но пьянствовали они теперь втроем — братья Меньшиковы да Фрол Курганов. Правда, кое-когда, очень изредка, присоединялся к ним Антип Никулин. Анисим же Шатров после возвращения из милиции откололся от них окончательно.

— Что, испугался, песья твоя кровь?! — орал иногда ему в лицо Демид, встречая на улице.— Хочешь теперь чистеньким стать? Видим, за Марьиным хвостом бегаешь, как кобель. Скоро ноги зачнешь ей вылизывать. Н-ну, ничего, если нам пропадать, так вместе... Мельницу-то тоже держал... Забудется это, что ли, тебе?!

Анисим в разговоры не вступал, презрительно сплевывал Демиду под ноги и проходил мимо.

На другой же год после ликвидации колчаковщины Марья начала сколачивать что-то наподобие сельхозартели. Людям и так было нелегко растолковать, что к чему, а тут Меньшиковы пьяно орали:

— У нас своя коммуна, своя и артель... Каждый живет, как ему веселей. Нам пока не тоскливо. Гул-ляй, братва!..

И они гуляли, куролесили до самого дня трагической гибели Марьи Вороновой.

...Долог, нетороплив зимний рассвет, о многом можно передумать, многое можно вспомнить, пока не рассеется густая синь на окнах.

— Я ведь совсем, рассохшаяся колода, забыла — Мишенька просил картошки сварить в мундирах,— сказала Харитоновна, выходя из своей комнаты.

— Ладно, ладно, ты отдыхай,— проговорил Захар.— Я сам сварю.

Картошка в мундирах — любимое Мишкино блюдо. Захар слазил в подпол, достал картофель, помыл, насыпал в чугунок, поставил на огонь.

Затем опять сел к печке, потер ноющее плечо и продолжал думать о тех далеких событиях, которые всплывали в памяти, потревоженные вчерашними словами Курганова: «Тебя бы... по мерзлым глызам...» Всплывали, как всплывают в пруду рыбины, оглушенные взрывом. Некоторые, ожив, уйдут потом вглубь, остальных прибьет ветерком к берегу, заросшему камышом и осокой. И снова будет чистой водная гладь.

...Когда Захар пришел к Анисиму, Марью клали в гроб. Приезжий, о котором говорил Антип, стоял в толпе народа и говорил:

— Хорошее сердце билось в груди этой женщины, настоящая, красного цвета кровь текла по ее жилам. Подлый враг погубил ее, но не смог остановить ее сердца. Многим из вас еще при жизни она раздавала капельки своей крови, которые сейчас и горят в вас, зажигают ваши сердца. А вы, в свою очередь, раздадите капельки своей крови из своих сердец другим, а те — еще другим. Так вечно будет жить в народе Красная Марья, как в страхе называ-

ли ее враги, так вечно будет жить ее дело. И все, кому попадет Марьина кровь, будут людьми сильными и красивыми... А палача этого мы будем искать и найдем. Будем судить его страшным судом...

Долго еще говорил этот человек, фамилии которого Захар так и не запомнил.

Когда пришли мужики и сказали, что могила готова, Анисим разжал вдруг спекшиеся губы и сказал:

— Нет! Пусть Марью на утесе похоронят. Пусть она... каждый день рассвет видит.

Посмотрел-посмотрел на него, на людей приезжий и произнес одно только слово:

— Правильно.

Отнесли Марью на утес. Похоронили в расселине, из которой вынули ее дочку.

Милиционеры в течение двух дней опрашивали народ, пытаясь напасть на след Марьиных палачей. Допросили и Фрола Курганова, предварительно облив его холодной водой, чтоб привести в сознание. Фрол после каждого ведра ошалело мотал головой, обсыпая всех брызгами, приходя в сознание, таращил глаза, как бы силясь понять, чего же от него хотят, и бросал все время одни и те же слова:

— Отвяжитесь вы... Демид, должно. Он все грозился...

Филипп Меньшиков вообще на вопросы не отвечал. Он равнодушно глядел мутными глазами на милиционеров, покачивал головой, будто укоряя их в чем-то. Поэтому они, уезжая, решили прихватить Филиппа с собой.

Но тут случилось непредвиденное.

В течение этих двух дней Фильку держали под стражей в амбаре, связанного по рукам и ногам. Но когда утром подогнали к амбару телегу, чтобы погрузить Меньшикова, амбар оказался пуст.

Так и уехали милиционеры ни с чем. Вместо Филиппа они прихватили с собой на всякий случай его жену Матрену с дочкой...

На следующий день после их отъезда избирали нового председателя артели. Первой назвали фамилию Большакова.

Растерялся даже Захар: по заслугам ли такая честь?

— Народ тебя не чествует вовсе, работать заставляет,— сурово ответил приезжий. Помолчал секундочку и добавил: — Не на прохладное место садят. На этой работе недолго и кровью захлебнуться, как Марья...

Все высказались за Захара. Только Фрол, тоже притащившийся на собрание, синий и мятый с перепою, сидел молчаливо в углу, уставившись в одну точку.

«На этой работе недолго и кровью захлебнуться...»

Оправдались слова приезжего через полгода, в зимнюю трескучую ночь.

За несколько месяцев председательствования ничего такого особенного в деревне не случилось. Даже никто не уезжал и никто не приезжал в Зеленый Дол.

В те поры многие хозяйствовали еще единолично. Однако постепенно единоличников становилось все меньше. Скоро заявление с просьбой о приемке в артель принес и Шатров.

— И ты одумался наконец? — спросил его Захар.

— Не твое дело,— отрезал Анисим.— Молод ты допросы мне учинять.

Захар действительно был моложе Шатрова на пять лет, поэтому ничего больше не сказал, взял заявление.

Анисим, помнится, сдал в артель весь свой инвентарь, работал на общественных полях как зверь, только все молчком, молчком.

Видно, нешуточно любил он Марью.

Выздоровевшую дочку Марьи хотели взять в приют, приезжали за ней из города, но Анисим вдруг окрысился:

— Не трогайте ее, сволочи!

И, помолчав, добавил, ни на кого не глядя:

— Извиняйте... за горячее слово... Хоть теперь отцом ей буду.

Поехал в Озерки, удочерил девочку, переписал ее на свою фамилию.

А о Фильке меж тем не было ни слуху ни духу. Куда он делся? Когда осмотрели в то утро амбар, обнаружили в полу выпиленную доску, а под стенкой подкоп. Кто помог ему сбежать? Сам он выпилить доску не мог. Когда вязали Филиппа, Захар лично обыскал его. И не то что пилку — обыкновенной иглы не мог утаить при себе Меньшиков. Неужели сделать подкоп и пропилить пол в амбаре сумела жена Филиппа, Матрена? Или Демид? Если Демид — куда делись братья, не бродят ли, как волки, вокруг села, не заявят ли однажды о себе?

И вдруг глухой зимней ночью Захара самого спросили:

— Ну, председатель, где мой брат, Филипп Меньшиков?

Захар открыл глаза и увидел перед собой синее, очень синее лицо, на котором поблескивали, как стекла в лунную ночь, два глаза. Большаков сразу узнал Демида. «Как же они, дьяволы, окно без шума выставили?» — заколотилось в голове. Сунул руку под подушку, где лежал наган, но Демид опередил его, схватил руку и с хрустом вывернул ее, одновременно сдернув Захара с кровати.

— Погодь, красный дьявол, оружье лапать! Отлапался! Теперь мы спрос наведем. За братку, за жену его. Подпаливай гнездо большевичье!

Выволокли Захара на мороз в чем был. Но холода он не чувствовал. Лежал в снегу, смотрел, как полыхает его жилье, как пляшут вокруг огненные блики. И от этого огня ему, видимо, было так жарко, что снег вокруг него подтаял, а вывернутую Демидом руку и вовсе прижигало, будто под мышку всунули горящую головешку.

— Значит, не знаешь, где братка?!

— Не знаю. Думал, что к вам удрал. Теперь думаю — подох где-то. Значит, одной сволочью на земле меньше стало,— прохрипел Захар.— Тебя вот задавить бы еще, как вшу на гребешке...

— Скорей, Демид! Кончай ты с ним, народ просыпается,— тревожно сказал кто-то.

— Лошадь мою сюда! — крикнул Демид. И, затянув мертвую петлю на ногах Захара, привязал другой конец к седлу. Потом посоветовал, будто по-дружески: — Вспомнишь — крикни, я перерублю веревку.

Вскочил на всхрапывающего жеребца и...

Ничего не помнит больше Захар. Только снопом брызнули искры из глаз — и потухли, растаяли в густой, вязкой темноте.

Очнулся в доме Анисима Шатрова. Тот, прикладывая какие-то тряпки на раскровавленное, изрезанное мерзлым снегом тело, говорил:

— Кабы не Фролка Курганов, каюк бы тебе с петухами, председатель. Ладно, что он, дьявол, с девками до света валандался.

— Ты, парень, вроде не очень ласковый ко мне был, с чего это лечить взялся? — через силу спросил Захар.

— Ишь ты любопытный! — зло вскрикнул Анисим. И добавил, предварительно грубо выругавшись: — Ни с чего и чирей на мягком месте не вскочит. Лежи давай.

Захара увезли назавтра в город. Ту руку, которую вывернул Демид, вылечили скоро. Зато правую едва-едва не отняли. Она была переломлена в нескольких местах, а плечо до костей изъедено, истерто о мерзлую дорогу.

Выписавшись из больницы, узнал Захар подробности своего спасения со слов девок, бродивших по селу в компании с Кургановым. Увидев зарево посреди деревни, все как-то растерялись. Не успели опомниться — послышался топот коней по мерзлой дороге. Трое всадников выскочили из проулка. Фрол помедлил секунду-другую, словно хотел получше разглядеть, кто это скачет из деревни, потом — никто не знал, то ли из озорства, то ли от испуга — отломил кусок прясла и, размахнувшись, бросил под ноги лошади первого всадника. Конь споткнулся, со всего маха грохнулся об дорогу и забился, заржал дико — сломал, видно, ноги. Всадник перелетел через голову лошади, шмякнулся в снег.

Девки сыпанули, завизжав, кто куда. Вылетевший из седла человек вскочил, что-то закричал своим. Но те пронеслись мимо, бросив его на произвол судьбы. Человек выскочил на дорогу и побежал в лес. Фрол, выломив другой кусок прясла, кинулся догонять.

Но не догнал.

Узнав про все это, Захар пошел к Курганову.

— Ну, спасибо тебе, Фрол... Кабы не ты...

— Живи на здоровье,— сухо и холодно сказал Курганов, отворачиваясь.

Долго еще Захар носил правую руку возле груди на перевязи, долго таскался по больницам. Уж поджила она, стала гнуться, чувствовать тепло и холод. Со временем отошла и вовсе, однако прежней силы в ней никогда уж не было.

«Живи на здоровье»,— сказал тогда ему Курганов. Словно в насмешку сказал. Потому что сам же, когда он хотел жить со Стешкой...

До сих пор не может понять Захар, почему Фрол так жестоко обошелся тогда с ним. Ну, любил бы Стешку, а то ведь... Жизнь показала — не любит. И никогда не любил.

А он, Захар, так и остался бобылем. Сперва, оскорбленный и униженный Фролом и Стешкой, не хотел, не было сил смотреть ни на одну женщину. А потом ушли как-то годы...

«Тебя бы по мерзлым глызам...» — еще раз вздохнул Захар.— Ах, Фрол, Фрол... Корову пожалел, а что разворошил безжалостно вот старые болячие раны — на это, как всегда, наплевать тебе...»

Вязкая, густая синь на мерзлых стеклах начала наконец бледнеть. С улицы словно кто-то беспрерывно и терпеливо тер и тер стекла, слой сини становился все тоньше, голубее, пропуская в комнату все больше света.

Захар поглядел на часы, включил радио, предварительно, чтоб не разбудить сына, почти до отказа увернув регулятор громкости, и стал слушать последние известия.

Затем диктор начал читать статью «Есть ли жизнь на других планетах», а Захар невольно вспомнил середину августа прошедшего лета.

— Полетели-и! Захар Захарыч, вы слышите? Полетели!! В космос! — кричала девушка-учетчица на все поле, подбегая к комбайну, возле которого стоял Большаков.

У Захара екнуло тогда даже сердце. Неужели?.. В последнее время очень много писали, много говорили о скором полете в космос человека.

— Чего орешь? — осадил девушку подъехавший к комбайну бригадир Морозов.— Ну, полетели — эка невидаль! Опять собаки полетели.

Захар побежал на полевой стан, где был радиоприемник. Да, пока полетели собаки — Белка и Стрелка. Через сутки они красовались во всех газетах мира. Впервые в истории живые существа, побывав в космосе, благополучно вернулись на Землю.

«...Мы живем накануне величайших исторических событий,— приглушенно разносился по комнате голос радиодиктора.— Заря космической эры уже отцвела, занимается ее утро. Недалек тот день, когда в космос вырвется человек. Сейчас ни у кого нет сомнения, что первый космонавт будет гражданином нашей Родины. И когда взмоет в безграничные просторы вселенной космический

корабль, управляемый человеком, вся планета снова и снова будет рукоплескать беспримерному подвигу советских людей...»

«Подвигу...— повторил про себя Захар.— Где-то люди действительно совершают подвиги, а у нас в колхозе коровы дохнут».

Чугунки, задвинутые в печь, кипели, выплескивая порой на пылающие поленья струйки воды. Но это словно была не вода, а керосин — поленья горели все ярче и ярче.

Харитоновна снова орудовала у печки ухватами.

— А картошки-то сварили? — спросил Мишка, выходя из спальни.

— Да уж не забыли, поди, про твое кушанье,— не оборачиваясь, проворчала Харитоновна.— Беспокойник ты, право. Ну, председатель — ладно, а ты чего не спишь, якорь тебя? Еще раным-рано...

Мишка прошлепал в угол, к умывальнику. Плескаясь там, говорил:

— Умаялся я вчера за поездку, как черт. Дорогу перемело, все лопатой да лопатой пришлось работать.

Еще в школе Мишка получил шоферские права и вот уже полгода работал на старенькой, обшарпанной полуторке.

Фыркая и отдуваясь, как мужик, он вылил на голову с полведра воды и, вытираясь, продолжал:

— Еду это я вчера с райцентра, под вечер уже. Возле Пихтовой пади вдруг — трах! На всю тайгу с ружья кто-то громыхнул. Гляжу. Фрол Курганов лису через дорогу прет. «Садись,— говорю,— подвезу». Он даже не обернулся. Что это он такой?

— Ну кто его знает... Такой уж человек. Не расслышал, может...

— А лиса здоровущая. Шапку, наверное, сошьет.

— Может, шапку,— согласился Захар.— Садись давай за стол.

Харитоновна нарезала хлеб. Мишка сосредоточенно думал о чем-то, хмуря, как взрослый, открытый выпуклый лоб.

— Кормозапарник-то везти, что ли, в третью бригаду?

— Надо везти, Миша.

— Ладно, сейчас грузить будем. Когда мне машину-то хорошую дадите? Нынче ведь еще новый грузовик купили. Хватит уж мне на этом примусе. Едешь по деревне — люди смеются.

— Вот добьешь окончательно эту... Мотор у нее хороший...

— Мотор, мотор!.. Мне пятитонку бы, а, батя...

— Будет и пятитонка...

— Ну да, будет... Мне ведь на ту осень в армию идти...— И вдруг задумался, глядя в светлеющее все больше и больше окно.— Мне бы ружье-то, батя... Нынче лис — пропасть. Едешь, а они сидят на дороге. Отбегут и снова ждут, пока не подъеду. Нисколько не боятся... В армию-то можно бы метким стрелком пойти...

— Ладно, Миша, покупай себе ружье,— сказал Захар.

— Двустволку?!

— Ну что ж, бери двустволку.

Миша просиял, даже выскочил из-за стола, схватил полушубок.

— Постой, сперва поешь! — прикрикнула Харитоновна.

— Я уже... Сейчас отвезем кормозапарник, и по пути в райцентр заскочу.

«По пути» — это крюк в полсотни километров. Но Захар сказал:

— Заскочишь. Звонили из райкома — шелуху хлопковую привезли. Нагрузишь, чтоб порожняком не гнать. В самом деле, ешь давай.

Мишка нехотя сел обратно за стол, немного смущенный, понимая, что вел себя не по-взрослому. Помолчал и сказал:

— А вчера Наталья Лукина говорит: «Я приду к вам завтра полы помою». Я говорю: «Не надо»,— а Ксюха, ее дочка...

Неизвестно, что сказала Ксюха, потому что Мишка вдруг замолчал и даже почему-то чуть смешался. Захар будто и не приметил этого, спросил:

— И что же Ксюха?

— Да так. Ничего.

Захар смотрел на Мишку и чувствовал, как плавится у него в груди что-то теплое, как поднимается ласковое и нежное к этому начинающему взрослеть человеку. Было радостно, уютно както рядом с ним и одновременно не хотелось, чтобы он взрослел.

Вспомнился Захару далекий летний пасмурный день, когда в колхоз привезли несколько семей эвакуированных оттуда, где горела земля. Возле узлов и котомок сидела немолодая русоволосая женщина со строго поджатыми губами и кормила грудью ребенка. Вокруг нее на траве пищало и хныкало еще с полдюжины ребятишек, среди которых было два ползунка.

— Это что же... все твои? — спросил Захар, останавливаясь возле женщины.

— Мои, стало быть,— ответила она.

После Захар узнал, что половиной ребятишек, в том числе и двумя грудными, Мария Дмитриевна — так звали женщину — «обзавелась» в пути, во время следования эшелона с беженцами в тыл. Эшелон несчетно бомбили, иные вагоны разнесло в щепки. И родители этих ребятишек были похоронены где-то за Волгой, вдоль железнодорожной насыпи.

Большаков поселил Марию Дмитриевну в своем доме, а сам перешел на квартиру к Колесниковым. И до конца войны удивлялся силам и душевной щедрости немолодой русоволосой женщины. Она работала вместе со всеми на полях и успевала управляться со своей огромной, разноголосой семьей. Когда бы Захар ни заглядывал к ней, она вечно что-нибудь стирала, штопала, перешивала, перекраивала. И никогда он не видел на ее лице отчаяния или даже усталости. Ребятишки, чистенькие, опрятные,



бегали и ползали по этим вот комнатам, оглашая дом криком, плачем, смехом...

И, кажется, Мария Дмитриевна позволяла себе коротенький отдых только в те дни, когда приходили письма от мужа. Она садилась к окну, разворачивала фронтовой треугольник, тщательно разглаживала его на коленях и читала, читала, перечитывала... Лицо ее, заветренное, опаленное и холодом и солнцем, в эти минуты светилось, молодело, и тогда было отчетливо видно, что обидные морщины изрезали его преждевременно.

Захар время от времени помогал ей, чем мог,— то картошки подбросит мешка два, то ситцу на рубашонки детишкам достанет.

В сорок пятом, как только кончилась война, Мария Дмитриевна засобиралась уезжать.

— Ваня, муж, скоро демобилизуется теперь,— сказала она Захару.— Поеду — может, хату свою удастся к его прибытию заново поставить на пепелище. Прежнюю-то, пишут мне, сожгли немцы...

— Сюда бы звала мужа...

— Нет уж,— покачала она головой,— негоже как-то... изменять родным местам. Снились-то ведь они чуть не каждую ночь... А вам тут всем спасибо и низкий поклон.

— Тогда знаешь что... Оставь мне кого-нибудь из них,— показал Захар на ребятишек.— Из тех, конечно, которые...

— Что ты, что ты?! — растерянно произнесла Мария Дмитриевна.— Да как же?! Я Ване всех описывала, он их ведь и по обличью почти знает... Он приедет и спросит: где такой-то...

Долго и настойчиво пришлось ему уговаривать Марию Дмитриевну. Она только покачивала головой. Потом пообещала списаться с мужем, посоветоваться. И, наконец, сказала:

— Ладно уж... Хороший ты, видать, человек. Бери которого... вон из тех мальцов. Большенького тебе бы, да ведь в памяти они уже.

— Миша, иди-ка, сын, ко мне,— позвал Захар трехлетнего карапуза. В мыслях он давно выбрал этого белобрысого мальчишку.

— Не пойду. Ты усатый,— сказал мальчик.

Но, помолчав, спросил:

— А на лошади прокатишь?

— Да хоть сейчас. Айда со мной на конюшню.

Захар увез мальчика в бригаду, где тот и жил под присмотром старой матери Филимона Колесникова до тех пор, пока не уехала Мария Дмитриевна.

Уезжая, она сказала:

— Мать его я под Воронежем похоронила. Осколком бомбы ее насквозь... Перед смертью она карточку дала мне своего мужа, прошептала: «Может, отыщешь его после войны, так сынка передашь...» Вот она.

Захар нехотя взял карточку. С нее глядел на Большакова простоватыми глазами парень лет двадцати пяти.

Мария Дмитриевна поняла тогда его состояние, мягко проговорила:

— Ну да, придется поискать его. Отец же ребенку. Только навряд ли найдешь. Я даже фамилию не успела спросить. Только и поняла из ее последних слов, что ребенка звать Миша, что они жили до войны в Курске да что муж ее был пожарником...

Так Мишка остался у Захара.

В последующие годы для успокоения совести Захар несколько раз писал в Курск. И после каждого письма жил в страхе: ну, как найдется отец?

Но время шло, а отец Мишки не находился. Да и как найтись, если Захар не мог указать даже фамилию ребенка, писал просто о мальчике по имени Миша, сыне курского пожарника! И Захар успокаивался.

Но однажды в селе появилась маленькая старушка с узелком в руках, пришла к Захару и подала ему одно из его писем:

— Ты, что ли, писал?

— Я...— обомлел Захар.

— Ну-ка покажи ребенка...

Мишке было тогда лет шесть. Она долго глядела на мальчика, покачивала головой.

— Не знаю, не знаю. На отца-то, на Ивана, вроде и походит и не походит.

— Вот его отец,— грустно сказал Захар, доставая карточку.

Старуха глянула на нее, выхватила из рук Захара, прижала к груди и тихо заплакала. А выплакавшись, сказала:

— Ну, спасибо тебе, добрый человек, за ребенка. А это он, Ванюшка. Под Берлином он уж погиб... У меня в Киеве кое-какие родственники живут, да, ежели уж ты позволишь, я тут, у вас, останусь. Буду мало-мальски приглядывать за вами... Господи, да я ведь еще не назвалась — тетка я двоюродная Мишеньке-то буду, по имени-отчеству Ольга Харитоновна...

...Они уже заканчивали завтрак, когда в сенях кто-то негромко стукнул. Потом открылась дверь, и к самому столу торопливо подкатился белый морозный ком. Но как ни торопился этот ком, он все же не успел достичь стола и растаял. А у порога стояла уборщица колхозной конторы Наталья Лукина с крынкой в руках. В белой вязаной шали, вся в изморози, она словно выросла из этих растаявших клубов и сама, казалось, тоже вот-вот растает.

— Здоровенько ночевали,— проговорила она.

— Здравствуй...— Захар беспокойно поднял на нее глаза. Давно уже крепко-накрепко было им установлено: если что случится тревожное в хозяйстве — тотчас, в ночь-полночь, к нему гонца.

— Да нет, что ты! — успокоила его Наталья.— Я просто молочка вам принесла свежего. Да Харитоновне помочь убраться...

— Из бригад не звонили? — спросил все-таки Захар.

— Не звонили.

Наталья расстегнула полушубок, сбросила шаль на плечи и опустилась на табуретку. Изморозь, покрывавшая воротник сизоватого нагольного полушубка и шаль, расплавившись, горела сейчас розоватыми капельками. Только в гладко зачесанных волосах «изморозь» поблескивала так же, как минуту назад на шали и воротнике.

Глядя на нее, Захар невольно припомнил тот далекий двадцатый год, когда погибла Марья Воронова, ее похороны, пустой амбар с прорезанной в полу дырой...

Милиционеры вместо Фильки Меньшикова увезли с собой его жену Матрену с этой вот Натахой. Матрена сидела в телеге молча, хотя губы ее шевелились, словно она читала молитву. А Наташка испуганно ревела, растирая кулаками слезы по щекам.

Несколько месяцев Захар ничего не слышал об их судьбе.

Когда он, покалеченный Демидом, находился в городе на излечении, в больничном саду подбежала к нему девочка, упала к ногам, заголосила...

— Дяденька Захар... Я давно тебя из окна увидела, дяденька Захар... Возьми нас, пожалуйста, в деревню. Пропадем мы тут. Мама тут, в больнице, какие-то уколы ей каждый день делают. Заколют ведь ее совсем. Дяденька Захар...

Он нагнулся, поднял еще не окрепшей рукой девочку, узнал ее...

Оказывается, Матрену из милиции, убедившись, что она действительно помешалась разумом, отправили на лечение, Наташку определили в детский приют. Она плакала там сутки, не переставая, металась, как птица в клетке. И дня через три убежала, появилась в больничной ограде, заглядывала в каждое окно и кричала: «Ма-ама, где ты?» В конце концов она нашла ее...

Потом девочку несколько раз отправляли в приют, а она все убегала и убегала... Все это Захар узнал в психиатрическом отделении больницы.

— Сейчас я разрешил ей быть при матери,— сказал врач-психиатр.— Потому что девочка тоже на грани помешательства. Еще раз-другой отправить ее обратно — и...

— А что же дальше будете с ней делать?

— Ума не приложу. Тут ей тоже нельзя оставаться. Ей все кажется, что мы собираемся заколоть ее мать.

— Мать в каком состоянии?

— Тихое помешательство. Надежд на выздоровление нет. Для окружающих совершенно не опасна.

...Из больницы в Зеленый Дол он, Захар, вернулся не один, а вместе с Матреной и Наташкой.

Всю дорогу он опасался: как-то поймут его поступок односельчане? Но, к удивлению, никто ничего ему не сказал. Только Анисим Шатров усмехнулся и произнес:

— Давай-давай... Выйдет случай, они тебе не то что руки — и голову отвинтят, как гайку.

Поселившись по указанию Захара в избенке на краю села, они жили там тихо и смирно. Летом Матрена целыми днями копалась на огороде, зимой с утра до ночи молилась. Если кто пробовал заговорить с ней, она пятилась, бормоча:

— Свят-свят, сгинь, нечистая сила, сгори ты в огне, как сатана Марья, как бес анчутка...

Иногда все же она появлялась на улице, приходила на берег речки, долго смотрела на утес и что-то часами беззвучно шептала.

Там, над могилой Марьи Вороновой, трепетало на ветру вытянувшееся уже деревце, посаженное Анисимом через год после ее гибели.

Утес теперь все чаще называли Марьиным.

Когда Наташка подросла, стала мало-помалу ходить на работу. И хотя официально Меньшиковы в артели не состояли, он, Захар, велел каждой осенью выделять им немного хлеба.

Матрена умерла в тот год, когда Наташка достигла совершеннолетия.

Похоронив мать, девушка принесла в контору заявление и сказала:

— Спасибо тебе, дядя Захар. Век на забуду...

Незадолго перед войной она вышла замуж за комбайнера Андрюшку Лукина из соседней деревни и уехала с ним. В начале сорок третьего года ее мужа призвали в армию, и Наталья, беременная Ксюхой, вернулась в родную деревню.

Ксюха так и не увидела отца — он погиб, как и Мишкин отец, в самые последние месяцы войны где-то под Дрезденом. Наталья выплакалась до конца, а потом сказала:

— Господи, хоть бы город как город был, а то Дрезден какой-то!

И стала жить, пряча горе где-то в самой глубине своих серых, всегда чуточку полуприкрытых глаз.

...Захар встал из-за стола.

— За помощь Харитоновне, Наталья, спасибо,— сказал он, доставая бумажник.— Но только... ты уж не обижайся... не могу я иначе...— И он протянул ей деньги.— За помощь и за молоко.

Женщина вспыхнула, нахмурила брови:

— Еще чего... Как тебе не стыдно, Захарыч!

— Слушай, Наталья...

— И слушать не хочу... Давай, давай освобождай помещение! — Наталья решительно поднялась, сбросила полушубок и стала засучивать рукава, оголяя полные, привычные к проворной работе руки.— Харитоновна, где у тебя ведро и тряпка?

— И все же, Наталья... Если бы это раз-другой — ну, куда ни шло...

— Да идите же на работу! Долго, что ли, просить? Давай, давай...

И Наталья сунула Захару полушубок. Мишке подала шапку. Потом почти вытолкнула их из избы. Захар еще что-то хотел сказать, но Наталья сыпала свое:

— Давай, давай...

Глава 10

Утро занималось багряное, тихое.

Морозный воздух был жгуч. Снег скрипел так, что было слышно, как кто-то ходит на другом конце села.

Низко по горизонту, там, где должно было взойти солнце, стлалась серая муть. В ней плавал одиноко осокорь, росший на Марьином утесе. Самого утеса не было видно — его скрывала эта самая муть, которая внизу, над землей, была еще гуще.

Ревела, как вчера вечером, как позавчера, как много уже недель подряд, голодная скотина. Захар шел к скотным дворам узнать, как прошла ночь.

Большаков шел и думал все об одном и том же — где взять кормов? Он заплатил бы любые деньги сейчас за них. Да где возьмешь? Во всем районе положение точно такое же, как в Зеленом Доле, если не хуже.

Захар в который раз уже перебирал в уме все пади, балки и лужки, в которых прошлым дождливым летом ставили стога: не могли где случайно забыть хоть копешку? Ведь прошлогоднее лето было суматошным.

Но сам же усмехался наивности своих надежд. Осенью, по первому, неглубокому снегу, он самолично объехал сенокосные угодья всего колхоза. Несколько маленьких стогов остались лишь за Чертовым ущельем — у Камышового озера, в Кривой балке да в Пихтовой пади. Захар сосчитал их по пальцам. Но отсюда вывезли все сено еще в декабре. Да и оказалось его там меньше, чем рассчитывал Захар.

— Все, больше в нашей бригаде ничего нет,— ответил заведующий животноводством Егор Кузьмин в ответ на удивление председателя.— Может, и больше было, да... мог и увезти кто, место дальнее, глухое...

— Ну, это уж... Сроду воровства не было в районе,— возразил тогда Захар Кузьмину.

— Тут как хочешь думай. А кругом бескормица вот-вот начнется,— ответил Егор.— Давай для очистки совести еще раз проедем завтра по балкам.

Через день и в самом деле поехали. Лошади тонули в сугробах по брюхо, едва сворачивали с дороги,— тогда Захар и Егор по очереди становились на предусмотрительно захваченные лыжи и спускались в балки и пади. Оба возвращались красные, разогревшиеся. Егор приходил с одним и тем же: «Нету ни клока»,— а Захар только молча бросал лыжи в розвальни.

Так было везде, лишь за ущельем, возле Камышового озера, обнаружили одонья.

Захар шагал по улице мимо дворов колхозников. Женщины управлялись по хозяйству, хлопотали у дровяников, носились с подойниками из теплых, пахнущих свежим навозом стаек в сенцы. Из этих стаек голодного рева коров не было слышно, хотя повети колхозников и не ломились нынче, как в прошлые годы, от аржанца да пырея.

Несмотря на ранний час, у колхозного пригона маячил уже паромщик Анисим. Его «крейсер» на зиму разбирали, карбузы вытаскивали на берег, переворачивали вверх днищами, у старика теперь много времени было свободного. Собственно, оно все было свободное. Ежедневно по нескольку раз он обходил со своим костылем деревню, смотрел, нет ли где непорядку. Горе было тому, кто в этом непорядке был повинен. Старик честил его на всю деревню, не стесняясь в выражениях, а бывали случаи, что и пускал в ход костыль. Особенно частенько доставалось Егору Кузьмину. Егор боялся старика как огня и при его появлении куда-нибудь прятался. Доведенный до отчаяния, Кузьмин, говорят, ездил в районный суд с заявлением на старика, но заявление у Егора не приняли.

— Да меня по старости ни в какую тюрьму не возьмут,— узнав об этом, сказал дед Анисим.— А по тебе она плачет, рыжий черт. Коровы-то на катяхах спят. Тебя бы, толстомясого, на пуховички эти завалить.

Кузьмин жаловался председателю:

— Уймите старика. Ведь, если сдачи дам, у него борода дыбом встанет.

— Вот тогда-то аккурат в тюрьму сядешь,— предупредил Кузьмина Захар.— Терпи уж... раз виноват.

Хозяйскую заботу о колхозных делах Анисим, к удивлению многих, стал проявлять сразу же, как вступил в артель. Он не гнушался никакого дела, работал даже с каким-то остервенением. Но, помня его прошлое, Анисиму не верили. Некоторые прямо говорили при случае:

— Контра — и все тут. Притаилась гадюка, клубком свернулась. Но попомни, Захар, выберет время, дождется, когда можно насмерть ужалить,— и прыгнет.

В душе председатель был вроде и согласен, но все же отвечал осторожно:

— Куда ему... Может, и прыгнул бы, да хвост прищемили.

— Вот-вот... Он выждет время, чтоб хвост можно было выдернуть...

Однажды кто-то в присутствии Захара спросил у Шатрова насмешливо:

— Что-то чересчур уж суетлив ты да угодлив, как молодуха в первые дни после свадьбы... Больно уж об артельном заботишься. По какой бы это причине, а?

Анисим Шатров глянул только одним глазом на Захара, скривил влажные, как у девки, губы, промолвил:

— Я уже говорил одному как-то — без причины на мягком месте и чирей не сядет... Чешетесь от любопытства — так пошоркайтесь вон об угол по очереди.

Захар Большаков так и не понял до сего дня, почему Шатров на два разных вопроса двум людям ответил одинаково. Однако неприязнь к Анисиму с годами исчезла, потому что Шатров не только не пытался «выдернуть хвост», но засаживал его, если можно так сказать, еще глубже. Жил не очень-то устроенной холостяцкой жизнью. Но заботливее, чем иной родитель, воспитывал Марьину дочку.

Захар видел, что порой Анисиму приходилось очень туго и несладко. Но Шатров никогда не жаловался, никогда не просил помощи. Захар сам однажды решил помочь — от чистого сердца предложил в голодный, неурожайный год два пуда ржи. Но Анисим ответил кратко:

— Спасибо. Не надо.

— Не тебе же, ей... Марьиной дочке.

— Не лезь, сказал! — сорвался Анисим, тяжело задышав. А успокоившись, произнес опять мягко: — Спасибо, не надо.

Захар подумал и соврал:

— Это не от себя. От артели.

Анисим помолчал-помолчал и ответил:

— Ладно. Туго нам. Давай. Как случится возможность, отдам.— И снова заходила высоко его грудь.— А больше не лезь со своей заботой.

Хлеб Анисим вернул на другую же осень. И больше Захар не осмеливался вмешиваться в его дела.

Когда пришло время, Анисим так же тихо, без лишнего шума, выдал Марьину дочку за невидного зеленодольского парнишку. И опять зажили втроем потихоньку. Затем стали жить вчетвером — у Марьиной дочки перед самой войной родилась Иринка.

Со временем Анисим Шатров растерял силу, растерял волосы из бороды. Она превратилась у него в жиденькую белесую мочалку. Однако еще мог если не со всеми, то со многими потягаться в работе.

И только война опалила его безжалостно, обварила враз, как кипяток: в середине сорок второго погиб на фронте муж Марьиной дочки, а через год погибла и сама дочь, незаметно, без слез, отправившись на фронт мстить за своего мужа, за этого невидного зеленодольского парнишку. Очевидно, для нее он был самым видным на свете.

Так Анисиму Шатрову выпала доля одному воспитывать Ирину. И снова Анисим, теперь уже старый и хилый, заботился о девочке так, как не заботится иной отец. Правда, от помощи, которую частенько предлагал Захар, Шатров теперь не отказывался.

Работать старику было уже не под силу, но и без работы сидеть не мог. Однажды он пришел на перевоз, выгнал с парома костылем паромщика Илюшку Юргина. Тот завопил, кинулся с жалобой к Захару. Пришлось председателю идти на место происшествия и разбираться.

— Да об его лоб поросят можно бить, а он, ишь ты, паром отвязывать да привязывать приловчился,— заявил Анисим.

С тех пор старик Шатров каждое лето работает паромщиком. А зимой ходит со своим костылем по деревне, объявляясь иногда в самых неожиданных местах.

Сейчас рядом с Анисимом у пригона стоял еще кто-то. Подойдя поближе, Большаков узнал редактора районной газеты Петра Ивановича Смирнова, приехавшего в колхоз, видимо, еще ночью.

— Плохо, Захар Захарович? — спросил Смирнов, ответив на хмурое приветствие председателя.

— Плохо, Петр Иванович. Вчера Зорька пала.

— Я знаю... Вчера бюро райкома партии было по зимовке скота. Представитель из области был, обещал помочь кормами.

— Нищему сколь ни подавай, он богаче не станет...

Это сказал Антип Никулин, появившийся незаметно у пригона.

Шатров осмотрел Никулина с ног до головы, нагнулся, вдруг отвернул полу его облезшей шубенки, пощупал знаменитые Антиповы холщовые штаны и проговорил:

— Верно, не станет.

— Чего, что ты? — чуть попятился Антип.

Дед Анисим, двигая седыми бровями, насмешливо разъяснил Никулину:

— Потому что не родом нищие ведутся, а кому бог даст.

Антип все-таки не понял, что к чему, и плюнул в снег, себе под ноги.

— Ишь чо! Умники! А коров когда разводили, где ум находился? То-то и оно-то! Голова была дома, а ум в гостях. А то подумали бы: чем кормить такую прорву? Люди из поросли дуги гнут, а вы бревно схватили... Начитались твоих газет! — повернулся он к Смирнову.— Давай больше, хватай ширше! И до того надавали, что пупы затрещали, скоро кровь брызнет.

— У тебя слюна вонючая брызгает,— проговорил Захар,— не мешайся тут.

— Ты, Захарушка, не указывай мне. Я не к тебе, к редактору вот подошел. Как там моя Зинка-колехтор? Чего денег родителю не шлет? Али совесть с парнями пробегала? А то, может, снова ребятенка в подоле принесла?

Старик Никулин ждал ответа, чуть приоткрыв заросший волосами рот, шумно вдыхал и выдыхал воздух.

— Ты же с Зины по суду получаешь,— сказал Смирнов и поднял воротник пальто.

Тяжело вздымалось над горизонтом невероятно распухшее солнце, с трудом пробивая серую муть. Мороз на солнцевосходе рассвирепел окончательно.

— Хе, суд! — зло закричал Антип.— Защитник антиресов! Знаем мы! Дочерям-то было с чего дать: у одной сундуки от добра ломятся, другая — видел я, когда в больницу ездил синим светом лечиться,— на каблуках ходит, как антилегентиха. Со зверячей шкурой на плечах. Да оно понятно: больше зверей — больше охотников. Обсчитали отца мокрохвостки. А я старый партизан. Хоть бы четвертак прислала когда... окромя взыскания по исполнительной бумаге.

Когда-то Никулины жили вместе. Но через год после смерти матери, умершей от болезни сердца, обе дочери, Клавдия и Зина, ушли от отца.

Старшую дочь, Клавдию, Антип извел тем, что каждый день заставлял выходить замуж.

— Чего сидишь, чего сидишь, спрашиваю? Какого такого, культурно выразиться, прынца ждешь? Все мужик бы лищний в доме был. Эвон, половицы и те некому перестелить.

— И как язык у тебя не отсохнет! — отвечала Клашка.— От живого-то мужа...

— Хо! — вытягивал губы Антип.— А похоронная-то? Не зазря на бумагу тратились.

— А я не верю. Чует мое сердце — живой Федя.

Нисколько не смущаясь, Антип продолжал:

— Хе! Ну и что? Ну и живой если, так что? Только и свету в окошке, что Зеленый Дол? Мир широк да волен. Живет где-нибудь да в ус не дует. Нашел себе новую Клаху-птаху...

— Замолчи! — чуть не кидалась на него с кулаками Клашка.

Антип, словно радуясь тому, что нашел у дочери самое больное место, безжалостно продолжал:

— А что? Может, и впрямь живой. Ты не веришь, и я не верю. Поселился где-нибудь в городе да эти... шляпы, что ли, носит. Антилегент! Под ручку с разными там ходит. А ты ему — тьфу. Как жеребцу корова. Эвон расперло тебя, как тесто в квашне. А ишшо маленько — через край все вывалится. Выходи, говорю, дуреха, пока не поздно...

Зине, девчонке застенчивой и стыдливой, точно ее всегда освещало, как утес восходившее солнышко, Антип то и дело говорил:

— Растешь? Ишь ты! Десятилетку, значит, закончила? Умная теперь. А вот сломит кто-нибудь, да и вся недолга. Измочалит да выбросит. А может, кто сломил уж, а? В лесу только цвет сам осыпается. А тут эвон люди кругом! Где до полночи-то бегала?

Зина вспыхивала, бралась вся огнем.

— Как не стыдно!

— Кого стыдишь, кого стыдишь, овца курдючная?! Не вижу, что ли, как Митька Курганов вокруг тебя ногами сучит? От отца не скроешь...

Антипу ничего не стоило и при народе говорить о дочерях:

— Эвон мои кобылы, все эту... гигену блюдут — перед сном рыло да ноги моют. Страм!

— Гигиену, может?

— Гиену ли, гигену — один черт. Ну, рыло — ладно, а ноги-то на что мыть?

Дочери ушли от отца, не вынесли его характера, а вернее — от стыда за своего родителя. Клавдия купила отдельный домишко тут же, в колхозе, поселилась в нем с сестрой. Вдвоем они быстро привели его в порядок.

Антип теперь говорил встречному и поперечному:

— Ишь выкинули номер! Избавились от отца! Теперь никто не мешает блудить им. Зинка платье сшила — видали? — весь перед, чуть не до пупка, голый. Раньше, бывало, девки не то что людей — сами себя стыдились. А ныноче — иначе.

Клашка на такие речи только презрительно усмехалась. А Зина однажды, глотая слезы, принялась складывать в чемодан свои платьишки.

— Зина, не дури,— сказала ей сестра.— Что ты, в самом деле? К чистому не пристанет...

— Ой, Клашенька! — воскликнула с тоской Зина и уткнулась ей в колени.

— Зинка?! — растерянно и тревожно прошептала Клашка.

— Только не ругай меня, Клашенька... только не ругай...

...В тот год, когда Зина окончила школу, из армии вернулся Митька Курганов. В первый же вечер он с гитарой вышел на берег Светлихи и заиграл. Через полчаса вокруг него собралась куча молодежи.

Две недели Митька, окруженный целым табуном ребят и девчат, до света расхаживал по деревне. До самой зари над Зеленым Долом звенела его гитара, раздавались песни, звучал смех...

Зине тоже очень хотелось побродить с ними по улицам, попеть песни, посмеяться. Но она почему-то никак не могла набраться смелости. При одной мысли об этом она краснела, сердце начинало испуганно колотиться.

И, кроме всего прочего, отец... Он и так чуть ли не каждый день точно обливает ее ведром помоев, а если еще...

Зина слушала ночами песни, смех и завистливо вздыхала.

В конце второй недели, когда садилось солнце, она встретилась с Митькой за деревней, на лесной дороге. Зина работала в колхозной библиотеке и возвращалась из второй бригады, куда относила пачку новых, только что поступивших книг. Митька ехал навстречу на велосипеде.

Поравнявшись, он остановился:

— Хо! Постой! Ты кто?

— Зина я. Никулина,— ответила она, не слыша своего голоса. Она ощутила только, как по всей коже прошел мороз, а голова, наоборот, запылала, волосы словно огнем вспыхнули.

Митька прислонил велосипед к дереву.

— Ну что ты... Проезжай давай...— умоляюще и беспомощно проговорила Зина.

Митька лишь усмехнулся.

— Ты гляди-ка... Выросла ведь...— сказал он. Взял ее рукой за подбородок, чуть запрокинул голову и поцеловал...

...Зинино счастье, которое она хоронила от всех, продолжалось недолго. Через месяц-другой Митька все реже и реже стал приходить на свидания в условленные места. Зина не знала, куда себя девать. А тут еще отец каким-то образом узнал про Митьку.

Когда Зина призналась в беременности, Митька и вообще перестал ходить...

— Как же это ты, Зинушка? — погладила Клашка сестру по голове.— Кто же... так с тобой? Митька, однако, сволочь. Как же я недоглядела!

— Н-нет...— мотнула головой Зина.— Пусть никто о нем не узнает. А я уеду от стыда.

— Что ты, Зина! Вдвоем воспитаем ребенка...

— Нет, нет...

Несмотря на уговоры, Зина уехала в райцентр и поступила там на работу в редакцию, корректором.

Сестры все же помогали отцу, как могли,— Зина ежемесячно посылала ему деньги, а Клавдия каждую осень чуть не поровну делила полученные на трудодни хлеб и всякую овощь. Однако Антип вдруг подал на дочерей в суд, объясняя это колхозникам:

— Дак добровольно что не дать? Дал, да забыл. А вот ты силой у меня отбери что, скажем, вот пуговицу.— И Антип в самом деле доставал из кармана пуговицу.— И не нужна она мне, а обидно: как так отбирают? Жалко. И памятно. Вот то-то и оно! Не-ет, пусть силой у холер берут... для оскорбленного родителя.

Но здесь «оскорбленный родитель» просчитался. По суду с сестер Никулиных взыскивали вдвое меньше, чем они давали ему добровольно. Не придумав ничего другого, Антип стал всем говорить, что дочери подкупили суд, потому-де и «крохи шлют, а куски им оставляют»...

Вскоре в Зеленом Доле стало известно, что Зина Никулина родила сына. Узнав об этом, Антип беззвучно похлопал глазами и ртом. И только на другой день рассмеялся:

— Хи-хи... это так, это — трансляция. А я что говорил? На каждого зверя есть свой охотник. Охотник — боец, на баб молодец. Раз ворота открыты, побирушка зайдет. Раньше ворота и днем на запор, а теперь и ночью настежь. Знамо дело, нынче — все иначе.

Все это было еще до того, как Смирнов стал редактором. Однако Петр Иванович знал обо всем и сейчас не в силах глядеть на Антипа, отвернулся от него.

— Так ты, Петруха, скажи — пусть хоть четвертак пришлет, бессовестная,— не отступал от Смирнова Антип.

— И зачем тебя мать только родила? — проговорил Захар Большаков, отрывая грустный взгляд от тощих коров, бродивших по пригону.

— Когда баба родит, она в потолок глядит,— быстро ответил Антип,— да и того не видит. Где уж тут рассмотреть, кто такой производится!

— Тьфу! — не выдержав, плюнул дед Анисим и быстро пошел прочь, глубоко вонзая в снег свой костыль. Обернулся и крикнул Смирнову: — Давай завтракать приходи.

У пригона показался Устин Морозов. Был он мрачнее обычного, мятый какой-то, опухший, словно с перепоя. Подойдя, молча сунул жесткую ладонь Большакову и Петру Ивановичу, спросил глухо:

— Что, еще пали?

— В эту ночь, как говорит твоя старуха, бог миловал,— ответил председатель.— Ты чего такой? Не спал, что ли?

— Кто его знает, спал ли, нет ли,— вздохнул Устин.— Ночью дважды прибегал сюда. Беспокойство гложет — и все. Ну, пойду позавтракаю. Не завтракал еще.

— Давай. И в контору потом.

Большаков и Смирнов тоже пошли от пригона, оставив Антипа в одиночестве.

По дороге Смирнов, потирая синие от мороза, впалые щеки, сказал:

— Ну и человек...

— Никулин-то? — переспросил Большаков.

— После встречи с ним действительно не отплюешься.

— Он пасечником одно время был у нас. Так мед на трудодни не брали. Приходилось на рынке продавать,— сказал председатель.

— Я вот все думаю — как вы живете с ним?

— Куда же денешься! — откликнулся Большаков. Потом, чуть замедлив шаг, прибавил негромко: — Не в раю живем, Петр Иванович, на земле.

— Ведь космические корабли вокруг Земли летают. А тут — Антип...

— Да, интересно, если сравнить...— проговорил Захар задумчиво. И спросил: — Слушай, Петр Иванович, а что такое народный подвиг, как думаешь?

— Что, что? — удивленно воскликнул Смирнов.— О чем ты?

— Да так... в общем.

Они шли дальше. Навстречу им попадались люди, здоровались и спешили по своим делам. Пробежала в телятник Иринка

Шатрова. Озабоченно прошагал к мастерской Филимон Колесников. От гаража помахал рукой Сергеев и снова нагнулся над автомашиной с поднятым капотом, залез в мотор чуть не с ногами.

Из мощного радиодинамика, установленного на крыше клуба, лилась на всю деревню музыка, и диктор командовал: «Вдохнули, начали: р-раз, два-а» — передавали утренний комплекс физзарядки.

А давно ли, подумал вдруг Захар, давно ли эти улицы вместо музыки оглашались пьяными криками Фильки Меньшикова? Давно ли расхаживал он по ним полновластным хозяином? Давно ли его, Захара, именно по этой улице лошадью волок Демид Меньшиков, захлестнув ноги веревкой?

А сама деревня — давно ли она стала такой? Голоребрые домишки, раскиданные вкривь и вкось по берегу,— где они теперь, куда делись? Почему не видно кособокой кузницы с заросшей полынью зеленой крышей? Или неуклюжего, кургузого, почерневшего от времени здания бывшей церквушки с узкими оконцами, приспособленного под клуб?

Часто Большаков чувствовал себя так, будто долго-долго отсутствовал где-то, а теперь вот приехал вдруг и смотрит на свою деревню, пораженный. Когда же это успели распрямиться кривые улочки, раздвинуться вширь? Когда выросли эти многочисленные животноводческие постройки, огромный кирпичный корпус механической мастерской, когда поднялась громадина клуба?!

А иногда, глядя на все это с Марьиного утеса, куда он любил время от времени забираться, Захар с удивлением думал: да как же они все это сумели построить при их вечных трудностях и недостатках?! Уж он, Захар-то, знает, сколько их было в годы войн и в мирное время. Заткнет кое-как дыру в одном месте — порвется в другом...

И всплывало невольно в такие минуты из души Захара что-то трепетно-теплое, заливающее его самого до краев, размягчающее сердце и тихонько волнующее мозг простой, бесхитростной человеческой гордостью. Сами собой возникали мысли. Далекие потомки не забудут, что в двадцатом веке были и войны, и тиф, и разруха, и голод. Напряженный до изнеможения труд и снова войны. И опять труд во имя красоты и изобилия, во имя будущей человеческой радости. Не забудут и поставят вечный и великий памятник человеку двадцатого века. И кто знает, каков будет этот монумент? Может быть, он будет изображать угловатого, но могучего мужчину, с тяжелыми, как гири, рабочими кулаками. А может, женщину, до того хрупкую и нежную, что каждому будет казаться: дотронься до камня — и почувствуешь тепло живого тела. Но никто не станет дотрагиваться, все будут смотреть на ее одухотворенное, невиданной красоты лицо...

— А все-таки, Захар Захарыч, в каком смысле ты спросил об этом? — раздался голос Смирнова.

— О чем? — Захар очнулся и остановился.

— О народном подвиге.

— А-а...— Захар двинулся дальше.— Видишь вон — башня водонапорная.

— Ну и что же? — не понял Смирнов.

— Так ведь тоже интересно. С одной стороны, в колхозе коровы от бескормицы падают. А с другой — водопровод в квартиры колхозников ведем.

Смирнов поморщился, пытаясь понять, что к чему. А Большаков сказал:

— Так и с Антипом. Много еще мусора на земле. А земля большая, много на ней укромных уголков. Не так-то скоро и просто выскрести оттуда всякий мусор.

Глава 11

Смирнов работал в районе второй год. До этого он служил в армии. Отечественную войну начал зеленым лейтенантом — только-только вышел из пехотного училища,— кончил полковником, командиром полка, кавалером чуть ли не всех орденов Советского Союза. Когда смолкли последние залпы последней войны, Петру Ивановичу далеко не было еще и тридцати.

— Ну и башка у тебя! — говорили офицеры при каждом новом назначении Смирнова или при новом награждении орденом.— Наполеон — и только!

Возле исклеванных пулями серых колонн рейхстага кто-то из друзей обнял его и прогудел в уши:

— Еще полгода повоевать — в генералы бы вышел, дьявол.

Но по тем гудящим огнем, хлещущим кровью годам его награды и его военная карьера не были чем-то необычным. Однако он не думал о наградах, не придавал им значения.

А однажды, когда женщина-хирург из медсанбата, собираясь ампутировать изрешеченную правую руку Смирнова, сказала, вероятно, чтобы поднять его дух: «Поздравляю, майор. Из штаба сообщили, что вас представили к награждению орденом...» — он, пересиливая боль, заорал, не дав ей кончить:

— Катитесь вы со своим орденом! На черта мне орден?! Мне рука нужна! Вы мне руку спасите! Вы меня рукой наградите! — И, каким-то чудом приподняв висевшую, как плеть, перебитую руку, сжал ее в кулак.— Мне этой рукой стрелять надо... врага душить... вот так, как Полину Одинцову... мою Полинку... невесту мою, задушили, как отца и мать... здесь, в этой деревне...

И потерял сознание.

Женщина-хирург, теперешняя жена Петра Ивановича, проговорила, придя в себя от изумления: «Если не спасу ему руку — лучше застрелиться».— «Вера Михайловна, это невозмож-

но,— сказал один из врачей.— Это ведь не рука уже, мертвая конечность. Она держится только на лоскутах кожи... Единственное разумное — ампутация».— «А вы видели когда-нибудь, что мертвая рука поднимается, как живая, сжимается в кулак?» — «Видел, и вы видели... Это предсмертная судорога...» — «Да, если человек умирает... А он только потерял сознание. Готовьте к операции...»

Операция продолжалась около четырех часов. Потом Вера Михайловна вышла из палатки, пошла между пепелищ, из которых торчали одни трубы — все, что осталось от деревни Усть-Каменки, сожженной немцами при отступлении. Уцелевшие жители рассказали ей, что майор Смирнов родом из этой деревни, что немцы расстреляли отца и мать Смирнова.

— Он, Петруха-то, единственный у них сын,— говорил Вере Михайловне желтый от голода старик со спутанной, свалявшейся в клочья бородой. Говорил, стоя посреди бывшей деревенской, вероятно уютной и тенистой когда-то улицы, опершись о костыль, медленно, часто останавливаясь и глубоко дыша, будто поднимался на высокую гору.— Когда приходили от него письма, всей деревней их читали: лейтенант, дескать, Петюха ротой командует... Родителям писал он часто, а чаще ей, Полинке. Светлая была девчушка. Получит письмо, идет в холмы — эвон какие они у нас высокие да гладкие. Лесов-то у нас нет, одни холмы. Уйдет и поет... И все знают — письмо, значит, получила. Тянемся мы все, как телята, к смирновской хате. Ждем, когда напоется Полюшка. Спустится она с холмов — читает от слова до слова. И про любовь там, и про войну — все, говорю, от слова до слова читает... И плачет. Вишь ты, какое оно дело,— то пела, а теперь плачет. Светлая была... Петюха-то хотел после окончания военной школы свадьбу справить. Да не успел приехать даже после обучения. Вместо свадьбы — на фронт. Да-а... А потом немец к нам пришел, не стало писем. Староста объявился у нас, чернявый такой живоглот, не из наших. И где такой хоронился до сей поры? В тюрьме, однако, держали таких. Все посмеивался, черными молниями пошпаривал людей. Натерпелись от него — не дай бог. Полинка уже не пела боле. А он, староста, узнал откуда-то про ее песни, посадил однажды под замок. Ровно неделю голодом морил. Потом выпустил на людную улицу, говорит: «Москву взяли германские войска. Пой песню для сего случая, булку хлеба дам». Она и запела...

— Врешь! — вдруг крикнула Вера Михайловна. Опомнилась, проговорила виновато: — Прости, отец, не верю...

— Нет, чего же...— покачал головой старик.— Запела. Я-то не знаю песен. А она запела: широка, дескать, страна моя родная... И люди подхватили... Я вот молчал, не знаю, говорю, песен... Выхватил староста... чего думаешь, леворвер? Гранатой ка-ак шарахнет... Левонтия кривого убило той гранатой, развеселый и хороший был человек, индюков сильно любил, птицу

всякую да водочку. Знатная у нас птичья ферма была до войны, Левонтий командовал ею. Хоть верь, хоть нет — он каждую куру в лицо знал. Пожрали немцы кур-то, и вот Левонтия... Катьке Самохиной руку оторвало, скончалась она на другой день. А Полюшке — ничего, только косицу срезало... Заматерился староста и тогда стрелять с леворвера начал. Посыпались мы кто куда, только старуха моя, царство ей небесное, не успела. Упала на колени, перекрестилась. «Иди,— говорит мне,— с богом, старый, сатана железным пальцем ткнул мне в грудь». И прям — черное пятно на груди у нее расплывается... Схватил я ее — да где, не поднять. Упал и лежал рядом, покудова стрелял староста. Отстрелялся, ушел в дом водку жрать...

Старик помолчал и, отдохнув, продолжал:

— Так вот, значит, и жили мы под немцем, под старостой. Потом наши стали подходить. Однажды ночью к нам добрый человек стукнулся в окно. «Ты, дед, не чурайся меня, я, говорит, сержант Красной Армии, разведчик, фамилия моя Федька Морозов. Где тут у вас Полина Одинцова живет?» — «Господи, да здесь»,— говорю. Полюшка-то, значит... Внучка ведь это моя. Сказывал аль нет? Нет? Ну вот, а я думал — сказывал... Да, внученька... Староста ее застрелить обещался, только она покажется на улице. Выскочила она из боковушки. «Я, говорит, Одинцова, чего тебе?» — «Известный вам Петр Иванович Смирнов просил по дороге завернуть в Усть-Каменку и привет передать. Мы с ним в одной дивизии служим. Скоро брать будем деревню...» Вскрикнула она и утащила к себе в боковушку этого парня...

Старик дышал так тяжело, будто его грудь была густо изрешечена и из каждой дырки со свистом и хлюпаньем вырывался воздух. Успокоившись немного, продолжал свой рассказ:

— Двое суток прожил у нас этот парень. Понятное дело, не только с приветом пришел он. Днем на чердаке сидел, все высматривал, значит, вокруг. Ночью в темноту уползал. Уж мы со страху за него ни живы ни мертвы... Ничего, к свету возвращался... Да, а на третью ночь, значит, совсем от нас собрался. Да тут и оплошал. Подстерегли его таки на краю деревни, а через два дня, избитого и окровавленного, повели на расстрел. Нас всех собрали — глядите, мол, на казнь красного разведчика. Гляжу я: он и не он, до того, сволочи, разбили ему лицо — кусок мяса, да и все. Расстреляли, спихнули в яму. Вон она, яма-то, видишь, до сих пор не зарытая...

Вера Михайловна посмотрела вправо. Там, в конце улицы, солдаты вытаскивали из ямы трупы, клали их в гробы и отвозили на кладбище.

— Сегодня утром я ходил туда, хотел поглядеть на Полюшку... Да уж больно тяжелый дух, задохнулся сразу...— снова заговорил старик.— Ее арестовали на другой день, как Федька ушел. Федору-то письмишко она дала для Петюхи. Вот ведь

как — дала, а он и взял. Не надо бы ей давать-то это письмо. Оно и попало в руки старосты. И Смирновых обоих забрали, Петюхиного, значит, отца и Петюхину матерь...

Старик остановился, подумал о чем-то, покачал головой:

— Не знаю вот, из письма ли поняли, что у Полинки жених Красной Армии командир, али Федор тот под пыткой сказал. Не знаю... Однако не должно, чтоб Федор... Парень-то был отчаянный и веселый, не должно... Ну вот, отца и мать его, Петюхи Смирнова, тоже забрали, сказывал я?

— Сказывал...

— Ага, ишь ты, забываюсь я памятью... Измывались над всеми ними шибко. Сам-то старик ничего, Полюшка моя тоже ничего. А старуха криком кричала ночей пять подряд... А потом тоже к яме повели... Стрелять не стали, изверги, а штыками закололи... Старик-то, Петюхин отец, загораживал все старуху. Его ткнули плоским штыком, а он стоит... Его ишшо ткнули, а он опять стоит. Уж нет-нет да упал... Упал он, значит, а немцы к Полинке. Руки-то у ней связаны, рубашонка порватая, грудь махонькая, девичья еще, оголилась. Ежится она и не штыков вроде боится, а наготы этой стыдится, пятится. Вот так... Руки-то у ней связаны сзади, сказывал я?.. Ага, ну вот, хотели уж колоть ее, а она запела вдруг тоненьким голоском. «Широка, поет, страна родная, в ней человеку вольно дышится...» И тогда староста полоснул черными глазищами, кинулся, как зверь, на Полинку, обеими ручищами горло ей перехватил... Песню эту я слышал часто, хорошая песня, да так и не запомнил, не певал никогда песен-то я. Заревел хрипуче староста: «Вольно, говоришь, дышится?.. Ну, дыши, дыши, гадючий выползок...» Без памяти закричал я чего-то, бросился к ней, к Полинке моей, из толпы... И боле уж ничего не помню.

Вздохнув, старик заломил конец бороды, вытер, как куском пакли, слезы и сказал:

— Так он ее и задушил, староста-то... Когда обмякла она, в яму швырнул, да еще ружье у немца выхватил, расстрелял все вниз... В Полюшку. Вот он, староста-то, какой был... Сидором Фомичевым его звали, сказывал я? Нет? Ну вот...

Старик еще раз передохнул, вытер еще раз глаза и закончил свой рассказ:

— Об этом после, когда я дома лежал почти что мертвый, мне уже люди рассказали. И что немец прикладом меня саданул, когда я из толпы выбежал, и про все... И разведчикам, что приходили еще в деревню, потом, все рассказали люди, чтоб, дескать, дрались с немчурой не жалеючи... А я думаю — зря Петюшке-то знать об этом было до поры... Долго ли, не поберегшись, о пулю напороться! Да... без чувств, говорю, лежал... Бабам наказал, когда бой зачался: «Держите, говорю, старосту Фомичева, ради бога...» Где там! Вперед немцев, сказывают, убежал... Так вот и упустили. Известно, бабы... А я сейчас хожу, Петюху ищу. Ра-

неный он, говорят. Вот ты, доктор, однако, али сиделка — кровью и больницей от тебя пахнет. Не укажешь, где Петюху-то искать? Посмотреть на него охота...

— Нельзя на него смотреть. Без памяти он. В тыл сейчас его повезут, в госпиталь.

— Ну, вези, вези... Гляди мне, вылечи его! Полюшку-то не вылечишь теперь. Не забудь только, передай: все пела она в холмах, как письма приходили. Я вот и жил-то затем только, чтоб самому рассказать Петюхе, как она пела. Да, вишь, нельзя, выходит. Так ты расскажи. А я помирать пойду. Все нутро отбил немец-то прикладом, оторвалось там что-то... Ну, прощай...

Вера Михайловна слушала старика и с удивлением глядела на дымящиеся развалины небольшого домика, возле которых они стояли. Из всего домика уцелела одна-единственная стена. Она была густо изрешечена пулями, осколками снарядов. На стене висели старинные, в черном футляре часы с круглым тяжелым маятником. Часы шли! Маятник неторопливо раскачивался, отсчитывая секунду за секундой.

Это было чудом. Казалось невероятным, что ни одна пуля, ни один осколок не задели их...

Старик тоже поглядел на развалины домика, потом на Веру Михайловну и проговорил:

— Чему удивляться тут? Часам положено время показывать, они и показывают. Время-то разве остановишь? Не остановишь его. Вот и идут часы. Дом этот Смирновых был — сказывал я или нет? И часы ихние...

Вера Михайловна подошла к стене, бережно сняла часы и унесла их к себе.

...Обо всем этом Петру Ивановичу по выздоровлении и прибытии в свою часть рассказала Вера Михайловна.

— Спасибо,— прошептал он.— Некоторых подробностей я не знал. А часы... Вы сохраните, пожалуйста, их. Это единственное, что у меня осталось... от всего...

И снова воевал, ожесточаясь месяц от месяца. На награды он по-прежнему не обращал внимания, обещая в шутку все той же Вере Михайловне посчитать ордена и медали после войны, но, когда присвоили ему звание подполковника и назначили командиром полка, он ощутил нечто вроде радостного удовлетворения. Нет, это было не чувство тщеславия. Просто почувствовал он себя сильнее, точно кулаки его налились свинцом, и теперь если уж размахнется, удар будет сокрушительней, чем прежде.

Когда кончилась война, он сказал Вере Михайловне:

— Теперь — в академию. Я должен, покуда жив, быть в армии, чтоб... чтоб пели спокойно девчата свои песни.

— Куда тебе... Я твое тело знаю лучше, чем свое собственное. Оно все изрешечено и перештопано. Я, наверное, километр ниток на тебя истратила.

— Ничего. Если что — подлечат.

— Не пытайся, Петр Иванович,— не примут. Вот этот осколок я вытащила у тебя почти из сердца. Это не шутка.

— Ничего. Только бы приняли в академию. Должны принять. Я до Сталина дойду, если что... Только не думаю, что это понадобится. А сердце у меня — как новый мотор на старом, искореженном тракторе. А ведь главное — мотор, а не залатанная кабинка.

Но во время Парада Победы, когда он, полковник Смирнов, шагал мимо Мавзолея, сердце его застучало вдруг торопливо и больно, замерло на секунду — и снова продолжало биться ровно и неслышно.

Сердце солдата, работавшее в войну на износ, впервые дало перебой сейчас, когда пришла Победа. Смирнов понял, что это зловещее предзнаменование, но страха не испытал: черные вражеские знамена были повергнуты наземь, к ногам победителей. Страшно было бы, если б сердце сдало раньше.

В академию его все-таки не приняли.

— Ну что ж, будем служить без академии,— с сожалением сказал Смирнов Вере Михайловне.— Только теперь мне, выходит, личный доктор нужен, а?

— Да я уж давно твой личный доктор.

Через месяц он и Вера Михайловна поженились.

Служить Петру Ивановичу довелось теперь в Сибири. Он и в мирное время служил, как в военное. Вставал в пять утра, ложился в двенадцать. Иногда и вовсе не ложился, сутками и неделями пропадал на учениях.

— Петя, сердце все хуже и хуже. Подавай в отставку,— не однажды просила жена.

Он и сам чувствовал, что хуже. Но говорил свое обычное:

— Ничего. В мирное время — ничего.

— Какая для тебя разница? Для тебя оно — как военное.

— Сам-то я выдохнусь скоро, верно. Но я должен, пока хожу на ногах, выучить как можно больше солдат. Чтоб девушки спокойно пели. Ты понимаешь? Я помню это и не могу... в отставку.

— Другие выучат, Петя.

— Другие? Не у всех... невест душили за горло. Ты прости, я тебя люблю, ты знаешь, но Полинку... не могу забыть. Это уже не любовь, это нечто большее, необъяснимое... У других родителей не пытали, не кололи штыками. Вот чего... может, не хватит тому, кто займет мое место. Понимаешь, Вера? Ты должна это понять...

Она понимала, но сердце Петра Ивановича давало перебои все чаще и чаще. Начались сильные припадки. Они сваливали его иногда намертво. Петр Иванович сперва скрывал это, пока было можно. Потом, несмотря на запрещения врачей, добился у самого министра обороны разрешения служить в армии. До-



биться его было делом почти немыслимым, но он добился,— правда, с одновременным назначением военкомом одного из глубинных районов Сибири...

И только весной 1959 года, когда врачи категорически заявили, что дело идет о жизни или смерти, малейшая нагрузка на сердце приведет его к гибели, он подал в отставку.

Подал и спросил жену:

— Я знаю, жить мне осталось недолго. Сколько — врачи не скажут. Ты тоже врач. Но ты еще моя жена. Я у тебя никогда не спрашивал об этом. А теперь спрашиваю — сколько?

Вера Михайловна заплакала.

— Сколько? — бледнея, повторил Петр Иванович.

— При той жизни, которую ты ведешь... это... может случиться каждую минуту. Но если будешь беречься, если оставишь работу — года два... три, может быть...

— Так... не больше?

— Осколок. Вот он,— вместо ответа сказала Вера Михайловна.

— Так,— еще раз повторил Петр Иванович, положил руку на сердце, послушал. Оно билось ровно и спокойно, как ни в чем не бывало. Он усмехнулся.— Видишь, я даже нисколько не взволновался, когда узнал, что жить мне осталось всего семьсот дней. Семьсот. Самое большее — тысячу. Видишь, я даже весел. А раз так, значит, все вы ошибаетесь. Я проживу больше. А в общем — поедем на юг, отдохнем хоть раз в жизни по-настоящему.

Два с половиной месяца они провели на Черноморском побережье, купались в море, валялись на теплом песке, в тени полосатых зонтов. Первый месяц Петр Иванович ничего не говорил, играл целыми днями в шахматы, лениво перелистывал журналы. К концу второго стал пожмуриваться на море и на веселое, неугомонное солнце, как кот на воробья... А в начале третьего спросил:

— Черт возьми... Тут никогда не дохли от безделья?

Через неделю они были в Усть-Каменке. Поговорили с жителями села, посидели на могиле его отца с матерью. Петр Иванович посадил березку над могилкой Полины и ее деда, заново покрасил оградки вокруг невысоких холмиков.

И сказал:

— Тяжело мне тут. Поедем к себе, в Сибирь.

Приехали в Сибирь уже зимой, в ноябре, вызвали к себе стариков Веры Михайловны. Петр Иванович набросился на книги так, будто сроду никогда не читал их. Но через месяц-полтора начал пошвыривать то одну, то другую недочитанную книгу на диван. Швырнет и начинает ходить по комнате из угла в угол, как запертый в клетке зверь.

Вера Михайловна, возвращаясь с работы из поликлиники, все чаще и чаще заставала его за этим занятием и тяжело вздыхала:

— Ну, чего вздыхаешь? Что ты меня жалеешь?! Тебе-то хорошо...

— Петенька, не волнуйся, родной...

— Э-э...

Часто эти метания из угла в угол кончались припадками. Однажды, очнувшись от очередного сердечного приступа, Петр Иванович сказал:

— Вот что... Из оставшейся тысячи дней я уже сто пятьдесят прожил. Бесполезно прожил. Так дальше не пойдет.

Опять Вере Михайловне пришлось укладывать чемоданы. На этот раз путь их был не особенно далек — до таежного села Озерки, где Петр Иванович с помощью начальника политуправления военного округа получил должность редактора озерской районной газеты. Ничто не помогло — ни слезы Веры Михайловны, ни уговоры и просьбы выбрать какую-нибудь работу полегче, ну, библиотекаря хоть, что ли.

Если в Сибири полковник Смирнов оказался по воле беспокойной своей воинской судьбы, то в селе Озерки он, теперь полковник в отставке, очутился вовсе не случайно. В первые же дни пребывания в Сибири Петр Иванович разыскал на карте населенный пункт Зеленый Дол, откуда был родом его отчаянный разведчик Федор Морозов. По карте же он узнал, что Зеленый Дол находится на территории Озерского района. Петр Иванович все время намеревался съездить в Зеленый Дол, познакомиться с родителями бесстрашного героя-разведчика, разделить с ними великое человеческое горе. Да все как-то не удавалось: то служба, то болезнь... Зато теперь он выбрал Озерки своим, видимо, последним, а вернее сказать — вечным пристанищем.

Через несколько дней после приезда Петр Иванович уже был в Зеленом Доле. С Морозовым он встретился возле мастерской, где Устин осматривал отремонтированные плуги и сеялки. Пока Смирнов рассказывал, кто он, откуда знает его сына, Морозов молча и даже как-то неприязненно, холодновато глядел ему в лицо. Потом, опустив глаза, несколько раз запустил руку в бороду, прочесал ее пальцами, будто огребал намерзшие сосульки. И наконец тяжело сел на перевернутую вниз зубьями борону.

— Вот вы какой, отец героя...— закончил Смирнов.— А я, признаться, другим вас представлял. Без бороды. Давно, Устин Акимыч, мечтал познакомиться с вами...

— Бороду-то можно и сбрить... Да ведь сына не воротишь этим, не воскресишь,— только и ответил почему-то Смирнову Морозов.

Не так представлялась Петру Ивановичу встреча с отцом Федора. Он думал, что встретится с родителями Морозова в их доме, посмотрит на стены, средь которых вырос Федор. Потом обязательно сядут за стол, и он, Петр Смирнов, бывший командир Федора, поднимет в честь и память его рюмку водки. Под-

нимет и выпьет, несмотря на строжайший запрет врачей и Веры Михайловны. А потом... Потом будет рассказывать родителям о Федоре. Ведь он не один месяц был с ним на фронте, он видел его в последние дни перед геройской гибелью, он может рассказать родителям об их сыне много такого, что, кроме него, никто не расскажет... Вместо этого — угрюмые глаза, ссутулившиеся плечи отца Федора, его странные слова о бороде, которую можно сбрить.

— Спасибо, что... не забыли о Федоре. Тяжело мне,— проговорил потом Устин Морозов, встал и пошел от мастерской, оставив Смирнова в одиночестве.

Петр Иванович был удивлен и даже немножко обижен таким оборотом. Что же, решил он, видно, в самом деле родительское горе столь велико, что не до воспоминаний сейчас отцу о сыне. Может, в другой раз когда...

Но в дальнейшем, когда бы ни приезжал Смирнов в Зеленый Дол, Устин Морозов как-то сторонился его, старался избежать встречи. И всегда Петр Иванович чувствовал на себе холодноватый, с примесью отчужденности взгляд Устина Морозова. Впрочем, эту отчужденность можно было едва-едва уловить. Иногда ему казалось, что и улавливать нечего, что все это ему кажется. Просто человек этот носит и всю жизнь будет носить в себе великое, не истаивающее с годами горе.

Так никогда и не вышло до сих пор случая поговорить с Морозовым о его сыне.

Зато с Клавдией Никулиной он разговаривал о Федоре Морозове часто.

В первый же приезд она, едва узнав, кто такой редактор газеты, прибежала к нему сама и, ни слова не говоря, схватила его за руку, потом припала к груди и заплакала. Петр Иванович сразу догадался, что это жена Федора.

Потом она увела его к себе домой. Стол был уже накрыт.

— Вы простите меня,— тихо проговорила Клавдия, усадив Петра Ивановича. И опять заплакала.— Вы расскажите о нем... хоть немножко...

Хоть немножко... О Федоре Морозове он мог рассказать как раз очень многое. Но с чего начать?

— Он пришел к нам в часть, кажется, в самом конце сорок третьего или начале сорок четвертого,— сказал Петр Иванович.— Во всяком случае, зимой. Всех солдат, которые воевали под моим командованием, не запомнишь, конечно. Прибывали, гибли в боях, новые прибывали... Но Федора я запомнил. Однажды...

...Однажды Федор Морозов вырвался из наступающей цепи и первым прыгнул во вражеский окоп, расстреливая на ходу немцев. Гитлеровцы сыпанули через бруствер, побежали вдоль заснеженной лощины к спасительному леску. И опять же солдат Морозов первым бросился вдогонку по глубокому снегу.

А потом произошло неожиданное: из леска вывалилось с диким ревом до роты свежих фашистов. Гитлеровцы, только что удиравшие к леску, тоже повернули назад. На дне узкой лощины наши и немцы сошлись грудь в грудь.

Дым застлал лощину — горели подожженные снарядами прошлогодние, а может быть позапрошлогодние скирды соломы на колхозном поле справа от леска. А когда дым немного рассеялся, Смирнов увидел, что Морозов, расстрелявший, видимо, все диски, отбивался от фашистов прикладом...

Сразу после боя Смирнов пошел во взвод, где служил Морозов. Федор сидел на мерзлом бугорке, с сожалением рассматривал треснувший приклад автомата.

— Что же ты, брат, оружие портишь? — улыбнулся Смирнов.

— Виноват, товарищ майор,— вскочил Морозов.

— За то, что разбил автомат... к награде представлю. Молодец, Морозов! Видел, как дрался. Махорочка-то есть? Угости-ка.

— Есть! — по-мальчишески обрадовался Федор Морозов. Да он и был, в сущности, парнишка: над губой пушок, не знавший еще бритвы. И было непонятно, откуда у него взялись та сила и бесстрашие, с которыми дрался он в только что закончившемся бою.

— Расскажи-ка немножко о себе. Откуда ты родом-то? — спросил Смирнов, потягивая самокрутку.

— Есть такая деревня в Сибири. Зеленый Дол называется,— глуховато, чуть смущаясь, сказал Федор.— Там я вырос...

— Женат?

— Почти...

— Погоди, как это — почти?

— Свадьбу мы в тот вечер играли, когда повестка пришла... Я с начала войны добровольцем хотел — не взяли. «Молод еще, говорят, подрасти немного». А куда расти — я и так вырос. Со зла решил — ладно, женюсь хоть. Вот, мол, вам и молод...

Смирнов снова улыбнулся.

— Ну, не со зла, конечно... Это я так,— виновато промолвил Федор.— Невесту у меня Клашей Никулиной звать... Вылезли мы с ней из-за стола — какая уж свадьба теперь! — всю ночь бродили по улицам деревни, по берегу речки. Знатная у нас речка и называется хорошо — Светлиха. А на рассвете я в военкомат. Вот не знаю, как теперь Клашу считать — или женой, или все еще невестой, а, товарищ майор?

— По-моему, можно считать женой.

— Ага... Клаша так и пишет: «Считай, говорит, Федя... Только свадьбу, говорит, мы обязательно догуляем. Вернешься домой, а на улице, под деревьями, те же столы будут стоять. И будто не было никакой войны...» А, хорошо?

— Хорошо. Это очень хорошо, Морозов,— задумчиво произнес Смирнов.

— Да, верно, это хорошо все произойдет,— согласился Федор.— Вот только многих прежних гостей уже не будет...

Докурили в безмолвии свои самокрутки, наблюдая, как редел и таял дым в лощине, где только что кипел смертельный бой. Длинные грязные космы уплывали, покачиваясь, вправо, туда, куда отбросили врага. День только начинался. Над краем лощины стояло солнце. Оно тоже покачивалось, как на волнах, в этих вонючих космах дыма и бежало, бежало влево, оставаясь все-таки на месте.

— А у вас есть жена или невеста, товарищ майор? — спросил Федор Морозов. Но тут же смутился: — Простите, товарищ майор.

— Ты не хочешь быть разведчиком? — проговорил вдруг Смирнов.

Федор отозвался только через некоторое время:

— Разведчиком? А смогу?

— ...Вот так, Клавдия Антиповна, я познакомился впервые с вашим мужем,— закончил Петр Иванович.

— А потом? — спросила Клавдия почти шепотом.

— А потом он стал отличным разведчиком. Вскоре его забрали от меня — в разведку дивизии. Но я все время следил за его делами. Часто мы встречались с ним как друзья...

— Вы расскажите... расскажите...

И Петр Иванович снова рассказывал о Федоре, припоминая все подробности тех далеких грозовых дней.

Клавдия сидела не шелохнувшись, глядела, не моргая, на Смирнова, и в глазах ее стояли слезы. Время от времени они проливались по щекам, но Клашка не вытирала их.

Под конец она произнесла:

— Не мог он погибнуть... Он жив... Он вернется...

Эти же слова Клавдия говорила потом при каждой встрече.

Работа в редакции отнимала много времени и сил. Но, странно, сердечные боли стали легче, приступы реже.

— Ага, чертовы эскулапы, тупые ланцетники! — как ребенок, радовался Петр Иванович.— Раз я нашел превосходное лекарство, может, вы прибавите к той тысяче дней еще года три-четыре!

Вера Михайловна молча плакала ночами. Она-то знала, что это за лекарство, как оно действует! Она старательно прятала от него свои слезы, чтобы хоть этим не расстраивать его. Петр Иванович сказал ей однажды утром:

— Не надо плакать, Верусенька. Я понимаю, что это не лекарство, а яд. Хоть плачь, хоть смейся, а... понимаешь, все равно ведь... И я выбрал второе... Не плачь, мой чудесный доктор. Найди в себе силы.

Вера Михайловна, состарившаяся за послевоенные годы втрое, нашла их.

Несмотря на свою тяжелую болезнь, Петр Иванович чуть ли не каждую неделю ездил в колхозы. Иногда его привозили оттуда в Озерки в бессознательном состоянии. Вера Михайловна, зная, что мужа все равно не удержишь от поездок, решила уволиться с работы, чтобы сопровождать его, как он говорил, в «последних командировках». Но он заявил решительно:

— Еще что! Везде люди, не хуже тебя помогают, если что... Да и теперь я научился угадывать, когда будет приступ. За день, за два до этого сердце пощипывает негромко, будто кто крошечными плоскогубцами схватывает его то с одного, то с другого боку.— И еще добавил весело и беспечно: — Опыт — великое дело, Веруся...

Однажды (это было прошлым летом, еще до начала проклятого сеногноя) опыт все же не помог. Сидя в конторе с Захаром Большаковым, Петр Иванович схватился одной рукой за грудь, другой вытащил из кармана склянку с лекарством...

— Захар...— прошептал Петр Иванович, но открыть склянку уже не успел, повалился на пол с посиневшим лицом.

Большаков, как и все председатели колхозов района, предупрежденный Верой Михайловной, знал, что делать. Он влил в рот Петра Ивановича несколько капель из склянки, уложил его на скамейку, крикнул подвернувшемуся Устину Морозову:

— Кто там из шоферов у нас есть? Сними Митьку с ремонта сенокосилок. Пусть какую-нибудь машину выводит из гаража. Да в провожатые кого-нибудь. Иринку, что ль, Шатрову глянь в телятнике...

Устин молча пошел к мастерским, а Захар принялся звонить в Озерки, Вере Михайловне.

Сидя в кузове, забитом свежей травой, Ирина Шатрова на коленях довезла Петра Ивановича до Озерков. То и дело она стучала Митьке Курганову в кабину — осторожней, мол.

У Озерков, километрах в пяти от села, их встретила Вера Михайловна. Она, с растрепанными волосами, как молодая, бежала по дороге навстречу машине. Залезла в кузов, схватила руку мужа и, тревожно прислушиваясь к ритму сердца, всматривалась в его лицо. Заняв место Ирины, она сказала:

— Спасибо тебе, родная... Как звать-то?

— Ира, Ирина.

Вера Михайловна посмотрела на нее, но ничего не сказала, склонилась к мужу.

Втроем они легко внесли в дом нетяжелое, безжизненное тело Петра Ивановича, уложили в постель. Митька ушел сразу же к машине, а Ирина смотрела, как Вера Михайловна растирала Петру Ивановичу перепоясанную синим шрамом грудь.

Наконец его лицо покрылось капельками пота, он задышал ровно и свободно. Вера Михайловна устало разогнулась.

— Зачем же он, Вера Михайловна?..— еле слышно спросила Ирина.

— Что, Ирочка?

— Без него мы, что ли... Закроется, что ли, газета без него?

За окном нетерпеливо сигналил Митька, но Ирина не слушала его сигналов. А Вера Михайловна не расслышала бы сейчас, кажется, и артиллерийской канонады, потому что, нагнувшись над мужем, вслушивалась в его дыхание.

С этого времени, когда Петр Иванович Смирнов приезжал в Зеленый Дол, он по требованию Ирины безоговорочно останавливался у них с дедом Анисимом.

Глава 12

Таков был Петр Иванович Смирнов, шагавший сейчас рядом с Захаром Большаковым к конторе.

Улица была безлюдна. С низкого искрящегося неба лилось солнце. Оно было ослепляющее, но холодное.

Дома и избы Зеленого Дола, опоясанные штакетником, плетнями, а то и просто жердями, тоже слепили Захара и Петра Ивановича — в окнах вместо стекол, казалось, были вставлены бронзовые, натертые до жаркого блеска пластины.

Две зеркальные полоски — свежий след розвальней — прямо, как по ниточке, тянулись вдоль улицы от самых скотных дворов. Большаков давно уже посматривал на эти полоски. И вдруг спросил:

— Не видел, кто это подводу на конном дворе брал?

— Да Фрол Курганов. Только-только перед твоим приходом отъехал...

Большаков шагал чуть впереди, опустив голову вниз, точно боялся потерять след саней на покрытой за ночь снежной кухтой дороге.

Замасленные полоски вильнули в сторону, прямо в настежь распахнутые ворота кургановской усадьбы. Захар, подрагивая ноздрями, молча свернул туда же. Следом за ним, чуть помешкав, вошел и Петр Иванович.

Еще с улицы Большаков и Смирнов увидели подводу, стоявшую у поветей. Сам Фрол Курганов сбрасывал сверху пахучие пласты сена, а Митька укладывал их на розвальнях. Оба они, отец и сын, были почти раздеты — Митька в сером шерстяном свитере, а Фрол и вовсе в одной рубахе, будто на дворе стоял знойный июль.

Завидев председателя, Фрол прекратил работу, выпрямился. От Курганова, разогретого работой, шел парок.

— Ну чего ты, батя? Кидай,— сказал Митька. И, обернувшись, увидел председателя.— Здравствуй, дядя Захар. Газетному писателю тоже привет,— кивнул он Петру Ивановичу.— Да кидай же, холодно ведь...

— Иди оденься,— проговорил сверху отец.

Митька соскочил с воза, ушел в дом. Фрол ковырнул еще раз-два вилами и опять повернул голову к председателю.

— Ну? Чего смотришь исподлобья? — недружелюбно спросил Курганов.— Несподручно этак глядеть-то, снизу вверх. Ежели наоборот, сверху вниз,— другое дело.

— Куда это ты сено хочешь везти? — тихо спросил, в свою очередь, Большаков.

— Тебе что? На базар, допустим. Сенцо сейчас играет.

— Так... Так я и подумал.

— Ну, раз догадался, об чем разговор тогда?

Лицо Фрола теперь ничего не выражало, кроме равнодушия, но в словах его звучала насмешка. Захар вытащил из карманов руки и снова спрятал их. Смирнов понял, что внутри у председателя все клокочет.

— Пойдем, Захар Захарович,— торопливо проговорил он и потянул Большакова за рукав.

Из дома с большой эмалированной чашкой в руках вышла Степанида. В чашке лежала деревянная ложка. Степанида, видимо, собралась в погреб за солониной, но, увидев Захара, приостановилась на низеньком крыльце.

— Ой, у нас гости на дворе! Чего же Митя не сказал ничего? — тягуче пропела она, улыбаясь. Но улыбка вышла вымученной и жалкой.

Захар быстро взглянул на Степаниду, потом хотел еще что-то сказать Фролу, но только махнул рукой:

— Пойдем, Петр Иваныч.

— Да заходите в дом, что же вы? — проговорила Степанида.

— Ну-ка, не мозоль глаза людям! — прикрикнул на нее сверху Фрол.— Пошла в погреб, так иди...

И они разошлись в разные стороны: Захар с Петром Ивановичем — обратно на улицу, а Степанида — в глубь двора, в сарай.

На улице Смирнов несколько раз оборачивался в сторону кургановского дома. Фрол все еще черным столбом торчал на поветях. Упершись грудью о черенок вил, он смотрел им вслед. И Смирнову показалось, что председатель чувствует этот взгляд.

В конторе было жарко натоплено, так жарко, что окна «плакали» крупными ручьями, словно на улице шел дождь. Захар, не раздеваясь, присел к столу и закрыл лицо ладонями.

В другой комнате громыхнули ведром. В дверях показалась Наталья Лукина.

— Надо что-нибудь, Захарыч? — спросила она.

Председатель потер жесткой ладонью защетинившееся лицо:

— Не подъезжали еще члены правления?

— Пока едут.

— Что они, дьяволы! Было же сказано всем — к девяти. Как станут подъезжать, наших собирай.

Захар поднялся и стал расстегивать полушубок.

— Ну и фрукт у вас Курганов этот,— сказал Петр Иванович.— Ночью с ним один на один страшно оставаться.

Председатель, вешая полушубок на гвоздь, посмотрел на Петра Ивановича и пожал плечами.

— Жулик он, по глазам видно! Спекулянт, только что мы убедились! Я боялся, как бы вилами он нас сверху не пырнул...

— Убедились, верно,— тихо проговорил Захар.— А вот вчера он даже мертвую коровенку пожалел. Чтоб не продрать ей бок по мерзлым кочкам, на себе из загона вынес...

— Он лучше бы живых пожалел! Сообразил, когда сеном торговать...

Захар слушал Смирнова, чуть покачивая головой. Когда Смирнов умолк, председатель вздохнул:

— Не верю я все-таки, Петр Иванович, хоть и убедился...

— Что?

— А что сено Фрол повезет продавать.

— Зачем тогда воз навьючивает?

— Не знаю.

Теперь Петр Иванович пожал плечами:

— Тогда я тоже ничего не понимаю. Нянчитесь, выходит, вы с ним... Дело ваше. Я бы такого, попадись он мне на фронте...

— С фронта Курганов, между прочим, пришел полным кавалером ордена Славы...

Редактор удивленно вскинул голову.

— А ты военный. Ты знаешь, что ордена даром не дают...

Смирнов вдруг изменился в лице, опустился на свое место.

— Петр Иванович! — тревожно вскинул голову Большаков.

— Ничего, ничего... Сейчас пройдет.

Тикали на стенке часы, роняя секунды. Тик — секунда, тик — секунда. Капают, как капельки: одна за другой, одна за другой. Капельку с земли не поднимешь, малую секунду не воротишь.

Никогда Петр Иванович не обращал внимания на секунду, не жалел, что она тикнула и прошла без пользы. А теперь отчетливо ощущал, какой она длины. Каждая секунда представлялась ему в виде крохотной черточки. Чиркнула — и нет ее. Звук от маятника еще слышится, еще живет, а секунда умерла уже навсегда. И больше никогда не вернется...

Сыпались и сыпались на пол со стенки секунды, как горошины...

— Ордена, это верно, даром не дают,— проговорил наконец Смирнов.— Но, черт возьми, прямо какой-то заколдованный круг получается. Ведь я чувствую — не любишь ты Фрола. Да и за что любить такого? А защищаешь вот, кажется...

— Не люблю, говоришь, а защищаю? Да нет, не те слова. Не доверяю я, что ли, ему. Впрочем, так же, как и Устину.

— Вот как! А Морозову по какой причине?

— Сложные тут причины, не объяснишь их враз-то. Курганов... Видишь ли, Петр... Я вот до сих пор холостой...

— Да, слышал я кое-что об этой... истории, Анисим как-то рассказывал...

— Анисим? — переспросил председатель.— Ну вот, видишь. Человеческая обида — она долго помнится. Умом я Курганову давно простил, а сердце до сих пор при встрече холодеет к нему. И кроме того, оба, и Устин и Фрол, какие-то... ну, что-то вроде прячут в себе от людского взгляда. А я не могу понять что. Может, пустяк какой... А может, вообще ничего не прячут. А вот сдается мне — и все. Поэтому... не доверяю.

— Не доверяешь?.. Но ведь Морозов бригадир.

Захар бросил карандаш, которым чертил в тетрадке, сказал:

— Ну, с бригадирством его история давняя и сложная. Жизнь, она ведь вообще... не азбука, словом... Когда ставили бригадиром — доверял.

— Но что же произошло, в таком случае? — спросил Смирнов.— И когда?

— Что и когда? — Захар задумался.— Что ж, если поразмыслить, можно и ответить, однако. И насчет Фрола одновременно. Это, пожалуй, как время года меняется, незаметно. Была зима, но когда-то выдался теплый денек. Один, другой... Не заметил. Потом и с крыш закапало. Думаешь — так и должно быть. Снег осел, ручьи побежали, Светлиха вон вскрылась. Все ничего, все это видел не раз. А потом глянешь на луга, а они зеленые. Вон что! А ведь месяц-полтора тому назад вьюга по ним гуляла! Не понятно?

— Не очень,— согласился Смирнов.

— Фрол и Устин — разные люди. Скажешь, допустим, им: сделайте то-то. Фрол угрюмо глянет, едко усмехнется. Но, едва примется за работу — преображается прямо весь. И уж будь уверен, сделает на совесть. Устин — тот по-другому. Тот еще поддакнет — давно бы, мол, сделать это надо, заверит, что выполнит с охотой. И действительно, выполняет всегда. И тоже вроде на совесть. А вот смотришь на него и думаешь: не с охотой ведь, для виду делает. Отчего такое чувство?

— А может быть, это предубеждение какое-то к Устину у тебя, Захар Захарович?

— Оно бы скорей к Фролу должно быть.

— Это-то верно,— согласился Петр Иванович.

— И вот незаметно живут два таких чувства и делают свое дело. А однажды вдруг посмотришь на это будто со стороны — эге-ге! Где снежок был, там травка зеленеет! И наоборот. Корову, говорил я, вчера Курганов пожалел,— медленно продолжал Большаков.— Мертвую. Но он ее и живую жалел. Это

была одна из лучших коров в колхозе. А вот Устин не пожалел. Для него корова есть корова. Скот, в общем. Мелочь, скажешь? Ладно, возможно. Школу-семилетку мы строили — вон она, на взгорочке стоит. Строители известно какие, доморощенные. Моторин тоже недоглядел, вырезали оконные проемы всего метр на метр. «Не город, сойдет,— заявил Устин.— Легче рамы сделать, меньше стекла потребуется». Фрол походил-походил как-то вокруг здания, постоял напротив, покурил. Я тоже осматривал стройку, невзначай подошел к нему. Он покосился на меня, скривил губы: «Строители... Ослепнут ваши котята-ребята в такой-то школе». Неприятно мне с ним вообще разговаривать, а тут еще нашел слово такое — «котята-ребята»... Но подумал-подумал я — велел окна как можно шире разрезать. Признаться тебе — против своей воли велел. Уж очень хотелось наперекор Фролу сделать. Почто же Устин-то не предложил такое, а Фрол? Тоже мелочь? Но две мелкие мелочи — уже одна средняя... А то еще как-то — давно это было — свинарник загорелся от грозы. И дождя-то не было, громыхнуло да ушло. Все лето сушь стояла жуткая, все порохом взялось. А свинарник из смолья был сложен да соломой крыт. В одну минуту морем огня взялся, аж засвистело, загудело так, что и поросячьего визга не слышно было. А свинья перед смертью слышал, как кричит? Вот-вот рухнет свинарник, а в нем около тридцати голов. По тем временам — богатство. Мечемся вокруг, а подойти — где там! Устин-то и рукой махнул, осел прямо на землю — погибло, мол, все.

— А Фрол в огонь полез, что ли? — спросил Смирнов.

— Угадал. Окунул брезентовый дождевик в воду, да и кинулся в огонь прямо, засов из дверей выбивать. Перед этим выплеснул только мне в лицо ведро желчи: «Сгорю — ты первый рад будешь. А на том свете никто не посочувствует даже, что за колхозное добро пострадал...» И распахнул-таки двери, выгнал свиней. А мне в лицо потом, когда я подошел к нему, к обгорелому, опять кинул ядовито: «Вишь, почти ни за что — и спасибо получил. Да я же говорил — за колхозное и сгореть не жалко...»

— Послушать — так он герой прямо у вас,— недоверчиво произнес Смирнов.

Захар Большаков на это ответил чуть изменившимся, обиженным голосом:

— Знаешь что, Петр Иванович... Этого Фрола я бы давно, несмотря ни на что, бригадиром поставил.

— Так за чем же дело?

— За пустяком. Не хочет он. Как-то, вскоре после войны, я пытался уговорить его принять бригаду. А он ответил, заметь, со смешком: «Благодарствуем. Не нуждаемся. Да и... без тебя есть кому в люди меня вывести». Хоть убей, не могу понять, что это означает.

— Издевательство, что же еще!

— Э-э...— покачал головой Захар.— Я-то знаю, когда он с издевкой говорит, когда нет. Чутье особое выработалось...

— Ну что ж,— вздохнул Смирнов.— Но ох же и разделаю я в газете этого Фрола! И заметку озаглавлю «Рвач и спекулянт».

Большаков поглядел внимательно на Смирнова, поднялся, вышел из-за стола. Подойдя к окну, долго смотрел вдоль улицы. И наконец глуховато проговорил:

— Я тебя, Петр Иванович, прошу... ничего о нем не печатать.

— То есть? — удивленно спросил Смирнов.

— Во-первых, сено, в конце концов, его. И мы не имеем права...

— Право?! — загорячился Смирнов.— А он имеет право на спекуляцию? Да еще в такое время, когда...

— Ты погоди, погоди...— Председатель подошел к Смирнову, положил ему руку на плечо.— Ну, вот так. А во-вторых... Я вот тебе объяснил сейчас, что... как бы это попроще выразиться?.. Я объяснил, почему, при всем том недоверии к Устину и Фролу, я больше все же Курганову доверяю. Понимаешь, Петр Иванович, что-то происходит в его душе. И, видимо, давно. У меня такое впечатление, будто у него внутри то затягивается, то опять начинает кровоточить какая-то рана. Но какая? Что с ним произошло? Не знаю. Будто бы ничего такого, никакой особой беды с ним не приключалось — ведь всю жизнь на моих глазах прожил. А поговорить с ним по душам невозможно. Пробовал когда-то, но... И вот...

Большаков помолчал, вернулся к столу, сел.

— В общем, ему и самому живется несладко,— продолжал Большаков.— Но я верю, что в конце концов мужик найдет себя, займет свое место в жизни. Настанет день — сам придет к людям, объяснит все. И потому, Петр Иванович, ничего не надо...

— Ты думаешь, придет? — переспросил Смирнов.

— Я верю в это,— повторил Большаков.

Солнце, видимо, рассеяло туман и стало пригревать, потому что мерзлые оконные стекла начали оттаивать сверху. На подоконниках уже накопились озерки прозрачной талой воды. В этих озерках плавали узкие тряпочки, концы которых спускались с подоконников в подвешенные снизу бутылки. По тряпочкам в бутылки с тихим звоном скапывала натаявшая вода. Капельки капали так же равномерно, как секунды.

— Ну хорошо,— проговорил после минутного молчания Смирнов.— Ладно, Захар Захарыч, с заметкой подождем. Но... знаешь, почему я так подробно расспрашиваю тебя про Курганова и Морозова?

— Не знаю. Я думал — так, случайно зашла беседа.

— Видишь ли... В последнее время по всей области зашевелились сектанты. И у нас в районе есть уже случаи с пятидесятниками, иеговистами...

Захар сдвинул вопросительно брови.

— А жена-то Морозова... да и жена Фрола, говорят, похаживают в молитвенный дом,— продолжал Смирнов.— Вот я невольно и подумал: а только ли жены? Может, и мужья...

— Час от часу не легче! Да ты что?! — воскликнул Большаков.

— А что же? Вон Уваров твой...

История с пожилым колхозником из ручьевской бригады Исидором Уваровым произошла недавно. Недели две назад его вызвали в военкомат, чтобы уточнить и записать в учетные воинские документы все данные о составе семьи. Порог военкомата он перешагнул робко, осторожно присел у стола. А потом вдруг выхватил из рук работника военкомата все учетные документы, изорвал их в клочья, бросил на пол, принялся топтать, выкрикивая:

— Не буду больше оружия брать в руки! Грех убивать себе подобных! Не буду, не буду... Мне времени не хватит прошлые грехи замолить.

Большая семья Уваровых жила на краю Ручьевки тремя домами. Глава рода, старик Евдоким, своего хозяйства не имел и жил по очереди то у одного, то у другого, то у третьего сына. На каждой уваровской усадьбе свирепые псы, в каждом доме коптилки, хотя в селе есть электричество, у каждого Уварова куча грязных, оборванных, испуганных, как зверьки, детей.

Исидор Уваров когда-то был веселым и общительным человеком, в Отечественную войну успел достаточно повоевать, домой вернулся старшим лейтенантом. Но теперь был хмур, неразговорчив, любил уединение. Колхозники объясняли это тем, что осенью сорок четвертого года в Светлихе утонул сын Исидора Ленька, семнадцатилетний долговязый парень, неоднократно бегавший в военкомат с просьбами как можно скорее отправить его на фронт. Старик Евдоким поднял тогда шум на весь район. Леньку искали в Светлихе несколько дней, но так и не нашли.

Исидору все сочувствовали — шутка ли, так нелепо и бессмысленно потерять сына, первенца... Но ожидали, что пройдет время, горе притупится и Уваров отмякнет.

Однако время шло, а Исидор становился все замкнутее. Да и весь уваровский род с каждым годом становился все нелюдимее. Сперва одну, потом другую, наконец и третью усадьбу они огородили глухими заборами. За толстыми воротами забрякали цепями свирепые псы. И вот недавно...

Дело на Исидора Уварова передали в суд. Суда еще не было, чем он кончится — неизвестно, но говорят, что Исидор не признает на следствии себя ни иеговистом, ни пятидесятником, на

все вопросы отвечает односложно: «Вера наша такая — и все... божья вера».

— Да-а... Вот это вопрос ты мне задал,— промолвил Захар.— Да нет, не может быть... Жена Устина — другой вопрос. Но она баптистка. Правда, большой разницы между баптистами и пятидесятниками, кажется, нет. Секта пятидесятников более изуверская — и все. Но мы строго следим за нашими баптистами. Степанида, верно, иногда заглядывает в молитвенный дом. Но чтоб Устин с Фролом сами... Нет, я бы знал... У тебя что, факты есть?

— Фактов нет... Вот я и приехал за ними. Надо бы в газете по религиозникам ударить.

Большаков потер лоб, снова встал, прошелся из угла в угол по кабинету.

— Смутил ты меня, Петр, признаться. Хоть и не укладывается в голове, да, может, за нашей всегдашней суматохой и не все видим, что под носом делается... А факты... Изуверств у наших баптистов никаких не замечается. Основные клиенты Пистимеи, ты знаешь, дряхлые старухи. Община ее давным-давно, считай, с самой войны, не растет. Но один факт у нас вроде есть...

Захар сел на прежнее место, опять потер лоб.

— Черт, а ведь не дает мне покоя твоя догадка... Особенно насчет Устина. Вот тебе трансляция, как говорит Антип... Да, а факт, говорю, есть один, но... В общем, Клавдия Никулина...

— Никулина?! Жена Федора Морозова?! — удивленно воскликнул Смирнов.— Что же она, к баптистам ходит?

— Пока до этого не дошло вроде. А сами старушонки, имею слух, похаживают к ней. Давненько, видать, охмурять бабу начали. Воспользовались, сволочи, великим женским горем. Прошлым летом затащили-таки в свое логово. Мы с Корнеевым случайно там ее обнаружили... Слово дала, что больше ни ногой туда. Но Пистимеины богомолки не отстают от нее, вьются вокруг, как комары.

— Неужели нельзя отпугнуть их?

— Пробуем. Да ведь часового у дверей Никулиной не поставишь...

— С самой Клавдией говорил?

— А как ты думаешь?

— И что?

Захар помолчал.

— Плачет. «Тяжело, говорит, мне». Мы и без того знаем, что нелегко. Клянется, что в молитвенный дом не пойдет. Может, и не пойдет. Да в том ли дело...

— Я с ней тоже обязательно потолкую как-нибудь.

— Потолкуй,— согласился Захар.— Но если бы так просто было — разговорами или там лекциями, статьями... Не тот сорняк, который можно выдернуть, раз нагнувшись.— Захар

встряхнул головой.— Но так просто мы ее не отдадим, драться будем. Главное, что не проглядели. А в статье... Я бы не советовал, Петр Иванович, упоминать о ней сейчас. Попросту говоря, это оглушит ее, и потеряет баба совсем голову, нырнет в самый омут. Понимаешь?

— Да, да,— задумчиво откликнулся Смирнов.

— Вот и добро... Ну, так что там за случаи с этими иеговистами? Это, кажется, подпольная... и скорее политическая организация, чем религиозная секта...

— Да, эта самая,— кивнул Смирнов.— А случаев несколько. И что самое страшное — к детям щупальца протянули. Одна девчонка в районной средней школе собрала подруг и начала их убеждать: Христос уже ходит незримо по земле и занимается подготовкой к священной войне — армагеддону, давно ходит, с тысяча девятьсот восемнадцатого года. В этой войне против сил сатаны будут сражаться сто сорок четыре тысячи воинов. Сейчас наступили, мол, последние дни перед битвой... Учительница одна услышала это. Оказалось, родители девчонки, закоренелые иеговисты, организовали целый кружок — «килку», по-ихнему. «Килку» эту накрыли во время переписки журнала «Башня стражи». Есть такое издание «Общества свидетелей Иеговы», обязательное пособие для иеговистов при изучении Библии. Печатается в Соединенных Штатах Америки и других странах, на многих языках.

— Интересные, действительно, дела,— промолвил Захар.

— А в одном селе нынче летом исчезли вдруг двое парнишек,— продолжал Смирнов.— Родители объяснили — в гости к родственникам куда-то отправили. Прошел месяц, другой — не возвращаются. В школу пора — их нет. Школа и подняла шум,— подозрительно. Оказалось, родители-иеговисты отправили детей на выучку к своим единомышленникам аж в Молдавию... Теперь вот история с Уваровым. Не разобрались пока, иеговист он или пятидесятник. Но ясно одно — сектант какой-то.

— Черт, а мы, понимаешь... Прохлаждаемся мы тут, выходит,— проговорил мрачно Большаков.— У тех же Уваровых сколько раз я бывал...

— Что ж — бывал! Я тоже знаю их, разговаривал не раз со стариком Евдокимом. Насквозь он не просвечивается. А секты обе тайные, глубоко законспирированные. Иеговисты, например, целые типографии иногда прячут. В Томской области недавно одну такую типографию накрыли. Печатала журнал «Башня стражи» на украинском языке. На Украине делали перевод, пересылали рукописи в Томск, а оттуда обратно готовые журналы. Так что по разговорам иеговиста иногда не определишь. Сами они никогда в этом не признаются, пока за руку не схватишь.

— Ну поглядим, чем кончится с Уваровым,— сказал Большаков.— С Уваровых этих, с Пистимеи, с Устина теперь глаз не спустим.

В это время открылась дверь, и вошел Устин Морозов. Вошел, окинул взглядом обоих — Большакова и Смирнова, кисло усмехнулся. Вероятно, он слышал последние слова председателя.

— Что это ты, Устин Акимыч? — спросил Смирнов.— Нездоровится, что ли?

— Извиняйте, коли помешал,— скривил губы Морозов, прошел через весь кабинет, но не сел на стул, а опустился почему-то на корточки, упершись спиной в стену, достал кисет и стал вертеть папиросу.— А насчет здоровья — благодарствуем. Какое теперь здоровье...

Захар глядел на Устина так, словно видел его впервые.

— Распишешь, поди, в газете-то про нас? — спросил Морозов у Смирнова, с трудом вытаскивая толстыми, негнущимися пальцами спичку из коробки. Прикурил. Самокрутка затрещала, словно Устин зажег не папиросу, а свою бороду.— Коровенки, мол, дохнуть в «Рассвете» начали...

— Распишу. Только... про жену твою, про ее молитвенный дом,— сказал Смирнов, ожидая, какое это произведет впечатление.

Но Устин, к его удивлению, отнесся к этим словам совершенно безразлично, даже сказал:

— Валяй покрепче. Она мне самому, холера, все печенки испортила. Дочку, стерва божья, своей заразой заразила.

— А ты куда смотрел? — спросил Смирнов.

— Что я? Я с греха с ней сбился. В карман Варьку, что ли, зашить да с собой таскать?

Наступила пауза, и Захар проговорил, отряхнув прочь все другие думы:

— Ну ладно... Что, Устин, членам правления скажем сейчас?

Морозов молча курил. Черные глаза его смотрели на огонек папиросы холодно, равнодушно.

— Чего скажешь? — произнес он.— У них спросим, посоветуемся.

Поднялся с пола, сел на стул, широко расставив толстые ноги в ватных штанах, и принял свою любимую позу — облокотился о колени и стал смотреть вниз.

В конторе плавали плотные космы дыма. Морозов бросил окурок на пол, наступил на него огромным, тоже черным, домашней катки валенком и растер. Было слышно, как под подошвой валенка перекатываются, словно песок, крупные крошки самосада. Затем открыл дверь в смежную комнату, чтобы выпустить немножко дым, и вернулся на прежнее место. Стул под ним тяжело заскрипел, грозя развалиться.

— Так посоветуемся, говорю,— повторил Морозов.— Хотя, откровенно, не знаю... не вижу, чем поможет этот совет.— Устин зевнул, прикрыл рот и опустил голову. Несколько времени он молча смотрел в пол меж своих колен и добавил: — Я вот, ночами

ворочаясь, всю постель истер. Голова колется от дум. А ничего придумать не могу.

В контору зашел с кнутом в руках Андрон Овчинников, подпоясанный домотканой опояской, молча нацедил холодной воды из бачка, долго пил, двигал заросшим кадыком. Вытерев губы рукавом, сдвинул на затылок тяжелую меховую шапку, открыв желтоватый в синих прожилинах, вспотевший лоб, переступил порог кабинета.

— Одонья за Чертовым ущельем собирать поедем,— сообщил он.

— Там же на прошлой неделе все подобрали,— сказал председатель.— В Пихтовой пади надо посмотреть.

— Бригадир распорядился — за ущелье ехать,— показал Овчинников на Морозова.

— У камышей еще должны быть одонья,— объяснил не спеша Устин.— Мы там стожка четыре ставили. А в Пихтовой пади вы же сами с Егоркой смотрели.

— Сомневаются, чтоб были. С осени все подскребли.

Андрон Овчинников сомневался во всем и всегда. Он сомневался когда-то, в молодости, что трактор сильнее коня. Овчинниковы были вечные бедняки. Андрон хорошо помнил еще братьев Меньшиковых и сомневался, что народ справится с кулачеством. Сомневался, когда увидел в небе первый самолет. Даже когда весь колхоз поголовно высыпал смотреть на проплывающий по небу первый спутник, Андрон, почесав в затылке, изрек: «Вот дьяволы! А все ж таки я сомневаюсь».

И, кажется, только один раз в жизни Андрон Овчинников сомневался более или менее правильно. Слушая толки о «холодной войне», о том, что она может ненароком перерасти в «горячую», Андрон Овчинников произнес однажды свое любимое слово: «Сомневаюсь...— И тут же пояснил: — Черт дергает бога за бороду, а сам крестится».

Случившийся поблизости Митька Курганов поинтересовался еще тогда: «Это почему же он крестится, папаша?» — «А ну как вдарят по рогам-то»,— ответил Андрон.

— Что ж, пусть едут к Камышовому озеру,— сказал Большаков.

— По пути завернут в Кривую балку. Может, там что найдут,— проговорил Морозов.

Андрон опять направился к бачку с водой. Пока он пил, Захар задумчиво выстукивал пальцами по столу.

— Я думаю так, Устин,— промолвил председатель,— попросим колхозников выручить нас из беды. Для себя, хоть и не густо, а каждый накосил сенца мало-мало. Пусть каждый с возик, с полвозика — кто сколь может — привезет к скотным дворам. За колхозом не пропадет. Свою скотину картошкой докормят, отрубями... Найдут чем, если не хватит сена. Вот поговорим с правленцами и попросим. А?

Устин молчал и опять смотрел в пол меж своих колен.

— Все равно некоторые продают... спекулируют сеном. Выждали время,— сдерживаясь, сказал Смирнов.

Устин медленно поднял черную голову и, когда поднимал, мельком взглянул через открытую дверь на Овчинникова. В этом мимолетном взгляде ничего, кажется, и не было, кроме обычной угрюмости. Да разве на секунду проступила еще досада: люди, мол, вон какую трудную задачу решают, а ты болтаешься тут, приспичило тебе пить!..

Андрон поставил кружку на бачок, громко звякнув о железо.

— Попросим, говоришь? — переспросил он у Захара, появляясь опять в дверях.— Сомневаюсь я...

— В чем? — повернул к нему голову Большаков.

— Закон, однако, охраняет маленько крестьянина.

— А ты, Устин, как думаешь? — обратился председатель к Морозову, так и не поняв, что хотел сказать Овчинников.

— Какой может быть разговор,— двинул плечом бригадир.— Центнер-другой могу выделить. И каждый обязан. Не сам по себе достаток приходит — через колхоз. Только вот...— Устин зажал в кулак бороду, подергал ее, будто пробуя, крепко ли она держится. И продолжал: — Только народ так привык к этому, что уже забыл: не было бы подбородка, не на чем и бороде расти.

Большаков в недоумении переводил взгляд с Морозова на Овчинникова и обратно.

— Да что вы, в конце концов, загадки загадываете!

Морозов переставил ноги с места на место и тяжело начал ронять слова:

— Черт его знает, может, в самом деле у меня в котелке что расшаталось. Я подумал — как бы нашу просьбу за приказ не посчитали. И покатится по району... Словом, ты руководитель и должен все иметь в виду... Год-то нынче... Бескормица. И чего греха таить, не при коммунизме еще живем, каждому своя коровенка... То есть я хочу сказать...

— Не можешь ли пояснее? — поморщился Захар.

— Так, видишь, вон Овчинников-то... Покатится по району, как пожар: «В «Рассвете» сено отбирают у людей, как хлеб в тридцатом...»

— Да вы что?! — воскликнул невольно Смирнов.

— А что? — опять спросил Устин, повернувшись к Смирнову всем своим огромным телом. И Петр Иванович ясно прочитал в его по-прежнему холодноватых и теперь чуть насмешливых глазах: вопрос, мол, не так прост, как некоторым кажется, похлебал бы с наше крестьянской каши, воздержался бы от такого возгласа или, во всяком случае, задал бы вопрос не так опрометчиво.

— Во-первых, сейчас не тридцатые годы,— спокойнее сказал Петр Иванович.— Во-вторых...

— Во-первых, во-вторых... и в-двадцать пятых... Есть такая присказка: возьми шубу, да не сделай шуму. А то объясняй по-

том каждому, что никто ничего не отбирает,— перебил Смирнова Устин.— Я к тому, что сделать надо все обдуманно, не директивой. Зря-то нечего народ дергать...

На крыльце колхозной конторы застучало множество ног, и Устин умолк. В кабинет вошли Борис Дементьевич Корнеев, Филимон Колесников, Клавдия Никулина, следом ввалился, чуть не застряв в дверях, грузный и розовый с мороза Игнат Круглов, бригадир ручьевской бригады, за ним интеллигентного вида, в галстуке и тщательно отутюженном костюме Владимир Владимирович Притворов, тридцатитысячник, в недалеком прошлом ответственный работник обкома партии, а сейчас руководитель самой дальней, пятой бригады колхоза, и еще несколько членов правления со всех поселков. Последним порог переступил самый молодой из бригадиров — Юрий Горбатенко, парень, чем-то напоминающий Митьку Курганова.

Кабинет председателя сразу наполнился гулом, смехом, морозом. Люди здоровались, чертыхались по поводу стужи, громко двигали стульями.

Почти всех этих людей Петр Иванович Смирнов знал хорошо. Знал даже их характеры, привычки, слабости. Юрий Горбатенко, например, которого все в бригаде называли попросту «Юрка-бригадир», зимой и летом ходил с распахнутым воротником, был парень крепкий не только на мороз, но и на забористое словцо. Колхозники частенько жаловались председателю на его грубость и бесшабашность, на каждом собрании вкладывали ему «на год с кварталом», но, когда дело доходило до назначения бригадира, в один голос требовали: «Давайте нам нашего Юрку».

Притворов — полная противоположность Юрию. В колхозе сперва было много тридцатитысячников, они стояли во главе чуть ли не всех бригад и других ответственных участков хозяйства. Но мало-помалу, незаметно как-то, покидали свои бригады и участки, переходили на менее видную работу и потихоньку уезжали из колхоза назад, в город. А Притворов не уехал. Как принял бригаду, так и работает по сей день. Его все уважают и в отличие от Горбатенко называют только по имени и отчеству — Владимир Владимирович. Вскоре это будет первый в колхозе бригадир с высшим сельскохозяйственным образованием — он заочно учится в институте.

Таковы были люди, руководившие колхозом, которыми, в свою очередь, руководил Захар Большаков. Сейчас им предстояло найти выход из труднейшего положения, в которое попал колхоз. Как они его найдут?

Это сейчас интересовало Смирнова больше, чем материалы для антирелигиозной статьи. Собственно, ради этого он и приехал в колхоз...

Овчинников все еще топтался в соседней комнате возле бачка с водой...

— Чего время теряешь? Тебя люди ждут. Езжайте,— сказал ему Морозов через открытую дверь.

Члены правления наконец расселись кто где.

Если это заседание правления и можно было назвать заседанием, то оно, очевидно, было самым коротким и немногословным за всю историю колхоза.

Не успел выйти из конторы Андрон Овчинников, не успел Захар раскрыть рта, как в контору заскочил Илюшка Юргин, закричал еще с порога:

— Фролка набузовал прошлогод сена — и пусть дает колхозу! Хочь взаймы, хочь даром. А у меня свой скот кормить нечем, понятно?! Ишь выдумали!!

— Постой, не трещи,— остановил его Захар.— В чем дело?

— Еще дерется, дьявол! Я за это тоже прощать не буду. И не благодетель я вам...

Захар Большаков двигал только бровями. Смирнов и все остальные тоже были не в силах что-либо понять.

Объяснила все Никулина:

— Фрол привез на ферму воз сена и стал сваливать...

Брови Большакова взметнулись и застыли. Он посмотрел сперва на Смирнова, затем на Корнеева.

Опять скрипнул в тишине стул под Морозовым, несмотря на то, что сидел Устин неподвижно.

Клавдия сняла шаль, стряхнула капельки растаявшей изморози. Потом накинула шаль на себя, закрыла плечи и грудь. С недавних пор на собраниях Клашка всегда сидела так, словно старалась отгородиться от всех.

— Ну, Юргин вывернулся откуда-то, заплясал вокруг воза. «Сколь, спрашивает, содрал с колхоза за сенцо?» — продолжала Никулина.— «Да уж не прогадал»,— ответил ему Курганов. Илюшка опять: «У всех берут? Я бы сотни за четыре, ежели по старым деньгам, наклал возик...»

— Врешь! — воскликнул «Купи-продай».— Ни с возик, ни с полвозика у меня нету. Ишь придумала! Тесто немятое...

— Немятое, да крутое,— подал голос Юрий Горбатенко.— А вот ты свою половину никак намять не можешь. Коль обессилел, соседа попроси помочь в беде.

Грохнул хохот. «Юрка-бригадир» начисто убил Юргина: жена у Илюшки, старшая дочь той самой Федосьи Лагуткиной, которая когда-то, давным-давно, приходила в контору к Захару и просила похлопотать об открытии баптистского молитвенного дома, была тощая и плоская, как доска.

Не смеялись только двое — Устин Морозов и Захар, хотя у Большакова глаза делались все уже и уже, ноздри стали подрагивать, а Устин по-прежнему разглядывал что-то на полу.

— Значит... так,— произнес негромко Захар, и смех сразу смолк.

— Фрол и огрел Илюшку сверху вилами,— закончила Клавдия.

Морозов медленно поднял голову, оглядел всех не спеша и проговорил:

— Что ж, нечего, думаю, совещаться нам теперь. Пойду на конный двор запрягать коня. Я думаю, все бригадиры, все члены правления, разъехавшись, объяснят людям. А также личным примером... А глядя на нас, и другие... у кого совесть есть.

Встал и, тяжело шаркая огромными валенками по желтому полу, направился к двери.

...Четверть часа спустя Петр Иванович и Большаков шли обратно к скотным дворам. Полдороги прошли молча. Наконец Большаков спросил:

— Ну и как?

— Что?

— А Фрол Курганов?

— Да-а... Любопытно,— нехотя уронил Смирнов.

— Ну а Морозов?

И снова Петр Иванович протянул, помедлив:

— Да-а...

Глава 13

Устин Морозов в Зеленом Доле живет давно, с середины двадцать восьмого года. Он ехал из Тверской губернии с большой группой переселенцев куда-то на Дальний Восток, но потом изменил свое решение, остался в Сибири.

Вместе с ним остался еще один переселенец — Илья Юргин, низкорослый, чахлый и помятый мужичонка годов тридцати двух.

— Чем же наша глухомань приглянулась? — спросил у них Захар.

— Тихо тут,— ответил Устин.— И удобно: с одной стороны поле, с другой — лес.

— Только вот магазина никакого нету,— вставил вдруг Юргин.— Какая жизнь без магазина! В смысле — тоскливо ведь.

Захару почудилось тогда, что Юргин чем-то вроде обижен, а Морозову, несмотря на его заявление, деревня кажется не совсем удобной...

— Но ежели не по душе мы тебе чем-то, ты прямо так и скажи,— прибавил Устин.— Поедем дальше, места под солнцем много.

— Да я что же... Люди нам нужны, живите. Помогайте вот — будет и магазин, и все остальное.

Те времена были беспокойными и тревожными. И хотя в селах еще не начали вспыхивать амбары, конюшни, коровники, хотя не потрескивали еще ночами выстрелы, люди уже волновались, то целыми группами выходили из колхоза, то приносили снова заявления о приеме.

— Ты не беспокойся, председатель,— тихо произнес Устин,— про Юргина не знаю, а на меня в обиде не будешь.

— А что Юргин? Юргин тоже не в панфары играть приехал,— обиделся Илья.

— Вот видишь,— усмехнулся в небольшую, но уже довольно окладистую бороду Устин. И, потушив улыбку, закончил: — Через тройку лет мне стукнет тридцать. Жене простучал уже третий десяток. Сынишка у нас растет. Словом, семья. Мыкаться по свету не хочу. Уж коли решил тут остаться, буду корни поглубже пущать.

Однако «пущать» эти корни не торопился. Весь остаток лета ходил по селу так, словно никак не мог присмотреться к людям. В колхозе работал ни шатко ни валко.

Зато его жена, Пистимея, красивая, стройная и сильная женщина с голубыми глазами, работала в колхозе отлично. Встречая где-нибудь Захара, она всегда смущалась и прятала покалеченную правую руку. Впрочем, скоро Большаков заметил, что она смущается при встрече с каждым.

Пистимея, несмотря на свою застенчивость, очень быстро, однако, перезнакомилась чуть не со всеми женщинами Зеленого Дола. Особенно ее полюбили за что-то старухи. Позже Захар понял за что — за религиозность.

О ее религиозности он узнал совершенно случайно. Церковь в селе была закрыта сразу после колчаковщины и приспособлена под амбар. Однажды под осень Захар послал Пистимею в этот амбар перетряхнуть старые мешки, отобрать рваные и починить.

Молодая женщина, как всегда, потупилась, упрямо сдвинула брови и, потеребив концы полушалка, сказала:

— Не пойду.

— Это почему же? — удивился Захар.

— Закрыли церковь — ладно,— а глумиться зачем над святым местом?

Перетряхивать мешки так и не пошла.

Через пару дней Устин сказал Захару:

— Жена говорила мне про амбар и мешки. Ты уж не обижайся на нее. Она вообще-то безотказная, сам видишь, а тут...

— Вот уж не думал, что она такая верующая.

— Сам не думал, когда женился. Да и нечего было думать — тогда она ни в бога ни в черта не верила. А потом и пропиталась божьим духом, как тряпка водой.

— С чего же это?

— Тут видишь, какое дело... Поженились мы. Попонятнее — вот с чего начать. Отец хотел выдать ее за кулацкого сынка. Было это аккурат перед революцией, в шестнадцатом. Отец-то ее вечно лохмотьями тряс, но крут был человек. А как напьется — вовсе зверь. Пил, конечно, от нужды... Вот и хотел, выдав дочку за богатого, привстать на ноги. Ну а мы с ней... Ну, как сказать... на посиделках встречались там. Об любви я понятия мало имел тог-

да, слюнявым сопляком еще был. А она уже понимала, что к чему. И заявила отцу: «Ни в какую, хоть руку вот руби». Отец и рявкнул: «Клади на чурбак!..»

Устин рассказывал, сидя рядом с Захаром на пороге той же бывшей церквушки, в которой несколько женщин трясли и починяли мешки. Рассказывал и, опустив голову, глядел на свои запыленные, стоптанные сапоги.

— Значит, он это ей?..

— Он, отец. Она положила руку на чурку и отвернулась. Рассказывала потом — не решится, думала, отец. А он взревел, как... схватил топор. Счастье еще, что всю кисть не отхватил.

Устин помолчал и продолжал:

— Пьяный был в стельку, а тут сразу протрезвел. Да и не шутка... Тот кулацкий сынок сразу к властям. Забрали ее отца-то...

— Что же дальше? — спросил Захар, когда Устин снова замолчал.

— А дальше вот и началось то самое, что никто не объяснит. Отца ее, может, и отпустили бы — не убил же он дочку, да старик убежал из-под заключения каким-то образом. Ночью пришел в наше село Осокино, упал на колени перед Пистимеей: «Прости, доченька, своего отца-дурака! Иди замуж за кого хошь, только прости. И хоть злодей я да хоть ты не шибко бога чтишь, молись иногда за меня. Не поминай меня лихом, я хоть никудышный, да батька твой. И еще раз прости. Я только затем и пришел, чтобы повиниться да прощения попросить. Больше ты меня, однако, не увидишь...» И правда, видела она его живым последний раз. Убегая из-под стражи, он кого-то пристукнул там. Пожаловали за ним по горячему следу. Старик сиганул прямо в окно, побежал. Да куда убежишь! У поскотины догнала его пуля. Вот так все получилось. А Пистимея с тех пор... и начала молиться.

Женщины перестали перебирать мешки и тоже слушали рассказ Устина. Некоторые смахивали даже слезы.

— А мы поженились через год, в семнадцатом,— закончил свой рассказ Устин.— Живем ничего, дружно. Хорошая она для жизни, Пистимея. Только все молится. Как тут запретишь? Да и зачем? Не мешает ведь никому. Сперва непривычно мне было это, а потом привык.

Устин встал, поглядел на погружающееся в тайгу солнце, вздохнул:

— Ладно, пойду. Так что не удивляйся, Захар, когда целый иконостас у нас в углу увидишь. По мне — все эти деревяшки хоть в печку побросать, а ей... Верит она в бога шибко. Ребенка вот долго у нас не было, так она день и ночь иконостасу своему кланялась. Целых семь лет кланялась. В двадцать пятом году бог, как она говорит, дал Федьку. Теперь опять кланяется...

Тут Морозов, увидев, что женщины в амбаре внимательно слушают его, умолк, смущенно переступил с ноги на ногу.

— А чтоб вас... Чего вы тут уши-то понавострили? Прощайка, Захар.

Рассказ Устина произвел впечатление не только на женщин, но и на Захара. Однако на другой же день он с тревогой подумал: в селе своих богомольцев хватает, и православных и сектанток-баптисток, а тут еще одна объявилась. Да к тому же, видать, одержимая. Этак она соберет их всех под свое крыло да еще молодежь начнет сбивать. Вот почему так любят ее все, без исключения, старухи.

Это последнее тоже несколько удивляло Захара. Зеленодольские старухи, исповедовавшие православную веру, хотя и не враждовали с сектантками, но относились к ним неприязненно, почти никогда не разговаривали. Пистимея, судя по всему, была православная. Однако она умела одинаково ладить с теми и другими. Надо будет присмотреться к ней, решил он.

Но время шло, а ничего предосудительного в поведении Пистимеи не обнаруживалось. Ни с какой молодежью дружбы она не заводила, не обращала даже на нее внимания. К старухам, верно, иногда похаживала. Но и то для того лишь, чтобы попросить понянчиться с Федькой.

Зато Пистимея не пропускала ни одного нищего. В те годы их много заходило в деревню. Каждому Пистимея подаст какую-нибудь милостыньку — кусок хлеба, что-нибудь из тряпья. Работала же в колхозе по-прежнему безупречно.

Словом, Захара беспокоил больше сам Устин, чем его жена. Даже Илья Юргин, показавшийся вначале кем-то или чем-то обиженным, работал старательнее, чем Морозов. Правда, у Юргина сразу же по приезде тоже обнаружилась удивительная странность. Не успел он устроиться с жильем, как при встрече с председателем вытащил из кармана не что-нибудь, а небольшой камертон и предложил:

— Слушай, председатель, купи эту штуку.

Захар даже опешил:

— Зачем мне твоя железка?

— Какая железка! — обиделся Юргин.— Необразованность наша! Гамеркон называется. Для производства настройки всяких музык используется.

— Вот что, Юргин. Спрячь свою железку, не смеши людей. А то будет тебе гамеркон.

Фрол Курганов выразился более определенно и понятно, когда Юргин начал вдруг торговать у него складной нож или, в крайнем случае, сменять его на «гамеркон».

— Иди ты к...

Словом, через неделю у него была уже кличка «Купи-продай».

Наступила и почти прошла зима. Устин по-прежнему относился к работе с прохладцей. «Вот тебе и «не будешь на меня в обиде»,— все чаще и чаще думал Захар.— Нет, не пустишь ты, видно, здесь корешки...»

Весной, когда вот-вот должна была вскрыться Светлиха, на середине реки застряла подвода с мешками муки. На помол ездил Андрон Овчинников — запасали муку на посевную. Возвращался ночью выпивши да в темноте вбухался в промоину. Сани накренились, хрустнула оглобля и переломилась. Кони всхрапнули, дернули, но лед под ними затрещал.

Неизвестно, что спасло Овчинникова, «страх или божье провидение», как рассказывал он потом сам. Но Андрон, не выпуская из рук вожжей, соскочил в воду и перерубил как раз купленным — на счастье, видно,— топором вторую оглоблю. Кони выскочили на берег, приволокли на вожжах полумертвого от страха Андрона.

Утром вся деревня высыпала на берег. Сани с мукой еще торчали посреди реки, а вокруг, черная, страшная, бурлила вода.

— Не вздумайте кто за мешками,— предупредил Большаков.— Пусть уж пропадает мука.

— Щедрый больно — колхозным разбрасываться! — послышался голос сбоку.

Это проговорил Устин Морозов. Вывернувшись из толпы с доской в руках, держа ее под мышкой, он ступил на испревший ноздреватый лед и пошел к саням. На другой руке его висел моток веревки.

Ни Захар Большаков, ни кто-либо другой ничего больше не сказали. Все, оцепенев, смотрели, что же произойдет дальше. А Устин шел спокойно, чуть устало, словно возвращался с работы домой и по пути захватил где-то доску, которая всегда пригодится для чего-нибудь в хозяйстве.

Не доходя до саней метра три, положил доску на лед, ступил на нее и уже по доске осторожно стал продвигаться дальше. И по мере того как продвигался, конец доски уходил под воду все глубже и глубже.

Стоя по колено в воде, Устин привязал к задранной кверху отводине саней веревку и пошел обратно. Выбравшись на сухое место, он потянул за веревку. Сани, качнувшись, стали на оба полоза.

На берегу никто не понимал еще, для чего же Устин проделывает все эти штуки: ведь подвести к саням лошадь и запрячь ее было невозможно.

А Устин снова начал осторожно продвигаться по доске к саням. Отвязав веревку, он захлестнул ее конец за передок саней и пошел обратно.

На этот раз Устин размотал веревку на всю длину, а затем попытался притянуть сани к себе.

Только теперь зашевелились на берегу люди, заметался говорок:

— Вона что! Ишь, цыган проклятый...

— Хитрый Митрий, да силой оплошал...

— Порвет, мужики, жилы...

— У черных жилы сыромятные. Вытянет.

— А я сомневаюсь. Я сомневаюсь...— крутился на берегу Андрон.

К берегу бежали уже колхозники с досками, с жердями в руках. Антип Никулин сорвал даже с ближайшей бани черную, закопченную дверь и тоже приволок на берег. Все это побросали на лед, и несколько мужиков, устроив нечто вроде настила, поспешили на помощь Морозову.

Когда сани выволокли на веревку, Устин, ни слова не говоря, ушел домой сушиться. Колхозники быстро подобрали свои доски, только дверь от бани сиротливо чернела метрах в пятидесяти от берега.

— А, черт с ней,— великодушно махнул рукой Антип.— Главное — муку спасли. Вот что значит народ и опять же — обчественность. Обчественное и спасали. А раньше, помню, Филька Меньшиков как-то пьяный со свадьбы ехал, да и втюрился вот так же. Днем. Люди видели. А кто помог? Никто. Не-ет, ныноче все иначе. А Филькина кошева так и булькнула с конями вместе. Филька бы тоже нырнул, да следом Демид катил, веревку ему кинул. Да-а... А двери — черт с ни...

И запнулся на полуслове. Рядом с прутом в руках стояла вдова Марфа Кузьмина, женщина высоченная и суровая, «коньбаба», или «зверюга женского рода», как характеризовал ее впоследствии сам Никулин. Именно ей принадлежала баня, с которой Антип сорвал двери.

— Ну-ка, доставай притвор, сверчок кривоногий,— промолвила она тем голосом, каким произносят приговоры.

— Хе-хе...— попятился Антип.— Какой такой притвор? Дура, это по-культурному дверь называется,— пустился вдруг в поучения Антип, явно выгадывая время, чтоб обойти Кузьмину и улизнуть.

Но Марфа все-таки прижала его к самой кромке льда.

— Люди, э-э! — завопил Антип.— Сбесилась баба, на погибель человека подводит. Граждане!.. Захар!

Но Захара уже не было на берегу, а «граждане» покатывались со смеху.

— Иди, иди, не мотай глазами, как корова хвостом! — еще более повысила голос Марфа и толкнула его плечом.— Иди, кому сказываю!

Никулин упал от толчка, пополз вдоль берега, норовя скользнуть мимо разъяренной женщины.

— Куда? — крикнула Марфа и хлестнула прутом Антипа.

Взвизгнув, Никулин метнулся назад. Марфа тоже шагнула назад.

— Тащи, дьявол косоглазый, притвор! — И прут опять свистнул в воздухе.

Дальнейшее происходило при громовом, накрывшем всю деревню хохоте толпы. Антип все метался на карачках по берегу.

Потом, видя, что это бесполезно, лег на землю, свернувшись калачиком, прикрывая голову руками. А Марфа, широко расставив ноги, хлестала и хлестала его прутом, приговаривая:

— Тащи притвор... Тащи притвор...

В толпе уже многие устали смеяться... Послышались выкрики:

— Да ведь испустит дух Антипка...

— Он в полушубке.

— Какой полагалось, давно уж выпустил...

— Наддай, наддай, Марфа...

И вдруг голос Илюшки Юргина покрыл все остальные:

— Антип! Дык притвор-то открытый. Ты в притвор и ныряй. В притвор!

Никому и в голову не пришло, что это за притвор. Но Антип сориентировался моментально. Он напружился и щукой проскочил между ног Марфы, поднялся и резвее коня побежал в деревню. Хохот, кажется, потряс даже каменный утес, угрюмо черневший невдалеке.

Все произошло так быстро, что Марфа сперва с недоумением смотрела секунды три себе под ноги — куда же исчез Антипка? Потом плюнула на то место, где лежал Никулин, и ушла домой. Дверь от бани унесло через несколько дней, во время ледохода.

Так кончился этот случай с застрявшей посреди Светлихи мукой. Захар посмеялся над приключением Антипа, а Устину сказал откровенно:

— Я думал, что ты хуже, чем есть на самом деле.

Морозов грубовато ответил:

— Мужик не баба. Ту пошарил разок — и видно, что она из себя.

И добавил, помедлив:

— Корова к новому табуну и то не сразу привыкает. А это скот.

Постепенно Устин и в самом деле привык, втянулся в работу.

Как-то Андрон, подвыпив, отказался ходить за плугом. Морозов подошел к нему, встряхнул за грудки:

— Я думал — ты человек. А ты пьяница. Как Захар еще дело повернет, неизвестно. Шутка в деле — чуть подводу с мукой не потопил... За покушение на общественное добро сейчас по головке не гладят.

— Дык я что, нарочно, что ли, с умыслом? Я, конечно, выпимши был, да ведь и темень стояла...

— Чего передо мной оправдываешься? Ты Захару докажи, что не козел.

Андрон мгновенно протрезвел. Поморгав растерянно, он спросил:

— Так это что? Он чего, и вправду подозревает меня... в этом, в умысле?

— Нет, нарочно.

Морозов умел недоговаривать. Сказал — и целый день работал на пахоте за Андрона. А Овчинников, стоя в борозде, долго ещё крякал, чесал пятерней заросший затылок и хмурился, словно мучительно вспоминал что-то.

А вечером спросил у Морозова, когда тот плескал на себя колодезную воду у крыльца своего дома:

— Так, Устин Акимыч. Оно выходит, что кабы ты... то есть если бы провалились эти сани, то ведь окончательно мне бы... Выходит, я тебе должон...

— Ты у меня ничего не брал,— холодно ответил Устин.— Ты перед колхозом виноват.

— Конешно, конешно... Да я что, нарошно? Ить судьба — она без узды. Везет-везет да вывалит.

— Кони-то занузданы были,— насмешливо сказал Устин.— Да, видать, кучеру еще удила требуются.

— Дык вдень их мне, удила проклятые! Только уж, ради бога, развей Захаровы подозрения на меня... Али еще там как...

Вылив на себя всю воду из ведра, Устин взял с изгородины жесткое холщовое полотенце и стал вытираться. Андрон стоял перед ним, как сваренный. Руки Овчинникова висели по бокам, словно плети.

Задубевшая под солнцем, волосатая грудь Устина была уже суха, но он все тер и тер ее, хотя из-под полотенца давно уже, как казалось Андрону, шел дымок.

— А ить мне бы, дураку, никогда не догадаться, что Захар может эдак подумать на меня,— чуть не плача проговорил Андрон.— А ведь сам недавно слушал, как Захар газету читал в конторе про вредительство в каком-то колхозе. Не зря ить читал он. Эдак почитает, оглядит колхозников и в меня глазищи упрет.

— Ну ладно,— смягчился наконец Устин,— чего уж теперь-то... Придумаем что-нибудь. Только гляди у меня! Девка забывает только, что рожать больно...

— Человеческий ты мужик, Акимыч, ей-богу,— проговорил Андрон с благодарностью.— Тут некоторые чешут языки: дурак, мол, Устин, свое, что ли, спасал... А я...

— Кто? — резко спросил Морозов.

— Да разные. Илюшка вон Юргин.

Устин перекинул через голое плечо полотенце, взял пустое ведро и повесил на кол. Потом усмехнулся, окинув взглядом Овчинникова:

— Видишь ли... Не было бы на свете дураков — и умные долго не прожили бы.

— Да я что... Понимаю, конечно. Я и говорю, Акимыч, должон тебе...

— Ладно,— опять сказал Морозов.— Должен, да не к спеху мне.— И пошел в дом.— Ну, заходи, что ли, коли пришел.

Захар Большаков никогда не вспоминал случай с мукой. Андрон Овчинников расценил это по-своему и с тех пор глядел только в рот Устину.

И не только Овчинников. Большинство колхозников, сторонившихся попервоначалу угрюмого, страшноватого на вид Устина, после случая на реке заговорили:

— По виду зверь, а душа, выходит, есть.

— Дык всегда так бывает. Ночью шарахаешься — что за нечистая сила навстречу прет? А днем рассмотришь — человек идет.

— А Устин и днем на черта похож. Надо еще пощупать, не рогат ли.

— Ты у себя наперед пощупай.

И постепенно многие начали относиться к Устину все с большим уважением. Было в те поры у него в характере что-то такое, что привлекало людей. Неразговорчив он был, но добр и отзывчив. Когда у той же Марфы Кузьминой заболел восьмилетний сынишка, Морозов дал ей какое-то редкое лекарство «от внутреннего жара». А жена Устина почти три недели не выходила от Кузьминых, сидела у кровати больного Егорки, помогала по хозяйству и шептала молитвы, пока он не выздоровел. Марфа не знала, как благодарить Морозовых. Как-то она перед праздником хотела помыть полы в доме Устина. Морозов молча поднялся, взял женщину за шиворот и легонько выставил за дверь со словами:

— Ты не обижайся. Это я должен обижаться. Выдумала...

Был Устин и щедр. В праздники двери его дома, который он поставил года через три после приезда в Зеленый Дол, были открыты каждому. Угощал он не богато (где же набраться на всех, да к тому же недавно отстроился, пришлось последнюю одежонку продать), но стакан вина до кусок хлеба с салом находился всякому. Пистимея как-то по-особенному щедро и радостно подносила простенькое угощение со словами: «Не побрезгуйте, люди добрые...» — а потом, спрятав руки под фартук, словно все еще стеснялась обрубленных пальцев, подтверждала свою просьбу доброй улыбкой, теплым и доверчиво благодарным взглядом голубых глаз.

Тот год, когда Устин отстроился, был для Захара памятным и тяжелым. Хотел Захар тоже завести в тот год свою семью и свой дом, да помешал Фрол Курганов...

Тяжело тогда было Захару, что и говорить. Сочувствие высказывали многие, да толку ли в нем... И лишь Устин Морозов сумел как-то так по-мужски скупо и незаметно посочувствовать, что Захару стало легче. Нет, Устин ничего не говорил ему вслух, не жалел, не утешал. Он только холодно и брезгливо сдвигал каждый раз при виде Курганова брови, отворачивался, спешил уйти прочь. И Захар заметил это.

— Брось, не надо...— попросил однажды Захар.— Раз уж так, пусть судьей ему будет собственная совесть.

— Если она у него есть! — впервые сказал о Курганове Устин. Сказал зло, раздраженно. А через минуту добавил тише: — Удивительный ты человек. Не встречал еще таких.

Однако при встречах с Кургановым продолжал хмурить брови.

Недели через три Устин как-то вымолвил осторожно:

— Зашел бы ко мне когда... Чего же ты...

И Захар зашел...

Все было хорошо: и искренне обрадованный Устин, и его приветливая, немного смущающаяся красавица жена, и простенький ужин — картошка с салом да молоко...

Но... это было первое и последнее посещение дома Морозовых.

И ничего вроде не случилось за весь этот вечер. Говорили о том о сем, совершенно не касались ни Стешки, ни Фрола, ни колхозных дел. Устин, сидя за столом, все время держал на коленях сынишку. Он на отцовских руках и заснул... И вдруг, уже прощаясь, Устин сказал:

— Хорошее это дело — своя семья. Вишь, тепленькое что-то на руках, свое... Жинка все другого хочет, я говорил как-то... И правильно. Чего теперь не обзавестись? Дом собственный, жена тоже...

Захару стало неприятно, тяжело, тоскливо. «Чего это он?» — думал Захар потом, всю ночь ворочаясь на своей одинокой постели.

И дело было не в словах Устина, а в его голосе. Послышались вдруг Захару в этом голосе приглушенные злорадные, торжествующие нотки.

А может, почудилось?

А тут еще Наталья, тогда еще Меньшикова, как-то вскоре спросила:

— Откуда он, дядя Захар, этот Морозов?

— Переселенец из Тверской губернии. Не знаешь разве? А что?

— Да больно уж хороший какой-то...— проговорила девушка и торопливо отошла.

Наталье шел двадцать первый год. Выросла она незаметно. После смерти матери жила все в том же домишке на краю села. На работе была одной из первых, но старалась всегда оставаться в тени. Ни вечерами, ни в праздники ее никто никогда не видел. Голоса ее никто не слышал. Поэтому Захар как-то даже удивился, что она заговорила с ним, и заговорила о Морозове.

Мало-помалу прежняя неприязнь к Устину вернулась. Морозов, кажется, заметил это сразу. Захар опасался, что Устин прямо и открыто спросит: «В чем же дело?» Опасался потому, что ответить на этот вопрос был не в состоянии.

Но Устин ничего не спросил. Он только пожимал недоуменно плечами.

7*

Правда, время от времени Устин осторожно пытался разрушить эту неприязнь и снова сойтись поближе. Но Большаков делал вид, что ничего не замечает.

К колхозным делам Морозов относился теперь заинтересованно. Не в пример Фролу, он не пропускал ни одного колхозного собрания, частенько выступал на них, иногда довольно резко критиковал председателя, но всегда за дело, всегда без злости...

Понемногу Захарова неприязнь к этому человеку притуплялась, глохла. Некоторые колхозники стали поговаривать: а не поставить ли Морозова бригадиром? А что же, думал и Большаков, мужик хозяйственный, заботливый.

Но все-таки, хотя нужда в бригадире была, медлил, сам не понимая почему.

Осенью тридцать третьего года у Морозовых родилась девочка. Глубокой ночью, без фуражки, Устин прибежал к Захару:

— Дождались мы! Дождались, Захарыч... Сын есть, теперь дочка! Да порадуйся вместе с нами! Эх, Захар... Жалею я тебя по-человечески.

— Что ж... поздравляю. От души,— сказал Большаков. Морозов уже хватил на радостях стопку, а сейчас вытащил из кармана бутылку самогону.

— Порадуйся хоть моему счастью, Захар. А?

— Я радуюсь. А пить не могу. Завтра начинаем полосу за глинистым буераком жать, чуть свет должен быть там.

— Без тебя не начнут, что ли?

— По стране голод, Устин, гуляет. Просыплем хоть горсть колосьев — грош нам цена...

— Ладно,— Устин спрятал бутылку в карман тужурки.— Я ведь знаю...

Но что знает, так и не сказал. Помолчал, заговорил о другом:

— Женился бы ты, Захар, а? Не нашел бы разве кого... Или все по Стешке сохнешь?

И опять, как несколько лет назад, уловил Захар в голосе Морозова злорадные, торжествующие нотки.

С этого дня трещина между ним и Устином разошлась еще шире. С новой силой заструился по этой трещине холодок.

А бригадиром Устина все же поставил.

— Что же, в обиде не будешь,— проговорил Морозов, как в год приезда.

Устин по-прежнему со всеми был приветлив и радушен, но спуску в работе никому не давал. Если раньше тот же Антип Никулин или знаменитый «Купи-продай» не упускали случая побездельничать, то теперь ходили как шелковые. Даже собственную жену бригадир всегда ставил на самую грязную и тяжелую работу. И Пистимея принималась за нее, перекрестясь, заражая других своим проворством и жадностью к делу.

Год от году росло уважение зеленодольцев к Устину, к Пистимее, которая успевала и колхозную работу сделать, и детей оби-

ходить, и ласковое слово сказать каждому, и кусок хлеба подать нищему...

К тридцать восьмому году «Рассвет» стал одним из зажиточных в районе. «Это заслуга всех колхозников,— сказал на одном из собраний Захар Большаков.— Заслуга Филимона Колесникова, Натальи Меньшиковой, Анисима Шатрова...» Захар перечислил многих, не забыв и фамилию Морозова. И он не мог не назвать ее. Бригада Устина была передовой. О бригаде частенько писали в газетах. Но он не гордился. На завистливые разговоры внимания не обращал, к поздравлениям относился равнодушно. Он даже сказал как-то Большакову:

— Уж если поздравлять, Захар, то тебя. Все успехи бригады знаешь от чего? От бережливости. В крестьянском деле это первый закон. На этом все держится. Если сегодня, допустим, просыпать плицу зерна, завтра оставить на лугу пласт сена, то послезавтра колхозник увидит, что из дырявого мешка пшеница сыплется, и поленится заткнуть. А там дальше — больше, пошло... Осталась копешка сена — пропадай. Выбьет ветер целую полосу зерна — черт с ней, привыкли, мол. Так вот и до сумы недалече, с которыми нищие вон похаживают.

— Верно. Только при чем тут я? — промолвил Захар.

— А при том... Ты забыл, а я помню... В тридцать третьем году это было, в ту ночь, как Варька у меня родилась. Ты сказал тогда: «По стране голод, Устин, гуляет. Просыплем хоть горсть колосьев — грош нам цена...» Хорошие слова, крепко запомнились. Вот я и стараюсь, чтобы ничего не просыпалось. Зернышко к зернышку — глядишь, и на калач вышло. А с калачом уж день прожить можно.

У Морозова действительно не пропадало ни зернышка. Глаз его поспевал всюду.

Однажды Егорка Кузьмин, тот самый, над которым шептала восемь лет назад свои молитвы Пистимея, пропил мешок колхозной пшеницы. Морозов узнал об этом.

— Давай, парень, так договоримся,— сказал Устин струхнувшему Егору.— Вези завтра до света и ссыпь при мне в колхозный амбар четыре куля. С-сопляк! От горшка на два вершка еще не вырос, а уж водку жрать научился! Вылечили тебя, сволоту...

— Устин Акимыч! — взмолился Егорка.— По глупости я...

— Вези! — прикрикнул Устин.— Не то председателю доложу. А это знаешь...

— Ну, не четыре же. Ведь я один всего...

— А это чтоб дольше помнил.

Егор привез. Об этом как-то все же узнали, дошло до председателя.

— Ничего, не надо в суд,— посоветовал Устин Большакову.— Молод парень, легко сломать. А так лучше мозги вправим. Он теперь у меня с глаза не соскочит.

Уж в этом-то Захар был уверен. И Егорка действительно не соскакивал, ходил теперь да оглядывался. И когда — было это, кажется, года за два до войны, в тридцать девятом,— случилась нужда в заведующем молочнотоварной фермой, Устин даже предложил:

— Знаете что... А давайте-ка Гошку Кузьмина поставим. А что? Ничего не заметно за ним плохого теперь. Правда, молод, восемнадцать всего исполнилось недавно. Да ведь смену растить надо. Мы-то вон идем да к низу уж поглядываем... Тут кто-то Меньшикову Наталью предлагает. Баба ведь, куда ей! Не справится.

Назначили все же Меньшикову.

После заседания правления Захар спросил:

— Объясни все же, Устин, почему ты так против Натальи?

— Кулачка она, говорят, бывшая.

— Ну и что? Всякие люди бывают,— сказал Филимон Колесников.— Она честная, хорошая женщина...

Устин вдруг согласился:

— Да вроде ничего баба. А все-таки...

Поднялся, заплевал папиросу, бросил в угол. И, уходя, сказал:

— Гляди, Захар, тебе виднее. Поможем, конечно, ей, если что... А мне казалось, что и Егорка бы ничего...

Через год Наталью Меньшикову пришлось снимать с фермы. Не ладилась как-то у нее работа — то телят волки погрызут, то доярок не обеспечат вовремя транспортом, халатами, флягами. Осенью не успела Наталья закончить ремонт скотного двора, а зимой все увидели, что почти половина коров остались яловыми. Металась Наталья дни и ночи, крутилась как белка в колесе — похудела, высохла. Когда встал вопрос, что же делать с заведующей молочнотоварной фермой, заплакала и сказала только два слова:

— Ладно, снимайте...— И ушла.

Озабоченно крякнул Устин и произнес:

— Ничего. Крепка береза, да на ось не годится — железо ставят. А на колесах служит.

Ни слова не добавил больше Устин. Но всем и так стало ясно: не прислушались, мол, в прошлом году к моим словам...

Вместо Меньшиковой поставили, как снова предложил Морозов, Егора Кузьмина.

Когда все разошлись, Захар потушил лампу, но из-за стола не встал, долго сидел в темноте. Вдруг из угла послышалось:

— Ну что, Захар? Расскажи-ка вслух о своих думах.

Это говорил Колесников.

— Напугал, черт косматый! Я думал — ты ушел.

Филимон подошел к столу, зажег лампу — электричества тогда не было еще. Пока зажигал, тень от его всклокоченной головы, заросшей крепкими, как проволока, волосами, торопливо металась по стене. Потом кинул на председателя свой мягкий, немного с грустным прищуром взгляд:

— Ну? Вижу ведь — точит что-то внутри. А от думы да угрюма первое лекарство — дележ пополам.

— Скажи-ка, что ты о Морозове думаешь? — спросил Большаков.

— Об Устине? Да что о нем думать? Не девка...

Колесников молча вернулся на свое место, в угол. Свет от лампы на столе резал глаза. Захар почти не видел Филимона и переставил лампу на другой конец стола.

— Понимаешь, Филимон... Не кажется тебе: есть в Морозове что-то такое... чего не видим мы...

— Так и в Курганове Фроле есть,— проговорил Филимон.— Тот вообще... глаза от людей воротит. Везти везет, а голову всю жизнь набок, как пристяжная. Черт его разберет, почему! С чудинкой человек...

— Да-а,— шевельнулся Захар,— у каждого из нас своя чудинка. Иначе тихая жизнь была бы, как стоячее болото. Только, когда непонятно, что за чудинка, отчего она,— беспокойно как-то.

— А у Фрола отчего, знаешь? А ведь незаметно, чтоб сильно беспокоился.

— Ну-у... Фрол что? Если, допустим, оступишься где, Фрол ничего, может, и не скажет вслух, только ухмыльнется злорадно. Отворотит морду и еще раз усмехнется. Все на виду. И, кроме того, привык я к этому...— Захар помолчал и продолжал:— Он всю жизнь надо мной ухмыляется. Что ж, видно, не переваривает меня... А Устин обязательно посочувствует, поможет в беде. А про себя... про себя он тоже не ухмыльнется ли? Вот... Понял?

И Захар облегченно вздохнул, точно высказал наконец ту мысль, которая маячила, маячила где-то глубоко, беспокоила его уже не один год.

— Вот что я хотел сказать,— снова проговорил Захар, уже просто и отчетливо.— Вот и сегодня, к примеру... Не показалось тебе, что Устин говорил одно, а сам сидел и думал: «Ага, доруководились, слава богу, с вашей Натальей...»? А? Не уловил?

Неуклюжий, угловатый Филимон Колесников поднялся, потоптался на месте, скрипя половицами.

— Черт!.. Живешь-живешь, а потом и открывается самому себе: да ведь ты сундук сундуком.

Сел, положил на колени узловатые руки с въевшейся землей, будто собирался фотографироваться. Потом снова встал.

— Нет, Захар, уловить не уловил,— неожиданно огорошил Колесников Большакова. И так же неожиданно заявил: — Но ты это верно сказал. До корня, однако, копнул, язви тебя!

— Ну как же до корня, когда ты не уловил? — разочарованно протянул Захар.

— А так... Я улавливаю спустя. Сперва сверкнет, потом уж грянет когда-то. Вот...— И снова встал, затопал по кабинету,

словно хотел продавить половицы. Захар молча наблюдал за ним.— Такой он и есть, как ты сказал. Прямо уж ползучий. Ухмыляется он, ей-богу, теперь это и мне видно. Ладно, Захар, мы его за хвост как-нибудь ухватим да выдернем всего на воздух. Поглядим, как извиваться будет. Дай срок...

Но в течение года Устин своего хвоста не подставил. А большего срока Филимону никто не дал — началась война...

...Из армии Филимон Колесников вернулся поздно — в сорок восьмом. Большаков встретил его на станции. Выпрыгнув из вагона, Филимон сграбастал Захара, долго тискал и мял, точно хотел переломать ему все кости.

— Хватит, хватит! — умоляюще попросил Захар. Отступил на три-четыре шага, оглядел крепкую, словно высеченную из камня, фигуру Колесникова в солдатской гимнастерке.— Ну, медведь...

— Что у нас в колхозе-то? Как жили? Рассказывай.

Захар рассказывал до самого Зеленого Дола, время от времени пошевеливая вожжами.

— Жили несладко, за войну хозяйство подослабло, за три послевоенных года успели кое-что подтянуть, но дел еще невпроворот. Мужиков не хватает, многие вообще никогда уже не вернутся.

— А Морозов как? Писали мне — давненько пришел домой.

— В январе сорок пятого.

— По ранению, что ль?

— Вроде бы.

— Ну и как?

Захар неопределенно шевельнул бровями.

— Ничего, бригадирит. Сделали, говорю, кое-что за три года. Урожай в сорок шестом был так себе, урожаишко. В прошлом году приподняли малость, это помогло маленько отремонтироваться. Домишки всем вдовам подправили в первую очередь. Нынче хлебушка ожидаем хорошо. Вон она, рожь-то, стоит — плечом не раздвинешь. И пшеница ничего... От всего этого Морозов в стороне не стоял, чего зря говорить...

— Так. И про себя не ухмыляется больше?

Захар повернул голову к Колесникову:

— Гляди-ка, запомнил... Кто его знает, Филимон! Особенно приглядываться некогда.

Подъехали к утесу. Высоченный осокорь горделиво стоял на его вершине, легонько полоскал под ветерком в ослепительной синеве неба свою верхушку.

— Вспоминал я почему-то его частенько,— проговорил Филимон, не отрывая глаз от дерева.— Вырастет же красота!

— В сорок втором, кажется, чуть не выворотило его ураганом,— ответил Захар.— Такой бури не видывали в здешних местах даже старики. Ничего, выдюжил. Много веток только обломало. Отрос еще краше.

— Ну а остальные как наши? Егор Кузьмин? Наталья? Слыхал, вернулась она в деревню? — спросил Колесников.

— Наталья что — живет, дочку растит. Егорка, ты же знаешь, еще до войны за работу со злостью взялся. А сейчас все животноводство первой бригады ему под начало отдали.

— Тоже, случаем, не по совету ли Устина?

— Угадал. Но совет неплохой. Мотается Егорка не за страх, а за совесть, несмотря что с костылем еще ходит. Крепко покалечило его, чуть совсем без ноги не остался. Всю войну прошел, а под конец не повезло парню...

— Что ж, поглядим, какие советы еще будет давать Устин,— холодновато проговорил Филимон, когда переправились через Светлиху и въехали в деревню.

— С воспаленной головы все это, однако, у меня было... насчет Устина-то,— через минуту промолвил Захар.— И тебя тогда смутил. А человек как человек. Сына унесла война — тоже не шутка. Словом, наплевать, пожалуй, да все забыть. И повернуться к человеку по-человечески...

— Н-да... Не знаю,— опять неопределенно откликнулся Филимон.— Может, и прав ты.

Один за другим мелькали послевоенные годы Всякое бывало в колхозе — и успехи и неудачи. За то и за другое Устин был ответствен настолько же, насколько и другие бригадиры, сам Захар, все колхозники. За что-то Морозова можно было упрекнуть, критиковать. И Захар не стеснялся это делать, как не стеснялись в районе спрашивать с самого Большакова за колхозные дела.

Но повернуться к Устину «по-человечески» Захар не мог. Умом понимал, что надо, а сердце не подчинялось.

Морозов это по-прежнему чувствовал, видел. И однажды, когда вместе ехали на ходке с поля, Устин неожиданно сказал, шевельнув вожжами:

— Ладно, Захар. Ко мне у тебя с первых дней сердце не лежит...

— Городишь что-то...— неловко промолвил Захар. — Ни к чему вроде...

— Может, и ни к чему,— согласился Устин.— Да ведь от правды куда уйдешь? Ну ладно, говорю, бог тебе судья. Я сейчас о другом — о Фроле Курганове. Если заметил, он меня тоже не особенно жалует. А уж вы-то с ним и вовсе... Ну чисто как собака с кошкой: одна заурчит, проходя мимо, вторая — спину дугой, волос дыбом. Только-только не вцепятся друг в дружку...

— Знаешь же, из-за чего,— глухо уронил Большаков.

— Так ведь дело страдает от этого. Фролка — он мог бы и бригадиром и кем хошь. А он до войны навоз из-под лошадей чистил, после войны тем же занимается. Конюшить любой может.

— Заведующим конным двором поставим. Я к нему ничего не имею.

Кто вас разберет! — покачал недоверчиво головой Устин.

Захар Большаков смотрел, как мелькают цветущие, густо запыленные подсолнухи по бокам дороги. Иногда Устин от нечего делать сшибал их кнутом. Но если удар приходился неточно, подсолнух только вздрагивал, стряхивал с себя облако пыли и, сразу вспыхнув желтым цветом, качался в нем, как солнышко в сером тумане.

— Пробовал я как-то поговорить с Фролом... об этом, об ваших отношениях,— опять начал Устин.— А он окрысился: «Мне с ним детей не крестить!» С тобой то есть...

— Зря говорил,— буркнул Захар.

— Да не дело же это, Захарыч,— повернулся Устин всем телом к Большакову.— Ну, были бы помоложе, можно подумать — все еще из-за девки идет дым, из-за этой Стешки... Тут еще понятно. А сейчас ума никто не приложит...

Долго безмолвствовал Захар. Он пытался понять, сообразить, вспомнить что-то. Что? Да, вот что: были ли в голосе Устина злорадные, торжествующие нотки?! Вроде не было!.. Вроде не было. Но все равно, все равно — каждый подсолнух вон пытается заглянуть ему, Захару, в лицо своим единственным черным, страшным глазом с черными лепестками-ресницами.

— Он не девку отобрал у меня... жену,— тяжело проговорил Большаков.

Устин не пошевельнулся даже, как-то затих. Он больше не сбивал кнутом пыль с подсолнухов. Только когда уже приехали в деревню, сказал чуть слышно, не поднимая глаз:

— Ты прости меня, Захар, если по неуклюжести своей живую рану задел. Забылся я. Да и давно это было, думаю — зарубцевалась уж...

Несколько недель потом Морозов хоть и не говорил ничего, но при встречах с Захаром опускал виновато глаза. Большаков вынужден был сказать ему:

— Да ладно, Устин, чего уж... Не за всякое слово судят...

А про себя Захар опять думал: «Нет, душевный мужик, не камень, чего там. Весь на виду...» И Захару стало неловко. Будто его уличили в чем-то нехорошем...

Не знал Захар, что примерно недели за полторы до того, как пришлось ему с Устином возвращаться с поля, Морозов так же вот ехал этой дорогой вместе с Ильей Юргиным, так же сшибал кнутом черные, запыленные подсолнухи. Ехали почти всю дорогу молча. Но когда один из подсолнухов, срезанный плетью, покатился на дорогу, под колеса, Илюшка Юргин, этот визгливый и глуповатый, по мнению зеленодольцев, «Купи-продай», вдруг сказал негромко и осторожно:

— Как бы твоя головешка, Устин, вот так же не покатилась...

— А твоя? — еле слышно спросил Устин. Он не обернулся, только перестал сшибать подсолнухи.

— Дурак! Моей персоной никто пока не интересуется.

— Так и моей вроде тоже.

— То же, да на варежку похоже... Захар-то все косится вон. Да еще Филимон поглядывает то с одного боку, то с другого. Неужели не чуешь?

Устин не отвечал, только причмокивал беспрерывно на лошадей.

Юргин поежился, как от холода, и продолжал:

— Я ить к чему? Кладка через речку качается-качается, да придет время, переломится. Зябко мне становится год от году. Я хоть в эту войну честно, потихоньку в обозах проболтался. А ты-то, однако...

— Не ори! — крикнул Устин, хотя Юргин говорил и так негромко.

— Туть хоть ори, хоть не ори, а ниточку от клубочка если потеряли где... хоть в ту, гражданскую войну, хоть в эту... да ежели она в руки кому попалась...

Морозов тоже невольно поежился при этих словах, но промолчал.

— Не думал я как-то об этой ниточке, а теперь вот все чаще и чаще, особенно ночами,— признался Юргин.— А тут еще Захарка косится...

Морозов сшиб подряд два подсолнуха, подстегнул лошадь. Она рванула, но метров через пятьдесят опять потащилась шагом.

— Только баба блудливая загодя вожжей никогда не чует,— сказал Морозов и сшиб еще один подсолнух.

— Ну-ну... А то я смотрю — и ухом не ведешь,— с облегчением уронил Юргин.

Морозов только усмехнулся:

— Как говорится, хитер татарин казанский, да хитрей его астраханский.

Не знал Захар об этом разговоре, а то бы понял, конечно, что на виду-то у Морозова только одна борода.

Прошло время, полетели с мотавшихся под ветром деревьев желтые листья. И Морозов однажды спросил у Юргина, когда они присели покурить в затишье за стенкой скотного двора:

— Как Захар-то? Не косится?

— Успокоился вроде. Талант у тебя просто, Устин. Да надолго ли?

Покурили, молча затоптали окурки, чтоб не раздуло ветром огня.

— Ты, Илья, вот что...— сказал Морозов раздумчиво.— Брякни где-нибудь перед отчетным собранием: не сменить ли, мол, председателя нам?

— Зачем тебе? Сам, что ли, хочешь на место Захарки стать?

— А ты попробуй на собрании выдвинуть меня.

— Да объясни в самом деле?! — вконец опешил Юргин.

— Объяснить? Долгое объяснение будет. А коротко так: лапоть только на обе ноги сразу плетется, а сапог — каждый для своей ноги шьют...

Об этом тоже не знал Захар. Иначе совсем по-другому повел бы себя, когда перед самым отчетно-выборным собранием Филимон Колесников вдруг сказал Большакову:

— Ох, Захар, а что, если мы, паря, на ходу спим? С Егоркой Кузьминым сейчас в коровнике чистили. Илюшка Юргин с Антипом отвозили навоз в поле. Вот Никулин грузил-грузил — да матом: сколько, дескать, можно человеку в навозе копаться! «Большакову что — сидит себе в теплых кабинетах, распоряжается: «Привезти сена, почистить коровник...» Сам почистил бы, так узнал, чем краюха хлеба за ужином пахнет». А Юргин: «Это верно, воду если не менять в кадке — протухнет. А за Устина бы весь народ руки поднял. Тот мужик справедливый, антилегентных, можно сказать, людей не пошлет навоз чистить...»

— Ну и что? — нахмурил брови Захар.

— А мимо Фрол идет: «Так чего языки тут чешете? На собрании их и развяжите во всю длину...» Сам усмехается своей усмешечкой: не поймешь — совет дает али в самом деле смеется.

— Пусть болтают,— уронил Большаков.— Придет время для замены — умные люди в глаза скажут.

— Гляди, гляди, Захар! — еще раз предупредил Колесников.

Об этом же через день или два заговорила Наталья Лукина, беспокойно поглядывая в окно конторы, будто боялась, не подслушивает ли кто с улицы:

— Слух идет по деревне нехороший, Захар Захарыч... Люди не знают, что и думать...

— Пусть на собрании и выскажут, что думают,— ответил Большаков и ушел, оставив женщину в недоумении.

Но в голове у Захара все же зашевелились прежние мысли: «Неужели...»

Однако на собрании дело приняло совсем другой оборот.

Едва Илья Юргин встал и, оглядываясь беспрерывно то на Антипа, то на Фрола, спотыкаясь на каждом слове, стал вносить предложение избрать председателем Морозова, в зале установилась полнейшая тишина. Мертвая, неловкая тишина стояла, когда Юргин сел на свое место. Все ждали: что же будет дальше?

А дальше встал сам Устин Морозов, хотя ему никто не давал слова. Покашлял и произнес:

— Ну что же... По-разному высказываются люди, кто как думает и кто как умеет,— начал Устин. Голос его, чуть простуженный, смущенный какой-то, затих в конце длинного школьного коридора — более просторного помещения для собраний в колхозе еще не было.

— За умение тут не спрос, а за ум каждый в ответе! — крикнул с места Анисим Шатров.

А Морозов погладил бороду, оглядел все собрание, остановил на секунду взгляд на Юргине и подтвердил:

— Так...— И усмехнулся.— А ежели ума как раз и нету? Ежели у него голова хоть и не с дыркой, а свистит...

Зашевелились теперь люди, заметался говорок. Юргин привстал было, замотал руками, но Устин осадил его:

— Уже высказался, сиди! Ты что думал, в ладоши бить тебе будут?!

— В панфары! — крикнул кто-то через весь коридор под общий смешок.

— Ты оскорбление человеку вслух не производи! — закричал тонко Антип Никулин.— Мы без твоего произведения в аккурат... Народ знает...

Народ засмеялся еще пуще, не дав закончить Антипу свою мысль.

— Я так думаю: не след нам менять председателя и на дюжину таких, как я,— отчетливо сказал Устин Морозов.— А то цыган доменялся вон — осталась одна уздечка. Хоть в руках носи, хоть на себя надевай...

Раздались было даже аплодисменты, но Устин вскинул голову, свел сурово брови:

— Чего еще! Не артист...— И сел на свое место.

После собрания Захар, шагая вдоль улицы рядом с Колесниковым, сказал:

— Видал? Стареем, однако, мы с тобой, Филимон. Мерещится, как старухам, в каждой бане черт.

Сзади ковылял со своим костылем Анисим Шатров. Колесников только вздохнул при этих словах председателя, а Шатров вставил вдруг:

— Старухи хоть знают, где черти водятся, а где ангелы.

— Вот как?! — остановился Большаков.— Может, и ты знаешь?

— Я не старуха вроде, а пока штаны ношу,— обиделся Анисим и свернул в переулок, к своему дому.

Как бы там ни было, но прежние мысли об Устине уже не тревожили Захара, как раньше. Да, по совести сказать, не было у Большакова лишнего времени, чтоб думать об этом.

И вот сегодня, после разговора со Смирновым, они пришли к нему снова...

Глава 14

Фрол Курганов действительно не особенно жаловал Устина всю жизнь, с первых дней его появления в Зеленом Доле. Вначале он настороженно присматривался к нему, в разговоры с новым односельчанином никогда не вступал. Морозов отвечал ему тем же.

Но через полгода в их отношениях произошла некоторая перемена. Правда, Фрол по-прежнему глядел на Устина тяжело

и угрюмо, как и на всех остальных. Но, в отличие от этих остальных, удостаивал иногда Морозова двумя-тремя словами.

Перемена эта произошла после их встречи с глазу на глаз в тайге, у Камышового озера.

Глухое озеро это, заросшее по краям высоченными камышами, славилось невиданным обилием рыбы и дичи. Может, потому, что рыбаки и охотники бывали тут редко. От деревни до озера по прямой недалеко, километра два, но оно отрезано от Зеленого Дола непроходимым Чертовым ущельем. А в объезд насчитывали в три раза больше.

Фрол любил это тихое и дикое место. Когда случалось ехать или идти мимо, он обязательно сворачивал к озеру, садился где-нибудь в нетронутых, немятых травах неподалеку, слушал, как жестко шуршат камыши, плещет рыба, охотясь за мошкарой и стрекозами, как шумит за спиной, усыпляя, лес, подступивший к самому берегу.

Фрол давно приметил, что камыш шуршит даже в самую тихую погоду. «Ишь растет!» — думалось ему, совсем как в детстве.

Когда он слушал этот шелест камыша, еле уловимый ропот и вздохи тайги, его холодные глаза теплели. Если бы кто заглянул в такие мгновения ему в лицо, заметил бы необычное: суровое лицо Курганова то смягчалось, трогала его неясная улыбка, то хмурилось, мрачнело, точно земля под набежавшей тучей. Фрол будто понимал, о чем шумит тайга, и то одобрял, то осуждал рассказы о ее вековых тайнах.

Зимой высохшие, почерневшие, переломанные осенними ветрами камыши были завалены глубокими сугробами. Лес, согнувшись под белой тяжестью, тоже молчал, как неживой. И только его дыхание — свежий хвойный, царапающий и распирающий легкие запах — не могли убить ни снега, ни морозы.

Здесь, у Камышового озера, этот запах чувствовался особенно остро. То ли оттого, что деревья здесь были густы и могучи, то ли потому, что в этом уголке, защищенном от ветра, было всегда тихо, но нигде Фрол не встречал такого крепкого настоя хвои и снега, от которого он всегда пьянел. Он часто приходил сюда на лыжах просто так, постоять, подышать пьяным настоем, отдохнуть.

Так и в тот далекий-далекий вечер. Он стоял, смотрел на круглые сугробы под деревьями и среди поломанных, спутанных, как толстая ржавая проволока, камышей. Потекли сперва меж белых шапок тоненькие синеватые ручейки. Снежные горки напитывались этой влагой, синь ползла снизу, подбираясь к верхушкам. А когда закрасила доверху, между сугробов струились уже не синие, а фиолетовые ручьи.

Устин подошел осторожно по каргановской лыжне. Но все равно Фрол почувствовал, что уже не один, что кто-то смотрит в спину. Почувствовал и вздрогнул, догадавшись почему-то, кто.

Когда повернул голову, Устин поправил торчавшее за спиной ружье, усмехнулся:

— Я думал, испугаешься...

— Ты что, лихой человек?

Еще раз усмехнулся Устин:

— Каждый, может, сверху тих, а снутри лих.

Дрогнули заиндевевшие Фроловы ресницы. От цепкого взгляда Устина это не укрылось, но он ничего не сказал, только сузил глаза.

— Кто ты? — угрюмо спросил Фрол.— Откуда... такой?

— Для пичуги каждая ветка — дом. А вспорхнула — и забыла, где ночевала,— поблескивая черными глазами, ответил Устин и подошел к Фролу, остановился в двух шагах.— Ну, здравствуй, что ли?

Фрол промолчал. Устин расстегнул две верхние пуговицы и отвернул полушубок, чтобы остудить горячую грудь. Потом огляделся вокруг:

— Ишь как оно тут... молчаливо. Как в церкви. Только грехи замаливать.

Фрол покосился на Устина. Ноздри его раздувались. Сдерживаясь, он сказал:

— Стервятник ты, однако, не пичуга...

И в третий раз усмехнулся Морозов, зловеще, показав на этот раз белые ровные зубы:

— Не знаю... Глаз никому не выклевывал.

И тогда неожиданно для самого себя Фрол Курганов, тяжело и придавленно вскрикнув, ударил Морозова со всего плеча лыжной палкой. Удар пришелся точно по голове. Толстая шапка смягчила удар. Устин поправил двустволку за плечами и бросил:

— Дурак... У меня ружье...

Скинув лыжи, сел в сугроб, положил рядом свое ружье, снял шапку и пощупал голову:

— Дурак и есть. Еще маленько — и расколол бы...— И молча стал закуривать.

Долго еще стояла синь перед Фролом. Он никак не мог понять, то ли вскипевшее отчаяние застилает глаза, то ли качается вокруг обыкновенный вечерний мрак. Пошатываясь, будто ударили его самого, Курганов сделал шаг к Устину, опустился рядом в снег и протянул дрожавшую руку за кисетом.

Потом глотал жадно горький дым. Точно так же, как глотал его на рассвете того дня, когда они втроем — он, Демид да Филька Меньшиковы — заволокли на утес полураздетую Марью Воронову и ее дочку. Кровавый был рассвет, все небо в то утро набрякло кровью. И красные туманы мертво висели над Светлихой, над зареченскими лугами. Там, в этих лугах, еще надрывалась человеческим плачем какая-то птица...

Вместе с кровавым рассветом наступило тогда медленное, звенящее пронзительным звоном в пустой голове похмелье.

А когда начался угар, Фрол не помнил и сам. Может быть, тем дождливым, чавкающим земляной жижей вечером, когда Марья да Захар Большаков, собрав человек двадцать зеленодольских мужиков, повели их в лес, партизанить. Перед уходом окружила партизан толпа баб и ребятишек. Пришел поглядеть на партизан и Фрол Курганов.

— Ну, а ты что, Фрол? — спросила вдруг его Марья.— За бабьи подолы, что ли, прятаться решил?

Подол юбки самой Марьи, мокрый, заляпанный грязью, тяжело свисал до самой земли. Какой-то пиджачишко, подпоясанный веревкой, тоже был мокрый. Марья была словно завернута в него туго-натуго. На голове застиранный платок простенького ситца, завязанный под подбородком. Мокрая прядь волос висела над ее зеленоватыми глазами. И с этой пряди капали и капали в грязь светлые капельки — маленькие стеклянные шарики. Фролу даже казалось, что они звенели.

— Пошто же? — лениво откликнулся Фрол.— Можно и повоевать... с такой командиршей...

И не спеша, вразвалку, выбрался из кучи баб и ребятишек, расталкивая их широченными плечами, встал в толпу партизан.

Кто знает, если бы не эти светлые капельки, падающие с Марьиных волос, может, Фрол и не пошел бы партизанить. Он помнил о них почему-то долго, а потом забыл.

В отряде Фрол Курганов вел себя так, будто дело шло совсем не о жизни и смерти, будто взрослые люди собрались, чтобы поиграть в войну. Если отряд стоял поблизости от какой-нибудь деревни, Фрол оставлял на сохранность Антипу Никулину свою винтовку и, сунув, однако, в рукав финский ножик, тайком уходил к девкам.

Когда Марье стали известны его ночные похождения, он, пожав плечами, невозмутимо заявил ей:

— А я что, с тобой, что ли, играть должен? А то давай... сообразим.

От неожиданности Марья смутилась. И тут произошло невероятное — Фрол тоже растерялся и покраснел.

— Только у тебя и уменья,— тихо проговорила Марья.— Только в этом ты... сообразительный.

Несколько дней Курганов ходил сумрачный и задумчивый. Отряд в то время метался в огненном кольце, пытаясь выйти из окружения. Каратели наглухо заложили все выходы, пытаясь загнать партизан в топкие трясины, выбраться из которых могла разве только птица.

И вдруг Курганов исчез. Даже Антип не знал, куда девался Фрол.

— Ну и черт с ним! — махнула рукой Марья.

— Хе-хе!.. Где-нибудь в постели молодца прихватили. Еще потненького,— высказал предположение Антип.

— А все же, Марья, сменить бы лагерь,— сказал осторожный Захар Большаков.— Что-то все обдумывал Фрол последнее время.

Помолчала Марья, глухо сдвинув светлые брови над глубоко запавшими глазами.

— Н-нет, Захар, что ты! Он блудливый, как кот, а совесть у него вроде есть.

— У него совести, сколь у меня денег,— вставил Антип.— Валялась в кармане копейка, да и ту пришлось разменять.

Отряд все же ушел на новое место, оставив на всякий случай засаду. Но ни в эту, ни в последующие ночи на пустой лагерь никто не нападал.

Фрол явился через неделю, каким-то образом отыскав новое место стоянки отряда. Явился оборванный, окровавленный, с перевязанной головой. Впереди него, согнувшись, как старики, вышагивали гуськом шесть человек в гимнастерках и кителях с погонами, но... без штанов, со связанными за спиной руками. Между собой все люди тоже были связаны, причем довольно любопытным образом: от рук переднего двухметровая веревочная петля тянулась к шее следующего. Если бы кто вздумал бежать, он обязательно повалил бы двух других, намертво затянув петли на их шеях, да и на своей собственной.

Сам Фрол, в колчаковской солдатской форме, помахивая наганом в правой руке, замыкал это необычное шествие. Левой он, как кучер, держал конец веревки необычной упряжки, привязанной к рукам человека с полковничьими погонами.

Грохнул над лесом партизанский хохот, да такой, какого никогда не слыхивали здешние места.

А Фрол невозмутимо выстроил людей в шеренгу, разрезал веревки, скомандовал:

— Стыд за-акрыть! Ну, кому команда сказана?! С женщиной будете разговаривать...

Кругом стоял стон. Партизаны катались по земле.

— Фролушка... Уморил!

— Посади ты их, чтоб пониже были...

— Жестко. Наколются же...

— Полковнику-то подстели хоть...

— Учудил... з-зараза!..

Антип Никулин вопил, будто его резали:

— Святое пришествие! Седьмое чудо!! Держите, братцы-и, изойду хохотом! Наизнанку вывернусь...

Выскочила на смех Марья из землянки, остолбенела на мгновение. Но не удержалась и она. Прыснула совсем по-девичьи себе в ладони и юркнула обратно.

Тогда вышел Захар Большаков, нахмурился, хотя в глазах метались веселые искры.

— Одеть,— коротко приказал он.— Что за парад?

— Обыкновенный. Офицерский,— буркнул Фрол.

— О-ох! — все еще закатывался Антип.— На генеральский бы ишшо глянуть — и помирать можно. Вон какие парады пошли! Раньше при одежде парадили. А ныноче иначе.

Притащили кучу мятых крестьянских штанов. Приведенные Фролом люди торопливо натянули их.

Вышла Марья. Уголки ее губ все еще подрагивали. Фрол встал перед Марьей, вытянул руки по швам:

— Так что докладываю. Его высокоблагородие али, может, превосходительство даже, господин полковник со своими командирами... Все-благородия извиняются, что маленько рожи с перепою опухшие да что без нижних одежд, а проще говоря — что без штанов.

— Как же ты, Фрол, взял их? — удивленно спросила Марья.

— Да уж как... сообразил,— ухмыльнулся Фрол.

Взглянула на него Марья, но ничего не ответила. Только ей одной понятен был ответ Курганова.

— И еще соображаю,— продолжал Фрол,— если пощупать сейчас Дубровку,— брызнут из деревни погонники, как горох с пересохшего стручка. Сами себя подавят, задние передних. Остановить-то некому...

— Захар, собирай людей по тревоге,— коротко сказала Марья.

Из деревни Дубровки колчаковцев выбили действительно легко. Лишившись командиров, каратели лезли под пули, как стадо баранов. Уцелевшие рассеялись по лесу. Отряд вышел из окружения.

Так Фрол никому и не сказал, каким образом удалось ему захватить колчаковских офицеров. На все вопросы лениво отвечал:

— Ночь была, не помню.

Или показывал на свою забинтованную голову:

— Помнил, да, вишь, прикладом память выбили...

А в конце концов заговорил более энергично:

— Да ну вас всех к чертовой матери!

От самих пленных все-таки узнали: Курганов перевязал их сонных, после попойки на мельнице, что километрах в трех от Дубровки.

Фрол ходил все такой же сумрачный и молчаливый, как и до истории с офицерами. Марья время от времени бросала на него тревожные взгляды. Однажды вечером подошла к костру, на котором Фрол варил кашу, присела рядом.

— Что это с тобой, Фрол?

Долго смотрел на огонь Курганов, вертел в руках сосновый сук в руку толщиной. Потом легонько, как спичку, переломил его и бросил в огонь. Смолистый сук мгновенно оделся пламенем, застрелял искрами. Пламя отсвечивало на лице Курганова.

— Вишь ли, Марья, какое дело,— проговорил наконец Фрол.— Вишь ли, как оно бывает... Палка вон — что она? Дере-

вяшка холодная, да и все. А вон... горит... Эх! — И быстро повернулся к Марье, схватил ее, пригнул к себе.

— Фрол! — крикнула Марья, вырываясь из его медвежьих лап.— Пусти!

— Эх, Марья-Марьюшка, тут соображай не соображай... Тебе в горнице бы сидеть да в окошко глядеть,— горячо шептал ей в лицо Фрол.

В эту минуту удар по голове почти оглушил его. Пронзительный звон продавливал уши.

Поднялся Фрол. Обвел диким взглядом взявшуюся откуда-то толпу людей. Захар Большаков стоял с палкой, а Марьи уже не было.

— Кто? — прохрипел Курганов.— Ты, Захарка?!

Большаков бросил палку, спросил:

— Ты что это выдумал, гад, а?

— Г-герой! — бросил кто-то прямо в лицо Фролу.

— Паскудник!

— Горбатого только могила выпрямит.

— Судить подлеца за это...

Фрол выслушал всех и сказал только два слова:

— Судить! Ладно...— Повернулся спиной к людям и сел обратно к костру.

Утром Фрола в отряде уже не было. На этот раз он ушел из него навсегда.

Всю колчаковщину Курганов болтался по лесным деревушкам, жил то в работниках у кулаков, то на иждивении какой-нибудь состоятельной вдовы. А когда колчаковщине пришел конец, вернулся в Зеленый Дол и опять свел компанию с Демидом Меньшиковым.

А вскоре, сырой апрельской ночью 1920 года, приполз в деревню, как таракан, и сам Филипп со своим костылем, набалдашник которого был вырезан в виде человеческой головы. Поводив усами, понюхав, чем пахнет воздух, он остался в селе и наутро.

Потом они в три глотки начали жрать самогон почти круглосуточно. Горланили песни и, озверев, плясали в Филькиной горнице так, словно задались целью проломить половицы.

Как-то проходил мимо дома Антип Никулин. Демид пригласил его зайти. Антип подумал, поколебался и нехотя ответил:

— Н-нет, нельзя мне. Авторитет уроню. Раньше я с вами — эх! А теперь... Текут у кота слюнки, да горшок завязан.

— Кто его завязал? Айда, говорю...

— Дык проясняю же — нельзя,— убеждал Антип скорее себя, чем Демида.— Я пил, конешно, с вами. А ныноче иначе. Все ж таки... поскольку партизан я. Это вам не девки-мальчики...

— Фрол вон тоже партизан. Говорят, немало погубил людей, сволочь... Да что теперь...— проговорил Демид, почти не шевеля тонкими губами.

— Хе! — презрительно свистнул Антип.— Кабы у Фролки голова была не той формы, на чем сидит, он бы... Да они бы с Марьей — о-о! А он нашкодил да сбежал. Потому не пример мне Фролка. И пить — ни-ни... Винцо — оно невинно, да проклято. Разве вот стакашечек один, через окошечко...

Выпив, Антип потоптался перед окном, сплюнул тягучую слюну и продолжал:

— Дык я и говорю — не пример мне Фролка. Я все ж таки с Колчаком воевал, а он по бабам таскался, помолачивал их, как снопы. А потом — вздумал тоже! — возле Марьи блуд почесать... Ну, хорош снопик, туговат, и все прочее в аккурате, да цеп неподходящ оказался. Не тот, проще говоря, цеп. Закричала, конешное дело, Марья. Подскочил Захар — да и ка-ак хряп...

Антип не договорил. Фрол Курганов оттолкнул от окна Демида, схватил Никулина за тощие плечи.

— Блуд, говоришь?! — выдохнул ему в лицо. Сгреб за грудки и затряс.— Блуд?!

— Люди!.. Убива... Партизана убива-аю-ют! — ошалело закричал Никулин.

Фрол оттолкнул его прочь. Потом сел за стол, запустил обе руки в свои волосы, будто хотел выдрать их начисто, и так сидел долго-долго, покачиваясь из стороны в сторону. Ни Филька, ни Демид не решились побеспокоить его, ушли из горницы.

Всю ночь просидел Фрол за столом, не чувствуя, что ночная сырость льется в открытое окно. А утром Филипп осторожно толкнул его в плечо:

— Фрол... Я думал — околел уж... Пей вот,— поставил он перед Кургановым бутылку.— Экое дело — баба не поддалась!

— Чего? — с хрустом выпрямил спину Фрол.

Филька, запрокинув синеватое, в красных прожилинах лицо, несколько раз двинув острым кадыком, выглотнул стакан самогонки. Потом сказал:

— Чтоб не рассыпался сноп, его покрепче вяжут.

— Ну? — уронил Фрол, ничего не соображая.

— А потом на гумно отвозят и там уж молотят.

— Кого? — снова переспросил Курганов, что-то наконец соображая.

— Балбес! — усмехнулся Филька.— А должен понимать: баба не сноп, сколь ни молоти, от нее не убудет.

Тяжело задышал Курганов, сжал пятерней стоявшую на столе бутылку. Филька, обеспокоенно блеснув глазами, вывернул ее из Froловых пальцев.

— Ну-ну, чего ты?.. Не хочешь пить — не пей. Самим сгодится.— И позвал на всякий случай:— Демид! Иди сюда...

Встал Курганов, пнул запутавшийся в ногах табурет. И немедленно вышел из меньшиковского дома на чистый воздух.

Несколько недель жил тихо-смирно. К Меньшиковым больше не ходил, а встретившись на улице, они лишь кивали молча друг

другу. При этом кривились только губы Демида Меньшикова да плескалась в его больших, навыкате глазах едкая насмешка. Филипп же всегда глядел вслед Курганову с прищуром, точно раздумывая о чем-то.

Марья Воронова в это время металась по деревне, организовывая какую-то артель. Фролу наплевать было на артель, да и вообще на все в мире.

Может быть, так прошло бы и десять, и двадцать лет, и вся жизнь прошла бы так, если бы... если бы уехала куда-нибудь, исчезла Марья. Но она не уехала, а Зеленый Дол не город. И всего-то в деревне три-четыре улицы. Как ни обходи церковь, ее отовсюду видно.

И все-таки Фрол старался лишний раз не встречаться с Марьей, а когда сталкивались случайно, опускал нос в землю и, чувствуя, как расползается жар по всему телу, почти бегом пробегал мимо. Марья тоже спешила молча разминуться.

— Ты, Фрол, не вороти морду при встрече с председательшей. Ты посмотри-ка ей в рыло,— посоветовал однажды Демид.

— Зачем это?

— Бабы любят, когда на них смотрят,— подмигнул Демид и пошел своей дорогой.

Тогда-то Фрол и стал замечать торопливость Марьи при их случайных встречах, неловкость. И невольно задумался: почему она-то пугается?

— Ну, приметил, нет, чего? — спросил недели через три Демид.

— Тебе чего? — огрызнулся Фрол.

— Ишь какой свирепый! — растянул Демид тонкие губы.— В сучью свадьбу все кобели бесятся, но ты ведь человек вроде?

— Постой-ка, постой! — угрожающе произнес Фрол.— Ну-ка, объяснись понятней, губа червячья!

— Ладно, руганью меня сейчас не проймешь,— спокойно ответил Демид.— Ты с Аниськой Шатровым объясняйся,— опять непонятно продолжал он.— Вот как раз Анисим шагает...

— Не-ет, я с тобой хочу, шкура! — рванул его за ворот Фрол.

— Мы с тобой — попозже. Все равно сейчас не дойдет до тебя. Ну, отпусти.

Анисим Шатров прошел мимо, молча взглянул на Фрола и Демида. Воспользовавшись моментом, Демид скрылся в переулке. Фрол посмотрел вслед сначала одному, потом другому и длинно выругался, чтоб выплеснуть скопившееся непонятно отчего раздражение.

Однако помимо своей воли Фрол думал и думал теперь о словах Демида. «На что это намекает дьявол пучеглазый?» — точил его ночами беспрерывно один и тот же вопрос.

Неожиданно припомнилось Фролу, что чуть ли не каждый день он встречался последнее время с Анисимом. Однако мало ли кто попадается ему на глаза. Даже вон Марья, как он ни...

И вдруг вскочил Фрол, заметался из угла в угол. Ему показалось, что Анисим Шатров попадается ему на глаза именно потому, что попадается Марья Воронова.

Выбежал Фрол под черное звездное небо, глотнул прохладного воздуха. Но легче от этого не стало — побежал на Светлиху. Скинул рубаху и штаны, завалился с разбегу в мягкие, как подушки, черные волны и поплыл на другой берег.

Потом, голый, долго сидел там на холодном песке, смотрел через речку на маячившие в темноте домики. «Не может быть, чтоб Анисим за ней... Давным-давно она указала Аниське от ворот поворот... Бабы любят, когда на них смотрят... В сучью свадьбу все кобели бесятся...»

И Фрол уж не мог разобрать, где его мысли, а где чужие, Демидовы.

На следующий день он вломился к Меньшиковым, потребовал от Демида разъяснения насчет Анисима Шатрова. Демид растянул по привычке губы, поморгал выпуклыми глазами:

— Ты пойди да у самой Марьи спроси. А мне откуда знать?

У Марьи Фрол выспрашивать не стал. А Шатрова Анисима подкараулил однажды на рассвете у плетня его дома:

— Постой, не бойся. Тут дело такое, Анисим... Откуда идешь?

Жидковат был Анисим против Фрола, но не бросился прочь, только отступил немного назад, стал на всякий случай поудобнее и сказал:

— Чего тебя бояться? Не черт... хоть и объявляешься в глухую пору.

Вопрос Курганова он оставил без ответа.

— Болта́ли вот люди, что от тебя у Марьи дочка...— проговорил Фрол и остановился, подыскивая слова.

— Вот что! — удивился Анисим. И прибавил насмешливо: — То-то вижу — давно мучаешься...

— Нет, ты скажи,— просяще уронил Курганов.

— Святой звон — всегда из церкви.

— Смеешься, гад? — опять тихо, почти тем же голосом спросил Фрол.

— Пусти-ка...

Анисим шагнул к калитке, Фрол схватил его мертвой хваткой за плечо, повернул к себе:

— Мне наплевать, от кого у нее девчонка. Но если ты нынче за ней... Если Демид правду говорит, я тебе ноги выдерну и к голове приставлю. Понял?

— Понял,— проговорил спокойно Анисим. И, чувствуя, что Курганов немного ослабил руку, толкнул изо всей силы его прочь.

От неожиданности Фрол чуть не потерял равновесие.

Опомнившись, Фрол угрожающе засопел и, чуть пригнувшись, пошел на Шатрова. И в тот момент, когда уже готов был смять его, размесить в пыль, Анисим тоже кинулся вперед, напружинил

шею и с разбегу, всем весом своего тела, ударил головой в подбородок Курганова.

Словно ткнувшись лицом о конец бревна, Курганов мешком свалился под ноги Анисима.

— Понял я...— еще раз произнес Анисим тем же тоном.— Но если хоть волос упадет с Марьиной головы, твои волосья вместе с черепом отвалятся.

И, прикрыв калитку, ушел в глубь двора.

Долго Фрол Курганов лежал под плетнем. Потом выплюнул чуть не целый стакан крови. В голове позванивало, под черепом было жарко, точно он и в самом деле уже отваливался, но кто-то плеснул ему в голову ковш горячей воды, а череп поставил на место.

С трудом поднявшись, Фрол побрел вдоль улицы. Брел, пока не оказался за деревней. Повернул обратно. Шел все время прямо, по своим следам, но очутился почему-то не у плетня Анисима Шатрова, а вышел где-то на краю деревни, к самому берегу речки.

Только теперь увидел Фрол, что совсем рассвело, что у синего подножия утеса над Светлихой качаются белые полосы тумана, что камни на берегу стали сизоватыми от утренней росы. Казалось, это были не камни вовсе, а бархатные комочки из мха, пропитанные водой. Наступи — раздавишь такую красоту.

Фрол шел вдоль берега и разглядывал внимательно эти чуть дышащие парком комочки. И вдруг вздрогнул от женского голоса:

— Ой! Чего тебе?

И услышал плеск воды.

Марья Воронова, спрятавшись за валун, наполовину торчавший из воды, смотрела на Фрола испуганно и гневно. На берегу лежали ее платьишко, ботинки и костяной гребень.

Растерянно стоял Фрол возле ее одежды, опустив руки, стоял, точно прикипели ноги к земле, точно там, за платьишком, пропасть, шагни — и загремишь навечно.

— Ну что, ей-богу?! — нетерпеливо и испуганно повторила Марья.— Уходи, бессовестный!

Небольшой валун закрывал Марью только наполовину. Торчащее из-за камня круглое Марьино плечо омывала прозрачная зеленоватая волна. Марья знала, что вода в Светлихе прозрачная, и обеими руками прикрыла грудь.

Но Фрол и не смотрел на ее грудь. Он смотрел на мокрые волосы. Одна прядь висела над ее глазами, такими же зеленоватыми, как вода. И с этой пряди скатывались и скатывались светлые капельки, разбивались о воду, тихонько позванивая.

— Долго будешь держать меня в воде? — беспокойно спросила Марья.

Фрол слышал голос, но не понял вопроса. Он думал, что когда-то видел уже эти шарики, когда-то они капали и капали вот

так... Была ночь, а капельки были светлыми. И падали они в грязь. «Ну, а ты что, Фрол? За бабьи подолы, что ли, прятаться решил?» Это сказал тот же голос, какой он слышал вот сейчас...

— Марья! — просяще вымолвил Фрол.

— Я людей кликну,— пригрозила она.

— Я думал, что забыл эти капельки, Марья,— сказал Курганов, не обращая внимания на ее слова.— Они ведь не в грязь тогда капали, на мое сердце они капали... Вот какие дела, Марьюшка.

— Ты сумасшедший, что ли? Уйдешь ли ты наконец?!

— Сейчас уйдет,— услышал Фрол сбоку голос Анисима Шатрова. Анисим, выйдя из-за дерева, стоял шагах в пяти с железным шкворнем в руках.

Помертвело все в глазах Курганова. А когда черный дым рассеялся, Фрол медленно нагнулся, поднял скользкий увесистый камень и шагнул к Шатрову:

— Обратно ты?! Обратно?!

— Анисим! — пронзительно закричала Марья и, со звоном разбрызгивая воду, побежала из речки.— Фро-ол!

Краем глаза Курганов видел, как мелькают голые Марьины ноги. Явилось вдруг искушение — повернуть к ней голову, оглядеть, какая она, Марья. И было это искушение настолько сильным, что Фрол приостановился было. И, видимо, только однаединственная клеточка мозга предостерегла его — Анисим в это время и звезданет железом по башке.

Фрол мотнул головой, прогоняя искушение, поднял свой страшный камень. И вдруг оцепенел: Анисим сидел на земле, спиной к речке, а шкворень его валялся метрах в десяти. Когда Шатров сел, когда отбросил железную палку — Фрол даже и не заметил.

— Отвернись и ты, дай бабе одеться,— сказал Анисим.— Потом драться уж будем.

От удивления Фрол замер, как парализованный. Только и смог произнести:

— А?!

Медленно опустил руку, с недоумением осмотрел свой камень и разжал пальцы. Камень соскользнул с ладони и гулко ударился о голыши, обкатанные несильной волной Светлихи.

Вроде недолго, всего какое-то мгновение, стоял так Курганов. Но вот уж оказалась возле него Марья и окатила диковато-презрительным взглядом.

— Вы что же, а? Ты, Фрол, что выстраиваешь?

Голос ее прозвучал неожиданно мягко, с материнским укором.

Плотно облепленная розовым ситцевым платьишком, с мокрыми, спутанными волосами, она пахла свежей, словно только что из темного, глубокого колодца, водой. Почему-то именно только об этом думал Фрол, смотря в ее смягчившиеся, даже не-



много виноватые глаза. И еще он подумал, что она, пожалуй, не тяжелее того камня, который он только что выронил из рук.

— Вот так...— произнес Анисим, вставая.— Пойдем, Марья.

И они пошли в деревню. Шагали рядом. Анисим смотрел себе под ноги, а Марья все оглядывалась и оглядывалась. Потом они исчезли за домами.

«Значит, не трепал Демид насчет Анисима»,— жгла и жгла Фрола одна и та же мысль.

Засунул руки в карманы так, что затрещала материя.

— Эх!..

И подхватила Фрола Курганова прежняя угарная волна.

...В тот день по распоряжению Марьи конфисковали имущество Меньшиковых. Одурев от самогонки, Фрол оказался под вечер в ограде Филиппова дома. Филька, синь синем, простоволосый, сидел на высоком крыльце, невидящими глазами смотрел перед собой. Теплый июньский ветер свободно гулял по огромному двухэтажному дому, хлопал дверьми, резными ставнями.

— Филя... Филя, поешь хоть, родимый мой, а!.. Ну, поешь ты, ради господа! — ныла жена Филиппа, остроносая и острозубая, как щука, Матрена, ползая у ног мужа.

— Тятька... пойдем в дом, тятенька-а-а! — размазывала по лицу грязные слезы дочка Филиппа Меньшикова Наташка.

Недалеко возле крыльца, под забором, лежал вниз лицом Демид.

— Ага, растрясли вас, сволочей! — злорадно закричал Фрол.

Он, шатаясь, стоял посреди двора, заложив руки в карманы. Демид, не вставая, поднял с земли черное, как чугун, лицо.

— Уйди отсюда... пока цел,— процедил он.

Но Фрол опустился перед ним на корточки:

— Пойдем выпьем, а? Я угощаю сегодня...

— Над чем смеешься, сволочь? Над горем человеческим?!

— Я над собой, может, смеюсь, понял? Какое у тебя такое горе? У вас горшки да тряпицы, а у меня душу всю, сердце вытрясли, сердце, понял?! В грязь кинули да растоптали! И кровь с него, как с помидора под сапогом, понял?! У тебя есть сердце, а? Э-э...

Махнув рукой, Фрол встал.

— А тряпки — тьфу! — плюнул он.— Да и люди разве вы? — И вышел на улицу.

Потом Фрол уже не знал — то ли день, то ли ночь на дворе, не чувствовал, воду пьет или самогон. Мелькали перед ним то испуганное лицо Марьи Вороновой, то свирепое — Анисима Шатрова, то красное, как распаренная тыква,— Филиппа Меньшикова. Кто-то говорил ему: «Сгоришь от вина, Фрол»; кто-то шептал ему в ухо: «Марья-то с Анисимом сейчас на кровати играет»; кто-то бил Фрола в грудь, пинал в лицо, и снова испуганное лицо Марьи, ее истошный крик: «Убьешь человека! Отойди сейчас же, отойди, говорю!..»

Потом кто-то куда-то тащил Курганова, лил на лицо что-то холодное. И снова табачный дым в пустой горнице Меньшиковых, снова голос Демида:

— Ишь, испугалась она за тебя, отняла. Только все это комедь. Не за тебя она испугалась, а за него, за Анисима. Убил бы он тебя — тюрьма ему. За плечи обняла его и повела. А куда? Известно... Нам все известно. Баба — она что? Днем пуглива, а ночью блудлива.

— Измолочу! — тыкал Фрол кулаком в мягкое Демидово лицо.

— Балбес! Я рассказываю, как тебя молотил Аниська... ногами по роже.

— Ага, это он бил меня, он? — рычал Курганов.

— А ты других помолоти. Филипп тебе давно сказал — от нее не убудет,— шепотом свистел в ухо Фрола Демид.— А отомстишь все же ей, ить смеется она над тобой. И ему,— убил бы тебя, кабы. Вот... А потом, если хошь... Анисим-то плюнет на нее потом... Пей вот давай...

— Анисим по пятам ходит за ней. Караулит он ее,— хрипел Курганов.

— Не укараулит. Пока не рассвело — айда к ней, постучимся тихонько, без шуму... Тряпку в рот — да на утес. А я помогу. Там кричи, не кричи потом — тихо, глухо...

— Не откроет она. Не дура.

— Мне не откроет — тебе откроет. «Пропадаю, скажи, зарезал Аниська, кровью захлебываюсь...»

Фрол ничего не помнил — ни дороги к домишку Марьи Вороновой, ни того, как стучался к ней. Очнулся от тревожного голоса Марьи за дверью:

— Кто?

— Зарезал Аниська, помираю...— шипел Демид в самое ухо.

— Помираю...— повторил Фрол покорно.— Зарезал Аниська...

Вскрикнула за дверью глухо Марья Воронова, забренчала торопливо задвижкой. Распахнула дверь. И снова закричала Марья дико и пронзительно, увидев Меньшикова:

— Фро-ол?!

Метнулась она назад. Оттолкнув Фрола, рванулся в темные сени Демид, следом за ним Филька. Откуда взялся Филька — непонятно. Когда они пошли к Марье, он остался там, на крыльце.

— Девчонке рот затыкай, балда!

Это кричал уже Филька.

«Зачем девчонке-то?» — тупо подумал Фрол. Стоя на крыльце, он слышал возню в комнате, затем в сенях.

А потом угар становился гуще и удушливее, хотя Фрол трезвел и трезвел помаленьку. И это было самое страшное.

Филька сам нес связанную тонкой веревкой Марью, Демид вынес сверток поменьше и крикнул Фролу:

— Айда на утес! У берега лодка у нас...

Шагая в темноте за Демидом, спотыкаясь и покачиваясь, Фрол думал: «Чего он несет такое? Что у Марьи взять можно?»

И вот на утесе Филька, тяжело дыша, сбросил ношу с плеча. поднял острый обломок от скалы, перекрестился.

— Разверни-ка ей голову, Демид.

Демид положил свой сверток на камни, сдернул платок с Марьиной головы.

— Ну вот оно, возмездие божье,— снова перекрестился Филька.— Дыхни еще разок, попробуй напоследок скус воздуха. Помозжил я гадюкам ползучим головешки, теперь ходячим... Привел господь...

В это время выплюнула Марья тряпку изо рта, простонала:

— Фрол, человек ведь ты! Ты все-таки человек, я знаю...

Словно разрезала его надвое Марья своим криком.

— Ну, бей, бей скорей! Почему у тебя руки-то трясутся? Бей! — кричала Марья уже в лицо Фильки. Глаза ее горели в темноте, металось в них белое, прожигающее насквозь пламя.

— Отвернись хоть от смерти... Отвернись...

— Ты боишься! Вы всегда будете бояться нас, всег...

Филька наступил сапогом на Марьино лицо, придавил ей рот, как доской, заорал:

— Демид, заверни ей башку!.. Закрой проклятые глаза!

Младший Меньшиков накинул Марье платок на голову. Она кричала сквозь платок:

— Фрол, запомни — они всегда будут нас бояться... Как черви боятся воздуха, как совы боятся света...

В это время послышался приглушенный детский плач.

— Филька! Демид!! — закричал наконец Фрол, сбрасывая через силу оцепенение.

Поняв только теперь, что происходит, он бросился к Фильке, но Демид кинулся наперерез, толкнул его с разбегу плечом, Фрол откатился почти к самому обрыву утеса, быстро приподнялся на колено, вскакивая...

Филька, в страшном молчании закусив губы, поднял обеими руками над Марьей камень...

Обмяк, распластался, так и не успев встать, на холодных камнях Фрол Курганов. Он уже ничего не видел, не слышал, как простонала еле внятно Марья последним стоном:

— Фрол... дочку...

— Демидка! — захрипел Филька, выхватывая нож с наборной костяной ручкой.— Кончай со змеиным выползком! А то сам я...

— Сей... час, сей... час,— икая, произнес Демид, трясущимися руками запихал сверток в какую-то расселину, принялся закидывать ее камнями, пожухлой травой.

Детский плач доносился все глуше и глуше. Потом его не стало слышно вовсе...

Фролу опять словно кто налил кипятку под череп. Нет, не кипятку — кто-то налил туда несколько пудов горячего жидкого свинца, потому что Фрол, как ни старался, не мог приподнять горевшую голову. А когда все же приподнял, то увидел — Филька спокойно, точно выкапывал из земли полевые саранки, ковырял ножом у Марьи в глазах...

На востоке, где-то у самой земли, надорвался краешек густой темени. В прореху сочилась слабенькая струйка света. Но и эта слабенькая струйка доставала уже до утеса. Синевато поблескивал нож в Филькиных руках. Фигура Демида маячила шагах в пяти — то нагибалась, то разгибалась.

Фрол давно уже чувствовал, что у него остановилось сердце. Он хотел встать, но тело не повиновалось, хотел кричать, но голоса не было. Не было вокруг него и воздуха. А может, и был, да горло кто-то натуго завязал веревкой.

И Фрол начал биться лбом о камни.

Потом затих...

Его растолкал кто-то пинками. В ушах звенело, словно несколько пинков угодило ему в голову. Сквозь этот звон донесся Филькин голос:

— Полегче бы, Демид, шарахнуть его тебе: пьяный ведь он. Ишь разукрасился об камни! Ну, ничего, поменьше пить будет, покрепче на ногах станет... Вставай, что ли...

Курганов сел. Сквозь звон в ушах ему чудилось: заплачет где-то ребенок и затихнет, заплачет — и затихнет...

Фрол никак не мог понять — действительно плачет где-то ребенок или в самом деле чудится?

— Да вставай ты! — снова пнул его ногой Филька.— Осоловел, как божья старуха в престольный день. Светло уж почти.

Ночная мгла рассеивалась. Гулял слабенький ветерок над землей, гасил одну за другой звезды. Те, что еще не потухли, дрожали, как языки коптилок на сквозняке.

А там, где недавно прорвалась темень, стояло уже розоватое зарево. Там горело что-то, ветер раздувал пожарище. Его отсвет багрово окрасил небо, забрызгал длинные и плоские язычки туч, выстеливших весь горизонт.

Медленно повернул Курганов голову туда, где Филька сбросил со своего плеча Марью. Но там ее не было. Она лежала теперь на самом краю утеса, на спине, а голова ее на длинной тонкой шее свисала с обрыва вниз. Демид, беспрерывно вытирая рукавом катившийся с лица то ли от усталости, то ли от страха пот, возился около трупа.

— Еще подвинь, чтоб голова пониже,— бросил ему Филька.— Чтоб прямо в морду рассвет ей бил. Пусть смотрит на рассвет теперь, вражина, пусть любуется... А ты учись, привыкай... Да не дрожи, дьявол.

— Я ничего, я ничего...— беспрерывно повторял и повторял Демид, скаля зубы, как собака.

На месте глаз у Марьи были кровавые ямы. Из них еще сочились алые струйки, мочили распущенные Марьины волосы и маленькими красными бусинками капали и капали с мокрых, тяжелых прядей вниз...

И опять помутилось у Фрола в голове.

Очнулся он от скрипа уключин и от голоса Демида:

— Может... веслом по башке да в речку? Выдаст.

Фрол лежал на дне лодки, в воде. Он чувствовал, как сильно, толчками греб Филька. Открыл глаза и увидел — качается над ним почти совсем светлое небо. Три-четыре не потухшие еще звезды тоже перекатывались вверху из стороны в сторону, как горошины.

Вода хлюпала ему в уши. Иногда вонючие холодные струйки просачивались в его горячий рот. Он жадно глотал их, а потом хрустел песком на зубах.

— Не надо,— тяжело дыша, уронил Филька.— Не посмеет.

Через несколько вздохов добавил:

— Пригодится он мне еще. А теперича так, Демидка,— исчезни отсель навсегда. Да не высовывайся, гляди,— искать будут... А я на крыльце еще денек-два посижу. Для отвода...

Лодка ткнулась в песок. Филька и Демид, чуть не раздавив сапогами Фролово лицо, сошли на берег.

— Ведь заберут тебя, Филя,— протянул Демид.

— Может, и заберут. Но коль ты уйдешь, я выпутаюсь.

— Лучше вместе бы идти...

— Не-ет, тут я кое с кем еще расквитаться должен. С Захаркой вот, к примеру. Ты садись в лодку — и вниз. Пока развиднеет, далече будешь. К вечеру Озерков достигнешь.

— Одеться хоть бы на дорогу...

— Оденут добрые люди. В Озерках к Парфену Сажину зайди. От меня, скажи... Да не забудь, как порог переступишь, на образа помолись. Он надежно укроет тебя. У него есть где укрыться, я-то знаю. И мы всех перехитрим. Тебя везде будут искать, а ты под боком у них отсидишься. Сидеть тебе у него до крещенских холодов да зло копить. Я к тому времени управлюсь и приду.

— А если не придешь?

— Сыть! — Старший Меньшиков замахнулся на Демида.— Как это я не приду? Должен прийти.— Филька помолчал.— Коли посадят, выпутаюсь, говорю. Люди добрые выручат. А если уж нет... если суждено мне... На, возьми вот...

С этими словами Филька достал из лодки костыль с набалдашником в виде человеческой головы. Тот самый костыль, с которым он заявился недавно в село.

— Про девку Серафиму я тебе много раз сказывал, не забыл?

— Нет.

— Коли уж не приду в крещенские морозы к тебе, значит, все. Ну, да слышно ведь обо мне будет что-то. Отправляйся тогда

к этой Серафиме. Парфен скажет, как разыскать ее, а может, сам отведет тебя к ней, как меня отводил. Отыщешь Серафиму — скажи, что брат мой, эту палку покажи. Не потеряй ее, палку-то. И слушайся Серафиму-девку, как меня самого, гляди в рот, понимай с полнамека. Понял? С полнамека! И не дай бог ослушаться. Помни: это не девка даже, а сама сатана в юбке, дьявол в образе человеческом. Ну, да и об сем говорено с тобой не раз. И вообще... зубы береги, чтоб не выбили где случаем. Они пригодятся еще... Ну, все!! Эй, Фролка! Очнись, боров! Вставай!

Вдвоем они выволокли Фрола из лодки, Демид поставил его на ноги, ткнул кулаком в заросший подбородок.

— Держи свой кочан. Ступай домой, отлежись. Лоб перевяжи рубахой — загноится. Да гляди, Фролка! По одной плашке теперь ходим. Проломится — вместе загремим.

Однако Фрол не двинулся с места. Наклонив голову, он мутноватым взглядом смотрел на Фильку, соображая, чем бы его стукнуть по голому черепу. Но ударить было нечем, под ногами один песок. Да и двое их. А ему и с одним сейчас не справиться.

— Ну чего ты? — повысил голос Филька.

— Сейчас,— сказал Фрол и вдруг сел на песок.— Сейчас... Покурить бы...

Трясущимися руками зашарил по карманам. Но табак был мокрый.

— Сверни ему папиросу, Демидка. Да живее, дьявол! Может, продерет зельем мозги.

Через полминуты Демид сунул в рот Фролу зажженную папиросу, Фрол жадно глотал вонючий дым и смотрел туда, где скоро должно было взойти солнце. Там все небо набрякло кровью. И красные туманы мертво висели над Светлихой, над зареченскими лугами. Там, в этих лугах, надрывалась человеческим плачем какая-то птица...

Вместе с этим кровавым рассветом наступало медленно звенящее пронзительным звоном в пустой голове похмелье. А Фрол все глотал и глотал едкие табачные клубы точно так же, как глотает сейчас, сидя рядом с Устином Морозовым в снегу на берегу Камышового озера.

...Наконец папироса прижгла ему губы. Он бросил ее в снег и увидел, как откровенно ухмыльнулся в бороду Устин.

«Глаза никому не выклевывал... Не выклевывал...» — стучало молотком по Фроловым вискам. И неожиданно для самого себя Фрол сказал вслух:

— Ты, однако, похлеще Фильки будешь...

— Какого Фильки еще? — повернулся к нему Устин.

— Не прикидывайся, видать ворона по перьям. Меньшиковыми, сволочь, подослан. Сами-то они боятся сюда... Я думал, сдохли где Демидка с Филькой...

Устин посмотрел теперь прямо в глаза Фролу, пожал плечами:

— Ей-богу, тронутый ты, что ли? Ни с того ни с сего огрел палкой, а теперь о каких-то Демидках да Фильках плетешь.

Морозов поднялся, встал на лыжи, добавил строго:

— Тверской губернии я уроженец, деревни Осокино, понял? — И совсем другим голосом: — Пойдем, что ли. Стемнелось уж. Или ночевать тут будешь?

С этого дня в отношении Курганова к Устину Морозову и произошла некоторая перемена...

Глава 15

Весь день колхозники возили к скотным дворам сено — кто всего несколько пластов, кто полвоза, кто воз.

Устин Морозов снял Митьку Курганова с ремонтных работ и заставил сметывать сено в скирду. Рядом с ним встал Филимон Колесников, решивший, как он сказал, «поразмяться от конторского сидения».

Наверху принимала и раскладывала сено Клавдия Никулина.

— Давай, давай, Клашка, поворачивайся! Это тебе не огурцы считать! — орал Митька, кидая и кидая пласты наверх, стараясь завалить ее с головой.

Он взмок, сбросил сперва фуфайку, потом пиджак. Клавдия тоже дышала тяжело, но не сдавалась, ничего не говорила, и хоть с трудом, но успевала раскладывать пласты.

— Давай, давай, дядя Филимон! — кричал Митька и Колесникову.— Позор на всю деревню — два мужика одну бабу завалить не сумели...

— Ну и язык у тебя, Митяй! — Филимон вытер рукавом мокрую, изъеденную морщинами шею.— Оторви да брось на дорогу...

— Его язык и оторванный не перестанет чесаться,— проговорила сверху беззлобно Клавдия.— Шмякнется в пыль — и там затрепещется, как рыба. Подавайте, что ли,— холодно!

Подъехал, сидя на возу, сам бригадир. Он остановился метрах в тридцати.

— Уберите вот эти копешки, поближе подъеду,— сказал он.

— Сваливай там,— махнул рукой Митька.

— Зачем же? Потом к скирде таскать далеко. Я подъеду.

— Ну, жди тогда.

И снова Филимон и Митька метали сено, а Клавдия укладывала. Наконец Филимон, обессиленный, привалился к скирде.

— Ох и зверь ты в работе! Уморил старика насмерть!

— Отдохни, папаша. Вон помощница идет! — крикнул Митька, не прекращая работы.

К ферме от телятника шла Иринка Шатрова. Услышав Митькин возглас, она вскинула голову, свела брови к переносице, глянула на Курганова:

— А что ты думал, испугалась работы, что ли? — И повернула голову к Колесникову, засовывая поглубже под платок волосы.— Давай, дядя Филимон, какие-нибудь вилы.

— Да нету лишних-то, дочка. Погуляй лучше.

— А то мозоли набьешь, ручке больно будет,— усмехнулся Митька.

— Ты о себе беспокойся,— кольнула его глазами Иринка. И пояснила: — Разговорчив больно, как бы язык волдырями не взялся.

— Опять язык! Тьфу! — в отчаянии сплюнул Митька.— Да я его тряпочкой завязал, чтоб не натереть!

Но Иринка больше не удостоила его даже взглядом, побежала в коровник, принесла вилы.

Потуже затянув платок, она обошла вокруг невысокой еще скирды, прикидывая, с какой стороны легче на нее влезть.

— Садись, закину.— И Митька подставил вилы.

Иринка демонстративно не приняла шутку, воткнула свои вилы в скирду на уровне груди и попросила Колесникова:

— Подержи-ка, дядя Филимон.

Колесников молча подставил плечо под черенок вил. Получилось нечто вроде перекладины. Иринка сильным рывком оторвалась от земли, уперлась о перекладину напружинившимися руками, стала на нее сперва левым коленом, затем правой ногой и, ухватившись за Клашкину руку, оказалась на скирде. И уже сверху бросила Митьке:

— Так что обошлись без вашей помощи. Закидывай лучше сено. Подай мне вилы, дядя Филимон.

Вот теперь-то действительно Митька озверел. Весь засыпанный трухой, он молча, чуть только покряхтывая, швырял и швырял наверх целые копны.

Устин Морозов, сидя на возу, молча наблюдал за тем, что происходит возле скирды. Затем полез за табаком, свернул папиросу. Делал все это не спеша, время от времени окидывая взглядом Митьку, Иринку, Клашку...

В течение нескольких минут не проронил ни слова. Ирина ловко и привычно раскладывала пласты по краям. Вниз она даже и не смотрела. Зато Клавдия нет-нет да и бросала тревожные взгляды на Митьку.

— Не успеваем же, дьявол скуластый! — просяще крикнула она Митьке.— Давай потише!

Это была ложь. Честно говоря, выбившийся из сил Филимон Колесников был уже плохим помощником Курганову. А за одним Митькой они успевали раскладывать сено очень даже легко. Клавдия просто опасалась, как бы в горячке не сломал что внутри себя Митька.

На секунду блеснула в глазах Ирины искорка благодарности — точно светлячок какой трепыхнул крылышками, на мгновение разошлись облегченно ее реденькие брови. И тут же глаза

заблестели снова холодно и колюче, а брови намертво сошлись над переносицей. И она сказала упрямо:

— Чего просить! Он без просьбы сейчас на четвереньки припадет: вилами махать — не языком трепать...

В ответ на это Митька закричал Колесникову, метнув глазами на беспорядочно наваленные вокруг кучи сена:

— Ну-ка, подбрасывай мне его, только ближе! Очисти подъезд, человек ждет же!

Никулина взглянула на Иринку и лишь головой покачала. Хоть и погас мгновенно тот тепленький светлячок в ее глазах, хоть незаметны были движения ее бровей, Клавдия все же уловила то и другое.

И Устин Морозов тоже, очевидно, уловил. Во всяком случае, он потихоньку усмехнулся себе в бороду, будто хотел сказать с завистью к Митьке с Иринкой, с сожалением о прошедших своих годах: «Эх, молодость, молодость...»

Когда Филимон расчистил немножко подъезд к скирде, Устин слез с воза, подвел лошадь вплотную к зароду, развязал веревку и свалил воз. Молча смотав веревку, кинул ее в сани и молча же уехал.

А Митька, Клавдия, Ирина и Филимон Колесников продолжали работать.

Понемногу Ирина начала уставать. А тут еще, как назло, вилы попались с неудобным, коряво оструганным черенком, и Иринка в самом деле набила кровяные мозоли. Но из упрямства, из гордости и еще чего-то такого, что и сама не могла объяснить себе, она не бросала вил. Митька то и дело искоса поглядывал на нее и посмеивался.

— Ну, хватит! — крикнула наконец Клавдия.— Полчаса отдыху! Не знаю, как у вас, а у меня руки, как электрические провода, гудят.

— А ноги — как телеграфные столбы, наверное? — насмешливо осведомился снизу Митька. Однако тотчас бросил вилы, поднял свой полушубок, стряхнул снег и закинул его на скирду.— Укройтесь, прохватит после работы.— Взял с земли свой пиджак, перекинул через плечо.— Филимон, айда в коровью родилку, там тепло.

Митька сделал несколько шагов, но вдруг обернулся:

— А ну, телячья воспитательница, кажи ладони!

Это было так неожиданно, что Иринка, растерявшись, торопливо спрятала руки в карманы фуфайки. Митька ухмыльнулся. Но именно это окончательно вывело Иринку из себя, она выдернула руки из карманов, протянула их сверху к Митьке, отчаянно крикнула, чуть не плача:

— На, смотри, смотри! Скалозуб ты... чубатый!

Она надеялась все-таки — снизу Митька ничего не рассмотрит. Но «скалозуб», обладавший орлиной зоркостью, разглядел. Разглядел и участливо покачал головой:

— Насколько я понимаю в медицине, это действительно мозоли. Ну, ничего, у других бывает хуже.

Если бы не это участие, Иринка, может, сдержалась бы еще. Но тут у нее мелко-мелко задрожала нижняя губа.

— Ну и что? Ну и мозоли! — с обидой крикнула она сквозь слезы.— А ты... ты...

Казалось, теперь-то должен был остановиться Митька, потому что лежачего не бьют. Но он произнес не торопясь, безжалостно, с нескрываемым злорадством:

— Да, понятно. Вилами махать — не телячью шерстку гладить.

И, перекинув пиджак на другое плечо, пошел в коровник.

— Ну чего, ей-богу, над человеком моешься?! Изо рта прям ядовитость так и льется,— сердито проговорил Филимон.

Но Митька даже не обернулся.

Иринке хотелось кинуть ему вслед слова, тяжелые, как булыжники, горячие, как кипяток, чтоб его прибило и обожгло одновременно. И, не найдя таких слов, закусила губу, упала на скирду, провалилась в разнотравье. Клавдия накрыла ее Митькиным полушубком, а затем и сама залезла под него.

Под полушубком было тепло. Иринка, свернувшись калачиком, как котенок, чуть подрагивала.

— Ну чего ты? — мягко сказала Клавдия.— Вот еще...

В ответ на это Иринка прижалась к ней и заплакала навзрыд.

— Почему он такой? За что он меня... так?

— Митька-то? — переспросила Никулина, обняла Ирину. И долго молчала. Иринка всхлипывала все ровнее и тише, как обиженный и теперь успокаивающийся ребенок.

— Любит он тебя, однако,— вдруг сказала Клавдия.

Иринка дернулась всем телом, откинула полушубок, вскочила на колени:

— Ты... что это?! Да он... он... Да ты что? Ты откуда...

— Да я уж знаю,— негромко ответила Клавдия.

Она проговорила это задумчиво и печально, глядя на сухой синий колокольчик, выглядывающий сквозь перепутанные травяные стебли. Колокольчик был как живой, он нисколько не потерял своей синевы. Он был только засохший. Принеси, казалось, его в тепло, поставь в банку с водой — и он расправит лепестки, зацветет.

— Я знаю,— повторила она тихонько, чтобы не сломать, вытащила цветок и стала нюхать.— Гляди-ка, и пахнет!

— Н-нет, не-ет! — крикнула Иринка, упала обратно в сено и зарыдала тяжелее прежнего.

Клавдия осторожно положила сухой колокольчик сбоку, снова укрыла Иринку и легла сама.

Она дала Иринке выплакаться, а потом сказала ласково:

— И ты его любишь, Иришенька...

8*

На этот раз Иринка затаила дыхание. Только бешено и звонко барабанило сердце.

Клавдия, прижав к себе Иринку, слушала и слушала этот стук. И почему-то пьянела, почему-то кружилась у нее голова. И старалась она еще что-то вспомнить, но не могла.

— Разве... разве... она такая? — еле слышно спросила Ирина. Слово «любовь» девушка не могла выговорить. Она по-прежнему не шевелилась и теперь, кажется, не дышала.

— Она всякая бывает, Иришенька,— прошептала ей в ухо Клавдия, легла на спину, заложила руки за голову и стала печально смотреть в небо.

Над деревней пролетел какой-то маленький самолетик. Он был так высоко, что казалось, совсем не двигался, а висел неподвижно, точно вмерз в небо, как камень в голубую толщу льда.

Иринка наконец шевельнулась, приподнялась. Но, встретившись взглядом с Клавдией, прикрыла глаза, словно от нестерпимо яркого света, и опять нырнула под полушубок.

— Глупенькая ты, ей-богу! — вздохнула Клавдия.

— Я думала... что цветы в это время цвести будут,— спустя минуту прошептала Иринка, высунула голову из-под полушубка и тоже стала смотреть в небо.— И рассвет будет особый... Голубой-голубой. Потом...

— Рассвет? Цветы? — думая о чем-то, переспросила Клавдия, протянула руку, опять взяла колокольчик, высушенный когда-то солнцем, а потом морозами, и стала смотреть на него.— А если полдень? Огурцы горками насыпаны... И полдень, полдень... Солнце прямо над головой...

И, помолчав, задала еще один вопрос:

— Как думаешь, я сумею еще раз... полюбить?

— Да ты о чем, тетя Клаша?

Иринка уже сидела и удивленно, во все глаза, смотрела на Клавдию. Опомнившись, Никулина тоже быстро поднялась, обхватила Иринку за шею, прижалась щекой к ее горячему лицу, воскликнула:

— Дура я, ой, дура! Ты не слушай, Иринушка. И будь... осторожна будь...

— Как... осторожна?

— Митька — он ведь...— Но дальше Клавдия не знала, что сказать, а главное, не была уверена, нужно ли говорить.— Видишь, какой он, Митька...

— Какой? — еще раз спросила Иринка.

— А может, другой он теперь,— произнесла Клавдия со вздохом. И, будто опасаясь, что Иринка станет задавать новые вопросы, вскочила на ноги.— Ну, где наши мужики? — И закричала в сторону коровника: — Э-эй! Филимон! Кончайте перекур!

Первым к скирде подошел Митька. Глянул наверх, улыбнулся во весь рот. Хотел что-то сказать. Но Иринка, презрительно

сложив губы, спихнула ногой полушубок со скирды и отвернулась.

Митька сразу помрачнел, спросил у подошедшего Филимона:

— Это всегда так было — красоты у девки на фунт, а спеси в пуд не уложить?

— Подумаешь! — фыркнула Ирина.— Остряк-самоучка! — И отвернулась.

Филимон Колесников посмотрел сперва на Иринку, потом на Митьку и ответил как-то странно:

— Эх вы, ребята-голуби...

Клавдия ничего не сказала. Только снова вздохнула.

Глава 16

Дом Морозова, срубленный из толстых, в обхват, бревен, с небольшими квадратными окошками, пропускавшими внутрь очень мало света, чем-то походил на самого Устина. Он, как и его хозяин, был молчалив, тих, угрюм и, казалось, одинок, хотя стоял в одном ряду с другими домами.

Когда-то вокруг дома не было никакой ограды. В те времена его двери днем и ночью стояли распахнутыми, а оконца без ставен приветливо улыбались каждому прохожему, приглашая в гости. И люди, будто откликаясь на этот зов, заворачивали к Морозовым, неизменно встречая радушие хозяев.

Постепенно приветливость и радушие Морозовых убавлялись, как убавляются воды Светлихи по мере наступления знойных дней. Люди заходили к ним все реже и реже.

Устин всю усадьбу, включая большой огород, спускающийся по уклону до самой реки, обнес плетнем, на окна сделал дощатые ставни. Дом теперь глядел в улицу через плетень своими оконцами как-то грустновато, обиженно.

Огораживая дом плетнем, зеленодольцы делают обычно простенькие, тоже плетенные из прутьев, ворота и калитку. Устин же, к удивлению колхозников, ворота поставил добротные, из толстых досок, на тяжелых столбах в рост человека.

— Чего смешишь народ? — спрашивали некоторые Морозова.— Пришил к сермяге бобровый воротник.

— Федьку, дьяволенка, никак дома не удержишь. Снует, челнок, туда-сюда,— объяснил Устин.

— Пусть снует, чего тебе? Не потеряется, шестой год мужику.

Однако Морозовы большей частью держали ребенка дома. Целыми днями парнишка слонялся по двору, завистливо поглядывая через плетень на улицу.

Из года в год двор зарастал мягкой невысокой травой. Когда родилась Варька, Пистимея часто клала ее в тени на эту травку. Девочка часами лежала безмолвно, глазела в небо, словно хотела там что-то высмотреть.

— А там боженька, Варварушка... Боженька там,— меняя под ребенком пеленки, ласково говорила Пистимея, остро поблескивая глазами.— Подрастешь вот и молиться ему будешь.

— Ну да, боженька... Галки одни летают там,— нередко вставлял Федька.

Пистимея качала головой или грозила сыну обрубленным пальцем и говорила сурово:

— Вот заложит поганую глотку, так узнаешь, кто там... Убирайся с моих глаз!

— А ты открой ворота, я уйду... Вечно на замке держите!

— Какие тебя замки удержат, козла бездомного! — ворчала Пистимея, возясь с дочерью.— В избу ступай! А то отец вон уйдет тебе!

Федьку действительно замкнутые тесовые ворота давно уже не держали. Он просто-напросто, едва улучал минуту, перелезал в любом месте через плетень и убегал из дому до самого вечера. Варька же так и выросла за плетнем. Тогда в колхозе уже были детские ясли, но Пистимея носить туда ребенка наотрез отказалась. Пока кормила грудью, на общественные работы почти не ходила. А потом просила нянчить Варьку то одну, то другую старуху.

Подрастая, девочка все чаще и чаще подходила к плетню, смотрела сквозь его дыры на улицу так же подолгу, как на небо.

— А чего ты? Пойдем,— перемахивая через плетень, сказал однажды Федька, когда девочке было года четыре.

— А как я? — спросила она, задирая головенку.

— Вот еще... Давай пересажу, да и все. Чтобы матка не увидела только...

Но, хотя Федька был на восемь лет старше сестры, пересадить ее через высокий плетень не мог.

— Ладно,— сказал он Варьке.— Да не хнычь ты... Завтра я вон там, на огороде, дырку в плетне проделаю. Поняла?

...Бессчетное количество раз заделывал Устин Федькины лазы. Только заплетет таловыми прутьями дырку в одном месте, Федька тотчас проделает в другом.

— Э-э, черт, да что это за дети! Хоть глухим заплотом всю усадьбу обгораживай! — вскипел в конце концов Устин.— И эта мокроносая свиристуха от дома отбилась. Взять бы их обоих да стукнуть голова об голову!..

Пистимея словно испугалась, что Устин тотчас же выполнит свою угрозу, схватила дочку, прижала к себе:

— Что говоришь-то, одумайся! Долго ль, в самом деле, ребенка с ума свихнуть? Не трогай ты ее, не пугай мою касатушку. Уж я сама как-нибудь с ней, сама...

...Высоким и глухим забором обносить свой дом Устин не стал. Сына все равно не удержал бы никакой забор, а дочь, испуганная, пришибленная, сидела в самых дальних комнатах дома с книгой в руках и слабеньким детским голоском бубнила: «Да

будет свет,— приказал бог,— и стал свет... И назвал бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сотворил бог рыб больших и вечную душу животных... И увидел бог, что это хорошо... И был вечер и было утро: день пятый...»

Немного погодя девочка, закрыв глаза, повторяла и повторяла на память: «Адам родил Авеля и Каина: Каин родил Еноха, Енох родил Ирода; Ирод родил Михаила...»

— Не Михаила, доченька,— Мехиаеля. А Михаил — это архангел, сокрушивший дьявола Сатану, который хотел сесть на небесный престол самого господа. Хотел, да попал со своими шаромыжниками, что хотели помочь Сатане, прямо в ад, в котлы горючие. Ну, мы дойдем еще до сего места. Мехиаеля, говорю, родил Ирод...

— «Мехиаеля...— покорно повторяла девочка.— Мехиаель родил Мафусаила; Мафусаил родил Ламеха; Ламех родил от жены Ады Иавала и Иувала да от жены Циллы сына Тувалкиана и дочь Ноему...» Мама, мама, а почему у этого Ламеха было сразу две жены? — спросила однажды девочка.

— Тьфу, бессовестная! Можно ли такие речи вести?! — рассердилась мать.— Сказано в писании, что две жены,— значит, две. Нам, грешным, не понять, зачем да почему. Ты читай и проникайся! И повинуйся слову божьему. Ибо, как изложено в писании: «И сказал Ламех женам своим: «...жены Ламеховы! Вникайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро». Поняла?

Варька ничего не поняла, потому что эту бессмыслицу вообще никто не в состоянии, видимо, понять, но очень испугалась. С тех пор она никогда ничего не спрашивала, а лишь «проникалась» и «повиновалась», по нескольку раз в день вместе с матерью принималась креститься и кланяться то в правый угол, где висел металлический медный крест с распятым Иисусом Христом, то в левый, где перед раскинувшим хищные крылья иконостасом тускло мерцала лампадка.

Девочка ничего не спросила даже тогда, когда из дома исчезла и лампадка, и все иконы, а мать перестала креститься и кланяться, все молитвы возносить богу стала на коленях. Варька молча выслушивала разъяснения матери, что они с ней «сподобились», что открылась им «истинная» вера в Христа, что иконы и лампадка им теперь не нужны, что бог теперь у них постоянно живет в самой душе, и именно этому богу, а не тому, который нарисован на иконах, будут они молиться и что вера их называется теперь баптистской.

Еще мать говорила иногда:

— Православную-то церковь не открыть теперь в селе. Где уж! И церковь саму надо, а она, эвон, под амбаром. Опоганили, да и отдаст разве Захар! И попа надо, и колокол, и все церковное имущество... Кто даст, где взять? А молитвенный домишечко, бог

даст, откроем. Четыре стены, потолок — и вся недолга. И дело легче, и шуму меньше...

Из всех этих объяснений Варька поняла ровно столько, сколько из процитированной когда-то матерью речи двоеженца Ламеха. Она знала теперь твердо одно: где-то в небесах есть всемогущий бог, которому следует безропотно подчиняться. Богу надоело сидеть на иконах, и он, кажется, переселился в их с матерью души. Мать в порыве благодарности за это по нескольку раз в день падала на колени и воздавала хвалу господу богу. Варька тоже безоговорочно опускалась на колени и тоже шептала бездумно заученные со слов матери молитвы...

Но сегодня Пистимея молилась в горнице одна. Молилась уже давно — с той минуты, как Устин наложил воз сена и повез к скотным дворам.

Варвара сидела на кровати в своей маленькой комнатушке и через открытую дверь глядела на мать.

Пистимея стояла на коленях и, прижав руки к груди, бормотала:

— Христос наш всевышний, благодетель и судия, воздаем хвалу тебе, принявшему за нас, грешных, муки мученические. Ты, властитель наш и властелин единственный всего живого и мертвого на земле, помнишь и благословляешь нас, подвергающих себя Христовым испытаниям, и ждешь нас в эфиры светлые, и даешь нам блаженства вечные. Ибо сказано у твоего ученика Матфея устами святыми: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное». Изрек твой раб преданный также: «...кто унижает себя, тот возвысится». Припадаю к стопам твоим я, овца послушная, раба покорная, и, припадая, молю смиренно: как на учеников твоих сошел в пятидесятый день воскресения твоего дух святой, так пусть сойдет он на меня, рабу грешную, чтоб получила я духовный дар, чтобы ощутила я благодать божью и уразумела языки иные... Сподобь поговорить меня с тобой, сподобь! Сподобь! Сподобь!!

Пистимея начала все громче и громче повторять это бесконечное «Сподобь!», поднялась с колен, воздела руки кверху, запрокинула голову, затряслась. Платок упал с головы, седые волосы растрепались, разлохматились, она застонала и, не то хохоча, не то плача, забегала по комнате, выкрикивая:

— Слышу, слышу! О господи, покарай меня, грешную, и дочь мою, и чрево мое... Красно небо да раздавит нас. Вместо рогов бараньих произрастают на лбу змеи ядовитые, с семью жалами каждая. Извиваются и тянутся к дочери моей, верно... Елистафарет... На горе Синайской... В Вирсавии... В землю Мориа ходил Авраам... Я знаю, знаю, сказал бог: «Возьми сына живого, единственного твоего, которого ты любишь... И пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». И пошел Авраам, праотец святой... Ибо завет господень — просящему у тебя дай... Авраам... Елистафарет...

О господи! О господи, возьми меня вместе с дочерью!! Или возьми меня вместо нее!! О гос...

И тут Пистимея упала на пол, начала кататься от стены до стены, колотить в крашеные доски оголенными ногами, продолжая выкрикивать непонятные слова...

Она каталась, корчилась, стучала ногами минут пятнадцать. Наконец откатилась в самый угол и, словно застряв там, забилась еще сильнее. Но силы, видимо, оставляли ее уже, она билась все медленнее, простонала последний раз и затихла. Только время от времени по всему ее телу прокатывались судороги.

Варвара на все это глядела безучастно. Глаза у девушки были пустыми, холодными, словно остекленевшими. По всему лицу ее была разлита такая же холодная, неживая, как у мертвой, бледность.

Наконец Пистимея пошевелилась, встала, подняла платок, пошатываясь, как пьяная, побрела в комнату к дочери, чуть не споткнувшись о порожек. Со стоном опустилась рядом с дочерью на кровать, погладила Варвару по голове:

— Доченька моя... Страдалица святая... И ты молись, молись... Недолог срок — откроются врата святые, райские...

Варвара отшатнулась от матери. Ей казалось, что она гладит ее не рукой, а скребет по голове холодной, крепкой, как кость, палкой.

— Ну чего ты, доченька? Тоскливо, что ли? Молись еще, и снизойдет божья благодать на грешную твою душу. Как на мою.— Пистимея нагнулась и доверчиво прошептала тихонько в ухо дочери: — Сподобилась опять я... Опять духовный дар получила. Разговаривала с господом, слышала его голос и понимала... Вот только не видала лика его. Но увижу... И ты услышишь глас божий, а может... и увидишь его, с венцом сияющим... коли поусерднее молиться будешь. Ведь благоволит к тебе господь наш... Опять о тебе спрашивал. Спокойно, не сердясь, вопрошал так: не вошел ли уже блаженный дух в твою душу? Терпелив господь. Я утешила — недолго ждать ему...

Молчала Варвара, смотрела все тем же взглядом перед собой в пустоту. Потом подняла руку, начала растирать под левой грудью, словно там что-то саднило, горело. А Пистимея продолжала нашептывать в ухо сухими губами:

— Счастье какое — господь увидел тебя и нарек своей избранницей! Тело твое, доченька, с рождения помечено святым крестом, и господь зовет тебя откликнуться на святой зов, просит засушить его на святые мощи. И никуда не уйти от божьего глаза, от божьего зова. Сказано у Матфея: «Отдавайте кесарево — кесарю, а божье — богу». Плоть твоя греховная еще сопротивляется, оттого и мучаешься, горишь, как в огне. И вечно гореть будешь — на этом и на том свете, если не согласишься. Про таких-то изречено в Евангелии: «И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубовный». А согласись — и тотчас

разольется благодать по всему телу, войдет в душу облегчение, обмахнут тебя святые крылья, погасят огонь, тебя съедающий... Да ведь все равно, доченька, земная жизнь — путь к небесной. Мы и живем лишь святой надеждой на благословенный миг избавления от бренного тела. Лишь на одре смертном явится тебе, дочери господней, чудесный свет Христов. Явится и засияет. Будет душа твоя облечена в новое, бессмертное тело, глухое ко греху и соблазну. И станешь ты хозяйкой небесного Ханаана...

— Н-нет! Нет!! — из последних сил шептала полуобезумевшая, вконец измученная беспрестанными уговорами Варвара, упала на кровать и сунула голову под подушку.

Пистимея встала с кровати, помолчав, произнесла сухим властным голосом:

— Встань! Подними глаза свои бесстыжие!

Варвара покорно поднялась, посмотрела на мать. Та стояла прямая, страшная. Седые, спутанные после «разговора с богом» волосы торчали из-под платка, казалось, вздыбились во все стороны на ее маленькой головке, острый, высохший от времени нос побелел.

— Молись, негодница! Молись, пока не проймет твой ум божья воля,— пошевелила она ввалившимся ртом,— пока не очистится душа твоя от соблазна поганых. Ишь что выдумала — в клуб ихний, в гнездо греховное, бегать!

— Мама! Маманя...— упала на колени Варвара, обхватила худые ноги матери.— Я ведь дочь твоя...

— Ты дочь богова,— бесстрастно проговорила старуха.— Молись! Не жалея усердия, молись! И прозреешь... И увидишь — язык-то у Егора раздвоенный, как у гада ползучего.

— Как ты можешь, как можешь...— простонала Варвара.

— На кого ропщешь? — чуть повысила голос мать.— Могу, потому что знаю — раздвоенный. И не только Егора, эту Анисимову внучку чтоб за версту обходила мне...— Помолчала, пожевала губами.— Ну да господь накажет эту свиристуху мокрогубую. Вот попомни, доченька, скоро у внучки Анисима загорится все внутри, закорчится, заизвивается она от жара, ее съедающего. Уж я помолюсь об этом. Будет знать, как залазить грязными лапами в душеньку твою...

Пистимея оттолкнула от себя дочь.

— Было еще мне видение сейчас: снизошел ангел, посланец бога, и передал слова господни: «Мать и отец вольны над жизнью и смертью детей своих...» Гляди — не дашь согласия тело свое на мощи святые высушить, родительской волей, родительской силой... положим тебя на святую скамью. Свяжем и положим...

— Отец не разрешит! — в отчаянии крикнула Варвара, извиваясь на полу.

— Бог позволил, а отец мне что? Заговорю его святой молитвой.

Пистимея нагнулась, снова погладила Варвару по голове сухими, словно окостеневшими уже пальцами, вытерла мокрые глаза дочери и помягче проговорила:

— Так что готовься, доченька, ко посту последнему и потому великому. На пресвятую троицу, в духов день, и начнем, благословясь.

В это время послышался скрип отворяемых ворот, неторопливые шаги во дворе. Через минуту в кухню вошел Устин. Топчась на вздрагивающих половицах, он разделся и молча сел в горнице у окна. Смотрел в мерзлые стекла и думал о чем-то, запустив пальцы в отпотевшую в тепле бороду.

Варвара поднялась с пола, упала грудью на кровать, уткнула лицо в подушки.

Устин встал и вошел в комнату Варвары, отодвинув плечом не успевшую посторониться жену, и все так же молча стал смотреть на вздрагивающее тело дочери. Варвара чувствовала отцовский взгляд на своем затылке, и этот взгляд еще глубже вдавливал ее голову в подушки.

С минуту в комнате стояла тишина. Она была такая вязкая, тягучая, необычная, что Варваре казалось: сейчас замрет, остановится тикающий маятник часов-ходиков, остановится все на свете — ее сердце, жизнь за окном. Низкое солнце на небе тоже остановится, начнет блекнуть, потухнет, разольется чернота по всей земле. И уже никогда не наступит день, никогда не растают снега, не зашумят травы на полях, не просвистит в лесу птица...

— Вот, батюшка, Устин Акимыч, владыка ты наш,— вкрадчиво и покорно проговорила Пистимея измученным голосом.— Поганый бес вошел в душу нашей дочери, рвет ее тело когтями железными. Господь снизошел до нас, грешных, и внушил мне: «Пусть жертвует раба Варвара грешное тело на святые мощи — и сгинет бес, войдут в душу нашей дочери вечные блаженствия...» А она противится счастью своему и воле господней...

Варвара оторвала тяжелую голову от подушки, сползла с кровати, упала на колени перед отцом, как за несколько минут до этого перед матерью.

— Нет! Не-ет! Отец мой родненький...

Устин сел на табуретку. Варвара, обхватив его колени, как только что ноги матери, прижалась к ним горячими щеками. Волосы ее, собранные на затылке в тяжелый узел, рассыпались, закрыли грязные Устиновы валенки, черными волнами растеклись по полу.

— Но велика милость господня, и потому он, мудрый и всемогущий, не наказывает Варвару за неслыханное ослушание,— скрипела Пистимея, тыча обрубленным пальцем куда-то вверх.— Он только говорит, являясь после молитвы в ослепляющем сиянии: «Дите глупо, родительский долг — наставить на ум». И еще: «Родительская воля — моя воля». Вот я и думаю, Устин

Акимыч: на троицу, в духов день, помолившись, начнем готовить дочь для святого дела...

Подняв заплаканное распухшее лицо, Варвара с мольбой поглядела обезумевшими глазами в бесстрастное, словно окаменевшее, лицо отца.

— Батюшка,— прошептала она,— не слушай ее, не соглашайся... Стану ноги твои мыть и воду пить, буду следы твои целовать... До самой смерти буду...

— Дура! — подскочила к ней мать.— Тебе бессмертие готовят, а ты о смерти думаешь...

— Ну! — движением руки остановил наконец Устин жену. Помолчал, погладил голову дочери, лежавшую у него на коленях.

— Так ведь воля божья...— начала было обиженно Пистимея.

— Пошла отсюда! — прикрикнул на нее Устин.

Пистимея, тяжело вздохнув, ушла на кухню.

— Защити меня от нее, батюшка... Защити! — приглушенно воскликнула Варвара, опять умоляюще заглядывая ему снизу в глаза. Она вся дрожала, будто на морозе.

Устин ничего не ответил.

Варвара хотела встать, но едва пошевелилась, как почувствовала — отец сильнее прижал ее голову к своим жестким коленям.

— Вот что, Варвара,— вдруг проговорил отец,— иди к скотным дворам. Там Митька Курганов сено мечет. И внучка старика Шатрова там... поняла?

Варвара затихла, потом несмело опять подняла голову, прошептала:

— Батюшка! Не буду я... Ну зачем тебе это?

— Зачем — не твое дело! — раздраженно двинул бровью Устин.

— Не буду я больше... не буду! — взмолилась Варвара.

Устин зажал вдруг толстую прядь ее волос своими заскорузлыми пальцами, туго намотал ее на кулак так, что волосы затрещали.

— Больно же! Отец! Батюшка!

Устин встал, поднял за волосы с пола дочь, притянул ее запрокинутую голову к самому своему лицу. Царапая бородой ее щеки, предупредил, выталкивая сквозь зубы по два, три слова:

— Больнее будет, если мать... на святую скамью... положит. Поняла?

И чуть тряхнул кулаком с намотанными волосами. Варваре показалось, что волосы ее отстали от головы вместе с лоскутом кожи.

Потом Устин, кажется, забыл о дочери. Несколько минут он задумчиво сидел на прежнем месте, крутил на палец влажную прядь бороды.

— Поторапливайся,— бросил он дочери, не прекращая своего занятия.

Варвара вздрогнула и стала одеваться.

Подвязав платок, она невесело сказала:

— Мне бы легче было, коль знала, для чего тебе это.

— Кто много знает, тот ночами плохо спит,— ответил отец.— Умойся холодной водой.

Умывшись, Варвара снова подвязала платок, надела фуфайку. Уходя, приостановилась в дверях:

— Боязно мне. У Митьки и так, едва к нему подойду, ноздри дрожат. А ты еще заставляешь дразнить его... Доиграюсь я с ним...

— Ну! — снова дернул бровью Устин.— С ним ли, с Егором ли — какая разница?

— Отец!

— Да иди ты, иди! — вдруг рассердился Устин, встал и вытолкал дочь за дверь. И, держась за скобу, прокричал в темные сени вслед Варваре: — Да гляди у меня... чтоб все как в кино, чтоб внучка Шатрова все видела! Улыбку на рожу-то надень! И захлопнул дверь.

Пистимея скорбно стояла у стены, не проронив ни одного слова. Только когда Устин закрыл дверь, произнесла:

— Все так, все так, Устинушка. Отстанет теперь эта проклятая девка от Варьки. О господи, вразуми ты дочь нашу грешную, поставь ее на путь праведный...

— Перестань гундосить, ладанка вонючая! — раздраженно бросил Устин.— Что это за господь у тебя такой? Какому, в конце концов, богу ты поклоняешься? Когда-то вроде староверкой была. Сюда приехали — по-православному креститься зачала. Потом в баптистку перекрестилась. А сейчас... Насчет Варьки я все думал — пугаешь ее. А в последнее время, гляжу, вроде всерьез готовишься на лавку ее класть. Но баптисты вроде не занимаются таким изуверством. Так к какой же вере ты сейчас-то сподобилась?

— Бог для всех один, да верят в него разно,— проговорила Пистимея.— До истинной веры не каждый доходит...

— Вон как! — насмешливо бросил Устин.— Узнает Большаков, до какой веры ты дошла,— прихлопнет ваше молитвенное гнездо, а тебя заместо Варьки на мощи высушит.— И, помолчав, добавил вдруг с горечью: — А богу твоему привязать бы по веревке к каждой ноге, концы к седлам, да коней пустить в разные стороны. На одну лошадь я сам бы сел...

Пистимея задохнулась, минуты полторы только открывала да закрывала беззвучно свой сморщенный рот. Наконец проговорила, всхлипнув:

— Безбожник ты окаянный!.. Не веришь в силу всевышнего, не зовешь его на помощь в молитвах — вот и не можешь пожать плоды деяний своих. Даже вон Егора, что дочь твою смущает, прищемить не можешь. Да и вообще, гляжу, хлещешься в судо-

рогах, как рыба на берегу, ловишь ртом спасительную воду, а кругом только воздух, сухой и ядовитый...

Устин, направившийся было в горницу, остановился:

— Как рыба, говоришь, на берегу?

Подумал о чем-то, скривил заросший волосами рот, но так и не промолвил больше ни слова.

Глава 17

Илья Юргин несколько раз прибегал на скотные дворы, метался вокруг скирды, чуть не нюхал каждый пласт, который Митька забрасывал наверх.

— Видали, а? — неизвестно о чем спрашивал он то Митьку, то Филимона.

Митька, недавно очень разговорчивый, теперь молчал, а Филимон отталкивал Юргина плечом и гудел:

— Да отойди ты, Илья блаженный! Не мешайся под ногами, а то зацепну вилами за ребро.

К каждому, кто привозил сено, «Купи-продай» бросался с одним и тем же вопросом:

— Это по какому праву отбор личного сена у трудящева крестьянина Захар производит, а? Кто, спрашивается, разрешил, а?

Люди отмахивались от него, как от назойливой мухи. Тогда Юргин кинулся навстречу деду Анисиму, ковыляющему к скотным дворам:

— Ну не-ет! Я вот разве только волос могу состричь с головы да в общую кучу бросить. Понятно? — закричал он в лицо Шатрову.— Так и скажи Захарке. Своему скоту до апреля не хватит...

Дед Анисим переложил костыль из левой руки в правую. Юргин даже отшатнулся. Но старик Шатров только сказал:

— Примечаю я — звонит колокол, а люди не крестятся.

Илюшка, приоткрыв рот, замер. Заросшие редкими спутанными волосами губы, черные и потрескавшиеся, беззвучно шевелились.

— Ишь, верно, выходит, примечаю,— продолжал Анисим.— У тебя, однако, макушка-то давно уже острижена, одни усы остались.

Юргин молча попятился от старика, побежал прочь. Пока не скрылся в переулок, все почему-то оглядывался.

Дед Анисим не спеша обошел вокруг скирды, проверяя, ладно ли она сложена, потыкал в нее костылем.

— С этого боку очешите, вишь, целая копна нависла,— сказал он, обращаясь сразу ко всем.— Ветер дунет — унесет. Да утаптывайте там получше.

— Очешем,— бросил Митька сердито.— И утопчем. Будет гладкой и тугой, как спелая девка. Как Варька вон, к примеру.—

Варвара только что подошла, сняла с плеча принесенные с собой вилы.— А ты зачем тут?

— Отец прислал помочь.

— Тогда давай... С божьей помощью. Становись поближе ко мне. Да не тужься сильно, а то вся одежда на тебе лопнет...

Варвара, блеснув черными глазами, опустила голову:

— Вот еще... Скажешь же...

Однако в самом деле подошла к Митьке и стала рядом. Ирина поглядывала сверху то на Варвару, то на Митьку.

Распухшее, тяжелое зимнее солнце не в силах было подняться выше осокоря, черневшего за деревней, над утесом. Помаячив над его голой вершиной, оно повалилось вниз, к земле, обливая желтоватым, разбавленным светом заснеженные зареченские луга.

Дед Анисим, побродив вокруг скирды, ушел. Варвара вместе с Митькой и Филимоном размеренно и ловко принялась кидать наверх сено.

Время от времени, то ли случайно, то ли с умыслом, она втыкала вилы в тот же пласт, что и Митька. Тогда стучало железо да сильнее обычного сопел Курганов. Но он ни разу не убрал вил обратно, припадая на одно колено, мгновенно отрывая пласт от земли.

— Вот еще, ей-богу! — одно и то же говорила каждый раз Варвара, едва-едва успевая выдернуть вилы. Говорила тихо, почти шепотом, а потом чуть смущенно прихохатывала. И, может быть, только Клавдия замечала, как все больше хмурится и хмурится Ирина.

А потом случилось так, что Варвара не успела выдернуть свои вилы и Митька чуть не закинул их на скирду вместе с громадным пластом сена. Варвара метнулась, чтоб подхватить уплывающие кверху вилы, ударилась плечом в Митькин бок. Митька, и без того качавшийся под тяжестью лохматого, как гигантское воронье гнездо, пласта, ткнулся в присыпанный зеленой трухой снег обоими коленями, будто у него подломились ноги, выпустил из рук черенок. Падая затем вместе с Варварой, он крикнул:

— А, чтоб тебе...

И пласт, который он так и не успел забросить наверх, накрыл обоих.

Митька тотчас вскочил, рассвирепел окончательно:

— Очумела, что ли?! Помощница тоже мне, как...

И запнулся. Пока кричал, явственно разобрал, что еще там, под пластом, Варвара дважды шепнула ему в ухо:

— Митенька... Митенька...

Секунду назад под пластом Митька ничего не соображал от ударившего в голову раздражения. А сейчас словно еще дошептывала Варька в третий раз: «Митенька...» И он даже ощутил ее горячие, влажные губы на своей щеке.

Стараясь сообразить, что же такое произошло, он произнес растерянно и недоумевающе:

— А?

Варвара встала, отряхнула юбку и произнесла, неловко отвернувшись:

— Вот еще, ей-богу...

Митька даже лоб потер: почудилось, что ли?

— Ну, шабаш, работнички,— проговорил Филимон Колесников.— Уморились. Остальное завтра закидаем.

Но в это время к скирде подъехали три подводы с сеном. На переднем возу сидели Андрон Овчинников и Егор Кузьмин.

Едва подводы остановились, как из ближайшего переулка выскочил Захар Большаков. Он будто стоял там и караулил их прибытие. Следом за ним подошли Смирнов с Корнеевым.

— Егор! Откуда это?! — почти задыхаясь, прокричал Захар.

Егор Кузьмин ничего не успел ответить, потому что Овчинников соскользнул с воза и высыпал беспорядочную кучу слов:

— Мы, значит, за ущелье к Камышовому озеру... Да черта ли там, полдня потеряли. Поворачиваем коней назад. И тут глядим — Егорка прет на лыжах: марш в Пихтовую падь! Ну поехали... Снегу — по пояс, пробиваемся. И в Мокром логу, за кромкой леса, они и стоят, миленькие,— три сугроба стоят, да и только... Вот ведь, а! Я говорю: «Сомневаюсь». А Егорка: «Езжайте, топчите дорогу...»

— Постой,— перебил его Корнеев.— Что стоит? Какие сугробы?

— Дык сено! Стожки то есть под снегом... Подъезжаем это, глядим... Я говорю: «Сомне...» — И махнул рукой, будто отчаявшись, что все равно не поймут.

К возам подошел Устин Морозов. Снова вывернулся откуда-то Илья Юргин.

— Вона! — сразу завопил он.— В колхозе сена невпроворот, а они у людей отбирают! Ишь умники! Н-нет, я жаловаться буду! Там поймут!

Захар Большаков шагнул вплотную к Морозову:

— Я же чуял, в Пихтовой пади надо глянуть. А ты...

— Что я? — переспросил Устин, поднимая глаза на председателя.— Я ведь не говорил, что в пади ничего нет...

— Постой, постой...

И Захар вдруг вспомнил, как месяц назад они с Егором Кузьминым объезжали прошлогодние сенокосы. Когда подъезжали к Пихтовой пади, очередь становиться на лыжи была его, Захара. Но Егор вдруг выпрыгнул из саней, сказал:

— Ты сиди, и так умаялся. Не шутка в твои-то годы. Сам сбегаю, гляну — за той кромкой леса мы вроде ставили два стожка.

— Три,— поправил Захар.

— Я мигом...



Захар действительно устал до невозможности и был благодарен Егору. Тот вернулся со своим обычным:

— Ни клока.

Это означало, что сено отсюда давно, еще до снега, вывезли к фермам. А теперь оказывается...

— Егор, Кузьмин,— крикнул председатель.— Ну-ка, иди сюда!

Егор стоял возле Варвары, что-то говорил ей, а дочь Устина Морозова беспокойно, даже испуганно крутила головой, поглядывая на отца. Он нехотя повернулся на голос, не спеша подошел к Большакову.

— Мы же смотрели с тобой в Пихтовой пади? Ты сам смотрел.

Егор устало поднял голову, бросил взгляд на Устина, потом на Юргина, застывшего на одном месте, превратившегося в столб, и проговорил:

— Не заметил за леском.

Устин Морозов переступил с ноги на ногу, усмехнулся тяжело:

— Вот и верь тебе...

— Ничего не понимаю,— проговорил председатель.— Ты что, Егор, за дурака меня считаешь?! Как это не заметил? Если не знал, что в Пихтовой пади есть сено, зачем людей туда завернул?

Егор Кузьмин опять поглядел на Устина и проговорил так, будто отвечал не председателю, а Морозову:

— Фрол Курганов мне сказал. Вчера лазил по тайге на лыжах и наткнулся...

— Фрол? — переспросил удивленно Большаков.— Ну-ну... Может, ты, Борис Дементьевич, объяснишь, как все это понять? — спросил он у Корнеева.

— Н-да...— задумчиво произнес агроном.

— А чего тут объяснять! — подал вдруг голос Колесников.— Стожки за кромкой леса были поставлены. Все тут яснее ясного. Хитрецы-мудрецы!

И, ничего больше не прибавив, ушел.

Петр Иванович переводил взгляд с одного на другого, пытаясь понять: что же произошло?

— Ладно, разберемся,— проговорил Захар Большаков.— Сваливайте, а завтра до свету всех своих возчиков отряжай в Пихтовую падь. Слышь, Устин?

— Не глухой,— тихо и виновато откликнулся Морозов.— За пару дней все, сколько там есть, вывезем.

— Завтра ж утречком редактора надо до полустанка подбросить,— сказал Корнеев.

— Да, да, чуть не забыл,— кивнул Большаков,— скажи Фролу, чтоб подводу дал.

— Будет сделано,— бесстрастно промолвил Устин.

— А может, Петр Иванович, подождешь все же? — повернулся председатель к редактору.— Мой примус Сергеев обещался завтра к обеду наладить. Вот ведь случится же... Да и грузовики во второй половине дня пойдут туда за жмыхом.

— Да нет, Захар Захарыч, срочные дела в редакции. Ничего, я с удовольствием в санях прокачусь.

— Ну, гляди...

И все разошлись в разные стороны. Остался только Егор Кузьмин и стал помогать Митьке с Филимоном сваливать воз.

Никулина спросила сверху:

— Еще, что ли, будем работать? Или слазить нам? Помогите тогда слезть.

Митька молча взял с саней веревку, перебросил через скирду.

— Держи крепче,— сказала Клавдия и стала спускаться по противоположной стороне скирды, держась за эту веревку.

— И упадешь, так не расколешься... Не стеклянная,— ухмыльнулся Митька, к которому начало возвращаться хорошее расположение духа.

Конец веревки в руках Митьки ослаб — значит, Клашка спустилась. Очередь была за Иринкой. Однако та не трогалась с места.

— Ну, а ты чего? — спросил Митька.— Ночевать там собралась? Зарывайся тогда в сено, там тепло.

— Да уж ты-то знаешь, тепло или холодно,— насмешливо сказала Ирина.

— О-о...— протянул невольно Митька и помрачнел, догадываясь, о чем говорит Иринка.— Так... Держи, Егор, конец. Барышня, оказывается, капризная.

Но не успел Егор взять из рук Курганова веревку, как Иринка, оттолкнувшись от скирды, прыгнула вниз, на кучи сваленного сена.

— Что ты делаешь?! — испуганно закричал Митька, когда Иринка уже оторвалась от стога. Закричал так, будто его крик мог подхватить Иринку и мягко поставить обратно на скирду.— Что ты делаешь?

Иринка упала на сваленное с возов сено и кубарем скатилась прямо в снег. Митька подбежал к ней и закричал еще громче:

— Дура! Ведь там вилы!

— Спасибо. Я и не знала, что есть такое красивое имя.

— Да ведь...

— Отойди! — прокричала теперь Ирина, и на глазах ее проступили слезы.

Она встала, покачнулась и, прихрамывая, не оглядываясь, пошла к телятнику.

Митька молча проводил ее глазами. Достал папиросу, закурил. И снова посмотрел вслед.

Когда она скрылась, проговорил, подмигнув Варьке:

— Подумаешь... принцесса капризная.

Проговорил вроде беззаботно, а в голосе прозвучала обида.

Глава 18

Петр Иванович проснулся рано.

За окнами стояла еще плотная тьма, а в комнате плавал уже странный полусумрак. Сквозь этот густой полусумрак Петр Иванович видел потолок, противоположную стену, кровать у стены, на которой спал Анисим. И потолок, и стена, и кровать с Анисимом были, казалось, где-то далеко-далеко, оттого и виднелись чуть-чуть, расплывчато.

Смирнов лежал, думал обо всем увиденном и услышанном за вчерашний день. И в самом деле, специально, что ли, кто-то запрятал эти злополучные стожки за кромку леса?

За стеной гремела заслонкой Ирина, растапливая, видимо, печь.

Рассвет еще не наступал, хотя за окном быстро просыпалась жизнь. Она была пока вся из звуков. Сперва в колком морозном воздухе прокричали петухи, оповещая весь зеленодольский мир, что ночь кончилась. И почти тотчас же где-то недалеко, за деревней, очевидно за Чертовым ущельем, надрывно и тоскливо завыл голодный волк. Он всю ночь бродил, наверное, вокруг теплой овчарни, а теперь жаловался кому-то, что ночь прошла, а ему так и не удалось задрать и утащить хотя бы ягненка. Лютая злость была в волчьем вое и свое, звериное, отчаяние.

Потом за окном проскрипели чьи-то торопливые шаги. Совсем недалеко заплескался беззаботный девичий смех. Это, наверное, доярки пошли на работу. Петру Ивановичу показалась необычной и интересной одна мысль: на краю деревни воют волки, а этим девчатам хоть бы что, смеются даже. И Иринка вон по-домашнему, не обращая внимания на волчий вой, гремит посудой.

Через несколько минут Ирина хлопнула дверью, и скрип ее шагов затих вдали — девушка побежала в телятник.

Затем Смирнов слышал, как все чаще и чаще проходили мимо дома люди, как кто-то проехал на санях, может быть, Андрон Овчинников, как замычали коровы на скотном дворе: значит, доярки готовились уже к дойке.

Высоко-высоко, все покрывая, загудел реактивный самолет. Над Озерским районом проходила воздушная трасса Москва — Хабаровск, и Петр Иванович безошибочно определил: Ту-104.

«Обязательно надо проследить, как распутается эта история с тремя стогами сена,— подумал снова Петр Иванович.— Если выяснится, что сено было припрятано с умыслом,— поднять через газету шум на весь район. Такое выступление в газете будет очень кстати, своевременно...»

Закряхтел на своей кровати дед Анисим, поднялся, спустил на холодный пол босые ноги, пошарил рукой по стене и включил электричество.

— Не спишь уже? Аринка-то убежала али нет еще?

— Ушла.

Старик, все так же покряхтывая, оделся.

— Ты с утренним поездом, что ль, хотел? Вставай, а то опоздаешь.

— Скажи, Анисим Семенович, что за человек Егор Кузьмин?

Старик Шатров кинул взгляд на Смирнова, прошел в другую комнату, оставив двери открытыми, и там загремел печной заслонкой. Отвечать ему явно не хотелось, но, видимо чувствуя, что Петр Иванович ждет, сказал нехотя:

— Всяк молодец на свой образец.

— А поточнее?

— Куда уж точнее-то! Так оно и есть.

Петр Иванович, одеваясь, почувствовал, как начало покалывать вдруг, пощипывать сердце. Это был верный признак, что скоро его свалит припадок.

— Ты не сердись, паря,— сказал Анисим.— Давай вот Иришкиного супу похлебаем.

Старик, позвякивая, раскладывал на столе ложки, расставлял тарелки.

Смирнов, прислушиваясь к сердцу, ел мало и плохо. А скоро и совсем отодвинул тарелку.

— Спасибо, Анисим Семенович. Что-то аппетита нет.

Анисим понес ложку ко рту, придерживая снизу ломтиком хлеба, но на полпути ложка выпала из его пальцев.

— Э-э, засохший корень, чтоб твои грабли совсем отломились! — выругал сам себя старик и полотенцем стер разлитый по клеенке суп. Когда вытирал, рука его по-прежнему дрожала. Есть Анисим больше тоже не стал, сидел и молча смотрел почему-то в угол.

— Совсем ить я плохой стал, Петенька,— проговорил старик.— Помру, однако, скоро.

— Ну зачем ты так, Анисим Семенович?

— Я уж и помер бы, да Аринку жалко. Куда она без меня? Глупенькая еще.— И совсем неожиданно сказал: — Вот ты про Егорку, а я у тебя про Митьку хочу... Что думаешь про него, шельмеца?

Петр Иванович догадался, почему он спрашивает о Митьке Курганове.

— Да вроде ничего парень.

— Вроде, говоришь? Вроде Володи, а не похож на Фому? А? Не заметил?

Старик непослушными руками долго набивал трубку, пыхнул ею раза два. Потом, забыв о трубке, долго молчал, смотрел в тот же угол, время от времени покачивая головой, теребил свою жиденькую бороденку. В его глазах была разлита грустная, может быть, никому не высказанная за всю долгую жизнь тоска.

— Ты вот часто пристаешь ко мне: про то расскажи, про другое...— тихо заговорил он.— Любопытному спросить — что

пьянице стопку выпить. Да хмель-то может в голову рассказчика ударить. А? Но остываю я, Петенька, как трубка вот... Ее разжигаешь, а она тухнет... И потому — слушай. Расскажу я тебе про себя и про... Знаю, судачат еще иные, жена ли была мне Марья, полюбовница ли только... И ты небось тоже... Ну да не об этом дело... Мне какая печаль, что по миру болтают! Еще говорят: чудной старик, с палкой по деревне ходит, во все дыры сует свой дряблый нос. И это также мне без внимания. А просто... Раньше попу исповедовались вот. А я в бога и с молодости-то не верил... Так что ты не удивляйся, что я слюни распустил тут перед тобой. Прости уж старика и уважь, послушай...

— Что ты, Анисим Семенович...— неловко произнес Смирнов.— Я с удовольствием... Я понимаю.

Смирнов действительно понимал, что происходило со стариком. Он давно заметил и знал, что Шатрову по какой-то причине неприятны все расспросы о людях, о нем самом. Его замкнутость, душевное одиночество и копили ту тоску, которая была разлита в глазах. Но вот подошло время, когда эта тоска не вмещалась в нем, переливаясь через край, подошло время с кем-нибудь поделиться ею. Не выслушать, не понять в такие минуты человека — тяжело, непоправимо обидеть его...

— Я слушаю, Анисим Семенович,— еще раз сказал Смирнов.

— Да... Никому я про себя и про нее, про Марью, не рассказывал, потому что тяжело это. Но должен теперь и эту тяжесть вынести. Я-то что — живу еще мало-мало, люди кой-чего знают обо мне. А Марья... Люди что про нее знают? Была партизанским командиром, потом председателем колхоза. Задолго до того, как повсюду крестьяне объединяться стали, она в артель сколотила тут людей. Значит, понимала, что к чему в жизни, далеко умела глядеть. Да... Еще вот утес над Светлихой по ее имени зовут. И все. А что она за человек была? Никто не скажет. Кто знал, давно помер. Захар вот только мало-мало ходит. Фролка еще Курганов. Ну, Антип вон Никулин ползает — его в расчет разве примешь? Да не расскажут они того, что я... А люди должны знать. Я вот тебе про нее расскажу, а ты — им, людям... Слышь?

— Слышу,— откликнулся Петр Иванович.

— И ладно. Спасибо, говорю. Только уж после моей смерти. Иришка чтоб, когда подрастет, все в подробностях узнала. Чтоб берегла жизнь-то, не разменяла ее на медную мелочь, как ее дед.

Шатров вскинул пучки реденьких бровей на Смирнова, опустил их и вздохнул.

— Ну вот,— начал Шатров.— Я ведь не всегда был старый и беспомощный. Силенка водилась когда-то. Ну и... Эх, жизнь долга, как степная дорога. Что ни было в ней, куда ни заворачивала — теперь и не припомнить. Жили мы, честно сказать, не в бедности. Отец помер — мельницу оставил мне. Я, брат, кулечки пятипудовые с пшеницей закидывал шутя на плечи — да и рысцой наверх... Вот как. Девок любил я жарко. А чего же!

Сила — она выхода требует. А тут полна деревня солдаток, среди них язвы попадались — ох и горючие! Поп у нас был, отец Марковей,— и того в грех ввели! Так измочалили, что борода посыпалась. В общем, кобель был славный я. В этом деле со мной разве Фролку Курганова можно сравнить? Да нет, и сравнивать нечего. Щенок он против меня, пожалуй, хотя мною и обучен был. Так вот. И была у нас в деревне Марья эта. Ну, так себе девка, ничего, в общем. Где широка, где тонка. Может, и не шибко красавица, глаза только... Большие глаза, преданные. Из тех, что лучше закроются навеки, чем обманут. И все глядела на меня этими глазами. И чего я приглянулся ей? Это я сейчас задаю себе. А тогда над этим головы не ломал. Марья-то у богатеев Меньшиковых поденщицей работала. Замараюсь еще, думал, об нее. И еще считал поглупу, что она под мельницу мою клин бьет. Но думать думал, а глазом косил. Годов ей тогда было двадцать пять — двадцать шесть. В девках засиделась чегой-то... Я говорил иногда: «Ступай сигани с утеса в Светлиху — погуляю с тобой ночку». И что ты думаешь? Шла, прыгала...

— И гулял с ней? — спросил Смирнов, когда старик примолк.

— Ну как же... Только ведь что я под гуляньем понимал? Да исцарапает всего и вырвется. И опять глазами своими на меня. «Ах ты, думаю, стерва, погоди! Я тебя проучу! Я те покажу, как пшеничка мелется...» И помаленьку сделался с ней тих да робок. На солдаток, понятное дело, и глядеть перестал.

Старик вспомнил про свою трубку, примял пальцем пепел и хотел раскурить ее. Спички лежали на столе, но Анисим начал искать их по карманам. Не найдя, проворчал что-то. Проворчал и увидел лежащий на клеенке спичечный коробок. Взял его в руки, но, кажется, забыл, для какой цели он ему нужен.

— Да... целую весну, половину лета я с ней так-то вот... женихался. И поверила она мне... Что же, по себе, видно, людей мерила. Да и как тут сомневаться, когда я родителей ее принародно отцом и матерью называл... Договорились, что после петрова дня я сватов засылаю, чтоб честь честью все. А в этот самый петров день повел ее в лесочек гулять... Ну и...

Спичечный коробок в руке Анисима хрустнул. Он разжал кулак, высыпал на стол спички, долго смотрел на них с тоской и грустью.

— В общем, чего тебе тут все рассказывать! — тихо продолжал старик.— Не царапала она в тот день меня, не вырывалась. Все точно я рассчитал. Только уговаривала до последней минуты: люди, дескать, мы, и по-человечески все должно, после свадьбы, как положено... Да чего уж тут мне ее слова... А потом-то встал и заржал, как жеребец: «После свадьбы, говоришь?! Насчет сватов поглядим еще... Поцарапай-ка теперь коготками землю...»

Анисим посидел, еще раз вздохнул и сказал с хрипотцой:

— Вот он, какой живоглот я был... А она, Марья, ничего не могла вымолвить, не могла даже встать с земли. Только глядела

на меня огнем, все глядела. Да губы ее все дрожали... Потом застонала и затихла, закрыла начисто сгоревшие глаза. А из закрытых глаз слезы... Видел, как люди с закрытыми глазами плачут? Видел, однако... А если нет — не дай бог увидеть.

Старик одну за другой брал спички со стола и чиркал о сломанный коробок. Но спички ломались, ломались...

— И что она после этого... не разлюбила тебя? — осторожно спросил Смирнов.

— Кто ее знает... Встала она и ушла, пошатываясь, так ничего и не сказала. Недели четыре я не видел ее. Ходил себе по деревне в сатиновой рубахе да семечками плевался, как дурак. Еще бы — доволен был! А деревенские парни подзуживают: «Врешь ведь ты, однако, что уходил Марью. Красуешься...» — «Я красуюсь?» — «А то как же... Твоего ума на солдаток только хватает».— «Вон как! Да я из Марьи теперь веревки вить буду, поняли?» — «Хвастун!» — расплылась передо мной Филькина рожа. Кругом хохот стоит... Эх, закипел я — чуть паром не изошел. Стал ждать, когда Марья на улице покажется.

Однажды гляжу — идет, худая, бледная. Прямо к Филькиному дому — на работу, значит. Я — следом. «Вот что, девка,— говорю.— Последнее условие тебе... Вот нож, рогатина и три дня сроку. Добудешь лесовика, да чтобы шкура была не желтая, не облезлая, а с шелковистым отливом,— сей же день женюсь на тебе. И мельницу отдам». Филька гогочет: «Да за мельницу она тебе сотню медведей ухайдакает! Пустяковое условие ставишь...»

У нас в ту пору медведей тут водилось — тьма. И сейчас еще попадаются. Иногда к самой деревне подходят.

Сверкнула Марья своими огромными глазищами. Рогатину отбросила, а нож взяла. И тогда сердце у меня зашлось: то ли делаю? Я ведь ни минуты не сомневался, что пойдет она на медведя, потому что, думаю, во-первых, мельница, во-вторых, куда она теперь после того лесочка? Выбора нет. А медведь ей — тьфу, девка бедовая. И все-таки — вдруг заломает ее зверь? Хотя, думаю, при чем тут я? Спрос не с меня, со зверя...

— И что же? — спросил Петр Иванович так же осторожно, как в первый раз.— Неужели пошла?

— Пошла. Повернулась и пошла прямиком за деревню, в лес. Толпа собралась, вслед ей глазеет... Ну, думаю я, все! Загубил девку, сволота... Придавило мне сердце...

День прошел, вся ночь. И весь другой день... Пришла Марья, как темняться начало. Платьишко все изорвано. Левый бок в засохшей крови, плечо располосовано медвежьей лапой... Шкуру пудовую бросила в пыль, прямо мне под ноги. Потом и ножик мой в пыль швырнула. Хороший был ножик, с наборной костяной рукояткой. Между костяными пластинами было вставлено четыре медных. Для красоты и для весу. Я его за два пуда муки у проезжего цыгана купил. Филька потом четыре давал, да я не продал... Сама молчит, бледная, как стена, только сухие глаза полы-

хают, бьется в них жгучее пламя, как тогда в лесу... Я, как сова, лупаю глазами. Даже Филька растянул от удивления губастый рот. Потом: «Хи-хи! Вот енто номер... Мельницу за медведя! Робя, может, у кого ишшо есть лишняя мельница?»

Я молчу, только медвежью шкуру ногами ковыряю. Шерсть густая, с отливом — в самой свирепой силе был зверюга. А Филька не унимается: «Да ты скажи — она к утру вон утес на Светлихе разбросает и злат-камень для тебя достанет». Ну, это непонятно тебе. В народе тогда сказка ходила, что под тем утесом будто бы злат-камень размером в мельничный жернов спрятан. Об этой сказке уже мало кто помнит теперь. Да теперешним людям такие сказки и ни к чему.

Старик снова потыкал в холодную трубку пальцем. Петр Иванович зажег спичку, поднес Анисиму.

— Ну вот,— промолвил старик.— Так о чем я? А-а, ну, ну... Полыхает, значит, пламя в больших Марьиных глазах. Потом усмехнулась она: «Я бы раскидала, да нету там злат-камня. В другом месте он...» И ушла... Филька вокруг меня еще гудел что-то, да я уже не слушал, разинул рот и смотрел ей вслед... Филька поднял мой ножик с земли, сунул торопливо себе в карман. Я видел, да не до ножика мне было. С той поры плохо стало Марье...— прибавил старик и умолк.

Минуты через две Петр Иванович спросил:

— Повредил, значит, зверь ее?

— Зачем зверь? Плечо она залечила, ничего, зажило. О людях речь. Марья, скажу тебе, на остальных людей непохожая была. Любила она, к примеру, зимние вьюги слушать... Иринка, если знаешь, тоже любит. Переняла, значит, от бабушки. А летом, в самые грозы, заберется Марья на утес и стоит. Бьет ветер в грудь, рвет и без того худое платьишко, треплет волосы... А она стоит, бывало. Потихоньку болтали старухи — ведьма, мол... Больше от скуки, конечно, судачили. Почешут языки, да тем и кончат. Ну, а после этого медведя и началось! Загундосили старушонки: «Мыслимое ли дело для девки! Не таких охотников зверь заламывал. С нечистой силой девка знается, не зря слух идет».— «Не зря, не зря... Гляжу однажды, а из ее распущенных по ветру волосищ искры сыплются, как с нечищеной трубы. Вот вам крест святой».— «Дык и я видела тоже, когда Марья под дождиком на утесе стояла. Так и хлещет огонь с волос. Будто куделя загорелась...» — «А про злат-камень сами слышали: «В другом месте он...» — «Все знает, стерва! А может, сама отнесла его в другое место...» В общем, не знала Марья, куда ей деться. Все от нее открещиваются... А иные грозят уж связать, керосином облить да спичку поднести...

— А ты что же? — невольно вырвалось у Петра Ивановича.— Или все семечки щелкал?

— Так и загубили бы девку,— продолжал старик, будто и не слышал голоса Смирнова.— Да вскоре как грохнет — царя сбросили! И не до Марьи всем стало.

Пошевеливая бровями, старик смотрел куда-то прямо перед собой. Лицо его то хмурилось, то улыбалось. Иногда гневно подрагивали губы, иногда вспыхивало что-то и тут же гасло в его выцветших, похожих на мутное осеннее небо, глазах. И эти вспышки напоминали отблески самых поздних, уже бессильных, осенних гроз. Это были даже не грозы, а их последние, уходящие, умирающие отблески. Они уже никого не тревожили, никого не пугали, по ним можно было только догадаться, что когда-то грозы полыхали неудержимо и буйно по всему небу.

Петр Иванович видел по лицу старика, что перед ним встают, как живые, картины прошлого, что он сейчас не здесь, а там, далеко где-то. И возможно, он в самом деле не слышал его вопросов. И хорошо, если так. У каждого человека, вероятно, есть что-то такое, плохое ли, хорошее ли, но принадлежащее только ему. И никогда не надо человека просить рассказывать об этом, потому что просьбы бесполезны. Человек расскажет сам, если захочет. А если нет, все это умрет вместе с ним.

Петр Иванович сидел молча. Он просто ждал.

— Верно говорят: прожитое не вернется, а в памяти не сотрется,— опять встрепенулся старик.— Но память-то моя, да судья ей не я... А что же я, ты спрашиваешь? В общем, мил парень, потерял я голову после того, как шкуру медвежью бросила она мне под ноги. Как случилось? А как молния сверкает? Нету-нету, да вдруг вспыхнет от края до края. Свету столь, что глаза ломит. Вот так. В этом свете я будто увидел другую Марью: мать честная, да ведь она за меня в могилу ляжет, если что! Зверь в лесу нападет — она ему на спину прыгнет, человек ножом замахнется — свою грудь подставит... Помучился я так с полгода, а может, и больше, да и пришел к ней: «Бери, говорю, мельницу».

Встала она. Медленно встала с лавки, бледная, как стена. Я смотрю — дрожат у нее губы, что листочки. Дрожат, как тогда... а слов нету. Опустил я голову и уставился ей на живот. А живот большой, круглый.

«Чего смотришь? — спросила наконец она.— Не узнаешь?»

А чего узнавать? Давно знаю, что ребенок у нее от меня будет. Лупаю глазами, а ничего уже не вижу. Только чую — щеку обожгло, будто кто теркой царапнул. Потом другую. И на развороченное мясо кипятком, кипятком...

Молча отхлестала она меня. Я стою как болван. Только глазами по-прежнему хлоп-хлоп.

«За что?» — спрашиваю.

«Уходи... со своей мельницей! Я так дешево не продаюсь...»

Прошептала и рухнула на пол. Не понял я ничего.

В ту же ночь она родила. Иринкину мать...

...Потом и началось: я хожу — она меня в дом не пускает, я хожу — она не пускает. Филька Меньшиков своим гоготом съедает меня:

«Пропал ты, Анисим! У ней теперича семья прибавилась, одной мельницы мало — другую покупай. А там семья ишшо прибавится — ить большевики у ней на хватере стоят. Вытряхнет она тебя с этими большевиками из последних штанов».

В ту пору много разных агитаторов за Советскую власть приезжало. И все у Марьи останавливались да у Захарки. Днем на митингах они высказывались, с мужиками толковали о чем-то, а ночами их выстрелы из-за плетня подстерегали. Я знал, что это Филька охотится на них, да какое мне было тогда дело! К тому же думаю: а ну как правда с этими приезжими она... Одно слово — дурак был.

В общем, совсем ополоумел я.

...Как-то очутился у ее избушки — она ребенка у окна кормит. Увидела она — окно захлопнула, дверь на задвижку. А возле сарайки приезжий один дрова колет. Сел я на чурку и молчу...

«Ну что? — спрашивает тот человек.— С характером баба?»

«Пусть, говорю, дочку хоть отдаст...»

Подсел он ко мне, закурил. Я спрашиваю:

«Вот ты умный, должно быть, человек, объясни. Ведь я мельницу отдаю ей, дом, скотину. Деньжонки кое-какие есть — все к ее ногам брошу. Чего ж она?»

Помолчал тот и отвечает:

«Видишь ли, в чем дело... Золотое сердце на серебро не купишь».

Встал я и зашагал прочь, как пьяный. Открылось мне. Ни раньше, ни после не видел я умнее человека. Ведь в десяти словах все объяснил. Воротился к нему и говорю:

«Не ходи сегодня вечером мимо церкви. Пристрелят».

...На улице занимался рассвет. Анисим поднялся, походил по комнате, вернулся на прежнее место и проговорил:

— Всего-то не расскажешь тебе, вот что жалко. В тот же день я напился, объявил всем, что сегодня же сожгу свою мельницу. Никто не поверил, понятное дело. А я поехал да поджег. Долго она горела, всю ночь лизали красные языки желтое небо. Филька взревел: «Свихнулся мужик! Этак он всех нас спалит!»

Двинул я ему кулаком в рыло и ушел...

Анисим поглядел на свой маленький, высохший кулачок, будто удивляясь: неужели он мог когда-то одним ударом сваливать с ног людей?

— Да, время,— потер он ладонью давно ослабевшую грудь.— Давно вроде было — и недавно... Марью-то с тех пор почти и не видел я. Избегала она встречи. А как-то гляжу — стирается она в речке. Подошел... и что же? Упал ей в ноги:

«Давай, Марья, жизню налаживать, а? Полюбил я тебя... свету не вижу».

Смотрела она на меня, смотрела... Стоит на камне, подол юбки подоткнула, в руке одежина, а с одежины вода каплет.

«Ты-то полюбил, да... мою любовь сгубил,— проговорила она.— Сгорела она, как твоя мельница. В сердце вместо крови один пепел. И тот уже остыл, ветерком разносит его... Ну, чего стоишь? Уходи».

Сел я на берегу, опустил голову на колени. Она стирать стала, будто и не было меня тут.

Потом, когда мимо пошла с мокрым бельем через плечо, я выдавил из себя:

«Дочку хоть отдай».

Марья приостановилась. Я не поднимал головы, но чувствовал, как смотрела она на меня. Так ничего и не сказав, ушла. Вот так. Совсем ушла...

Голос Анисима дрогнул. Он передвинул посуду на столе, снова разжег трубку. Потом проговорил уже спокойно:

— В свое время счастье мимо каждого проплывает, да не каждый к нему руки протягивает. А одумается, обернется — уже далече оно, не достать...

Вскорости колчаковщина началась. Марья собрала из мужиков отряд да увела его в леса. Родителей ее каратели в Светлиху сбросили... Ну а потом... Эх, да что! Не расскажешь, говорю, всего. Тут не на одну книгу рассказов хватит. В общем, больше году партизанила Марья тут, в наших лесах. Нагоняла такого страху на всяких беляков, что они еще белее становились. Так они и звали ее — Красная Марья. Деньги большие за ее голову клали. Генерал даже какой-то приезжал в Зеленый Дол, чтоб поймать ее. Да где!..

...Когда кончился Колчак, колхоз тут, сказывал уж я, организовала. По-тогдашнему — коммуну. Собрала людей и речь сказала. Слово в слово не припомню, конечно, а примерно и сейчас перескажу. Говорила тогда Марья: «Вот люди все думают — под утесом зарыт злат-камень сказочный. А я думаю, в другом месте поискать его надо, да не в одиночку. А сообща. Давайте-ка организуемся в артель, а через год-два посмотрим, не нашли ли этот злат-камень. А назовем свою артель... «Рассвет» мы ее назовем. Потому что новая жизнь, за которую мы кровь проливали, зачинается для трудового народа».

Немногие поняли тогда, о каком злат-камне речь вела Марья. И в артель немногие вступили. Возле Марьи жались больше батраки да разная голытьба, с которыми партизанила она.

В двадцатом году это, кажись, было. Ну да, в двадцатом. Известное дело — распахали землю с весны да засеяли. Никогда столько не засевали еще земли, как в тот год. Филька Меньшиков все ходил по деревне, все шипел: «Теперь с голодухи так жрать начнут, что начисто изойдут... этим самым... Сортиров не наставишь». И не только шипел он, паразит, а и паскудил исподтишка. Дочку ее, мою дочку, в колодец кто-то столкнул вскорости. Иду я ночью по улице, а из колодца писк какой-то. Собачонку, думаю, ребятишки сбросили. Заглянул в черную холодную дыру да прочь

пошагал. А в переулке Марья мечется, стучит в каждое окошко: «Не видели дочку?» Какая-то сила крутанула меня — и назад. Бегу и слышу — сердце остановилось. Добежал к колодцу, дернул за веревку — застукотал только колодезный ворот. Когда размоталась веревка, сбросил ее вниз и сам скользнул по ней. Мясо на ладонях чуть не до костей спустил.

Диво еще, как не захлебнулась девчонка. Должно быть, выступ какой-то на срубе был или выемка от гнили образовалась, а она зацепилась за нее, удержалась на воде. Схватил ее тельце, холодное, как у покойника, и закричал...

Как вытащили нас — не помню. Две недели девчонка в горячке металась, потом оживать начала. Поседела Марья за эти две недели.

Я все это время жил у Марьи. Ходил за дочкой и за ней... Когда выздоровела девочка, Марья спросила:

«А ты-то как у меня в доме оказался?»

Ну что ж, известно, горе и память и рассудок отшибает.

Рассказал ей все и говорю:

«Как хошь, а остаюсь у тебя. На руках буду носить вас обеих».

Покачала она головой, а сказать так сказала:

«Не пользуйся, Анисим, бабьим горем. Приходи через полмесяца. Я маленько одумаюсь...»

Встретил Филька меня раз, поинтересовался:

«Стало быть, возле Марьи бьешься? У них там баб, говорят, сообща пользуют. Так ты хоть с краешку...»

Первым делом я хотел его в землю вбить по самые раскисшие губы. А потом вдруг меня самого продолбануло от головы до пят:

«Постой,— говорю.— Да не ты ли... Марьину дочку в колодец?»

«Кхе... Про то знает бог да, может, поп... если кто покаялся,— усмехнулся Филька.— Если бы и утонула, невелика потеря. У них теперь артельное производство, быстро новых народят».

Выдернул я кол из плетня. Быть бы Фильке покойником тем же моментом, да... Марья подошла и вынула у меня из рук тяжелую палку. И никто никому слова не сказал, разошлись мы в разные стороны.

А через полмесяца явился к Марье за приговором. Она посадила меня за стол, чаем стала поить.

«Все я передумала, Анисим, на много рядов. Любила тебя я сам знаешь как. Цепная собака от злости задыхается, а я так от любви... Но высохло все во мне, как вода в речке. Я еще раз перерыла весь сухой песок,— может, думаю, где мочажинка присыпана, может, где хоть влажный чуточку песок этот... Нет. И не знаю, со слезами ли вытекла эта любовь там, в лесу, под петров день, медведь ли ее сломал... А может, ушла она, как вода сквозь песок, чтобы не быть купленной за твою мельницу...»

Встала Марья, взяла дочку на руки, прижала ее к груди. И прошептала:

«Как ты не мог понять тогда — любовь не продается, не покупается! И силой не возьмешь ее. Она даром отдается».

«Я еще подожду, Марья... Может, позже...» — взмолился я.

«Жди. Только вряд ли. Ведь и так два раза уже перерывала песок я. А с годами и берега обваливаются, потом и совсем не угадать, где речка текла...»

...И вдруг старик заплакал, нисколько не стесняясь своих слез. Из его мутных глаз выкатывались одна за другой прозрачные, кристально чистые слезинки. И чистота их казалась Петру Ивановичу странной, необычной. Ведь из этих старческих глаз, думалось почему-то ему, и слезы должны были течь такие же старческие, мутноватые.

Но тут же он подумал, что слезы человеческие всегда, видимо, чистые, прозрачные, как родниковая водичка, потому что на них расходуется то лучшее и светлое, что есть в человеке.

Он тоже проглотил тяжелый комок.

А старик вытер согнутым пальцем глаза и продолжал:

— Вышел я от Марьи — и солнца не вижу. Что делать? Пить, как пил? Марья на прощанье мне совет дала: устраивай, мол, жизнь все-таки свою как-нибудь, в артель обязательно вступай. Я ведь еще единоличник был. Почему? А черт его знает. Чего скрывать — с колчаковцами пил и с партизанами пил. Не знаю, почто не прихлопнули меня те или другие. Или рукой махнули — пьяница, мол, беспросыпный. Вишь, как бывает в судьбе.

Приплелся я от Марьи домой, налил полный стакан водки, подержал в руке... И швырнул под порог. И бутылку швырнул. Да так, что жалобный стекольный звон дня четыре в ушах стоял...

На пятый день пришел в себя. Пришел от мысли: ведь Филька Меньшиков не остановится, порешит где-нибудь Марью, беречь надо ее...

И стал я беречь ее. За каждым шагом ее следил, знал, когда она встает, куда едет по артельным делам, когда ляжет вечером спать и куда в первую очередь утром пойдет. Все я знал. Да не уберег...

Глаза Анисима снова повлажнели, и он торопливо махнул рукой:

— Я говорил — хмель-то в голову рассказчика ударит... Ты уж прости, не могу больше...

— Дальнейшее я вроде знаю... Рассказывал как-то Захар. Спасибо, Анисим Семенович.

— Вот такая она и была, Марья... На другую весну посадил я маленький осокорек на ее могилке. Расселина там большая, глубокая. Примется, думаю. И принялся. Я все боялся, что ветер либо ребятишки поломают. Да нет, от ветра стебелечек тряпочкой привязал к колышку, а ходить туда не то что дети — взрослые боялись в ту пору. Один Захарка похаживал только...

Анисим задумался, будто припоминая, все ли рассказал, не пропустил ли чего. И закончил:

— Вот так... А ты сам уж сообрази, что тут про нее, что про меня. Про меня-то можно и откинуть, а про Марью запомни... Ну ладно, побегу, гляну, как коровешки там...

Анисим стал убирать со стола посуду. Петр Иванович сидел молчаливый, задумчивый.

— Прости, Анисим Семенович, а Марью-то кто... Филька?

Старик звякнул посудой, присел на прежнее место, уперся кулаком в щеку.

— Кто же еще... Марья растрясла его в том же году. Тогда еще о раскулачивании речи по окрестным деревням не вели, из одежки вываливали лишь тех, кто с колчаковцами водился да больно уж воду мутил. Филька не только мутил — обрезишками баловался. И потом — догадалась она, должно, кто дочку ее в колодец... И не стерпела. Что же, человек. Собрала своих партизан бывших да подстригла его под гребенку. Потом-то говорили — незаконно, мол, самопроизвол... Да сделано было дело. И Марьи уже самой на свете не было. Он, Филька, ее...

— Но откуда известно все-таки, что он? Даже Большаков не знает...

Анисим быстро поднял и опустил глаза.

— А это, кроме меня, никому и не известно, может. А я-то знаю. Тот ножичек, который Филька прибрал...— Анисим встал, ушел в другую комнату. Вернулся, положил перед Смирновым тяжелый финский нож с наборной костяной рукояткой.— Вот он, ножичек-то. Я его на утесе, между прочим, поднял, когда Марьину дочку из земли вынимали...

Несколько минут Петр Иванович молча разглядывал нож, не решаясь к нему прикоснуться. В рукоятку между костяными пластинами было вставлено четыре медных.

— Но... почему же ты, Анисим Семенович, никому не сказал, что это Филька?

— А зачем? Для чего? — дважды спросил Анисим.— Если бы Филька еще раз объявился... Или брательник его, Демид...

— Кстати, куда Филька тот делся? Как из амбара, в котором его сторожили, сбежал?

Старик сердито засопел:

— Я почем знаю!

Взял нож и отнес в ту же комнату. Вернувшись, стал натягивать полушубок. Петр Иванович, облокотившись на стол, сидел недвижимо.

— Людская жизнь — тайга тайгой, в иных местах еще гуще все сплетено-перепутано,— проговорил старик. И добавил неожиданно, вроде без всякой связи: — Но Митьку-стервеца я все равно насквозь прогляжу, только дай бог маленько еще сроку... Да куда это проклятая шапка запропастилась, язви ее?

Наконец Шатров отыскал шапку, надел, плотно завязал уши, взял костыль.

— А вот Устина Морозова можно... насквозь? — спросил Петр Иванович.— Или Фрола Курганова?

Глаза Анисима блеснули из-под низко надвинутой шапки. Помедлив, он ответил:

— Отчего же нельзя? Каждого можно, ежели не спеша, говорю.

— Но как?

— Как! — усмехнулся Анисим, но тут же согнал усмешку.— Иной человек — как сосенка какая-нибудь на камнях... Подивишься порой — на чем дерево растет? То-то и оно, вроде бы не на чем. А оно растет себе. Значит, далеко его корешки тянутся, до самого того слоя, который питает. Вот докопайся до этих корешков — и все поймешь... Так ты пойдешь, что ли?

— Сейчас,— машинально ответил Смирнов, думая о словах старика.— Все равно с восьмичасовым поездом опоздал уже...

— Ну, дело твое. Будешь уходить — двери на щеколду закинь, а то ветер распахнет.

Анисим ушел, а Петр Иванович продолжал сидеть недвижимо. Даже когда вбежала с улицы пышущая морозом Ирина и стала разматывать платок, он не пошевелился, не повернул головы.

— Петр Иванович! — тревожно воскликнула девушка, готовая кинуться ему на помощь.

— Ничего, Ирочка. Со мной — ничего.

— Ой,— облегченно вздохнула девушка. Сбросила шаль, полушубок, валенки. Мокрые и промерзшие, они стукнули об пол, словно каменные.— А я уже прямо обмерла вся. И зачем вы ездите по колхозам? Вы и так сделали для людей очень много...

Ирина взяла с печки сухие шерстяные носки, быстро натянула их и, сидя на табуретке, заболтала ногами, наслаждаясь теплом.

— Иди сюда, девочка,— сказал вдруг Петр Иванович.— Сядь вот здесь, напротив меня. Вот так... Зачем, говоришь, езжу? — Он помолчал.— Когда-то я знал одну девушку. Чем-то она походила на тебя. И она сказала мне однажды, что на земле очень много обыкновенных хороших людей и очень мало любопытных.

— Любопытных? — переспросила Ирина.

— Любопытных,— подтвердил Петр Иванович.— Я тоже долго не мог понять, что она хотела сказать. А потом понял... вот что понял. Видишь, вот горит над нами электрическая лампочка. Каждое лето колосья за Светлихой шумят, волнуются. А скоро полетит к далекой мерцающей звездочке могучий космический корабль. Но... как тебе сказать? Не горела бы лампочка, не шумели бы колосья и никогда не помчался бы в глубины мироздания звездолет, если бы некоторые люди не обладали простейшей человеческой особенностью — любопытством. Один человек, например, полюбопытствовал, отчего обыкновенное стекло, от-

шлифованное особым образом, увеличивает предметы,— и создал микроскоп. Другой задумался, почему птицы летают по воздуху,— и изобрел самолет. Третий попытался представить, что происходит в душе порядочной женщины, живущей во враждебном ей обществе, во все уголки ее души заглянул — и рассказал обо всем увиденном в книге. И книга эта принесла людям столько же пользы, сколько микроскоп и самолет, а может быть, намного больше... Пока еще на земле слишком много обыкновенных людей и слишком мало любопытных, таких, как эти трое, создавшие микроскоп, самолет и книгу. Но таких людей становится все больше. Скоро их будет очень много. Придет время — все будут такими. А чтобы оно пришло скорее, надо каждому стараться быть любопытным. Вот и я стараюсь. Вот и езжу, слушаю, смотрю, что делается на земле. И не беда, что я ничего не изобрету, не напишу, скажем, книгу. Для того и другого нужен большой талант. Таланта у меня нет, но мне все равно интересно жить, интересно ездить и смотреть...

Ирина, подперев кулачками подбородок, смотрела на Петра Ивановича широко открытыми глазами, в которых было и удивление, и задумчивость, и еще что-то такое, что делало ее намного взрослее...

Глава 19

На конном дворе никого не было. Возле конюшни стояли сани с разбросанными в стороны оглоблями. Смирнов потоптался возле них и вошел в пахнущую теплом полутемную конюшню. Лошади, каждая в своей стайке, громко хрустели сеном, всхрапывали. Иные били копытами по деревянному настилу, и тогда хлопьями сыпался сверху, с потолка, легкий, как вата, куржак.

— Есть кто-нибудь тут? — громко спросил Петр Иванович.

Никто не отозвался, только жеребец в ближней стайке изогнул шею и глянул на Смирнова радужно-стеклянным глазом.

«Опоздал. Фрол задал корму лошадям и отправился домой завтракать»,— подумал Петр Иванович.

Решив подождать Курганова, он прошел в угол конюшни, заваленный прелым сеном, и лег на него.

Здесь, в углу, более темно и душно. Смирнов хотел уже встать, тем более что возле конюшни раздались чьи-то шаги, но в это время услышал:

— Ну где же он? Жди, понимаешь, как барина...

И, помолчав, тот же голос (Петр Иванович узнал Устина Морозова) добавил:

— Нынче кинь в собаку палкой — попадешь в начальника. Дошел пешком бы до станции, не подох. А и окочурился бы на полдороге, невелика беда.

Устину ответил Фрол Курганов:

— Тебе что за печаль ехать? Вон Андрона пошли или кого из ребятишек — отвезут.

Петр Иванович, ошарашенный, теперь не знал, что ему делать — подняться и поздороваться, будто ничего не слышал, или подождать — может, Устин с Кургановым уйдут от конюшни. И тогда идти на станцию пешком...

Пока раздумывал, Фрол и Устин зашли в конюшню. Брякнули удила — видимо, кто-то из них снял со стены уздечку. Потом голос Фрола:

— Стой, дьявол... Ну, хватит, одни дудки остались, да и те гнилые.— И слышно было, как он похлопал ладонью по крупу лошади.

— Ты вчера зато доброго сена привез,— сказал Устин.

Фрол ничего не ответил.

Потом Петр Иванович услышал, как Устин плевал на папироску, слышал даже, как она шипела, потухая.

— Долго думал-то? — спросил тихонько Устин.

— О чем?

— Ишь ты, не понимаешь! Я спрашиваю, как догадался сенца-то привезти на ферму?

— Не я — другие догадались бы.

— Я не с других, я с тебя спрашиваю.— Голос Устина тоже шипел и потрескивал, будто и на него плевали, как на папироску.

— Скот же дохнет...

— А-а...— холодно протянул Морозов.— Ну-ну!

— Да ведь и ты же привез!

— Я? А как же, и я тоже. Дурак сватается — умному путь кажет.

Простукали копыта коня по деревянному настилу — Курганов вывел его из конюшни.

Фрол и Устин продолжали разговаривать во дворе, но теперь голоса доносились глухо, и Петр Иванович почти ничего не мог разобрать.

Потом Устин повысил голос, и до Смирнова явственно донеслось:

— И про Пихтовую падь догадались бы?

Ответа Фрола Курганова Смирнов не разобрал, потому что громко начала стучать в виски кровь. Возможно, она стучала уже давно, но услышал это Петр Иванович только сейчас и в ту же секунду почувствовал, как снова пощипывает тихонько сердце, словно кто делает редкие и короткие уколы тоненькой иголочкой. «Что же делать? — мелькнуло у него в голове.— Ехать домой или остаться в колхозе?»

Смирнов привстал на колени, потер холодными пальцами виски. Виски рвало изнутри, под пальцами билось что-то живое и горячее.

— Назад, назад! — услышал он голос Фрола и понял, что Курганов пятит в оглобли жеребца.— Да назад же, холера тебя задави!

А в следующую секунду до Смирнова снова отчетливо донесся насмешливый голос Морозова:

— Если лошадь в оглобли не идет, ее кнутом по морде хлещут. Понял?

— Устин! — вскрикнул Курганов. Крик был отчаянным, умоляющим.— Ты меня не пугай, Устин!

— Не кричи, во-первых,— ответил Морозов.— А во-вторых, я не пугаю, я просто тебе совет дал. Попробуй-ка хлестануть. Вскинет голову, а попятится... И в-третьих, я еще поговорю когда-нибудь с тобой обо всем этом... особо.

И возле конюшни стало тихо. Устин и Фрол уехали. Петр Иванович, еще помедлив, встал и вышел из конюшни.

Утро было нисколько не теплее, чем вчера. Там, где собиралось взойти солнце, по небу от края до края стлались раскаленные на морозе розовые полосы.

Глядя на эти полосы, Петр Иванович шел в контору. Он думал о странном, нечаянно подслушанном разговоре Устина с Фролом. В чем же дело? Обязательно надо рассказать обо всем Захару. Но... только ли о сене говорили Морозов с Кургановым?

И еще подумал Петр Иванович, что из колхоза надо уезжать как можно скорее — припадок может свалить его через сутки, а может, и раньше.

Из конторы, у крыльца которой стояла запряженная лошадь, вышли навстречу Смирнову Морозов и Курганов.

— А-а, вот он! — добродушно воскликнул Устин.— А мы тебя давно ждем. Давай скорее, чтобы к десятичасовому поезду успеть. Сам уж отвезу, больше некому.

— Я... пожалуй... Зачем же беспокоиться?

— Ты чего? Хворый, что ли? — спросил Устин, не дав Смирнову договорить, и в черных глазах его плеснулась неподдельная тревога. «Что за черт, он ли возле конюшни говорил: «Дошел пешком бы до станции, не подох»?» — невольно засомневался Петр Иванович.

Фрол Курганов внимательно посмотрел на Смирнова и отвернулся. А Устин продолжал, по-прежнему приветливо улыбаясь:

— Я тулупчик сейчас принесу. Морозишко-то, не дай бог, заколеешь. Я мигом.— И быстро пошел к своему дому.

Фрол Курганов еще раз посмотрел на Смирнова и, не попрощавшись, направился в другую сторону.

— Фрол Петрович! — окликнул Смирнов.

Курганов вопросительно обернулся.

— Я вот что хотел спросить... Фрол Петрович... Большаков в конторе?

— С утра уехал по бригадам.

«С утра» означало, что председатель уехал давно, несколько часов назад.

— Я, признаться, Фрол Петрович, был удивлен вчера твоим поступком,— опять начал Смирнов.— Мы с Захаром думали — ты на базар повезешь сено.

9*

Фрол как-то странно подергал щекой и проговорил:

— Врешь ты, парень. Что удивился, может, и верно. А сейчас, сдается, не о том хотел спросить.

Смирнов действительно хотел сказать, что слышал их разговор с Устином, хотел спросить, что значат слова Морозова: «И про Пихтовую падь догадались бы?», да не мог сообразить, как удобнее начать. А Фрол еще постоял, подергал щекой, но, не прибавив больше ни слова, пошел прочь.

— Откуда ты знаешь, что не о том? — спросил все же Смирнов.

Курганов остановился, не торопясь, грузно ступая, вернулся к Смирнову, поглядел ему в глаза своими неприветливыми глазами.

— Вот что, друг любезный...

Смирнов невольно отступил к саням.

— Ты меня не пугайся, я человек тихий и мирный,— негромким голосом вымолвил Фрол, и усмешка чуть тронула его губы.— И я многое знаю, понял?! Знаю, например, что меня не любят тут все. И ты тоже...

— Ну, это не так уж много. Здесь ума не надо, чтоб понять,— резко проговорил Петр Иванович, одновременно сожалея, что сказал это.

— Ага,— согласно кивнул Фрол.— Но для меня и этого хватит. Знаю еще, что ты давно ходишь вокруг меня, примеряешься, с какого боку в душу мне влезть: что я да кто я? Почему волком смотрю? Верно?

— Верно,— сказал Смирнов.— И раз уж зашел такой разговор, скажу — не только один ты меня интересуешь.

— А как же! Знаем! — перебил его Курганов.— Морозов вон, например. А?

— Допустим, тоже верно...

— Ну вот... И раз зашел такой разговор, как ты говоришь, то я тебе скажу, чтоб потом не тратить время: никогда больше не лезь ко мне с такими расспросами. Все равно ничего не скажу. Понял?

— И все-таки я задам еще один вопрос, Фрол Петрович,— проговорил Смирнов.— Может быть, последний. Можно написать заметку в газету, что ты в тяжелую для колхоза минуту добровольно привез на артельную ферму три центнера своего сена? Хотя, откровенно сказать, мне очень не хочется печатать такую заметку.

Фрол Курганов опять поднял на Смирнова глаза, разжал обветренные морозом губы:

— Не надо.

— Почему? Может, где-то кто-то хоть подумает о тебе с теплотой. Здесь-то уж не подумают, несмотря ни на что...

— А мне, может, нравится, что обо мне с ненавистью думают,— тихо и неожиданно раздумчиво проговорил Фрол, смотря

в сторону. Потом погромче: — А мне, может, нравится, что меня не только не любят, а ненавидят? И может, я легче дышу, когда знаю, что меня ненавидят? А?

И, не дожидаясь ответа, медленно повернулся и пошел. Однако Петр Иванович почему-то был уверен: Курганов остановится, обернется и еще что-то скажет.

Фрол действительно обернулся в третий раз. Но того, что он сказал, Смирнов ожидал менее всего:

— И еще я знаю, почему тебя сам Морозов хочет отвезти до станции.

— Почему же это? — насторожился Петр Иванович.

— Ты не бойся, он не убьет тебя,— скривил губы Фрол и сразу же быстро зашагал, скрылся в переулке. Петр Иванович так и не понял, усмехнулся Фрол или нет.

До тех пор, пока не вернулся с тулупом Устин, Смирнов все думал над последними словами Курганова. «Ну-ну, поглядим, и мне интересно»,— решил Петр Иванович.

— Вот. Надевай-ка — и покатим. Лошадка у нас, слава богу, добрая. Садись давай.— И Морозов развернул тулуп.

— Сейчас. Позвоню только жене, что с десятичасовым выехал,— сказал Смирнов и быстро вошел в контору.

Выйдя через три минуты на крыльцо, он увидел, что Морозов сидит уже в санях и держит вожжи.

Лошадь действительно было хорошая. Она с места взяла крупной рысью и быстро вынесла за деревню.

Плохо наезженная дорога шла прямо. Невиданных размеров солнце только-только всходило и еще не оторвалось от горизонта. Петру Ивановичу казалось, что оно катилось километрах в двух впереди по этой же самой дороге. Всего каких-нибудь две-три минуты назад солнце было вот здесь, где они сейчас едут, оно подняло тучи искрящейся колючей пыли, и теперь эта пыль медленно оседала на заснеженное поле.

«Ну-с, что же у тебя за цель?» — все время думал Смирнов, незаметно наблюдая за Устином, ждал его вопросов.

Морозов, помахивая кнутом, сидел, полузакрыв глаза. И было непонятно: или он тщательно обдумывает те вопросы, которые собирается задать, или просто-напросто, забыв про своего пассажира, дремлет? В таком случае никакой цели у него нет...

И тем более неожиданно прозвучал его вопрос:

— Ты, говорят, интересуешься, почему наш утес называется Злат-камнем?

— Да... спрашивал кой у кого.

— У кого же это?

— У Анисима вон.

— И что?

Голос Устина был самым обыкновенным, равнодушным.

— Да что... Толки, говорит, не с елки, а молва не с небес,— неопределенно ответил на всякий случай Смирнов.

— Это как понять?

— Не знаю, не разъяснял.

Устин Морозов сидел в той же позе, чуть полузакрыв глаза. Казалось, он задает вопросы и тут же забывает о них, занятый какими-то другими мыслями.

— Хочешь, я тебе объясню? — стряхнул с себя оцепенение Устин и показал кнутом на утес, мимо которого они проезжали.— Гляди...

Каменная стена утеса, облитая солнцем, плавилась, горела желтоватым пламенем. Петр Иванович видел это довольно часто. Особенно красочно и долго утес горел весенними и летними утрами.

— Гляди вот,— повторил Устин и начал рассказывать про ежедневное свечение утеса, про легенду о зарытых под каменными глыбами сокровищах. И хотя Петр Иванович все это знал, он не перебивал его.

Рассказал Устин также и о Марье Вороновой, похороненной на утесе.

— От этого, наверно, утес «Марьиным» еще зовут. Но что за Марья, какая она была, я в точности не знаю. Я не здешний, задолго до меня все случилось.

— А откуда же ты родом?

— Я-то? — переспросил Морозов, не поворачивая головы. Он спросил это тотчас же, едва Смирнов задал свой вопрос. Так, пожалуй, решили бы все сто человек из ста, если бы им поручили в это мгновение наблюдать за Устином. Но Петр Иванович наблюдал за Морозовым по-особому, он один наблюдал за всю сотню. И, может, поэтому смог заметить, что Морозов переспросил не сразу, а какую-то долю секунды помедлив.— Я-то из бывшей Тверской губернии, села Осокино. А ты где родился-крестился, если не секрет?

— Есть деревня такая — Усть-Каменка,— произнес Петр Иванович и замолчал, потому что в эту секунду рыжая телячья шапка качнулась и стала поворачиваться. Медленно-медленно. Потом замерла и стала поворачиваться обратно.

Сердце Петра Ивановича заколотилось неизвестно от чего. И что самое страшное — при каждом ударе накалывалось на тонкие холодные иголки. Начинался сердечный приступ.

— И ты, говоришь, освобождал ее от немцев? — глухо спросил Морозов.

— Я ничего не говорю.

— Как же, летом, в конторе, когда дожди начались, рассказывал. Я помню... Невесту еще у тебя там...

— А-а... Освобождал...— морщась от боли, вымолвил Смирнов.

Телячья шапка стала опять поворачиваться.

Однако Морозов на этот раз посмотрел не в глаза Петру Ивановичу, а через его плечо куда-то назад, будто высматривал,

не едет ли кто следом. Посмотрел и принял прежнее положение.

Сердце у Смирнова вроде отпустило немного. Он достал платок, вытер с лица испарину и спросил:

— Гонится за нами, что ли, кто?

— Кому тут гнаться-то? — ответил Морозов.— Волчишки у нас водятся, конечно. Но они по ночам только балуются.— И прибавил, не торопясь, с плохо скрываемой насмешкой: — Ты не волнуйся, сердце-то у тебя... Вижу ведь, морщишься. Беречь надо такое сердце...

Но волновался не Смирнов, а сам Устин. Он ерзал и ежился, будто за пазуху положили ему горячий уголь, еще несколько раз поглядел назад.

Смирнов тоже обернулся. Далеко, на самой вершине увала, за который падала дорога, что-то чернело,— кажется, шел лыжник.

Вдруг Морозов расстегнул полушубок, словно в самом деле хотел вытряхнуть больно кусающий тело красный уголек.

— Простудишься ведь,— сказал Петр Иванович.

— Ничего, мы привычные,— ответил Устин.

Кругом расстилалась степь, белая, холодная. Недели три назад была пурга, и Смирнов представил, как гуляли по степи белые волны, схлестывались, гремели, кидали тяжелыми брызгами, а теперь застыли, замерли до новой пурги, которая в Сибири никогда не заставляет себя долго ждать.

«Почему все-таки он меня сам повез? — безотрывно думал Смирнов, покачиваясь в санях.— Подождем, может, еще заговорит... о чем-нибудь».

Устин минут через пять действительно проговорил осторожно:

— Я вот что хотел у тебя, Петро. Про Федора... про сына спросить...

«Вот какая цель! — подумал Смирнов и обрадовался.— Только для этого не обязательно было ехать ему на станцию. Можно бы поговорить об этом и в деревне...»

Как бы отвечая мыслям Смирнова, Устин сказал:

— В деревне-то никак что-то не получалось у нас один на один. То да се, словом. Мертвые ни об чем не беспокоятся, лежат себе, а у живых дела... Видел ты его... мертвого-то?

— Нет, Устин Акимыч, не видел. Федор в разведке погиб. В то время мы от Усть-Каменки, правда, недалеко стояли, да ведь не сходишь, не посмотришь...

— Ну, ясно, ясно...— дважды кивнул Морозов.— А могилку его не знаешь?

— Когда взяли Усть-Каменку, я уж без сознания был, Устин Акимыч. Тяжелое ранение... По рассказам — расстреляли его во рву, где всех расстреливали. После войны я ходил на это место. Там памятник сейчас стоит...

Устин помолчал и проговорил:

— А я вот все съездить туда собираюсь. Хоть поглядеть... на те места.

Морозов задумался, опустил вожжи, забыл, казалось, и о лошади, и о нем, Смирнове, и о самом себе. Петр Иванович не шевелился, не мешал Устину.

Наконец Морозов вздохнул, приподнял голову, подобрал вожжи. Лошадь прибавила рыси.

— Вот гляжу я на тебя, Петр Иванович, и чего-то такого, как и внучка Шатрова, не могу понять-уразуметь,— промолвил Морозов.

— Чего же это?

— Н-но, пошевеливайся! — прикрикнул Устин на лошадь, повернул голову к Смирнову, оглядел его так, что Смирнову стало неудобно.

— Так что же все-таки непонятно тебе?

— Как тебе объяснить? Только ты не смейся. Может, я и глупый, как пень. Какая такая... как это?... закваска, что ли, в тебе? Жить тебе, по слухам, без веку год-полтора. Свое, слава богу, кажись, сделал, теперь пенсию получаешь, хорошую, однако... Так какая такая сила? Или, попроще, какой такой смысл... ради которого ты... Э-э, черт! Слов не хватает.

Смирнов был удивлен, кажется, так, как никогда еще не удивлялся. Морозов говорил тихо, не торопясь, вдумываясь в каждое слово и точно каждым обжигаясь. Петр Иванович чувствовал, что Морозов действительно хочет докопаться до какой-то истины. Морозов, про которого только вчера Смирнов высказывал догадки, не иеговист ли он, не мракобес ли пятидесятник! Неужели... неужели с этой целью он поехал с ним? Если так, зачем ему, Морозову, эта истина?

Раздумывая обо всем этом, Смирнов медленно говорил:

— Видишь ли... Иринка Шатрова, я думаю, все же понимает... Она еще молода, конечно, но...

— Хе... Значит, мне заново родиться надо?

— Да нет, не об этом я хотел. Ты задал такой вопрос, что сразу не ответишь... И Федор твой понимал...

Устин, видимо, замерзнув, плотно запахнул полы полушубка, наглухо застегнулся.

— Да, понимал. Хороший человек был! — продолжал Смирнов.— А сколько их, хороших, перестало радоваться, погибло, не нарадовавшись жизнью. Вот чтобы не повторилось то, что с Федором, чтобы...

— П-понятно! — почти выкрикнул вдруг Морозов зло, со свистом взмахнул бичом, огрел лошадь.— Э-э, падаль облезлая, заснула совсем... Шевелись...

Устин стегал лошадь до тех пор, пока она не перешла в галоп. И только тогда успокоился, отвалился на заднюю спинку кошевы, тяжело задышал, будто погоняли сейчас бичом его самого.



И снова Петр Иванович безмерно был удивлен таким поведением Морозова.

Впрочем, и это удивление сегодня было не последним.

С четверть часа ехали в безмолвии. А потом Устин спросил:

— Как там наша Зинуха поживает у вас? Зинка то есть Никулина.

— Живет. Квартиру недавно помогли получить ей.

Петр Иванович сказал и пожалел: «Чего ради я объясняю ему все?»

— Ну как же... Слышали, слышали,— сказал Морозов.— Гляди, как бы с ней беды тебе не нажить.

— Какой беды?

— Да я так, господи...— быстро проговорил Устин.— Я к тому, що они, Никулины, все какие-то... Антип сам придурок, всем известно. Клашка вон одержимая чем-то. Все Федьку моего ждет. Мне за сына лестно, конечно, но... Без малого ведь двадцать лет прошло.

— Так разве это плохо, что ждет?! Не каждая умеет...

— Оно все хорошо на время. А все же гляди с Зинкой-то. Уволил бы, да и дело сторона...

— За что же увольнять ее? Работает она хорошо.

Помедлив, Устин проговорил:

— Ну и ладно, коли так... Дело твое, понятно. Доведись до меня — я бы подальше он нее держался.

— Почему это? — Смирнов откинул воротник.

— То да се — не растолкуешь все, как говорит старик Шатров. Ребенка она имеет, а от кого? Непонятно. Квартиру отдельную заимела. Да... Женщина молодая, тело горячее. А от горячего — хе-хе! — лучше подальше...

— Ты думаешь, что говоришь?! — воскликнул Смирнов.

— Да шутя я,— сказал Морозов. Но через полминуты уронил еще раз свое: — Хе-хе...

Лошадь шла крупной и ровной рысью. Дорога стала наезженнее и чуть ухабистее. Вдали показались первые дома станционного поселка. Они будто всплывали из-за мглистого горизонта и покачивались, как поплавки на водной глади.

Неожиданно в сердце Петра Ивановича возникла режущая боль, и он даже вскрикнул, на какое-то мгновение потерял сознание и привалился к плечу Устина. Но тотчас пришел в себя и почувствовал, как Морозов отталкивает его со словами:

— Ты, оказывается, гнилей внутри, чем кажешься с первого взгляда.

Вот теперь в его голосе прозвучало незамаскированное, откровенное злорадство. Вот теперь Петр Иванович верил, что там, возле конюшни, разговаривал с Фролом Устин.

Лицо Петра Ивановича покрылось крупными каплями пота. Он лежал в санях, опираясь на левый локоть, чувствовал, как дрожит и слабнет его рука. Выезжая из «Рассвета», он надеялся, что припадок начнется не так скоро. И вот...

— Я уже наслушался сегодня... твоих речей обо мне,— сказал Смирнов, пересиливая боль.— Насчет собаки, в которую палкой... И что окочурился бы на полдороге... так не беда.

— Вот как! — воскликнул растерянно Устин и хлестнул лошадь.

— Не могу лишь в толк взять, с чего такая ненависть у тебя ко мне...

Морозов нервно рассмеялся, проговорил неловко, сбиваясь:

— Ты уж скажешь — ненависть. Оно, может, так... В общем, каждый вонюч в душе, если разобраться. Вот и я...

Сердце теперь рвало на части. Лошадь стремительно несла сани по улицам поселка, но Петру Ивановичу казалось, что они тащатся шагом и что он трижды успеет умереть, прежде чем они доедут до медпункта.

— Ты не притворяйся,— задыхаясь, проговорил Смирнов,— и объясни мне весь твой разговор с Кургановым у конюшни. Всю махинацию с этим сеном в Пихтовой пади объясни. И еще — что значит: «Если лошадь не идет в оглобли, ее кнутом по морде хлещут»? Что значит твоя угроза Курганову: «Я еще поговорю с тобой особо»?

— Объяснить?! — закричал вдруг Устин и повернулся к Смирнову всем телом. Под телячьей шапкой сверкнули черные молнии.— Нет, это ты мне объясни, об чем с Захаром вы вчера... Слышал ведь я его слова, что глаз с меня теперь не спустит. Тридцать лет копает все под меня, скрадывает, как зверя. Да чего меня скрадывать? А теперь ты еще... роешься, как свинья под деревом! Ишь завел: «Откуда ты родом?» А тебе-то что? А тебе зачем?! Да и будто не рассказывал тебе Захар, будто не знаешь...

Устин, наклонившись над Смирновым, обдавал его горячим дыханием. Заросшее черными волосами лицо его было перекошено, кажется, вдоль и поперек.

Петр Иванович уже плохо понимал, о чем кричит Морозов.

Лошадь остановилась наконец возле медпункта. На низенькое крылечко вышел человек в белом халате, и Петр Иванович узнал молоденького врача Елену Степановну Краснову, которая недавно работала в районной поликлинике вместе с его женой, а нынешней осенью переехала на эту станцию.

До крови закусив губу, Петр Иванович полез из кошевы, собрав последние силы.

— Давай, давай, ройся! — еще раз крикнул ему в лицо Морозов, обдавая тяжелым запахом из заросшего черными волосами рта.— Захар вон, говорю, всю жизнь... А ты, я думаю, и подавно не докопаешься! Ты просто не успеешь... не успеешь, понятно?

Это было последнее, что слышал Петр Иванович. Он еще сообразил, что Морозов сдернул с него тулуп, что Елена Степановна и откуда-то взявшийся густо заиндевевший Митька Курганов ведут его на крыльцо медпункта. И, теряя сознание, стал проваливаться в мягкий, согревающий сухим теплом омут.

Но не успел он коснуться дна этого омута, как чернота начала рассеиваться, а его самого какая-то сила принялась выталкивать вверх. Вот где-то далеко-далеко замаячил сквозь туман врач или медсестра. Петр Иванович отвернулся от человека в белом халате и увидел, как желтый солнечный свет играет в морозных стеклах небольшого оконца.

Сердце его билось ровно, боль исчезала. Чувствовалась только во всем теле смертельная усталость.

— Сколько часов я... давно я здесь? — спросил Петр Иванович.

— Да с полчаса всего,— проговорил тот, кто сидел рядом, голосом Митьки Курганова.

Смирнов повернул голову. Митька почему-то виновато улыбался. Он даже не пошевелился, но на его широченных плечах все равно затрещал больничный халат.

— Ты откуда здесь взялся? — удивленно спросил Петр Иванович.

— Да батя... «Иди, говорит, на станцию, как бы в дороге что не случилось...» — опять виновато улыбнулся Митька.

— Кто? — привстал даже Петр Иванович.— Фрол... Петрович?!

Митька вскочил с табуретки.

— Да вы лежите... лежите. Ну да, батя мой... Я встал на лыжи, пошел. А доктора вызвали куда-то к больному. Она мне: «Ты посиди немного возле Петра Ивановича, теперь ничего опасного...» Вот я и сижу.

Голос Митьки успокоил Смирнова. Он снова посмотрел на морозное окно, облитое жидким солнечным светом, и спросил:

— Поезд ушел?

— Минут десять назад простукал.

— Следующий когда?

— После обеда будет. Да вы лежите, лежите! — опять торопливо проговорил Митька, видя, что Смирнов встает.

— Теперь-то уж ничего,— успокоил Курганова Петр Иванович.— Доктор правильно сказала, она знает.

Ноги Петра Ивановича все-таки дрожали. Он посидел немного на кровати. Потом прошел в соседнюю комнату, где был телефон, позвонил жене, что задерживается на станции в связи с одним делом, о котором надо обязательно написать в газете, и что приедет после обеда.

Вернувшись к Митьке, сказал смущенно:

— Видишь, обманывать жену приходится. Как думаешь, хорошо это?

— Ну, мало ли что бывает... Это ничего...

Петру Ивановичу что-то не понравилось в Митькином ответе. Он внимательно посмотрел на него, вспомнил неожиданный утренний вопрос Анисима Шатрова: «Про Митьку-то што думаешь?»

Кто-то заскрипел на крыльце, и Смирнов, забыв про Митьку, кинулся, как мальчишка, к кровати.

Вошла Елена Степанована.

— Спасибо тебе, Митя. Теперь иди домой. Я уже здоров, с первым поездом уеду. Ничего со мной не случится теперь.

— Да, можете идти,— сказала Митьке и врач. Она сняла шубку и теперь поправляла коротенькую, девичью еще прическу.— Благодарю вас за помощь.

Митька неуклюже поднялся, потянул с себя стеснявший его халат.

— Давайте я помогу вам,— сказала Елена Степановна.— Хотя постойте, постойте! — воскликнула она и повернула Митьку к себе лицом.— Ведь вы, кажется... Курганов Дмитрий? Из колхоза «Рассвет»? Как это я раньше вас не узнала...

Митька посмотрел на нее сверху вниз, по-медвежьи переступил с ноги на ногу. От нее резко пахло лекарствами.

— Ну, из колхоза...

— Это вы осенью испугались прививки против тифа и сбежали в тайгу?

Серые глаза с коричневыми зрачками глядели на него строго и чуть насмешливо.

— Ничего я не испугался,— опустил свой чуб Митька.— А кожу зря прокалывать не дам.

— А я и разговаривать теперь не стану. Ну-ка, проходите в мой кабинет. Живо, живо!

— А я говорю, не дам! — сказал Митька. Сказал — и покорно пошел за Еленой Степановной.

Пока она кипятила на плитке шприц и иголки, Митька смирненько сидел на клеенчатой кушетке и оглядывал ее хрупкую фигурку. Ему казалось отчего-то, что это вовсе и не взаправдашний врач, а какая-то девчонка старательно играет во врача. Очевидно, потому, что очень уж она была маленькая.

Потом Елена Степановна присела на краешек стула боком к Митьке и стала что-то записывать в большую тетрадь. «На стуле три таких доктора поместятся»,— мелькнуло у Митьки.

Коротко остриженные волосы все время сползали, когда она наклонялась над столом. Они закрывали сначала круглый подбородок, потом губы, длинные, чуть не закручивающиеся колечками ресницы. Скоро Митька видел только один ее нос с едва заметной горбинкой. Она, не прекращая писать, убирала волосы, запуская в них длинные белые пальцы, но волосы снова сползали.

Иногда, не обращая на них внимания, она о чем-то задумывалась и, как школьница, кусала зелененькую ученическую ручку.

Елена Степановна была красивой. Митька не отдавал себе еще в этом отчета, он сидел и соображал, почему так неожиданно оказался в этом кабинете и терпеливо ждет, когда ему будут «зря прокалывать кожу».

Наконец Елена Степановна положила на стол ручку и откинулась на спинку стула. Откинулась — и Митька замер, пораженный.

Сквозь морозное окно в кабинет били неяркие снопы солнечных лучей. Они захватывали спинку стула и растекались розовой лужей под Митькиными ногами, не задевая Елену Степановну. Но когда она откинулась, ее голова оказалась в полосе солнечного света. Пронизанные этим светом, заискрились вдруг ее волосы, а лоб, нос, губы и подбородок очертила золотисто-розовая каемка.

В этот-то миг Митька не понял, нет, а скорее почувствовал, как она красива.

Почувствовал и опустил глаза, будто ему в самом деле стало больно смотреть на нее.

Когда поднял их, Елена Степановна набирала в шприц сыворотку.

— Снимайте пиджак и рубашку,— сказала она.

Митька снял и, не зная, куда положить, держал в одной руке пиджак, в другой рубашку и майку.

— Повернитесь спиной.

— Да меня не то что тиф, никакая холера не возьмет,— буркнул Митька, собрав остатки своего упрямства, которого только хватило, чтоб сказать ей это. Сказав, он покорно повернулся.

Сделав укол, Елена Степановна бросила в кипящую воду шприц и произнесла чуть насмешливо:

— Ну вот и все. А то я боялась, что не выдержите и помрете. Одевайтесь.

Это Митьке уже не понравилось. Он молча, не спеша натянул рубашку, долго застегивал пуговицы. Почувствовав на себе его взгляд, Елена Степановна обернулась и отчего-то смутилась, покраснела.

— Послушай, а как тебя звать, доктор? — спросил в упор Митька.

— Краснова.

— То-то, вижу, красная вся,— буркнул Митька.— Я про имя спрашиваю.

Ей бы рассердиться на такую грубость, но она еще больше смутилась и промолвила:

— Лена... То есть... Елена Степановна Краснова...

Митька выслушал ее снисходительно, не спеша надел пиджак.

— Ладно, Лена-Елена. Спасибо за обслуживание. Болеть-то сильно будет? — спросил он, приподнимая плечо.

—Нет, не очень,— все еще не придя в себя, проговорила она виновато.

— Ну что ж, прощай, товарищ доктор...

И Митька вышел из кабинета, надел полушубок, висевший в углу под марлевой занавеской, кивнул Петру Ивановичу и направился из медпункта.

— Странный какой-то парень,— сказала Елена Степановна, выйдя минут через пять к Смирнову. Щеки ее горели.— И грубиян, кажется... Ну, как вы?

— Все очень хорошо. Как-нибудь доберусь теперь до дому. Скоро будет поезд.

— Вам бы полежать часиков шесть...

— Что вы, Леночка! Там и так Вера Михайловна...

— Да знаю. Может, позвонить ей?

— Что ты, ни в коем случае!

— Ну, хорошо, хорошо. Я сейчас опять к больному пойду, по вызову. А вы уж полежите до поезда. На поезд я посажу вас. В вагоне с места не вставать. Приедете — сразу в постель...

Краснова ушла. А Петр Иванович, лежа на кровати, пытался разобраться хоть в чем-нибудь из того, что сегодня произошло...

Сдернув тулуп со Смирнова, Устин так рванул вожжами, что жеребец заржал от боли, взвился на дыбы, с места взял в намет. Морозов едва-едва успел упасть в кошеву.

Когда жеребец пулей вылетел за околицу, на ту же дорогу, по которой они только что ехали, Морозов встал на ноги, принялся остервенело нахлестывать коня, и без того несущегося во весь мах. Жеребец, казалось, вот-вот вырвется из оглобель. Тогда Морозов соскочил с кошевы и побежал следом, придерживаясь за ее спинку.

Когда взмокший конь убавлял ход, Морозов вспрыгивал в кошеву и, не подбирая вожжей, опять принимался нахлестывать жеребца. Разогнав лошадь до прежней скорости, снова прыгал на землю, снова бежал следом. И опять заскакивал в кошеву, махая бичом...

Так продолжалось до самого Зеленого Дола. Казалось, Устин хотел загнать не жеребца, а самого себя. И лошадь и Устин взмокли, озверели, дышали хрипуче, свирепо оскаливая зубы. Конь под конец уже не дожидался свистящих ударов бича и, едва вскакивал Устин в кошеву, прибавлял ходу, все чаще и чаще припадая на передние ноги.

Перед въездом в Зеленый Дол Устин, потерявший где-то шапку, прыгнув в последний раз в кошеву, ткнулся в нее горячей и мокрой головой и распластался на мерзлой соломе. Жеребец из последних сил рванулся вперед. Колхозники, попадавшиеся на улице села, ошалело шарахались из-под самых копыт, бросали удивленные взгляды:

— Что за дьявол бешеный? Растопчет ведь кого...

— Да это бригадир вроде! Морозов!

— Сдурел он, что ли? Коня ведь порешит.

— Нахлестался водки, должно, где-то...

Конь упал возле самой конюшни, переломив сразу обе оглобли, забился на снегу. Потом затих, только ноздри еще пузыри-

лись с полминуты. Пузыри так и застыли, не полопавшись, розоватой стеклянной шапкой.

— Люди, да сам Устин живой ли?! — проговорил, подойдя к саням, Филимон Колесников и ткнул Морозова кулаком.

Устин зашевелился, тяжело поднялся. Постоял, согнувшись, плетьми опустив руки, повел кругом мутными глазами. И пошел домой, так и не разгибаясь, чуть не по земле волоча руки.

— Да что это с ним, господи! — воскликнула старая Марфа Кузьмина, которую Устин чуть не спихнул с дороги. Марфа давно жила в Озерках, но сегодня наведалась в гости к сыну.

— А ты не шляйся на улицах, где люди ходят,— ответил ей вездесущий Антип Никулин, уже крутившийся вокруг околевшей лошади.— И когда ты помрешь только?

— А вот стребую притвор — и помру,— ответила Марфа и пошла дальше своей дорогой.

Если бы Петр Иванович все это видел, он подивился бы поведению Устина еще больше. Но объяснить его, конечно, не смог бы, как не смогли сделать этого зеленодольские колхозники, толпившиеся вокруг околевшей лошади.

И только одному человеку в деревне, возможно, было понятно все. Он, этот человек, видел, как замертво упала лошадь возле конюшни. Он один из первых подбежал к саням, молча глядел, как поднимается из них Устин. Он молча проводил взглядом удаляющегося Морозова, а потом так же молча, не обращая внимания на галдящих вокруг колхозников, нагнулся и стал снимать с теплого еще жеребца сбрую.

Но этот человек ничего не сказал. Он не раскрыл даже губ, когда к конюшне подъехал вернувшийся из бригад Захар Большаков и воскликнул:

— Это еще что за конфета? Кто это коня угробил?! Слышишь, Фрол, тебя спрашиваю!

Курганов взвалил на себя сбрую, потащил ее в конюшню. Председателю все объяснили другие...

Глава 20

Притащившись домой, Устин Морозов упал на кровать, стоявшую на кухне, и пролежал не шевелясь несколько часов.

Ему все казалось, что над деревней до сих пор стоит злой и тоскливый волчий вой, который он слышал сегодня ранним утром. Сперва вой был слышен еле-еле, точно зверю кто-то легонько прищемил лапу и он, повизгивая, пытался освободить ее. Но лапу сжимало все сильнее, и зверь начинал чувствовать боль. В его крике появились теперь угрожающие нотки. Он, наверное, уже по-настоящему дернул свою лапу раз-другой. Однако почувствовал еще большую боль, и волчий голос стал наливаться, набухать тяжестью и злобой. Послышались в нем упругие переливы, постепенно перераставшие в зловещее рычание.

Но лапу сжимало все сильнее и сильнее, боль пронизывала волка насквозь, с головы до хвоста. И над деревней висел уж не просто волчий вой, а сплошной осатанелый звериный рев. Волк крутился, наверное, на одном месте, пытаясь освободить свою лапу. Вокруг летели комья твердого снега и мерзлой земли, но лапу кто-то держал намертво, и, чтоб освободиться и уйти, ее можно было только перекрутить, оторвать, но не выдернуть. И зверь перекрутил бы, оторвал, если бы не эта боль, пронизывающая все тело, отнимающая все силы. Силы эти убывали с каждым мгновением, с каждым движением.

Звериные силы убывали, но рев не ослабевал. Он, наоборот, накалялся все сильнее и сильнее, как накаляется железная болванка, сунутая в кузнечный горн,— сперва докрасна, потом добела.

Устин лежал и думал, что волчий вой никогда не прекратится, что вот так и будет, и будет висеть звериный крик над деревней: весь день, весь вечер, всю ночь, целый год, всю жизнь. Потому что волчью лапу сдавливать не переставали. Достигая самой яростной и отчаянной ноты, вой переламывался, шел вроде на убыль. Но тут же поднимался снова и снова, клокоча жуткой в своем бессилии яростью...

По комнатам неслышно ходила Пистимея. Время от времени она присаживалась где-нибудь, шелестела страницами Евангелия, вздыхала, становилась на колени и начинала шептать молитвы.

Этот шелест страниц, шепот и вздохи немного успокаивали Устина, как почему-то успокаивали они его всегда. И он начинал думать, что вера в бога, должно быть, в самом деле дает человеку успокоение и надежду. Вот жена верит или делает вид, что верит,— и не властны над ней никакие чувства, никакие мысли, обходят ее всякие волнения, заботы, желания, кроме тех, которые внушает ей ее бог. Внушил бог безропотно слушаться мужа своего — она слушается. Не было еще случая, чтобы сделала что-то наперекор ему, Устину, чтобы не угадала каким-то чутьем его, Устиновы, желания. Это было приятно, а самое главное — удобно.

Сейчас Устин не удивляется этой ее покорности и преданности, а было время — удивлялся.

— Неужели сделаешь все, что я ни прикажу? — спрашивал он, когда судьба свела их вместе и они только-только начинали совместную жизнь.

— А как же не сделаю,— отвечала она.— Мужнина воля — божий приказ.

— А ежели я повелю тебе раздеться донага да пройтись средь бела дня по улице?!

Он спросил так, может быть, еще и потому, что за целый год совместной жизни не только нагой — даже простоволосой ни-

когда не видел жену. Вечно она ходила в длинном, до пят, платье, шею и голову заматывала платком так, что видны были одни ее задумчивые голубые глаза да острый небольшой нос. В постель к нему она ложилась всегда в полной темноте, а утром вскакивала до свету.

— Повелишь — так как же не пойти-то!..— промолвила она, опуская голову.

— Раздевайся тогда да ступай,— сказал он, разбираемый любопытством.— До нитки раздевайся...

Жена стояла среди избы в своем длинном платье. Губы ее дрогнули по-детски, и она промолвила просяще, еле слышно, боясь, наверное, что услышит бог:

— Господи! Да ты чего?

— Давай, давай! До околицы и обратно, не спеша. Ну!

И не мигая, стал смотреть на жену.

Она нехотя стянула сперва платок. Волосы рассыпались и упали на спину. Затем расстегнула платье на груди, сняла и уронила на пол...

В комнату бил яркий солнечный свет. Точно выйдя из ледяной воды, жена горела всем телом. Впервые увидел и понял он в эту минуту, что стройности его жены позавидовала бы не одна женщина.

Стоя среди вороха одежды, она закрывала ладонями маленькие груди. Потом, словно враз обессиленная, уронила руки вдоль тела, наклонила голову, перешагнула через свою одежду и пошла... Пошла тихонько, так и не поднимая головы, словно искала что-то на земле.

Он догнал ее уже во дворе, схватил в тот самый момент, когда жена открывала дощатые воротца, чтобы ступить из ограды на улицу.

Потом несколько дней удивлялся этому случаю. Удивлялся до того, что уже и сам стал сомневаться: не может быть, чтобы вышла на улицу. Знала, что остановлю. Знала...

Однажды он колол дрова. Жена относила поленья в сарай и складывала их там.

Присев у плетня покурить, посадил рядом жену.

— Не верю все-таки, чтобы вышла тогда на улицу голая,— сказал он, помолчав.

— Как же могла ослушаться бы? — укоризненно спросила она.

— Врешь ты, врешь! А если бы тебя я... вон руку велел отсечь самой себе? А?!

— А что же... Значит, богу так угодно.

— Богу! А ну-ка... раз богу! Вон топор, в чурке торчит.

Жена сидела не шевелясь.

— То-то же! А то богу... Не вышла бы...

И вдруг она встала, подошла к чурке, выдернула топор.

— Какую рубить-то?

— А какую хошь, правую хотя бы, ну-ка... Вот видишь, не осмелишься,— беззаботно проговорил он, уверенный, что жена сейчас бросит топор.

Она и в самом деле положила его на чурку. Потом опустилась на колени, перекрестилась. Тогда она еще крестилась, это потом, уже здесь, в Зеленом Доле, перестала, сойдясь с баптистами.

Почуяв неладное, он насторожился, отбросил папиросу. Уж слишком усердно жена клала на себя крест. Когда положила правую руку на чурку, он вскочил...

Жена неумело взмахнула топором. Он закричал что есть силы, бросился вперед, толкнул ее в плечо. Она откатилась в сторону, обрызгав его кровью.

Под топор попали все же два пальца — указательный и средний.

...С тех пор жена Устина стала креститься двумя обрубками. С тех пор Устин никогда не осмеливался больше испытывать жену на послушание. А со временем перестал удивляться и ее покорности, привык, что ли. Нечего и говорить, в ее преданности он был уверен абсолютно. За совместную жизнь Устин узнал, что такое бог для Пистимеи, что значит для нее божье внушение. Вот внушил бог ей, что надо, как плату за непутевого сына Федора, из дочери Варвары сделать слугу божью,— и она долгие годы с удивительным постоянством напитывала ее святым духом, учила молитвам, рассказывала каждый вечер на сон грядущий о житии святых праотцев человечества, знаменитых великомучениц или толковала о втором пришествии Христа для совершения Страшного, последнего суда над людьми и распределения между ними мест в раю или аду. Варвара нет-нет да и убегала на целый день к подружкам, а иной раз не возвращалась домой до самой ночи из школы. Пистимея на разыскивала ее, не ругалась, а ласково заставляла девочку поститься целую неделю, замаливать грехи, очищаться от мирской грязи и будущих соблазнов бесконечными молитвами.

— А то Федька, брат твой непутевый, бегал все так же вот по миру, пропитался грехами, начисто сжег свою душу, продал ее дьяволу. Вот бог послал на него пулю летучую, и теперь сам сатана в аду жарит его на медленно тлеющем огне.

— Федька, говорят, на войне за Родину погиб,— слабо возражала тринадцатилетняя девочка.

— Тсс! Помолчи, греховодница, об чем не разумеешь. Язык отнимется и глаза потухнут, коль речи непотребные вести будешь... Шесть раз молитву сотвори да пророчества от Луки почитай...

Позже Пистимея, видимо, поняла, что слуги божьей из Варвары не получится. Совсем вроде становится покорной и послушной дочь, но побегает день с подругами — и хоть все начинай сначала.

Тогда-то и внушил бог Пистимее, что дочь надо принести в жертву. И Пистимея с еще большим упорством принялась увещевать ее принять сладостный венец божий. И, по всему видать, одурманила бы дочери голову, заставила бы почти помутившуюся разумом Варвару лечь на лавку — «святое ложе бессмертия»,— не сдерживай он, Устин, Пистимею...

Обо всем этом Устин вспомнил, лежа на кровати, слушая, как шепчет молитвы и шелестит страницами Пистимея. Он думал об этом, чтобы не думать о другом — о том, что произошло сегодня, когда отвозил редактора и возвращался обратно. Он думал, чтобы заглушить в своих ушах слова Захара Большакова, сказанные им прошедшим летом, когда начались дожди: «...а те, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели и уж не осмелились оттуда выползти. Большинство из них подохло там без воздуха, от тесноты да собственной обиды. А может, кто и по сей день жив. Живет, как сверчок, да исходит гнилым скрипом в иссохший кулачок...», чтобы заглушить наконец зловещее предупреждение Илюшки Юргина: «Кладка через речку качается-качается, да придет время, переломится...» И еще: «Ниточку от клубочка если потеряли где... хоть в гражданскую войну, хоть в эту... да если она в руки кому попалась...» Глуп Илья, да нет-нет и врежет в самую точку. Глуп и беспечен. Сказал — и забыл, а он, Устин Морозов, помнит слово в слово, хотя сказано это было давно... Стучит помимо воли в голове его голос. Наконец вчерашние слова Большакова: «...с Устина теперь глаз не спустим». Он, Устин, только эти слова расслышал. Много бы он дал, чтобы подслушать весь их разговор. О чем говорили? Почему «теперь не спустим»? Что они знают о нем? Но... мало всего этого,— теперь еще сегодняшняя история со Смирновым. Как же он, Устин, не сдержался, не справился с собой?

И Морозов наяву почти видел попавшегося в крепкий капкан волка. Зверь царапал свободными лапами землю, ломал кости и выл страшно, обреченно. Этот крик разрезал его надвое, натрое, на десять частей, на сто...

Чтобы избавиться от всего этого, Устин сжимал до ломоты зубы, прятал голову под подушку и с болью пересиливал себя, вызывая в памяти видение далеких-далеких лет, когда звался он еще своим настоящим именем — Константином Жуковым...

Горящие огнем заволжские степи, дым над рекой.

Черным густым дымом уплыл в небо стоявший на самом волжском берегу большой, просторный, на каменном фундаменте, двухэтажный дом, в котором вырос он, Костя Жуков, уплыли амбары и завозни. Все это их собственные батрачишки облили керосином и подожгли.

— Ишь, как настоящие баре отстроились тут! — орала деревенская голытьба, разоряя амбары с хлебом.— Дорожки песком посыпали, цветочков насадили, купальное место обстроили. А с нас все жилы вытянули, мироеды проклятые...

— Не переживу! Господи, не переживу! — кричала мать, трясясь своим мягким, тучным телом.— Костя! Отец! Где он, отец-то?

Когда начали громить усадьбу, отец задами, по зареченским кустам, скрылся на всякий случай из деревни. Но вскоре появился.

— Ничего,— глухо сказал он.— Флигелек уцелел — это хорошо. Перекатилась волна, многое унесла. Да кое-что осталось. Я глядел — один амбар с пшеницей не тронут... За остальное отомстим... Придет время.

Время пришло через несколько месяцев. Отец собрал в деревне отряд из зажиточных мужиков, расправился с теми, кто сжег усадьбу.

— Ну вот! — сказал он торжествующе, протирая небольшой офицерский револьвер.— Теперь бы жить, да по другим деревням надо под корень вырубить большевистскую заразу. Тебя, Костя, с собой бы взял, но мать шибко плохая. Увезу вас на всякий случай отсюда за Волгу, в одну деревушку, к надежным людям. Там переждете. Береги ее, мать-то...

Отец оставил их в этой деревушке и уехал.

...Месяца через два в домишко, где они жили, постучался ночью гривастый, с глазами навыкате человек. Он-то и принес известие, что его, Костин, отец недавно погиб в стычке с отрядом красноармейцев.

— Вместе с ним были... На моих руках умер. Вот просил тебе револьверчик передать. «Сын, говорит, узнает его». Узнаешь?

— Кто же ты такой? Как звать?

— А Филька Меньшиков. Сам я родом из Сибири.

Через несколько дней умерла мать.

А пришелец увел его, Костю, в лесок. Там Фильку ждали несколько человек, таких же головорезов, как сам Меньшиков. С этого и началось...

Примыкали к Филькиной банде неизвестно какие люди, скрывавшиеся до поры до времени в лесочках и степных балках. Неизвестно, когда и где они отставали или погибали в стычках с красноармейцами. Только его, Костю, да Филиппа Меньшикова, да Филькиного сотоварища Тараса Звягина, который одновременно являлся денщиком и правой рукой атамана банды, щадили пули и шашки.

Зато они-то никого не щадили. Темными ночами, а иногда и днем врывались в села и поселки, стреляли даже детей и женщин, рубили стариков, кидали гранаты в окна, поджигали дома и скакали прочь.

Филька любил устраивать ночные попойки у костра и под каждую стопку рубить пленных красноармейцев. Их специально берегли для этой цели, иногда таскали за собой по целым неделям. Потом привязывали к деревьям, раскладывали костер, усаживались вокруг огня. Начинал Филька всегда сам.

— Ну, разливай,— приказывал он Тарасу, кивая на кружки, вставал, подходил к пленному с обнаженной шашкой...

У Фильки это называлось «воспитывать сосунков», у Звягина почему-то — «сыграть в панфары».

— Давай, давай, сосунок мамкин! — орал затем Филька ему, Косте.— Привыкай, волжанин, не опозорь отца! Нас с твоим отцом этому делу Матвейка Сажин обучил. Ха-роший был человек наш командир, Матвей Парфеныч Сажин, да голову сложил, так и не успев жениться. Вот, брат, как жизнюха складывается. Живешь и не знаешь, что наперед подойдет — свадьба со звоном или гроб с музыкой. Твой-то отец свадьбу успел сыграть, даже тебя народить да вырастить. Словом, просил он перед смертью Матвейкину науку тебе передать...

Сперва ему, Косте, было страшно, а потом привык.

Тарас Звягин ведал всеми продовольственными делами. Когда остальные Филькины головорезы носились по улицам той или другой деревни, крошили, как капусту, людей, Тарас умело опустошал погреба, выгребал сусеки с мукой, грабил лавки, к которым он питал особое пристрастие.

На второй или третий день пребывания Кости в Филькиной банде помощник Меньшикова вытащил из мешка новенький котелок, точь-в-точь такой же, какой Жуков видел как-то на бритой голове самарского винозаводчика.

— Купи, слушай...— предложил Звягин вдруг, странно пошевеливая широко оттопыренными ушами.— Недорого возьму.

— Зачем мне? — удивился Костя.

Но вскоре перестал удивляться. Тарас каждый день кому-нибудь что-нибудь продавал, менялся, давал на подержание вещи за некоторую плату и т. д. Вещи ему обычно не возвращали, долги не отдавали, он ходил и хныкал, требовал, однако тут же, если просили, давал под небольшой залог новую вещь или ссужал деньгами. И самое главное — вел в растрепанной тетрадке строгий учет всех своих торговых операций.

Оказывается, Тарас был из деревенских лавочников. Пристрастие к торговле, как он признавался сам, обнаружилось у него с детства. Но только перед революцией он сумел открыть небольшую лавку. Дело повел настолько умело, что через год все деревенские мужики, как сейчас Филькины головорезы, были у него в неоплатных долгах.

В семнадцатом году со Звягиным произошло то же, что и с ними, Жуковыми.

Однажды Филипп Меньшиков сказал:

— Вот что, Жуков Константин... молодой ты, да поспел уже, однако. Быть тебе отныне моей правой и левой рукой вместо Тараски. За храбрость. Так и твой отец завещал. Тоже хороший был мужик, крепкий... Под стать Матвею Сажину.

...Долго гуляли они по занятому белогвардейцами Заволжью, много совершили жутких дел, пролили невинной крови. Костя не раз предлагал присоединиться к какой-нибудь белогвардейской части, но Филька и слышать не хотел.

— Зачем? — пожимал он плечами.— И кто нас, таких красавцев, примет? Нет, мы уж так, сибирской ватажкой поживем...

К концу 1918 года Красная Армия заняла Казань, Симбирск, Самару, Ижевск. Филька заблаговременно увел свою банду к предгорьям Южного Урала. Тут кое-как перезимовали, а в начале 1919 года у берегов Волги появились передовые части колчаковцев.

— Ага, сучьи дети, говорил я вам — погуляем еще! — обрадованно завопил Филька.— Точите шашки да копите патроны!

На несколько недель Костя с Филькой привели банду в прежние места...

В конце апреля 1919 года Красная Армия перешла в контрнаступление, и на степных просторах Заволжья, под Бугурусланом, Бугульмой, Белебеем были наголову разбиты отборные колчаковские войска.

Они откатывались все дальше и дальше на восток. Филькина банда быстро таяла. Остатки он увел за реку Белую. Но здесь они наткнулись на какую-то красноармейскую часть. Фильку Меньшикова, его, Костю, Тараса Звягина с остатками их отряда загнали в топкое болото, из которого не было выхода.

— Все же посмотрим, может, тропинка какая есть,— сказал Филька, когда наступил вечер.— Вы, ребята, отстреливайтесь, если красные сунутся. До света-то вряд ли осмелятся. А мы с Костей пощупаем все же тропинку. Нащупаем — за вами вернемся.

— Утонете, засосет,— жалобно проговорил Звягин.

— Веревкой свяжемся на всякий случай.

— Все равно засосет обоих,— еще жалобнее промолвил Звягин. И зашептал горячо ему в ухо: — Я ведь, как и ты... сколько раз чуть под панфары не загремел. Филипп, слышишь, Филипп? Оно и хватит вроде...

— В самом деле, Филипп,— проговорил он, Костя.— Кто провалится в трясине — вдвоем-то легче вытянуть.

— А, черт! — выругался Филька.— Айда с нами, ладно! Вот веревка, обвязывайся вокруг. А вы, ребятки, в оба глядите.

Тарас тотчас вскочил, бросил за спину вещевой мешок, с которым никогда не расставался.

«Ребятки» остались глядеть, а Филька, Тарас и он, Костя, ушли в темноту, в глубь болота.

Филипп Меньшиков, к удивлению, шел по зыбкой трясине смело и быстро. Никто из них ни разу даже не провалился.

Через полчаса остановились среди кочек и чахлого кустарника. Там, за кустарником, была чистая вода, и в ней, глубоко-глубоко, тлели россыпи звезд.

Меньшиков нарвал сухой травы, привязал к палке, поджег и принялся махать этим факелом. Помахал, бросил в воду и только тогда сказал:

— А вы думали, Филька горазд только вино жрать да головы рубить? Зря я, что ли, к этому болоту пятился? Помирать мне рано. У меня в Сибири хозяйство. Как там Демид, брательник мой, хозяйствует? Жив ли еще?

Послышался скрип уключин, из темноты, как голова неведомого болотного чудовища, выпялился нос лодки.

Лодочник, закутанный в дождевик с капюшоном, молча ждал, пока все трое залезли к нему в лодку. Потом так же молча передал Фильке весла. Меньшиков быстро выгреб на простор.

— А остальные? — спросил Костя.— Перебьют ведь их завтра утром.

— Жалко, конечно, ребяток,— вздохнул Филипп,— да всех-то не поднимет эта посудина.

И лодочник, сидевший за спиной у Меньшикова, тоже вздохнул, перекрестился вроде. А может, просто пошевелился. Стояла темень.

Лодка пристала среди каких-то длинных и гибких кустов. Затем опять шли по болоту — впереди лодочник, за ним Филька. Он, Костя, замыкал шествие.

На сухое место вышли перед рассветом. Слышно было, как над ухом ломал кто-то сухие, в спичку толщиной, прутики. Это на том конце болота хлопали выстрелы.

В сумрачном месте, скрытая высокими камышами и мелким березняком, стояла почерневшая от болотных туманов избушка.

Лодочник прошел в угол, снял свой дождевик. И тогда Костя увидел, что это была молодая и стройная женщина с ясными голубыми глазами. Она, не обращая ни на кого внимания, повернулась в другой угол, где висела огромная и тяжелая икона, принялась креститься двумя пальцами и кланяться, креститься и кланяться.

...Так Устин Морозов в первый раз увидел свою будущую жену.

Пришла с улицы Варвара, обсыпанная сенной трухой. Пистимея оставила свое Евангелие, собрала на стол.

— Ты-то будешь обедать? — спросила она у мужа.

Устин оглядел крепкое и сильное тело дочери, снова упер глаза в потолок.

— Сено все возят? — уронил он три слова.

— Девять возов с Пихтовой пади привезли да еще тракторную волокушу,— ответила Варвара.— За остальным поехали. И колхозники еще подвозят... кто вчера не успел.

— Ага, Митька там?

Девушка сникла, ответила:

— Он сено возит... на тракторной волокуше.

— А эта... внучка Анисима?

— Там... Опять с Клашкой наверху.

— Ага...— снова уронил Устин и замолчал.

— Председатель тебя спрашивал,— несмело проговорила Варвара, берясь за ложку.— Велел в контору прийти.

— Скажи, что пьяный я. Как мертвяк.

В молчании Варвара закончила свой обед. Тихонько собралась и пошла на работу.

— Фролу скажи, чтоб зашел, как стемнеет,— бросил ей вслед Устин, по-прежнему глядя в потолок.

Пистимея молча убирала со стола.

Вот такая же молчаливая она была там, в болотной избушке, начал опять вспоминать Устин. Только имя у нее другое было — Серафима.

В избушке они прожили все лето. За это время отлежались, отъелись. Мучили их лишь нестерпимая болотная вонь да комары.

В течение лета Серафима ухаживала за всеми тремя, словно за детьми, ездила по ночам куда-то на лодке за продуктами, готовила обеды и ужины, стирала их пропотевшие и полусгнившие гимнастерки и рубахи, сушила на солнце, накладывала заплаты — и все крестясь, все молча. В течение всего времени она ни разу не перекинулась ни с кем словом. Только однажды утром Костя, выйдя из избушки, увидел ее и Фильку, стоявших невдалеке, за кустарником, и о чем-то разговаривающих.

С каждым днем вокруг становилось просторнее и светлее, потому что жухли и ломались под ветром камыши, обсыпались кустарники. И с каждым днем Тарас Звягин поеживался беспокойнее и беспокойнее. Наконец проговорил:

— Как бы не прихлопнули нас здесь... нагишом-то. Загремишь тогда под панфары на тот свет...

— Эко! — отмахнулся Филька.— Сколько раз говорено тебе — тверди тут с пятачок, а кругом хлябь. Переберись до холодов через болото, ну-ка...

— Серафима-то ездит... А ежели хвост за собой приволочет?

— Дур-рак! — только и сказал Филипп.— По себе и о других судишь.

Однако через несколько дней Меньщиков сам собрал «военный совет».

— Ну вот что, войско мое. Целое лето мы нюхали болотную вонь. И сейчас еще, куда ни сунься, невпротык. Значит, надо еще нюхать, еще лежать в камышах, притаившись. А то,—

Филька покосился на Звягина,— и в самом деле загремим... под твои панфары. А потом, я думаю, мы еще все-таки погуляем. Небушко вот прояснится, очистится от тучек и...

— А если не прояснится? — спросил Костя.— Что же, так в болоте и сидеть всю жизнь тогда?

Серафима, перетиравшая за столом посуду, подняла на него голубые глаза и тотчас опустила их, торопливо сложила горкой чашки и так же торопливо вышла из избушки.

— Что, это от меня, что ли, зависит?! — прикрикнул даже Филька.— Сам я, что ли, хвост свой подставлял — пожалте, мол, прищемите...— Стих, обмяк, успокоился и продолжал: — Придется посидеть, ничего не сделаешь. Главное — без паники. Коль судьба свела нас, так надо держаться друг за друга. Тут не прояснится — к нам, в Сибирь, подадимся. Там леса глухие и дремучие, днем темно, а ночью и подавно. Но до поры... здесь будете жить, с Серафимой, до самых морозов, пока не закует болото...

— Эх ты! — беспокойно вскрикнул Тарас.— «Будете жить...» А ты что, на небо от нас вознесешься?

— Слушать меня! — строго проговорил Филька.— Пока один попробую... в родные места. Всем какой резон рисковать? Дорога нелегкая. Один-то как-нибудь проберусь, проползу ужом... бороду вот отпускаю, видишь,— повернулся он почему-то к Косте.— И вам обоим советую... на всякий случай. Немало, однако, есть людей, которым по ночам снитесь. А потом, к весне, я думаю, вернусь за вами. А не сам — так Демида, брательника, пришлю. Слушаться его́, как меня самого. Поняли? До меня или до Демида за нее, за Серафиму, держитесь. Иначе пропадете.

Меньшиков подумал еще о чем-то и закончил:

— Вот и все. Закрываю совет.— И, не желая больше ничего объяснять, вышел на воздух.

— Продаст, продаст он нас, стерва... Слышь, Константин Андреич,— зашептал, едва закрылась дверь, Звягин,— уйдет с этой староверкой — и с концом! Куда мы из болота? С голоду пропадем еще до того, как милиционеры к нам пожалуют... Я ночами-то и так не сплю почти. Опасаюсь: встанет Филька да приколет нас по очереди к полу, как гадюк...

— Гадюк...— повторил тогда еще Костя.— Выбирай слова все же.

— В словах ли дело! С минутку поизвиваемся так же, да и затихнем. А он с этой болотной ведьмой и удерет...

Костя не верил, что Меньшиков может покинуть их в болоте. Однако слова Тараса Звягина смутили как-то. До вечера он хмурился и молчал.

Вечером, когда Серафима готовила ужин, Филька сказал:

— Тарас, помоги Серафиме мяска нарубить, пельмени на прощание сготовим. А ты, Константин, пойдем-ка на воздух. Обговорим кой-чего напоследок.



Они, не обращая внимания на беспокойные взгляды Звягина, вышли из избушки, присели невдалеке на кучу сухого камыша.

— Вот что, друг по каторге,— сразу начал Меньшиков.— Я знаю, сумленье тебя гложет: не покинет ли нас в этом болоте проклятый Филька? Уйдет с Серафимой, и конец...

— Угадал, Филипп Авдеич.

— Так вот... Не затем я искал в этих местах сотоварища себе подходящего, чтобы... И проверял его на кровавом веселье не затем, понял? Кабы не был уверен в тебе, давно бы все хрящи перерубил. Чтобы ты никому не мог объяснить, что это за человечина Филипп Меньшиков. Дошло?

Филька встал, вытащил из ножен тяжелый нож, в двух шагах срубил березку в руку почти толщиной, сел.

— Так вот,— опять начал Филька.— Серафима выведет меня из болота, передаст надежным людям — вернется к вам. Она сумеет и вас уберечь. Ты только слушайся ее.

— Кто же она такая, эта Серафима?

— Ну, об этом что говорить! Человек надежный, хотя и баба.

— Я думал, девушка еще,— усмехнулся Костя.

— Я в том смысле, что женского полу. А девка она или баба — я тебе не советую даже размышлять об этом. Я вот попытался однажды узнать... когда Матвейка Сажин, жених ее, в переделке одной об пулю напоролся... В этой же вот избушке дело было. Прижму, думаю, сонную. И вот погляди.

Он распахнул грудь. На месте правого соска у Филиппа зиял рваный шрам с красными краями.

— Вот, помни просто об этом,— проговорил Филька, застегиваясь.— Зубами рванула... Сама же залечила потом с молитвой. А вообще-то,— неожиданно добавил он, усмехнувшись,— сумеешь, так пользуйся. А кто, брат, она?.. Ты одно помни — не меньше нас пострадала, раз... раз связалась с такими красавцами. Я про нее не больше тебя знаю. Староверка какая-то. Ну, значит, так, уберегет она вас, говорю. Нам нельзя еще помирать. Нужны будем...

— Когда?

— Ты все с расспросами! — опять повысил голос Филька.— А я откуда знаю! Не грамотней тебя...

— Я потому и спрашиваю, что сомневаюсь, пригодимся ли вообще когда-либо...

— Эт-то уж ты вре-ешь! — растянул Филька.— Россия большая, на одной стороне ночь, на другой день. А мир еще больше, вот что. А разве может мир терпеть такую несправедливость, а? Я полдеревни кормил — и меня же вот сюда, в болото?! Вместо благодарности? И никто за меня не заступится, что ли?! А? Как думаешь?

Было видно, что Филька все-таки не уверен, вступится ли за него кто из тех, кого он называл одним словом «мир». И он хотел,

чтобы его ободрили, разделили хотя бы на словах его трепещущую, видно, на волоске надежду.

— Н-не знаю,— ответил, однако, Костя, будно не понял состояния Фильки.— Помогали многие нам с тобой. Да, видишь, в болоте сидим тем не меньше...

— Добро,— глухо промолвил Филька, отрезал у березки вершину. Вздохнул, тем же тоном прибавил: — Обмишулился, выходит. Я думал — подрос, а тебе еще титьку сосать надо. Сопляк ты еще, проще сказать. Напрасно, получается, твой молоденький хребетик не переломил... Добро-о... Ну ничего. В смысле — успеется.

— Сломаешь — тогда уж в самом деле ошибешься.

Меньшиков приподнял одну бровь, бросил отрывисто:

— Докажи.

— Я доказал уже.

— Чем это?

— Да хоть тем, что руки у меня до локтей в человеческой крови. Даже не по локоть, а выше... Много выше. Помогут нам, нет ли, я не знаю. Сейчас я ничему не верю, потому что упал духом. Упал давно, когда еще белогвардейцы из Казани сыпанули, из Самары. С тех пор в голове вместо мозгов один большой звон. Но сколько сил хватит, буду зубами рвать тех, кто мое отнял.

...Ему тогда стало душно, он схватился за воротник гимнастерки. Далеко отлетели пуговицы, без стука попадали в мягкую траву. И до сих пор Устин Морозов почему-то ясно помнит, что попадали они именно без стука...

Филька ошкурил свою палку, начал тщательно оструrивать ее.

— Хороший посошок будет на дорогу.

— Значит, твердо решил нас оставить здесь? — спросил Костя.

— Страшно? — вскинул опять свою бровь Меньшиков.

— А как ты думаешь?

— Н-да...

Набалдашник палки Филька вырезал в виде человеческой головы. На его колени, обтянутые уже домоткаными крестьянскими штанами, сыпались мелкие, чуть розоватые стружки.

И то ли от Филькиного вопроса, то ли от этой неожиданной мысли Костя вдруг почувствовал, что страшно ему уже давно, с тех пор, как пришло в семнадцатом известие о событиях в Петрограде. Но странно — именно этот страх заставил его год назад подчиниться Фильке, вступить в его банду. И чем сильнее становился страх, тем более зверел и зверел он, Костя Жуков. В голове постепенно ничего не оставалось, кроме тяжелой тупости да все того же горячего страха.

— Н-да,— опять повторил Филька, стряхнул стружки с колен.— А страшно потому, что веру ты потерял. Оно, ежели признаться, веры-то и у меня чуть-чуть. Но я тебе все равно

половину того, что есть, отдам. Возьмешь? — И уставился на него холодными, безжизненно блестевшими глазами.

— Возьму.

— Ну вот. И вовсе хорошо. Ну, айда, пельмени уже готовые, однако.

Они направились к избушке. По пути Филька еще сказал:

— За этим неудавшимся купчишкой, за Тараской, гляди. Так-то он ничего, надежный. До денег падкий. Это бы ладно — ведь человек все же. Да увлекается порой. Ты время от времени потрясывай его. Это ему полезно.

— Как потрясывай?

— Увидишь сегодня. И главное — за Серафиму держись. Это я тебе говорю еще раз. Обеими руками держись.

В полночь, когда съели все пельмени и выпили до капли большой чайник самогонки, Филька рукавом сдвинул на край стола пустую посуду, глянул на Тараса:

— Ну!

— Филипп Авдеич! Ей-богу, ничего нету... Филипп Авдеич! — тотчас заныл Звягин плаксиво.

— Не ври. Я как-то встряхивал твой мешок. Позвякивает.

— Тряпки одни, ей-богу...

— Неси!

Тарас нехотя вытащил из-под нар свой вещевой мешок.

— Вали.

Трясущимися руками Тарас развязал мешок, запустил туда руку, вынул мешочек поменьше. Под насупленным взглядом Меньшикова развязал и этот. На стол посыпались гнутые серебряные ложки, золотые кольца, серьги, табакерки... И просто комья золота, сбитые из тех же колец и сережек. Филька молча разделил все на четыре части. Одну кучу драгоценностей ссыпал в свои карманы. Три остальные смешал, отодвинул в сторону Серафимы.

— Разделено по справедливости. Моя дорога не близкая, да хватит, должно быть. Вашими долями пусть Серафима распоряжается. Ей ведь все оплачивать. Расходы тоже немалые будут. А тебе на,— протянул Меньшиков Тарасу пустой мешочек.— Будешь умным — еще туже набьешь.

Серафима сгребла драгоценности в фартук и унесла из избушки. Минут через десять вернулась, сказала одно слово:

— Пора.

Костя чуть ли не впервые услышал в эту ночь ее голос. Голос был слабенький и какой-то печальный.

Филька стал одеваться. Взял вырезанную сегодня вечером палку и ушел с Серафимой в темноту.

...Ушел, и больше он никогда его не видел. Вместо него пришел Демид — маленький, тонкогубый, и тоже с глазами навыкате, как у Филиппа. Пришел через два года теплой и влажной сентябрьской ночью, поставил в угол ту самую палку с чело-

веческой головой на конце, снял нищенскую котомку, положил ее на стол и спросил:

— Узнаёте аль догадываетесь?

Догадываться было нечего. Палка, стоявшая в углу, почернела, истерлась с нижнего конца и пощепалась. А человеческая головка лоснилась, как желтый стариковский череп.

— Меньшиков ты, выходит, Демид, что ли? — спросил бесцеремонного гостя Тарас Звягин.— Сам Филипп-то что? Давненько его поджидаем.

Демид при этих словах вскинул голову, ощупал всех по очереди своими выпуклыми, ждущими чего-то глазами и устало плюхнулся на лавку. Взгляд его сразу потух. Вся фигура говорила, что он шел сюда, оказывается, напрасно, что того, кого он искал, к кому шел, здесь нет.

Серафима перекрестилась и зашептала молитву. Демид вскочил вдруг, заорал:

— Да не торопись ты, монашка высохшая, зашептывать его раньше времени! А то, гляди, заложит наглухо глотку-то...

— Во-первых, не кричи на мою жену,— сказал он, Костя Жуков, Демиду.— Во-вторых, что в самом деле с Филиппом?

— Извиняйте, раз жена,— грубо ответил Демид. Потом сломил голос: — А что с брательником, я сам хотел бы знать. Была маленькая надежда, что у вас он...

— К нам он не приходил.

— Вижу. Значит, ты и есть Серафима?

— Я и есть...

— Ага...— Демид еще раз поднял на нее взгляд. Серафима тоже глядела на гостя, чуть прищурив один глаз.— Устал я,— проговорил Демид, отворачиваясь.— Еле-еле разыскал вас.

Найти их было действительно трудно. После ухода Филиппа они до самых холодов жили втроем на болоте. Потом Серафима по хрупкому, почти не выдерживающему еще тяжести человека ледку вывела их в какую-то деревню. День просидели в вонючей бане, а ночью опять двинулись за Серафимой.

Потом он, Костя, потерял счет этим вонючим баням, каким-то затхлым подвалам, холодным сараям, где им приходилось отсиживаться. А Серафима каждый вечер поднимала их и вела дальше. Сперва по камышам, по степным балкам. Затем начались леса.

Частенько впереди Серафимы вышагивал по лесной звериной тропе какой-нибудь молчаливый проводник — видно, Серафимин единоверец.

— Куда, в конце концов, прем-то? Куда это она нас? — не выдержал Тарас.— Ты спроси ее, Константин Андреич. Ведь, считай, зима уже кончается, а мы все идем... Что это за места? Урал, что ли?

— Не знаю. Возьми да спроси сам...

— Вот тут попробуем зимушку докоротать,— сказала наконец Серафима, когда подошла к брошенной кем-то таежной заимке.

На этой заимке прожили до весны. Все было как летом. Серафима так же ухаживала за ними, по ночам ходила куда-то за продуктами. Иногда продукты приносили угрюмые, неразговорчивые люди, отдавали все Серафиме и, перекрестясь двоеперстием, молча уходили.

Постепенно Константин в ожидании лучшего смирился со своим жалким существованием.

— Слава те, господи, ожил,— сказала однажды Серафима, когда он стал насвистывать, расхаживая по землянке, и тихонько засмеялась.

Константин посмотрел на нее удивленно, и вдруг ему захотелось сорвать обмотанный вокруг ее лица черный платок, чтобы распустить во всю длину ее волосы.

И, не помня себя, схватил Серафиму, резко повернул к себе. Повернул — и отпрянул назад.

...Не один десяток лет прошел с тех пор. А выражение ее лица в ту минуту не забылось до сих пор: оскаленные острые зубы — те самые, которые только что поблескивали в застенчивой девичьей улыбке, побелевшие, вздрагивающие тонкие губы, обнаженные красные десны... Маленький островатый ее носик сморщился в переносице. Эти морщинки тоже подрагивали, а тонкие крылья носа раздувались.

Костя плюхнулся на топчан, влип спиной в неоштукатуренную стену, подобрал даже ноги с пола. Сидел и поглаживал невольно, растирал рукой грудь, точно Серафима вырвала у него, как у Фильки, кусок мяса...

— Вот-вот... Это помни,— сказала она, догадавшись, что значит это поглаживание, и молча принялась за свои дела.

Потом, до самой весны, жили так, будто ничего не случилось.

В конце зимы 1920 года, перед самым распутьем, Серафима снова повела их куда-то. Снова шли ночами, потому что днем можно было утонуть в поплывших неожиданно логах.

Остановились в небольшой, всего в два десятка домов, деревушке.

— Вот здесь будем жить, сколько бог приведет,— сказала Серафима.— Тут свои все, ничего, спокойно будем жить. Мы с тобой, Константин, для вида — муж да жена. Тарас будет работник наш. Хлеб будем сеять, огородишко садить,— и повернулась в угол к иконам, начала молиться.

— Кто же тут живет-то? — спросил он на третий или на четвертый день у Серафимы.

— Мы и живем.

— Да чей дом-то?

— Чей же еще? Наш.

Больше Серафима ничего не сказала.

Деревушка, спрятавшаяся в зауральской северной глухомани, жила необычной, молчаливой и угрюмой жизнью. Бородатые неповоротливые, как медведи, мужики при встречах не здоровались даже, а лишь осеняли друг друга крестом. Баб и совсем на улицах не было видно. Можно было подумать, что женщин вообще нет в деревне, если бы иногда не приходила к Серафиме то одна, то другая местная жительница. Молодые они или старые — разглядеть было нельзя. Каждая повязана платком так, что видны только нос да глаза. Носы у всех были почему-то острые, как шилья, и глаза тоже — острые, бегающие. К тому же приходили они всегда вечером или ночью, долго шептались с Серафимой в ее комнате.

Костя жил в другой со Звягиным.

— Ну, нар-родец! — каждый раз говорил Тарас, возвращаясь с улицы.— Открещиваются друг от друга, как... И от меня один зверюга крестом сегодня отгородился, словно я черт какой. Одно слово — староверы.

— Балуются тут в лесах людишки-то,— объяснила в конце концов Серафима.— Глухомань, ни царя, ни закона тут. Вот люди и привыкли обороняться.

— Крестом? — насмешливо спросил Тарас.

— А что же... Помогает,— строго ответила на это Серафима.

А однажды Звягин, моргая удивленно круглыми глазами на круглом, как блин, лице, сообщил, захлебываясь от торопливости:

— Тут, в этой деревушке... тетка ейная живет! Понятно?

— Что за тетка? Чья тетка?

— Да ее, Серафимкина... Игуменья Мавра по прозвищу. Она и верховодит тут над всеми, эта игуменья. Сказывают — раньше Мавра свою обитель имела. И та обитель в каком-то Черногорском скиту стояла. А в революцию пошевелили маленько скит — оружие, что ли, там прятали да таких же, как мы, молодцов... Мавра собрала остатки с этого своего Черногорского скита... и с других, тоже, значит, потревоженных, и увела сюда. Понял, куда нас Серафима доставила?

— Да кто это сказывает все тебе?

— А-а... Сошелся я тут... с одним мужиком, Микитой звать.

Прожили они в деревне уже несколько недель, а Костя ни разу еще не видел Серафиминой тетки, не замечал каких-либо старообрядческих служб, не слышал религиозных песнопений. И думал иногда: в самом ли деле это староверческая обитель?

Но однажды, на пасху, проходя вдоль единственной улицы деревеньки, невольно приостановился возле одного дома — из приоткрытого окна донесся до него торжественный женский голос:

— Поведа нам отец Евстифей, глаголя...

Костя подошел поближе, заглянул в окно. В просторной комнате было полно женщин — все в черном, с наглухо повязанными черными же платками лицами.

Возле стены, на каком-то возвышении, сидела в грубом деревянном кресле с подлокотниками мрачная костлявая старуха с остренькой головой, тоже замотанной в черное. Рядом с ней за столиком над раскрытой книгой склонилась молодая женщина. Она нараспев читала:

— «Идуще же ми путем, видех мужа, высока ростом и нага до конца, черна видением и гнусна образом, мала главою, тонконога, несложна, бесколенна, железнокоготна... весь зверино подобие имеша...»

Костлявая старуха пристукнула толстым костылем, чтение прекратилось.

— Неча взоры опускать и лукаво перемигиваться! — с гневом сказала она.— Не откроет господь глаза ваши — не прозреете. Так понимать надо сие место из Лествицы[1]: вороги наши таково зверино подобие имеша. Вы на своей шкуре звериность сию попробовали. Выгнаны вы с родимых мест, с Черногорского скита, в место это гнилое загнаны. Слышу, стенает об нас архиепископ наш Мелентий. Но и сюда, не дай господь, придут они, бесколенны и железнокоготны... Тогда один спаситель у нас — господь всемогущий. Молитесь — и он приберет вас, не отдаст врагу глумливому...

Скрипнула дверь, из дома выскочила Серафима, сдавленно крича:

— Костя!.. Константин Андреич!!

Схватила за рукав, потащила прочь:

— Грех-то, грех! Ведь неверующий ты. Как можно! Приметила бы тетушка!!

— А может, я все же... одной с ней веры,— сказал Костя.

— Все равно... Ты же лоб никогда не перекрестишь — шутка ли... Ведь за то спасибо, что приняли нас да терпят здесь...

Серафима тащила его за рукав дальше и дальше.

Когда подошли к своему дому, Костя спросил:

— А за что это такое выгнаны они с родных мест? С этого самого Черногорского скита?

— Мало ли...— уклончиво ответила Серафима.— Ты вот тоже... далече от дома.

— Так, понятно,— уронил Костя почему-то со злорадством. — А где же отец с матерью твои? Тетку вроде видел. Эта старуха с костылем... она, что ли?

Серафима окатила его холодным взглядом и опять сказала:

— А твои где родители?

— Во-он что... А я думал, отец и мать твои... тоже, как тетка... только и могут святые писания растолковывать...

На это Серафима лишь снисходительно усмехнулась.

Они постояли у крыльца, потоптались, словно раздумывая, о чем бы еще поговорить.

---

[1] Лествица — древняя религиозная книга, особенно почитаемая старообрядцами.

— А неприглядное же место тут. Сумрачно, болотом воняет.

— Тут болота кругом и есть, как вокруг той землянки, где прошлогоднюю зиму коротали,— ответила Серафима.— Болота да тайга-матушка, бездорожье. Один тракт и проходит верстах в ста или чуть поболе — никто не мерил. А зимой и вовсе не добраться сюда — снега-то в сажень глубиной, утонешь...

— Да-а... Я вот о своем-то родителе... Не знаю даже, где крест стоит. Около Волги где-то...— сказал вдруг Костя.— Да и стоит ли?

— Мой погиб на севере, под Пинегой, весной девятнадцатого,— сообщила Серафима.— А креста тоже никто не поставил, видно. Да и не надо ему. Он безбожником был... А мать умерла, говорят, когда мне три года было. Меня тетка вырастила...

И снова пошли недели за неделями.

В конце августа Серафима стала его женой.

Как же это случилось?

Однажды, перед рассветом, он, не помня себя, вырвал дверь из косяков, вбежал в ее комнату. Серафима закричала, выхватила из-под подушки аккуратненький, почти игрушечный браунинг, встала на колени в своей постели.

— Ну еще шаг — и выстрелю! Ей-богу, выстрелю! — сказала она, задыхаясь. Потом попросила жалобным голосом: — Уходи! Уходи, ради бога! Не клади греха на душу. Я еще никого не убивала...

Он стоял в нерешительности.

Вдруг блеснула у него мысль: «Не выстрелит... не сможет выстрелить, не перекрестившись... Крестятся правой, и браунинг в правой... Пока перекладывает...»

Серафима и в самом деле мгновенно перекинула оружие в левую руку, а правую тотчас же подняла ко лбу.

Ему хватило этих секунд. Он метнулся к Серафиме, вырвал браунинг и отбросил через выломанную дверь в темноту другой комнаты, сгреб Серафиму и швырнул ее обратно на кровать. Потом намотал на кулак ее длинные волосы, заломил голову...

...Вот так это и случилось.

Затем они оба лежали друг возле друга на спине, как чужие, и смотрели в светлеющий постепенно квадрат окна. Время от времени этот квадрат косо перечерчивали падающие где-то звезды.

— Зачем шею-то чуть не своротил? — ровно спросила она.

— Да видишь... Фильку вспомнил. Зря, наверное, боялся.

— Зря,— ответила она.

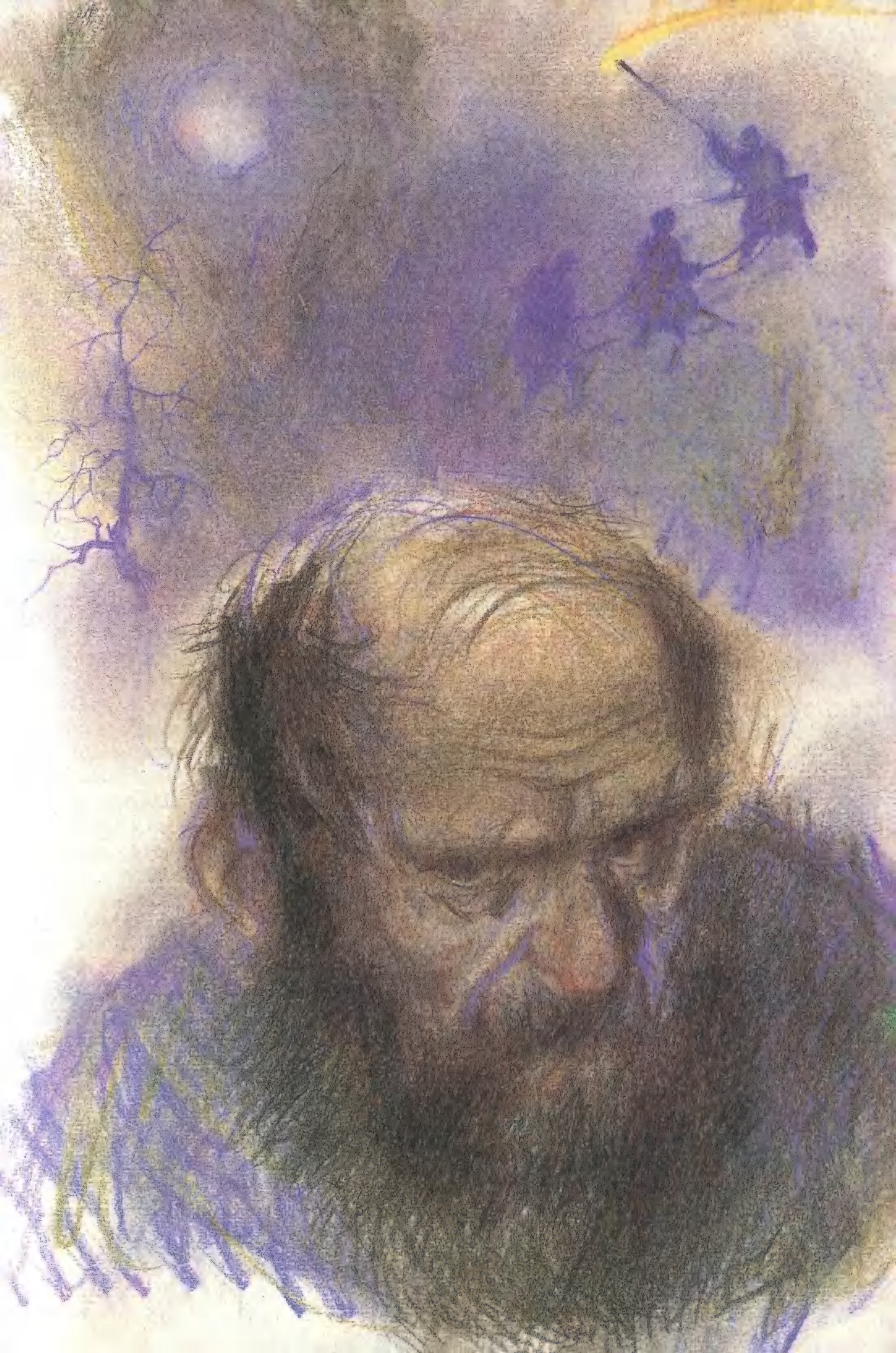
— Но ведь стрелять хотела! Неужели выстрелила бы?

— Выстрелила,— подтвердила Серафима. Помолчала и добавила зачем-то: — Тарас закопал бы где-нибудь. Сама не стала бы.

Он удивленно приподнялся:
— Как же так?! Как понять тогда?
— Что?
— А все! То выстрелила бы, а то... Я думал, всю грудь в клочья изорвешь.
Серафима вздохнула глубоко и ответила:
— Так, видно, богу угодно.
И еще раз вздохнула:
— Теперь-то уж что... Теперь после бога ты первый.
Она повернулась к нему, прижалась горячим телом, робко обняла одной рукой. И он почувствовал спиной, что пальцы ее холодные и жесткие, словно раскаленные морозом железные прутья.
И всю жизнь они были у нее почему-то холодными и жесткими. Всю жизнь, до сегодняшнего дня...

Глава 21

Послышался скрип расшатанных ступенек крыльца, и Устин с трудом очнулся от своих воспоминаний.
Оказывается, на дворе был уже вечер. Сумерки заползали через окна в дом, наполняли комнаты густой, давящей черной тишиной.
— Ежели за мной, не проспался, скажи, еще...— предупредил он жену.
— Да это ко мне, кажись. Страннички-богомольцы...
— Э-э, черт бы побрал твоих нищих! Таскаются всю жизнь.
— Грех обижать божьих людей. Верующий все равно что ребенок ведь...
Пистимея никогда ни о чем не говорила с нищими, не расспрашивала, не пускала дальше порога. Летом даже в избу не позволяла заходить. Она не спеша выходила к ним на крыльцо, выносила всегда под фартуком кусок хлеба или свиного сала. Нищий кланялся, она крестила его и произносила всегда кратко: «Ступай с богом...» Нищий опять кланялся, и каждый из них отвечал почему-то одно и то же: «Оставайтесь с богом».
И на этот раз Пистимея не пустила пришедшего даже на кухню. Она, видимо, дала ему что-то в сенцах. Устин слышал ее обычные слова: «Ступай с богом»,— следом: «Оставайтесь с богом» — и звук прикрываемой двери.
Когда нищий ушел, Устин полежал еще немного, пытаясь вспомнить, на чем прервались его мысли. Но вспомнить отчего-то не мог. Тогда спросил у Пистимеи:
— Чего это они все в один голос бога тебе оставляют?
— Божьи люди, что в душе имеют, тем и делятся пополам.
Устин усмехнулся и ничего больше не сказал.
Пистимея топила печь. Березовые поленья звонко трещали, пламя гудело, красные языки огня лизали глинобитный свод



печи, и, загибаясь, текли в дымоход. Здесь от этих языков отрывались большие огненные лоскуты и улетали вверх, в темный зев печной трубы.

Пистимея, скрестив руки на груди, не отрываясь, смотрела на огонь. На ее лице, изборожденном многочисленными глубокими морщинами, плясали кроваво-розовые отсветы пламени.

Постояв так несколько минут, Пистимея медленно повернула голову, долгим взглядом поглядела на мужа. Взяла кочергу и пошевелила дрова в печке.

Березовые поленья затрещали еще яростнее. Теперь печь гудела от бушевавшего в ней пламени. Но Пистимея, поставив в угол кочергу, взяла с пола еще несколько поленьев, кинула их в печь.

Потом она принялась ходить по комнате, чуть не заметая крашеный пол длинной юбкой. Прошла мимо кровати раз, другой, села у окна, вздохнула бесшумно.

— Устинушка...— промолвила осторожно Пистимея, прервав его мысли.— Я хотела об дочери вот потолковать с тобой...

— Чего «Устинушка»? Чего «Устинушка»?! — крикнул Морозов.— Тут и так муторно, а ты... Отвяжись ты со своей дочерью...

Опять заскрипели половицы на крыльце.

В комнату не вошел, а вбежал Илюшка Юргин, скинул шапку, шмякнул ее об стену, стараясь попасть в торчащий, толстый, как палец, гвоздь. Шапка глухо стукнула, приклеилась к стене, точно была насквозь пропитана клеем.

— Лежишь?! — крикнул он, бегая по комнате.— Ну лежи, лежи! Послушай, что я тебе скажу... Не про коня, которого ты загнал, не про...

— Вот что, друг «Купи-продай»,— перебил его Устин, не вставая с постели.— Послушай наперед ты меня.— И бросил жене: — Пойди там скотину глянь...

Пистимея вышла, Устин заговорил тихо, будто рассуждал сам с собой:

— И как это я, старый дурак... Как ты сумел уговорить меня... скрипучим своим голосом... забыть про те стожки в Мокром логу?

— Так ведь чуял я — взыграет ноне сено...— плаксиво оправдывался Юргин.— Все выжидал.

— Выжидал?! — Устин встал с кровати. Растрепанный, в рубахе навыпуск, быстро заходил по комнате.— И выждал! Дождался!! Что теперь делать? Чего Захару говорить?! Задохнешься когда-нибудь от жадности, раздуешься и лопнешь, как пузырь с гноем.

— Но, но! — выкрикнул Юргин, и в его голосе прозвучали вдруг угрожающие нотки.— На равных играем. У пса вон тоже четыре ноги. Передние пусть твои, я не спорю. А отруби-ка задние ноги — и передние не побегут.

— Не побегут? У пса, значит?

— Я так... Слова для меня без весу и цвету. Я к примеру, что на одинаковых правах мы... В смысле — живем одинаково...

Устин скривил губы и лег на свою кровать.

Лежал долго и все молчал. Илья ерзал на стуле, кашлял в маленький кулачишко, такой маленький, что казалось, и ложку-то во время еды Юргин, наверное, держит с трудом.

— Чтоб наклал воз сена да свез на ферму,— вяло сказал Устин.

— Не-ет, хе-хе...— протянул Юргин.— Откуда оно у меня, лишнее-то?

— А я говорю — отвезешь! — повысил голос Устин.

Юргин помедлил и спросил:

— Дык как же? Непонятно мне.

— Чего?

— Овчинников же первый завопил по деревне: «Сомневаюсь, чтоб законно это! Народ Захарка обирает...»

— Ну?

— А он тебя всегда правильно понимал. Я, конечное дело, как всегда... на подхвате.

Долго Устин Морозов лежал с закрытыми глазами. И начал говорить, так и не открыв их:

— Народ... Народ-то вон возит и возит сено. Скажи Андрону — пусть заткнется.— И Устин тяжело вздохнул.— Вот так. Вези, вези, ничего. Не последний день живем...

— Ладно уж.

— Ага. А теперь — что там у тебя?

— Дык что. Оно тоже невеселое. Я ить тоже, говорю, не молчал, как и Андрон... А Шатров Аниська вчерась: «Примечаю я — звонит колокол, а люди не крестятся...» Я так и открыл рот...

Устин при этих словах повернулся к Илюшке.

— Наскрозь он видит, колдун старый, поверь мне! — продолжал Юргин.— Уж ты поверь! И этак аж пробуравил меня глазищами. Не такой, мол, ты придурок, как притворяешься, али как Антип вон. Тот-то конечно. Я так и ждал, что спросит: «С чьих это слов звоните с Андроном, кто за веревочку дергает?»

— Так,— вымолвил Устин.— Еще что?

— Значит, не понимаешь? — крутнул куда-то за окно головой Юргин.— А вдруг он, старичишка тонконогий, не этими намекательными да туманными словами... вдруг он прямо брякнет? А? Загремим тогда под панфары...

— С чего он брякнет? Об чем...— начал было Устин, но умолк на полуслове, задумался.

«Об чем...» Действительно, не о чем вроде бы говорить старику. Но ведь тоже всю жизнь смотрит с какой-то ехидной усмешечкой, будто знает, что корчится он, Устин, как на огне. Что же, может, и догадывается, чует. Ведь не из голытьбы он, сам из нашего брата. Потому и чует. Странно только, что никогда ничего не спросит, не вступит в разговор. Что это за человек, Устин так

и не мог понять до сего дня. Самая длинная беседа между ними состоялась лет тридцать назад, когда Устин только приехал в Зеленый Дол. Помнится, начал Устин жаловаться ему, в надежде найти сочувствие: вот, мол, приняли в колхоз, а сами сторонятся...

— Приняли — живи,— сказал Анисим, ухмыльнулся с каким-то одному ему понятным смыслом и пошел прочь.

А потом изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год повторялось одно и то же. Сойдутся ли вместе в конторе, на общем ли собрании или еще где — глаза старика обязательно обшарят его, Устина, с ног до головы, ползают и ползают по лицу, пока он не взглянет. Анисим тотчас отвернется и при этом непременно спрячет в уголках губ усмешку. Но за всю жизнь, кроме тех двух слов, не сказал ему ничего Шатров. И сам Устин тоже на беседу больше не напрашивался. Остерегался, что ли...

Юргин, кажется, понимал, о чем думает Устин, промолвил:

— Вот то-то и оно-то... Молчишь? Ну, молчи. А я... Мне-то ведь недолго. На лодочку, прямо днем, будто на рыбалку, да и вниз по Светлихе. А там — ищи-свищи.

— Не сучи ногами,— устало попросил Устин.— Куда ты, к дьяволу, убежишь! Везде достанут, знать бы вроде пора. Затаись и сиди.

— Это как так? Тогда-то и... придет момент. Тогда-то и всамделе засучим ногами, как тараканы на иголке. Или хлестанем себя намертво, как эти... скорпионы.

— Кто-кто?

— Твари такие живут на земле, пишут в книжках, скорпионы, с жалом на хвосте. Если поджечь кругом них травку, так они помечутся туда-сюда да жалом этим и звезданут себя. Не-ет, я на лодочке...

— Замолчи, сказал! — опять сорвался Устин с кровати.— И забудь про лодочку... Тоже мне, беглец нашелся!..

Он стоял перед Юргиным взлохмаченный, мокрый, багровый, точно выскочивший из жаркой бани. Юргин метнулся к стене и попятился к дверям, нашаривая одновременно свою шапку.

— Что ты, что ты, в самом деле!.. Никуда я не поеду, не побегу... никуда...

Устин словно удовлетворился этим обещанием, опустился на кровать. Взял за угол подушку, вытер ею лицо. И сказал чуть жалобно:

— Шатров, сдается мне, не брякнет. Давно уж брякнул бы, если...— Устин еще раз вытер подушкой лицо.— Тут другие пытаются наскрозь проглядеть. Других опасаться надо. Те уж брякнут, так брякнут, если проглядят...

— Да кто?

— Не знаю,— ответил Устин.— Много их. Кругом они. Ступай.

Когда Юргин хлопнул дверью, Устин помедлил немного. Встал, закрыл двери на крючок. Снова сел на кровать, опустил голову.

Потом встряхнулся всем телом, как собака, выскочившая из воды, и стал думать, отчего он взорвался вдруг, отчего чуть не схватил Юргина, чуть не переломил его надвое. «Засучим ногами, как тараканы на иголке». Вот-вот, давно уже, давно он, Устин, чувствовал что-то такое, что и словами не выразить. А Юргин выразил, точно в десятку, в яблочко прямо, сволочь, влепил... Вот именно он, Устин, как таракан на иголке перед Большаковым, перед Колесниковым, перед Корнеевым, перед Шатровым. И даже перед этой свиристухой, Анисимовой внучкой. А теперь вот перед Смирновым еще... Да мало ли перед кем! Вот тебе и слова без весу и цвету. Хотя он, «Купи-продай» этот, всегда умел выражать главную суть. Сорит-сорит словами и вдруг вывалит.

Раздался стук в дверь. Прислушался и понял — стучит жена. Подошел, открыл.

— Курганов Фрол идет,— сообщила Пистимея.

— Ага,— кивнул Устин.

— Да печь поглядывай. Как прогорит, подбрось с пяток поленьев,— сказала Пистимея и растаяла в темноте сенок.

Устин взял с печки теплые валенки, сунул в них ноги.

Фрол зашел, пригнув в дверях голову, снял шапку и аккуратно повесил ее на тот же гвоздь, где только что висела шапка Юргина.

— Варвара передавала — звал ты...

Фрол сел на тот же стул, где сидел Юргин, стал закуривать.

Устин прошелся взад-вперед перед Фролом, остановился и стал смотреть на Курганова так, как лесоруб, наверное, смотрит на дерево, прикидывая, с какого боку удобно и легче его свалить.

— Что звал? — спросил Фрол.— О поездке, что ли, на станцию рассказать? Так я догадываюсь, какая она была...

— О-о! — насмешливо протянул Устин.— Митька, значит, рассказал? Он за санями бежал...

— Зачем Митька? Шкуру-то мне с жеребца пришлось снимать.

— Вот что, Фрол... Мы не на конюшне, здесь можно говорить громко, не опасаясь, что подслушают. И если уж о конюшне речь пошла, могу тебе еще раз сказать: не выпрягешься, милок. Понял? А то...

— Что? Чем пугаешь?

— А то сдерут шкуру-то, как с жеребца. Только с живого...

Фрол поглядел на Устина исподлобья тяжелым, пьяным взглядом и спросил:

— Ты думаешь, я этого боюсь? А-а...— и устало махнул рукой.

Сказано это было таким голосом, что борода Устина чуть дрогнула, качнулась. Он тотчас запустил в нее пальцы, точно хотел остановить.

— Говори, чего надо,— сказал Фрол.— Некогда мне.

— Вот так-то оно и лучше,— облегченно рассмеялся Морозов, выпростал пальцы из бороды.— Пока немного. С Клашкой мне кончай... Но, но, не закатывай глаза, не барышня городская! И не спрашивай, зачем, для чего! Не твое дело!

Фрол докурил папиросу, встал, сказал горько:

— Ладно хоть, что твои... твои цели с моими желаниями совпадают.

— Во-во! И с Клашкиными. Баба мечется, как синица в силке.

Фрол пошел к двери. Но Морозов схватил его за руку:

— А погоди все же. Еще два-три слова. Зачем щенка своего следом на нами послал? Опасался за этого гнилого редактора, что ли?

— Да не дрогнула бы рука... попадись он тебе в глухом месте.

Устин как-то неестественно расхохотался. Смех его гулко раскатился по комнате. Резко оборвал хохот и сказал бесцветным голосом:

— Нет уж, Фрол Петрович, он самостоятельно подохнет вскорости... А коль понадобится, я... тебя попрошу...

Фрол выдернул локоть из цепких Устиновых пальцев. Медленно, неуклюже повернулся к нему всем телом.

— Фрол! — испуганно и все-таки с угрозой воскликнул Устин, невольно отступая.

— Ты не сверкай глазами, гад,— хрипло проговорил Курганов,— ты не сверкай! Я вот что отвечу тебе... Вот что...— И шагнул к Устину.— Меня, значит, попросишь?! Меня?!

Морозов пятился к печке, задел кочергу, которой Пистимея недавно шуровала поленья. Кочерга с грохотом упала на пол. Морозов быстро нагнулся и поднял ее.

Фрол остановился. Он помолчал-помолчал и сказал обессиленным каким-то голосом:

— Оставь кочергу-то.

— Вот и все.— Устин бросил кочергу на прежнее место.— Давно бы пора запомнить: осилил я тебя навсегда...

— Ты?! — насмешливо качнул головой Фрол Курганов.— Нет... не ты меня осилил, а другая сила... другая...

Черные Устиновы глаза сузились, брови вскинулись и опустились.

— Что же это за сила... неведомая? — спросил он. Спросил негромко и как-то даже осторожно.

— Неведомая? Ничего, скоро, коль не ошибаюсь, начнешь помаленьку ведать...

Устина точно прошило с пяток до головы электрическим током.

— Что? Что?! — воскликнул он, сделав несколько шагов от печки.

— Ишь, верно, значит,— сказал Фрол.— В голосе-то беспокойство.

Фрол снял шапку с гвоздя, взялся за дверную скобку.

— Что «верно»? Какое беспокойство?! — закричал Устин.

— А то самое, которое... которое заставило тебя сего дня со Смирновым ехать, коня насмерть загнать...

— Фрол!! — Устин сжал кулаки. Лицо его затряслось, как студень.

И Фрол, оставив дверную скобку, теперь подошел к Устину вплотную. Тот даже отшатнулся в страхе.

— Вот видишь,— сказал он прямо в лицо Устину.— Я не знаю, кто ты, да вижу тебя насквозь. Ничего, не морщись, давай уж начистоту... Так вот... Мутишь воду тут, давно мутишь. Не вижу, что ли, не чувствую? Только Светлиху вон... не испоганишь ведром помоев!..

— Ты... ты... ты-то кто? — опять выкрикнул Устин.— Ты сам-то... Вместе с Филькой Мень...

— Это у тебя главный козырь, давно знаю,— перебил Фрол.— А я вот что скажу тебе: ветки дерева вместе растут, да в разные стороны глядят.

— Рухнет... дерево, тогда... тогда все ветки...— торопливо, будто боясь, что его перебьют, закричал Устин.

— Что ж тогда? — спокойно произнес Курганов.— И тогда не все в землю уткнутся. Некоторые в небо глядеть будут.

Наконец Устин опомнился, вздохнул глубоко.

— Погоди, погоди! — Устин вытер мокрый лоб.— Я тебя еще раз, Фрол... предупредить еще раз хочу... Если ты, змея ползучая... И я не угрожаю, не-ет...

— Попей воды вон,— спокойно посоветовал Фрол.

И Устин покорно подошел к ведру, стоявшему на табуретке возле печки, зачерпнул полный жестяной ковшик, жадно начал глотать, проливая воду на бороду, на пиджак.

— Так вот...— Устин отшвырнул ковшик.— Так вот, если ты хоть пошатнуть вздумаешь это дерево... Еще завалится оно или нет, а твоя шкура уж высохнуть успеет. Понял?! Понял?!

— Корешки-то, видать, насквозь прогнили, само упадет. Тайгу вон, где нужно, Захар и то корчует. А уж гнилье-то...

Морозов только мотнул головой, будто хотел и не мог выговорить какие-то слова.

— А меня не опасайся. Я бы уж давно пошатнул, если б мог. Так пошатнул бы, чтоб с треском... Твое счастье, Устин, что не могу... Но, Устин,— голос Фрола задрожал, как натянутая струна,— не дай тебе бог... Я много кой-чего делал по твоей воле.— По лицу Фрола волнами прошла боль.— Но если ты, Устин, тронешь Смирнова... Если хоть один волос упадет с его головы, тогда...

— Во-он ты опять как заговорил! — вымолвил наконец Устин Морозов, на этот раз почти шепотом.

— Опять так же, верно... И хорошо, что в тридцать седьмом ты послушался меня. Если б настрочил на Захара кляузу, если Большакова посадили бы, то и ты бы следом загремел...

— Пугаешь, значит! Пугаешь, индюк надутый! Ты кого пугаешь, а? Ты кого, спрашиваю...

Морозов кричал, размахивая руками, крутил ими все сильнее и сильнее, будто намеревался взлететь.

Фрол ушел, плотно захлопнув за собою дверь. Устин перестал размахивать руками, долго-долго смотрел на эту дверь.

Затем глянул в печку. Там огня уже не было, там дымились одни головешки густым и едким желтоватым дымом.

Устин нагнулся и взял полено. Но в печку его не бросил, а принялся зачем-то внимательно рассматривать. Осмотрел со всех сторон, поднял глаза, словно хотел спросить у кого-то: почему у него в руках оказалось это полено, для чего он его держит, что с ним делать?

Он думал об этом так напряженно, что в голове зазвенело. Бросил полено на пол, бессознательно надеясь, что звон в голове, отдающийся тупой болью, тотчас утихнет. Но звон не утих. Помимо своей воли он стал прислушиваться к нему все внимательнее. Сначала смутно подумал: этот звон начался ведь не в ту секунду, когда он взял полено. Нет, он начался много раньше... когда... Ну да, когда Фрол Курганов сказал... Как это он сказал? «Корешки-то, видать, насквозь прогнили...» Вот когда! И этот звон не прекращался ни на секунду, просто он временами не слышал его, как шофер не слышит шума работающего мотора. Но чихнет мотор — и тотчас резанет по уху, отдастся в голове шофера. А почему в его, Устиновой, голове отдался с новой болью звон, когда он взял полено? Почему? Что он в то время сделал? Заглянул в печь, увидел сгоревшие головешки?.. Сгоревшие! Вон что?!

Устин лихорадочно начал сгибаться и разгибаться, начал хватать из большой кучи одно за другим тяжелые поленья и швырять в черный печной зев.

— Нет, врешь, Фрол, врешь! Не сгнили корешки! И Захарка ничего не выкорчует. И не сгорел еще я, не выгорел весь... Сейчас загудят, загудят дрова. И я, и я...

Устин плотно забил дровами всю печь. Когда поленья толкать было некуда, Морозов опустился устало на стул. Опустился, опять прислушался... Нет, звон в голове не проходил.

И вдруг ясно, с леденящим сердце ужасом, Устин начал осознавать, что звон этот и эта боль в голове не пройдут, не затихнут никогда. Никогда, потому что... потому что он начался раньше, намного раньше, чем пришел Фрол. Но когда? В ту секунду, когда Илья Юргин произнес: «Засучим ногами, как тараканы на иголке»? А может быть, раньше, когда Федька, сын

родной, заявил ему там... в Усть-Каменке: «Не упомнишь, говоришь, всех своих кровавых дел? Ничего, дорогой мой отец, люди-то не забудут».

Устин застонал тяжело и мучительно, откинулся на спинку стула. Клееный стул затрещал, грозя развалиться. Но Устин ничего не слышал, кроме прежнего звона, раздавливающего голову. Казалось, что голова его зажата меж каких-то шершавых каменных глыб, и глыбы эти сдвигаются, сдвигаются... И еще казалось, что это когда-то уже было, было... Когда, когда?

Потянуло запахом дыма. Устин повернул голову и увидел, что из забитой поленьями печи клубами валит дым. Дыма так много, что он не успевал уплывать через дымоход и частью растекался по комнате.

Открылась дверь, вошла Пистимея. Всплеснув руками, метнулась к мужу:

— Господи, да чего ты, Устинушка?! Здоров ли ты, родимый, в самом-то деле? Встать-то можешь? Вставай, ложись, с богом, в постельку...

Пистимея тормошила мужа, гладила по голове беспалой рукой. Она помогла ему подняться со стула, уложила на кровать. Затем кинулась к печке.

— Дыму-то, дыму-то в избе! Господи, да разве так кладут дрова?! Закупорил, как бутылку. Горят разве дрова без воздуха-то?

Пистимея выбросила из печки с десяток закопченных поленьев. Схватила толстый кухонный ножик, ловко нащепала лучины. Сбросила все лучины в пучок, переломила их о колено, подняла к излому спичку. Сухой пучок вспыхнул, точно был облит керосином. Нагнулась и сунула его в печку.

Через минуту дрова горели ровно и весело, снова звонко пощелкивая.

И снова на лице этой женщины плясали кроваво-розовые отсветы пламени...

— Про Клашку-то напомнил ему, что ли? — спросила она.

Устин молча смотрел, как бушевало пламя в печке, как лоскуты огня, отрываясь, улетали в дымоход. Смотрел и улыбался.

— Уж только бы он... с Клашкой, а там бы я быстрехонько ее скрутила,— опять проговорила Пистимея.— Только вот боюсь — уйдет к Клашке, а назад ты не сумеешь его, останется он у нее. А, как думаешь? Не зауросит Фрол?

Устин и теперь промолчал.

— Ну да ничего,— продолжала старуха.— Там уж мое дело. Тогда уж все равно я найду для нее крючок, не сорвется. Сама прибежит грехи замаливать. Умоется тогда у меня Захарка...

— Ишь горит, горит...— проговорил Устин.

Пистимея внимательно поглядела на мужа.

— А как же,— сказала она.— Топливо умеючи класть надо. Особенно в потухающую печь.— Но тут же, словно испугав-

шись чего-то, добавила: — Да где вам, мужикам, уразуметь бабье дело... Ты лежи, лежи, я настой из травки сварю вот. Попьешь — и всю хворь сразу как рукой снимет...

Помолчав, она продолжала негромко и вкрадчиво:

— Так вот, Устинушка... Об дочери, говорю, потолковать надо... Ты все одергиваешь меня да отмахиваешься, безбожник. А ведь сказано у Иоанна: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». А также у Матфея, в главе седьмой, стих девятнадцатый: «Всяко древо, не приносящее плода доброго, срубают и...»

Пистимея не договорила. Устин ринулся с кровати, подскочил к жене, растопырил руки, точно хотел поймать ее и бросить в печь. Губы его беззвучно тряслись, черные глаза дико вздрагивали.

Давно не крестилась Пистимея, но тут невольно подняла руку с пальцем-обрубком:

— Господи, Иисус пресвятой, хранитель единственный... Устинушка, да ты чего?

— Я чего? — хрипло переспросил Устин.— Не-ет, это ты — чего? — И закричал громко, пронзительно: — Сына угробила, сжила на тот свет, а теперь дочь?! А теперь дочь?!

— Какого сына? — попятилась Пистимея.— Окстись ты... Услышат на улице!

— Сына моего, Федьку! Федора!!

— Да ты чего?! На войне ведь погиб он. Прибрал господь непутевого.

— На войне?! Не-ет! Это ты его убила! — не помня уже себя, кричал Устин, тыча пальцем в плоскую грудь жены.— Ты! Ты!! Ты!!

Глава 22

Федька Морозов, сын Пистимеи и Устина, не помнил, когда и откуда приехали они в Зеленый Дол. Но с тех пор, как стал себя помнить, он любовался насквозь прогреваемой лучами Светлихой, необыкновенным, каждое утро вырастающим, словно из волшебной сказки, утесом с осокорем на самой вершине да удивительными по запаху, бесконечной сини и густо рассыпанным птичьим голосам, зареченскими пашнями и лугами. Мальчик сперва с недоумением думал, отчего это деревню выстроили не там, за рекой, а здесь, под холмами, среди уныло торчащих кедров-великанов. Положим, кедры тоже были красивыми. Зимой их окуржавевшие верхушки были похожи на облака, которые стояли на одном месте, сыпали и сыпали вниз, на крыши домов, на землю, свой куржак, как настоящие тучи. Летом после дождей на верхушках кедров на каждой иголочке зажигалась какая-нибудь малюсенькая лампочка-искорка — или синяя, или

красная, или розовая. И каждый кедр полыхал, как факел, и Федьке казалось тогда, что деревья-великаны пришли из той же волшебной сказки. Но все равно это ни в какое сравнение не шло с Марьиным утесом, и деревню, как он полагал, надо было выстроить именно там.

Федька, как, видимо, каждый ребенок, любил природу. Это взрослые — некогда им, что ли? — не замечают почему-то ни сказочного утеса, ни искрящихся под летним солнцем кедров. А если и взглянут когда, то равнодушно и лениво, словно им жить на земле, по крайней мере, еще тысячу лет каждому и они успеют еще насмотреться на все дивные дива.

Не-ет, он-то, Федька, знал, что человек хотя и живет долго, но не больше ста лет. Поэтому надо успеть на все насмотреться сейчас.

Эти лучи, птицы, речка, утес, кедры были его друзьями. У каждого из его друзей были страшные враги. Ну, например, у кедров самым опасным и безжалостным врагом был ветер. Он частенько налетал тогда, когда кедры зажигали свои разноцветные лампочки, дул изо всей силы и быстро тушил их. Мало того — ветер срывал эти крохотные, уже потухшие лампочки и, улюлюкая и насвистывая, разбивал их о землю.

Ветер вообще был существом очень злым и коварным. Часто он налетал неожиданно, среди полнейшей тишины, вздымал тучи пыли, подхватывал листья, солому, бумажки, все это пережевывал своим страшным невидимым ртом и выбрасывал где-нибудь далеко-далеко. Он вырывал птиц из гнезд, волок их за собой, колошматил в воздухе, словно хотел обломать им крылья за то, что они, когда его, ветра, здесь нет, летают по его владениям. Ветер валил наземь и могучие деревья, осмелившиеся поднять свои ветви туда, где должен властвовать только он. Ветер, срывая с людей фуражки, грозил изорвать на них в клочья всю одежду только за то, наверно, что они понастроили дома, в которых вздумали укрываться от его цепких и холодных лап. Иногда ветер просто свирепел от этого и принимался с дикой злостью рвать и разворачивать крыши.

Ветра боялись все. Он еще только начнет подувать чуть-чуть, а ветви кедров уже задрожат, Светлиха сморщится, птицы умолкают и прячутся в траву.

И только могучий утес ничего не боится, выставляет ему навстречу свою каменную грудь. Бывало, утрами ветер в одну секунду потушит и сорвет с кедров все лампочки, а утес только разгорается под лучами солнца все сильнее да сильнее, ветер только раздувает да раздувает его все ярче и ярче.

— Ну, потуши, потуши попробуй! — в восторге кричал ветру Федька, приплясывая от возбуждения у окна, из которого хорошо был виден каменный великан. Кричал с откровенной насмешкой и с радостным злорадством. А как же! Пусть не думает, понимаешь, что ему подвластно все!

Случалось, что ветер выходил из себя окончательно. Тогда-то и трещали крыши домов, беспомощно и жалко болтались в вышине верхушки кедров, валились деревья. Все вокруг свистело, дрожало, стонало, гнулось и неслось в ту сторону, куда дул ветер. И только Марьин утес, парусом распустив над собой ветви осокоря, плыл и плыл навстречу бешеному ветру, ни разу не дрогнув, не покачнувшись, не повернув обратно.

...Федькино детство кончилось однажды точно в такое вот ветреное утро, когда он сидел на подоконнике и, не помня себя от возбуждения, кричал:

— Дуй, дуй, может, лопнешь от натуги, а не опрокинуть утес, не сломать осокорь!

Внезапно мальчик оказался сброшенным с подоконника крепким отцовским подзатыльником.

— Ты... чего? За что? — раздельно спросил он отца, приподнимаясь с пола, потирая сильно ушибленные колени, ладони и голову. В глазах от обиды выступили слезы. Он быстро смахнул их рукавом рубашонки.

— Сморчок еще мокроносый, а туда же: «Не опрокинешь... не сломаешь!..» — загремел отец.

Федьке все было непонятно — и слова, и за что он ударил его.

— Конечно, не опрокинет и не сломает,— сказал он, сидя еще на полу.

— Нет, опрокину! Нет, сломаю!! — совсем уже непонятно закричал отец.

— Да я же про ветер и про утес... И еще про осокорь.

— А я про тебя! Понял или нет?

— Про меня?! — переспросил Федька, поднялся, посмотрел на мать. Та, словно украдкой, крестилась возле Варькиной люльки. И хотя Федька и на этот раз ничего не понял из слов отца, сказал упрямо: — Нет, и меня ты не сломаешь.

Отец засмеялся сердито, взял его за шиворот и выбросил из избы, как котенка, со словами:

— Продрогнешь насквозь — стучись, пущу. Это и будет означать, что я тебя уже сломал.— И потом предупредил: — Смотри, уйдешь к соседям куда — задницу в кровь, до костей измочалю.

Федька в тоненькой рубашонке продрог через две минуты. Он несколько раз готов был постучаться, но каждый раз вспоминал слова отца. Хотел уйти к соседям и опять вспоминал грозное отцовское предупреждение.

Наконец, закусив до крови губы, решительно шагнул с крыльца и, падая на ветер всем своим жиденьким тельцем, закрывая ладонями уши, которые чуть не продавливало ветром, побежал к Никулиным, жившим неподалеку.

У Никулиных вовсю топилась печь, а дома никого не было, кроме смешной и грязной девчонки Клашки с растрепанными

волосами. Она долго ходила вокруг него, словно никогда раньше не видела, пошмыгивала носом, словно принюхивалась.

— Ты зачем к нам пришел? — спросила она.

— Нельзя разве?

— Можно, да ведь ты вроде не любишь меня. Недавно гранатами кидался.

«Гранатами» назывались бумажные кульки с дорожной пылью, которые Федька действительно швырял однажды в Клашку целый день.

— Так ты что, не умывалась с того дня, что ли? Посмотрись вон в зеркало на себя.

Клашка подбежала к облезлому осколку, прикрепленному к стене тремя гвоздями.

— Ой! Я это печку растапливала. Пока золу выгребала, вся перемазалась. Ты полей мне на руки, ладно?

— Ладно,— сказал Федька, взял кружку и над тазом стал лить воду в ее грязные ладони.

Когда Клашка смыла всю сажу с лица, кругловатые щеки ее порозовели, маленькие, чуть косоватые глазенки заблестели, заискрились. Да и вообще вся она засияла, как обмытый дождиком камешек. Только вот руки никак не хотели отмываться — так глубоко въелись в них грязь и сажа. Вообще руки у нее были не по-детски сухими, жесткими и большими.

— Ты помой еще руки с мылом,— посоветовал Федька.

— Не, не отмоются. Это от работы у меня такие руки. Мамка так и говорит: рабочие у тебя руки, доченька...

— Зачем же она заставляет столько работать тебя?

— Так ведь она все в поле да в поле. Кто же за домом тогда смотреть будет? Отец-то у нас знаешь какой? Пьяница да матерщинник. Вот дом на моих руках и держится только. Мне ведь уже десять годов почти. А ты пришел потому, что у тебя что-нибудь случилось, да?

— Ничего не случилось... С чего ты взяла?

— Я не взяла, а так спросила. А если когда случится — ты обязательно приходи. Уж вместе-то мы придумаем что-нибудь... Ладно?

Федька подумал-подумал и вместо ответа сказал:

— Знаешь, я больше не буду в тебя гранатами кидать.

Так у Федора Морозова началась дружба с Клашкой Никулиной. Год от года она крепла и крепла, может быть, потому, что эта девчонка с большими и жесткими ладонями, которой некогда было порой целую неделю даже с часок поиграть на улице с детьми, каждый раз искренне радовалась его приходу.

И как-то незаметно Клашка превратилась в самого необходимого и близкого ему человека. Для других детей таким человеком бывает обычно или отец, или мать, а чаще всего оба вместе. А для Федьки стала вот Клашка.

В тот ветреный день Устин, разыскав Федьку у Никулиных, пригнал его палкой домой, схватил со стены тяжелый черный ремень с медной пряжкой.

— Снимай, сукин сын, штаны и ложись ко мне на колено!

— Зачем?

— Поспрашивай еще! Я ведь слов на ветер не кидаю. Что обещал, то и получишь.

— Тогда я совсем уйду, навсегда,— вырвалось неожиданно у Федьки.

— Ах ты щенок!! — Устин шагнул к нему, схватил за воротник рубашки так, что она затрещала.— Нет, ты слышишь, мать, что выродок твой отмочил, а? Ты слышишь?

— Потому что несправедливо ты меня хочешь отодрать... И давечь несправедливо ударил.

Со страшной руганью Устин бросил в лицо Федьке ремень, повернулся к матери:

— Выкормила волчонка! Бери его теперь, воспитывай. Чтоб через год шелковым был, поняла?

Пистимея подошла к сыну, погладила по голове, увела в свою комнату.

Вскоре наступила зима, и Пистимея не отпускала от себя сына ни на шаг. За долгие зимние месяцы Федька понял, что означали слова отца «воспитывай». Едва он возвращался из школы, мать заставляла молиться, учила каким-то длинным и непонятным молитвам, ласковым голосом рассказывала, кто такой бог, за что он любит и за что не любит людей, втолковывала, что он, Федька, должен слушаться и почитать отца: ведь святые, сидящие в углу на иконах, обязательно расскажут богу о его неповиновении родителям, и тогда уж ничего хорошего ему, рабу Федору, ждать и не надо...

Кончилось это тем, что, наслушавшись до одури наставлений и советов матери, Федька однажды утром, когда в комнате никого не оказалось, собрал со всех углов иконы и одну за другой покидал их в печку, предварительно выколов шилом глаза каждому святому. Горели иконы хорошо, лучше, чем дрова. Дрова всегда звонко стреляли, а иконы только гудели со свистом, пламя из них хлестало так, словно они были начинены внутри огнем. Горящие доски коробились, и казалось, что это святые корчатся в огне. Корчатся, наверное, так же, как те самые грешники в аду, о которых столько говорила мать.

Пистимея вошла в кухню, когда Федька старательно выковыривал глаза у красивой богородицы Марии на последней иконе. Вошла, да так и осела у порога. Задохнувшись, закрыла лицо руками. Потом кинулась к печке, схватила кочергу, стала выгребать коробившихся на огне святых. Федька улыбался, потому что спасти их было уже невозможно. Потом закашлялся — полусгоревшие доски густо дымились на шестке, забив всю кухню вонючим, непродыхаемым чадом.

Вот теперь-то Устин, вернувшись домой, не бросил ремень до тех пор, пока Федька не потерял сознания.

Когда мальчик очнулся, он тотчас услышал ласковый и печальный голос матери:

— Ничего, сынок... Отцу заплатил, а богу замолишь... Жизнь долгая, проймешь смирением нашего господа. Велика ли капелька, а кремень точит. Оклемался вот — и первую силу потрать на сотворение креста святого...

Крест сотворять Федька не стал и закрыл глаза.

Несколько дней он пролежал почти без движения на кровати лицом вниз. Пистимея беспрерывно накладывала ему какие-то примочки.

Потом Федька начал понемногу вставать. Целыми днями он молчаливо сидел у окна. Смотрел на потемневший под мартовским солнцем снег, на играющий светом Марьин утес, на густо индевевшие по утрам верхушки кедров.

— Ну как, сполна получил или не хватило? — спросил однажды отец, когда сын снова начал ходить в школу.

Федька ничего не ответил.

— Язык отсох, что ли?! — взревел Устин.— Я вроде другое место тебе расхлестал.

— Отойди от меня лучше,— тихо попросил Федька.

Устин с изумлением, пугливо глянул на Пистимею. В голосе сына не было того страха, а главное, той покорности, которой он ожидал, на которую рассчитывал.

Устин еще покрутил головой и, так и не сказав более ничего, вышел в другую комнату. Вышел торопливо, точно забыл там что-то.

Вскоре Пистимея притащила домой откуда-то целый ворох новых икон. Каждую старательно протерла мягкой тряпочкой. Федька, поджав губы, молча наблюдал за ее работой.

Но, к его удивлению, мать не стала развешивать иконы по углам. Несколько дней она ходила по комнате, вздыхая о чем-то, а потом собрала их, сложила в сундук, со звоном щелкнула замком и села на крышку.

— Это что же... каждый раз, как молиться, будешь вынимать их? — спросил Устин.

— Да нет, Устинушка. Открылось мне — бог-то не на иконах должен быть, а в душе жить.

— Точно так баптистка Марфа Кузьмина, кажись, говорит... В их, что ли, веру перекрашиваешься?

— Слово-то какое, тьфу! — обиделась Пистимея.— Веру можно постичь да проникнуться ею... А перекрашивают полы только.

Федька ничего не понял из их разговора. Он подумал: мать прячет иконы в сундук потому, что опасается, как бы опять не очутились они в печке.

Перестала мать и креститься. Во время молитв она становилась теперь просто на колени и поднимала голову к потолку.

В апреле, когда на Светлихе начал потрескивать и крошиться лед, Федька приготовил небольшой мешочек, положил туда две булки хлеба, кусок сала, несколько луковиц. Насыпал в тряпочку соли, завязал и тоже положил в мешочек. Все это спрятал во дворе, под навесом, прикрыв кучкой соломы.

Потом отыскал в сенях старую, узловатую веревку, с которой Устин всю зиму ездил за сеном, сунул ее под свою постель.

Через день или два после этих Федькиных приготовлений Устин заявился домой под вечер вдрызг пьяный. Не раздеваясь, плюхнулся на кровать.

Пистимея кое-как стянула с него тужурку, пиджак, сапоги и ушла к себе.

Устин с полчаса мычал что-то, потом захрапел.

В эту ночь в доме не спал один Федька.

Когда в окно заглянула бледноватая, видимо, долго лежавшая где-то в темноте луна, Федька тихонько поднялся со своей кровати, вытащил из-под матраса веревку. Натянув толстые вязаные чулки, чтоб не шлепать по полу босыми ногами, подошел к отцу и, стараясь не дышать, начал привязывать к кровати его руки и ноги.

Через несколько минут Устин был весь опутан веревкой. Он спал, как мертвый, задрав кверху бороду, далеко выставив острый, обметанный черной щетиной кадык.

Потом мальчик сел на лавку, обернул обе ноги портянками и надел сапоги. Заворочалась в своей комнате мать, и Федька испуганно притих.

Посидев немного в лунном сумраке, он встал, снял со стены ремень, крепко зажмурил глаза. Его почему-то смущало теперь, что в окне, словно прилепившись к стеклу, торчит белесый лунный круг.

Так и не открывая глаз, Федька вытянул отца ремнем поперек распахнутой груди. Устин оборвал свой храп, Федька вздрогнул и открыл глаза.

Нет, отец только перестал храпеть. Удара он, наверное, не почувствовал, потому что даже не пошевелился, не повернул головы. Борода его по-прежнему торчала кверху. Все это придало Федьке смелости, он ударил его еще раз и еще...

Тяжело сомкнутые веки отца дрогнули раз-другой и медленно приоткрылись, а борода поползла набок, к Федьке.

— Что?.. Кто?! — пробормотал он.

— Господи, чего там возишься? — проговорила из своей комнаты мать.— Разбудишь Варьку мне.

Федька уже устал хлестать отца, а тот только моргал и моргал после каждого удара. Наконец перестал моргать, уставился на сына выпученными глазами. Глаза эти делались все больше и больше...

— Ах ты... выползок змеиный!! — заорал наконец Устин и хотел сорваться с кровати. Но только дернулся, обмяк и затих

в немом удивлении. Через три-четыре секунды, сообразив, видимо, в чем дело, затрясся весь на кровати крупной дрожью.

Федька, подпрыгивая возле кровати, махал и махал ремнем. Удары были слабенькими и, конечно, безболезненными, но Устину, наверное, казалось, что его рубят шашками.

На худеньком Федькином лице яростно поблескивали в темноте глазенки. Он даже не слышал, как вышла из своей комнаты мать с зажженной лампой в руках. Она приподняла лампу над головой. Приподняла и тут же чуть не выронила ее, прислонилась к стене, зашептав:

— Федя, Феденька! Бог-то, бог-то... Что теперь?!

Устин рванулся наконец так, что старая, истертая веревка лопнула сразу в нескольких местах. Сдирая кожу, выдернул из веревочных петель руки, сел на кровати и, покачиваясь от не прошедшего еще пьяного угара, начал торопливо распутывать свои ноги. Федька бросил ремень, вытер рукавом крупные капли пота со лба и со щек, кинулся к своей постели, где лежала его тужурка. Потом заметался по комнате, отыскивая шапку. Шапку-то он вгорячах и забыл приготовить.

— Держи, держи! — рявкнул Устин, все еще не успев распутать ноги.— Не пускай, говорю!!! Я ему сейчас отверну головешку, как куренку!!

Пистимея, путаясь в длинной рубахе, принялась бегать за Федькой, в одной руке держа лампу, а другую, беспалую, протягивала к сыну, стараясь схватить его. Бегала и беспрерывно повторяла жалобным голосом:

— Феденька, Феденька, сыночек... Да остановись ты, ради бога...

Наконец ей удалось схватить сына за волосы. Федька рванулся, но мать держала крепко. Рука у нее была как железная. Федьку с головы до пят пронзила острая боль, в глазах завертелись желтые круги. И в то же время он увидел, что отец распутал в конце концов свои ноги и спустил их с кровати.

Закрыв крепко глаза и глотнув как можно больше воздуха, точно глотал его в последний раз, мальчик крутнулся на одной ноге и вырвался, оставив в беспалой руке матери клок волос. Пистимея взвизгнула, точно это у нее вырвали волосы, и метнулась к сыну. Устин тоже сорвался с кровати. Они почти одновременно уже нагнали было его у порога, но Федька, обернувшись, взмахнул тужуркой, которую так и не успел надеть, ударил по лампе. Старинная, синего стекла, десятилинейная лампа упала на пол, раскололась, разбрызгав возле порога керосин. По керосиновым лужицам на полу запрыгали огоньки, брызнули в разные стороны, как стайка мышей от кошки, потом слились в один широкий язык пламени.

Пистимея отпрянула назад. Устин тоже отступил, но в то же мгновение ринулся вперед, намереваясь догнать сына, но Пистимея закричала диким голосом:

— Сгорим ведь, Устинушка!!

Устин схватил ведро с водой, выплеснул под порог. Сдернул со стенки какую-то одежину и принялся забивать трепетавшие кое-где лепестки пламени.

А Федька в это время, все еще держа в руках тужурку, сидел на последней ступеньке крыльца. Здесь его оставили силы, он дышал тяжело и часто.

Услышав топот в сенях, он вскочил, побежал под навес и стал торопливо разгребать солому, чтобы вытащить свой мешок с припасами.

Отец выбежал на крыльцо и остановился, осматриваясь. Федька выдернул из-под соломы свой мешочек и, пригнувшись, побежал к воротам. Устин прыгнул за ним с крыльца, но Федька успел выбежать на улицу и захлопнуть за собой ворота. Устин со всего разбега ударился о них так, что доски затрещали.

За воротами Устин потерял из виду Федьку. Он думал почему-то, что Федька побежит направо, в тайгу, и, когда выскочил на улицу, повернул направо. Но, пробежав несколько шагов, растерянно остановился. Улица просматривалась до самого леса, а Федьки не было видно.

«Неужели притаился, сволочонок, где-нибудь в тени у забора? Или за плетень к кому шмыгнул? Да ведь не успеть бы ему вроде ни того, ни другого»,— подумал Устин. Обернулся. И увидел, что Федька убегает совсем в противоположную сторону, к речке.

— А-а! Ну, теперь-то уж не уйдешь! — вслух проговорил Устин и бросился за сыном.

Устин все еще был пьян и бежал неровно, выписывая восьмерки. Но все равно он быстро настигал сына. Вскоре Федька услышал за спиной его хрипучие вздохи и прибавил ходу.

Но силы опять быстро оставляли парнишку. «Хоть бы шел кто-нибудь навстречу! — с отчаянием и мольбой подумал он.— Ну хоть кто-нибудь! Вот ведь сколько в деревне людей... Ага, вон кто-то... Может, дядя Большаков, председатель...»

Эта надежда прибавила ему силы, он побежал быстрее. Но еще шагов за тридцать уже рассмотрел, что это вовсе не председатель и... и даже не «кто-нибудь». От речки, сгибаясь под коромыслом, шла какая-то девчонка. А это все равно что на дороге никого не было. Чем поможет ему девчонка?!

Сразу отяжелел мешок с хлебом, будто он был набит камнями. Федька уже еле-еле волочил его по земле. А топот отцовских ног все ближе и ближе...

Тогда Федька бросил мешок. Он пронесся мимо девчонки с ведрами, даже не взглянув на нее. У него не было на это ни сил, ни времени. А если бы взглянул, то узнал бы Клашку Никулину.

Улица упиралась в каменистый берег Светлихи. Федька выбежал на берег и остановился, пораженный: лед на реке... двигался. Бежать дальше было некуда.

Ледоход начался, видимо, совсем недавно, может быть, даже после того, как встретившаяся девчонка набрала воды. Толстые и черные льдины лезли на берег, становились ребром, плюхались многопудовой тяжестью обратно на воду, крошились. Казалось, чудовищная, растянувшаяся во всю Светлиху рыбина, зиму пролежавшая без движения подо льдом, теперь забеспокоилась, зашевелилась, заворочалась, взломала лед и начала хлестать хвостом и многочисленными плавниками по воде.

Федька кинулся в сторону и чуть не попал прямо в руки подбежавшего отца. Тогда Федька отпрянул назад и побежал вдоль берега, намереваясь проскочить мимо отца обратно в улицу. Но Устин отжимал его к самой воде. Парнишка метнулся снова назад.

Берег в том месте выгибался дугой, и Федька болтался в ней, как колокольчик, когда лошадь идет крупным шагом.

— Не поймаешь! Все равно не поймаешь! — прокричал Федька, вдруг остановившись. В голосе его было отчаяние решившегося на все человека. Потом повернулся и прыгнул на льдину, лежавшую одним концом на берегу. Льдина покачнулась, поползла из-под ног, и Федька тотчас перепрыгнул на следующую. Эта тоже закачалась, но уже как поплавок, с боку на бок. Федька потерял равновесие и упал на колени. Вскочил и перепрыгнул на третью льдину. Эта даже не пошевелилась.

— Фе-едька!! Фе-едь!..— страшно прокричал сзади отцовский голос и умолк, захлебнулся.

Федька встал и поглядел назад. Странно — оказывается, льдина, на которую он прыгнул, стоит неподвижно, и вся река стоит неподвижно, а берег плывет, плывет назад вместе с деревней. И отец бегает по берегу взад-вперед, как бегал только что он, Федька. Бегает, машет руками и тоже уплывает назад...

Но Федька не верил тому, что отец удаляется от него все дальше и дальше. Ему показалось, что это обман, что отец сейчас задышит ему в самое ухо, протянет к нему руку и схватит, как мать, за волосы. Тогда уж не вывернешься...

Прыгая с льдины на льдину, не думая о том, что каждую секунду может сорваться в воду и погибнуть, он побежал в сторону Заречья, туда, где маячил в темноте Марьин утес.

До противоположного берега Федька добрался все-таки благополучно. Мокрый и смертельно усталый, он упал на камни и лежал без движения до тех пор, пока не почувствовал, что коченеет. Тогда через силу поднялся и сел. Одежда захрустела, словно была стеклянной. Федька понял, что штаны и тужурка обледенели.

Все та же луна безмолвно и печально висела над ним. Она и не спешила укрыться восвояси. Она вроде хотела еще досмотреть, чем же кончится трагедия, разыгравшаяся в жизни маленького человека.

Посидев с полминуты, Федька вскочил и, чтобы согреться, начал бегать по берегу.

Через полчаса ему стало жарко, так жарко, что даже вся голова запылала огнем. Он потрогал волосы. Они были жесткими, торчали во все стороны ледяными сосульками. «Ничего,— подумал Федька.— Раз мне тепло, значит, и волосы оттают. А зря все же шапку забыл...»

Он присел где-то между каменными глыбами, поднял крохотный матерчатый воротничок тужурки. И вдруг спиной почувствовал, что камень горячий. Ему сразу стало так легко и приятно, что он даже не удивился, отчего же это все камни вокруг пышут жаром. Он только подумал: «Это хорошо, теперь-то уж волосы оттают быстро...»

И последнее, что мелькнуло в его сознании: «Теперь отец, если переберется через реку, не найдет меня среди камней...»

А сверху, с совершенно ясного неба, начала вдруг сыпаться мелкая снежная крупка. Крупинки снега застревали в его обледеневших волосах. Он пошевелился и чуть повернул голову. Крупинки застревали теперь на ресницах, закатывались в его неглубокие посиневшие глазницы. Там они таяли, и тоненькие водяные дорожки сочились по щекам. Казалось, Федька спал и плакал во сне.

Постепенно водяные дорожки на его щеках загустели и превратились в ледяные полосочки. В глазницы набивалось все больше и больше снежных крупинок. Они были легкими, и ветерок время от времени выдувал их оттуда.

Потом снежная крупа сыпаться перестала.

В воздухе все холодало и холодало. Федька дышал все тише и тише.

Луна все стояла и стояла на своем месте.

Луна досмотрела до конца трагедию маленького человека, почти еще ребенка, но по-прежнему не торопилась уходить с небосвода.

...Очнулся Федька оттого, что кто-то его тормошил. Очнулся, но не мог раскрыть глаз — ресницы смерзлись.

Тогда тот, кто тормошил, схватил его голову и начал отогревать ресницы своим дыханием. Но такого тепла все равно не хватало, чтобы растопить замерзшие слезы.

И в следующий миг Федька почувствовал: кто-то прижимает его лицо к своему теплому тельцу, плотно укутывает его голову, видимо полами пальтишка, услышал, как в этом маленьком тельце часто-часто стучит сердце.

Укутанной Федькиной голове стало тепло. Он почувствовал — с волос за шиворот капают горячие капельки. «Откуда они и почему горячие? — подумал Федька.— Ага, это волосы оттаивают. Но почему все же капельки горячие?»

— Ага, отошел, заморгал!..

Голос был страшно знакомый. Но Федька не узнал его, потому что он донесся глухо, еле слышно. Да и голова его гудела, точно в ней бушевало пламя.

Федька хотел освободиться и глянуть на того, кому принадлежал голос, но его голову еще сильнее прижимали к вздрагивающему голому телу.

— Ты погрейся еще, погрейся. Там тепло. А потом я тебе шапку дам. Я шапку принесла...

— Да кто ты? — спросил Федька, опять не узнав голоса.

В ответ услышал только таинственный смешок.

А с головы бежали теперь целые струйки. Они обжигали тело, к которому было прижато его лицо, и тело это вздрагивало.

И вдруг Федька вспомнил, кому принадлежал этот голос.

Он дернулся, закричал удивленно и радостно:

— Клашка? Это ты?!

— Вот чудак,— проговорила девочка, застегивая кофточку и пальтишко. Потом схватила мешочек, выдернула оттуда шапку.— На, надень... Тятенькина это...

— Да откуда ты взялась здесь?

— Я не взялась, а по льдинам перешла. Ох и страху натерпелась! Другая льдина ничего вроде, а какая ка-ак качнется... словно люлька.

— Ну?!

— Чего «ну»? Мужики мечутся по берегу, ступят только на ледок, а он — хруп... А я легкая.

— Где? Какие мужики?

— Там,— махнула Клашка рукой в сторону деревни.— Я же видела, как ты от отца убегал. Я за водой ходила... Днем-то некогда было — убиралась, потом уроки учила...

— Так это ты была?

— Ну да. И мешочек твой подобрала. Вот он.— Клашка помолчала и спросила: — Не холодно тебе? Кабы не луна, ни в жисть не отыскала бы тебя до утра. Замерз, спрашиваю?

— Нет... Ноги вот только...

— Ноги... Ты весь закоченел. Бегай давай! Ну побежали!

Клашка подтолкнула его. Он сделал несколько шагов и сел.

— Чего ты?

— Ноги больно...

— Я и говорю, что закоченели. Вставай, вставай... Вот боров прямо закормленный! Вставай, говорю!

Клашка опять теребила его, пыталась поднять. Но Федька не вставал. Поджимая под собой ноги в обледенелых сапогах, он повторял одно и то же:

— Отстань, отвяжись... больно мне ходить... И голова горит прямо. Я лягу лучше...

И Федька в самом деле растянулся на снегу, снова закрыл глаза. Клашка пыталась его поднять, переворачивала с боку на бок, умоляла и даже целовала в холодные щеки и губы:

— Ну, Феденька! Ну, миленький!.. Замерзнешь ведь, Феденька. Вставай, а? Ну, встань хоть на минутку!

Но все было бесполезно. Федькино тело было вялым, тяжелым. Девочка беспомощно поглядела по сторонам. Далеко-далеко, на другом берегу, двигались огоньки — там все еще метался, видимо, Захар Большаков с колхозниками. Но они ничем не могли помочь детям.

— И чего ты навязался на меня, паразит такой? — воскликнула в отчаянии Клашка, пнула даже Федьку ногой, заревела и упала на колени, закрыв лицо руками.

Тогда Федька шевельнулся — раз, другой, третий — и попытался встать.

— Ладно, расплакалась тут,— проговорил он. И добавил с обидой: — И никто тебе не навязывался. Надо мне навязываться!

Клашка, смеясь от радости сквозь слезы, кинулась ему помогать.

— Ты маленечко, совсем маленечко побегай, и тебе будет легче. Вот увидишь. Ведь мужики вон, которые за сеном ездят, как ознобят ноги, так соскакивают с возов и бегут рядом... А ты что — ты, конечно, не навязался... Потом мы костер разожжем, у меня и спички есть... Утром, как развиднеется, надо обратно нам идти...

— Не пойду... не пойду! — сразу начал оседать обратно на снег Федька...

— Ну ладно, ладно, не пойдем! — испуганно и поспешно проговорила Клашка.— Зачем, в самом деле, нам идти? Костер разожжем и будем греться. Хлеб у нас есть...

Федька, морщась от боли, начал медленно ходить по каменистому берегу. Клашка крутилась вокруг, то и дело подталкивала его:

— Быстрей, Федя, ну, маленечко побыстрее...

Федька, закусив губы, прибавлял шагу. Вскоре он начал бегать...

Потом дети наломали сухих камышей и дудок, торчащих из-под снега недалеко от утеса. А самое главное — нашли несколько сухих сучьев, оторванных ветром от осокоря и сброшенных вниз. С трудом они развели небольшой огонь и стали сушиться.

Прежде всего необходимо было высушить Федькину обувь. Клашка стянула с него обледенелые сапоги, мокрые портянки, а ноги Федьки завернула в свой рваный шерстяной платок и в мешочек, в котором принесла хлеб. Сама осталась с непокрытой головой.

— Замерзнешь же,— сказал Федька.

— Вон что! — недовольно взметнула на него Клашка продолговатые, с едва заметной косинкой глаза.

К счастью, заметно потеплело.

Кое-как она подсушила его портянки и сапоги, помогла снова обуться. И потом до самого рассвета опять заставляла ходить по берегу, потому что костер потух быстро, съев все заготовленное топливо. Федька молча ходил, пошатываясь сперва незаметно, потом все сильнее и сильнее. Вскоре он стал запинаться и сел на камни, полузасыпанные недавно прошедшим и, вероятно, последним в этом году снежком.

— Ты только не сиди, только не сиди! — умоляла его Клашка, опускаясь рядом на камни.— Сейчас рассветет, и мы что-нибудь придумаем. А не мы — так дядя Захар. Обязательно...

— Я ничего, ничего... Голова вот только... Шапка горячая, что ли? Как камень...

— Какой камень? — не поняла Клашка.

— Мне не холодно, правда, не холодно... Я посижу, отдохну и встану.

Посидев, он в самом деле вставал и опять ходил, запинаясь и покачиваясь. Но когда рассвело, лед на Светлихе, простоявший всю ночь без движения, снова тронулся. Льдины опять становились на ребро, лезли одна на другую, с громким хлюпаньем падали на воду, с треском ломались и крошились. Перебраться кому-либо через это зловещее месиво льда было совершенно невозможно.

Ледоход продолжался весь день. И весь этот день Клашка мучилась с Федькой, то и дело впадавшим в долгое забытье. Примерно в полдень, измученная окончательно, она привалилась к какому-то камню, стала жевать кусок хлеба. Заставляла съесть хоть крошку хлеба и Федьку, но тот отказывался. Он сидел возле этого же камня и беспрерывно жаловался, что ему то холодно, то жарко.

Клашка случайно уперлась руками в камень и почувствовала, что он чуть-чуть тепленький. Она о чем-то подумала-подумала, поглядела на Федьку и пошла куда-то. Вернулась минут через двадцать, подхватила Федьку под мышки и через силу, багровея осунувшимся лицом, поволокла его в сторону.

Еще минут через двадцать она подтащила Федьку к большой, немного покатой к западу каменной плите, отломившейся когда-то, вероятно, от утеса. Вокруг плиты валялось много других каменных обломков различной величины и формы.

— Федя, слышишь, Федя?! Очнись, миленький, слышишь! — принялась она встряхивать Федьку за плечи.— Ну не затащить мне тебя на плиту...

— Отойди, я лягу,— не приходя в себя, бормотал Федька.

— На плите и ляжешь. Ее солнышко нагрело, она теплая, как печка. Я сейчас только пробовала. И тихо там, солнышко до самого вечера с нее не уйдет. А я накрою тебя сверху. Ну, слышишь? Становись мне на плечо и полезай.

Кое-как она затолкнула Федьку на плиту. Там уложила его на спину, сняла с себя пальтишко и укрыла Федьку сверху.

Затем и сама растянулась на плите, прижимаясь всем телом к камню.

Здесь действительно было тихо и сравнительно тепло. Солнечные лучи до самого вечера падали почти отвесно...

Здесь их вечером и нашли Захар Большаков с Фролом Кургановым. Они переплыли Светлиху на лодке, едва только лед стал пореже. Но возвращаться обратно с детьми не решились, потому что по реке плыло еще множество тяжелых льдин. Каждая могла шутя разбить лодку в щепки или перевернуть ее. Они наскоро установили на берегу привезенную с собой брезентовую палатку, укутали детей в большие тулупы.

До утра Федька почти не приходил в себя. Иногда он просил только пить. Фрол молча поил его водой из железной фляжки, которую прятал затем в карманы штанов.

Когда наступил новый день, Светлиха очистилась. Изредка проплывали небольшие льдины. Они тоже были опасны для хрупкой лодки, но Большаков с Кургановым все-таки поплыли в деревню, потому что Федька начал уже бредить.

На берегу их угрюмо и виновато встретил Устин Морозов. Он был весь смятый, борода растрепана.

— Что же ты с сыном сделал, а? — сурово спросил его Большаков.— А если бы замерз он там, тогда что? Ну, чего молчишь?! Или еще раньше... когда бежал, под лед бы угодил? Да и Клашка еще сорвалась бы со льдины... С кого тогда спрашивать?..

— Спрашивай с меня, подлеца, Захарыч,— дрогнувшим голосом проговорил Устин.— Ей-богу, разум вышибло проклятым самогоном. Сегодня только очнулся. Никогда ведь не было со мной такого, Захарыч...

Устин взял из лодки завернутого в тулуп сына.

— Прости меня, сыночек...— Потом опять обернулся к Захару: — Ну, виноват, что же, Захарыч... Я сам себя исказню до крови. Спасибо тебе низкое. И тебе, Фрол. Скотина я безрогая... Сыночек мой...

И Устин пошел, прижимая к себе сына. Люди, собравшиеся на берегу, смотрели Устину вслед, видели, как он часто нагибался к Федькиному лицу, горбясь всей спиной. Люди думали, что Устин целовал сына. И даже Захар Большаков смотрел на удалявшегося Морозова уже не такими суровыми глазами.

Фрол Курганов тоже глянул на сутулые плечи Устина. Но тут же хмуро сплюнул и стал вытаскивать лодку подальше на берег.

Федька болел долго, чуть ли не до половины лета. Пистимея мазала какими-то мазями его обмороженные ноги, выгоняла из сына простуду пахучими травяными припарками.

Устин же ни разу не зашел в ту комнату, где лежал сын.

Начав понемногу вставать, Федька снова подолгу просиживал у окна, смотрел на Марьин утес, под которым чуть не замерз, на

развесистый осокорь, сучья которого немного согрели его той страшной апрельской ночью. Если бы не эти сучья, Клашка не могла бы просушить его обледеневшие сапоги и смерзшиеся портянки. А это значило бы, что Федька, если бы даже и выжил, остался бы без обеих ног.

— Мам, позови ко мне Клашку сегодня! — попросил неожиданно Федька.

— Да зачем она тебе?! — умоляюще проговорила Пистимея.— Ты выздоравливай, выздоравливай, сынок...

— Значит, не позовете?

— Отец не любит, когда... помимо его воли...

— Воли?! — Федька дернулся от окна.— Ладно, тогда я сам пойду к ней.

— Сиди уж, ради бога, сиди! — замахала руками мать.— Ладно уж, только сиди. Тебя еще ветерок опрокинет...

Клашка пришла, когда в доме не было ни отца, ни матери. Застеснялась у порога, не осмеливаясь пройти дальше.

— Иди сюда, Клаша...

— Ничего, я тут. Выздоровел?

— А ты почему ни разу не пришла ко мне? Я ведь ждал.

— Я сколько раз хотела, да...

— Что? Отец в дом не пускал? — догадался Федька.

Клашка мялась у порога, но ничего не сказала.

Федька подошел к ней, взял за руку:

— Понимаешь...

Слов больше не было. Ему хотелось обнять девчонку с раскосыми глазами и даже поцеловать, чтоб лучше поняла то, что он намеревался сказать. Но было стыдно.

Клашка тоже застеснялась. Опустила голову, тихонько отняла руку:

— Ну уж... ладно, ты поправляйся быстрее. А мне знаешь как от матери попало?

Вскоре Федька выздоровел окончательно. К нему быстро стали возвращаться силы, бледные щеки зацвели румянцем. Однажды вечером в комнату Пистимеи, где спал теперь Федька, вошел Устин. Мальчик даже вздрогнул.

Несколько минут они смотрели друг на друга: Федька — сидя полураздетый на кровати, Устин — стоя у двери, ухватившись за косяк. Устин загораживал своим большим телом весь дверной проем, словно боялся, что сын сорвется с кровати и выскочит из комнаты.

Федька, однако, сидел спокойно. Он только подобрал с пола босые ноги и спрятал их под ватное стеганое одеяло.

— Ну?! — вопросительно произнес Устин.

— Чего «ну»? — переспросил Федька упругим голоском.

— С-сопляк, вот что! Ишь что выкинул! А о батьке вон деревня вся звонит.

— Я ничего не выкидывал... Теперь вот в школе на другой год остался.

— Феденька, сыночек, как ты отцу родному отвечаешь? — поспешно сказала Пистимея, укачивая годовалую Варьку.

— Ты помолчи! — оборвал ее Устин, взмахнув рукой.

В комнате долго копилась тишина. Слышен был только скрип люльки, подвешенной к потолку. Устин все так же стоял у двери, Федька все так же сидел на кровати. Они в упор смотрели друг на друга: отец — с немым бешенством, которое, казалось, вот-вот помутит ему разум, а сын...

В Федькином взгляде было все — и испуг, и обида, и безмолвный детский укор. Но сквозь все это пробивалось, ясно просвечивало такое откровенное упрямство, что Устин невольно еще крепче ухватился за косяк. Еще вот секунда-другая, и если Федька не опустит свои глаза под его, Устиновым, взглядом, если не отвернет лицо, то... может произойти страшное, самое страшное...

— Отвороти глаза!! — прорычал Устин.

И Федька... Нет, сын не отвел глаза. Он только... усмехнулся. И Устин почувствовал, почти физически ощутил, как полились из глаз сына вместе с упрямством обжигающие струйки ненависти, презрения и... насмешки. И вот эта насмешка, эта последняя струйка была самой горячей...

— Федька-а! — В этом крике Устина прозвучала и угроза, и мольба, и отчаяние.

Федька стремительно привстал на постели. Он стоял на четвереньках, сжавшийся, готовый к отчаянному прыжку. Его напружинившаяся фигура, как в темном зеркале, отражалась в стеклах окна, возле которого стояла кровать. «И прыгнет сейчас на меня, как рассерженный хорек, вцепится зубами в горло,— мелькнуло у Морозова.— А то в окно сиганет, прошибет головой стекло. И тогда Большаков опять...»

Вот это-то «опять» и остановило, пожалуй, Устина. Остановило еще до того, как Федька сказал:

— Если ты хоть шаг сделаешь ко мне... я... в окно...

— Феденька, сыночек! — опять запричитала Пистимея.— Стекло резучее, в кровь покалечишься, глаза выколешь. Да и мыслимое ли дело против отца, родителя... Ведь не простит господь бог тебе во веки веков...

— Замолчи ты!! — опять оборвал жену Устин Морозов.

Он прокричал это с такой яростью, с какой никогда не кричал на жену,— аж стекла зазвенели. Прокричал — и замолк, сел на скамейку. Посидел, подумал о чем-то и сказал:

— Испугался он твоего стекла, как же... Он, видать, не то что глаза... Зажми ему, звереныщу, голову — он, однако, перестригет шею да все равно уйдет. Хоть от родителя, хоть от крестителя... Ну и пусть живет как знает...

И с этих пор Устин Морозов оставил сына, отступился. И жене запретил вмешиваться в Федькину жизнь.

Родители жили сами по себе, Федька — сам по себе. Мальчик никогда не обращался ни к отцу, ни к матери со своими просьбами, никогда не спрашивал совета. Был он тих, задумчив и часто очень печален. Казалось, он все время думает и думает о чем-то, старается решить какой-то очень трудный вопрос и никак не может.

Зимой Федька целыми днями пропадал в школе, летом — с ребятишками на Светлихе или в тайге. Приходя домой, усталый и проголодавшийся, не просил, как другие дети, поесть, а молча и терпеливо ждал, когда мать соберет на стол. Куски брал осторожно и боязливо, точно опасался, что отец ударит по рукам.

— Чего ты, Феденька, какой-то...— начала было однажды Пистимея.

Но Устин звонко хлопнул по столу тяжелой, как камень, ладонью.

— Не лезь! — Подвигал бородой из стороны в сторону и добавил, усмехнувшись: — Я сказал — пусть живет...

Усмешка эта потонула где-то в бороде, затерялась, как дождевая капля.

— Как же «не лезь»? — с укором и предостережением простонала Пистимея, когда Федька вышел из комнаты.— Не зря, со смыслом, предсказано у Сираха пречистого о дите человеческом: «Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, не вышло из повиновения тебе...»

— Пошла ты со своим Сирахом... и со смыслом! Не вмешивайся.

Однако сам вскоре вмешался.

Варьке было уже года четыре. Она, как и Федька когда-то, целыми днями бродила у плетня, все чаще и чаще поглядывала сквозь его дыры на улицу.

— А чего ты? Пойдем,— перемахивая через плетень, сказал однажды Федька.

Ворота были заперты на замок, пересадить сестру через высокий плетень Федька еще не мог, хоть и был старше ее на восемь лет. Тогда начал делать в плетне лазы. Устин, сопя, заплетал дырки таловыми прутьями. Наконец ему это надоело, он воскликнул:

— Э-э, черт, да что это за дети! Хоть глухим заплотом всю усадьбу обгораживай... И эта мокроносая свиристуха от дома отбилась. Взять бы их обоих да стукнуть голова об голову!..

Федька видел, как мать схватила Варьку, прижала к себе.

— Что говоришь-то, одумайся! Долго ли, в самом деле, ребенка с ума свихнуть! Не трогай ты ее, не пугай, мою касатушку. Уж я сама как-нибудь с ней, сама...— проговорила мать и унесла дочь.

А отец подошел к Федьке:

— Вот что, молодец... Ты Варьку не трожь мне, слышишь!

— Я и не трогаю. Побегать-то ей надо по улице?

— В общем, договорились! А то я терплю-терплю, да задавлю тебя, как котенка. Помни.

Нельзя сказать, что Федька не испугался. Он знал отца, и у него мороз прошел по коже. Однако про себя упрямо подумал: «Завтра же проделаю новый лаз. Да в таком месте, что не найдешь сроду, не заметишь».

Лаз в плетне он проделал, но с Варьки теперь мать не спускала глаз. А когда уходила на работу, относила дочку к Марфе Кузьминой.

Конечно, не раз и не два Федьке удавалось, что называется, «выкрасть» Варьку. И отец, конечно, его не «задавил, как котенка». Но вскоре он махнул на сестру рукой. Во-первых, девочка была еще слишком мала, быстро уставала, начинала хныкать, проситься домой. Федька и сам был не очень взрослым, не умел ее успокоить. Во-вторых, отец все-таки нет-нет да и показывал на ремень, а мать — та попросту чуть ли не сутками его после этого морила голодом. А в-третьих, сама Варька откликалась на его зовы все неохотнее, становилась со временем все пугливее. А однажды прямо заявила:

— Не пойду я никуда, Федька. Я уж большая, мне семь лет, я должна матушку слушаться...

— Дура, зачем тебе ее слушаться?

— А бог-то! Ка-ак посадит в котел со смолой! А под котлом огонь. А смола кипит ключом, как вода. Я сама на картинке видела.

— Дура! — опять сказал Федька.— Взяла бы да сожгла эту картинку.

— Вот-вот... Мамка не зря говорит, что тебя-то в котел и посадят...

Весной 1940 года Федька окончил седьмой класс.

Прямо из школы, с переводным свидетельством в руке, Федька пришел в колхозную контору и попросил у Захара Большакова работу.

— Куда тебя определить? — спросил Захар.— Человек ты грамотный, давай учеником счетовода в контору? Потом бухгалтером станешь.

— Пошлите пастухом меня,— попросил Федька.

— Ну что ж, пастухом так пастухом. Дело хорошее,— заключил председатель.— До школы с сотню трудодней заработаешь. С завтрашнего дня приступай. Будешь пасти дойный гурт вместе с Филимоном Колесниковым.

Вечером этого же дня Федька готовился к выходу на работу. Отец молча ужинал, поглядывая на Федьку. Вдруг с грохотом бросил ложку, шагнул к сыну:

— Ты что же это задумал, стервец, а? Что, спрашиваю?

Федька тоже встал. Ростом он был теперь почти с отца, только узок в плечах, жидковат. Он стоял перед ним с длинным ременным бичом в руках, и Устин смотрел почему-то на этот бич.

— Ты что надумал, Федька, а? — повторил Устин уже тише, как-то заискивающе, будто в самом деле испугался бича.

— Какой я тебе Федька?! У меня другие имена: стервец, звереныш, сопляк...

— Вижу, умный стал,— зло проговорил Устин.— Не зря, выходит, в школе учился.

— Какой есть,— спокойно ответил Федька.— А догадками мучиться нечего: подзаработаю трудодней за лето и осенью уйду от вас.

— Добро...— промолвил Устин нехорошим голосом и вышел во двор.

Все лето Федька пас коров за Светлихой. Частенько к нему на выпаса приходила Клашка Никулина. К ее приходу он набирал полную фуражку луговых ягод, они весело ели их, вымазывая красным соком не только губы, но и щеки. А потом обычно ложились в обваренное солнцем пахучее разнотравье и молча смотрели, как бегут по небу облака.

Когда подошел к концу август, Захар Большаков сказал Федьке:

— Ну что ж, дружок-пастушок... Спасибо за помощь. Сдавай свой бич Филимону...

— А я, дядя Захар, я до самых снегов хочу...

— Постой, а в школу?

— Да я...

— Ты не мудри-ка, Федор! Это еще что за штуки? Я вот сегодня же поговорю с твоим отцом...

Говорил он с отцом или нет, Федька так и не узнал. Только утром первого сентября мать вынула из сундука новую рубаху, пиджак, сапоги, а отец сказал коротко:

— Марш в школу!

Федька медлил. Учиться дальше, конечно, очень хотелось. Но, с другой стороны, снова жить под отцовской крышей?!

— Я тебе же сказал весной...— начал было Федька нерешительно, но отец вдруг мягко положил ему на голову свою широкую ладонь. Это было так неожиданно, что Федька даже присел.

— Слушай, Федор,— уговаривающе произнес отец. И это тоже было неожиданно.— Подурили — и хватит. Учись, пока шея отцовская дюжит...

— Вот я и хочу слезть...

— Да не об этом я,— поправился отец.— Ты видишь, я в жизнь твою не вмешивался...

— Может, ты опять не об этом? — Федькины губы тронула почти незаметная усмешка.

Но Устин разглядел ее, и его борода качнулась из стороны в сторону.

— Л-ладно. В самом деле вырос...

Федьку поразили не слова, а отцовский голос — усталый, грустный, совершенно беззлобный и... беспомощный. У Федьки даже мелькнула мысль: да этот ли человек, сверкая в лунном свете страшными глазами, бежал когда-то за ним по улицам села, готовый схватить, бросить оземь и растоптать своими огромными сапожищами? Судя по словам, тот. Судя по громадным юфтевым сапогам, тот же. Вон та же волосатая грудь виднеется из-под расстегнутой рубахи. Та же черная борода, те же черные глаза с ослепительными белками... А судя по голосу, не тот.

У Федьки мелькнуло, что Захар Большаков, наверное, все же говорил с отцом о школе. Подумал — и рассмеялся легко и радостно.

— Ты чего? — недоумевающе поднял брови Устин.

— А так, весело. Почему человек не может сразу понять всего, а? Видит все, а не понимает до поры до времени...

— Чего не понимает?

— А что есть на свете люди. У каждого на свете есть люди!!

— Ма-ать! Пощупай ему лоб — не горячий? — как-то поспешно прокричал Устин.

— Нет, не горячий, нечего щупать. А не понимаешь — объясню. У меня вот Клашка есть, Захар Большаков, и еще много-много есть у меня на земле людей. И сама земля есть — со Светлихой, с зареченскими лугами, с тайгой, с Зеленым Долом, с утесом над речкой, с осокорем над утесом. И я за всем этим как за железной стенкой.

— Хватит! — оборвал Устин Федьку хриплым криком.

— Нет, не хватит! Ты просто лоб расшиб об эту стенку.

— Мать, дай ему своего вонючего питья, а то... не в себе он, кажись... в самом-то деле! — опять закричал Устин.

— Та-ак, значит, не понимаешь меня? — спокойно спросил Федька.

— Не понимаю.

— Или не хочешь сознаться, что понимаешь?

Теперь во взгляде Федьки и в помине не было испуга, обиды или беспомощного детского укора. Перед Устином стоял вовсе и не подросток, а взрослый, сильный человек, с ясными, голубыми, как у матери, глазами. Он не усмехнулся, но в этих глазах все равно плавали, переливались под лучами утреннего солнца, косо бьющего через всю комнату, горячие искорки. Они не кололи Устина, не жгли ядовито и беспощадно, как он, очевидно, ожидал, но они, эти искорки, делали более страшное для Устина

дело: они безжалостно заставили его вспыхнувшие было черным огнем глаза потухнуть и медленно опуститься вниз.

Ощутив ломоту в глазницах, точно на его веки давили чем-то твердым, деревянным, Устин прикрыл лицо широкой ладонью и тихо, почти шепотом, произнес:

— Вот этого, Феденька, я не прощу тебе никогда!

Федька расслышал все слова, но не понял их страшного, зловещего значения.

Да и кто бы мог понять, если сам Устин в ту минуту еще не знал, не представлял, как и когда он сможет отомстить сыну?

И восьмой класс Федька окончил с успехом. Про себя он давно, еще зимой, решил в этом году поступить в сельскохозяйственный техникум.

Теплым июньским вечером он сидел на берегу Светлихи и раздумывал, куда, в какой город лучше всего отослать документы.

Солнце недавно опустилось, закат уже потух, но звезд еще не было. Земля отдыхала перед сном, как наработавшийся за день человек, который только что поужинал, а теперь в молчании сидит под деревом во дворе своего дома, покуривает и дышит полной грудью; его натруженные руки, ноги, спина чуть слышно гудят приятным, затихающим гудом, человек прислушивается к нему и с тихой радостью думает о делах, которые предстоит ему совершить завтра.

Над землей висело теплое, набухающее легкой и светлой синью небо, обещающее короткую, но спокойную ночь. В молчании застыла Светлиха, не всплеснет волной, не сверкнет ослепительным солнечным бликом. Только когда сыграет где-то на середине крупная рыба, по реке пойдут круги, покатятся друг за другом к берегу, оттолкнутся и побегут обратно, делаясь все меньше и меньше. И снова речка становится тихой и неподвижной.

Но вот бесшумно принялись падать в воду мелкие звездочки — одна, другая, третья... Они, не потухая, проваливались на самое дно и там разгорались все ярче и ярче. И какой же глубокой, какой бездонной казалась тогда маленькая Светлиха! Становилось жутко при одной только мысли, что в этой речке целыми днями плещутся ребятишки, что ее безбоязненно переплывают на лодках, на пароме...

Звезд в речке становилось все больше. Больше их высыпало и на небе. А в воздухе все гуще и гуще разливалась теплая темнота.

Где-то далеко-далеко за Светлихой, за Марьиным утесом, поблескивали зарницы. Они беззвучно вспыхивали сперва редко и слабенько, потом все чаще и сильнее, окатывая бледно-розовым светом и утес, и осокорь на нем, и черную гладь Светлихи.

Это был вечер 21 июня 1941 года.

Подошел Захар Большаков, поздоровался, присел рядом на теплый еще от дневных солнечных лучей валун. Председатель только что выкупался, через плечо у него болталось мокрое полотенце.

— Хорошо нынче зарницы горят,— проговорил Захар, любуясь бесшумным вечерним огнем.— Старики говорят: добрая примета, быть урожаю.

— Отчего они, зарницы? — задумчиво спросил Федька.— Гроза где-нибудь там хлещет?

— Может, гроза. Мир большой! Ты еще не представляешь, какой он большой... Что же, Федор, я тебя поздравляю. Учителя говорят, кругом на «отлично» учебный год окончил. Молодец! До осени чего делать собираешься? Может, опять пастушить пойдешь?

Федька подумал, что, если бы он тогда не пропустил по болезни год, он окончил бы теперь девятый класс.

— Дядя Захар, за что ты свою работу любишь? — спросил он.

— Я? Как тебе сказать... За то, что она дает тебе возможность учиться. Клашка Никулина кончает вот скоро десятилетку. Нынче твоя сестренка в школу пойдет. У Фрола Курганова сынишка растет. Я работаю для того, чтобы и он был счастливым. Чтобы мой сын или дочь, если они когда будут, не знали ни горя, ни нужды...

— А еще?

Захар поглядел на Федьку, поправил сползающий с плеча пиджак.

— Ну, за что же еще? Это ведь трудно — взять вот так да объяснить. Я люблю, как пахнет сырая, разрезанная плугом земля, как льются с горячего неба жаворонки...

— И как спелые хлеба звенят, а? — спросил Федька.

— Ну да, и хлеба...

— И как роса на лугах утрами ноги обжигает? И как луговые туманы стелются?

— Погоди, погоди! — Захар взял Федьку за подбородок, повернул к себе его лицо.— Однако к чему ты это все?

По-прежнему вспыхивали где-то далеко зарницы. Но как ни далеко они полыхали, их свет все равно достигал больших, широко открытых Федькиных глаз. Глаза эти смотрели на председателя прямо и смело. Они были до краев наполнены той тихой и безграничной радостью, какой пропитан был весь этот июньский вечер, вся земля, дышащая полной, могучей своей грудью, той самой радостью, с которой человек думает о делах, предстоящих ему завтра.

— А к тому, дядя Захар... Я завтра документы в сельскохозяйственный техникум отсылаю...

Еще раньше, чем Федька проговорил это, Захар догадался наконец, что творится у него в душе. Видно, начинает откры-

ваться перед парнем жизнь, необъятная и глубокая, как Светлиха со звездами в глубине.

— Это хорошо — в сельскохозяйственный,— проговорил Захар.— Только зачем торопиться? Успеешь еще. Окончил бы десятилетку, а там в институт... по направлению колхоза...

...Федор Морозов не успел ни в институт, ни в техникум.

Ночь прошла спокойно и безмятежно. Таким же безмятежным, тихим, солнечным было утро. Едва взошло солнце, в прохладном еще, свежем небе зазвенели наперебой жаворонки.

Они звенели и звенели целый день. А перед вечером, часов в пять, их песни оборвал, заглушил обезумевший женский крик:

— Люди-и! Война-а!!

...Мужики Зеленого Дола, как и других деревень, один за другим ушли на фронт. Ушли и Фрол Курганов, Филимон Колесников, Илья Юргин. Ушел и Устин Морозов, сказав на прощание сыну:

— Гляди у меня тут, академик, не вздумай в такое время мать бросить! Вернусь, бог даст,— из-под земли достану...

Другие уезжали на фронт с суровыми, окаменевшими лицами. А по губам Устина, по его гладко выбритым наконец щекам и даже по лоснящемуся квадратному подбородку плавала какая-то странная, тяжелая улыбка. «Может, она всегда плавала по его лицу, да под бородой не было видно,— подумал еще Федька.— И подбородок у него, оказывается, как кирпич...»

Из дома он не ушел, только на другой же день после отъезда отца собрал со всех углов религиозные книги — Библию, Евангелие, Псалтырь — и хотел кинуть их в печь. Пистимея схватила дочь, загородила печку собой и, бледная, трясущаяся, прошептала:

— Феденька, сыночек... Тогда и меня туда запихай... вместе с Варькой, чтоб не росла сиротой, не мучилась...

В глазах матери, в ее голосе, во всем облике было что-то страшное. Федька даже обомлел: кинется ведь сама в огонь. А сперва Варьку туда...

— Ладно...— швырнул он книги под ноги матери.— А Варьку не трогай мне. Увижу еще раз, что заставляешь молиться девчонку, так... Вот я другие книжки ей купил, собирай в школу...

И он действительно никогда не видел, чтобы мать теперь заставляла девочку молиться. Но следить-то особенно было некогда. По неделе, по две, по месяцу не бывал он дома. Нет, он не пропадал все это время, как бывало раньше, на Светлихе, в тайге. Он ездил на прицепе трактора, махал на зареченских лугах острой, как бритва, косой, подавал тяжелые снопы в молотилку, чистил коровники и конюшни, возил в трескучие морозы, когда лопались железные кедровые стволы, сено к фермам...

Приезжал домой, сажал к себе на колени Варьку, гладил ее волосенки давно загрубевшей рукой, спрашивал:

— Заставляла мамка молиться?

— Не...— поспешно говорила девочка, испуганно глядя на мать.

— В школу каждый день ходила?

— Ага.

...И вот в нелегкое это время скупо и неярко, словно стыдясь неурочного часа, расцвела любовь Федора Морозова и Клашки Никулиной.

Они не ложились теперь, как когда-то, в пахучие травы, чтобы посмотреть на бегущие по небу облака, не бродили, взявшись за руки, по зареченским лугам, не слушали, как поют вечерние птицы, не любовались, как одна за другой зажигаются звезды. Наработавшись бок о бок в тех самых лугах, они присаживались где-нибудь, чтобы хоть немного приморить усталость. И тогда Клашка доверчиво клала голову ему на колени.

— Так чего же это... закрепшее вино в ковшике носить? — спрашивал обычно Клашкин отец, если случался рядом.— Расплескается еще...

Антипа в армию не взяли, обнаружив плоскостопие. «Интересно! — удивился он. А потом у каждого допытывался в деревне: — Отчего они, плоские ступни? Должно, работой раздавлен, а?..»

— Да-а, расплескается, говорю... Слышь, Федька? А какой резон? — продолжал Антип, приплясывая вокруг дочери и Федьки.

— Как не стыдно тебе! — краснела Клашка.

— А чего ж! Хоть от самогонки оглохнем, а свадьбу сгрохнем. Э-эх, тайга загудит! А, Федор? — И прямо вдруг заявлял: — Погулять сильно уж охота. Проваландаешься — не успеем. Того и гляди, забреют тебя. Вон уже двадцать четвертый год взяли. На очереди твой...

Кончались такие разговоры тем, что Антип говорил:

— Ссуди уж тридцатку, Федюха, чего там... В счет свадебной гулянки. Стакашек-другой не допью потом...

Получив деньги, Антип уходил со словами:

— Порядочный же человек ты, Федор. Да ведь и я... Иному прочему-то и не отдам еще дочь...

Любовь не разбирает, урочный для нее час или неурочный. Как ни трудна была жизнь, как ни изматывала Клашку и Федора непосильная работа, оба думали о своей любви, знали, что когда-нибудь заговорят о ней вслух. Они берегли все это до какого-то торжественного, удивительно солнечного дня. Когда он придет, они не знали, но оба чувствовали, что день этот недалек, что он приближается, он вот-вот наступит...

Но день не наступил. Наступил однажды вечер. Федор сидел вот так же на травянистой опушке, а Клашка лежала у него на



коленях. Лежала и смотрела на розовый закат. Много раз она вот так же, положив голову на Федькины колени, слушая, как гудят от усталости ее ноги и руки, спина, провожала закат. Но в тот вечер почему-то усталость быстро исчезла.

Сильнее и чаще вздымалась ее грудь, широко были раскрыты ее влажные, чуть раскосые глаза.

Глаза раскрылись еще шире, когда она увидела вдруг низко над собой Федькино лицо, сердце остановилось...

И в тот же миг исчез закат, исчезли деревья над головой, исчез весь мир.

Едва Федор поцеловал ее, она вскочила и, шатаясь, как пьяная, путаясь в высокой траве, разрывая ее ногами, побежала куда-то. Остановилась возле огромного кедра и привалилась к стволу.

Федька подошел к ней, пряча от стыда лицо. Она тоже не посмела на него взглянуть, уткнулась ему в грудь.

Так и простояли они под кедром всю ночь.

Собственно, и ночи почему-то на этот раз не было. Едва Клашка коснулась Федора горячим лбом, как тайгу насквозь прорезали тугие солнечные лучи.

И тогда Клашка оторвалась от его груди, запрокинула голову, взглянула Федьке в лицо. Из глаз ее лились радостные слезы, волосы упали на плечи. Федька осторожно взял их и пропустил сквозь пальцы.

...Свадьбу договорились сыграть, не откладывая, до начала сенокоса.

Пистимея, узнав о предстоящей женитьбе сына, всю ночь шептала молитвы, а утром вынула из сундука толстую, перевязанную шпагатом пачку денег.

— Чтоб не попрекали потом жадностью. Всю деревню приглашай.

Захар Большаков для поездки в загс приказал запрячь самую лучшую лошадь.

Когда Федор и Клашка сели уже в ходок, Захар протянул большой, туго набитый бумажник:

— А это от меня.

— Захар Захарыч! — воскликнули враз Федор и Клашка.

— Ну! — прикрикнул председатель.— В Озерках положите в сберкассу. Невелики деньги, да пригодятся, когда дом будете строить...

Сказал и торопливо, неловко пошел прочь.

...Шумно и весело началась свадьба. Столами заставили почти пол-улицы.

С самого утра вдоль столов расхаживал Антип Никулин, прицеливаясь то к одной, то к другой бутылке. Клашкина мать то и дело отгоняла мужа подальше, прикрикивала:

— Постыдился людей бы! Успеешь нализаться еще!

— Ты, мать, что понимаешь?! — обиженно говорил Антип.— Радость — она тоже не терпит, она требует... Могу я за счастье

родной дочери? Другую-то, Зинку, когда дождешься! Шестой всего год пострелухе...

— Ты до свадьбы свое пятнадцать раз выпил. Иди, иди! Стыд прямо, вон гости подходят...

Гости быстро заполнили всю улицу.

Заплескался над деревней непривычный смех и говор. Гармошку бы надо в таких случаях, да кто будет играть? Гармонисты далеко...

Столов было много, да все равно не хватило всем. Но кому не хватило, те, нисколько не обижаясь, расположились прямо на земле.

Не было в этот день в Зеленом Доле людей грустных и неулыбчивых, кроме разве Пистимеи Морозовой. Но это все понимали по-своему. Шутка ли — такой день! Не даром ведь говорят: сын женился — как под лед провалился.

Да еще, пожалуй, Захар Большаков, председатель, был в этот день не особенно весел. То залучатся его глаза светлой улыбкой, то притухнут вдруг, и опустит их Захар в тарелку или долго и задумчиво станет глядеть на Федора с Клашкой, на веселых, говорливых гостей.

— Ты чего это, дядя Захар? — спросил Федор.

Председатель стряхнул с себя оцепенение. Налил рюмку и встал.

— Что же пожелать тебе, Федя? — начал Захар.— Хорошую ты себе жену взял. Не было у меня никогда ни семьи, ни жены, не испытал я в жизни этого человеческого счастья. Так будь ты, Федя, счастлив за себя и за меня, пусть всегда тебе и твоей жене...

— Горько-о! — не вытерпев, крикнул кто-то.

Хлестнул по всей улице гул голосов, взметнулись руки со стаканами, кружками, рюмками. Клашка, вспыхнув до корней волос, уже встала вслед за Федором. Федор повернулся к жене, взял ее за плечи...

И в это время торопливо подбежала к столам уборщица колхозной конторы, всхлипнула и заголосила:

— Повестка ить, Захарушка! В контору сейчас привезли... Завтра чтоб во всей справе в Озерках был...

— Какая повестка? — переспросил невольно Захар.— Кому?

Председатель не однажды ездил в военкомат, добиваясь повестки, но его не брали в армию по двум причинам: во-первых, из-за руки, искалеченной Демидом,— она все-таки действовала плохо; во-вторых, он был забронирован как специалист сельского хозяйства.

— Федюшке... Господи, и в такой день! — простонала уборщица.

Вскрикнула Клашка, повисла на груди Федора. Смолкли голоса, опустились руки со стаканами и чашками.

Федор все-таки поцеловал жену и, обнимая ее одной рукой, поднял другой рюмку:

— Что же, люди... Заодно и проводите меня.

И выпил первую в своей жизни рюмку водки.

Снова зашевелились гости, поплыл над деревней пьяный говор. Через полчаса о повестке Федора будто и забыли — привычны были тогда повестки, не эта первая, не эта последняя...

А Федор потихоньку увел Клашку из-за стола... Весь вечер и всю ночь бродили они по берегу Светлихи, по зареченским лугам, возле Марьиного утеса...

А утром рассеялась пыль из-под колес ходка — и словно не было на свете Федора Морозова...

Никогда не забудут люди военные годы.

И никогда не забудут они почтальонов военных лет.

Отцы и матери, жены и невесты ждали каждый день почтальонов со страхом и затаенной, но вечно живущей надеждой: что-то он несет?!

И страх этот был не суеверный, не напрасный. Часто, очень часто почтальоны приносили в обыкновенных голубых или серых конвертах обжигающие руки, леденящие сердце бумажки.

Много приходило в годы войны таких бумаг и в Зеленый Дол. Почта, как всегда, работала исправно и четко.

Никто не подсчитывал, никто не измерял, сколько слез пролили над этими бумажками зеленодольские отцы и матери, жены и невесты.

Но когда пришла похоронная на Федора Морозова, никто, кроме Клашки Никулиной да ее матери, не проронил слезинки. Пистимея же только сжала накрепко, втянула куда-то внутрь свои губы да покрепче завязала платок под подбородком, словно хотела задавиться.

Зато вся деревня словно онемела. Ни вскрика на улице, ни шума. Стояли, точно обваренные, кедры на улицах. Не зажигали в домах огней по вечерам. Да и сами дома, казалось, поникли, съежились, до самых окон утонули в землю, словно придавило их чем-то невидимым и тяжелым.

Захара Большакова в эти дни часто видели вечерами на берегу Светлихи.

Захар сидел обычно на большом камне и смотрел, смотрел на темную молчаливую воду, словно собирался куда уезжать и теперь хотел прощаться с тем местом, где два года назад разговаривал с Федором Морозовым, навеки запомнить ту речку, на берегах которой прошла вся жизнь.

До самой полночи просиживал Захар на берегу. У его ног текла и текла Светлиха...

Течет Светлиха, неиссякаемая таежная речка, и до сих пор.

До сих пор многие часто вспоминают Федора Морозова.

...Пуля настигла Федора на самом краю деревни Усть-Каменки, когда он перелезал через какую-то канаву. Сначала он не сообразил даже, что это пуля, думал, что просто наткнулся левой ногой на какую-то палку или острый камень. Федор приподнялся, намереваясь двумя-тремя прыжками выскочить из ударившего в него откуда-то сбоку луча прожектора в спасительную тьму, но тут же осел от нестерпимой боли, которая разнесла, казалось, на куски его голову.

Теряя сознание, Федор принялся шарить по карманам, чтобы уничтожить или зарыть в землю письмо, полученное полчаса назад от Полины Одинцовой, худенькой девушки с большими, немножко уставшими глазами. Что было в этом письме, адресованном майору Смирнову, Федор не знал. Но он знал, что грозило той большеглазой девушке, если письмо попадет в руки немцам и они узнают, чья она невеста.

Федор шарил лихорадочно по карманам, пытаясь вспомнить, куда же положил письмо, и чувствовал, как уходит, уходит сознание...

Послышалась немецкая речь, вздулся вдруг перед глазами какой-то темно-фиолетовый бугор и лопнул бесшумно, выбросив тысячи желтовато-солнечных брызг...

Это Федора ударили прикладом по голове, но боли он уже не почувствовал.

Очнулся он в глухом, каменном подвале без окон, увидел перед собой побеленный, но весь почему-то в желтых пятнах, словно сверху что-то протекло, потолок, а на потолке — зажженную электрическую лампочку.

Скосив глаза, Федор разглядел у противоположной стены железную, с пышной постелью кровать. У кровати стоял ничем не покрытый столик, на столике — графин с водой. А рядом с графином, отражаясь в прозрачном стекле, лежал черный плоский пистолет и аккуратные, как игрушки, сверкающие сталью наручники.

Федор почувствовал, что кто-то сидит возле его кровати. Но он боялся повернуться и посмотреть, чувствуя, что при малейшем движении смертельная боль пронзит его насквозь и он опять потеряет сознание. Он только прошептал, с трудом разжав спекшиеся губы:

— Пить...

И услышал голос, от которого невольно дернулся всем телом, и эта боль все-таки пронзила его:

— Здравствуй, сынок.

Когда рассеялся кроваво-желтый туман, сквозь который вернулось сознание, Федор увидел перед собой... отца.

Устин сидел на некрашеном табурете, смотрел на Федора и улыбался черными глазами.

— Ты? Ты... как...— попытался что-то сказать Федор.

— Здравствуй, здравствуй! — опять проговорил Устин. Глаза его превратились в щелочки, они смеялись, смеялись, хотя все лицо было суровым, каменным.— Вот и свиделись, сынок.

Устин был без бороды, и подбородок у него походил на правильный четырехугольный брусок. Брусок этот лоснился, как камень-голыш.

Потом Устин встал, подошел к столику, взял пистолет, положил в карман суконного, чуть помятого пиджака. В другой карман опустил наручники и не торопясь стал наливать воды в стакан.

Пока он наливал, Федор, пытаясь сообразить, где он, почему рядом отец, смотрел на желтые пятна на потолке, на лампочку. Она почему-то чуть покачивалась. Федор присмотрелся и увидел, что подрагивает весь потолок. Затем сверху донесся какой-то стук, топот множества ног, глухо послышалась пьяная ругань, хохот... и протяжный девичий стон.

Устин вернулся к сыну со стаканом в руке:

— Пей...

— Это что? — прошептал Федька.

— Это? — Устин поглядел на потолок.— Пятна, что ли? Кровь это. От крови протекает. Надо будет еще раз проштукатурить.

Федор все еще ничего не понимал. Он закрыл глаза, потом открыл их.

— Я говорю про лампочку... Качается.

— А-а... Это солдаты с командирской невестой играют...

— Какая невеста? Какие солдаты?

— Известно, какие сейчас солдаты. Германские. Пей, что ли...

Федор невольно приподнялся на локте. Красновато-желтый туман снова растекся перед глазами, но тут же начал медленно рассеиваться.

— Где... это я? — прохрипел он.

— Не вернулась, значит, память... Там, куда пришел. В Усть-Каменке.

— Ты почему... тут?

— Где же мне быть? Старостой тут работаю, сынок.

Несмотря на страшную боль в затылке и в левой ноге, Федор приподнялся на кровати. Отец, сидевший перед ним на табуретке со стаканом в руке, закачался из стороны в сторону, как маятник. Сперва он качался сильно, потом все тише и тише.

— Старостой? Ты? — спросил Федор, не слыша своего голоса. Потом запрокинул голову, посмотрел на потолок.

Лампочка все качалась и качалась.

— Ага, я,— сказал Устин, по-прежнему смеясь одними глазами.— Фомичев я теперь, Сидор Фомичев. Может, слышал?

Федор покачнулся, протянул к отцу обе руки.

Устин тоже подался к сыну, протягивая стакан с водой. Но Федору нужна была не вода. Он, падая с кровати, судорожно

впился пальцами в обметанную черной щетиной, красную и потную отцовскую шею, свалил его на пол и сам рухнул сверху.

Федор был уже без сознания. Но сведенные судорогой пальцы словно окостенели, и Устин в самом деле чуть не задохнулся. С трудом он разжал руки сына, сбросил с себя его тяжелое, обмякшее тело, тяжело дыша, покрутил шеей, словно не веря еще, что выдернул ее из смертельных тисков.

— Ах, ще...нок ты! Щенок!! — прохрипел он дважды.

Сел на табурет, отдышался немного.

— Ну, погоди у меня!

Нагнулся, поднял Федора и швырнул его на кровать.

...Когда Федор очнулся вторично, в подвале было темно. Стояла полнейшая, глухая тишина. Только у противоположной стены кто-то ровно и глубоко дышал.

День был или ночь — не понять.

Но вот завозился тот, кто дышал у противоположной стены на кровати, встал, прошлепал босыми ногами по деревянному полу.

Вспыхнула лампочка. Федор увидел отца. Устин был в нижнем белье. Его ноги, обтянутые желтыми, нерусскими подштанниками, были толстыми и какими-то корявыми, как бревна.

— Очухался? — спросил Устин, кинув взгляд на сына.— Стервец ты этакий...

Устин долго одевался, звеня ременными пряжками.

— Жрать захочешь — вон, на стуле. Дотянешься, поди, коль...— И потер ладонью шею, на этот раз чисто выбритую.— Ногу я тебе перевязал. Не трожь ее шибко.

И ушел, щелкнув замком в обитой железом узкой, всего в полметра, двери.

У Федора была перевязана не только нога, но и голова. От повязок шел резкий запах лекарства.

С полчаса в подвале стояла та же мертвая тишина. Потом опять послышался вверху топот ног, донеслись лающие голоса, послышались стоны и крики.

Федору показалось, что на этот раз кричит старуха — голос был изношенный и хрипловатый. Чтобы не слышать его, не видеть, как качается электрическая лампочка, Федор натянул на голову толстое крестьянское одеяло.

Так он пролежал час, может, два. А когда откинул одеяло, снова услышал останавливающие кровь стоны. Теперь они доносились с каждой минутой все тише и тише, словно человек исходил криком. И все так же покачивалась, покачивалась лампочка под потолком...

Сколько же раз потом видел Федор, как она покачивалась, эта проклятая лампочка, сколько раз слышал сквозь потолок женский плач, мужские стоны, истошные детские крики, те самые, которыми прощаются с жизнью?! Десять? Двадцать? Сто раз?

Федор этого не знал. Не знал он и того, сколько пролежал в душном, зловещем склепе. Не было в этом каменном мешке ни дней, ни ночей. Была только темнота да яркий электрический свет от лампочки, которая все качалась, качалась...

И ни разу, ни одного разу не заговорил он с отцом, который, перед тем как лечь спать на соседнюю кровать, перевязывал ему ногу и голову, а уходя куда-то после сна, ставил на табуретку еду и воду.

Сначала Федор прикидывал: ложится отец спать — значит, на улице ночь; встает и уходит — наступил день. Но потом сбился и с такого счета, потому что отец иногда спал, казалось Федору, не больше трех-четырех часов, вскакивал торопливо и убегал, хлопал дверью, а иногда храпел вроде двое суток подряд, если не больше. Храпел под топот ног наверху, под стоны, плач и душераздирающие крики людей.

Нога у Федора подживала, звон в голове постепенно затихал. Когда он переворачивался с боку на бок, в глазах его уже не плавал желто-кровавый туман.

Однажды Федор, когда отца не было, встал с кровати. Попробовал ступить на ногу, но боль прострелила до самого темени. Попробовал прыгнуть на одной ноге. Прыгнул — и по голове словно кто ударил толстой плахой, аж искры из глаз посыпались. Федор сел поспешно на кровать и замер, боясь качнуть головой.

Лязгнул замок в двери, вошел Устин. Взглянул на Федора, усмехнулся:

— Раненько пробуешь.

И стал раздеваться. Раздевшись, выключил свет, лег в кровать.

— Вечер, что ли? — спросил Федор. Это были его первые слова после того, как он пытался задушить отца.

— Для кого вечер, для кого ночь,— ответил Устин из темноты.— Спи.

— Это твоя квартира, что ли? — В голосе Федора отчетливо чувствовалась насмешка, даже издевательство. Но Устин промолчал.— Немного же ты заслужил у немцев!

— Сколько заслужил, только мне известно. Тут любая квартира — моя.

— Понятно,— проговорил Федор.— И ни в одной из этих квартир ты не решаешься на ночь остаться. Боишься. В каменный погреб прячешься.

Кровать под Устином скрипнула. Но он снова не ответил.

— Не знал я, что ты... на работу тут пристроился, что староста Фомичев ты и есть. Раза четыре за «языком» наведывался в эту деревню. Уж как-нибудь выследил бы тебя, не пожалел бы пули...

Голос Федора был теперь тих и ровен, будто он беседовал с отцом о самых обыкновенных, житейских вещах.

— Ты выздоравливай-ка лучше, а там поговорим,— ответил отец из темноты устало и безразлично минуту спустя.

Потом он грузно перевернулся в постели и почти тотчас же захрапел.

...Еще прошло, наверное, несколько дней и ночей. Раза два или три Федор слышал далекую артиллерийскую канонаду. Он знал, что это означает.

Отец все время где-то пропадал, в подвал приходил редко и ненадолго. Приходя, он, как обычно, падал в кровать, почти не раздеваясь.

Теперь он не перебинтовывал Федора, забывал убирать из-под кровати ведро с нечистотами, от которого шел по подвалу тяжелый, смрадный дух.

— Убери,— сказал Федор, когда уже стало нечем дышать.

— Ничего-о... Раньше времени не подохнешь,— усмехнулся Устин, торопливо застегивая пиджак.— И ногу сам перебинтуй. Некогда мне.

— Что-то не спится тебе в последнее время. Угольков, что ли, кто в постель подсыпает?

— Я вот всыплю как тебе по больной-то башке!! — взревел наконец Устин, подскочил к сыну.— Подживать стала, мозги зашевелились?! Живо взболтаю их, как пойло в лохани...

Федор ждал этой вспышки ярости, рассмеялся отцу в лицо.

— Это вы можете. На это вы мастера. А то наверх отведи. Чтоб лампочка вон закачалась. Только не услышишь, сволочуга, ни вскрика, ни стона. Пусть лампочка хоть оторвется, а не услышишь!

Устин, опасаясь, наверное, самого себя, торопливо вышел из подвала.

Не было его долго, кажется, несколько дней. Федор лежал голодный. Хорошо, что на столике возле стены стоял полный графин воды. Сжав зубы от боли, Федор кое-как добрался по стенке до графина, перенес его к себе на табурет.

Наконец Устин вернулся, хмурый, обросший жесткой щетиной. Не раздеваясь, не снимая заляпанных грязью сапог, сел на кровать и стал, не отрываясь, смотреть на сына.

Где-то, далеко еще, гремела канонада, но она была теперь намного слышнее, чем раньше.

— Что, побриться даже некогда было? — спросил насмешливо Федор.

Устин в ответ скривил губы. Затем вытащил из кармана пистолет, снова посмотрел на сына. Федор даже не пошевелился, как сидел, так и продолжал сидеть на своей кровати. Тогда Устин еще раз усмехнулся.

— Что ж ты, стреляй,— проговорил Федор.— Мертвый я уж не сгожусь ни в свидетели, ни в судьи. А живой-то я, когда придут наши... И не надейся, что сбежишь, скроешься. Я тебя, фашиста, из-под земли достану! Стреляй, гад, стреляй...

— Тебя, Федор, немцы давно уже расстреляли и труп в яму сбросили...— сказал Устин и положил пистолет в другой карман.

— Как это? — не понял Федор.

— Без памяти тебя наверх приволокли.— Устин кивнул головой на потолок.— Я сдернул с тебя одежонку, напялил на одного тут... Морду в мясо ему расквасил, чтоб не узнали.

Федор невольно привстал на кровати.

— Сиди, побереги ногу-то. Отпирался тот назавтра, что не разведчик, что местный житель, по причине слабых глаз в армию не взятый. Да письмо при нем нашли командиру известной нам части.

— Зверюга ты! — простонал сквозь зубы Федор, схватился за край кровати так, что побелели суставы пальцев.

Устин на это только рассмеялся, точно так же, когда Федор, очнувшись, впервые увидел перед собой отца в этом подвале,— одними глазами.

— Это к кому с какого боку еще подойти,— сказал Устин и стал рассматривать свои толстые, негнущиеся пальцы.— Руки, вот эти руки, не дрогнули, верно, когда горло невесты твоего командира перекрутил... Ну, чего зашелся?

— Так... Еще какие подвиги совершил? — Федор дышал тяжело и часто.

— Весь род твоего командира под корень извел.

— Так...— снова передохнул Федор.— Еще?

— Много еще добрых дел сделал. Всех не упомнить...

Федор вытер холодный пот со лба.

— Ты только меня не пугайся,— промолвил спокойно Устин.— Коль на то пошло, ты самого себя побойся. Сам-то тоже сколько душ загубил? Не с прутиком, поди, в атаки ходил? А? Молчишь?! Кто чуть не задушил меня недавно? Будь у тебя еще маленько силы, так зубами бы глотку мне перекусил... Так чего же меня зверюгой называешь? Чего меня обвиняешь?!

Устин сбросил сапоги, встал с кровати, принялся ходить босиком по подвалу из угла в угол. Ноги его, широкие, словно раздавленные, с длинными кривыми пальцами, шлепали по доскам, как мокрые тяжелые тряпки.

Федор слушал отца сперва с недоумением, потом с изумлением, но в какой-то миг в его глазах вспыхнула насмешливо-презрительная искорка, которая все разгоралась и разгоралась. Наконец и губы его тронула откровенная насмешка, разлилась по всему лицу.

— Ты чего? — остановился Устин посреди подвала.

— Давай, давай, продолжай,— ответил Федор.— Я про тебя всякое предположить мог. Не думал только, что немцам продашься... Гнида ты.

И лег на кровать.

Лицо Устина побагровело до черноты. Федор ждал, что уж сейчас-то отец потеряет рассудок, кинется на него, сомнет,

сломает, растопчет. А может быть, выхватит пистолет и примется стрелять в него, Федора. Стрелять будет до тех пор, пока не выпустит всю обойму.

Однако, к его удивлению, и на этот раз отец задавил свою вспышку, быстро успокоился. А успокоившись, продолжал тихим, даже нежным каким-то голосом:

— А ты не думал, для чего это я твою одежду на другого напялил, зачем приволок тебя сюда, почему сразу не вышиб твои мозги, когда ты в мое горло вцепился? Не думал, а? Зачем лечил тебя, в ум приводил?

Федор, заинтересованный, привстал, опять сел на кровати.

— Я объясню сейчас, объясню,— поспешно кивнул два раза головой Устин.— Родился ты — я думал: ты мой сын, моя кровь, и будешь мыслить, как я, будешь делать то же, что я. Но... вывернулся ты, дьяволенок, из-под меня в детстве. Не мог я ничего с тобой сделать. И даже больше. Помню я, сынок, про твою стенку, за которой ты отгородился от меня, которую под лоб мне подставил. Это ты верно тогда сказал — расшиб я лоб об нее. Помню я, как... однажды заставил ты меня глаза отвести, опустить на землю. Словно молотком в темя саданул, паршивец... Так вот... За все это я и отвел тебя от германской пули, чтоб... своей собственной...

Федор слушал, слушал и вдруг расхохотался, звонко и неудержимо, вздрагивая всем телом. Хохот больно отдавался в голове, но он все равно смеялся и смеялся до тех пор, пока не выступили слезы.

Чего угодно ожидал Устин, только не этого.

Наконец Федор перестал смеяться. Он вытер слезы, прислушался. Где-то совсем уж недалеко била и била артиллерия.

— А это слышишь? Это не беспокоит? — спросил Федор.

— Это? Что ж...— отворачиваясь, сказал Устин.— А только ты не радуйся. Один умный человек сказал мне: мир большой, и в беде нас не оставят. Сгинул где-то вот тот человек без следа, жалко. Но ничего, сынок, не торопись, говорю, радоваться... Сила — она как волна: то на убыль идет, то на прибыль. Нынче ваша волна, по всему видать, захлестывает нашу. Но придет время, когда наша волна... Мир дождется справедливости... И я, бог даст, дождусь.

— Где это, в какой щелке, ты дожидаться будешь? — спросил насмешливо Федор.— С немцами удерешь?

— Зачем? — пожал плечами Устин.— С немцами — оно можно бы. Да... кто знает, до какой отметины ваша волна смывать их будет. Нет уж, лучше пригнуться пониже, пусть волна эта над головой прокатится...— И сообщил доверительно, как-то даже по-родственному: — Домой поеду, сынок. Там спокойнее, однако, проживу. Документики заготовлены надежные — по чистой уволен из Советской Армии. С настоящими печатями.

— Как же ты достал... такие документы?

— Хе-хе! — усмехнулся Устин.— Нашелся один немчишко тут, сделал... Сперва, правда, за пистолет было, как я объяснил, что за бумаги требуются... Как же, рисковал я... Да ведь какой у меня был выход? А как золотишко брал, руки у него аж тряслись... За золотце-то, кабы его побольше было, тут можно и самого господа бога купить. Снять с неба, живьем в чемодан да матери твоей в подарок привезти. То-то обрадовалась бы...

Устин замолчал, опустился на свою кровать. Опять они сидели друг против друга. Один — худой, бледный, с перевязанной головой и ногой. Другой — черный, плотный, тяжелый, как каменная глыба.

— Все, что ли? — спросил один.

— Все,— ответил другой.

— Теперь, дорогой мой отец, послушай, что я скажу. Ты уж погоди, пожалуйста, стрелять. Я буду говорить не шибко длинно, зато понятно. Прямо по пунктам.

— Валяй... Хоть по параграфам.

— Первое. Да, я немало, господин Фомичев, измолотил в боях вашего брата.

При этих словах Устин нервно дернул головой.

— Именно — вашего брата,— повторил Федор.— Зверюга я или нет в твоем понятии, это меня мало беспокоит. Дрался я за свое — я за Зеленый Дол наш дрался и убивал, за нашу Светлиху, за Марьин утес, за Озерки, за Москву, за всю страну, за весь народ. А ты за что? За что, я спрашиваю?

— И я за свое.

— Да что у гниды своего-то?! — удивленно воскликнул Федор.— И кто ты такой? Объяснил бы, в конце концов.

Устин поколебался, но встал и подошел почти вплотную к сыну.

— Слушай, раз хочешь. Все равно теперь. Я вовсе не Устин Морозов. Фамилия моя Жуков. Константин Андреевич Жуков. На Волге крестьянствовали мы, большую хлебную торговлю вели.

Все это было так неожиданно для Федора, что он оцепенел.

— Вот так,— добавил Устин.— Вот какая в тебе, подлеце, кровь течет.

Наконец Федор заговорил:

— Жуков, значит? Ну так вот... господин Жуков. Теперь и совсем ясно. Вот и спросить бы весь народ, спросить всю страну: кто из нас зверюга? Оба мы убивали, оба, как ты выражаешься, «души губили». Вот и пусть люди сказали бы, кто из нас душегуб и зверюга. Ну-ка, соглашайся...

Устин процедил зловеще сквозь зубы:

— Еще смеешься ты... выродок!

— Теперь второе,— продолжал Федор, не обращая внимания на слова Устина.— Не дождешься, сволочь, чтоб сила

наша ослабела! Ты правильное слово нашел — захлестывает наша волна вашу, поганую и мутную. Слышишь, господин Фомичев, как захлестывает?! — Федор вскинул длинную худую руку, показал на стенку за своей спиной.— Слушай, господин Морозов! Слушай, господин Жуков! Лучше слушай!!

За стеной грохотала артиллерия. Минутами канонада чуть затихала, а потом снова накатывалась еще сильнее и яростнее.

— Ну, слышал?! — Голос Федора дрожал и рвался, лицо стало как мел, а глаза пылали.— Сметет вас эта волна, захлебнетесь вы в ней! Вот это и будет высшая справедливость.

Федор остановился, передохнул.

Устин, не шевелясь, смотрел на него молча узкими щелочками глаз.

— И, наконец, третье, последнее,— чуть потише сказал Федор.— Не упомнишь, говоришь, всех своих кровавых дел? Ничего, дорогой мой отец, люди-то не забудут. И Одинцову Полину, и родителей ее... И то, что лампочка вот эта качалась. И что был такой немецкий староста в Усть-Каменке — Сидор Фомичев, он же кулак Жуков, он же зеленодольский колхозник Устин Морозов... И не помогут тебе никакие самые надежные документы, с самыми что ни на есть настоящими печатями, хотя бы ты заплатил за них втрое, в десять раз больше той цены, по которой тут живые боги продаются...

— Откуда им, людям-то, обо всем узнать? — с улыбкой спросил вдруг Устин.— Ты, что ли, расскажешь?

— Не-ет, я молчать буду,— облил Федор отца с ног до головы, как кипятком, насмешкой.— Видишь, я умоляю тебя, на колени становлюсь: язык проглочу, только пощади, не убивай...

— Что же, ничего не скажу, смелый...— Устин еще более сузил веки.

— Лизать вонючие немецкие лапы не приучен, верно.

— Я русский все-таки.

— Ты-то?

И в этом коротком возгласе Федора было столько презрения и ненависти, что узкие, как щелочки, глаза Устина захлопнулись совсем. И, не раскрывая их, он вдруг ткнул большим, тяжелым кулаком в голову сына. Удар был вроде несильный. Но Федор, даже не вскрикнув, свалился мешком с кровати.

Устин рывком выдернул из кармана пистолет. Выстрелил раз, другой, третий...

Потом открыл глаза, тупо глядел, как растут, расплываются темные пятна на груди сына, как набухает кровью повязка на его голове.

...Это было давно, шестнадцать лет назад. А сейчас Устин, сорвавшись с кровати, прыгая вокруг перепуганной Пистимеи,

ворочал черными глазами и, тыча пальцем в ее плоскую грудь, кричал не помня себя:

— Не-ет! Это ты его убила! Ты! Ты!! Ты!!

Глава 23

Пистимея пятилась от мужа, уперлась в шесток, стала сгибаться назад, закрывая спиной черный закопченный зев печки, в которой болтались нетерпеливо огненные языки. Спине ее стало жарко, а Устин все тыкал и тыкал толстым, крепким пальцем в ее грудь, точно хотел проткнуть насквозь.

— Да сгинь ты, сатана нечестивая! — завизжала наконец из последних старушечьих сил Пистимея.— Тебе лучше знать, кто убил Федьку. Ты ведь сам обговорился как-то, что служил в той Усть-Каменке...

Устин опомнился, уронил обессиленную руку и, чуть помешкав, поплелся к кровати. Да, он обмолвился как-то жене, что даром время на войне не терял... И с чего это он действительно заорал, что жена убила Федьку? Вот уж верно, моча в голову...

Пистимея уже возилась у печи с чугунком, клала в него какую-то траву. Залила чугунок водой, задвинула его в печь, села у темного окна, бесшумно и неглубоко вздохнула слабенькой плоской грудью.

Устин, лежа на кровати, глядел на жену, думал... Время-то идет да идет себе. Давно ли грудь у жены была тугой и высокой, давно ли вырывались из нее сладкие и мучительные стоны, когда он, Костя Жуков, узнавал, по выражению Тараса Звягина, «почем фунт вкуса»...

— Устюша, пойдешь к председателю-то? — спросила неожиданно Пистимея. Спросила так, будто и ничего не случилось только что.

«Устюша»... Не один десяток лет прошел с тех пор, а она ни разу не обговорилась, что он, ее муж, носил когда-то имя Константина Жукова, сама она звалась Серафимой. Они навечно стали Морозовыми, он — Устином, она Пистимеей, а их «работник», бывший заволжский лавочник Тарас Звягин,— Ильей Юргиным.

— Так пойдешь, что ли, к Большакову? — еще раз спросила Пистимея и словно перерубила тот шланг, из которого он, Устин, задыхающийся от жажды, глотал и глотал торопливо живительную влагу.

Он вскочил на кровати, несколько секунд беззвучно открывал и закрывал рот, точно умоляя сунуть ему в пересохший бородатый рот конец отрубленного шланга. И наконец проговорил жалобно, укоряюще:

— Отстань ты, отстань со своим председателем!! С-стерва ты...

— Устюшенька, да чем я тебя разгневала?

Голос ее, покорный и ласковый, сразу как-то успокоил Устина. Он упал на подушку, повернулся спиной к жене.

Однако теперь, как он ни старался припомнить, о чем только что думал, в голову лезло одно и то же. Захар Большаков, сидя в конторе, говорит кому-то — кажется, Варваре: «Пришли бригадира в контору»; Петр Смирнов кричит в лицо: «Ты не притворяйся дурачком! И объясни мне...»; Илюшка Юргин скалит почему-то, как собака, желтые зубы; Фрол Курганов смотрит на него, Устина, исподлобья, давит своим тяжелым взглядом; сын Федор трясет кулаками, грозит: «Люди не забудут... не забудут...»

Устин крутил головой, ворочался на кровати, закрывался с головой одеялом, но ничего не помогало. Всплывали один за другим перед глазами и пропадали Большаков, Смирнов, Юргин, Фрол, Федор, опять Захар, опять Смирнов, опять Юргин...

Но вот Илюшка Юргин не пропал, не провалился в темноту. Он застыл и превратился опять в Тараса Звягина. Превратился и заговорил, так же скаля зубы:

«Не приелась еще одна и та же похлебка-то? А то пойдем со мной. У моего знакомого Микиты дочерей полон дом. Девки сговорчивые, выберешь, какая по вкусу...»

И Устин перестал ворочаться, мысли его потекли по прежнему руслу. Он вспомнил ясно, что было это ранней весной 1922 года, когда поплыли дружно снега. Он прокапывал возле крыльца канавку, чтобы отвести прочь талые воды, Серафима развешивала во дворе, щедро залитом солнцем, только что выстиранное белье, Тарас сидел на бричке со снятыми на зиму колесами.

Костю удивило, что Серафима никак не реагировала на слова Звягина, не проявила даже малейшего признака ревности или беспокойства. И он, разбираемый любопытством, спросил однажды:

— Ну, а коль пошел бы с Тарасом я... что тогда бы?

— А что я?.. Значит, господу так угодно,— смиренно произнесла Серафима.

— Господу?! А может, тебе? — с обидой спросил он.— Может, надоел уж я?

Серафима подняла свои золотистые ресницы, открыла навстречу мужу голубые преданные глаза. И прошептала еле слышно:

— Как же я, раба твоя, могу сердиться или перечить, коль ты захочешь... чего-нибудь?

Его обиду как рукой сняло. С этого-то дня и начал он удивляться покорности и преданности своей жены. Это-то удивление и заставило его вскоре в теплый майский день спросить: «Неужели сделаешь все, что я ни прикажу? А ежели я повелю тебе раздеться донага да пройтись средь бела дня по улице?!»

О том, что Серафима разделась и чуть не вышла на улицу, знал только Демид Меньшиков. Он тоже сидел в избе, в другой комнате, у открытого окна, все слышал и видел, Косте это было, с одной стороны, неприятно, но с другой — и лестно: «Смотри, какая у меня жена, захочу — и веревку из нее совью». И даже спросил у Демида, не сдержавшись: «Видел? То-то...» Демид, по обычаю, промолчал.

Но когда Серафима отрубила себе топором два пальца на правой руке, Меньшиков, позеленев, схватил Костю за грудки.

— Эт-то... это еще что за выход с коленцем? — задохнулся от гнева и неожиданности он, Костя Жуков, и, пытаясь вырваться, заорал: — Убери лапы! Пригрели тебя тут, приютили, бродягу...

— Ах ты... пес вонючий! — поводя круглыми глазами, крикнул Демид.— Неизвестно еще, кого пригрели-приютили. Беситься с жиру начал?! Бабу чуть калекой не сделал! Без нее-то сдох бы, в земле уже десять раз успел бы сгнить.— И повернулся к Серафиме, обматывающей руку чистой тряпкой: — С утра... совет держать будем...

И, повернувшись, вышел со двора.

Костя проводил его испуганным взглядом. Потом повернул бледное лицо к жене:

— Эт-то... что, а?

— Так ведь в жизни как? Я тебе службу служу, а ты ему... должен. В жизни такой уж порядок. А все мы — богу. Один бог сам себе хозяин... никому не подвластен.

— Значит, я ему...

Серафима вздохнула:

— И я — ему. Ведь он Филиппов брат. А Филипп так уж велел. И не дай бог, если... Да если Филька вернется...

Он еще посидел возле стены, помолчал. И вздохнул, как Серафима:

— Ладно. Поглядим еще, что за брат. Годится ли в Меньшиковы. Перевяжи пальцы потуже, кровью изойдешь.

— Ничего, ты не беспокойся. Я в лес схожу, травку одну поищу. Мигом пальцы зарубцуются...

...Утро назавтра было такое яркое, что резало глаза. Солнце, не щадя, заливало безлюдную деревушку влажным, тяжелым зноем. Но влага эта быстро высыхала, уплывала обратно в небо едва заметным парком, и зной становился еще жгучее, нестерпимее.

В избе собрались все четверо — Демид Меньшиков, Серафима с перевязанной рукой, Тарас Звягин и он, Костя.

— Продолжаем... военный совет,— сказал Демид.

— Эх,— опять подал голос Тарас.— Чего продолжать-то? Продолжать начало можно.

— Начало два года назад было! — строго сказал Демид и вынес из соседней комнаты палку с набалдашником в виде человеческой головы.

— А чего нам эта палка? Ты скажи лучше, где сам Филипп? — ухмыльнулся Тарас.

— Шея зачесалась, что ли? — резко спросил Демид.

— Но... но...— поднялся было Звягин, но тут же осекся под взглядом Демида, потер рукой шею, точно она в самом деле чесалась, и сел на место.

— Вот так...— сказал Демид, отвернулся к окну и помолчал.— А про Филиппа честно вам скажу — не знаю, где он. Ждал вот чуть не год тут у вас — думал, придет. Не пришел...— И снова помолчав: — Но не верю, что сгинул он навек, сложил голову где-то. Все равно придет, найдет нас...

— Давно видел его в последний раз? — спросил Костя.

— Давненько... Расстались мы ночью, когда Марье Вороновой глаза выдавили...

При этих словах Костя вздрогнул и вспомнил почему-то, как Филипп сидел на куче сухого камыша и вырезал острым ножом глазницы в набалдашнике вон той самой палки, лежащей на столе. И подумал невольно: «Не-ет, кажется, Демид не уступит Филиппу».

— Это что за Воронова? — поинтересовался Звягин.

— Долго рассказывать,— нехотя откликнулся Демид. Но, помедлив, подумав, начал все-таки рассказывать...

— ...Вот так-то, значит, с Марьей мы,— закончил он.— Я в ту же ночь ушел из деревни, Филипп остался. Еще надо было кое с кем рассчитаться. С Захаркой Большаковым в первую очередь. Есть там такой. Правой рукой у Вороновой был... Договорились мы встретиться с Филиппом в одном укромном месте. Ждал-ждал — не пришел он. Так до сих пор и...

— Ха! — воскликнул Тарас.— Тут яснее ясного... Как это угораздило остаться его? Схватили Филиппа за Воронову эту — да к ногтю...

— Схватили, верно, в амбар под замок посадили,— сказал Меньшиков.— Филипп рассчитал — все подозрение за мной уйдет. Ночь просидел Филипп в амбаре, а наутро исчез. Как в воду канул. Замки на амбаре целые, в полу дырка пропилена.

— Да-а...— только и протянул Звягин.

Костя спросил:

— Так и не пробовал следы его поискать?

— Как не пробовал... Чуть ли не год нюхал кругом. Сгинул Филипп, как растаял. Напоследок я решил хоть Захара Большакова, как разваренную курицу, по косточкам разнять...

И снова вздрогнул при этих словах он, Костя Жуков. По телу побежал горячий мороз, а лопатки, все суставы заныли острой, застилающей сознанье болью, словно его самого живьем начали раздирать на части. «И раздерет, раздерет, если что... Не зря Серафима ему подчиняется. Эта не каждому-то подчинится... Не зря. А нам уж с Тарасом и сам бог велел...» И тут же услышал, как Серафима подбежала к нему и, пристроившись рядом на полу,

принялась здоровой рукой поглаживать его вздрагивающие колени, насупился, подумал хмуро: «Чего же я ниже Серафимы себя ставлю? Она-то мой сапог лижет в первую очередь».

— Да, решил посчитаться с Захаркой,— продолжал Демид.— Выволок его ночью из дома на снег в одних подштанниках, привязал веревкой к седлу, погнал вдоль дороги... Да сволочь какая-то в ноги коню жердину кинула...

Демид сложил тонкие губы, словно хотел плюнуть. Затем поглядел на Серафиму. И Серафима опустила голову под прищуром Демидовых глаз. «Даже взгляда его не выдерживает»,— подумал Костя с жалостью о жене. Но и сам невольно стал рассматривать разлитые на крашеном полу горячие солнечные пятна, когда почувствовал на себе Демидовы глаза. В желтых лучах густо плавала пыль. Но ему, Косте, казалось, что это вовсе не пыль, что это пол тлеет под жгучими лучами солнца, курится уже дымком. Еще секунда-другая — и освещенный квадрат пола вспыхнет огнем...

...Вот с тех пор у него, Устина Морозова, и появилась привычка смотреть в пол...

Устин заворочался на кровати, повернул голову к Пистимее. Та по-прежнему возилась со своим чугунком, в котором прели одной ей ведомые травы. Открыла крышку, понюхала пар и задвинула чугунок в печь. Лечить-то она мастерица всегда была. В тот раз в самом деле нашла, видно, в лесу необходимые ей травы, обрубленные пальцы зажили удивительно быстро. Уже через неделю она развязала руку и принялась креститься обрубками, на которых розовела молоденькая, как шкурка июльской картошки, кожица.

...Да, с тех пор вообще не мог Устин смотреть в человечьи глаза больше десяти — пятнадцати секунд, опускал свой взгляд; опускал потому, что ему всегда казалось, будто чужие глаза пронизывают его насквозь, как тогда Демидовы. Но едва его, Устинов, взгляд упирался в пол или землю, это неприятное чувство проходило.

Прошло оно и в тот раз.

В избе становилось все душнее и жарче. Он, Костя, расстегнул мокрый ворот рубахи.

— Вот так,— будто одобрил Демид.— Теперь давайте вопросы. Ты, Константин, что скажешь?

Костя поежился под Демидовым взглядом.

— Чего я? Я жду, чем ты закончишь... Не затем же беседу открыл, чтобы только про Марью какую-то Воронову рассказать нам...

Демид нахмурился:

— Верно, не затем... И в даль такую притащился не для того, чтоб на ваши красивые морды поглядеть. Скоро без дела сидеть не будем, обещаю. Поняли? Правда, нынче не шибко-то разгуля-

ешься. В прежние времена вам с Филькой хорошо было, в каждой деревне накормят, напоят да еще лошадей свежих дадут. Нынче такой поддержки не будет...

— Не все Советской власти в рот глядят,— с раздражением сказал он, Костя.

— Не глядят если еще, так присматриваются... Про нэп слыхал?

— Какой такой нэп?

— У них это называется — новая экономическая политика. Вроде бы свободу дали — сей хлебушек, заводи себе хозяйство, торгуй свободно...

— Чего-чего?! — встрепенулся Тарас. До этого он сидел, разомлев от жары, с закрытыми глазами, а теперь, часто-часто моргая, крутил головой, оглядывая всех по очереди.— То есть как это торгуй?..

— А так... Заткнули этим нэпом рот недовольным — нате, мол.

— Ну... а дальше что? — продолжал непонимающе моргать Звягин.

— А-а, не поймете все равно,— махнул рукой Демид.— И сам я, признаться, не шибко понимаю. Поглядим, в общем.

...И еще несколько дней жили прежней, спокойной жизнью.

Иногда Демид брал охотничье ружье и уходил на целый день в лес, на болота, которые начинались сразу же за увалами и тянулись, говорят, на много километров. Сам Костя за два года никогда там не был. Каждый раз Демид приносил пять-шесть уток или гусей.

Костя томился, изнывал от безделья. Он заметно разжирел, огруз, раздался в плечах, ходить стал вразвалку.

— Эк разносит тебя как! — замечал иногда беззлобно Тарас.— Эк туша... Серафима, поди, уже воем воет. Пожалел бы ее, дал роздых. Давно приглашаю — пойдем к Микитовым дочерям. Мужик ничего, не в пример другим, приветливый...

Но какие там, к черту, Микитовы дочери! Если уж кому надо было дать «роздых», так это не Серафиме, а ему самому, Косте. Каждую ночь он вставал с постели мокрый, как мочалка, пошатываясь, брел к окну, распахивал его и, обсыхая, жадно глотал холодный ночной воздух.

— Ну и кровь у тебя! Горячее кипятка,— говорил он Серафиме.

— Ох и разбросала бы я семян по земле! — ответила на это однажды она.— Крепких, ядреных...

Он не мог сперва понять, о чем она говорит, не мог до тех пор, пока она не прибавила:

— С такой же кровью горячей... Столь же, сколь маковых зерен в большой маковке! И чтоб все девки были, чтоб расцвело потом, заполыхало красным огнем целое поле... А созрев, каждая маковка высыпала бы столь же семян, сколь я...

— Вот что! — поразившись ее желанию, тихо сказал он.— Так чего же, давай роди, разбрасывай...

— Куда разбрасывать-то?! В какую землю? Не распахана она, бурьяном поросла. Засохнут росточки...

...В сенях опять раздался стук, прервав Устиновы мысли.

Вернулась с работы Варвара, вспотевшая, возбужденная. Круглые щеки ее, нажженные морозом, светились розовым огнем, были, казалось, чуть припухшими.

«Вот оно, семя Серафимино,— подумал с тоской Морозов, глядя мимо дочери на темный квадрат окна.— И действительно, ядреное. Говорила Серафима — «засохнут росточки», а Варвара вон какая вымахала...»

Устин прикрыл глаза. Прикрыл и стал думать: а ведь нисколько не походит Варвара ни на мать, ни на него, отца. Те же вроде щеки, лоб и нос, как у матери... Глаза... глаза его, Устиновы, черные, с синеватым отливом. А посад головы... никто, ни он, ни Пистимея, не держит так голову — слишком уж гордо, вроде как напоказ. В глазах ее всегда тоска, лицо вечно унылое, покорное, а голова-то помимо воли...

И вдруг встрепенулся, открыл глаза: «Постой... Не из-за этого ли Пистимея на лавку ее, голову Варварину, склоняет?!»

Он слышал, как Варвара раздевалась, снимала пальто, связанные недавно Пистимеей белые шерстяные чулки. «И у Федьки ведь... и у Федьки голова-то так же... такой же посад был. Такой же упрямый выгиб шеи. Вон что!!»

Устин даже затаил дыхание, чтоб не спугнуть мелькнувшую догадку. Ведь когда еще Федька от стола два вершка был, а головенку уже вскидывал, как жеребенок. А потом, когда в школе учился, глаза воротил в сторону, а голову-то не сгибал,— наоборот, поднимал все выше и смелее... Та-ак. Он, Устин, думал: на угрозы дерзостью отвечает, подлец... А она, Пистимея, выходит, тогда еще понимала... или понимать начинала, что не дерзость это. Дерзость сломить можно, потушить. А то, что у Федьки было, не сломили, не потушили... Ни он, отец, ни она, Пистимея... Да, не потушили...

И Устин рассмеялся. Смешок его, тихий, как стон, заставил вздрогнуть и Пистимею, все еще возившуюся у печки со своим чугунком, и Варвару, которая только что умылась, а теперь терла и без того розовое лицо мохнатым полотенцем.

— Так, мать Пистимея,— проговорил Устин.— Немного довелось тебе разбросать по земле семян. Зато уж те, что выбросила, крепки, так крепки, что...

— Господи! — выпрямилась Пистимея. Выпрямилась поспешно, как молодая.— Архангелы святые, исцелители всемогущие...

— Всемогущие? — переспросил Устин.— Так что же они, росточки твои, в другую сторону загнули? Что же они, эти росточки, так крепки да ядрены? Почему ты зубы искрошила, а не могла

их подгрызть, росточки-то свои? Почему ты не могла все же... раздробить свои собственные семена, когда они еще не проклюнулись?! Почему, спрашиваю?!

Варвара прижалась в угол между печкой и дверью. Пистимея торопливо лила из чугунка в фарфоровую кружку черный, как деготь, навар из трав.

— Выпей-ка, Устюша, родной мой. Выпей... Успокаивает и силы возвращает. Выпей... тепленького...

Устин поглядел на кружку, покорно взял ее из рук Пистимеи, выпил. И действительно, сразу успокоившись, стал смотреть на Варвару. Смотрел-смотрел и спросил мягко:

— Чего ты... прижалась там? Чего глаза опустила?

Варвара оттолкнулась от печки, прошла к столу.

— Ты сюда иди. Сядь возле меня.

Девушка пододвинула табурет к кровати и села.

— Рассказывай,— коротко сказал Устин.

— Все сделала. Курганова к тебе посылала. Председателю сказала, что пьяный ты...

— Ага... Илюшка Юргин привозил сена?

— Привозил... один воз. И с Пихтовой пади остатки привезли. Захар сказал, что теперь как-нибудь дотянем до апреля. А там сопки вытают...

— Понятно... Все Митька метал?

— Нет, он... к обеду только пришел на ферму зачем-то.

— Ну? — Голос Устина сразу окреп. А Варвара принялась теребить поясок платья.— Чего глаза уронила? Мать, выйди!

Пистимея прикрыла чугунок с настойкой, вышла в сенцы, накинув на острые плечи полушубок.

— Поднимай глаза-то. Говори! — приказал отец.

— Ну, делаю...— тяжело вымолвила девушка.

— Что?

— Целовал он меня... еще в обед.

— Где? — отрывисто спросил Устин.

— Там же, возле скирды... Все лицо обслюнявил...

— Видела она? Шатрова, говорю, видела?

— Не слепая же... Наверху ведь стояла.

— Так... ступай...

Варвара, однако, сидела не шевелясь, на руки ее, на платье капали слезы.

— Это еще что?! — прикрикнул Устин, увидев слезы.

— Да ведь грех это... и стыдно, стыдно.

— А с Егоркой Кузьминым не стыдно?

И тогда Варвара вскочила:

— Батюшка! Да ничего-то еще промеж нас... Он со мной только... ласковый такой да стеснительный. А ежели узнает про Митьку...

— Вон что... Высказалась наконец! — с неожиданным для самого себя удивлением проговорил Устин.

— Батюшка! — выкрикнула она с отчаянием.— А если это счастье мое? Ведь погубишь...

— Ступай, сказал! — прикрикнул Устин. Помолчал и прибавил: — Это хорошо, что высказалась. Я поговорю как-нибудь с Егором...

— Родимый мой! — кинулась к нему дочь, упала на колени, схватила за руку.— Только не говори, только не говори! Он ведь гордый, Егор-то... Он ведь тогда...

— Гордый?! — Устин выдернул руку. Челюсть его зашевелилась, борода заколыхалась, будто он жевал что, не открывая рта. Пожевал-пожевал и уже потом уронил куда-то в постель: — Он не гордый, он просто... так, склизота одна. Наступи на него — и поскользнешься. Нашла тоже счастье...

— Для меня хватило бы... И матери не говори, батюшка. Уж тогда-то она меня сразу на лавку... Заступись ты за меня, батюшка, запрети ей...

— Запрещаю же... Ты слушайся только...

— Да разве я... Я и так... О господи, куда бы это деться мне, сгинуть...

— Ладно, перестань. Утрись. И мать позови.

Варвара поднялась с колен, вытерла, как ребенок, слезы кулаками. И пошла к двери.

А Устин лежал и думал: «Вот и вырос, Серафима, из твоего семени маковый стебелек... Вот как ты ни крутила его, ни прятала от солнца, и зацвел, да не тем, видать, цветом, каким хотела бы ты... «Не говори матери...» Да она, видно, наперед меня все почуяла, обо всем догадалась... Что же, созреет маковка и семена высыпет, засеет какой-то кусочек поля. Да семена-то тоже не те... А чтоб не засевала, ты, Серафима, и хочешь засушить ее на какие-то мощи. Значит, не бог тебе внушил насчет дочери, сама, сама додумалась. Да что у тебя, в твоей дьявольской головенке, за червяки клубятся? Хотя постой... Она могла бы ведь и другим способом, чтобы дочь... не разбрасывала семени. Могла...»

— Варвара! — заорал Устин, переворачиваясь на кровати.— Варька!!

Вместо дочери в комнату вошла Пистимея. Устин сказал ей раздельно:

— У меня догадка мелькнула сейчас насчет Варьки. Гляди у меня! Опоишь своей отравой — головешку отверну. Отверну и под мышку тебе положу. Поняла?!

Сказал и снова лег лицом к стене, нимало не беспокоясь, что Пистимея обиженно поджала губы, нисколько не сомневаясь, что этого предостережения для жены более чем достаточно. Потом Пистимея гремела посудой, продолжая собирать на стол, разливала что-то по тарелкам. Разлив, позвала тихонько:

— Устюша... Ведь с самого утра голодный.

Он не отозвался. Пистимея еще раз проговорила:

— Устюша...

Но этого, второго зова Устин даже и не услышал уже. Он снова был там, в зауральской северной глухомани, в затерявшейся среди тайги, как щепка в океане, деревушке...

...Через неделю после «военного совета» Демид сказал Косте:

— Завтра чтоб готов был... для прогулки.

«Прогулка» началась с того, что Демид повел его и Тараса в лес. Он и Тарас были одеты по-дорожному; вели в поводу коней. А сам Демид шел впереди в одной рубашке с распахнутым воротом. Шел, срывал по обочинам тропинки лесные цветочки, складывал в букетик, время от времени подносил к своим тонким губам, точно собирался их пожевать. Но не жевал их, а нюхал...

«Что он, дьявол, на свидание с девкой идет, что ли? Ишь вырядился! С нами не поедет, что ли?» — думал Жуков, но ничего не спрашивал.

Вышли неожиданно на полянку. Из травы поднялись двое — Тарасов друг Микита и какой-то угрюмый бородач.

— Вот так, Константин Андреич... И ты, Тарас,— повернулся Демид к Звягину.— И все остальные... Его вот звать Гаврила Казаков,— показал Демид букетиком на угрюмого бородача. Показал и снова поднес букетик к лицу, обнюхал его со всех сторон.

«Ну, сейчас-то уж кусанет!» — подумал Костя.

— Куда идти и что делать, он знает. Слушаться его, как... В общем, если жить хотите, слушайтесь... И вот этого мужика тоже берегите,— кивнул Демид на Микиту.

И, ничего больше не объясняя, пошел обратно.

Невдалеке, под деревьями, стояли пять низкорослых лошадей. Тот, кого звали Гаврила Казаков, молча отвязал коней, взобрался на одного из них и махнул рукой: поехали, дескать.

Ехали и шли, протаскивая за собой по зыбучим трясинам, по непролазным таежным зарослям упиравшихся лошадей, почти неделю.

На шестой день пути в полдень остановились почти на такой же полянке, как и та, с которой отправились в путь. Казаков проговорил:

— Ну вот... В общем, пришли мы на место. Тутока, в трех верстах, деревня. Большереченская называется. Задача наша такая — без шуму взять сельсоветчика, председателя коммунишки... Григорием Кувалдой председателя звать,— зачем-то сообщил он.— В случае чего живым не сдаваться. Люди взрослые, понимаете: если не они прикончат, то уж мы достанем. Живот положим, а достанем. Это уж так же верно, как и то, что ночь сегодня наступит.

Минуты две все полоскались в мочажине. Потом Казаков сказал, засовывая руки в мешок с провизией:

— Вот по ломтю мяса всем, по три-четыре десятка сухарей. Это — в дорогу. Больше брать не будем, чтоб не обременяться.— Завязал мешок, отбросил его под дерево.— Микита приберет. Пошли...— И встал.

— А Микита чего? — проговорил Тарас.— Тутока прохлаждаться будет?

— А ты найдешь обратно дорогу без Микиты-то? — спросил Гаврила.— До этой-то поляны любой из вас доберется, ежели со мной что приключится. А дальше — пропадете.

И они ушли втроем в тайгу.

Гаврила шел впереди, чуть наклонившись, раскачивая длинными, чуть не до колен, руками.

Скоро стемнело.

Примерно к полуночи лес начал редеть, а потом и вовсе кончился. Вслед за Гаврилой поднялись на какой-то холм и залегли на его вершине, в жестких низкорослых кустарниках.

Внизу, в небольшой ложбине, перед ними лежала во мраке деревня. В деревне стекала, огибая холм, на котором они лежали, разъезженная дорога, тускло отсвечивая под луной размешенной колесами пылью.

Деревня спала. Только в двух местах — в самом центре и далеко на окраине — горело по одному окошку.

Кустарники, в которых они лежали, пахли каким-то приторно-сладким запахом, от которого у Кости чуть кружилась голова.

— Вот, гляди...— шепнул Гаврила.— Окно светится в середке села — это сельсовет. Значит, Степка Грачев, главный сельский советчик, там... Ага, видишь, потухло. Значит, сейчас домой пойдет. По темным, пустым улицам. Сейчас они уже смело ходят ночами: безопасно, мол... Вот и можно подстеречь его где-нибудь у плетня, кляп в зубы, да и...

— Так чего же мы! — завозился Тарас.— Он, может, полдороги прошел уж до дому-то...

— Не торопись. Торопливый какой. Нас трое, много нам не взять за этот раз. Возьмем этого сельсоветчика, кое-кого из его семьи — жену или сына... Семья у него большая — семь человек. Остальных придется... Ну там видно будет. Еще, как говорил, председателя здешней коммуны надо будет взять.

Долго лежали молча, до тех пор, пока не потухло окно и на окраине деревни. Почти в тот же миг скатилась луна, и над селом повисла кромешная тьма. Косте вдруг почудилось, что свет, которым была залита спящая деревня, давала не луна, а это окошко, давало, пока не потухло. И он сказал:

— А у кого там, на краю, окно горело?

— У Степки Грачева и горело. Видишь, пришел, значит, лег спать.

— Н-ну! — громко, громче, чем можно было, воскликнул Костя. Гаврила недовольно обернулся. Костя сказал, будто

просил прощения: — Я к тому, что... Это хорошо, что на краю он живет...

— Хорошо. А Гришка Кувалда в самой середке, да в его доме еще три семьи. Так что поохотиться где-то за ним придется. Ну, утро вечера мудренее, сейчас ты, Костя, и ты, Тарас, спите...

...Проснулся Костя от резких толчков под бок.

— Гляди, гляди...

Перевернувшись на живот, он увидел перед собой внизу сквозь редковатые кустарники вытянувшуюся примерно версты на полторы деревню.

Она находилась, оказывается, в длинной неглубокой лощине. По самой сердцевине текла, виляя, какая-то речка. К ее берегам и жались с обеих сторон домишки.

Речка курилась утренним туманом. Многие избы топились.

Вся лощина была до краев налита голубоватой дымкой, в которой тонул конец деревни. Крайние домишки были еле-еле видны.

— Где же дом сельсоветчика? — протирая заспанные глаза, спросил Костя.

— Эвон в тумане виднеются зеленые ставни. Крайнее окно, перед которым растет береза, вчера и светилось. Да ты сейчас не туда гляди. Вон, в центре, дом двухэтажный под новой тесовой крышей. Видишь, видишь? — торопливо, с присвистом, зашептал Гаврила.— Это контора ихней коммунишки. Раньше в том дому жил... управляющий золотыми рудниками жил в нем. Рудники тут есть, в горах. Ну... разрушенные они сейчас. Восстановить их им не под силу пока, вот они и организовали коммуну. Пашут, сеют... Жрать-то надо.

Лежа на животе, уткнув подбородок в молодую травку, Казаков нетерпеливо сверкал глазами. Руки его, выброшенные вперед, царапали землю.

— Ну, Константин Жуков, может, нам сейчас повезет... Может, повезет...— прошептал Гаврила.— Буди Тараску.— И вдруг захрипел страшно: — Повезло, повезло!! Он, Гришка Кувалда... Буди, говорю, чтоб тебя!.. Каждая минута теперь дороже золота...

Ничего еще не понимая, Костя растолкал Тараса.

— За мной! Все за мной! — приказал Гаврила и затем пополз куда-то назад.

Костя сполз с холма последним. А сползая, бросил взгляд на деревню и увидел, что от конторы отъезжают, направляясь в сторону холма, дрожки. В дрожках сидел какой-то человек в фуражке.

Несколько минут все бежали по лесу, пробираясь сквозь цепкую молодую поросль. Вброд перешли какую-то речку — наверное, ту самую, что вытекала из деревни. И опять очутились возле дороги.

Дорога в этом месте раздваивалась, как раз на развилке стояла высокая и толстая сосна с редкими ветвями.

— Ну вот,— тяжело дыша, вымолвил Гаврила, останавливаясь под сосной.— В дрожках-то председатель коммуны едет. Повезло, так повезло нам...

— А вдруг он не сюда? — спросил Костя.

— Тут одна дорога. Мимо не проедет...

Гаврила умолк на мгновение. Все ясно расслышали, как в утреннем воздухе застучали, приближаясь, колеса. Казаков зашипел:

— В кусты, живо! В случае чего выручайте! В крайности, если меня грохнет, стреляйте тоже, чтоб не ушел живым гад.

И подпрыгнул, схватился за толстый сук, ловко подтянулся и стал на этот сук коленями, потом обеими ногами, вытащил наган, прижался боком к толстому стволу, вытянулся в струнку. И с той стороны, откуда ехал председатель, Гаврилу невозможно было заметить.

Дальнейшее произошло быстро, почти мгновенно.

Дрожки с председателем поравнялись с сосной. В тот же миг Гаврила прыгнул сверху на председателя, оглушил его наганом по голове...

Когда Костя и Тарас подбежали, Гаврила старательно связывал руки председателя.

Через несколько минут дрожки, на которых лежал председатель коммуны, стояли в лесу, километрах в полутора от дороги. Гаврила выпряг коня, с помощью Звягина взвалил на лошадь крупное и тяжелое тело председателя, крепко привязал. Потом передал Тарасу повод:

— Давай к Миките. И мигом обратно. Гляди, чтоб кляп изо рта не выпал. А то, очнувшись, закричит...— И уперся взглядом в Костю: — Учись!

Солнце было уже довольно высоко, когда они втроем — Костя, Тарас Звягин и Гаврила — вернулись на холм и легли на прежнее место. Жизнь в деревне шла своим чередом. Спешили куда-то по делам взрослые, суетились на улицах ребятишки. Разгребали дорожную пыль куры, рылись под плетнями поросята. На речке стирались бабы, мимо холма проехало — видно, на пашни — несколько подвод.

Но все это Гаврилу словно бы нисколько не интересовало. Он смотрел вниз, на деревню, равнодушными глазами, редко и лениво моргал. А часто, сомкнув веки, не размыкал их минуту, две, три, будто задремал. Но едва в деревне раздавался чей-нибудь возглас, громкий собачий лай или скрип колеса, он мгновенно раскрывал глаза.

До самого заката не разговаривали.

Вдруг Гаврила начал внимательно вглядываться вниз. Там, в деревне, возле конторы толпился народ.

Вскоре люди стали медленно расходиться. Когда деревню заволокла вечерняя мгла, возле двухэтажного здания с новой тесовой крышей не осталось ни одного человека.

— Пронесло! — облегченно выронил Гаврила и шумно задышал.

Тарас Звягин весь день нетерпеливо ерзал по земле на подстеленном под себя мешке. Несколько раз он вставал на четвереньки, расправлял сбившийся мешок и снова ложился. Только когда совсем стемнело, вдруг вымолвил со вздохом:

— Эх, Фильки нету.

Опять, как вчера, висела тяжелая луна над деревней.

По небу пробегали частые тучки, и луна, казалось, раскачивалась, как на веревке. И еще казалось, что она вот-вот оборвется, упадет и покатится по земле.

В деревне уже горели огни. Их было намного больше, чем вчера. Только окно сельсовета все еще не вспыхивало.

Наконец осветился желтый квадратик в самом центре деревни, мигнул и стал гореть ровно.

— Так,— сказал Гаврила.— Ужинаем — и пошли. Что не доедим — выбросить. На рассвете нам так или иначе подальше надо быть от этих мест.

И начал с хрустом размалывать сухари.

Потом спустились с холма, шли гуськом какими-то бурьянами, тайгой, опять бурьянами. Время от времени Гаврила останавливался, слушая тишину, и опять шел.

Вдруг обернулся к нему, Косте:

— Куда идем? Ну-ка?

— Я думаю — к дому сельсоветчика.

— Так, добро. Сообразительный.

— Сейчас речку переходить придется.

— Верно.

Вскоре действительно подошли к речке. Босиком перебрели речку, обулись в кустиках и вышли на окраину деревни.

— Теперь слушать меня,— шепотом сказал Гаврила.— Наганы и ножи держать наготове. Дом Грачевых — вон он. Проберемся к нему огородами, чтоб собак не потревожить. Двери в дом как раз возле угла. За углом я притаюсь. Вы оба заляжете в смородиннике, что возле стены у него растет. Да глядите — не дышать, не шевелиться! Как он войдет в ограду, совсем умрите. И только когда я кинусь на сельсоветчика, вскакивайте. А там — по обстоятельствам. Все. Бог поможет — свинья не съест...

Когда уже крались огородами, приминая молоденькую, не окрепшую еще зелень, разворачивая сапожищами старательно разрыхленные грядки, Тарас вдруг поинтересовался:

— А у Грачева нету собаки?

— Посмотрим,— ответил Гаврила.— Была.

— Дык ить...— Тарас остановился.— Как это «посмотрим»? Рисково это... Сыграет она нам панфары!

— Иди! Иди!..

У плетня, отгораживающего огород от подворья, всех троих действительно остановило предостерегающее собачье рычание. Потом собака залаяла. Все упали на землю. Гаврила вытащил что-то из кармана, бросил через плетень. Слышно было, как собака зачавкала.

Минут через пять Гаврила встал:

— Теперь не залает. Ну, по местам!

Осторожно отодвинул дощатые воротца в плетне, пропустил сперва его, Костю, и Тараса. Потом прошел во двор сам, прикрыл воротца. За хвост поднял с земли околевшую собаку и перебросил через плетень.

Через несколько секунд Костя лежал рядом с Тарасом в густом смородиннике, который был насажен вдоль всей стены дома, вплоть до крыльца. Гаврила исчез за стеной.

Луна склонилась к противоположному краю деревни и вот-вот должна была скрыться. Но пока она ярко освещала двор, усыпанный стружками и щепками,— видимо, хозяин что-то мастерил днем. Тускло поблескивало несколько крынок, торчащих, как большие груши, на кольях плетня.

Наконец луна скрылась, утонула где-то. Крынки на кольях потухли, по всему двору разлилась чернота. Но вскоре глаза привыкли к мраку и снова стали различать щепки и стружки, валявшиеся на земле.

Во двор, скрипнув калиткой, вошел с улицы человек в длинной рубахе, подпоясанной ремнем. Грачев был невысокого роста, щупленький и, видимо, малосильный. Он не спеша прикрыл калитку и, стоя спиной к дому, докуривал папиросу. Докурил, растоптал окурок, еще постоял, словно кого дожидался.

«Ага, не приехал, должно быть, Кувалда-то ваш»,— подумал почему-то Костя, словно еще сомневался, приедет или нет.

Наконец Грачев медленно пошел к крыльцу. На крыльце опять обернулся, помедлил: не стучат ли в ночной тишине дрожки? И звякнул несколько раз щеколдой о пробой. В доме послышался глухой шум, хлопнула где-то внутренняя дверь. Затем в сенцах раздался заспанный женский голос:

— Кто?

— Я это... Открой,— проговорил Грачев.

Загремел деревянный засов, скрипнули плохо смазанные дверные петли. И в это время мелькнула из-за угла тень, взметнулась чья-то рука, раздался тяжелый стон, потом пронзительный женский вскрик.

— Живо! — неестественно громко, как показалось самому Косте, закричал он Тарасу, вскочил, метнулся к крыльцу и запнулся о мягкое, распластанное в сенцах тело человека в рубахе.

— А-а-а!..— в смертельном испуге все еще кричала женщина где-то в глубине сенок.

Потом этот крик резко оборвался, об пол стукнулось что-то тяжелое, мягкое, и тотчас послышался в глубине дома детский плач. На него, Костю, налетел в темноте Гаврила, обдал горячим дыханием:

— Пискучая, тварь, оказалась... В избу, моментом! Одному ребятенку рот заткнуть тряпкой, чтоб не визжал,— и с собой. Остальным тоже заткнуть... навечно. Тихо только! Их пятеро там, детей, должно быть. Не просчитайтесь.

И Гаврила бросился к оглушенному человеку, лежавшему на полу, начал, как и председателю коммуны, связывать ему руки за спиной.

...Через несколько минут Тарас выволок из избы девочку лет пятнадцати...

— Все, что ли, там? — спросил Казаков.— Не оставили кого?

— Сейчас проверим,— и Тарас опять нырнул в сенцы.

«Проверял» он долго, минут десять. За это время Гаврила стащил тело перевязанного человека с крыльца, перекинул через плетень и прохрипел:

— Где он там запропастился?! Звягин!

— Здесь, здесь я...— Тарас выволакивал из темных сенок еще чего-то.

— Это что? — хлестнул его Гаврила.— Брось немедля! Тебе девчушку нести. Бери на загорбок. А это брось.

— Барахлишко-то?! Да ты чего? — обиделся Звягин, обеими руками обнимая свой распузатившийся мешок.

— Ну... имей в виду: выдохнешься — приколю.

— Я не выдохнусь. Я уж как-нибудь.

— Прикройте двери. Пошли!

На обратном пути речку переходили не разуваясь. Гаврила и он, Костя, по очереди несли связанного Грачева. Тот, кажется, не пришел еще в сознание. Тарас пыхтел сзади все сильнее и сильнее, однако не жаловался, не стонал. Девочку он перекинул через плечо, мешок волок по земле.

С поляны, где их встретил Микита, тронулись, даже не передохнув. И председатель коммуны, и сельсоветчик давно очнулись и стонали.

Ехали по тайге весь день и всю следующую ночь. Только когда окончательно выбились из сил лошади, остановились.

Изо рта пленных вытащили тряпки. Председатель коммуны, усатый, лет пятидесяти украинец, едва глотнул воздуха, сказал тихо:

— А-а, Гаврила! Успел-таки рудники в тот раз подорвать! Чуял я, шо ты живой пока. Не всех еще подавили вас, оказывается, як гнид поганых.

— Ничего, Григорий, раздавим,— ответил ему щупленький Степан Грачев.

— Вы-то уж отдавили свое,— зевнул равнодушно Гаврила.

— Что ж, выходит, отдавили,— проговорил Грачев.— Да ведь, кроме нас, еще люди есть. Мы погибнем — от народа не убудет.

Голос сельсовечика ни разу не дрогнул. Говорил он так же тихо, как председатель, но каждое слово отчетливо печаталось в лесной тишине.

И больше они не произнесли за всю дорогу ни единого слова, как сговорились. Девчушка тоже молчала. На привалах подползала к отцу, прижималась к его телу и оттуда обжигала всех пронзительно синими глазами.

...Встретил их на той же поляне, откуда они отправлялись в путь, сам Демид.

— Приехали? Добро. Не с пустыми руками — еще добрее,— проговорил Демид вместо приветствия. И кивнул на связанных людей: — Гаврила, отведи их.— И обернулся к нему, Косте, обнял крепко обеими руками.— Ну, здравствуй. Рад я, рад, что вернулся жив-здоров...

— Здравствуй... Как вы тут? Как Серафима?

А Серафима уже бежала между деревьями, путаясь в длинной юбке, бежала и кричала:

— Костя! Костенька, родимый мой! Вернулся, вернулся!

Со всего разбега бросилась ему на шею, повисла, и он почувствовал, как она заболтала от радости ногами, словно девчонка...

— ...Мама! Матушка моя!! Сил больше нет! Ведь целый день сено метала, спина так и разламывается. Пожалейте! — услышал Устин плачущий голос дочери и вздрогнул.

В комнате было темным-темно. В черно-синем квадрате окна тлела горстка желтоватых, как кисть недозрелой калины, звезд.

— А я говорю — молись, молись, дура, раз не хочешь на лавку ложиться,— донесся сквозь закрытую дверь шипучий голос Пистимеи.— Бога скоро разгневать, да нелегко замолить. Замаливай, ослушница, отступ свой!

— Да какой отступ?! Я сроду слова не давала...

— Ах ты... поганка болотная! Не давала? Не давала?!

Послышались негромкие удары, тяжелое дыхание. Устин понял, что жена бьет дочь, поспешно вскочил с кровати, рванул дверь в соседнюю комнату...

Варвара лежала согнувшись на полу, прикрывала лицо обеими руками. А Пистимея бегала вокруг и, чуть приподняв юбку, пинала дочь в бока, в плечи, в голову.

Устин хотел закричать что есть силы: «Эт-то еще что такое? Отойди, старая ведьма!!» Он уже открыл рот и набрал полную грудь воздуха. Но...

Ему показалось вдруг, что под потолком покачивается электрическая лампочка.

...Устин тяжело прислонился к дверному косяку. В его голове тоже закачалось что-то, как поплавок. «А что, пусть бьет, пусть... Не будет, кобыла толстопятая, шею колесом выгибать...»

А Варвара, увидев отца, приподнялась на коленях, протянула к нему обе руки:

— Батюшка! Батюшка!!

— Чего? — тупо спросил он.

— Я уже два часа на коленях стою...

— Ну?

— Уж ноги не держат. Уж в глазах желтые круги завспыхивали...

Устин помедлил, поморщился, будто мучительно соображая, что же ответить дочери. Он опустил разлохматившуюся голову на грудь, запустил пальцы в бороду и промолвил, медленно роняя слова:

— Ничего, ничего... Ты молись...— А сам подумал: «Теперь пропадет Варька — завалит ее старая карга на скамейку. Ну что ж... ну что ж...»

Медленно побрел от двери к кровати, так и не выпуская бороды из пальцев. Но на полпути встал столбом. Так... С Федькой — ладно, а Варьку кто убивает? Пистимея или он?! Она или...

— Пистимея?!

Пистимея тотчас неслышно высунулась наполовину из освещенного прямоугольника двери, точно ждала его возгласа за тем самым косяком, к которому он только что прислонялся.

— Господи, что ты? Чего надо?! — присвистывая от волнения сильнее обычного, спросила она.

Устин внимательно, казалось, с удовольствием, слушал ее голос. А когда она замолкла, сказал:

— А ведь ты как старая гусыня.

— Что — гусыня?

— Да шипишь, говорю.

Пистимея проговорила не то обиженно, не то жалобно:

— Больной ведь ты. Прямо больной.

Глава 24

А потом опять был знакомый звон в голове: Федьку — он или она? А Варьку?.. И почему случилась сегодня вся эта история с редактором районной газеты Смирновым, отчего сорвался он, Устин Морозов, и не помня себе наделал черт знает что?

Казалось Устину, вот-вот придет ответ, вот-вот...

Он бы, ответ этот, пришел, но кто-то, кажется, закричал в смертельном испуге его собственным голосом: «Нет, нет!! Не надо, не хочу!!» Тот, кто кричал, находился, вероятно, в каком-то огромном, очень высоком здании — в церкви, что ли: отголоски долго еще блуждали по каким-то закоулкам, отдавались больным гулом в его, Устиновой, голове.

Что-то противное, теплое полилось ему в рот, перехватило дыхание.

— Кто это? Чего? — дернулся он, выплевывая изо рта горькую жижу...

— Кричал ты, господи... Будто огнем тебя палили,— сказала склонившаяся над ним Пистимея.

— Огнем... палили... Это верно,— тихо и покорно отозвался Устин.

— В Озерки, говорю, надо завтра, в больницу.

— Погоди, а без больницы... не окочурюсь без больницы? Чем поишь-то?

— Что ты, что ты, родимый? — откачнулась в темноте Пистимея.— Для того ль жизнь горемычили вместе?! Успокоит тебя отвар.

— Горемычили? Ну ладно, ступай.

И Устин, вздохнув, снова погрузился в воспоминания...

...После того как вернулись из поездки в Большереченское, устроили праздник. Серафима накладывала ему, Косте, лучшие куски и, поблескивая от нетерпения глазами, никого не стесняясь, прижималась к его плечу головой. Даже сквозь рубаху он чувствовал — ее круглые, тугие, как яблоки, щеки пышут жаром.

Только одному Тарасу веселье было не в веселье. Он сидел за столом мрачный, нахохлившийся, как курица.

— Чего же ты? — пододвинула ему Серафима стакан.

— А ты скажи-ка лучше: нэп — это что такое, а? — повернул к ней голову Тарас.— Магазины открыто держат или нет? Я спрашивал у наших молодцов, которых привезли,— молчат...

— Кто его знает... Ты пей, пей...

Праздник продолжался потом для него, Кости, каждый день. Серафима не знала, как угодить ему, куда посадить, чем накормить. Тарас уплелся на следующий же день после возвращения опохмеляться к Миките, да и не показывал носа домой. Демид тоже редко приходил ночевать. Где он пропадал, что делал, Костя не знал.

За неделю отдохнул, отлежался. Его начало тяготить уже безделье.

Как-то утром спросил у Демида:

— А все-таки где они, эти... сельсоветчик с председателем?

— Ничего, живы-здоровы.

— Одно не пойму: зачем их живьем сюда приволокли? Объяснит мне кто-нибудь это или нет?

Разговор был за завтраком. Демид дохлебал свою чашку, вытер полотенцем тонкие губы.

— Что ж, можно объяснить. Пойдем.

Серафима старательно перетирала в углу возле печки тарелки. Она не подняла даже головы, когда он с Демидом вышел из избы.

Утро стояло тихое, прохладное, солнечное. Лес был насквозь пронизан птичьими голосами. Жуков шагал по тропинке вслед за Демидом и удивлялся: как это раньше он не замечал, не слышал такого обилия птичьих голосов?

Демид шел, время от времени нагибался, рвал цветочки, росшие по краям тропинки, и складывал их в букетик.

Через полчаса вышли на большую поляну, утыканную сплошь толстыми пнями. Кругом чернел угрюмый ельник. Здесь не было слышно ни одного птичьего голоса.

Почти в самой середине поляны стоял большой, длинный амбар, сложенный из толстых бревен. «Вон отчего тут пней много»,— подумал Костя. Недалеко от амбара курилась большая куча золы. Гаврила Казаков ковырял зачем-то в потухающем костре прутиком, словно что выискивал там.

Демид подошел к нему и спросил:

— Ну как?

— Да в самый раз.

— Давай.

Демид сел на пень. Казаков пошел к амбару.

Из леса подошли несколько угрюмых, давно не бритых людей. Деревенские это были жители или нет — Костя не мог понять.

Не здороваясь ни с ним, ни с Демидом, люди расселись, разлеглись вокруг кучи золы. Многие принялись крутить папиросы.

«Что за оказия? — подумал Жуков.— Молиться, что ли, на эту кучу собираются?»

А Гаврила меж тем гремел большущим замком, висевшим на амбарных дверях. Потом распахнул двери, срубленные из широких, в ладонь толщиной, плах, и одного за другим вытолкал оттуда трех человек, погнал к костру.

...Председатель колхоза, сельсоветчик и его дочка остановились перед Демидом, прижавшись друг к другу. Костя узнал их с трудом. Вернее, не узнал, а догадался, что это они. А может, и не догадался бы, если бы не девчонка, которая была изувечена, изуродована все-таки меньше других. Особенно страшно было глядеть на сельсоветчика Грачева. Он, как и остальные, был почти голый, кожа лохмотьями висела у него на груди, на спине... Костя рассмотрел все это в одну секунду и невольно опустил глаза. Опустил и спросил Демида:

— Зачем... так-то уж? Ведь задохнуться можно от... от... Ведь...

— Что? Сердце заходится? Кровь холодеет? — опять насмешливо проговорил Демид. И повернулся к Гавриле: — Давай. Сперва девчонку.

— Слушай, ты! — из последних сил закричал Грачев.— Самым святым, что есть у тебя, умоляю — прикончи ее, только не мучай. Убей на моих глазах, пересеки надвое. Только сразу, только сразу...

Демид подумал о чем-то, криво усмехнулся.

— Ладно. Сразу так сразу.

Гаврила поднял из травы лопату с длинным черенком, принялся разгребать кучу золы. Люди, безмолвно сидевшие и лежавшие вокруг этой кучи, нехотя, лениво поднялись.

Под слоем золы тлели янтарные угли. Гаврила схватил девчонку и швырнул ее на эти угли.

Вот теперь у Кости и в самом деле екнуло сердце и остановилось.

Степан Грачев безмолвно рухнул на землю.

...Потом девчонка все выползала и выползала из этой дымящейся сковородки, а люди, стоявшие вокруг, все бросали и бросали ее назад. И только когда руки и колени у нее обгорели до костей, она потеряла силу и всем худеньким своим телом упала на угли. Но какие-то силы у нее еще остались, и она вскидывала, вскидывала голову, чтобы уберечь, спрятать от сжигающего жара хотя бы лицо, чтоб не вспыхнули ее белые тяжелые волосы. А волосы уже трещали от жара, чернели, дымились. Наконец они вспыхнули.

И тогда случилось то, чего никто не ожидал. Эта девчонка, ни разу не вскрикнувшая в течение всей пытки, мотая из стороны в сторону горящей головой, будто хотела сбить пламя, закричала тяжело и пронзительно:

— Тятенька, тятенька! Встань! Ты же сам учил меня, стоя, если... Погляди стоя на мою смерть. Дядя Григорий, тятенька... Не простят им люди, не простят!

Она захлебнулась, уронила голову.

Костя взглянул на Демида. Тот сидел на прежнем пне, спокойно нюхал букетик своих цветов. Только губы его подрагивали и, казалось, раскроются сейчас, он, как лошадь, завернет языком все цветы себе в рот и примется их жевать.

Демид действительно раскрыл губы. Но цветы есть не стал, а проговорил что-то. Гаврила подбежал к сельсоветчику, который в самом деле стоял уже на ногах, и в спину начал подталкивать к куче углей, приговаривая почему-то:

— Давай, давай, рудничный баламут!.. Чужое золотце, к которому лапу протянул, маленько жжется.

Больше Константин смотреть не мог. Он невольно зажмурился, встал и так, с закрытыми глазами, побрел прочь...

И последнее, что увидел он, Костя, в то утро: Серафима, стоя невдалеке за деревьями, усмехалась и усмехалась, показывая белые зубы. Когда она подошла, Костя не видел, зачем — не знал, не понимал. А может, и не было никакой Серафимы, может, показалось ему, померещилось. Он чувствовал, как от густого запаха горелого мяса разливается у него в груди тяжелый угар, как он затуманивает мозг, застилает глаза...

...Угар этот не проходил, не выветривался потом до самой осени.

И как он, Костя, пережил только это лето 1922 года, как остался цел и невредим! Сколько же совершил он еще вылазок и дерзких, страшных налетов! Сперва вместе с Гаврилой, а потом и без него, на лесные села и деревушки, в каких переделках не был!

И каждый раз, едва он, вернувшись из очередной поездки, слезал с коня, на шею ему бросалась Серафима, обжигала влажными губами его щетинистые, грязные щеки и, как девчонка, болтала от радости ногами.

Угар этот стал проходить, когда все чаще и чаще случалось возвращаться несолоно хлебавши. Видимо, по всему Зауралью давно уже прошел слух о скрывающейся где-то в лесах банде, люди в деревнях были настороже, выставляли засады. Иногда Костя натыкался на эти засады и едва уносил ноги. В таких стычках было убито много его помощников. Погиб где-то и Микита, осиротив своих дочерей. Только Костю с Тарасом оберегала почему-то судьба.

Но однажды не вернулся и Тарас. Костя решил, что он погиб в перестрелке, когда уходили из какой-то деревни.

— Царство ему небесное, хороший все же был человек,— перекрестилась Серафима.— А коли жив, дай бог ему здоровья.

— Э-э, такое было дело! — махнул рукой Костя.— Кабы уцелел, догнал бы нас, дорогу в лесах давно научился припоминать.

— Может, еще и придет,— вздохнула Серафима.

Но Звягин не приходил.

Вскоре дела у Кости пошли совсем худо. Когда приезжали без трофеев, Демид ничем не выказывал своего неудовольствия, только шевелил широкими бровями и бросал всего два слова:

— Ладно. Отдыхайте.

Серафима так же бросалась к нему на шею, так же целовала его в грязные, потные щеки. Губы ее были такими же горячими, только немного вялыми. Да еще почему-то, приметил Костя, ногами она во время таких встреч не болтала...

Демид — черт с ним, а перед Серафимой он после неудачной вылазки чувствовал всегда неловкость, какую-то вину. И торопился быстрее в новую поездку.

Но вот трижды кряду он вернулся с пустыми руками. Два раза Серафима, как обычно, бросилась ему на шею, а в третий только положила ладони на его плечи и проговорила:

— Вернулся — и слава богу. Давай в баньку с дороги.

В бане Серафима не отпаривала веником, как бывало всегда, его опаршивевшее за дорогу тело, не натирала какими-то душистыми настоями спину. Молчаливо и хмуро она плескалась из деревянной шайки в темном углу, поблескивая остренькими мокрыми плечами. Костя раздраженно, с остервенением хлестал себя веником сам и, окатившись холодной водой, сказал:

— Слушай, Серафима... Ведь чуть голову там не оставил я, а ты...

— Бог с тобой, бог с тобой, Костенька!

— Не ври! — крикнул он вгорячах.— Тебе все равно, вернусь я, нет ли...

— Костенька! — Серафима отставила шайку и пододвинулась к нему.— Что говоришь-то?

— То и говорю! Ведь каждый раз почти на верную смерть посылаете с Демидом! — закричал он.

Серафима взяла мочалку, намылила. Костя ждал, что она примется сейчас тереть ему спину, но Серафима, задумчиво глядя куда-то в сторону, положила мочалку на свои колени.

— Гаврила... и другие тоже не на прогулку ведь ездят, Костенька,— тихо проговорила она. И еще тише добавила: —А мне не все равно. Ты не Тарас все-таки. Не вернешься — я жить не буду... Зачем мне жить без тебя!

— Врешь, врешь!

Серафима только подняла на него голубые глаза и тотчас опустила. Потом принялась тереть мочалкой свою беспалую ладонь.

До конца мылись молча. Как-то незаметно Серафима отодвинулась в свой угол. Потом опрокинула на себя чистую шайку воды и пошла одеваться.

Приоткрыв двери из бани, остановилась, обернулась:

— Обидел ты меня сейчас, Константин. А ведь ты у меня один остался. Тетку-то неделю назад отпели...

— То есть как отпели?

— Умерла, пока ты ездил...— Серафима всхлипнула.

— Но... погоди, Серафима...— растерянно проговорил он.

Однако Серафима молча оделась и, поджав обиженно губы, вышла.

Так, с поджатыми губами, она ходила весь день.

Вечером он, не вытерпев, легонько взял ее за плечи, повернул к себе:

— Ну, полно, Серафима... Я ведь не знал... про тетку...

Она смотрела на него снизу голубыми глазами, которые были полны обидчивой влаги.

— Уж я ли тебе не служила? Уж я ли не послушная жена тебе? И впредь буду такой же, Костенька...— Помолчала и добавила со вздохом: — Ладно, и... прости, если чем досадила тебе, дура...

Серафима улыбнулась, сделалась прежней.

После этого он, Костя, никогда не приезжал без пленных. Любовь это была, что ли? Черт его знает. Но только ему страшно хотелось, чтобы Серафима, встречая его, кидалась на шею и болтала от радости ногами.

Но нет-нет да и чудилось Косте, что эта же Серафима стоит возле амбара за деревьями, смотрит на кучу горячих углей, на

обожженных людей и усмехается, усмехается... Однако спросить, действительно ли она стояла за деревьями, почему-то не решался.

Сам к амбару ни разу больше не ходил, что там делается — не знал.

...Теплым сентябрьским днем, когда слабый ветерок срывал с берез и осин пожелтевшие листья и кружил их в воздухе, загорелась вдруг где-то в лесу перестрелка. Демид в одной рубахе выскочил из дому и нырнул в лес. Константин метнулся было за ним, но невольно остановился — улица деревушки, всегда пустынная, на этот раз была оживленной. Почти из каждого дома повыскакивали женщины, закутанные с головы до ног в черные платки, бородатые мужчины, работавшие у Кости проводниками, высыпали, как горох, дети. Дети заплакали, женщины, воздев руки к небу, заголосили, завыли. А мужчины, тоже задрав бороды к небу, беспрерывно осеняли себя широкими крестами.

— Чего это они? — спросил Костя у жены, которая тоже вышла на крыльцо.

— Не видишь — молятся,— сухо ответила Серафима.— От антихристов защиты просят.

Серафима сошла с крыльца, направилась вдоль улицы. И тут случилось то, чего меньше всего он ожидал: жители деревушки падали один за другим в ноги его жене, а Серафима, тоже закутанная в черный платок, шла вдоль улицы, направо и налево разбрасывая кресты своей беспалой рукой.

Костя так и сел на ступеньку крыльца с открытым ртом.

Но сообразить что-нибудь не успел. Из леса выскочил Демид на коне. Подскакав к крыльцу, сказал упавшим голосом:

— Выследили нас! Давай за речку. На Козьей тропе держи красных. К вечеру оставь кого-нибудь за себя и приезжай на совет. Патроны берегите...

И снова, пригнувшись к самой лошадиной шее, нырнул в лес.

Он, Жуков, знал эту Козью тропу — не раз уходил по ней «на промысел». Вскочив, он побежал туда, где раздавались выстрелы.

Минут через десять был на месте. Восемь незнакомых ему людей лежали на деревьях, наваленных поперек тропы, и, просовывая меж стволов обрезы, время от времени стреляли.

— Много их там? — упав с коня, крикнул Костя.

— Наше счастье, если мало,— ответил кривоплечий, с красным, как медь, лицом мужик.— Нас вот девять было. Теперь, после твоего прибытия, обратно девять.

Только сейчас Костя заметил труп, валявшийся сбоку тропинки. Вернее, не весь труп, а только ноги убитого. Падая, он упал головой в болотную ряску, ласково зеленеющую у самой тропинки, и воткнулся почти наполовину.

— Не стрелять! — приказал Костя.

Люди, оставив обрезы, обернулись. Некоторые стали закуривать, ожидая, что он скажет.

Откуда-то справа сюда, на Козью тропу, долетела глухая дробь, будто частый град ударял по чьей-то спине, обтянутой полушубком, и смолкла. Тотчас такая же дробь просыпалась слева. Затем далеко-далеко сзади.

— Обложили со всех сторон,— проговорил он.

— Это мы и сами знаем,— усмехнулся пожилой угрюмый человек с мохнатой, как овчина, шеей.

Раздался выстрел, и кривоплечий скатился под ноги Косте. Остальные припали к обрезам, начали торопливо стрелять.

— Отставить! — опять заорал Костя.— У вас что, патронов много?!

Стрельба снова прекратилась.

— Стрелять только уж наверняка. Да не высовывайтесь... Перещелкают по одному.

До вечера Костя лежал за наваленными деревьями, внимательно глядел вперед сквозь завядшие ветки. Время от времени красноармейцы пытались продвинуться по тропинке, но их отгоняли тремя-четырьмя выстрелами.

Когда стало садиться солнце, Костя ткнул в бок мужика с лохматой шеей:

— Как фамилия?

— Сажин я Парфен... Чего тебе?

— Останешься за меня. Глядеть в оба! А слушать в четыре уха! Понял? До темноты вернусь.

— Патронов там спроси у Демидки...

Костя сполз с деревьев, бросил взгляд на труп кривоплечего, потом зачем-то поискал глазами второго убитого. Еле-еле заметил над ряской два торчащих сапога — за полдня болото почти засосало его.

— Свалите-ка и этого... мешает ведь,— бросил он уже на ходу. Бросил и сжался весь: как бы еще не пустили пулю в спину за такие слова...

Пулю не пустили, и он благополучно добрался до деревни. Почти одновременно подъехали с разных концов Демид в смятой рубахе, в порванном пиджаке, Гаврила Казаков и еще три человека. У Гаврилы голова была перемотана кровавой тряпкой, лицо бледное.

Демид бросил на стол револьвер, снял пиджак, схватил обеими руками крынку, опрокинул ее в рот, долго пил, струями разливая молоко на грудь, на чистый пол...

Демид поставил крынку на стол, вытер рукавом с подбородка, потом ладонями с груди молочные капли, спросил:

— Ну?

— Держимся... пока.

— Ага. Ну что ж...— Меньшиков сел на табуретку и задумался.

После короткого молчания Казаков проговорил:

— Боюся я, Демид, это только какой-то передовой отряд. Как бы подкрепление не подошло. Тогда...

— В том-то и дело! — вскинул голову Меньшиков.— Эти что! Этих мы до снегов могли бы сдерживать.

— Патронов-то хватит! Люди просили...— подал голос Костя.

— На этих хватит.

И опять установилось молчание. Нарушил его снова Гаврила.

— Что же делать, Демид? Этих мы, конечно, сдержим. По всему видать, их немного. Но и они нас не выпустят. Э-э, черт, мутит что-то,— потрогал Казаков повязку на голове.— И если не идет к ним подкрепление, так пошлют за ним. Дело ясное.

— Еще бы не ясное,— усмехнулся Демид. И Костя почувствовал, что Меньшиков растерян, испуган.— Уходить надо.

— Да как? Все тропы заложены.

— А как — я подумаю. Серафима! Накорми нас.

Серафима вышла из своей комнаты, выволокла из печки большой горшок.

Ели молча. Поужинав, Демид нехотя сказал:

— По всему видать — надо нам уходить глубоко, на самое дно... И с концом, чтоб никто не знал, жили мы на земле, нет ли... Ну ладно, пока все по местам. Я сейчас проверю все тропы, к полуночи буду здесь. Чуть чего — связного ко мне. А утром, с рассветом, сами сюда. К тому времени я, может быть, придумаю что.

Казаков и все остальные, кроме него, Кости, ушли.

— А ты, Жуков, чего ждешь? — поднял на него Демид круглые глаза.— Хотя постой. Вместе жили — вместе и помирать, коли что. Слышь, Серафима?

— Зачем помирать-то? — жалобно сказала она, собирая со стола тарелки.— А ты, Костенька, иди, иди... Берегись только от пули, родимый.

— Н-нет, пусть подождет! — упрямо заявил Демид.— Вот втроем и давайте думать, как уцелеть. Одна голова — хорошо, а три — лучше.

— Бог милостив, убережет, может. Гневаться ему вроде не за что на нас.

Серафима вздохнула сиротливо, потуже завязала платок на голове.

И только потом, как показалось Косте, недовольно покосилась на Меньшикова.

— Милостив? — переспросил Демид, презрительно сжав тонкие губы.— На бога, говорят, надейся, а сам не плошай. Мы-то можем не сплошать... Можно улизнуть, говорю, сейчас втроем... Знаю тут еще одну заветную тропку... Да... Сами уйдем, а хвост останется.

При этих словах на лице Серафимы плеснулся испуг, потом проступил гневный румянец. Она поглядела на Демида осуждающим взглядом.

— Можно ли такое даже в мыслях!.. Бог требует о ближних своих заботиться больше, чем о самом себе. Попадут в руки дьяволов, нечеловеческие мучения примут.

— Да я о том и говорю! — раздраженно крикнул Демид.— Чего меня учить?!

— Господи, разве я учу? — обиделась Серафима, даже, кажется, всхлипнула.— Я только говорю: уходить отсюда — так всем вместе.

— Вместе? — переспросил Демид, суживая глаза.— По моей тропке всем не пройти. Узкая шибко. Нам бы проскользнуть, не зацепиться за что. Да и... Гаврилу вон мутит, не ходок уже... А другим я что-то не шибко доверяю.

— Что ж, остальным бог другую тропку укажет.

Демид еще более прищурил глаза, почти совсем закрыл их, оставив тонкие, не толще лезвия ножа, щелочки.

— Бог? Не врешь?

— А что? Мать моя духовная завещала: в любой беде помолиться только надо,— принялась вдруг горячо убеждать она Демида.— Хорошо будем молиться, истово, всю ночь. А может, и весь завтрашний день.

— Ага... Так...— Демид встал.— Значит, до следующего вечера нам держаться надо?

На это Серафима уже не ответила и принялась молиться, чтобы не потерять времени. Демид, словно в каком-то замешательстве, потоптался и промолвил насмешливо:

— Пошли, Костя! Ее задача — молиться, а наша — дело делать.

Это Косте уже не понравилось.

По отдельным словам, по поведению Демида и Серафимы он понял, вернее — стал догадываться, что их спасение теперь целиком зависит от жены, а Меньшиков еще издевается.

— Ты не смейся все-таки...— Костя хотел добавить «сволочь». Но сдержался и только повторил: — Ты, Демид, не издевайся, раз уж...

— Ладно, ладно,— совсем мирно ответил Меньшиков.— Наша задача с тобой — продержаться завтра до вечера.

И впервые за все время вдруг мелькнула у него, Кости, тогда мысль: а что, если верховодит тут не Демид, а его собственная жена, Серафима?!

Мысль это была настолько оглушительной, что у него потемнело в глазах, он невольно согнулся и сел на землю, проговорив вслух:

— Нет, нет... Не может того быть!! Не может...

— Чего, чего ты?! — подбежал к нему Демид, затормошил.

— Так я... Нога вот... подвернулась, погляди, не сломал?

Он поднялся с помощью Демида, сделав шаг, другой.

— Нет... ничего вроде.

В ушах покалывало, в голову с горячим звоном билась кровь: «Вдруг и я «не ходок»...»

...Ушли они из деревни после того, как, по выражению Демида, «замели хвост».

Последнюю ночь Костя пролежал тогда, не сомкнув глаз, на Козьей тропе. Впрочем, ночь прошла тихо, без единого выстрела. Утром, как велел Демид, пошел в деревню, снова оставив за себя Парфена Сажина.

На ступеньках крыльца сидел Казаков. Демид перематывал Гавриле голову чистой тряпкой. Казаков сильно осунулся за одну ночь, постарел. Лицо его обливалось потом, борода спуталась.

Улица деревни, залитая утренним, жидковатым еще солнцем, была пустынной, все дома плотно закрыты ставнями. Почерневшие от времени доски ставен были почему-то крест-накрест зачеркнуты белыми известковыми полосами.

Ночью высыпала обильная тяжелая роса. Она разноцветной изморозью лежала еще на жухлой траве, на желтых листьях деревьев, на тесовых крышах. Крыши быстро просыхали, струился над ними парок, и казалось, дома занимаются огнем где-то изнутри и вот-вот из-под крыш саданет пламя.

Из многих домов неслись заунывные звуки — не то плач, не то пение.

Из одного дома вышла женщина в черном, с большой иконой в руках, перешла через дорогу, скрылась в другом. На груди и спине у нее были нарисованы такие же белые кресты, как на ставнях.

По походке Костя узнал Серафиму. Перед тем как скрыться, она обернулась, приподняла икону, точно благословила их троих — Костю, Демида и Казакова.

Едва Серафима вошла в дом, как из него с новой силой понеслись вопли и стенания.

— Теперь ничего, не промокнет,— сказал Демид, закончив перевязку.

Гаврила тяжело встал:

— Ну, сейчас остальные командиры подойдут. Что надумал, Демид? Жар ведь у меня. В постель бы...

— Сейчас ляжешь,— глухо сказал Демид и, чуть откачнувшись назад, выдернул из кармана два револьвера и сразу из обоих выстрелил Казакову в спину.— Убрать.

Костя, без слов повинуясь, схватил труп Гаврилы и уволок в сарай.

Из лесу выбежали один за другим еще два командира. Их фамилий Костя не знал. Демид стоял возле крыльца с револьверами в руках. Он не стал их даже прятать, замахал ими, закричал:

— Скорее, скорее, черт бы вас побрал! Долго вас ждать? Живо ко мне!

Ничего не подозревая, командиры, дыша, как загнанные лошади, подбежали к Меньшикову. Отдышаться они не успели.

Демид вскинул обе руки и всадил в каждого по несколько пуль.

Отер рукавом пот со лба, огляделся вокруг:

— Черт, где же четвертый?!

Четвертого еще не было.

Улица деревни стала вдруг заполняться народом. Из каждого дома выходили мужчины, женщины, дети. Все были в черных саванах, у всех на груди и на спине белели кресты, такие же, как у Серафимы. Все женщины и дети держали в руках иконы, женщины — побольше, дети — поменьше. Каждая икона, кроме тех, которые несли дети, была обрамлена зачем-то соломенными жгутами.

У мужчин в руках ничего не было. Они, задрав головы, прыгали на одном месте, словно хотели достать что-то с неба, выкрикивали какие-то слова. Женщины не то пели, не то подвывали. Дети плакали.

Потом, не переставая голосить и подвывать, не опуская рук, все двинулись вдоль улицы. Впереди, прямая, строгая и торжественная, шла Серафима. В руках у нее был огромный восьмиконечный крест, тоже обвитый, как иконы, пучками соломы, только вымазанный известью.

— Четвертого, видно, без нас уложили,— сказал Демид, взбежав на крыльцо.— Айда за мной!

Костя боялся двинуться с места. «Пойду — влепит пулю, как Гавриле, как этим...»

— Да иди же, чтоб тебя... Жить, что ли, надоело? Через полчаса, а может, раньше, тут все равно красные будут.— И Демид скрылся в сенцах.

Это подействовало. Костя отчетливо ощутил вдруг свою обреченность, понял наконец окончательно в эти секунды, что выхода нет. Хоть так помирать, хоть этак... Поднялся и, ничего не видя, пошел вперед.

Он медленно зашел на крыльцо, переступил порог в сенцы и тут остановился в темноте. «Стрелял бы скорей, черт...» — подумал он устало и безразлично.

Но выстрела не последовало. Вместо этого кто-то схватил его, толкнул в избу. Здесь Костя осмотрелся и увидел, что Демид натягивает черный балахон. Несколько таких же валялось на полу. Посредине стояло ведро с известью, из ведра торчала белильная кисть.

— Надевай! — приказал Демид. И вытащил кисть из ведра. Так как Костя медлил, Меньшиков закричал, выпучивая глаза: — Кому сказано — надевай!

Едва он накинул на себя саван, Демид провел ему мокрой кистью по груди крест-накрест. Потом такой же крест нарисовал на спине и подал кисть:

— Теперь ты мне.

— Да зачем это?

— Не разговаривай! Некогда!

...Четвертый командир вбежал в комнату неожиданно, с ходу прыгнул на Демида, повалил на спину и воткнул дуло обреза в грудь, захрипел:

— Это что, а?! Это кто же у крыльца... тех двоих, а? Ты, жаба пучеглазая? Я давно замечал — не туда кривишь свои тонкие губы...

Демид растерялся, побледнел:

— Каких двоих, ка...

Костя подскочил сбоку, ударил мокрой кистью по обрезу, пытаясь выбить оружие из рук рассвирепевшего мужика, а одновременно толкнул его плечом. Тот отлетел к порогу, упал, но оружия из рук не выпустил. Вскакивая на ноги, он заорал:

— А-а, сволочуги вшивые! Не напрасно, видать, казалось мне...

Мужик уже поднял оружие, но на какую-то секунду Костя, вспомнивший, что у него тоже есть револьвер, опередил его. Выстрела своего он не слышал, только увидел, что мужик выронил обрез, согнулся назад и, будто переломившись, рухнул на порог.

— Спасибо, Костя. Не забуду,— сказал, поднимаясь, Демид.

Через минуту они, поблескивая белыми крестами, выскочили на крыльцо. Чаще, чем прежде, трещали со всех сторон выстрелы. Но теперь дробь выстрелов время от времени покрывала ухающие взрывы гранат. Костя знал, что гранат у них не было. Значит, рвались гранаты красноармейцев. А это значит, что они подбирались вплотную к завалам через тропы.

Было ясно: через несколько минут все кончится, все стихнет... Тем более что на тропах нет командиров...

Серафима не спеша уводила жителей деревни в лес, в ту сторону, где стоял на поляне зловещий амбар. Подобрав полы саванов, они с Демидом кинулись догонять толпу.

Через минуту он, Костя, и Демид шагали в голове толпы, чуть позади Серафимы.

«Куда идем-то? Куда?» — хотел спросить Костя, но не решался.

Толпа выла, стонала, плакала, заглушая временами звуки гремевшего вокруг деревни боя. И кажется, из этого воя и плача складывался, рождался заунывный мотив:

Ве-елия радость днесь в мире явися-а,
Сущие во гро-обах живот восприяша-а...
Воспоем же, други, пе-еснь радостну-у ныне...

С этой песней и вышли на поляну, где Демид производил расправу над сельсоветчиком и председателем коммуны. Подошли к амбару. Толстенная дверь его была распахнута настежь.

Серафима стала в сторонку, а вся толпа хлынула в амбар. Первыми зашли они, Демид и Костя. Серафима благословляла

и благословляла своим огромным крестом каждого, точно вела счет входящим.

Она вошла последней. Напрягая все силы, потянула на себя дверь. Демид протолкнулся к ней, помог набросить кованую железную скобу на пробой, навесил огромный замок. Громко лязгая, повернул дважды ключом, передал Серафиме. Та повесила ключ себе на шею, спрятала на груди, взяла свой крест, прислонила его к двери, прикрыв замок.

В амбаре было тесно. Под ногами шуршала солома. Пахло почему-то керосином. Стоял сплошной стон, сквозь который еще слышались выстрелы снаружи. Женщины и дети по-прежнему держали в руках иконы, мужчины все так же воздевали руки к небу.

Вдруг Серафима, поблескивая в темноте глазами, закричала нараспев, тоже вскинув кверху руки и голову:

— Братья и сестры во плоти и крови! Помолимся! Помолимся! И позовет нас к себе господь...

Стон и вой стали усиливаться с каждым ее словом. Уже не слышно было ни выстрелов снаружи, ни плача детей. А Серафима все кричала и кричала:

— Помолимся! Помолимся! Помолимся!..

Затем она опустилась на колени, оторвала от креста, прислоненного к двери, пучок соломы, подняла его над головой и закричала:

— Боже праведный! Прости нам грехи наши тяжкие, оборони от смерти лютой, не отдавай в руки супостатов и дьяволов! Души свои мы давно тебе отдали, возьми и тела наши! Боже, сотвори чудо, сотвори! Сотвори!

Вой и стон прекратились. Все ждали, как понял он, Костя, чуда. И дождались. Бог сотворил его. Пучок в руках Серафимы вспыхнул огнем.

Как он сотворил чудо, никто не видел — в амбаре было темно. Но едва блеснул огонек, завывание людей раздалось с такой силой, что казалось, от человеческих воплей развалятся сейчас стены, разлетится в щепки настланный из плах потолок.

Ныне все лику-уе-ем...—

стараясь перекрыть вопли, запела Серафима. С разных концов раздалось в поддержку дико и страшно:

Духо-ом то-оржеству-уем!

И затем весь амбар застонал в неожиданном фанатичном экстазе:

Про-остил бо госпо-одь грехи на-аши-и!.. Аминь...

Серафима подняла свой крест, подожгла его. Он мигом оделся пламенем.

— Аминь! Аминь! Аминь!! — без конца повторяли и повторяли люди, толкая друг друга, пробиваясь к Серафиме, тянули к ее кресту руки с иконами.

Соломенные жгуты, обрамляющие иконы, немедленно загорались. Женщины поднимали их высоко над головами, словно не ощущая, что пламя жжет руки. С икон сыпались на пол искры. В соломе на полу тоже уже начинали плясать огненные язычки. Амбар наполнился едким дымом. Дети с ревом шарахались от огня, терли кулачонками глаза.

— А ведь сгорим, сгорим! — не выдержал наконец он, Костя.— Слышь, Демид! Что же это на такую смерть себя...

— Костенька, родимый мой... ты ничего не бойся, пока я с тобой,— услышал он шепот у своего уха. Когда Серафима оказалась рядом, он и не заметил.— Не бойся, не бойся,— повторяла она и толкала его куда-то вдоль стены.

А в амбаре творилось невообразимое. Лоскуты пламени плясали на полу. Они лизали одежды мужчин, женщин и детей. Мужчины, не обращая внимания на огонь, все так же пытались достать что-то сверху вытянутыми руками. Женщины, не слыша предсмертных криков охрипших уже ребятишек, потрясали в воздухе обгорелыми иконами. Некоторые дети уже лежали на полу без сознания. Их топтали, не замечая, что топчут. В отсветах огня по всему амбару плавали густые, красные, как кровь, космы дыма. Люди задыхались, кашляли, орали, пели, стонали, выли...

— Сюда, сюда...— шептала Серафима, подталкивая его, Костю, и Демида. Потом согнулась, разгребла солому в углу, звякнула железным кольцом.— Демид, потяни.

Демид, задыхаясь, обеими руками дернул за кольцо, поднял плаху и тотчас нырнул под пол вниз головой. Под полом было неглубоко, и ноги Демида долго еще, как показалось Косте, торчали в амбаре. Потом медленно скрылись. И Костя вспомнил невольно вчерашнего убитого на Козьей тропе, ноги которого так же вот торчали до вечера над болотом.

— Лезь! — шепнула Серафима.

— А ты?

— И я. Лезь, лезь скорее! — повторила Серафима, шаря почему-то руками по стене.

Костя невольно глянул туда и сквозь густой дым, который еле-еле пробивало бушевавшее в амбаре пламя, увидел болтавшийся на стене конец веревки. Его и пыталась поймать Серафима.

— Дай я помогу,— безотчетно проговорил он.

Проговорил и испугался, потому что Серафима оскалила вдруг зубы, как весной, когда стояла за деревьями и глядела на кучу углей, с обоих боков носа у нее собрались и задрожали морщины...

Костя прыгнул в щель. Он провалился только по грудь и, чувствуя вокруг себя прохладное пространство, стал приседать.

И в это последнее мгновение увидел снизу, как Серафима все-таки поймала болтавшуюся в углу веревку, потянула за нее. И тотчас с противоположной стены, откуда-то сверху, хлынула, как обвал, стена огня, которая стала заливать метавшихся в амбаре людей. Эта огненная стена едва не захлестнула, не пришибла и Серафиму, но она успела спрыгнуть под пол и захлопнуть за собой половицу.

Несколько секунд они сидели с женой под полом амбара рядом, плечом к плечу. Вверху уже ничего не было слышно, кроме тихого и ровного жужжания. Казалось, там гудел потревоженный кем-то рой пчел.

— Вот и все,— тяжело дыша, вымолвила Серафима.— Я говорю, ты не бойся со мной...

Потом начали капать сверху комочки огня. «Вон что! — леденея, догадался наконец он, Костя.— Бочку керосину, выходит, опрокинула она веревкой сверху на людей. Бочку, не меньше!..»

— Серафима! Серафима! — закричал он почти в беспамятстве.

— Молчи, молчи! — зажала она ему рот влажной, пахнущей известью рукой.— Господи, сгорим ведь! Сбрасывай, сбрасывай балахон-то с себя!

Она сорвала дымившийся уже балахон сперва с себя, потом с него. Толкнула его куда-то в сторону. И он пополз вперед вдоль темной норы, слыша, как сыплется ему на спину земля.

На свежий воздух выползли где-то в густом ельнике. Серафима опять молча толкнула его в спину, и он, припадая чуть не на колени, побежал, не оглядываясь, меж деревьев.

— Не сюда... направо, направо! — крикнула Серафима.— Погоди, пропусти меня вперед. Не отставай.

Подбежали к речке, в которой он ловил когда-то от нечего делать рыбешку. Серафима бросилась в воду, поплыла, торопливо загребая под себя руками. Вылезла на глинистый противоположный берег, секунду-другую лежала на животе.

Пока Серафима отдыхала, Костя глядел назад. Совсем рядом, может быть, всего метрах в трехстах, вздымался над лесом высокий огненный столб. Красные языки пламени махали по небу, как огромные, растрепанные ветром по краям полотнища.

Было тихо. Было до того тихо, что он, Костя, невольно усомнился: в самом ли деле почти два дня шел вокруг деревни жестокий бой, не во сне ли почудились ему все эти завывания, стоны, песни и рев людей с белыми крестами?

— Скорей, скорей, чтоб вас! — закричал Демид, показываясь из зарослей.— Сколько вас ждать?!

И они с Серафимой поднялись, побрели за Меньшиковым. Шли и шли весь день, потом всю ночь, то по сухому месту, то по зыбучей трясине. Под ногами чавкало, булькало, урчало. Наверное, это и была та заветная тропинка, о которой говорил Демид.

На рассвете остановились и попадали в какую-то жесткую, высохшую траву. Он, Костя, задремал. Едва закрыл глаза, как хлынула на него откуда-то с ревом огненная стена. Вот-вот она захлестнет его, вот он уже задыхается от нестерпимого жара. Он вскрикнул, дернулся и... проснулся.

Никакой огненной стены не было. Прямо над ним висело большое, лучистое, уже не очень жаркое солнце.

Серафима что-то варила в ведре, подвешенном на треногу. Демид сидел на земле и переобувался. Затем вытащил из мешка пару новых яловичных сапог и бросил ему, Косте:

— Переобувайся в сухое.

Он скинул раскисшую обувь. Демид бросил ему новый мятый пиджак. Он переодел и пиджак.

— Теперь пообедаем,— сказал Демид, завязывая мешок.— Серафима, готово у тебя?

Варево хлебали молча, прямо из ведра.

Серафима ела нехотя и вяло, а потом и вовсе отложила ложку.

— Чего ты? — спросил Костя.

— Так...— вздохнула.— Вы ешьте, ешьте... Я... Помолюсь я пойду.

Костя отшвырнул вдруг ложку, метнулся от ведра и, прокатившись по траве, уткнулся лицом в пресную, сырую землю. Но тут же вскинул голову, закричал, казалось, на весь лес:

— Молиться пошла? Н-нет, ты скажи, что ты за человек?!

Демид не спеша облизал свою ложку, сунул ее за голенище.

— Много люди ошибаются в жизни. И я обмишулился, выходит, с Гаврилой тебя перепутал, кажется.

Он, Костя Жуков, только беззвучно открыл рот...

Он, Устин Морозов, тоже беззвучно открывал и закрывал рот. Когда это было? Когда? Давно или недавно?! Где он, Костя Жуков, сейчас находится? Какой Костя?! Он — Устин Морозов. Он лежит сейчас не в тайге, а в своем собственном доме. Вон окно синеет, вот горит в нем все та же россыпь желтоватых звезд. Там, за дверью, спит его жена, Пистимея, вместе с дочерью Варварой. Тогда еще не было ее, дочери. И Пистимеи не было, была Серафима. Ага, значит, все это, и кошмарная куча углей возле амбара, и огненная стена, было давным-давно... Но почему показалось вдруг, что все это было сегодня, сейчас? И вчера было такое же, и позавчера. И месяц назад, и год, и десять лет... Ну да, всю жизнь лилась на него, настигала эта огненная стена. И вот сегодня почти настигла.

Устин мотал по подушке головой, словно опять хотел поймать широко открытым ртом свежую, прохладную струю воздуха.

Постепенно стал дышать ровнее. Но все тело болело и ныло, словно побывало в какой-то жестокой мялке.

Ну что же, начал он, Устин Морозов, размышлять дальше, почти настигла, но не затопила ведь его пока огненная волна. Тлеет и дымится на нем одежда, но, может, так и не вспыхнет огнем. Все жарче и жарче ему, но, может, не сгорит он, Устин Морозов, до самой смерти. А к этому жару он за свою долгую жизнь притерпелся, будто оплавился со всех сторон, как печной кирпич, остекленел. Да, может, не сгорит, может, не настигнет огненная волна, как не настигла там, в амбаре, как не настигла в ту вьюжную зиму 1922/23 года. А уж как они метались в огненном кольце, сколько истоптали снегу! Узнали их в одной деревне. И дальше — словно проклятье висело над ними: куда бы ни приткнулись, где бы ни притаились, намереваясь отдохнуть хотя бы с недельку, отдышаться, отогреться,— их местонахождение вскоре становилось известным.

...Вот бредут они втроем по лесу — впереди Серафима, сзади всех Демид,— бредут, озираясь, потому что давно начались обжитые места... Вот расположились где-то на ночлег в вонючей, низкой избе, хотели прямо на полу улечься спать. Но Серафима подняла маленькую свою головку, прислушалась, поводила ею из стороны в сторону, схватила табуретку, со звоном вышибла стекло. А сама в одном нижнем белье прыгнула в другое, распахнув створки рукой. Следом за ней вывалились и они, метнулись в лес. Кто-то стрелял в них сзади, из темноты, кто-то бежал за ними, долго ломая сучья сапогами... Вот опять бредут по лесу, уже по колено в снегу... Опять отлеживаются где-то, опять убегают, снова плутают по лесу...

...Наконец, уже перед самой ростепелью, жители одной из деревень обложили их намертво, выгнали на чистое место, прижали к пойме какой-то реки.

Выгнали их на берег поздним вечером. Отстреливаясь, они перебрели по воде, хлеставшей поверх льда, на островок, поросший редковатым вытаявшим камышом и мелким кустарником. За полминуты перемахнули островок, хотели броситься на противоположный берег реки. Но на другом берегу мерцали огоньки большого села, а по льду бежали навстречу им люди, размахивая охотничьими ружьями, вилами, оглоблями...

— Назад, в кусты! — прохрипела Серафима и первая попятилась в заросли.

Через четверть часа островок был плотно окружен почти со всех сторон. Их оттеснили из кустарника в самый конец острова, на голую песчаную косу. Но уже наступила темнота, и на черном мокром песке они были невидимы.

— Васюха, давай кинемся на них обвалом,— нетерпеливо сказал из кустарников молодой, ломкий голос.— Их всего трое, задавим моментом.

— У них оружие, дурак. На пулю семь раз наткнешься, прежде чем подбежишь к ним. Куда торопиться! Не уйдут теперь, сволочи. Нечего рисковать. А на рассвете, коли не сдадутся, перестреляем.

— А ежели они на лед — и дёру вдоль речки?

— А пущай... За островом лед дочиста размыло, там сплошь полыньи бурлят.

Над островком установилась полная тишина. Только время от времени там, в кустарниках, трещали сучья, шуршал прошлогодний сухой камыш под ногами. Иногда Демид стрелял наугад в темноту, но оттуда каждый раз доносилось что-нибудь насмешливое, вроде:

— Ты на карачки стань да выстрели. Может, хоть тогда попадешь.

А знакомый ломкий голос добавлял всегда одно и то же:

— Вы лучше сдавайтесь, бандюги сопатые. Отгулялись, понять бы пора...

— Побереги патроны,— негромко сказала Серафима.

— Для чего? — с отчаянием спросил Демид.

Патроны беречь в самом деле было не для чего. Это было ясно всем. Но Серафима, помолчав, все-таки прошептала:

— Господь весь мир сотворил за шесть дней и шесть ночей. За одну только минуту мало ли чего он сделать может. А у нас вся ночь впереди...

— А-а, взять бы твоего бога за бороду да высадить оставшиеся патроны прямо в замасленное хайло,— с тяжелым отчаянием огрызнулся Демид.

— Язык-то, язык-то, гляди, отвалится,— жестко сказала Серафима.

Демид постреливал всю ночь, но Серафима ничего больше не говорила. Лежа на песке, она, мокрая, как и все остальные, прижималась все плотнее и плотнее к нему, Косте, пытаясь согреться. Но согрелся немного от ее тела, завернутого в лохмотья, он сам, а она дрожала все время мелкой дрожью.

После полуночи и ей, кажется, стало ясно, что они обречены, что не поможет им ни бог, ни черт. Она пошевелилась, привстала:

— Что ж... родные мои. Помолимся хоть напоследок. Не грешники мы, чтоб без молитвы...

— Ляг! — прошипел Костя, услышав шум в кустарниках.— Саданут с ружья-то...— Он схватил ее за плечи и прижал к земле.

Лежа на песке, она проговорила:

— Чего уж теперь-то... Все равно уж. Была тебе я верной женой, Костенька, а любила ли — это...

Но вдруг замолкла на полуслове, к чему-то прислушиваясь.

— Что «это»? — грубо спросил Костя.

— Погоди,— попросила она.

— Н-нет, ты уж договаривай! Договаривай!

— Господи, чего ты! Любила ли, нет ли — это ты сам решай. Не умела я слова про любовь говорить, потому не говорила. Я все делала... у меня лучше на делах все выходит. А ежели не почуял любовь мою, значит, плохо я любила тебя, не так надо бы,— быстро проговорила Серафима, не переставая прислушиваться.

И в это время закричали в кустарниках:

— Лед пошел! Ле-ед поше-ел!

— Тихо!! — взлетел в темное небо зычный голос.— И хорошо, что пошел. Теперь-то уж совсем живьем похватаем бандюг.

— Теперь все,— повторил и Демид, как будто до этого он еще надеялся на что-то. И обернулся к Серафиме, закричал, чуть не плача: — Чего ж он, бог твой, а? Чего ж он, дерьмо прокисшее...

— А ты проси у него прощения, ты проси,— скороговоркой проговорила Серафима. Голос ее дрожал как-то странно. Он, Костя, догадался тогда сразу: не от страха дрожит, а от радости вроде или от волнения.

Кругом еще несколько секунд назад стояла полная тишина, а сейчас шум, грохот и скрежет тронувшегося льда нарастали с каждым мгновением. Серафима ползала от одного к другому и кричала, горячо дыша в уши:

— Вы глядите в оба! Вы глядите в оба! Под шумок как бы не кинулись на нас. Нам бы только грохот этот переждать. А то перемелет нас, перемелет...

Для чего ей было пережидать грохот, кто их мог перемолоть — он, Костя, так и не понял в ту минуту.

Вскоре главная масса льда прошла, шум стал утихать. Льдины больше не лезли на берег. И тогда Серафима поползла к краю косы, к навороченным белым глыбам.

— Скорей, скорей! — хрипела она, задыхаясь.

И опять он, Костя, подумал: «от волнения». А вслух спросил:

— Куда скорей-то? В воду? Лучше уж быть убитым, чем...

— Костенька, ради бога... Только не вставайте,— может, не заметят нас. Он, бог-то, может, предоставит нам еще одно-единственное... последнее... Верить только в него надо.

Ничего не соображая, Костя пополз за Серафимой. За ним, извиваясь, шуршал по мокрому песку Демид.

Потом долго, как казалось Косте, они лазили на четвереньках меж выброшенных на берег ледяных глыб, разбивая в кровь колени, сдирая с рук кожу. У самых их ног хлюпала вода, обдавая всех брызгами. Некоторые льдины, едва ступали на них, качались, уходили под воду или переворачивались и отплывали от берега, сразу же растаивая в темноте. Несколько раз каждый из них проваливался чуть ли не по пояс в воду.

— Только не подавайте голоса, только молчите,— беспрерывно шептала Серафима, помогая каждому выбраться из воды. Сама она прыгала и карабкалась по льдинам, как кошка,

и в ту же секунду оказывалась возле того, кто оступался.— Не может быть, чтобы не послал нам бог... льдинку. Льдинку покрупнее бы... Уплывем. Вот шепчет мне бог — уплывем...

— Да ты что? Утонем ведь! — невольно вырвалось у Кости.

— Может, утонем,— сразу же согласилась Серафима.— А может, и нет? А может, и нет, а? — дважды спросила вдруг она.— Вы льдинку какую подходящую поглядывайте... Может, с берега столкнуть какую...

И еще они ползали меж ледяных торосов сколько-то времени. Сколько — никто из них потом не мог точно сказать. Каждому из них, как и ему, Косте, казалось, что ночь уже прошла, что вот-вот прольется рассвет и тогда...

...Рассвет пролился, когда они были уже далеко от острова.

«Подходящую» льдину они увидели неожиданно. Она медленно выползала сбоку, из темноты, шаркнула краем о берег, раздавив, разбросав всякую ледяную мелочь, и, подхваченная течением, поплыла прочь от острова, тихонько кружась.

Она плыла, чуть покачиваясь на волнах, унося их троих от смерти. Как они все оказались на льдине, в какой миг попрыгали на нее — этого Костя, хоть убей, уже не помнил. Он пришел в себя от этого покачивания да от слов Серафимы:

— Вишь, Демид... А ты — взять бы за бороду... Только не шевелитесь, не шевелитесь. Кто знает, может, льдина с трещиной. Переломится, как пресная лепешка, и тогда уж...

Рассвет пролился, когда они плыли меж угрюмых, молчаливых лесных берегов. Река в этом месте была узкой и тихой.

Серафима тревожно оглядывала берега, мрачно насупив брови.

А берега все сдвигались и сдвигались, словно река сходила на нет. И по мере того как берега сдвигались, брови у Серафимы расходились, расправлялись.

— Знакомы, что ли, места? — спросил Костя.

— Вроде не так далеко и знакомые, слава тебе, господи. Вот только пособи господь благополучно слезть. Да уж как-нибудь. Не век же будет плыть льдина посередке, где-нибудь да приткнется к берегу.

В голосе ее слышалась радость.

Скоро впереди показались ледяные нагромождения. Но был ли это затор или стоял еще лед-целик — им было уже безразлично. Льдина быстро, словно подталкиваемая кем-то из воды, прибилась к берегу, метров трехсот не дойдя до затора.

Они спрыгнули на глинистый берег, вскарабкались на невысокий яр, из которого торчали корни деревьев, и кинулись в бурелом.

Часа через полтора они грелись и сушились возле костра, разложенного в глубоком, но уже вытаявшем урочище. Костер разводить было опасно, потому что поблизости могло оказаться селение. Но они настолько окоченели, что не думали об опасности.

А когда костер разгорелся, их не могла отогнать бы от тепла и угроза смерти. Они подставляли огню спины и бока, трясли над огнем грязные лохмотья одежды. Демид почти засунул в костер запревшие ноги и, закрыв от удовольствия глаза, тихо проговорил:

— Ну и сволочь ты, Серафима, по отношению к Советской власти! И откуда в твоей маленькой голове столько ума? Без тебя мы давно квартировали бы... в могилевской губернии.

— Болтай! — скупо сказала Серафима, плотнее запахивая на себе подсушенный пиджачишко, подпоясываясь размочаленной бечевкой.— Что мне Советская власть? Я вас... тебя да Костю вон... сберечь старалась. А Советская власть, может, не хуже прежней...

«...Так и сказала тогда, стерва: «Советская власть, может, не хуже прежней»,— подумал Устин Морозов, тяжело дыша.— Ягненком прикинулась: «Что мне Советская власть?» Ишь ты, будто не она и верховодила там, в зауральской деревушке».

Но в этот момент в голове у Морозова словно что перелилось из одной половины в другую. Он сунул зачем-то голову под подушку и стал думать: «А почему, собственно, она? С чего мне ударило в голову? С чего померещилось? Да что же это происходит со мной?! Ну, действительно, как сказал тогда Демид, сволочь она по отношению к Советской власти. А мы сами?.. Тьфу, додумался, черт возьми... Ну, в самом деле, умную она башку носит. Этим и пользовался Демид. Верховодил нами, конечно, Демид. И там, в деревушке, и потом... И все время».

Что было после того, как выбрались со льдины? Ага, грелись у костра. А потом, потом? Ну да, потом снова, в течение нескольких недель, Серафима вела их, оборванных, грязных, голодных, по тайге. А вечерами грелись у костров. Он, Костя, чтобы хоть на время забыться, притупить чувство голода, каждый раз начинал думать о своей усадьбе над Волгой, о добротных амбарах, доверху засыпанных тяжелой, холодной пшеницей. Вспомнив амбары, он вспоминал всегда почему-то Фильку Меньшикова, который оставил ему половину своей веры. Вспоминал и ясно чувствовал: он, если не подохнет сейчас с голоду, будет мстить за эти амбары с зерном вдвое, втрое беспощаднее и яростнее, чем мстил до сих пор, потому что... потому что деревце, выросшее из Филькиного семечка, не сломалось, не засохло. Оно разрослось, оказывается, за последнее время еще гуще, ветви стали еще крепче. Кровь и огонь, очевидно, были хорошим удобрением для деревца, а последняя зима, мыканье по лесу, ужасная ночь на островке и качающаяся льдина — все это закалило его ветви, превратило их в упругие стальные прутья. И теперь никому никогда не обломать их. Никогда! Разве вот по одному кто сумеет перекрутить их да

повыдергать. По одному... И тем самым засушить все деревце, а потом и вывернуть наружу подгнившие корни... А, что? Что?! Что?!

...Устин выдернул из-под подушки голову, закрутил ею в темноте, пытаясь сообразить, кричал ли он вслух.

В ушах еще звенело: «Что?.. Что?.. Что?!» Но в комнате было тихо. Дверь в комнату жены была заперта.

Опять колотилась под самым черепом вся кровь, которая была в его, Устиновом, теле, опять ему показалось, что сейчас, сейчас разверзнется вся земля, полыхнет невиданной силы и ослепляющая до черноты молния и... придет наконец ответ — почему же он наделал сегодня за один день... только за один день столько непоправимых ошибок, сколько вроде не сделал за всю жизнь?!

И, опять боясь, что этот ответ в самом деле придет, он торопливо сунул голову обратно под подушку. Там, под подушкой, его, Устина, тотчас встретили Демид, Серафима и... Тарас Звягин.

...Тарас Звягин, живой, невредимый, в новом суконном пиджаке, запыленном чем-то белым — не то мукой, не то известью, стоял посреди маленькой клетушки, куда завела их ночью Серафима, и улыбался.

— Хе-хе, явились, ядрена шишка! — В голосе его чувствовалось явное сожаление, недовольство.— А я уж думал — в панфары сыграли где...

— Тараска? Ты?! — подскочил с ряднины, расстеленной на полу, он, Костя.

В единственном оконце виднелись прошлогодние сухие камыши вперемешку с новыми зелеными побегами, за камышами расстилалась водная гладь. Вода была бронзовой от утреннего солнца. Окно находилось, видимо, на северной стороне и не освещалось лучами, но по неровным стенам комнатушки переливались солнечные зайчики, отраженные водой.

— Да вроде бы,— сказал Звягин.— А я, говорю, думал — не придете уж.

Потом они сидели в просторной, солнечной комнате и завтракали. Тарас в ситцевой, в крапинку, рубахе дул на блюдце с чаем и рассказывал:

— Нэп этот, про который я все пытал вас там,— ничего. Хороший, проще сказать, нэп. Приехал я сюда — и меленку купил. Славная мельница, вишь, вон какая голубушка,— кивнул Звягин в окно.— Места тут хлебные, не так далеко Курган да Шадринск города стоят. Тавда-река от нас тоже поблизости, а с другой стороны еще одна речка, под названием Тура. Одно вот жалко — поздно я прибыл сюда. Можно было мельницу-то даром получить, да не такую. Как нэп этот вышел, ба-альшие

мельницы в аренду давали... Деньжонок можно было огрести на этой аренде! Хотя, по совести сказать, я не жалею. Главное-то мне не мельница, главное — торговлишку завести хоть никакую в Сосновке. Село такое здесь, верстах в пятнадцати. Да не огляделся еще, всю прошлую осень, зиму да нынешнюю весну с мельницей этой проваландался. Это логово надо было в первую очередь...

Костя слушал-слушал и спросил:

— Значит, прошлым летом, во время той поездки, когда мы отстреливались от мужиков, тебя не...

— Дык как видишь... Живой,— быстро сказал Тарас, громко принялся схлебывать чай с блюдца.

— Постой. Значит, ты, панфара слюнявый, просто сбежал от нас?! — загремел он, Костя.— Сбежал, чтоб шкуру свою спасти?!

— Но-но, ты полегче! — повысил голос и Звягин, поглядел сперва на Серафиму, потом на Демида.— Не шибко-то здесь...

— В самом деле, чего шумишь? — спросил спокойно Демид.— Он никуда не сбегал. Я Тарасу разрешил... коль уж так хочется тебе знать.

— Ты?! А не Серафима вон? Что-то больно уверенно вела нас сюда!

— Она посоветовала, а я разрешил,— нехотя сказал Демид.

— С чего доброта такая нашла?

— Дурак,— тем же голосом проговорил Демид.— Куда бы ты голову теперь приклонил?

— Значит, заранее все мозгой раскинули?

— Надо было... На всякий случай. Как суслики в норе сидели. А норку вешней водой может залить... на сей случай у старого суслика запасный выход есть...

—И денег ты или Серафима — кто вас разберет! — дали Тараске на мельницу? — с непонятным самому себе раздражением и остервенелостью продолжал допрашивать Костя.

— Какая тебе разница, кто давал деньги? Может, я, может, забывали мы кое-какие мешки его вытрясать. Дела наши, как видишь, не блестят. Кто же виноват? Еще попроси жену помолиться, что добрались сюда подобру-поздорову...— И стал глядеть в окно на черный огромный пруд, густо заросший по берегам камышом.

— Значит, так...— подал от стола свой голос Звягин.— Я на вас побатрачил, теперь... хе-хе... вы на меня попробуйте. То есть я говорю — считаться будете моими работниками.

Посередине пруда плеснулась большая рыбина, к берегу пошли черные широкие круги.

— Ты рыбак вроде? — спросил Демид у Кости.— Будем батрачить на Тараску, а для отдыха рыбку ловить. И будем ждать...

— Опять ждать? Чего ждать?! Сколько ждать?! — выкрикнул Костя.

И его слова были тоже как черные круги на черной глади пруда. Круги расходились по воде, достигали берегов и пропадали.

Была тогда, кажется, середина или конец мая 1923 года...

...Потом наступила середина или конец мая 1928 года.

Что случилось за эти пять лет? Ничего. Каждый день тоже был как круг на воде. Возникал, расходился и пропадал. И каждый месяц — как круг, и каждый год...

Они с Демидом с утра до вечера работали на мельнице, пропылились мучной пылью насквозь. Иногда действительно рыбачили.

Постепенно Костю охватывало безразличие, внутри остывало что-то, обмерзало, как мельничное колесо зимой. Лед с колеса они с Демидом время от времени обкалывали, но лед, копившийся у него внутри, никто не мог ни убрать, ни растопить.

Понемногу он перестал замечать, что происходит вокруг, ничем не интересовался. Он не заметил даже, что забеременела Серафима.

Серафима жила в той же клетушке, где ночевали первую ночь по прибытии на мельницу, предоставив им с Демидом большую и светлую комнату наверху.

— Ничего, мне хорошо тут,— объяснила она.— По утрам веселые зайчики пляшут на стенах. Люблю.

В этой клетушке в 1925 году и родила она сына.

Костя смотрел на новорожденного и никак не мог понять, радость в душе или безразличие.

— Как назовем сыночка, Костенька? — спросила Серафима.— Может, Феденькой, а?

— Валяй,— отмахнулся Костя.

— Вот и наследничек! Вот и продолжится род наш! — сказала Серафима.— Бог даст, не переведется он, не иссякнет никогда...

Тарас Звягин редко появлялся на мельнице. Но когда появлялся, покрикивал на них, как на настоящих батраков:

— Живо, живо у меня поворачиваться! Зря хлеб только жрете... Эвон как завозно нынче...

Мельница действительно редко когда стояла, помольцев было много. Костя, белый как снег, равнодушно таскал и таскал мешки с мукой, с зерном...

Дела у Тараса, видно, шли неплохо, он быстро приобрел степенность и замашки настоящего деревенского кулака. Он завел-таки торговлю в Сосновке, часто ездил за товарами в Тобольск, Тюмень, Шадринск и даже, как говорил Демид, в бывший Екатеринбург. Потом начал где-то распахивать земли, сеять пшеницу.

— Гляди! — не раз слышал Костя, как предупреждал Демид Звягина.— Не хапай сильно-то. Обожжешься.

— Как же, наживешь тут шиш два уха! — плаксиво ныл в ответ Тарас. Вид у Звягина был такой, точно его взяли за шиворот да окунули в кипяток.— Я ведь сам-десять долгу выплатил вам с Серафимой уж! Побойтесь бога.

Костя догадывался, что Демид с Серафимой снова «трясут» звягинские «мешки».

Потом Костя, помнится, все чаще начал подумывать, глядя на Тараса: а почему, собственно, и ему не попробовать, как Звягин? Торговля — черт с ней, а хозяйство бы завести если... Отец погиб — не воротишь, но сгоревшие амбары с зерном — можно. И уж он бы двинул Демидке в рыло, коль потянулся бы к его «мешку»! Да и не Демид «вытрясает» Тараску — кажись, Серафима...

Однако дальше дум дело не пошло, потому что Тарас все чаще и чаще приезжал на мельницу мрачнее тучи, в сердцах пинал все, что ни попадется под ноги.

— Это нэп разве? — жаловался он теперь Демиду.— Это кляп в рот. Налоги выше доходов. А товаров закупить для лавки — бога твоего, Серафима, с тучи снять. Того не дают, а этим совсем не смей торговать... А сейчас только и торговлю делать. Переселенцев прет через деревню — тучи. Все больше в Сибирь едут да на Дальний Восток. Земель там, говорят, благодатных видимо-невидимо. А, Демид?

— Есть землица, как же,— отвечал Демид.— Куда она делась!

— Ну вот... Сейчас бы только торговать, да чем? А кроме того, кооперативную лавку открывать собираются. Батрачишки разбегаются — самих землей наделяют. А, Демид? Что же происходит? Что получается?

Получалось, видимо, что-то не очень ладное. Демид по целым дням иногда не раскрывал рта, ночами вставал с постели, беспокойно ходил по комнате.

В первые годы, как поселились на мельнице, пьянствовали они очень редко, разве по праздникам. Теперь Меньшиков все чаще просил Тараса привезти водки. И если трезвый Демид еще держался, сочувствовал раздобревшему Тарасу, то пьяный начинал издеваться над ним:

— Жмут, говоришь, тебя, купецко-кулацкое рыло? Не моргай, не шевели ушами, я пошутил: не кулацкое — дурацкое... Нажил сала-то — ничего, выжмут. А сколь не хватит, из нас нацедят. Чую, братцы, я, чую...

— Демид Авдеич! — осторожно пробовала остановить его Серафима.

— Прочь! — стучал на нее кулаком по столу Меньшиков.

Раньше всех спивался обычно Тарас и уползал куда-нибудь. А Демид лил и лил в себя водку без остановки сутки, двое, трое, день ото дня синея, чернея, распухая...

А потом отлеживались, мокли в бане в ослизлых бочках с густым и горьковатым Серафиминым настоем. Пьяный угар быстро выходил, улетучивался вместе с клубами едкого пара, поднимавшегося из бочек.

...Что еще запомнилось ему, Косте, из пятилетней жизни на мельнице Тараса? Пожалуй, ничего. Все остальное время — круги, круги на воде.

Ранней весной 1928 года, когда еще лежал снег, на мельницу приехали в санях двое. Костя, как обычно, подошел к ним спросить, сколько пудов привезли на размол. Но один из приезжих, высокий и сухощавый парень с крупными веснушками на лице, ответил:

— А мы не помольцы, из Сосновского сельсовета мы.

Костя словно онемел. Стоял столбом, глядел на рыжую шапку приезжего, одно ухо которой было задрано кверху, другое опущено книзу, и повторял про себя: «Сельсоветчики, сельсоветчики, сельсоветчики...»

Многое стерлось из памяти с годами, а вот рыжую шапку с одним задранным ухом и крупные, как горошины, веснушки на лице запомнил. И еще врезались почему-то в память воробьи, колготившиеся на согретой мартовским солнцем крыше мельницы.

Подошел Демид и начал разговаривать с приезжими. Сельсоветчики спрашивали, давно ли они батрачат у Звягина, сколько он платит, откуда они родом, знакомы ли с какими-то правилами об условиях применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах, есть ли у них трудовой договор с хозяином...

Потом заявили, что Звягин держит многих батраков без этих самых договоров и что они «прижмут» Звягина, оштрафуют его «под завязку». И уехали, посоветовав обязательно заглянуть в сельсовет.

— Потолкуем там, ребята, что да как... Что-то и придумаем для вас. Пусть Звягин сам ломает свою горбушку на мельнице... пока она еще его.

Когда сельсоветчики уехали, Демид сел на вытаявший старый жернов и сидел до тех пор, пока не окликнула его Серафима из дверей избы:

— Демид... Кто это приезжал? Ну-ка, поди сюда, расскажи...

Однако Демид не шевельнулся даже. Он повернул голову и спросил у него, Кости:

— Слышал? «...пока она еще его»... Мельница, значит. А? — И прибавил жалобно: — Так вот, Костя... Ничего мы не выждали тут.— Вздохнул, поднялся.— Ладно, обдумать мне кой-чего надо.— И пошел к избе.

«...Обдумать мне кой-чего надо... Обдумать кой-чего надо...»— без конца повторял и повторял Устин Морозов, лежа под подуш-

кой. Как будто он не понимал, что не Демид все обдумывал, а она, Серафима, как будто ему не было ясно, по чьей воле они ловили по селам и деревням коммунистов... Но когда стало ясно? Тогда или... сегодня только? Тогда или сегодня?

В голове опять все перемешалось — там все плыло куда-то, кружилось, как горсть щепок и мусора крутится в мутном потоке. Что — тогда? И что — сегодня? Ах да, стало ясно... А что? Почему Федьку там... в Усть-Каменке? А здесь, в Зеленом Доле, Варвару... И чтоб сам... Сам!

Устин Морозов даже перестал дышать под подушкой и даже рассмеялся. А ведь это в самом деле просто — умереть и сразу избавиться от своих проклятых вопросов, от Захара Большакова, от Варвары, от Фрола Курганова, от Смирнова. И главное — сейчас же станет ему легко-легко. «Но вот как, как умереть? Пойти к Захару, что ли, сказать... И тогда... Что тогда? А-а... ударят тогда, как говорит Илюшка Юргин, панфары. Запоют, зазвенят... Н-нет, врете! Я еще подержусь! Врешь ты, Фролка, не подгнили еще корешки, не подгнили! Врешь ты, Анисим, не сострижена еще макушка наголо, не опали листочки с веток, не посохли сами ветки! Большая сила была в твоем семечке, Филипп, и ты, наверное, по ошибке не половину, а всю, всю веру мне оставил. Я берег ее, хранил. Сохранил до самого сорок первого года... А потом, потом... Что ж, потом снова пришлось отсиживаться где-то в подземелье, плутать по лесу, по полям, пробираясь в Зеленый Дол. Но веры, Филька, твоей веры у меня всегда было впятеро, вдесятеро боль...»

Но последнего слова Устин не сказал, не произнес даже мысленно.

К нему, Устину Морозову, как-то вдруг, неожиданно, пришел в этот миг ответ на мучившие его вопросы. Пришел до обидного просто, будто включил кто электрическую лампочку, мрак бесшумно распахнулся, и он прочитал на чистой белой стене ответ: «Да ведь нету уж давным-давно у тебя, Устин, этой веры. Она, может, и была, да растаяла, как последняя льдинка на вешней реке, как последний клочок тучи после жестокой грозы... Вот почему там, в Усть-Каменке, ты застрелил собственноручно своего сына. А сейчас, наверное, убьешь дочь свою Варвару, у которой, ты догадываешься, рано или поздно выветрится страх из головы, и она уйдет из твоего подчинения так же, как Федор когда-то. Вон она тянется уж, хоть и боязливо, к Егорке... И ты, Устин Морозов, напрасно кричал: «Нет, врете, врете, я еше продержусь!» Листочки опали, ветки засохли... Ты ведь еще давно-давно, когда вы слезли со льдины и грелись у костров, опасался: разве по одному сумеет кто перекрутить да повыдергать... И вот... повыдергали!»

...Устин отбросил с головы подушку, вскочил, прилип спиной к стене, поджал под себя ноги. С него, оказывается, ручьями лил пот, и еще, оказывается, светло было только там, под подушкой, а здесь, в комнате, черный мрак.

«Кто повыдергивал?! Когда?! Как?!» — будто трижды ударился он головой об стену.

И будто трижды прокричал ему Демид в ухо:

«Задачу... свою понял?!»

«Почему это Демид кричит, почему Демид?! — подумал Устин.— Откуда ему взяться тут?.. Какую задачу?»

Уж нет-нет да сообразил Устин, что это было в тот июньский вечер 1928 года, когда они расположились на ночлег прямо на обочине дороги, неподалеку от какого-то села, разбив палатку возле двух бричек с пожитками. Ярко и весело горел костер, разгоняя темноту. Где-то недалеко фыркнули и глухо били в землю копытами их стреноженные лошади. Он, Костя Жуков, был в тот вечер уже не Костя, а Устин Морозов, Серафима звалась Пистимеей, а Тарас и Демид по документам, которые были зашиты во внутренних карманах поношенных, но еще добротных пиджаков, значились братьями Юргиными. Они были уже переселенцами, которые ехали из деревни Осокино Тверской губернии на Дальний Восток, на новые земли.

Как же они стали переселенцами? Когда?

...Переселенцами они стали через два месяца после того, как приезжали сельсоветчики.

За это время Тарас появлялся на мельнице всего раза три-четыре, раздражительный, помятый, угрюмый. Он сильно похудел за последнюю зиму, так и казалось, что самоуверенная степенность, которую он носил на себе все эти годы, сползает с него лохмотьями. Костя догадывался, что сельсоветчики сдержали свое слово и, видно, в самом деле оштрафовали его «под завязку».

— Как дела твои торговые? — спросил однажды Костя.

— А-а...— промычал только Тарас.— И посеять нынче... Колхоз в Сосновке организовали, вот что! — с отчаянием вдруг выкрикнул он. И с обидой добавил: — Вот тебе и нэп! Это разве нэп?!

А вскоре Демид собрал всех в избе и сказал:

— Вот что, друзья хорошие... Пожили тут, отдохнули, Тарас похозяйствовал вон. Пора и честь знать. Убираться надо отсюда, заметать теперь собственные хвосты, пока не поздно...

— То есть это как так убираться? — нервно дернул щекой Звягин.— Убирайтесь, а у меня хозяйство.

В ответ Меньшиков только вынул из кармана револьвер и положил перед собой на стол.

Звягин вытянул шею, точно хотел получше разглядеть оружие, а затем медленно втянул голову в плечи.

— Н-не могу я, не могу, Демид Авдеич, уезжать! — простонал он.— Лавка у меня в Сосновке, хоть и пустая, дом, мельница вот. Опять же пашни не все еще обрезали у меня...

— А ежели голову обрежут вместе с пашней? Или не жалко?

Тарас еще плотнее втянул голову в плечи.

— То-то! — усмехнулся Демид.— Кончается, видать, твой нэп. Придется, Тарас, бросать и мельницу, и лавку. Тем более что пустая... И еще тем более что не за свои денежки куплено...

— Дом в Сосновке за свои поставлен,— возразил Тарас.— С оборота уже...

— Но вот вопрос: куда убираться нам? — продолжал Демид, не обращая внимания на Тараса.

— К людям надо поближе, Демид,— подала голос Серафима, сидевшая на скамеечке с трехгодовалым ребенком на руках.

— Поближе? — переспросил Меньшиков.— Верно, пожалуй. Надо забраться в самую гущу людей, чтоб не было нас заметно. Слышь, Костя?

— Не глухой,— только и сказал он.

Некоторое время все молчали.

— А давайте в Сибирь подадимся, а? — нарушила это молчание Серафима.— Края далекие, глухие...

Демид зачем-то проверил, сколько в револьвере патронов.

— Вот говорите — к людям,— шевельнулся Тарас и сперва показал руками, как набрасывают веревочную петлю на шею, а потом пояснил: — Так ведь тогда, если что... все равно накинут удавку. Закачаешься под звон панфаров.— Он с жалостью поглядел в окно, на мельницу.— Где качаться-то, не все ли равно — здесь ли, там ли...

— А ты не подставляй шею, дурак,— сказал Демид, будто не замечая последней, жалкой звягинской попытки убедить их остаться здесь.

— Дык как? А хотя что же... Ежели ничего такого,— кивнул он на Демидов револьвер,— ежели не будем делать ничего такого, то, может, и оно... ежели опять же не признают нас...

Демид положил наконец револьвер в карман.

— «Ничего такого» не будем делать, верно. Не те времена, по всему видать, наступили. Попостимся до поры до времени. Но... пост — для дураков, а поп не таков. В том смысле, что не будем сидеть сложа руки. Только... без шуму теперь придется... Куда, говоришь? В Сибирь? — переспросил Меньшиков у Серафимы.

— Я не говорю, я советую.

Демид минуты полторы-две ждал, не скажет ли Серафима еще чего. Но она молчала.

— А что, Серафима...— задумчиво проговорил Меньшиков.— А пожалуй... пожалуй, попробуем. Только, братцы мои, знаете, куда на постоянное местожительство поедете? В мою родную деревню — Зеленый Дол!

Серафима быстро вскинула брови. Он, Костя, тоже поглядел на Демида, ожидая, чем тот объяснит такое решение.

Удивился и Тарас Звягин. Он даже сделал несколько шагов к Меньшикову. Но его удивление было совершенно другого рода.

— Погоди, постой,— выкрикнул он,— что это за штучки с ручкой, а?! Филипп тоже когда-то: «Будете жить с Серафимой...», а сам увильнул — и с концом. Теперь ты: «Поедете на местожительство...» А ты... ты сам чего? Не поедешь, что ли, с нами? Тоже увильнуть хочешь, а?

Костя ждал, что Меньшиков сейчас рассвирепеет и, может быть, пристрелит Тараса. Он даже подумал: «Ну и пусть стреляет, черт с ним, с Тарасом». Но Демид только сказал:

— Может, ты думаешь, меня хлебом-солью там встретят: «Пожалте, Демид Авдеич...» Ну а почему в Зеленый Дол надо ехать, я объясню, когда придет пора. Сейчас об другом забота. Я уже говорил как-то — исчезнуть нам надо не только отсюда, вообще с земли. Были, мол, такие, Константин Жуков, Тарас Звягин, Демид Меньшиков, да все вышли...

— Как это сделать так? — Костя, усмехнувшись, скользнул взглядом по Серафиме. Та невольно опустила ресницы, принялась гладить сына по стриженой голове.— Мы уже один раз пробовали...

— Как? — И Демид повернулся к Тарасу: — Значит, переселенцев много едет?

— Да уж не один год. Как Федюшка вон родился, с того года и поперли. Нынче особенно много их. Обутки да соли шибче всего спрашивают в лавке. А что?

— Вот и мы завтра поедем...

На другой день они действительно уехали с мельницы на паре рослых жеребцов, набросав в бричку кое-какого барахла, захватив недели на две продуктов.

— Что же это? — захныкал Тарас, когда отъезжали.— Меленка-то, меленка! Поджечь ее хоть, что ли...

— Не сметь! — пригрозил Демид.— Молчком уехать надо.

Несколько дней тащились по большой дороге. Их то догоняли, то отставали такие же примерно повозки переселенцев.

Однажды вечером, когда были уже за Тоболом, впереди, на обочине дороги, увидели палатку, у которой горел костер. У огня сидели три мужика, две женщины.

Демид натянул вожжи, поздоровался, спросил:

— Не пустите ли переночевать?

— Давайте. У нас тесновато, так за постой подороже возьмем,— весело откликнулись от костра.— Далече путь?

— В Сибирь. А вы?

— Подале думаем — на самый Дальний Восток... Милости просим к нашему огоньку!

— Да мы свой разведем...

Поставили палатку метрах в двадцати. Сварили на костре похлебку. Расстелили прямо на земле одну постель на троих. Серафима с ребенком легла в палатке. Лежали и глядели, как укладываются на ночь дальневосточники.

Потом костры потухли, остыли...

13*

Когда потянул предрассветный ветерок, Демид, лежавший посередине, толкнул сперва Костю, потом Тараса:

— Не спите? Значит, так, ребятушки. Не забылись науки Гаврилы Казакова? Помоги нам бог... еще разок. Сперва за плечи этак легонечко встряхивайте каждого левой рукой. А едва прохватится, моргнет, тут уж... Тогда уж не вскрикнет. Сонные только кричат шибко. Распределим их меж собой так...

Ему, Косте, достался тот, что спал у костра. Он действительно не вскрикнул. Он только приподнялся, когда Костя тронул его за плечо, пробормотал, с трудом расклеивая глаза: «Что, что? Ты, Пистимея?» — и обмяк, лег обратно...

Его, оказывается, звали Устин Морозов, а Пистимея была его жена. Это он, Костя, узнал потом...

...Трупы перетащили в лес. Взяли из своей брички две лопаты, топор, вырыли яму. Мужиков раздели донага, а женщин хотели побросать так. Но Тарас, лязгая зубами, проговорил:

— Н-нет, з-заработок не привык прощать... З-заработано — отсчитай.

И принялся сдергивать с трупов юбки, кофты, рубашонки.

Яму зарыли уже почти при дневном свете. Сверху накидали сухих сучьев и подожгли, чтобы оставить след обыкновенного таежного кострища.

— А брички ихние как, а? Неужели бросим? Добро ведь...— спросил Звягин.

— Одну бери себе,— разрешил Демид.— А две другие надо закатить в кусты, подальше от дороги. Куда нам их...

Тарас по-хозяйски осмотрел каждую повозку. Облюбовав одну, начал перегружать с других всевозможную рухлядь, посуду.

Серафима в это время рылась в одежде убитых, отыскивала их документы, внимательно разглядывала каждую бумажку.

Когда с бричками было покончено, Серафима перекрестилась и сказала:

— Ну вот... Сейчас — коней запрягать. Живо, Илья, бери уздечки, лови коней. Слышь, Тарас, тебе говорю!

Звягин так и уставился на Серафиму:

— А почему это я Илья? Рехнулась, что ли?

— Потом все объясню. Демид, Костя, бегом, запрягайте.

Ехали они целый день, не останавливаясь. Дорогой Серафима не только объяснила каждому, кем он теперь стал, но и зашила в карманы пиджаков документы. Тарас Звягин долго, почти до самого вечера, все ворчал и ворчал:

— Вот уж непривычно мне, Демид, братом тебя иметь... И вообще, что это за имя теперь у меня — Илюшка? Да еще Юргин?! А, Демид? Ну, мне-то ладно, привык с чужого плеча одежку носить, а тебе эта фамилия совсем, должно быть... одна оскорбительность. И Серафиме тоже. Пистимея! Эт-то имечко...

— Заткнись ты, самовар дырявый! — отмахивался Демид, растянувшись во весь рост на бричке.



— Да я что, я ведь так,— бормотал неугомонно Тарас.— Я к тому, что не могли, сволочи, с порядочными именами попасться...

...А вечером снова разбили палатку на обочине дороги, недалеко от какого-то большого села. Ели ржаной хлеб, пили, обжигаясь, горячий чай, поглядывая на деревенские огни.

— ...Значит, живя там, и будешь Захарке Большакову свеженькой соли под хвост ежедневно подсыпать,— говорил Демид, отставляя на траву жестяную кружку.— Я не хочу, чтоб он сразу подох, как Марья Воронова. Не-ет... Это просто повезло Марье благодаря моей молодости. Неопытный я был. Сейчас — не-ет... Пусть он всю жизнь стонет и корчится от боли, как та сельсоветская дочка на горячих углях. Он будет выползать с горячей сковородки, а ты его обратно. И пусть он хотя и безбожник, а взмолится богу о ниспослании ему скорой смерти. А смерти не будет. Действовать будешь не самолично, а через Фролку Курганова. Есть там такой... Я тебе скажу, как ключи к нему подобрать. Будет как шелковый, как выезженный бык. Бегом не побежит, головы не вскинет, как жеребец, а везти должен... Быку, как известно, вожжей не надо. Ударишь по правому боку — он повернет налево. Хлестнешь по левому — он направо... И еще — Наталья там Меньшикова есть. Моя сродственница. К этой и ключа не надо. По обязанности должна везти в паре с Фролом... В общем, все это и будет теперь твое главное дело...

— А неглавное? — спросил он, Костя, теперь уже Устин Морозов, угрюмо и невесело.

Демид долго глядел на него, как сова, помаргивая время от времени круглыми глазами. Сказал Серафиме:

— Пистимея! Налей еще чаю!

Опять покосившись на него, Жукова, Демид заговорил медленно, раздраженно как-то:

— Вообще-то у нас всякое дело, даже самое маленькое, будет главным. Но Захарка — это прежде всего. А кроме него... Ну, там видно будет. Я рядом с Зеленым Долом где-нибудь окопаться постараюсь. Братом Ильи Юргина мне не след, конечно, быть. Другое имя надо подыскать. Да об этом ладно... Рядом буду — подскажу, что еще, кроме Захарки... вернее, кого еще... Но... еще раз повторяю — без шуму теперь придется. Без шуму большого дела не сделаешь? Что ж, будем маленькими заниматься. Горячее обжигает, холодное морозит. Улавливаешь?

Он, Костя, не улавливал.

— Тогда поясню. От холода людям тоже не сладко. Будем отравлять им жизнь помаленьку. Кто засмеется — будем тушить этот смех и заставлять плакать. Кто заплачет — надо постараться, чтоб зарыдал...

Вечер был тихий и теплый. У костра они сидели вдвоем. Серафима возилась с сыном у брички, Тарас ушел с ведром за свежей водой.

Над головами, в темном небе, неподвижно висели тяжелые кучи облаков. Они, казалось, были так низко, что пламя от костра отсвечивало на их плоских днищах.

В селе играла пискляво гармошка, весело кричали ребятишки. Окна домов горели тоже весело и ярко, и казалось, они никогда не потухнут.

Ему, Косте, почудилось тогда на миг, что они лежат снова меж кустарников на холме перед той глухой деревушкой, куда водил их когда-то бородатый Гаврила. Сидят и думают, как захватить живьем председателя коммуны, сельсоветчика и еще кого-нибудь из их семей.

— Теперь ясно? — спросил Демид.— Отравлять всем, кому только можно. Счастливого делать несчастливым, разговорчивого — молчаливым...

— Инструкции даешь?! — вскипел неожиданно Костя.— А на черта мне твои инструкции! Смех душить? Жизнь отравлять? А я убивать хочу! Жечь, резать, крошить, в порошок растирать! Хочу их на горячие угли швырять, как...

— Ты убивать и будешь... Чего раскричался?! Убивать поразному ведь можно. Присмотришься, кто там, в деревне, будет рядом с тобой... Не все ведь в рот Захарке Большакову глядят, я думаю. Так вот, надо таких... своей лапой... потихоньку накрывать. Сперва потихоньку, а потом все крепче и крепче. Кого накроешь, тот уж, считай, мертвый... для Захара.

Он, Жуков, застонал и лег на спину.

— А чего же больше-то сделаешь? — уныло, со злостью промолвил Демид.— Я не вижу, что можно еще сделать...— Демид помолчал.— Может, ты умнее меня, так скажи.

Костя сел, подтянул к себе ноги. Долго сидел так, опустив голову чуть не ниже колен.

— Чего же скажешь.

Демид, время от времени помаргивая выпуклыми глазами, опять смотрел на него. Косте стало неприятно.

— Ну... спать, что ли, давай,— сказал он.

— Все, что я говорил тебе,— это главное твое дело будет,— повторил Демид.— А теперь я тебе еще главную задачу поставлю. Так вот,— голос Демида стал вдруг сух и трескуч,— десять ли годов, двадцать ли будешь так... без шуму, но чтоб веру Филиппову мне сберег!

Ему, Косте Жукову, казалось, что горящие нехорошим блеском, выпуклые глаза на маленьком, пухлом, помятом Демидовом лице начали увеличиваться. Их словно распирало чем-то изнутри так, что казалось, они сейчас с треском полопаются.

Но глаза его не полопались. Может, потому, что Демид успел прикрыть их, задернуть, как курица, тугими веками.

Не открывал он их долго. А потом спросил отрывисто, почти закричал:

— Задачу... свою... понял?

«Снова сомкнулся круг воспоминаний, снова...» — мелькнуло в воспаленной голове Устина. Сегодня все шло какими-то кругами. И воспоминания, и... Что еще? Да все, все... каждое событие, которое произошло сегодня, походило чем-то на зловещий, все время сжимающийся круг. Там, на черном пруду звягинской мельницы, круги все расходились и пропадали, расходились и пропадали. А сейчас все наоборот. Возникает этот круг неведомо где и сжимается, сжимается... Поехал утром отвозить на станцию Смирнова. А чем кончилась эта поездка? Разговаривал с Кургановым. А чем кончился разговор?.. И даже вон звезды в окне... кружочками бегают. И тоже сжимаются! Да хоть бы скорей сжались, сомкнулись, потухли!

И случилось то, чего Устин ждал: кружочки, по которым бегали звезды, начали уменьшаться. И по мере того как уменьшались, мозг Устина стал проясняться... Наконец огненные кружки сомкнулись бесшумно, превратились в белые горошины. Устин подождал еще немного в надежде — не потухнут ли звезды совсем, как вылетевшие из трубы искры? Но звезды не потухали, они горели, как обычно,— чуть помаргивая, подрагивая.

Тогда Устин вздохнул и подумал: так кто же повыдергивал из него ветки, выросшие из Филькиного семечка? Когда? Как? Хорошо бы спросить сейчас об этом Демида. Да где найдешь сволочугу?! Тогда уполз куда-то, как стали подъезжать к Зеленому Долу. Еще врал, сазан красноглазый: «Я рядом с Зеленым Долом окопаться постараюсь». И с тех пор ни слуху ни духу. Может, живет где-нибудь спокойненько... вместе с Филькой. А может, давным-давно раздавили его, как... Он вот, Устин Морозов, или Константин Жуков, живет пока. Живет — и всю жизнь воет от страха и нестерпимой боли, как тот волк, которому намертво прищемило лапу. От этой боли, видимо, все проклятыми кругами и идет. Даже звезды... И вся жизнь крутится огромным огненным колесом. И он, Устин Морозов, вернее Константин Жуков, один в центре этого страшного круга, он мечется в этом огненном кольце, как скорпион. И скоро, как скорпион, звезданет себя собственным ядовитым хвостом. Как скорпион... Кто это сказал? А-а, Илюшка Звягин, то есть Тарас Юргин... Тьфу, черт, все перепуталось! Да черт с ним, была нужда разбирать. А что не черт? Что Юргин умеет подобрать слова и влепить прямо в свою собственную харю! Нет, и это неважно. Тогда что? А-а, вот: как скорпион! Как скорпион, который убьет себя... «Врете, врете, я не сгорю! Лучше уж действительно ударить хвостом! Ударить? Кого ударить? Себя. Значит, умереть?.. Постой, кто-то мне уже советовал это. Кто? Или сам я думал уже об этом когда-то? Э-э, черт, о многом я сегодня думал...»

Нестерпимая боль, сжимавшая все тело, начала вдруг исчезать. По груди, по рукам, по ногам Устина начали разливаться не изведанные ни разу в жизни покой и блаженство.

И самое главное, Устин знал, чувствовал, понимал теперь, откуда оно, это блаженство, чем оно вызвано.

Он улыбнулся несмело, боясь, как бы не спугнуть его, и прошептал дважды:

— Лучше хвостом... Лучше хвостом...

Устин осторожно слез с кровати и тихонько, как вор, двинулся на цыпочках к подполу, боясь скрипнуть половицей. Он шагал, высоко поднимая каждую ногу, балансируя для равновесия руками. Там, в подполе, у него был зарыт пистолет, который он принес в сорок пятом году из Усть-Каменки.

Вот до подпола осталось три метра. Два... один метр. Устин остановился, оглянулся, боясь, как бы за дверью не проснулась жена, не услышала его шаги. Сердце его колотилось гулко и часто.

Наконец он бесшумно поднял крышку подпола и долго стоял с нею в руках, не зная, как положить на пол без стука. Стоял, стоял и вдруг... выронил. Кажется, удар грома над самой головой и то не был бы так оглушителен, как грохот этой крышки. Устин вздрогнул всем телом и услышал, как за дверью заворочалась на кровати Пистимея.

— А, все равно уже теперь...— прошептал он и поспешно прыгнул вниз, в сырую и холодную, как могила, яму, скатился по крутой лестнице и плашмя шмякнулся о землю.

Тотчас вскочив, он пополз в темноте на четвереньках в дальний угол, где стояли кадки с солеными огурцами и капустой. Здесь он лихорадочно отодвинул несколько кадок в сторону. Но самую большую отодвинуть не мог. Тогда он уперся во что-то ногами и опрокинул ее. Сразу же кисло запахло рассолом, под ногами захлюпало. Но Устин на это не обращал внимания. Став на колени в холодную жижу, он принялся руками разгребать землю...

Наверху скрипели половицы, и Пистимея тревожно причитала, склонившись над подполом:

— Устинушка... Устинушка... Варька, да вставай ты, ради бога...

— Н-нет, врете! — закричал Устин, выдергивая из земли завернутый в промасленные тряпки пистолет.— Врете, и вы не успеете теперь...

Он торопливо размотал тряпки, машинально взвел пистолет, поднес к уху, нажал на спусковой крючок. Выстрела не услышал. Он почувствовал только, как мутнеет у него в голове. Муть с каждым мгновением становилась все тяжелее и гуще, а все тело — невесомее, нечувствительнее. Вот Устин потерял уже всякое ощущение рук, ног, всего тела, всего себя. Он будто уже умер, только в голове еще тлели, как последние искорки в костре, какие-то мысли. Ему почудилось, что Пистимея не только верховодила там, в лесной деревушке, но и здесь, в Зеленом Доле, и что не она всю жизнь подчинялась ему, Косте, а он ей...

Но мысль эта, ворохнувшись в голове, так и не оформилась окончательно. На это просто не хватило времени.

...Нет, Устин не застрелился. Пистолет щелкнул, но бесполезно. Он пятнадцать лет пролежал в сырости, патроны насквозь проржавели, порох давно испортился, Устин просто потерял сознание.

Глава 25

Устин Морозов медленно открыл глаза и увидел в синей темноте какой-то черный крест. Крест угрожающе клонился и покачивался, грозя упасть прямо на него. Напрягая зрение, Устин, кажется, различал даже, что крест обвит соломой, из которой бьют язычки пламени.

Прошло немало времени, прежде чем Устин догадался, что он снова лежит на кровати, что ночь еще не кончилась, а крест — это просто-напросто переплет, чернеющий в синем квадрате окошка.

Еще через несколько минут он окончательно пришел в себя и вспомнил, что с ним произошло. «Ну и черт с вами,— вяло подумал он о Демиде, о Гавриле Казакове, о Серафиме.— Все это было давно и не воротится больше. А сегодня вот Захар придет и спросит...»

Что спросит Захар Большаков, Устин тоже отчетливо в эту минуту себе не представлял. Он только одно чувствовал и знал твердо — Захар спросит, спросит обязательно...

«Спросит так спросит,— равнодушно размышлял он дальше.— Спрашивайте... И делайте что хотите. Докапывайтесь до корешков. Теперь мне уже все равно. Все равно...»

И, вздохнув, стал думать: как же это Пистимея и Варька сумели вытащить его из подпола? Ведь в нем ни много ни мало шесть пудов весу. Неужели он сам поднялся, только ничего не помнит теперь?

На улице заскрипели полозья саней и остановились около его дома. «Ага, едет уже Большаков спрашивать, до свету едет,— подумал Устин.— Не терпится».

Завизжали стылые ступеньки крыльца под чьими-то шагами, стукнула дверь сенок. Мужской голос донесся с улицы:

— Тпру-у, зараза...

«Что это? Голос, кажется, Фрола Курганова. Зачем он-то с Захаром приехал? Ну что ж, и хорошо. Поглядим, как закрутишь сейчас хвостом, когда расскажу, как вы Марью Воронову... Поглядим...»

Открылась дверь, в комнату хлынули из сенок обжигающие клубы холода.

Вспыхнул электрический свет. У порога, замотанная кое-как шерстяной шалью, стояла Пистимея.

— Ну как ты, Устинушка? — проговорила она, сбрасывая полушубок, под которым оказалась только ночная рубашка.—

Варька, давай скорее одежду! Да как ты, родимый? Очнулся, слава богу, Варька-а, чтоб тебя!..

Варвара выбежала торопливо из соседней комнаты, вынесла ворох всякой одежды. «Чего это они? Зачем одежда?» — подумал Устин.

Странное дело — он даже не обрадовался, не перевел с облегчением дух, когда на месте Захара, которого ожидал увидеть, оказалась собственная жена. Он, наоборот, с еще большей тоской подумал: «Значит, не сейчас. Значит, это еще впереди...»

— Давай, Устинушка... Встать-то сможешь? Варька, помоги отцу! Господи, перепугалась-то я! Чуть не босиком к Захару кинулась,— говорила Пистимея, натягивая толстую шерстяную кофту.

Устин поднялся, сел, свесив ноги с кровати.

— Зачем это... к Захару? — спросил он тихо.

— За лошадьми. В больницу ведь тебя надо, в Озерки. Шутка ли — из ума вышел, припадок заколотил...

— Из ума? — переспросил Устин.— Припадок?

— Варька, переобувай отца-то! Два тулупа достань... Ага, припадок. Захар поводил глазищами недоверчиво, а ничего, дал... «Поди,— говорит,— к Курганову, скажи, я велел...»

— Курганов и сам бы... без председателя...

— Мало ли что! — строго произнесла Пистимея.— Варька, какие ты портянки ему вертишь?! Суконные давай.

И тут только Устин заметил, что дочь, присев на корточки, оборачивает ему ноги портянками. Он поглядел на ее густые волосы, рассыпанные по небольшим смуглым плечам, и равнодушно подумал: «А черт с вами. Хоть в больницу, хоть к дьяволу на рога».

Устин молча позволил себя одеть, молча и покорно вышел на улицу вслед за женой. Фрол Курганов, смятый, не выспавшийся, глянул на него:

— Ну, так как же? Если лошадь в оглобли не идет, ее по морде, что ли, хлещут?

Голос Курганова был мягок и ровен. Но все равно Морозов уловил в нем невеселую, горькую насмешку.

— Это... к чему ты?! — Но тут же забыл про свой вопрос, бухнулся в сани.

Рассвет застал их уже за деревней. Холодный густой мрак нехотя рассеивался на горизонте. Потом оттуда, где образовалось светлое пятно, подул ветер и начал разгонять темноту по всему небу, прижимать ее все ниже и ниже к земле. Небо посветлело быстро, а земля все еще была во мраке. Темнота цеплялась за каждый сугроб, за каждый куст, и выдуть ее оттуда было, оказывается, не так уж просто.

Пистимея, завернутая в тулуп, сидела прямо, как кол, прижав вожжи локтем. Лошадь шла крупной, привычной и уверенной рысью, замедляла бег на неудобных поворотах и раскатах, а потом снова без напоминаний переходила на рысь.

Мороз немного сдал, и Устин отвернул воротник. Но едва отвернул, холод начал жечь шею, и щеки, и даже лоб, точно лицо облепили комары. Устин снова поднял воротник и принялся дышать в кислую овчину.

— Ты куда это везешь меня, а? — спросил он.

— В больницу. Куда же еще?

— Смеешься еще, стерва! — закричал Устин, приподнимаясь.— Какой я, к черту, больной?

Пистимея обернулась живо, как молодая, глянула на него ласково:

— Да чего ты, Устинушка, право... Сядь уж, родимый, успокойся.

И он сел. Он сел и пробормотал зачем-то:

— А пальцы у тебя все равно холодные.

— Так стужа вон какая! Не шутки,— ответила Пистимея.

Но Устин ее уже не слышал. Он сидел и размышлял: что он сейчас сделал — успокоился или... покорился? Успокоился или покорился? И когда он, собственно, начал покоряться ей? Если верно, что не Демид, а следовательно, и не Филька Меньшиков верховодили в те далекие годы, значит, он вместе со всеми покорялся ей всегда, с того самого дня, как впервые увидел. И даже, выходит, раньше — когда носился с Филькиной бандой по Заволжью. Затем, покоряясь ей, стал ее мужем... Стал ее мужем?! Нет уж, тут... она покорилась, вынуждена была покориться... А потом-то, оказывается, опять он. Ведь по ее воле ловил он по деревням комиссаров да сельсоветчиков. Ну, положим, тут ее воля не шла вразрез с его желаниями.

Потом приехали в Зеленый Дол — тоже по ее совету. И, помня «инструкции» Демида — а его ли?! — загребать всех, кого можно, под свою лапу, вспомнил его слова, что убивать по-всякому можно, начал осторожно убивать и загребать. Начал сам, как ему всегда казалось. А ведь не сам! Вернее, не только сам! Пистимея всегда осторожно подталкивала его, как говорил Демид, «лапу», чтобы она загребала того или иного без осечки, чтобы придавила накрепко. Чего греха таить, Пистимея скорее и лучше, чем он, разобралась в здешних людях, быстрее осмотрелась и приспособилась. И как-то, зимним вечером, придя с работы, сообщила вдруг, что Андрон Овчинников трус, а Антип Никулин «вообще глупый дурак».

— Ну и что? — спросил Устин.

— Да так... Надо ведь знать, с кем живешь,— ответила Пистимея, простодушно глядя на него голубыми глазами.

Прошла зима, наступила весна.

В середине апреля произошел случай с мукой, которую Андрон Овчинников чуть не утопил с пьяных глаз в Светлихе. Случай подвернулся вовремя, потому что он, Устин, давненько подумывал, как, чем бы это вызвать к себе расположение председателя колхоза. Ведь Большаков все косился на него, все пригля-

дывался. Не раздумывая, Устин кинулся вытаскивать сани с мукой...

А в раннее погожее майское утро, когда, встречая восход, оголтело кричали скворцы над деревней, Пистимея, собираясь в амбар, где вместе с другими женщинами и мужиками готовила семена к посеву, вздохнула:

— Гдей-то Демидка пропащий наш? Надавал советов да провалился, как сквозь землю.

— Объявится,— сказал Устин.

Пистимея помедлила и промолвила раздраженно:

— Объявится, конечно, и спрос учинит, сатана пучеглазая. Сам-то хвост до боли поджал, а тут... Попробуй тут подступись с какого боку к Захарке!

Устин тогда промолчал. Он только с благодарностью и теплотой потрепал жену по плечу: вот именно, мол, все ты у меня понимаешь!

Пистимея смутилась, побежала вон из избы, но на полпути оглянулась:

— Как Овчинников-то Андрон, ничего?

— А что ему?

— Так мало ли... Боязливому Фоме все кнут на уме. Все ж таки чуть не потопил тогда сани с мукой на Светлихе. А про вредительство вон и в газетах пишут.

— М-м! — только и промычал Устин.

Сейчас ему, Устину, ясно, что Пистимея грубо, почти открыто намекнула, что нужно делать. Но тогда он этого не заметил. У него мелькнула лишь догадка, что случай с мукой в самом деле можно будет использовать, припугнуть Андрона и зажать в кулак. И тут же испугался, как бы Пистимея не подумала еще, что догадка эта возникла у него с ее слов, и проговорил хмуро:

— Ладно, иди, иди. И так запоздала...

«Заботился я тогда... о своей мужской гордости, что ли?» — усмехнулся Устин в кислый и мокрый от дыхания воротник тулупа.

Как бы там ни было, а Овчинникова придавил быстро и крепко. Сам, дурак, попросил: «Да вдень ты их мне, удила проклятые...» Что ж, он вдел.

Андрон, который, видимо, и родился с кнутом в руках, захныкал как-то вскоре после пахоты:

— Теперь уж, однако, ссадит меня вскорости Захар с возчиков... А что за жизнь без профессии! Для меня вся радость, когда дорогой пахнет, а кустики, кочки, растительность, словом, всякая назад плывет, уплывает. А, Устин?

Устин здесь сориентировался самостоятельно, без помощи Пистимеи, и время от времени способствовал тому, чтобы Захар ссаживал Андрона с подводы и назначал или метать сено, чистить коровники или еще куда. Овчинников сразу падал духом, уныло жаловался ему, Устину:

— Вот, вот...

— Да не ной ты! — бросал ему Морозов.— Постараюсь как-нибудь.

И в конце концов, будто надоело ему плаксивое нытье Андрона, сказал раздраженно:

— Да ты сам огрызайся посмелее с Большаковым. Другие вон на всю деревню лаются...

— Что ты, что ты?! — испугался Андрон.— А мешки проклятые?

— Делай, что я говорю! Я плохого не присоветую. Это вовсе и не ругань будет. Это по-нынешнему критика называется. Покритикуй, а потом выполни, что требует председатель. В другой раз он тебя поостережется с подводы ссаживать. Кому охота критику слушать...

— Сомневаюсь,— буркнул Андрон.

Однако в следующий раз, когда Большаков направил его рыть яму под овощехранилище, он осмелел и отрезал:

— Не пойду.

— Это почему? — нахмурил брови председатель.

— А я, можно сказать, критиковать тебя желаю.

— Что-что? — удивился Захар.

— Дык, Захар Захарыч! Я лучше бревна для хранилища повожу, сам, единолично, сгружать и разгружать буду, токмо не снимай с подводы. Ну чего тебе, право? Я всю жизнь на конях езжу, так чего уж, а?.. Я, конешно, чуть не утопил муку. Через то и не доверяешь мне подводу, само собой понятно. Но ведь, ей-богу, я... Да чтоб я еще уронил что с воза!

Захар слушал-слушал и расхохотался. А отсмеявшись, сказал:

— Ладно, доверяю. Ямы все-таки покопай дня три. А подвода не уйдет от тебя.

Все шло, как предсказывал Устин. Все-таки Андрон недоверчиво переспросил:

— Не уйдет? Ты того... не в насмешку? Не шутишь, говорю?

— Какие уж тут шутки!

— Дык я тогда... не то что три...

— Давай, давай...

Через три дня председатель в самом деле послал его возить бревна. А вечером, когда стемнело, Андрон неожиданно приволок Устину полугодовалого поросенка.

— Уж ты присоветовал так присоветовал, Устин...

— Эт-то еще что за номер?! — сверкнул глазами Морозов, толкая ногой мешок, в котором, повизгивая, бился поросенок.

— А это вроде... Так сказать, долг платежом красен. Ить сколько раз выручал меня. А ежели ко мне со всем сердцем, то и я.

— Убирай обратно!

— Дык, Устин...— растерялся Андрон.

— Вот именно! — воскликнула Пистимея, выходя из горницы.— Зачем обижаешь человека? — Она укоризненно качнула головой.— Если дар от сердца, к сердцу и принять надо. И отдарить вдвойне. Я уж сама отдарю. Давай, развязывай, Андрон. Мешок развяжешь — дружбу завяжешь. Садись-ка рядком да поговорим ладком.— И поставила на стол бутылку водки, точно выхватила откуда-то из складок своей обширной юбки.

— Это она верно,— облизнув сухие губы, уговаривающе произнес Андрон.— Вместе жить — вместе и дружить.

Устин еще помедлил, потом взял в обе руки по табурету, поставил к столу.

— Л-ладно. Скупой я на дружбу, туго с людьми схожусь, да, видно, очень уж хороший человек на пути попался. Садись, Андрон, уважь.

Простодушного Андрона это тронуло до того, что у него повлажнели глаза.

Когда выпили по стакану, Устин сказал:

— Но гляди, Андрон. Дружить — так уж до смерти. Я такой человек — за друга хоть на смерть пойду. Ты держись за меня и будь спокоен. Но и сам чтоб... с полуслова, с полумига понимал меня и поддерживал. А то, если разойдемся... Тяжело я схожусь, но еще тяжелее расхожусь. Добрый сатин всегда с треском рвется...

Овчинников только и промолвил:

— Устин Акимыч!.. Эх, Устин Акимыч!

Впрочем, помолчав, он поставил прежнее условие:

— Только уж ты, Акимыч... чтоб уж я в возчиках завсегда бы, а?

— Какой разговор! Сделаем.

С тех пор Андрон Овчинников, чистая, почти детская душа, свято соблюдал условия их «дружбы». Отдарить его за поросенка Пистимея как-то забыла, Устин и вовсе об этом не заботился. Правда, Пистимея время от времени совала ему какую-нибудь безделицу — то городской работы поясок, то пачку папирос, то дюжину перламутровых рубашечных пуговиц. Андрон, в свою очередь, в долгу не оставался, частенько привозил Пистимее полбадейки, а то и целиком бадейку меду или пудовый окорок собственного копчения, пяток-другой мороженых гусей.

Андрон был из тех грамотеев, что до революции ставили вместо подписи кресты, а немного попозднее с удивлением и радостью, вспотев от напряжения, складывали по слогам слова, прежде чем скрутить из оторванного клочка самокрутку. О людях он судил больше по их словам, чем по поступкам, потому что в поступках разбирался очень плохо и не сразу. Поэтому, проникнувшись уважением и преданностью к нему, Устину, слепо выполнял всю жизнь его приказания, полагая, что раз этого желает Устин, значит, это правильно.

...Приказания! Устин Морозов даже усмехнулся. Разве это были приказания? Так, баловство. Пошуметь, народ побаламутить, облаять того или другого, сплетню пустить... Да Андрон и не знал, что это сплетня, не догадывался, что напрасно обливает людей грязью. Нынче летом Устин написал письмо в область — председатель колхоза губит недавно взошедшую, еще низкорослую кукурузу, распорядился раньше времени скосить ее на силос — и попросил Андрона поставить свою подпись. Ничего, поставил. Письмо подписали также еще Антип Никулин да Фрол Курганов. Но осенью Андрон сдвинул кепку на лоб, почесал затылок: «Напрасно мы, однако, жалились на Захара. Ить правильно он... У других-то погнила совсем зазря кукуруза...» Да сделано было уж дело, поцарапали Захарку...

...Да, так было с Андроном. А как с Антипом Никулиным? Он «вообще глупый дурак», определила его Пистимея. И действительно, до сих пор он боится дряхлой старушонки Марфы Кузьминой, которая при встрече обязательно упоминает злосчастный банный притвор, унесенный куда-то ледоходом. Но встречи эти случаются сейчас раз в год. Сейчас Антип вздохнул посвободнее. Но тогда, после истории с застрявшими посреди Светлихи санями с мукой, Марфа, женщина сильная и крутая нравом, замордовала Антипа окончательно. По деревне она ходила не иначе как с добрым прутом или палкой, словно подстерегала несчастного Антипа за каждым углом. Она, размахивая своим оружием, налетала на него, как ураган, поднимала крик на всю деревню:

— Сморчок тонконогий, выродок телячий! Прилаживай мне банный притвор!

— Но-но, но... пооскорбляй мне еще... достойного партизана! — предупреждающе говорил Антип, проворно пятясь, однако, назад и ловко уворачиваясь от Марфиной хворостины.

— Какой ты, к дьяволу, партизан! Фулиган ты пакостливый! Да кому разор-то учинил! Вдове несчастной...

— Какой разор? Мы обчественное спасали. Ради обчественного сгнивший притвор пожалела, а! Ты подумай-ка, дура несознательная, богомолка вонючая...

— Эх! — задыхалась от гнева Марфа.— Дура я, значит?! Вонючая? Ах ты...

На шум собирался народ, поднималась потеха. Под свист, хохот, улюлюканье деревенских ребятишек, для которых эти представления были самым веселым развлечением, Антип скрывался в ближайшей избе или чьей-нибудь бане, где он запирался и уже через дверь стыдил вдову за ее несознательность и «свирепство». Марфа долго обкладывала Антипа, не стесняясь, подходящими к случаю словами, пока ей не надоедало.

Отвязаться от Марфы и приладить, как она требовала, новую дверь на ее баню было плевым делом — разрезать пополам трехметровую доску, сколотить обрезки да прибить к банному косяку

с помощью сыромятных кожаных лоскутьев, так как железные шарниры в ту пору достать было трудно. Но Антип из одного ему понятного упрямства не хотел этого делать. А вдова месяц от месяца свирепела все больше. Однажды она застигла бедного Антипа купающимся в Светлихе, загнала в непроходимые заросли крапивы за деревней и продержала его там несколько часов, до самого вечера. Кто знает, может быть, Марфа стерегла бы там Никулина всю ночь, да Пистимея, придя домой, сказала ему, Устину, со смехом:

— Иди уж выручи мужика! Я в контору забегала, чтобы Захару сказать — сожжет в крапиве Марфа его колхозника до самой потери сознания,— да в поле он куда-то уехал.

Устину не хотелось идти, но Пистимея добавила серьезно, перестав смеяться:

— Сходи, сходи, чего уж там! В народе так говорится: один дурак пятерых умных поссорит. Так чего ж...

Устин пошел за деревню, отобрал у Марфы, расхаживающей возле крапивных зарослей, как гренадер на посту, ее палку.

— Ты чего? — уставилась на него Марфа, оторопев от неожиданности.

— Хватит издеваться над человеком! Иди, иди...

— Так ведь, Устин Акимыч... А притвор кто мне...

— Иди, сказано тебе! — повысил голос Устин.— А то вот саму тебя в крапиву запихаю.

Марфа чертыхнулась и ушла. Антип выбрался из крапивы и, приплясывая, бросился, ни слова не говоря, обратно в речку, чтобы остудить в воде горящее от крапивных ожогов тело. Поплескавшись, он вылез на берег, натянул валявшуюся на песке одежонку и, беспрерывно почесываясь, подошел к Устину.

— Эт-т что, а? — плача от обиды, бессильного гнева, заныл Антип.— Это как, я спрашиваю? Куда деться от одуревшей бабы? Я к Захару ходил жаловаться, а он смеется: приладь ей банные двери, дескать, да и вся недолга. Ишь ты, «приладь». А из-за чего ради? Я ради обчественного добра на спасение тогда кинулся с этим притвором. Мы с тобой кинулись. Меня, ежели по совести сказать, оберегать надо от всяких волнений. Так ведь нет. Да оно и понятно: нынче все иначе... Спасибо тебе, Устин. Уж и не знаю, как благодарить.

Пока Антип произносил эту выразительную речь, Устин думал: «На Антипа-то можно, пожалуй, еще покрепче, чем на Овчинникова, лапу наложить. Недаром живет пословица: заставь дурака богу молиться — он лоб разобьет...»

Никулину он сказал тогда:

— Ладно, Антип. Притвор Марфе действительно ни к чему делать. Нечего унижаться. Я ее и так прижму как-нибудь. Распустилась, в самом деле. Куда Захар глядит...

— Да Устин ты мой Акимыч! Друг ты мой первый! — заплясал на радостях вокруг него Антип.— Да верь ты... Эх! Только

Захар ведь не понимает, какой я преданный. Ежели мне добром, так и я обратным концом. Он, Захар-то, ежели разобраться, так политическую ошибку делает. Я кто? И чтобы я... этому религиозному элементу... Тоже, нашел кого защищать...

Так он, Устин, приобрел еще одного «друга».

Вскоре у Марфы заболел сын Егорка. Устин дал ей полбутылки застоявшегося где-то травяного настоя «от внутреннего жара», сваренного женой, и послал Пистимею помочь в уходе за больным. А после выздоровления сына, когда благодарная Марфа предложила помыть у Морозовых полы, он выставил ее за дверь и, пристыдив, добавил:

— Только Антипку вот... ну, помягче, что ли, поосторожней с ним. А то он грозился уж: «Трахну проклятую бабу курком от телеги, пусть тогда судят...» И действительно, придурок ведь он...

— Да уж ладно... Только все равно не прощу притвора пескарю мокрогубому,— сказала Марфа.

— Зачем же прощать? Осторожней только, говорю...

Марфа стала ходить без хворостины, хотя при каждой встрече яростно напускалась на Никулина. А потом в руках ее опять засвистел прут.

Однажды Антип прибежал к Морозовым, вытянулся возле крыльца на грязноватой, загаженной курами траве и задышал, хватая, как рыбина на сухом берегу, воздух:

— Н-не могу... П-помираю — и все тут. П-пусть все знают — п-партизана угробила п-проклятая баба.— И, встав на колени, взмолился, протягивая к Устину руки: — Да ить обещался обуздать стерву, а?! Ввек не забыл бы тебя, Устин Акимыч...

— Вот как! — нахмурил брови Устин.— Значит, не бросила она свое хулиганство?

— Да именно что! — воскликнул Антип.— Да это разве фулиганство! Это бандитство голое, ни дать ни взять.

— Ладно, Антип. Я уберу ее раз и навсегда из деревни.

Антип даже выпучил глаза от неожиданности:

— Эт-то как? То есть как это уберешь? По-научному говоря, куды ж ты ее ликвидируешь из колхозу?

— А увидишь. Мое слово верное. Для друга я все сделаю. Да не пучь глаза, не убивать же я ее собираюсь.

В те поры колхоз купил в райцентре, на самом краю Озерков, небольшую избу с кое-какими надворными постройками и организовал нечто вроде заезжего двора. В избе поставили несколько железных коек, на которых могли переночевать колхозники, случившиеся в Озерках под вечер или приехавшие в райцентр по какому-то делу на несколько дней.

Вскоре возле избы поставили навес, под которым летом и зимой ставили лошадей, а рядом сколотили из досок довольно вместительный амбар. В этот сарай по осени сваливали мешки с капустой и огурцами, высыпали картошку, которую привозили в Озерки для продажи. Сюда же на время ставили бочки с дег-

тем, плуги и бороны, купленные в потребкооперации, складывали веревки, сбрую, всякий мелкий инвентарь — да мало ли чего можно было приобрести в райцентре для хозяйства. Постепенно заезжий двор превратился одновременно в маленькую перевалочную базу.

За всем этим хозяйством нужен был какой-то догляд. Но добровольца стать «заведующим колхозным заезжим домом», как его именовали в разговорах, не находилось. Очевидно, потому, что земельного участка при «заезжем доме» не было, вести какое-то личное хозяйство было нельзя. Захар Большаков назначал «заведовать» домом то одного, то другого, но все быстро отказывались.

Выпроводив Антипа, Морозов пошел к Марфе.

— Все Антипку гоняешь, как козла по огороду?

— Дык, Устин Акимыч... Шутка ли — притвор-то...

— Вот что, Марфа. Ступай к председателю, скажи, что хочешь быть заведующей заезжим домом в Озерках. Там есть и притвор, и все прочее.

— Ты сдурел, что ли? Тут у меня огород, куры, свинья, а там что...

— Много ли вам надо с Егоркой? Трудодней будешь хорошо получать, я кое-что подбрасывать буду. С голоду не помрете. А Егорка подрастет — вернетесь в Зеленый Дол.

Марфа отказалась уезжать наотрез.

— Я думал, ты в самом деле за Егорку благодарна мне. Сгнил бы ведь от оспы,— сказал Устин.

— Дак вам с Пистимеей — конечно. А дом что, он колхозный.

— А что колхозу, что мне — все равно. Раз прошу, значит, мне. Не до смерти же будешь там жить...

Разговор кончился ничем, но через несколько дней Марфа с Егоркой уехали вдруг в Озерки. Морозов удивился. Тогда Пистимея сказала:

— Я тоже поговорила с ней. Ты не затем отсылал в Озерки ее... Что ей ваш заезжий двор? А я напомнила Марфе святые слова Михея: «Чего требует от тебя господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед богом твоим...» И поехала Марфа...

— Милосердием, что ли, дела творить ваши? — догадался Устин.— Так в Озерках, поди, без того хватает всяких... проповедников.

— И чего же? Людей заблудших еще более.

— Да какой, к дьяволу, проповедник из Марфы?

— Ну... какой ни на есть, а все богу в радость. Не в умении да красноречии дело, а в преданности господу.

В общем, как бы там ни было, а Никулин стал ходить по Зеленому Долу без опаски. Устину же чуть ли не при каждой встрече говорил:

— Это ловко ты... Это — трансляция. Раз-два — и ваши не пляшут. Вот уж друг так друг ты мне... Да я для тебя родных детей не пожалею.

И действительно, не пожалел. По его, Устинову, желанию принялся изводить Клашку, а потом и младшую дочь Зинку, когда она спуталась с Митькой Кургановым...

...Навстречу, как и вчера утром, когда Устин отвозил на станцию Смирнова, вставало солнце. Оно слепило глаза, застилая их черной темнотой, и Устин, втягивая голову поглубже в тулуп, подумал вдруг, что сегодня солнце почему-то намного ослепительней, чем было вчера.

«Да, Антип... И Андрон Овчинников...» — усмехнулся про себя Морозов. Вот и все, на кого он, Устин, сумел наложить «лапу», если не считать Фрола Курганова. Попытался было однажды Филимона Колесникова прощупать, а тот прямо заявил, шмыгая носом:

— Ты вот меня обхаживаешь, а я хотел бы тебя общупать кругом.

— Так заходи как-нибудь,— улыбнулся Устин и добавил грубовато: — За чаркой, может, и обнюхаемся.

— Благодарствую за приглашение,— усмехнулся Филимон и вытер своим увесистым кулачищем нос.— Токмо, милый мой, вот с женкой твоей я понюхаться не прочь бы еще, кабы она помене богу кланялась да кабы сам я не обженился нонче на покров. А с тобой...

Устин терпеливо снес и эту насмешку, подумал только: «Съездить бы тебе по сопатке, чтоб нюх отшибить». Вслух же сказал с прежней улыбкой:

— Ладно, Филимон. А друзьями мы еще будем, однако. Вот как нюх притупится у тебя на баб... Беда вот, ждать долго... Но друга и до старости ждать можно.

— А ты и не жди,— посоветовал Филимон.

— Почему ж?

— Не дождешься, пожалуй.

— Да отчего?

Филимон тогда смерил его с ног до головы и произнес прямо в глаза:

— Пришлый ты человек, вот отчего.

— М-м...— невольно промычал Устин, но тут же заставил себя рассмеяться.— Чудак ты, Колесников! Ну, пришлый, так что?

— Да я и говорю — не здешний,— промолвил на это Филимон и ушел, раскачивая кулаками-гирями.

Пробовал также он сойтись с Анисимом Шатровым. Тоже не получилось.

Не получилось и со Стешкой, женой Фрола. Правда, началась было в одно время дружба Стешки с Пистимеей. Стешка зачастила в их дом. Но тут же словно отрезала раз и навсегда.

— А почему это? — спросил Устин у Фрола.

— Хватит и того, что мы с тобой... дружим,— усмехнулся Курганов.

И он, Устин, чувствовал — хватит. С Фролом перегибать опасно.

После этого, году, кажется, в тридцать втором, Устин сделал попытку пригнуть, заломить в свою сторону двадцатидвухлетнюю Наталью Меньшикову. Тихая и пугливая, она одиноко жила после смерти матери все в той же маленькой избенке на краю села, куда поселил их в свое время Большаков.

Уж здесь-то Морозов в успехе не сомневался — ведь как-никак, а все же она Меньшикова, первая и последняя дочь Фильки. Если в семнадцатом была еще соплюхой и не понимала, что к чему, то сейчас подросла, кое-что обдумала. А если и не обдумала до конца, что ж, припугнуть можно, опутать страхом по рукам и ногам.

И он начал все чаще и чаще попадаться ей на пути, как бы ненароком, начал все пристальнее поглядывать на пышно разневестившуюся в те поры Наташку. Она, меняясь в лице, испуганно отворачивалась, жалась все время к людям, чтобы не остаться случайно с ним с глазу на глаз. Так Устин за целую зиму и лето не смог застигнуть ее где-нибудь одну. Тогда он в дождливый осенний день решил пойти прямо к ней домой.

Изба ее стояла под самым увалом, сразу за которым начиналась тайга. Еще засветло он ушел в лес, а когда сомкнулась над землей непроницаемая темень, начал быстро и бесшумно спускаться с увала. Случайная встреча с кем-то из деревенских здесь в такую погоду почти исключалась. Если же, не дай бог, на кого-то наткнется, можно объяснить все тем, что просто возвращается из леса кратчайшим путем.

Как и рассчитывал, Устин никого не встретил. Он перелез через изгородь, которой был обнесен небольшой огородишко. Картошка недавно была выкопана, но развороченная земля еще не слежалась и, расквашенная дождем, глубоко засасывала ноги.

Кое-как Устин добрался до «задних», как говорят в сибирских селах, дверей сенок, выходящих прямо на огород. Сюда же выходило одно окошко. Оно было темное. Только подойдя почти вплотную, он заметил, что за стеклами белеет занавеска.

Устин был уверен, что Наташка наглухо запирается еще засветло, и поэтому даже не потрогал дверь. Расчет его был прост. Рано или поздно она выйдет именно через эту дверь по хозяйственным делам — вон куча дровишек лежит возле сарайчика. Едва стукнет засовом, он распахнет дверь и... Ну, там видно будет, что делать.

Через полчаса начал подувать ветер. Сперва тихонько, потом все сильнее и сильнее. Ветер смешивал, скручивал тонкие дождевые струи и яростно швырял на Устина целые потоки. Порой

ему казалось, что кто-то опрокидывает на него полнехонькие ведра. Спрятаться от этих водяных потоков было некуда — над дверью не было даже малюсенького навеса, и Устин только плотнее закутывал капюшоном дождевика лицо да еще крепче прижимался к стене.

Вдруг что-то громко скрипнуло рядом с ним, и он мгновенно догадался: под напором ветра дверь чуть приоткрылась в сенцы. Нащупал рукой — так и есть, между косяком и дверью образовалась маленькая щелка. «Ах дурак я осиновый! — выругал себя Устин.— Видать, забыла она сегодня эту дверь закинуть. Мне бы попробовать ее сразу...»

В два приема, будто двери распахивались от ветра, он сделал щель пошире и протиснулся внутрь сенок. «Ну вот, теперь можно и тут до утра простоять,— подумал он.— Хотя постой... Может, и двери в избу вот так же забыла...»

Осторожно, стараясь не скрипнуть половицами, подошел к двери и потянул ее на себя. Нет, эта дверь была закрыта изнутри на крючок.

«Ладно, дождемся». Бесшумно обернулся и стал спиной к стене. Впрочем, мелькнула мысль, остерегался он зря, наверное. Ветер так гудит и воет, что Наташка вряд ли может что расслышать. Да к тому же спит давно...

Ветер раскрыл дверь уже настежь, загулял по сенцам, раскачивал тяжелую дверную щеколду, и она ударялась о кованую скобу. Этот звук, тонкий и пронзительный, Наташка должна услышать, если спит чутко... А услышав — вспомнит, что забыла с вечера закрыть дверь. И пойдет закрывать. Пойдет обязательно...

...Вскоре за дверью действительно зашлепали босые ноги. Но когда дверь открылась, Устин, словно от неожиданности, сделал шаг назад.

Полураздетая, голоногая, Наташка метнулась к дверям сенок, торопливо захлопнула их, брякнула деревянной задвижкой. И юркнула назад, в избу. Она уже почти закрыла дверь за собой и едва-едва не накинула крючок. Тогда-то Устин и дернул дверь к себе.

— А-ай!!! — взвизгнула как ошпаренная Наташка, бросилась в глубь комнаты и там закричала еще громче: — А-ай, люди-и!

— Тихо ты. Не режут пока,— сказал Устин.

— Кто это? Кто? Чего надо?.. Дядя Устин?! Не подходи!..

— Да я и не подхожу. Здравствуй, Наталья Филипповна. Чего испугалась, право? Потолковать вот пришел с тобой... Промок весь.— И он начал снимать задеревенелый от воды дождевик.

Но тут случилось неожиданное. Наташка, белевшая где-то у стены, нагнулась, схватила что-то и кинулась к окну. Устин, хотя и не видел, что она схватила, мигом понял, догадался о ее намерении: хочет вышибить стекло и выскочить. Он кинулся на-

перерез. Одной рукой обхватил Наташку за шею, другой вывернул из ее рук табурет.

— Ты что это, ты что это, а? — выдохнул он ей в лицо.

— Пусти, пусти! — тяжело выворачивалась она.— Все равно не дамся! В клочья искусаю, изорву, а не дамся! Лучше сама надвое переломлюсь...

— Вот еще заладила...— проговорил Устин несколько обескураженно, начиная соображать, чего так боится Наташка.— Да я не затем... Послушай. Я ведь помню еще, как ты Фролку вилами чуть не запорола...

Наталья вряд ли понимала его слова, вряд ли слышала их.

— Если ты сделаешь что, убей меня тут же. Тебе это, должно, не в диковинку. Никто не узнает. Ко мне люди не ходят — не скоро хватятся...— Потом глотнула шумно воздуху и прибавила: — А не убьешь — сама задавлюсь. Только раньше... подкараулю где-нибудь тебя и зарублю. Ты это знай...

Вырвавшись, она отбежала в угол и там затихла. Слышалось только ее частое дыхание.

Устин поставил вывернутый из рук девушки табурет и сел на него.

Постепенно дыхание Наташки стало тише, она, видимо, начала успокаиваться.

Он, Устин, усмехнулся и спросил:

— Для кого бережешь-то себя?

— Может, найдется добрый человек,— ответила девушка.

Устин еще раз усмехнулся:

— Так... А если я... женюсь на тебе! Брошу вот Пистимею и женюсь?..

— Я тебе сказала — зарублю...

— М-м... Понятно. А почему?

Наташка молчала. Дыхания ее теперь совсем не было слышно.

— Ну ладно, девка,— снова сказал Устин.— Насчет меня ты все опасливые мысли выбрось. Наоборот, я заступлюсь, если какой кобель начнет облизываться да пускать тягучие слюни, как Фролка два года назад.

— Никто на меня не облизывается. Оставь ты меня, ради бога. Не надо мне никакого заступника,— быстро проговорила девушка.

— Не надо? Не облизывается? Плохо ты, Наталья, людей знаешь. В деревне забыли, что ль, кто ты, чья ты дочь? Гляди, обнадежишься, да поздно будет. Заткнут рот — да в лес. Натешатся гуртом, камень на шею — да в Светлиху. И искать никто не будет. Была нужда кулацкую дочь искать. «Сгинула, скажут, и черт с ней». Вот как оно может...

— Чего тебе надо? — перебила его девушка.— Кто ты такой?

— Кто я такой? Ишь ты! Имя свое всяк знает, да в лицо себя не каждый помнит.

— Оставь меня, дядя Устин! Оставь, ради бога! — взмолилась Наталья.

— Ишь ты! — опять сказал Устин.— С чего это ты меня боишься?

Девушка качнулась в темноте, словно хотела снова сорваться с места, выскочить из комнаты, да в последнюю секунду не решилась.

— Нехороший ты человек! — почти выкрикнула она.— Я ведь чую и вижу... от тебя холодом несет. Чего тебе здесь надо? Зачем приехал? Кто тебя прислал?

Устин поколебался секунду-другую. Потом медленно и грузно встал, подошел к Наташке. По мере того как подходил, девушка все плотнее и плотнее вжималась в угол.

— Значит, сказать все же, кто меня прислал? — отчетливо спросил Устин.

— Я знаю: дядя Демид.

— Гляди не ошибись,— промолвил на всякий случай Устин.

— Нет, я знаю, я чувствую... давно почувствовала это, едва увидела тебя в деревне. Только... только оставьте вы меня в покое! Оставьте!.. Что ж с того, что я дочь! Мне люди не колют глаза этим. Я жить хочу по-человечески, как все люди.

Устин Морозов слушал-слушал ее и сказал негромко и тяжело:

— Жить хочешь? Не колют глаза?! Ну гляди у меня: забудешь, чья дочь, так мы сами тебе их выдавим. Запомни — выдавим!

Поднялся и пошел прочь из избы.

Устин был уверен, что уж кого-кого, а Наташку теперь прижал намертво. Однако после той ночи Наташка стала еще осторожнее. Если раньше она обходила Устина за версту, то теперь стала обходить за две.

Устин наблюдал за ней месяц, другой, третий. За это время ему ни разу не удалось застать ее врасплох. Он начал уже жалеть, что ходил в ту ветреную, дождливую ночь к Наташке, стал побаиваться, как бы она не рассказала кому обо всем случившемся. Но, глядя на нее, мало-помалу успокоился: да нет, где там, больно уж труслива!

А успокоившись, решил сделать еще одну попытку сломить Наташку, подчинить своей воле.

Вьюжным январским утром, возвращаясь из конторы, Устин увидел, как Наташка вышла из дому с коромыслом и направилась к Светлихе. Устин забежал к себе, схватил ведра и тоже пошел к речке.

Было тепло, мокрый густой снег больно хлестал в лицо, залепляя глаза. В четырех-пяти шагах уже ничего нельзя было рассмотреть. Прикрыв глаза рукавицей, он шел, сильно нагнув-

шись вперед, навстречу упругому, пружинящему ветру. Шел и удивлялся, как это Наташка, маленькая, легкая, неустойчивая, осиливает такой напор ветра, если его, Устина, чуть не опрокидывает.

И вдруг кто-то вскрикнул рядом испуганно и приглушенно:

— Ой!

Устин убрал с лица рукавицу, увидел перед собой дочку Марьи Вороновой. Сгибаясь под коромыслом, девочка стояла в двух метрах и смотрела на него снизу вверх черноватыми влажными глазами. Шерстяной платок наполовину сполз с ее головы, в спутанные волосы набился снег. Овчинный полушубок на груди был расстегнут, несмотря на это, ей было жарко, щеки ее розово и горячо пылали, и снежинки, казалось, таяли от этого жара, не касаясь щек, не долетая до них. Ведра ее качались, из них плескалась вода. Видно, она, чтобы не столкнуться, не только остановилась, но и сделала шаг назад.

В те поры дочке Марьи Вороновой было лет пятнадцать. Тоненькие светлые брови девочки, разлетаясь далеко-далеко в разные стороны, настороженно пошевеливались. Казалось, она взмахнет сейчас бровями посильнее, взовьется и улетит.

Устин даже растерялся как-то. С полминуты, а может, больше они молча смотрели друг на друга.

— Тьфу! — плюнул затем он в сторону.— Чего уставилась, право? Проходи.

— Вы дайте дорогу,— сказала она.

Только теперь Устин догадался, что дорогу нужно действительно дать. Дорожка к проруби была узкой, да и ту почти перемело. Звякнув пустыми ведрами, он ступил в сторону, сразу провалился в снег чуть ли не по пояс. Глянув на него теперь сверху вниз, девушка быстро пробежала мимо, плеснув из ведра на рукав тужурки.

Проводив ее взглядом, Устин выбрался на дорожку.

К Наташке он подошел, когда она, припав на колени, черпала воду. Прорубь была неширокой, но глубокой. Черная вода бешено бурлила далеко внизу, точно кипяток. Услышав шаги, девушка мгновенно обернулась, выпрямилась, чуть отшатнулась назад.

— Гляди, упадешь в прорубь-то,— сказал Устин.

Наташка часто-часто задышала, потом быстро нагнулась, подняла коромысло, сжала его обеими руками.

— Чего тебе... опять надо?!

Устин пожал плечами:

— Да пока ничего. Посторонись, воды наберу.

Наташка даже не поверила. Пока Устин черпал воду, она смотрела на него не мигая, не зная, что ей делать — ждать чего-то еще или уходить? Перекинула коромысло через плечи, чуть согнулась, чтоб поднять ведра.

— Слышь-ка,— проговорил Устин.— Анисимова эта... кто она ему — не разберешь... она воду тут брала сейчас...

Наташка, так и не подняв ведра, выпрямилась.

— Ты бы вот подружилась с ней... с девчушкой этой.

— Зачем?

— Ну, зачем...— Устин и сам этого не знал. Вернее, знать он знал, потому что ни на минуту не забывал слова Демида Меньшикова: «Будем отравлять им жизнь помаленьку. Кто засмеется, будем тушить этот смех и заставлять плакать. Кто заплачет, надо постараться, чтоб зарыдал...» Он не знал только, как Наташка сможет заставить дочь Марьи Вороновой плакать. Ну, да это сейчас не самое главное. Главное, чтоб Наташка согласилась, чтоб покорилась его воле. А там он, Устин, придумает как, найдет способ. Главное, в душу влезть Марьиной дочке, поглядеть, что там, определить, где самое чистое, самое чувствительное место.

Устин поставил полные ведра в снег, выпрямился, упер в Наташку свой черный взгляд и закончил:

— Там видно будет зачем!

Наташка ответила тогда ему глухим, сразу осипшим голосом:

— Дядя Устин... Дядя Устин! Затолкай ты лучше сразу меня в эту прорубь. Слышишь... Никогда, никогда не будет по-твоему. Или оставь меня, уйди с моей дороги, ради бога, или затолкай. Искать, как ты сам говорил, никто не будет...

— Добро! — зловеще произнес Устин и в самом деле поглядел на прорубь.— Это твое последнее слово?

Она была ни жива ни мертва. Но все-таки губы ее что-то прошептали, и Устин, хотя и не расслышал ее голоса, догадался, что она сказала «последнее».

И у него холодно заныло где-то в животе. Столкнуть, действительно, под лед, раз неловко так вышло с ней... Столкнуть — и концы в воду. А то разболтает еще...

За пеленой снега замаячила черная фигура. Покачиваясь, фигура приближалась к ним. Устин быстро схватил свои ведра, бросил Наташке:

— Ну, гляди у меня! Да не стой как истукан! Видишь, человек идет!

Человеком оказался Анисим Шатров. В руках у него был увесистый черемуховый кол. Окинув взглядом Наташку, потом Устина, Анисим спросил:

— Моя тут... за водой должна была прийти.

— Только что набрала ведра и ушла.

— Как же я не встретил ее? Надо бежать поискать.

Однако сам не тронулся с места. Стоял, опершись о кол, и обдирал глазами то Наташку, то его, Устина.

Устин обошел Шатрова и направился к деревне.

...Скоро должны быть и Озерки. Во всяком случае, Устину казалось, что едут они давным-давно. Вон тулуп Пистимеи покрылся толстым слоем куржака — значит, едут они не меньше семи-восьми часов. Правда, солнце еще низко, да ведь они долго ехали ночью. Сколько же, интересно, они ехали темью, когда выехали из Зеленого Дола? И куда едут? Ах да, в больницу. А зачем? Зачем?

Устин закрыл глаза и напряг память. Но мысль невольно, автоматически тотчас переключилась на другое: зачем же тогда к проруби подходил Анисим? Что он, в самом деле искал свою дочку? Он же не мог не встретить ее, потому что шел навстречу. И если бы не встретил, тотчас кинулся бы ее искать. Но Шатров не кинулся. Он стоял, уперев грудь в свою палку, и оглядывал его с Наташкой. Чего оглядывал? Зачем? Что в это время думал? Чего ждал? На это он, Устин Морозов, не мог ответить самому себе ни тогда, ни сейчас.

Да, так кончилась его попытка наложить лапу на Наташку. А раз так, раз не мог сделать ее послушным орудием в своих руках, как Андрона Овчинникова, как Антипа Никулина, он начал отравлять ей жизнь, тем более что в те времена, кроме нее да Захара Большакова, у него «в работе» никого не было. И сколько же раз он незаметно для других подсекал ей крылья, которыми она только-только хотела взмахнуть, сколько раз он зажимал ей рот, когда она хотела рассмеяться!

Бывало, утонет Наташка с головой в какой-нибудь работе, раскраснеется, расцветет вся, как цветок в жаркий полдень. Видно, особенно сладким казался ей тогда полевой воздух, особенно голубым и глубоким небо над головой. А он, Устин, подойдет и скажет негромко: «Стараешься, кулацкое отродье? Давай, давай! Только вряд ли кого обманешь. Видим тебя насквозь». Бывало, запоет тихонько Наташка, улыбнется от избытка чувств веселой березке, пролетающей птице или просто тихому зеленоватому вечеру, он, Устин, или его друзья, Юргин с Никулиным, тут как тут: «Смеешься? Поешь? Гляди, как бы заплакать не пришлось...»

Антип Никулин, поддергивая сползающие свои штаны, частенько философствовал при народе:

— А что? Она думает, что работает хорошо, так геройка теперь? Вид-да-али мы таких героек! Нас на мякине не проведешь, а прошлое кровопийство не сажа, не отмоешь! Так-то! И пущай несет крест. А она — ишь чего! Раскрыла хайло поганое, тьфу!..

Народ не слушал обычно Антипа. Все уже привыкли, что Никулин каждый день кого-нибудь да обольет грязью. А Наташка давилась слезами и убегала. И сколько выплакала она слез в одиночестве, никто не знал.

Иногда Захар Большаков спрашивал ее:

— Что это, Наталья, ты с опухшими глазами? Горе, что ли, у тебя какое?

Не осмеливалась Наташка ничего сказать председателю. Как скажешь, когда чувствовала: тут где-то Демид, рядом... Как откроешься, когда Устин угрожающе процедил однажды сквозь зубы: «Ходи, Наталья, да не оступайся. Оступишься, не поднимешься, а долго-долго издыхать будешь, от боли наизнанку вывернешься...»

И, кроме всего прочего, не могла еще Наташка разобраться во всем. А главное — боялась она еще людей. Много она кое-чего видела, знала она, например, куда делся ее отец, Филипп Меньшиков, понимала, отчего сошла с ума мать. И казалось ей, что она выживет только в том случае, если это будет храниться в ее душе, в ее памяти как в могиле.

Но, что называется, всласть натешился Устин Морозов в те два года, когда Наталья работала заведующей молочнотоварной фермой. Мало того, что Андрон Овчинников, Илюшка Юргин, Антип Никулин с разных концов попрекали ее кулацким происхождением, на все лады насмехались, угрожали — Устин пустил слушок, что она, Наталья, живет с девятнадцатилетним Егоркой Кузьминым, работавшим тогда пастухом. Слуху этому вроде и не верили, а все-таки нет-нет и оглянется на Наталью то один, то другой...

Доведенная до отчаяния, Наталья однажды вечером, когда Егор пригнал стадо, подошла к нему и со слезами на глазах попросила прямо при доярках:

— Егор, Егор... Ну, скажи ты им все, скажи, что это напраслина. Ведь я на десять лет тебя старше.

Егорка, угловатый, неповоротливый, с лицом, густо изъеденным оспой, и все-таки дьявольски красивый парень, был к тому времени у Морозова «в работе». Он небрежно повернул к ней голову, спросил:

— Чего это сказать, Наталья Филипповна?

— Да ведь звонят по деревне, будто мы... с тобой...

И тут Егор обнял ее за плечи. Не успела она что-либо сообразить — он поцеловал ее прямо в губы и проговорил:

— Слышат звон, да не знают, где он. Пусть теперь знают.

Взвизгнули молодые доярки, охнули те, кто постарше. А Наталья вспыхнула огнем, обуглилась, почернела.

— Приезжай завтра ко мне, Наталья,— нагло добавил Егор.— Буду пасти до обеда в Кривой балке.

Вроде и не сильной была Наталья, но с такой силой звезданула Егора по щеке ладонью, что он отлетел к самой изгороди. Снова взвизгнули доярки. А Егор подскочил к Наталье, сжимая в обеих руках кнутовище. Лицо его было бледным, ноздри вздрагивали.

Но он не ударил ее. Он только проговорил еле слышно:

— Ну, берегись, кулацкая сучка...

Как бы случайно вывернулся из-за угла Устин. Прикрикнул на доярок — те прыснули на все стороны. Поглядел на Наталью, на Кузьмина и произнес, как и Егор, вполголоса:

— Л-ладно...

И начались у Натальи неприятности за неприятностями. Сперва резко пошли вниз удои, потом не успела до зимы закончить ремонт скотного двора, а зимой выяснилось, что половина коров остались яловыми.

Встал вопрос, что делать с заведующей молочнотоварной фермой. Наталью вызвали на правление. Большаков попросил объяснить, в чем дело.

Много могла бы объяснить Наталья. Например, что Егор все лето пас коров на одном и том же поле, вытоптанном до того, что три-четыре года там теперь не будет расти трава, что быка он чуть ли не ежедневно привязывал цепью к деревьям, что Устин Морозов умышленно не давал на ферму стройматериалов до самых холодов, отделываясь одними обещаниями.

Но она ничего этого объяснять не стала. Она заплакала, сказала только два слова:

— Ладно, снимайте.

И ушла с правления.

Тяжело, вероятно, жилось бы Наталье и дальше, да, на счастье, приметил ее комбайнер из соседней деревни, Андрюшка Лукин, и увез к себе. Вернулась она в Зеленый Дол, когда мужа взяли на войну. В это время Устина Морозова тоже не было в деревне. А когда он вернулся с фронта, у Натальи была уже трехгодовалая девочка. При первой же встрече она, прижав девочку к груди, так посмотрела на Устина, что Морозов невольно отступил шага на два.

— Вернулась, значит, Наталья Меньшикова? — спросил он.

— Вернулась,—ответила Наталья, еще крепче прижимая к себе ребенка.— Только я теперь сбросила эту проклятую фамилию. Лукина теперь я...

Она глядела на него, чуть опустив голову, исподлобья. В глазах ее стоял какой-то отчаянный, холодный с прозеленью блеск. И от этого блеска просыпались по всему телу Морозова Устина острые ледяные иголочки. Такой блеск он уже видел однажды. Как-то Егор Кузьмин, еще будучи пастухом, нашел волчью нору, а Устина попросил стоять на страже, предупредив:

— Взведи курки на всякий случай. Волчица далеко никогда не уходит. Гляди получше вокруг, а то худо нам будет.

Вскоре Егор, обливаясь потом, выволок волчонка, подал Устину.

— Остальные, черти, забились в самую глубину. Кинь этого в мешок.— И, стерев с красного лба испарину, глотнув воздуха, опять полез в нору.

Тут-то и увидел Устин этот холодный, с прозеленью, отчаянный блеск волчьих глаз. Волчица, приготовившаяся к прыжку,

лежала меж камней на верху небольшого утеса, под которым была волчья нора.

Как он еще успел вскинуть ружье. Картечины прошили зверя на лету (чего-чего, а стрелять Устин научился хорошо). Однако прыжок был так силен и так точно рассчитан, что волчица, уже мертвая, ударившись Устину в грудь, опрокинула его в заросли жимолости...

— Ага, вернулась...— еще раз сказал Устин.— Я так и знал...

Больше он не решался бередить Наталье душу, оставил ее в покое.

Устин поглядел вокруг. Они ехали все той же белой, бесконечной степью, подернутой синеватой дымкой.

Пистимея сидела сбоку, завернутая в тулуп, как большая деревянная кукла. Устин подумал, что она в самом деле замерзла, что толкни ее — она вывалится из саней да так и останется неподвижно лежать на снегу.

Он усмехнулся. Ведь не сам, не сам отступился он тогда от Наташки и не сам, оказывается, решился пригибать ее к себе. Вот ведь память, вроде все помнится ясно, все стоит перед глазами, будто происходило всего лишь вчера. А на самом деле многое-многое уже забылось. Ведь и здесь, выходит, покорился он жене. Как было дело? Да он, Устин, начал было поглядывать на Наташку, она стала остерегаться его. Когда бы он еще решился с ней поговорить, да Пистимея, когда однажды ехали с поля, спросила ядовито:

— Что у тебя глаза помасливаются, как Наташкина юбка заполощется?

— Выдумаешь тоже! — прикрикнул он, Устин.

Пистимея помолчала. Потом спросила:

— Она ведь дочка Филиппа Меньшикова?

— Вроде бы.

— Вот видишь.— И Пистимея вздохнула. А затем задала еще один вопрос: — Она вроде еще трусливей, чем Андрон Овчинников?

И Устину стало ясно, чего хочет Пистимея. Хлестнув коня бичом, он проговорил:

— Не знаю, трусливей ли... А осторожна. Как девица, бережется.

— Она девица и есть,— строго вдруг обронила Пистимея.— А вокруг вон сколько бегает кобелей.

Когда проезжали мимо Наташкиного дома, Пистимея проговорила, жалостно вздохнув:

— Да разве от вас, кобелей, уберегешься! Девка одна живет, на отшибе.

И Устин понял, что делать, как действовать.

Потом он чувствовал, что жена внимательно следит за ходом дела, видел, как она усердно молится за успех, знал, что она недовольна. Но вслух она ничего не говорила. Когда он в конце войны вернулся в Зеленый Дол, Пистимея проговорила ночью, лежа на спине возле Устина:

— Сегодня Наташку встретила. Я поздоровалась — она эдак окрысилась, что я... Ты уж гляди теперь, Устинушка...— Запнулась, погладила его волосатую грудь холодной ладонью.— Я к тому, что... ну ее... от греха. Не вздумай, говорю... Когда-то ведь облизывался, как кот на масло...

И вот в ту ночь он, Устин, впервые вышел из себя:

— Слушай, чтоб тебя! Неужели ты не можешь... Неужели мы не можем прямо говорить! Неужели кто подслушает нас тут? Что ты все с намеками, все с ужимками? Не понимаю, что ли, в чем дело? Чего нам друг перед другом-то? Не одну бочку мы с тобой крови человеческой пролили...

Пистимея зажала ему рот рукой. Потом вскочила, схватилась за сердце, будто оно у нее зашлось.

— Гос... Господи, о чем ты?! Устинушка, да разве можно такое... об этом... даже в мыслях? Варька вон большая уже. Все, что было, быльем поросло.

Сползла с кровати, стала на колени и принялась шептать молитву. А он, Устин, лежал и думал: «Быльем... Даже в мыслях нельзя! А давно ли она высказала все это почти прямо?» Давно ли он уходил в армию и она, Пистимея, шептала, провожая его: «Вот и дождались вроде! А, Устинушка? Вот и дождались! Ты уж гляди там, гляди... Слышь, Устин? Понимаешь? Ждали, как советовал Филь... Ну да понимаешь ведь — дождались, дождались... Ты уж гляди, говорю...»

Пистимея была тогда взволнована и, размазывая по лицу слезы, все повторяла и повторяла без конца одно и то же. Ему, Устину, надоели ее причитания, и, кроме того, вокруг было полно народу. Уж говорить — так говорила обо всем раньше бы, с глазу на глаз. Однако наедине ни словом не обмолвилась, только все ходила по комнатам торжественная и строгая. А тут, на вокзале, в Озерках, стоя возле теплушки, хватаясь за его плечо, вдруг разошлась. Разошлась до того, что он прикрикнул на нее: «Ну! Сам знаю...» Затем погладил ее по растрепанной голове, нагнулся к уху: «Все понимаю, знаю, что мне делать...»

Да, в те дни Пистимея, наверное, верила во что-то и высказалась почти прямо. И сам он, Устин, верил, что сбылось Филькино предсказание — не оставили их в беде, пришли на помощь. И он, Устин, действительно знал, что ему делать. Знал с самого того дня, как началась война. И он делал, делал то, что было нужно. А потом, потом...

Все тело горело, будто с него сдирали кожу, при одной мысли, что потом все кончилось... Мысли путались, в голове начинался прежний осточертелый звон, сознание мутилось...

Пистимея, когда он возвратился домой с войны, каждую ночь до самого утра молилась. А утром, холодная и скользкая, заползала под одеяло.

Однажды она сказала:

— Марфу Кузьмину вчера видела. Егорка скоро из армии приезжает, слыхал?

— Слыхал. Не с армии, из госпиталя. В Маньчжурии, говорят, стукнуло. Его одногодков не пускают еще.

— Уж побеспокойся, поставь его обратно на ферму. Все же свой человек. И Марфа просила. Уж так рада старуха, так рада! А то, может, все животноводство отдайте ему. Ведь фронтовик теперь, заслуженный. Внуши Захару...

Устин почувствовал, как теплеет его бок, открыл глаза, высунулся из воротника.

Солнце по-прежнему стояло невысоко, но все-таки оно пригревало. Лошадь тащилась теперь шагом, задние ноги ее устало заплетались. Степь просматривалась далеко-далеко, синеватой дымки не было.

Пистимея сидела все так же прямо, как деревянная. Подтаяв от солнечного тепла, с ее шубы клочьями сваливался куржак, отчего вся спина была пестрой, как шкура линяющего зайца.

Устин так и не понял, дремал он или находился в каком-то нездоровом забытьи.

Вдруг ему показалось, что ведь он действительно нездоров, он мог и не очнуться от этого забытья. Он мог бы вот так и умереть, окоченеть в этом своем тулупе. И Пистимея, увидев, что он замерз, остановила бы лошадь, испуганно потрясла бы его за плечо. А потом... потом успокоилась бы и спокойно вывалила его из тулупа на землю, закидала снежком...

И Устину стало жутко. Белая заснеженная степь захлестывала со всех сторон, снежные волны накатывались и накатывались, Устину показалось, что он тонет, задыхается. Захотелось вдруг услышать живой человеческий голос, хоть чей-нибудь, хотя бы своей жены.

— Пистимея! Пистимея!..— торопливо крикнул он, с трудом проглатывая ком, заткнувший ему горло.

Она отогнула воротник тулупа, показала одни глаза.

— Чего тебе?

Действительно, чего ему? Пока Устин соображал, Пистимея отвернулась, проговорив:

— Скоро приедем. Эвон домишки завиднелись.

Устин помолчал с минуту, может, с две и неожиданно закричал сердито, с нескрываемым злорадством:

— А вот с Егоркой Кузьминым я сам, сам, сам...

— Чего сам? — опять отвернула она до половины лица стоячий воротник тулупа.

— А так — сам, и все! Без твоей помощи, без твоей! Это уж ты потом, сучка старая, руководить начала, когда уже война кончилась. Тоже мне: «Внуши Захару...» Без тебя-то не знал!..

Устин дышал торопливо, точно боялся, что им двоим не хватит воздуха в этой огромной, беспредельной степи.

Пистимея покачала головой:

— Горячка у тебя. Потерпи, говорю, Озерки близко.

Устин хотел сказать: «Дура ты, какая еще горячка?» Но не сказал, потому что принялся думать о Егоре Кузьмине.

«Накладывать лапу» на Егора он начал действительно самостоятельно. После истории с мешком пшеницы, вместо которого он заставил Егорку вернуть четыре, парень совсем было раскис, но Устин сказал ему:

— Не вешай носа, а то уронишь где-нибудь. Ты слушай меня.

— Может, ты заставишь еще мешка четыре вернуть, а я — слушай! — огрызнулся Егор.— Эдак догола разденешь.

— Могу раздеть, а могу одеть.

— Как же это так? — Егорка недоверчиво приподнял брови, почесал ладонью изрытую оспой щеку.— Интересно бы испытать.

— Испытаешь, коли умным будешь. От оспы-то тебя тоже я вылечил.

— Ну?

— Я дуги гну,— шуткой закончил Устин.— Нехитро ремесло, а кормит. Приходи, погляди. Смекалистый — так научишься.

Егор, сощурившись, поглядел прямо в черные глаза Устина и в задумчивости опять почесал пятерней рябую щеку.

Егорка оказался смекалистым. В этом Устин убедился очень скоро.

Как-то вечером Егор ехал мимо тока на бричке, в которой лежало несколько пластов свежей отавы. Устин окликнул его:

— Кузьмин! В деревню, что ли?

— Ага.

— Подверни-ка.

Егор подвернул.

На току стояли мешки с пшеницей, которые не успели днем увезти в амбары. Егор подъехал прямо к мешкам, спрыгнул на землю.

— Чего тебе?

— Я с тобой поеду. Погоди меня с полчасика. Я сейчас.— И ушел в сторожку вместе со сторожем тока Илюшкой Юргиным.

Больше на току никого не было. Егорка огляделся, быстренько сбросил траву, закинул на бричку четыре мешка с зерном, а сверху прикрыл травой.

Вскоре вышел из сторожки Устин, взобрался на бричку:

— Поехали.

Дорогой Устин запустил руку под траву, спросил:

— Чего у тебя там?

— А дуги, дядя Устин.

— Ну-ну...
— Я тоже помаленьку гну.
— Научился, вижу.— И полюбопытствовал с усмешкой: — А коли мать твоя обо всем узнает? Ведь в какой-то заповеди... этого... Моисея, что ли, написано: «Не кради».
— Э-э...— махнул рукой Егорка.— Я, когда жил в Озерках с матерью, начитался этих книг. Сперва она меня силком заставляла, а потом, понимаешь, мне самому интересно стало. Я сидел и выискивал из религиозных книг те места, где всякие пророки, праведники, ангелы да патриархи воруют, пьянствуют, женщин, понимаешь, насилуют, развратничают и по одному, и целыми компаниями... Был такой праотец — Авраам. Святой, пишется в тех книгах. А жену свою — Саррой звали — за деньги... ха-ха... на время одалживал египетскому фараону, потом какому-то царю Герарскому. За пользование женой получил Авраам много серебра, скота разного. Вот оно как праотцы-то наши умели жить. У этого Авраама был внук Иаков. Так он облапошил своего дядю и разбогател. А сын этого Иакова, Иосиф, еще похлеще был горлохват. Этот сумел обобрать всю землю Египетскую да Ханаанскую, весь народ закабалил, сука, голодать заставил. А когда Иаков заявился в Египет, сынок ему лучшие участки земли отвалил, ублажил всякими дорогими подарками. Вот как первые-то люди на земле воровали. Мать, поди, знает об этом. И жена твоя знает. Так что...
Устину не понравилось упоминание о его жене. Он сухо сказал:
— Я к тому — не перегни смотри.
— Да я осторожненько.
«Дуги» Егорка гнул действительно осторожно, но довольно часто. Об этом никто не знал, кроме Устина.
В порыве благодарности Егорка не раз говорил:
— Ну и человек ты, дядя Устин! Может, тебе чего подбросить когда? Ты не стесняйся. Тетка Пистимея, говорю, знает...
— То ли я еще сделаю для тебя, Егор,— каждый раз отвечал Устин.— Вот подумываю: не поставить ли тебя заведующим фермой?
— Ну так что ж, давай,— чесал Егор свою щеку.
Однако вместо заведования фермой Егору поручили пасти коров. Кузьмин нервно рассмеялся, спросил у Морозова:
— Это как же понять, дядя Устин?
— Не ерепенься. Твое от тебя не уйдет. Только ты делай то, что я скажу. Пасти коров тоже умеючи надо.
Егор пас умеючи. И вскоре стал заведующим фермой вместо Натальи Меньшиковой.
Теперь Егор «гнул» дуги все круче и круче. Сколько было пропито бычков и телочек, сколько центнеров молока, сливок, сколько тонн сена продано с помощью Илюшки Юргина в райцентре и сколько тысяч рублей попало в карман Морозовым —

об этом не знает никто, даже сам Устин. Об этом знает только разве Пистимея, которая, ни во что не вмешиваясь, исправно сдирала с Юргина «оброк», всякий раз с поразительной проницательностью назначая его размеры. По возвращении из райцентра Юргин обычно старался не попадаться на глаза Пистимее, обходил дом Морозовых далеко стороной. Но Пистимея все же встречала его где-нибудь и молча прищуривала глаза. А то Овчинников или Антип Никулин сообщали: «Что-то Пистимея спрашивала тебя...» Иногда сам Устин бросал одно-единственное слово: «Зайди-ка!» Во всех случаях Юргин, съежившись, кидал по сторонам беспомощные взгляды, медленно, нехотя шел вечерком к морозовскому дому.

От Пистимеи Юргин выскакивал красный, какой-то облезлый, словно ошпаренный. Сразу же бежал к Егору, шлепал шапку или фуражку об пол.

— Нет! Все! Ишь живоглотка! Подавится когда-нибудь моими... моими заработанными, захлебнется моим потом! С-стерва, все выкачала!

— Не подвывай,— морщился Егор.— Как она говорит, у бога не последний день. А даст бог день, даст и пищу.

Егор неминуемо бы попался, если бы Устин его не сдерживал. На этой почве у них частенько происходили даже стычки, но в общем-то Кузьмин подчинялся ему.

...На второй или третий день, как началась война, Устин собрал у себя на квартире Андрона Овчинникова, Антипа Никулина, Фрола Курганова, Егора Кузьмина. Тут же был и Юргин. Оглядев всех, Устин невесело, горько усмехнулся: немного же он нажил здесь друзей!

Объявись Демид, стыдно было бы и показывать таких орлов. Но вслух сказал:

— Вот что, братцы мои... Расстаемся, я думаю, ненадолго. Я должен быть как можно скорее там,— Устин кивнул лохматой головой куда-то за окно.— Многие из вас тоже рано или поздно понюхают пороху. Смотрите у меня, остерегайтесь, зря головы в пекло не суйте. Вернусь — нам всем много работы будет. Вы у меня и правая и левая рука.

Из всех присутствующих разве только Юргин понимал, о какой работе говорит Устин, что он вообще подразумевает за этим, на что надеется.

Вернуться в Зеленый Дол Устину пришлось совсем не так, как он рассчитывал...

Когда приехал из госпиталя Егор, Морозов обнял его, как самого родного человека.

— Егорка, черт! Вот уж рад я, что жив-здоров!.. Не совсем здоров? Ничего, вылечим! Я уж тут работу тебе подготовил. В армии ты чем командовал? Взводом?.. Как же, слышали. Кто бы мог подумать! Солдатом ведь начал. Вырос, вырос! Так вот, работку, говорю, подготовил, с Захаром Большаковым

согласовал. Будешь всем животноводством колхоза заворачивать. Понял?

Егор, к удивлению Устина, не обрадовался. Работать начал вроде тоже с неохотой. Илья Юргин ужом крутился вокруг Егора, ожидая, когда тот позволит оторвать ему жирный кусок. Но Егор будто не замечал этого.

Наконец Юргин не выдержал:

— Егор, э-э... ты чего?

— Что такое? — спросил Кузьмин.

— Так как сказать... Все вон в армейских брюках ходишь... На заду продырявились уж. А на базаре маслице за сотню килограммчик.

— Пошел к черту! — коротко отрезал Егор.

Юргин даже замотал головой: не ослышался ли? Но когда понял, что не ослышался, уронил:

— Так-с. Хе-хе!.. А непонятно.

Устину тоже все это было непонятно. Но он не вмешивался месяц, два, полгода. А потом как-то сказал, когда они остались вдвоем в коровнике:

— Изменился ты, Егор, вижу. Что это с тобой произошло?

Егор, видимо, ждал такого разговора. Он потер ладонью рябую щеку, ответил глухо:

— Все мы изменились. Вон какую войну пережили, вон сколько бед перенесли.

— Н-да... Я и говорю — другим стал,— холодно проговорил Устин.— Раньше про веселое житье-бытье святых праотцев, бывало, рассказывал.

— А ты что, прежний? — повернулся к нему Егор.— Как же нам не быть другими?! Не знаю, как ты, а я в таких передрягах побывал, что... Две, считай, войны за один раз прошел — и германскую, и японскую. Твои слова помнил, голову вот, слава богу, уберег. Не думай, что сбережением своей головы только и занимался. Воевал я честно. Но слова твои, говорю, помнил...

Устин запустил пальцы в начинающую отрастать бороду, сказал сухо:

— Молодец!

— Война вытряхнула всю дурь из головы, вот что я скажу, Устин. Нагляделся я всего, передумал о многом...

— Дурь — это хорошо. Для чего она человеку, дурь-то?.. А память как, не вышибла?

Егор Кузьмин невольно опустил глаза в землю.

— Слушай, Устин Акимыч...— Голос его изменился, стал тихим и нерешительным.— Может, лучше... легче, по крайней мере, было бы, коль отшибло и память...

Морозов усмехнулся, а потом жестко сказал прямо в лицо Егору:

— А я считаю, хорошо, что не отшибло. А то напоминать бы пришлось, сколь телок да бычков пропито, сколь сена, масла, сметаны Юргин в Озерки перевозил.

— Перевозил, это верно,— покорно согласился Егор. Потом со злостью добавил: — А по чьему указу? А деньги кому шли?

— Не болтай ты! — прикрикнул Устин.— Щенок ты еще! Кто видел, в чей они карман текли? Кто докажет? Уж не ты ли?

Егор переступил с ноги на ногу и сказал с горечью:

— Сволочь ты, Устин!

— Возможно,— согласился Морозов.— Ты один благородных кровей.

— И зачем тебе столько денег? Куда хапаешь?

Устин Морозов усмехнулся еще раз и проговорил задумчиво:

— Не нужны мне деньги, верно. И не в деньгах совсем дело.

— Так в чем же?

Устин нахмурил брови:

— Ладно, будь здоров. Заболтался тут с тобой!

На другой день Илья Юргин повез на маслозавод двенадцать фляг молока. По документам Егор провел только десять. И он, Устин Морозов, принимая эти документы от Кузьмина, проговорил:

— Ага, порядок. Документацию, говорю, ведешь аккуратно. Так и дальше продолжай.

И Егор, хотя и с большим скрипом, но продолжал. Однако год от году «скрип» этот становился все туже и туже. Илья Юргин за несколько послевоенных лет потратил нервов больше, чем за всю прошедшую жизнь. И когда Егор упирался окончательно, «Купи-продай» прибегал к Устину и начинал подпрыгивать на стуле, точно его кололи снизу острым шилом.

— Нет, Устин... Н-не-ет, как хошь, а Егорка идиот непуганый. Ить за нонешнее лето волчишки всего одного теленка порвали. Это как, а? Не могли они, что ли, с полдюжины хотя бы загрызть? Каждому ясно, что могли. Слышь, Устин? Слышь, говорю?

— Да слышу, чтоб тебя! — взрывался Устин и шел к Егору.

После тяжелого разговора Кузьмин соглашался, чтоб за лето волки загрызли двух-трех телят.

Особенно тяжело было с ним разговаривать прошлой, дождливой осенью: когда Юргин намекнул, как бы сплавить на сторону брички четыре сена, то Кузьмин вообще послал его ко всем чертям. Илья принялся плакать и ныть перед Устином. Устин вынужден был снова разговаривать с Егором.

Потерев, как обычно, свою щеку, Кузьмин отрезал:

— Не дам сена. Ты же видишь, какой нынче год. И так на ползимы не хватит, попадают коровенки.

— С тебя, что ли, спрос будет?

— И с меня. А как ты думал? С Антипа, что ли, твоего кривоногого спросят? Не дам.

— Ладно. В тюрьму, видать, захотел? Можно.

— Да лучше в тюрьму! — закричал Егор, багровея.— Лучше отсидеть честно! Иди жалуйся. Поглядим еще, не вместе ли угодим туда.

Устин несколько минут сидел на скамейке против Егора и думал, что ключ, которым он намертво запирал Фрола Курганова, тут не подходит, не лезет в замочную скважину.

— Понятно,— буркнул наконец Устин.— Это окончательно?

— Окончательно. Или дай мне жить, дышать свободно, или иди жалуйся.

— Ладно,— снова проговорил Устин и поднялся.— Мне в тюрьму не страшно, я свое почти отжил. А договоримся так. Четыре брички сена — многовато, а две пусть увезет Юргин под первый снегопад. Да, еще вот что... В Пихтовой пади у нас два, что ли, или три стожка стоят. Место там глухое, дальнее. Так вот... Ты не вывози пока сено оттуда. Пусть стоит... на всякий случай. Ну, будь здоров.

И, не дав Егору опомниться, вышел.

Потом все время думал, гадал: будет или не будет Егор вывозить сено на фермы из Пихтовой пади? Даст или не даст сена Илюшке?

Стожки в Пихтовой пади так и остались стоять в зиму. Юргин сметал все-таки пару бричек колхозного сена на своем дворе.

Глубокой осенью, когда уже навалило снега по колено, Большаков вздумал самолично проверить, все ли сено вывезено на фермы, не остался ли где забытым какой-нибудь стожок. Устин шепнул Егору: «Как хочешь, а чтоб не видел Захар тех стожков». И Большаков не увидел. Егор не рассказывал, как он обвел председателя. Да Устин и не допытывался.

И вдруг позавчера Егор распорядился вывезти на колхозный двор сено из Пихтовой пади. Правда, иначе он не мог, потому что Фрол Курганов наткнулся случайно на эти стожки. «Случайно? А случайно ли? Да что же это происходит? Пистимея, объясни, пожалуйста. Ты все знаешь, сволочь верующая, все понимаешь. Я тебе покорялся, делал все, как ты хотела. Так вот, объясни мне теперь: что происходит, что происходит?!»

Устин распахнул тулуп, открыл глаза, крутнул головой. Он и в самом деле хотел вслух спросить у Пистимеи, что же это происходит. Но не успел, потому что в эту секунду раздался голос жены:

— Вставай, приехали! И скажи: «На сердце жалуюсь». Хлюпает, мол, что-то в сердце, и колотье.

Никакого колотья, никакой боли он в сердце не чувствовал. Но кошевка в самом деле стояла возле крыльца районной поликлиники.

Глава 26

Вера Михайловна Смирнова без конца заставляла Устина поворачиваться к ней то спиной, то грудью. Голый по пояс, он неуклюже поворачивался, чуть не царапая бородой ее лицо.

— Фу, какую бороду отрастили! — сказала она, когда он все-таки царапнул ее по щеке.

— Что вам борода? — угрюмо сказал Устин.— Она у меня не болит, пущай растет на здоровье.

— Да уж очень страшная она у вас. Ну-ка, еще раз спиной ко мне!

Наконец она отложила стетоскоп.

— Сердце ваше мне не нравится больше, чем борода. Раньше жаловались?

— На что?

— На сердце.

— Вроде здоровый был.

— Погодите-ка... Вы говорите, из колхоза «Рассвет»? Тут ваш участковый врач. Одну минутку.

Вера Михайловна вышла. Вернулась она с молоденькой девушкой, в которой Морозов узнал Елену Степановну Краснову. Девушка воскликнула:

— Устин Акимыч! Да что же это вы?! Не может быть...

— Чего там! — кисло проговорил Устин.— Вчера вот редактора Смирнова вам привез, а сегодня сам...

— Смирнова? — подняла уже наполовину седую голову Вера Михайловна, встала и подошла к Морозову.— Так это вы?

— Чего я?

— Да... привезли к Елене Степановне моего мужа. Ведь Петр Иванович мой муж.

Морозов снова чуть не царапнул ее по лицу бородой.

Вера Михайловна смотрела на него, прищурившись. В глубине ее глаз настороженно поблескивали маленькие светлые точки. Потом отошла к столу, надела очки.

— Ну я,— сказал Устин.— Выехали мы — ничего. Уж в дороге ему худо стало...

— Да, действительно, Морозов Устин Акимыч,— проговорила Вера Михайловна, рассматривая его больничную карточку.

«Значит, не отшибло память, все помнит, собака, что произошло вчера,— думал Устин о Смирнове, подставляя теперь уже Елене Степановне то грудь, то спину.— Даже рассказал все жене, кажется».

Но это не вызвало у него ни страха, ни опасения. Так же спокойно он подумал: «Захару, конечно, тоже рассказал»,— и усмехнулся...

— Странно, странно,— проговорила Елена Степановна.— Устин Акимыч, давно это у вас с сердцем?

— Что, хлюпает?

— Да, работает... шумновато. Ведь вы все время были абсолютно здоровы.

«Со вчерашнего вечера,— мог бы сказать Устин.— С того самого часа, как жена дала попить успокаивающего отвара». Он только подумал о Пистимее: «Хитра же, набожная сволочь!» А вслух проговорил:

— Давненько так — поколет да отпустит. А вчера вот забрало...

— Чего же вы раньше мне не говорили?

— Да неудобно как-то. Такой бычище, а тут...

— Ну хорошо. Одевайтесь.

Устин стал натягивать рубаху. Оба врача — пожилая и молодая — склонились над столом.

Потом Елена Степановна протянула Устину рецепт, встряхнула короткими волосами:

— Вот, будете пить капельки перед едой, три раза в день. И все должно пройти. В ближайшие дни я приеду в колхоз, навещу вас. Как там Дмитрий Курганов, не температурит? Я вчера ему укол сделала.

— Что ему укол! Его мокрым бревном не перешибешь.

Краснова опять тряхнула головой, откинула сползающие на щеки волосы.

— Вы знаете, Вера Михайловна, любопытный парень этот Курганов. Я приехала делать профилактические прививки колхозникам, а он в тайгу сбежал. А вчера попался мне прямо в кабинете. Спрашиваю: «Это вы осенью испугались прививки?» — «Не испугался, говорит, а кожу зря прокалывать не дам». Однако тут же разделся...

— Да? — Вера Михайловна, писавшая что-то в больничной карточке Устина, сняла очки, чуть улыбнулась. И щеки молодого доктора вдруг зарумянились.— Значит, пейте капли, Морозов,— поспешно проговорила Вера Михайловна.— Ничего опасного, я думаю, у вас нет.

— А если, Устин Акимыч, опять это почувствуете — сразу ко мне,— не поворачиваясь к Морозову, сказала Елена Степановна.— До станции все-таки ближе, чем сюда.

— А ничего, похлюпает да перестанет,— махнул рукой Устин и вышел.

Пистимея сидела в коридоре, держа на коленях оба тулупа. Увидев мужа, встала, молча направилась к выходу. На крыльце поликлиники Устин невольно остановился — прямо в лицо ему ударил разносившийся по селу колокольный звон.

Устин и раньше знал, что в Озерках действует небольшая церквушка, много раз проходил мимо нее, много раз слышал чуть дребезжащий звон, видимо, расколотого, как ему представлялось, изношенного колокола. Но он никогда не слышал, чтобы колокольный звон был так силен и резок. «Я все как-то

летом бывал тут, а зимой, выходит, звукам просторнее»,— подумал он и стал спускаться с крыльца.

Пистимея уже сидела в кошевке. Она молча подождала, пока муж усядется рядом, и тронула вожжи.

Они ехали по главной улице райцентра, широкой, ровной и прямой. Но через несколько минут Пистимея потянула за левую вожжину, и лошадь послушно свернула в тесный переулок. Не раз и не два в течение зимы узкую улочку переметывали высокие сугробы. Снег никто не убирал, да в этом не было и нужды. После каждой вьюги дорогу торили прямо по сугробам, и сейчас вдоль всего переулка застыли высокие снежные волны, меж которых ныряла легонькая кошевка. Но Устину казалось, что эти снежные волны не мертвые, что они катятся одна за другой им навстречу под колокольный звон, а кошевка, стоя на месте, взлетает на гребни этих волн и падает вниз, взлетает и падает. Она, их кошевка, держится еще на волнах, но вот-вот зачерпнет тяжелой, холодной воды. Пистимея растеряется, поставит кошевку, как лодку, боком к волне, волна ударит на них сверху всей своей многотонной тяжестью, перевернет, раздавит все в щепки, навеки похоронит в бездонных черных пучинах.

— Куда это мы едем? — спросил Устин.

— На заезжий двор, куда же еще. Переночевать придется. Какая нужда гонит нас на ночь глядя? Да и лошаденка приустала...

Солнце еще не село, но земля была исполосована длинными тенями, которые становились все гуще и гуще.

Самая длинная и густая тень была от церкви. Вроде и церковь не такая уж высокая, но черная полоса от нее тянулась чуть не на полдеревни, пересекая главную улицу Озерков. Несколько минут назад они переехали эту тень, а сейчас снова нырнули в сумрак, отбрасываемый как-то неуклюже покосившейся колокольней.

На заезжем дворе их встретила с костылем в руке Марфа Кузьмина.

Моргая ослабевшими глазами, долго всматривалась в Устина, потом в Пистимею.

— Дышишь еще мало-мало? — спросил Устин.

— Господи, а я-то смотрю — кто это такие? Милости просим, милости просим... Вот уж гости, право, дорогие! Дышу, да на ладан, видать. Все у меня хрипит внутри, как сквозь решето свистит. Ну, раздевайтесь, заколели, видно. Как там Егорка мой?

Когда-то Марфа приехала сюда с условием, что подрастет сын, и она вернется в Зеленый Дол. Но сын подрос, еще до войны вернулся в деревню, а Марфа тут так и осталась. «Привыкла я,— заявила она Егору.— На людях тут всегда, не тоскливо. Ты уж большой, ступай один. Приезжай когда. И я буду ездить к тебе в гости. Да притвор с Антипа стребуй...»

— Как же ты все-таки живешь, Марфушка? — спросила Пистимея, разматывая шаль с головы.

— Да какая уж мне жизнь! Помирать скоро домой поеду. Чай будете пить? Эвон самовар, там, в горшке, угольки.

Устин чай пил молча. Не раздеваясь, прилег на кровать.

На улице темнело, в небольшое оконце одна за другой стали заглядывать звездочки. А Устину почему-то казалось, что сегодняшний день еще не кончился. Он чувствовал, что сегодня должно случиться еще что-то, может быть, самое главное из того, что случилось с ним за два прошедших дня.

А что случилось за эти два дня? Он прикрыл веки. Но почти сразу же услышал:

— Слышь, Устюша, пойдем.

Услышал и вздрогнул.

— Куда?!

— Да так... подышим воздухом перед сном. Душно тут.

«Врешь, врешь!» — хотел крикнуть Устин, однако покорно поднялся и сказал:

— Пойдем.

Пистимея шла впереди, Устин — следом.

Он шел по какому-то темному переулку, пока не натолкнулся на жену: оказывается, она остановилась.

— Сюда,— сказала она, взяла Устина за плечи и подтолкнула к тесовым воротам.

Ворота открылись и тотчас захлопнулись, зарычала зло собака, и кто-то крикнул:

— Сыть, чтоб тебя...

Невысокий человек, крикнувший на собаку, с тяжелым стуком закидывал ворота деревянным брусом. «Ага, нас ждали тут,— подумал Устин.— Вот куда привезла меня Пистимея, а не в больницу».

— Айдате-ка с богом,— сказал человек, закрывавший ворота. Теперь голос показался Устину знакомым.— Вот сюда в дом.

Морозов, силясь вспомнить, где слышал этот голос, не трогался с места.

— Ты что, на ухо туг? — спросил человек.

— Постой, постой,— проговорил медленно Устин, напряг память. Лоб сразу сделался горячим, точно он макнул голову в кипяток.— Да это не ты вчера ночью за милостыней приходил к нам, а? А ну, скажи: «Оставайтесь с богом!» То-то я не зря думал, что эти нищие имеют крестовые дома на фундаментах, а в домах кованые сундуки...

Человек схватил Морозова за плечи и с силой толкнул к дому:

— Какие дома, дурак? Какие сундуки? Ступай, ступай, коли приглашают...

Говорил, а сам толкал и толкал Устина, не давая больше опомниться. Так он и втолкнул его в сенцы, потом провел темным,

узким коридором и боком впихнул в ярко освещенную комнату, захлопнул дверь.

Электрический свет в комнате был настолько ярок, что Устин сразу же закрыл глаза. И вдруг рядом кто-то кашлянул. Устин, не открывая глаз, не шевелясь, не шевеля даже губами, вдруг прошептал со свистом:

— Демид...

Шагая за Пистимеей, а потом впереди того человека, который толкал его к дому, Устин Морозов и мысли не допускал, что возможна встреча с Демидом Меньшиковым, что эта встреча будет тем самым главным, что еще должно сегодня произойти, но, когда услышал тихое покашливание, его окатило с головы до пят не то горячим, не то холодным: Демид! Кто-то другой кашлянуть здесь не мог...

Устин стоял у дверей, вытянувшийся, окаменевший. Он боялся открыть глаза, сознание его не работало еще, а в голову стучало молотом: «Демид, Демид, Демид...»

В комнате никто больше не кашлял, не было слышно ни малейшего шороха. Устин медленно открыл глаза.

Перед ним действительно стоял... Демид Меньшиков.

В комнате не было ни стула, ни стола. Одни белые стены. И яркий-яркий электрический свет. А у стены, весь в белом, как привидение, стоял Меньшиков.

Демид сильно изменился, сильно постарел. Он отрастил небольшую бороду, длинные волосы. И борода и волосы тоже были белыми. Но Устин сразу узнал его. Да и как было не узнать эти круглые, навыкате, глаза, которые смотрят вон на него, Устина, так, что кожа коробится, словно на огне, эти тонкие губы... Когда-то Демид все намеревался сжевать этими губами букетик лесных цветов, но каждый раз почему-то передумывал.

Устин стоял-стоял, да и начал сгибаться в коленях, начал опускаться, точно хотел сесть на стул.

— Упадешь ведь,— негромко сказал Демид.

Колени Морозова перестали сгибаться, он с удивлением поглядел направо, налево...

— Падать-то не к чему пока,— опять сказал Демид, по-прежнему не трогаясь от стены.— Здравствуй, что ли, Устин Акимыч.

— Хе-хе...— Но тут же Устин испугался своего смешка, проговорил неловко, полувопросительно: — Где же Пистимея-то? Куда это она делась?..

— Не потеряется, я думаю.

— Так...— Устин наконец начал приходить в себя. Он расстегнул тужурку, снял шапку, поискал, куда бы ее повесить.— Гвоздь-то хоть есть тут?

Голос его окреп окончательно.

Демид Меньшиков все еще стоял у белой стены, почти сливаясь с нею.

— Что вырядился в белое, как покойник? — Устин так и не поздоровался с Меньшиковым.

— Время позднее. Мы уж спать легли.

Демид отделился от стены, прошелся из конца в конец комнаты, словно призрак. Устин даже сделал шаг назад, к двери. Демид остановился, поглядел на него, скривил чуть губы, отчего они стали еще тоньше.

— Иди сюда, вот в эту дверь,— и Демид отдернул белую занавеску, которую Устин как-то не заметил, толкнул филенчатые створки.— Проходи, гостем будешь.

Помещение, куда вошел Устин, было обставлено как обычная жилая комната: стол, накрытый розовой скатертью, стулья, желтый дерматиновый диван, желтый абажур, на окнах занавески, в углу тумбочка местного промкомбината, как определил Устин, на тумбочке радиоприемник «Восток». Из этой комнаты еще две двери вели куда-то. Демид снял розовую скатерть со стола, приоткрыл одну дверь, сказал негромко:

— Доченька, гость у меня. Подай нам чего-нибудь.

И тотчас в комнату вошла девушка лет восемнадцати с белой обеденной скатертью, салфетками, застелила стол.

Следом за ней вошла еще одна, с косами, чуть постарше первой. Она несла полный поднос тарелок с кушаньями. Вдвоем они быстро и молча собрали на стол, отошли к двери, сложили руки на груди и замерли.

— Спасибо, дети мои,— сказал Демид, и обе девушки скрылись.

Они были красивы и миловидны, эти девушки, особенно та, что постарше, с косами. Но ни одна из них не походила на Демида.

— В самом деле дочери, что ли? — спросил Устин.

— Ага,— кивнул Демид, достал из тумбочки бутылку водки.— Ну, за встречу! Садись, помянем минувшие годы.

Устин окончательно пришел в себя. Он сел к столу и сказал:

— Только переоделся бы ты...

— Это можно,— проговорил Меньшиков и вышел.

Через несколько минут перед Устином сидел прежний Демид, только поседевший, немного сморщившийся. На секунду Морозову даже показалось, что они находятся не в Озерках, а в той зауральской лесной деревушке, в которой прокоротали не одну зиму, что сейчас прибежит от Микитовых дочерей Тарас Звягин, войдет Серафима в своем длинном платье, молодая, стройная...

— Значит, жив все-таки? — спросил Устин, подвигая к себе рюмку.

— Да нет. Я покойник, как ты сказал. Давным-давно.

— Как это понять? — Устин поднял голову, бородой чуть не опрокинул рюмку на длинной ножке. И продолжал уже зло и раздраженно: — Ты говори уж прямо, коли... привезла меня к тебе Пистимея. Или опять... Не все мне положено знать?

— Да нет, скажу все прямо. Чего мне от тебя таиться? Пей вот сперва.

Они выпили. Демид наполнил рюмки снова, встал и прикрыл плотнее дверь, куда ушли девушки.

— Так вот, Устин Акимыч...— начал Меньшиков, вернувшись к столу.— Демид действительно умер где-то, пропал бесследно, размолола его история в порошок, ветер разметал по белу свету, время стерло его имя в памяти людей.

— Красиво говоришь. Где так научился?

— Просто занимался самообразованием.

— Вон как! Сейчас-то ты кто?

— Есть такая фамилия немудрящая — Кругляшкин. Вот я и есть Дорофей Кругляшкин.

— Я не про фамилию. Кто ты теперь, чем живешь? Вижу,— Устин кивнул на стол, обильно уставленный закусками,— не сильно бедно живешь.

Демид, как бы раздумывая, говорить или нет,.глубоко втянул в рот нижнюю губу, смачно пососал ее. Потом отпил из рюмки, проколол вилкой небольшой соленый огурец и понюхал, целиком засунул в рот и принялся с хрустом жевать.

— Хороший засол, ах хороший! — крякнул Демид.— Не перевелись, видно, в Сибири мастерицы соленья готовить.

И снова пососал нижнюю губу.

«Не растерял, значит, зубы-то, крепкие еще у дьявола»,— опять подумал Устин. А вслух проговорил:

— Выходит, не хочешь все прямо сказать?

— Что ты, что ты... Какие могут быть тайны меж нас! — Демид вытер не спеша платком вспотевшее лицо.— Слуга господень я.

Устин бросил в тарелку кусок курятины, вытер пальцы салфеткой.

— Эт-то ловко ты... Поп, значит! Отец Дорофей?

— Ну, вроде бы...

— Обедни служишь? Проповеди говоришь?

— Случается...— Демид ткнул вилкой еще в один огурец и понес в свою тарелку... Огурец был крепкий, тяжелый, он соскользнул с вилки и упал на скатерть. Демид тотчас проколол его снова насквозь и, придерживая пальцами другой руки, переволок наконец к себе.— Утешаю в горестях, благословляю в радостях.

— Понятно,— усмехнулся Морозов.

На самом деле ему ничего не было понятно. Демид был совсем не похож на священника. Борода, правда, есть, но небольшая, жиденькая. Руки вон жилистые, сильные, под рубахой так и играют мускулы. Состарился, а руки все как у мясоруба. Во всяком случае, у попов таких рук не бывает. И глаза... Да и вообще весь он скорей смахивает на мясника, чем на священника. Даже когда был в белой, чуть не до пят, рубахе, в нем не было ничего поповского... А разговор? Разве так говорят попы?

— Врешь ты, однако,— сказал Устин.— Какой из тебя поп?

Демид пожал плечами:

— Попы — они разные бывают. Но какими бы ни были, все угодны господу, потому что все так или иначе служат ему, ибо все несут народу благую весть о грядущем царстве божием... Что-то плохо пьешь, давай-ка...

Демид налил себе третью рюмку.

— Погоди-ка! — Морозов хлопнул даже себя по лбу.— Так вон из каких ты попов! Как же это мне сразу не стукнуло? Из баптистов ты, что ли, как Пистимея моя?

— Ну... может быть,— опять неопределенно ответил Демид с усмешечкой.— Какая тебе-то разница? Пей, что ли.

Но Устин отодвинул рюмку.

— Как же ты в наших краях оказался? — спросил он.— Или... не покидал их? Не должно вроде...

— Долго обо всем рассказывать, Устин. До войны в тюрьме пришлось посидеть. Кабы не немцы, вряд ли вышел бы оттуда живым... Да, так вот. Потом... потом в Освенциме был, в Бухенвальде... В общем, много этих лагерей смерти прошел.

Устин поднял голову. Демид скривил губы, пояснил:

— Ты ведь тоже в этой... как ее, Усть-Каменке, что ли? Знаю, знаю...

— Откуда же? — насмешливо промолвил Устин.— Нищие, что ли, доложили, которые к Пистимее все ходят?

— В том ли дело, откуда знаю! Да... а к концу войны перевели меня в Австрию, концлагерь Маутхаузен. Знаешь о таком?

— Пользовался слухом,— нехотя сказал Устин.

— Ну вот... Это был, пожалуй, самый страшный для меня лагерь. Чего только там не делали...

Демид рассказывал долго — наверное, с полчаса. Рассказывал тихим, доверчивым голосом, словно уговаривал в чем-то малого ребенка.

— Словом,— закончил он,— почти до конца войны я прослужил в этом Маутхаузене. Потом... в общем, еще во многих странах побывал, кроме Германии-то. Но... хватит, пожалуй, обо мне. И так рассказал больше, чем надо бы. Да ведь друг ты мне. Как сам-то живешь?

— Что я, живем...— Устин чертил по столу вилкой.— К нам-то, говорю, зачем пожаловал? Если признают тебя...

— Конечно, в панфары от радости не ударят, как Тараска говорил. Как он там, живой-здоровый? — снова уклонился Демид от вопроса Морозова.— Как Захарка Большаков? Я слышал, собираетесь асфальтировать главную улицу деревни.

И вдруг Устин со злостью отодвинул тарелку и тут же почувствовал, вот-вот перестанет управлять собою, сорвется.

— Так,— выпятил мокрые губы Демид.— Капризный гость. Чем же я тебя ублажить еще могу?

Глаза Демида делались все уже, губы тоньше и тоньше. Эти Демидовы глаза и губы раздражали Устина. Но главное было не в глазах, не в губах. Главное было в голосе Демида, который становился все тише, все ядовитее, все острее, все зловещее.

Устин бросил вилку на стол. Вилка ударилась о рюмку, рюмка упала на пол, раскололась.

Тотчас открылась дверь. Но теперь из нее вышли не те девушки, которые собирали на стол, а пожилая, лет под пятьдесят, женщина. Она молча подобрала осколки, сложила их в фартук и пошла обратно.

— Сестра моя,— окликнул ее Демид, и женщина торопливо обернулась:

— Слушаю, Дорофей Трофимыч.

— Прибери со стола. Кончили мы скудную трапезу. Пошли.— И Демид положил руку на плечо Устина. Рука была крепкая и тяжелая, как камень.

Они прошли через «белую» комнату и оказались в коридоре. Устин думал, что сейчас они выйдут в сенцы, оттуда — во двор. В сенцы они действительно вышли, но очутились опять в каком-то темном коридоре. Затем миновали одну комнату, другую и оказались в третьей. В ней было полно мебели, стояла, поблескивая спинками, никелированная кровать, на потолке висела небольшая электрическая лампочка.

— Ложись, спи,— показал Демид на кровать.

Устин опустился на стул. Сидел и представлял, как Демид расхаживает по огороженному колючей проволокой лагерю смерти, как он, пьяный, озверелый, стреляет и стреляет людей в лоб, в затылок, в живот, в сердце, как он загоняет их в газовые камеры, как он, посмеиваясь, вешает какого-то грузного человека, затягивает ему веревочную петлю на шее. «А что стрелять, что вешать, что загонять в газовые камеры? — тупо думал и думал он.— Зря все это, зря, зря...»

Демид стоял рядом, скрестив руки на груди.

— А зачем ты мне все это рассказывал... про лагеря эти смертников? И про свои геройства? — спросил вдруг Устин.

— Так видишь...— задумчиво промолвил Демид.— Грех, конечно, губит много человеческих душ. Но неверие в Христа губит еще больше. И там, где плач и скрежет зубов, оказывается, всегда намного больше тех, которые попадают туда не за нарушение заповедей Моисеевых, а за равнодушие к страданиям и смерти Христа, за грехи наши. Вот что я хотел тебе напомнить. Немцы ведь христиане, христианскую религию отправляют. Вот они и понастроили этих лагерей.

Устин, нахмурив лоб, долго пытался добраться до смысла этих слов.

— А кроме всего,— продолжал Демид,— ты сомневался: не скажу тебе, кто я да где был, утаю что-то. Я тебе ответил — таиться нам с тобой нечего. И без того знаем друг о друге столько,

что... для веревочной петли, словом, хватит... Ладно, спи. Утром я приду.

— Пистимея где? — спросил Устин.

— Зачем тебе Пистимея? — усмехнулся Демид.— Постарела уж она, отслужила свое. Если хочешь, я тебе дочь пришлю. Только скажи, на какой вкус — беленькую или черненькую, в летах или помоложе, замужнюю или совсем свеженькую? Хотя ты, помнится, не любитель был...

— Какую дочь?

— Не мою, понятно. Божью. Своих один Микита предлагал.

И, не ожидая ответа, шагнул за порог.

Морозов постоял среди комнаты. Потом разделся, разобрал пышную постель, потушил свет и лег.

Дверь в комнату тихонько раскрылась с каким-то осторожным, несмелым скрипом.

— Кто это? — резко спросил Устин.— Ты, Демид?

— Я...— тихо ответил женский голос.— Дочь Зинаида.— И замолкла испуганно.

Устин повернул голову. В темноте он различил какую-то тень, маячившую возле двери.

Морозов вспомнил смешок Демида: «Если хочешь, я тебе дочь пришлю».

Ему вдруг захотелось узнать, чем все это кончится, и он сказал:

— Чего там притихла? Ноги отнялись, что ли?

— Я... я сейчас, сейчас,— жалобно проговорил женский голос.

Тень покачнулась. Устину показалось, что женщина намеревалась скользнуть обратно за дверь, но какая-то сила заставила ее все-таки двинуться к кровати.

Устин хотел было встать, зажечь свет и поглядеть, что это за «дочь». Не из тех ли, что накрывали стол? Но в последнюю секунду решил не делать этого. Его еще больше разожгло любопытство: что же она будет делать дальше?

А женщина неслышно подошла к кровати и остановилась. В комнате было единственное небольшое оконце, звездный свет через это оконце почти не проливался, но Устин все же различил, что женщина была невысокой и, кажется, замотанной не то в шаль, не то в платок.

— Ну а дальше? — спросил Устин, видя, что она не двигается.

— Сейчас,— опять проговорила женщина.

Сбросила шаль. Потом расстегнула не то халат, не то платье. Одежда свалилась с ее плеч на пол, женщина стояла теперь возле кровати в одной нижней рубашке, как в саване. В этот момент Устин догадался — она молода, очень молода, потому что от нее пахло так же, как пахло от Пистимеи много-много лет назад, когда они жили в лесной зауральской деревушке.

Женщина все продолжала стоять возле кровати белым столбом.

— Чего ждешь-то?

Она осторожно приподняла угол одеяла, неслышно легла на краешек кровати и затихла. Несколько минут оба лежали не шевелясь. Устину даже начало казаться, что все это ему, вероятно, приснилось, померещилось.

— Зачем ты пришла? Ведь боишься?

— Чего мне бояться? Богу это угодно...

Неожиданно Устину почудилось, что и этот голос он когда-то где-то слышал.

— Это не ты сейчас на стол подавала нам?

— Нет.

— Черт возьми! Да уж не Зинка ли ты Никулина?! — вскричал Устин, сорвался с кровати, пошел к выключателю.

Женщина догадалась, что он хочет делать, тоже вскочила и, легкая, горячая, повисла на плече Устина.

— Ради бога, ради бога... А-а-а-й!

И, словно обваренная электрическим светом, отскочила к стене, присела там на корточки, сжалась, уткнула лицо в самый угол.

— Потушите... Ради бога, потушите! — со стоном просила она, и худые плечики ее вздрагивали при каждом слове.

Устин Морозов смотрел на нее без всякой жалости, даже со злорадной усмешкой. Затем вернулся к кровати, но не лег, а сел на перину.

— Чего уж теперь тушить? То-то, думаю, голос знакомый...

Зина встрепенулась, вздрогнула и начала приподниматься. Она раскинула руки в стороны и, скользя спиной по стене, выпрямилась, вытянулась в струнку и замерла, как на распятии.

— Здравствуй, значит, Зинаида.

Зина молчала. Вскинув голову с тяжелыми, отливающими при электрическом свете золотом волосами, она остекленевшими глазами смотрела на Устина и в то же время куда-то мимо. Все в ней было живым — и эти золотистые волосы, пылающие огнем щеки, влажные, горячие губы... И только глаза, тусклые, холодные, были безжизненны. Устин тоже молчал.

— Дайте мне... одежду,— тихо попросила Зина. И только теперь Устин заметил, что топчет ногами ее платье.

— Стыдно, что ли, в конце концов стало? — спросил он.

— Чего стыдиться? Я греха не делаю,— не шевеля губами, ответила Зина.— Потому что говорится в Евангелии от Иоанна: «Всякий рожденный от бога не делает греха...»

— Вон как! Мудр этот ваш пророк или как его там... Ну а ты... узнала, кто я?

Зина помолчала и ответила, все так же глядя куда-то мимо Устина:

— Зачем мне узнавать? Мне сказано было — несчастный брат наш, утешения жаждущий... зовет.

— И ты пришла меня утешить?

— Утешение в Христовой вере обрести лишь можно...— как-то неопределенно ответила Зина.

— Значит, я неверующий, по-твоему, раз... утешения твоего не принял? Чего молчишь? А может, принять?

Зина медленно опустила руки и вместо ответа попросила еще раз, еще тише, чем прежде:

— Дайте мне одежду.

Морозов кинул ей платье. Она поймала его на лету, прижала к животу и тихонько стала передвигаться вдоль стены. Устин с удивлением наблюдал за ней. Добравшись до выключателя, она потушила свет, торопливо оделась. Устин думал, что она уйдет, но девушка стояла и стояла у стены.

— Чего же ты? Уходи.

— Нельзя мне.

— Почему?

Зина не ответила.

— Деми... Отца Дорофея, что ли, или брата — как по-вашему — боишься ослушаться?

Зина и на это только тяжело вздохнула.

Морозову вдруг очень подозрительными показались слова Зинки об утешении. Он даже наморщил лоб в темноте, силясь вспомнить их. Ага: «Несчастный брат наш, утешения жаждущий...» Жаждущий! Вот оно что! И дальше: «Утешение в Христовой вере обрести лишь можно...» А только что до этого Демид: «Неверие... губит людей...» Та-ак... А я-то, дурень, а я-то дурень, ломаю башку: зачем-то Пистимея привезла меня сюда?.. А тут вон что... Утешение в вере! Без веры утешения нет, значит! Нет!!»

И Устин сорвался с кровати, схватил Зинку за горло, затряс.

— Зачем он тебя послал ко мне?! Что он учил тебя говорить мне, а? Что он велел внушить мне? Где я могу найти утешение?.. В чем я могу... Как я могу...

— Отпустите!.. Отпустите-е...— взмолилась девушка.— Иди, говорит, и утешай. Это, говорит, не грех, ежели с молитвой.

— Врешь, врешь!

— Ей-богу... Задыхаюсь ведь я. Дядя Усти... Дя...

Девушка сделалась тяжелой. Сквозь мутный угар все-таки пробилось, шибануло в голову Морозову: «И задушу ведь, как там... В Усть-Каменке... когда вера эта была...»

Чуть опомнившись, он разжал руки. Зина мешком свалилась ему под ноги. И в ту же секунду вспыхнул ослепительный электрический свет.

Возле выключателя стоял Демид, снова весь в белом, точно привидение. В руках у него был старинный медный подсвечник.

— Что это у вас тут? — строго спросил он и зловеще уставился в Морозова.— На весь дом крик подняли, спать не даете...

Устин стоял в одних подштанниках, как-то странно полусогнувшись, точно хотел броситься не то на Демида, не то на Зину.

Спина его прогибалась и выпрямлялась, отчего казалось, что дышит он именно спиной. Зина лежала на полу, у его ног.

Потом Зина пошевелилась, поползла к Демиду, охватила его ноги:

— Я была покорной воле божьей... Я...

— Пошла прочь! — пошевелил ногой Демид.— Разберемся.

Зина с трудом поднялась и, пошатываясь, вышла.

— Ну! — угрожающе сказал Демид.

Устин стоял все в той же позе. Затем стал выпрямляться. Демид прошел в угол, к столу, и сел на стул.

— Так чего ж ты молчишь? — снова спросил Меньшиков.— Спрашивай уж тогда у меня, что я велел Зинке внушить тебе. Что я велел говорить ей...

— Подслушивал, значит? — прохрипел Устин.

— Чего подслушивать? — пожал плечами Демид.— Ты на весь дом орал. Спрашивай, что ли...— И Меньшиков брезгливо пожевал губами.

Это точно масла подлило в огонь, и Морозов взорвался:

— Чего мне спрашивать?! Чего спрашивать?! Я все понял! Забеспокоило вас — веру, мол, Устин потерял, натворил черт-те что! Ну, потерял! Ну, потерял! И ты не вернешь мне ее тем, что о своих... своих делах в этом Маутхаузене рассказывал. Ты думал — кровь, мол, у него разволнуется, едва почует запах паленого? Не заволновалась. Ты думал, я сробею, вздрогну, как явишься после стольких лет весь в белом, как привидение? Я не оробел, не вздрогнул, не испугался тебя! Ты думал — я задохнусь... от удивления: вон, мол, как Демид Зинку Никулину оболванил, одежи скинула — утешайся... Я не удивился... Не задохнулся... Хотя...— И тут голос Устина дрогнул, он заговорил вдруг совсем по-другому, жалобно и плаксиво: — Хотя лучше, если б задохнулся и подох, как... как... Думаешь, легко мне оттого, что я потерял веру... что деревце-то Филькино засохло? Думаешь, я... Лучше кончить все разом! Я и хотел вчера кончить. Да пистолет изоржавел весь... Может, у тебя в сохранности? Так дай. Дай!

Демид слушал его, не перебивая, легонько барабаня пальцами по крышке стола да время от времени посасывая нижнюю губу. Стол был застелен толстой скатертью, и никакого стука не было слышно.

Наконец он произнес властно, подходя к Морозову:

— Устин!

— Чего «Устин»?! Ну, чего «Устин»?! Ты хочешь вернуть мне Филькину веру, а сам ты веришь? Сам ты веришь?

— Не только верю, но и жду,— ответил Демид.

— Ждешь? А чего ты ждешь? На что вы с Пистимеей надеетесь? Что Советской власти придет конец? Я тоже верил, я тоже ждал. И я думал тогда, в войну: вот пошатнулась она, эта власть. Я помогал, как ты, расшатывать ее... Я тоже, как и ты, резал, убивал, душил, жег... Я верил, я так верил, что даже сына своего не

пожалел. А она, эта власть, стоит... Она все крепче делается, как... как вон тот осокорь на Марьином утесе. Видал осокорь этот или нет? Так сходи и посмотри, как он разросся на Марьиной могиле. Утрами солнце-то сперва его освещает, а потом уже всю землю. Стоит у всех на виду, и все ему нипочем. Засвищет свирепый ураган, да осокорю хоть бы что, он даже не наклонится. Распустит только ветки по ветру — и будто плывет, плывет над землей... Только и хватает силы у любого урагана, что сорвать пригоршню листочков да унести в темноту... Так во что же мне верить? Во что?! Не во что... А они... Я вот глаза простой девки видел, которую за горло этими руками... Я душил ее, а она смеялась надо мной, сжигала меня своими глазищами. Марья Воронова, наверное, так же вас жгла тогда... Вы с Филькой выдавили ей глаза, а толку что? Всем не выдавишь, всех в печи да газовые камеры на затолкаешь. Вы их толкали и ждали, когда у них по лицу разольется безумный страх, когда они закричат, попросят милости! А они боялись, как бы не закричать, как бы не попросить! Они намертво закусывали губы, чтоб не вырвались проклятые слова. Не так, скажешь? Так я-то знаю, я тоже кое-чего видел... Так неужели вы с Пистимеей не понимаете, что затолкать людей в котел с кипящей водой или на горячие угли вы можете, а зубы их вам не разжать, стонов не услышать... Листочек осокоря, говорю, можно сорвать, но все дерево не расшатать, не свалить... Это как, спрашиваю?!

Демид хотел что-то сказать, но Устина теперь, кажется, ничем нельзя было остановить. Он тряс всклокоченной головой, тряс кулаками, и, хотя он стоял на месте, пол под ним ходил ходуном.

— Та девчонка, что на костре жгли, на горячих углях,— соплюха ведь была, горшком пахло еще от нее. У нее уже волосья затрещали, полыхнули огнем, а она голову вскинула: «Тятенька, ты учил меня стоя умирать». Стоя! Или не помнишь, забыл?! И они стояли все — ее отец, сельсоветчик, тот толстый председатель коммуны. Им уже не на чем было стоять, а они стояли. Или этого же Захара возьми. Ты его чуть калекой не сделал — ладно, молодец. Потом я изрядно ему жизнь поломал, а после ни одного случая вроде не упускал, чтоб пригоршню соли в открытую рану не высыпать. Все ждал, когда он обессилеет, зашатается и рухнет... А что с моего жданья?! Я вижу — больно ему, морщится. Но от боли не кричит, как и девчонка та не кричала. И не шатается, как не пошатнулись тот сельсоветчик с председателем, стоит твердо. Одну руку ему повредили, да, видно, в другой у него силы больше, чем в наших с тобой четырех. И он этой рукой намертво сдавил мне горло. И тебе тоже. Что крутишь головой? Чуешь, как сдавливает? А нет если, так почуешь скоро. Дохнуть нечем будет, как мне... Или к Смирнову этому приглядись. Искалечило его на войне — дальше некуда. А почто? Да потому, что в самое пекло лез, не жалел себя в драке с нами. Я... ведь это,

я всю семью его под корень извел. Долго присматривался, когда он у нас появился: тот ли Смирнов? Вчера утром специально на станцию повез, чтоб выведать незаметно... Он самый... Ну ладно, не спалило его в огне дотла, хоть обгорелый до костей, да вылез. Тут бы, кажется, и уползти в сторону, в холодок, просидеть там остаток дней. Как ни говори, человек все же, и по-человечески каждый понял бы: дрался до конца, а теперь выдохся, теперь не боец, да и на белом свете недолгий вообще житель. А он? Залез в кусты, в холодок? Как бы не так! День и ночь по колхозам таскается, дело свое делает. Если и помрет вскорости, то где-нибудь на проселочной дороге между колхозом и своей редакцией. Я, между прочим, еще потому вчера повез его, что хотел спросить: какая же такая сила в нем сидит, что заставляет его день и ночь колготиться средь людей, ради чего таскается по району? Ведь все есть у человека, полеживал бы себе да поплевывал в потолок. А он знаешь что ответил?! Он сказал: «Сын твой Федька знал вот, ради чего...» Понятно тебе, Демид?

Силы Морозова иссякали, и он говорил все медленнее, все тише. Но, увидев, что Меньшиков опять собирается что-то сказать, собирается перебить его, мотнул головой, повысил голос и торопливо продолжал:

— Так понятно, спрашиваю?! Знал Федька! Подробнее... мне ответа и не надо... Не надо!.. Вот и выходит — все племя его я угробил, самого его мы вроде обескровили, ну, все, мол, этот теперь уже мертвяк для нас, а он явился, как... как судьба, как проклятье, которое висит надо мной... А значит — над нами. Пистимея все о каком-то небесном судье толкует, что явится да и учинит над миром, то есть над ними, расправу. А мне думается, что если и есть такой судья — небесный ли, земной ли,— так он на ихней стороне будет, он с нами и зачнет расправляться... Вот тебе и Захарка, вот тебе и Смирнов! Так спрашиваю: что это за люди?! А? Что это за порода такая? А это еще, однако, не самые крепкие из них. Есть еще крепче... А теперь ко мне приглядись. Замахнулся когда-то не на рубль даже, на целый червонец, а удар вышел копеечный. Начинал я с чего? Рубил людям головы, выжигал целые села и деревни... Ну, думаю, силен, все выжгу, сокрушу, измолочу. Потом гляжу — как бы самого не переломили с хрустом да прочь не отбросили. Ладно, смирился, приспособился мстить людям по-другому, как ты советовал. Захару, говорю, крови немало перепортил, тому же Фролу, Егорке Кузьмину... А дальше что?.. А дальше, особенно после войны, и эдак мстить не шибко-то... После войны я только и смог, что Клашке Никулиной нагадить да ее сестре Зинке, которую ты сейчас под меня подкладывал. Потому что Захаркина рука все шибче сжимала меня за горло. И начал тогда я в бессилии гадить людям совсем уж по мелочам — молоко воровал, масло, зерно... И вот дошел до трех жалких стожков сена... Не я измолотил кого-то, а меня вымолотили начисто, до последнего зернышка. И знаешь, что

самое страшное? Сейчас скажу. Кто меня молотил? Захар, что ли, Большаков? Наш агроном Корнеев? Филимон Колесников? Смирнов этот? Кабы кто-то один из них, я бы вырвал цеп-то да и... Или, по-нонешнему говоря, самого в молотилку сунул ногами вперед. А тут не знаешь, кто тебя и молотит — вроде никто по отдельности и весь мир сразу. Вот что самое страшное. Это вы с Пистимеей понимаете или нет? Я сказал — ты не крути башкой-то! Или, выходит, понимаете?! Так на что же вы тогда с Пистимеей надеетесь?!

Словно пушечный выстрел раздался над ухом Устина — с такой силой трахнул Демид медным подсвечником по спинке кровати.

— А вот на что! — сказал он, швырнул в угол согнувшийся подсвечник и вышел из комнаты.

Устин с недоумением смотрел то на валяющийся на полу подсвечник, то на дверь, за которой скрылся Демид.

Вскоре он вернулся, принес какую-то толстую папку, перевязанную крест-накрест шпагатом. Сел за стол, развязал, положил на папку обе руки.

— Да, это верно, Советская власть больше сорока лет стоит,— сказал он, по-прежнему глядя на Устина холодными и пустыми глазами. И крепкая она оказалась, чего тут спорить... Уж мы ли ее не шатали, не пробовали на крепость... Да ты садись.— Устин сел на кровать, завернулся в одеяло. — Тогда,— продолжал Демид,— в начале двадцатых годов, четырнадцать государств объединились и двинули свои силы против Советской власти. А она, Советская Россия, разметала эти силы, раскидала их по стране, уничтожила. Сколько раз мы пытались затем пощупать эту власть то с одного боку, то с другого! Голодом ее морили, огнем ее палили... а она все стоит.

Демид подвинул свой стул к Морозову, положил высохшую жесткую руку на его широкое колено и сказал негромко, будто боялся, что их подслушивают:

— И все-таки борьба продолжается...

Устин нервно рассмеялся прямо в лицо Меньшикову:

— Обрадовал! Я тебя не спрашиваю, продолжается или нет. Я и без тебя знаю, что продолжается. Я спрашиваю о другом — на что вы надеетесь? На что?! Если уж тогда весь мир...

Демид не спеша открыл свою папку. Развязал, поднял голову, взглядом осадил Устина.

— Борьба идет теперь страшнее, безжалостнее,— продолжал он, как заправский лектор.— Да, были четырнадцать государств, были немцы, Германия... На Германию у тех, кто не забыл про нас с тобой, была главная ставка. Ну что же, не вышло, просчитались где-то...

— Ничего себе! Рассказываешь так, будто в картежного дурачка проиграли. А проиграли все на свете, проиграли — навечно. Навечно!

— Не думаю. Верно, Германия была разгромлена, повержена в прах. А сейчас... Ты спрашиваешь, на что я надеюсь... на что нам надеяться теперь? Отвечаю — снова на Германию... на Западную Германию да на Америку. Может быть, это последняя наша надежда, последняя ставка, последний козырь...

Демид замолк, Морозов тоже притих.

Меньшиков взял из папки какой-то листок.

— Как уж получилось, что Германия возродилась из пепла — не нашего с тобой ума дело,— опять начал Демид.— Это просто наше счастье. В том проклятом году, когда кончилась война, нам с тобой было не до Германии. Но умные люди думали о ней. Умные люди остались еще в этой побежденной Германии, умные люди были в Америке. Они глядели далеко вперед и видели там одно и то же... Вот,— Демид выхватил из папки листок и потряс им перед носом Устина,— вот что писал тогда, в мае сорок пятого года, один из этих умных немцев: «Друзья, каждому из нас должно быть ясно, что мы теперь полностью находимся в руках врага. Наше будущее мрачно. Что они с нами сделают, мы не знаем, но мы очень хорошо знаем, что мы будем делать...» Понял ты? — снова затряс Демид своим листком.— «...мы очень хорошо знаем, что мы будем делать...» И они знали, знали! Вот, слушай дальше: «Области, тысячелетиями бывшие немецкими, попадают теперь в руки русских. Ввиду этого политическая линия, которой мы должны следовать («должны следовать» — запомни это, Устин!) ... политическая линия, которой мы должны следовать, очень проста. Совершенно ясно, что, начиная с настоящего момента, мы должны идти вместе с западными державами...» Понял, Устин? Это говорилось в то время, когда западные державы — Америка, Англия, Франция — были союзниками Советской России, были победителями. Вот как они, эти умные люди, вопрос-то поворачивали! Вон как они видели! И дальше: «...должны идти с западными державами и сотрудничать с ними в западных оккупированных областях, ибо только в сотрудничестве с ними мы можем надеяться отвоевать впоследствии нашу страну у русских...» Понял?

Устин молчал.

— Молчишь? Ну, помолчи, подумай. А я тебе вот что скажу: там, в Америке, во Франции, в Англии, думали так же. И потом начали сотрудничать... Ну, дальше всякие конференции были, всякие постановления принимались: в Германии-де не допускать развития военной промышленности, не дать возможности возродиться фашизму. С Советской страной все соглашались — правильно, мол. А сами понемножку военные заводы восстанавливали, строили новые. Конечно, золотишко для этого нужно было. Да в Америке его разве мало! Потекло желтой речкой через весь океан. Потом на месте своих оккупированных зон федеративное государство образовали. Пошумела Россия, повозмущалась. Им в ответ — государство это мирное и безобидное, надо, мол, нем-

цам как-то жить. Ну, стали жить. Есть государство — нужна армия. Опять зашумела Россия. Ну, да она всегда шумит и пусть себе шумит, решили умные люди на Западе, принялись укреплять государство германское. И вот...— Демид начал рыться в папке, выхватил оттуда несколько листков.— И вот тебе сегодняшняя картина. Вот что пишут в газетах про сегодняшнюю Западную Германию: «Войска Аденауэра уже превосходят по своей силе гитлеровскую армию». Или вот: «Уже сегодня армия ФРГ является самой сильной в Западной Европе. На базе бундесвера в случае необходимости можно будет в короткий срок развернуть многомиллионную армию». Эти умные люди настойчивы и последовательны. Кого можно было из генералов, служивших при Гитлере, спасти от петли, они спасли и поставили во главе своей армии, во главе своего государства. Россия опять шумела, протесты заявляла. Пишите свои протесты, звоните о полном разоружении, уничтожении всего оружия! Ишь, на простачков напали! Настойчивые правители сейчас в России, скажу тебе, в каждую дыру лезут, лишь бы своего добиться, с умом лезут, не в одиночку действуют, весь мир будоражат, на свою сторону склоняют. В самую Америку залезли, митинги по всей Америке провели. До меня доведись — не подпустил бы я их к Америке на пушечный выстрел. Ошибку тут сделал американский президент. Дело до чего дошло? Русские на совещание всех потащили — давайте, мол, обговорим все на виду у всего мира. Умные люди глядели-глядели на это, да и... пустили прошлой весной самолетик через границу. Правильный был расчет-то, очень точный, с этим шпионским самолетом. Будто тяжелый снаряд у них под столом разорвался, где они заседать хотели на самом высшем уровне. Хотя, будь моя воля, я бы под этот стол настоящую бомбу подложил.

Демид вскочил, почти бегом пересек несколько раз наискосок комнату, снова схватил свою папку.

— Вот что еще пишут сегодня в газетах, слушай: «В Западной Германии с тысяча девятьсот пятьдесят первого года, когда был начат процесс против Коммунистической партии Германии, запрещено свыше двухсот демократических организаций, в том числе...» Ну, дальше идет перечисление. А чего там двести организаций! Все, все, сколько есть, надо запретить. И запретят. А вот еще статья: «Мы снова окажемся непосредственно перед ситуацией тысяча девятьсот тридцать восьмого года, если не удастся изменить нынешнее политическое положение...»

Демид бросил листок, захлопнул папку.

— Видал?! «Если не удастся»! А кто позволит? Кто? Ради чего тогда все это делалось, ради чего создавалась американцами, англичанами, французами Западная Германия? Ради того, чтобы позволить? Нет! Не-ет! — заорал Демид и снова схватил свою папку, начал торопливо рыться в ней, разбрасывая по всей комнате листки — газетные и журнальные вырезки.

Наконец он нашел то, что искал, опять затряс перед носом и без того ошарашенного Устина зажатыми в кулаке листками:

— Вот! Вот для чего она создавалась, слушай... Вначале я тебе читал статеечку одного умного немца, который писал, что надо с западными державами сотрудничать, только так, мол, можно возродить прежнюю Германию и отвоевать ее у русских. Это, между прочим, писал адмирал Дениц, преемник Гитлера. Он писал это в тысяча девятьсот сорок пятом году. А вот что заявил в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году один генерал, командующий всей западногерманской армией: «В будущей войне нам снова нужно будет бороться на огромных пространствах, как мы это с успехом делали в России». Понял? «... снова нужно будет бороться...» Или вот для чего создавалась Западная Германия: «Мы пойдем на все, пойдем на любые крайности, я подчеркиваю: мы пойдем на все, чтобы вернуть себе советскую зону оккупации». Это сказал министр иностранных дел Западной Германии. Или вот еще для чего. «Наступит час, когда Федеративная республика станет перед вопросом создания нового порядка не только в Западной, но и во всей Европе. Немецкий народ не должен отказываться от веры в то, что он, как народ, живущий в центре Европы, призван выполнить историческую миссию».

Демид скомкал листки, сунул их в папку, захлопнул ее и уставился на Морозова:

— Понял? Историческую!

Морозов очнулся от какого-то странного забытья, встряхнулся:

— Ну и ладно, чего орешь-то?

Демид так и подскочил:

— Чего?! Значит, чего?!

Из папки, захлопнутой Демидом, торчал конец смятой вырезки. Меньшиков выхватил ее, пробежал глазами.

— А вот что сам Аденауэр говорит, ихний теперешний главарь. Вот что... «Мы будем говорить с Советским Союзом, но только вооруженные до зубов»?! Это как? Тоже ладно? — Демид быстро нагнулся, сграбастал листок, валяющийся на полу у его ног.— А вот... все немецкие генералы требуют атомное оружие для западногерманской армии. Тоже ладно? Тоже...

Устин опустил глаза.

— Вот, повторяю, для чего создавалась Западная Германия, вот для чего она существует,— сказал Демид. Он подошел к тумбочке, вытащил из нее бутылку с водкой, две рюмки.— А теперь погляди, что вообще в мире делается. Американцы ведь не зря тогда, в конце сорок пятого года, сбросили на Японию атомные бомбы. Сейчас все советские газеты кричат: не было необходимости бросать эти дьявольские бомбы, Япония, мол, и так была побеждена. Не-ет, была необходимость! Этими бомбами Россию запугать хотели. Ведь не шутка эти бомбы! А после этого американцы и начали подбирать к своим рукам где что можно, на-

чали захватывать самые удобные ключевые позиции. Из Ирана советские войска убрались восвояси, Корею разделили на две части. Вьетнам тоже. О Западной Германии я уже все объяснил. Так везде, говорю, где можно. Китай вот не могли удержать, жалко. Да все равно кусочек оторвали. Остров Тайвань — это, я скажу, штучка, это ключик, лежащий в кармане Америки.

— Чего им откроешь, ключиком этим? — мрачно произнес Устин.— Так и заржавеет в кармане...

— Кто знает, кто знает... Ты гляди, говорю, пошире, что в мире делается. После этой атомной бомбежки почти весь мир начал прислоняться к Америке.

— Так уж и весь...

— Ну! Не скаль зубы. Коль не весь, то почти весь. И Америка начала обкладывать помаленьку Россию военными базами. И обложила... Так вот, еще раз спрашиваю: зря это все разве делалось? Америка объявила русским экономическую войну, не стала торговать с Советским Союзом сама, запретила всем другим странам, кому могла запретить...

Демид налил в рюмки и как-то устало, без прежнего подъема закончил:

— Все это вместе и называется «холодная война». Видишь, она идет, эта война, она не прекращается ни на один день после мая сорок пятого года. Придет время — она превратится в горячую. Придет час, наступит минута...

Демид опрокинул в рот рюмку, усмехнулся:

— А ты: зачем о Маутхаузене рассказываешь... Придет время — снова немцы понастроят концлагерей. Немцы в Христа, говорю, верят. А Христос давно ходит по земле незримо, готовит силы для последнего справедливого суда... Бери, что ли, рюмку. Так как же, дошло?

— Спасибо за лекцию,— Устин почесал в бороде.— Доходчиво все объяснил, как школьнику.— Морозов сжал в кулаке рюмку, точно хотел раздавить ее.— А только, ты думаешь, я сам, что ли, ничего этого не понимаю? Конечно, кой-каких статеек твоих и в глаза не видал. Этого Деница твоего, например... Но газетки все же почитываем. А в них...

— Что в них? — предостерегающе поднял голову Демид.— В советских газетах одна голая пропаганда, бахвальство сплошное.

— Пропаганда? — переспросил Морозов и покачал головой, будто жалея Меньшикова.— Ты не считай других-то дурнее себя. Все ж таки кое об чем я способный пока и сам думать. Раньше, когда мы с тобой молодыми были, Россия только против нас на дыбы встала. А теперь — весь мир, вся земля. Вот тебе и пропаганда. Вот тебе и бахвальство.

— Не вижу что-то...— начал было Меньшиков, но Морозов перебил его, вскрикнул:

— Врешь! А что делается в Азии, Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке — ты не видишь?! Что ни месяц, то новый народ освобождается из-под власти прежних властителей...

— Это еще надвое бабушка нагадала.

— А хоть натрое, хоть напятеро... Там все кипит, как в котле. И рано или поздно... Э-э, да разве ты поймешь...

— Тоже мне политик! — сказал Демид, усмехнувшись.— Чего тебя Африка беспокоит? Куда чернокожие негры из-под власти белых денутся? С чем они против пушек пойдут? С кулаками?

— А в России с чем против пушек шли?

Вопрос прозвучал так неожиданно, что Демид, растерявшись, хлопнул глазами раз-другой...

— Вот то-то и оно,— ядовито продолжал Устин.— Я читал недавно в газетке — в Японии народ требует главного правителя снять. Фамилию его забыл, кошачья такая фамилия...

— Киси,— подсказал зачем-то Демид.

— Ага, кошачья, говорю... А у него, поди, пушки-то тоже есть. И у корейского есть. А пишут — сбежал из страны. Что же он не стрелял из своих пушек, чтоб утихомирить народ?

Умолкнув, Морозов ждал ответа минуту-другую, глядя прямо в мутноватые от времени глаза Демида. И не дождался, спросил:

— Чего молчишь-то? Или нечего отвечать? Или опять скажешь — пропаганда все это советская?

— Эх, Устин, Устин! — шевельнулся наконец Меньшиков.— Да все это ведь шибко сложно... Вон ты в какие дебри залез! Тут сложная политика...

— А ты не юли! — опять повысил голос Устин.— Никаких тут сложностей, все понятно, как дважды два. Вон в самой Америке во всех городах рабочие бастуют, а пушки что-то тоже против них не выдвигают. Попробуй выдвинь. Разок-другой она еще стрельнет в народ, а потом куда? То-то и оно... И так — по всей земле, по всем странам. А то — дебри...

Лоб у Морозова взмок. Он вытер его ладонью, заговорил спокойнее, рассудительнее, сам прислушиваясь к своим словам и будто удивляясь им:

— Нет, Демид, кончилась наша надежда. Зря мы сидели в норах и ждали чего-то. Вон недавно коммунисты всех стран снова чуть не месяц совещались в Москве. Давно они объединились уж, и, видно, это такая сила, которую вовек не осилишь. Да и сами они открыто заявляют, что жизнь теперь они определяют, а не те твои «умные» люди, про которых ты расписывал тут, на кого мы с тобой все надеемся...

— Поглядим еще,— вставил Демид.

— А чего тут глядеть? — вяло промолвил Устин и опять устало вытер мокрый лоб.— Мы вот в колхозе тоже иногда беседуем об мировых делах. Захар наш тоже объясняет: «Борьба не кончи-

лась. Идет, говорит, последняя битва». Но... проигрывали-то мы всегда, вот в чем вопрос.

— Слушай, Устин,— сдержанно произнес Меньшиков.— Я что тебе хочу втолковать? Конечно, проигрывали. Но сейчас времена изменились. Сейчас — атомная, водородная бомбы. Сейчас сделана такая подготовка, какой никогда не делалось раньше. И Захарка прав — именно последняя битва приближается. И сейчас одолеет тот, кто первый кнопочку нажмет. А кто? Немцы. Они не сробеют, будь спокоен. Только дали бы им атомную бомбу. Вот что надо понять тебе. Так что рано, Устин, слюни распускать. Возьми себя в руки...

— Ну и дадут, так что? Да ведь их за десять минут... Всю ихнюю землю за десять минут сожгут, если что... если они только вздумают...

— Кто знает, как оно все получится... Немцы — народ хитрый. Когда получат атомное оружие, они, может, выберут момент, да и пукнут этой ракетой в Америку. Те подумают, что ударили русские,— и начнется. Сами-то они и останутся как под коромыслом. Только пригнутся...

— А мы?

— Что мы?

— Да как мы-то? Сгорим ведь. Какая нам с тобой от этого выгода?

Демид выпил еще рюмку, встал.

— Вот что, Устин... Пьяный уже я, пойду отдыхать. На прощание вот что скажу. Может, и мы сгорим, я не знаю. Но, по мне, лучше уж сгореть, чем так вот, как сейчас... Пусть я сгорю, но пусть вместе со мной и все остальное пеплом возьмется, все. Все!!

Устин качнул головой. Нельзя было понять, соглашается он с Демидом или нет.

— А может, еще не сгорим,— продолжал Демид, раздувая побледневшие ноздри.— Может, еще... Вот тогда уж погуляем на старости лет! В последней войне немцы сожгли, расстреляли, задушили пятьдесят миллионов человек.

— И это ты подсчитал?

— Без меня подсчитано. Если им удастся начать новую войну, если они возьмут верх в этой войне, они сожгут и отравят в душегубках миллиарда полтора, а то и два. И я, если господь сподобит, буду помогать им, сколько хватит сил. Вот на что я надеюсь... Вот чем я живу.

Демид говорил, а глаза его, и без того огромные, делались все больше и больше. Они наливались кровью.

— Ну отдыхай и ты.— Меньшиков поднялся.— Спи спокойно. Утром провожу тебя.

Демид широко раскрыл рот, с хрустом зевнул, аж на глазах выступили слезы. «Гляди-ка, слезы, а не кровь!» — удивился даже Устин.

А Меньшиков, помахав рукой, быстро, торопливо пошел к двери, оставив на столе папку.

Демид ушел, а Морозов долго и безмолвно сидел на кровати, забыв про зажатую в кулаке рюмку.

Глава 27

Пистимея выпила две чашки густого, черного чая, отодвинула от себя нетронутое варенье и пирожки с сушеной малиной. Две девушки, что накрывали вчера вечером стол для Демида с Устином, поспешно начали мыть посуду.

— Что так, сестрица? — участливо спросила пожилая женщина, собиравшая вчера осколки разбитой Устином рюмки, мать этих девушек.— Покушала бы перед дорожкой.

— Не хочется что-то... Где Семен-то? Позови-ка.

— Ну, ин ладно, я малинки сушеной сейчас пошлю Марфушке на заезжий двор, она в сани вам уложит. Хорошая у нас нынче малина была, насыпь насыпью.— И повернулась к дочерям: — Ну-ка, кликните там батьку! Не слышите, что ли, кто зовет... Потом полы начинайте по всем комнатам мыть да к студии [1] готовьтесь.

Через несколько минут вошел низкорослый, давно не бритый, с тупым подбородком человек, в котором Устин вчера по голосу узнал нищего, приходившего к ним в Зеленый Дол. Звали его Семеном Прокудиным.

— Ну? — приподняла голову Пистимея.

— С полчаса назад подходил к дверям — почивают Дорофей Трофимыч. Пойду еще взгляну.

Семен ушел. Пистимея помолчала и спросила:

— На студии-то Дорофей Трофимыч, что ли, проповедь говорить будет?

— Ага, сами самолично... К вечеру велели собрать братьев и сестер во Христе.

— А не опасно?

— Так ведь Христос с нами. Какой-то новый документ изучать будем. Очень уж важный, говорят Дорофей Трофимович, сами разъяснять станут...

— У Селиванова Митрофана все собираетесь?

— Ага, у него.

— Менять бы места занятий-то. Не дай бог, приметят...

— Да, это верно. Хотя и то сказать — у Митрофановых дом в тихом, удобном месте стоит...

Опять вошел Прокудин, кивнул Пистимее головой:

— Идемте. Звали.

Демид сидел за пустым столом. Едва Пистимея вошла, он поднялся, шагнул навстречу, раскинул руки, обнял ее за плечи:

[1] Студия — кружок по изучению иеговистской литературы, состоявший обычно из пяти десяти сектантов.

— Здравствуй, здравствуй, Пистимея... Сколько лет, сколько зим! Вот уж рад я встрече... Всемогущ и благосердечен бог наш Иегова, способствовавший встрече!

— Здравствуй... Демид,— несколько растерянно произнесла Пистимея.

Демид нахмурился, сказал:

— Дорофей я, Кругляшкин. Давай уж старые имена не вспоминать. Ты не обижайся.— Он взял ее за правую руку.— Семен Прокудин надежный пионер, проверенный слуга святой охраны. Он подслушивать не будет. Да ведь... и стены уши имеют. А моего имени никто не должен тут знать...

Пистимея хотела отнять руку, но Демид удержал ее, разглядывая обрубленные пальцы...

— А не пойму все-таки, Пистимея, зачем тогда ты... Ведь без руки была бы сейчас.

Пистимея чуть скривила сухие губы:

— Зачем бы я стала руку себе рубить... Я ведь знала, что он... Устин мой перехватит топор или оттолкнет меня он чурки. Шутка ли — с безрукой женой потом жить! По глазам все читала у него. Он и толкнул. Да... вывернулся как-то уж топор у меня, когда он толкнул. Это уж случай. А кто случай предусмотрит...

— Да... Ну, проходи.

Пистимея нерешительно прошла к столу, села на краешек стула. Демид сел напротив. Некоторое время молчали. Демид поглядывал на Пистимею выпуклыми глазами, а она то клала на стол, то убирала свои руки.

— Давай-ка я вот что сперва скажу, Пистимея, чтоб... не стесняться нам,— усмехнулся Демид.— Было время — ты командовала, я каждого твоего слова слушался, каждую твою волю исполнял, ни о чем не спрашивая. Да и как было не слушать — подохли бы все в те поры. Премного благодарен тебе за все. А теперь уж...

— Да понимаю я, не без ума ведь,— сдержанно проговорила Пистимея.— Что же, времени-то немало прошло. Многое переменилось.

— Да, время... Но...— Демид еще раз, но теперь снисходительно, усмехнулся, мотнул куда-то в сторону головой.— А в общем и сейчас, как видишь, слушаюсь я тебя. Говорил вчера с Устином. Верно, совсем начал сдавать мужик. Это ты хорошо придумала, ко мне его... Да ты вообще горазда на придумки. С баптистами этими, например...

— Нужда научит хитрости,— промолвила Пистимея.— Захарка Большаков во все глаза ведь глядит. Чуть что почует, так...

— У нас, в Краевом комитете...[1] словом, все высшие слуги Общества свидетелей великого и всемогущего Иеговы высоко

---

[1] Краевой комитет — высший руководящий орган «свидетелей Иеговы» в стране. Иеговистская секта — глубоко законспирированная,

оценили твою выдумку. Сам Николай Демьяныч[1] дал потом распоряжение: слугам отделов, групп и килок, где возможно или необходимо, действовать, как ты...

— Что ж, спасибо,— сдержанно проговорила Пистимея.— Ты-то как? Каково жил? Ведь, кажись, года за три до войны и след твой канул... лет этак на десять... нет, на двенадцать даже. Уже в сорок девятом весточку о тебе Семен принес. Удивилась я, признаться, что ты... в этого еврейского бога — Иегову уверовал.

скорее политическая, чем религиозная, организация. Ее деятельность в СССР запрещена.

Международный центр Общества свидетелей Иеговы находится в США, в Бруклине (пригород Нью-Йорка). Ответвления общества существуют более чем в ста странах.

Бруклинский международный центр разделил весь земной шар на десять «зон», в каждой из которых действует так называемое бюро.

Каждая «зона» делится, в свою очередь, на восемь — десять «отделов», созданных по государственно-территориальному признаку. «Зоны» и «отделы» возглавляются особо доверенными лицами бруклинского центра, руководящими работой иеговистских организаций в одной или группе смежных стран.

Так называемый «краевой комитет» иеговистской подпольной организации в Советском Союзе непосредственно подчинен «бюро Восточноевропейской зоны», находящемуся в Польше, а также активно поддерживается «бюро Среднеевропейской зоны», которое находится в Висбадене (Западная Германия).

«Краевой комитет» состоит из небольшой, глубоко законспирированной группы проповедников-профессионалов, имеющих большой опыт нелегальной политической работы. Члены «краевого комитета» нелегально разъезжают по стране, организуя деятельность иеговистских организаций на местах.

Далее структура иеговистской организации имеет следующие формы. «Краевому комитету» подчиняются два окружных зональных «центра» — западный и восточный, на которые разделена территория Советского Союза. Каждому «центру» подчиняются так называемые «стрефы», или «обводы», объединяющие «свидетелей Иеговы», проживающих в одной или нескольких областях.

«Стрефам» подчиняются «отделы», осуществляющие руководство «свидетелями Иеговы» одного или нескольких районов. «Отделы», в свою очередь, состоят из «групп», объединяющих низовые кружки («килки») иеговистов одного или нескольких населенных пунктов.

Все «килки», «группы», «отделы», «стрефы» и окружные зональные «центры» возглавляются более или менее опытными организаторами со значительным стажем подпольной работы — так называемыми «слугами». Члены «краевого комитета» считаются высшими «слугами» «свидетелей Иеговы».

«Слуга» нижестоящей организации имеет связь со «слугой» только первой вышестоящей. Но чаще всего он не знает ни имени, ни фамилии своего вышестоящего «слуги», так как связь осуществляется преимущественно через «пионеров» (курьеров), называемых «слугами святой охраны».

«Пионеры» — особо привилегированные и преданные иеговисты, в совершенстве постигшие искусство конспирации, тщательно оберегаемые и щедро оплачиваемые люди.

[1] Цыба Н. Д.— активный иеговистский организатор, бывший руководитель «краевого комитета». В 1946 году с санкции бруклинского центра был переброшен из Польши в СССР под видом репатрианта. Арестован в 1952 году.

— Так ведь что... Всяко жил. В тридцать восьмом попался таки я, угодил за решетку. Обо всем дальнейшем, до самого конца войны, я вчера Устину рассказал. Спросишь у него. Потом в Германии я нырнул в это Общество свидетелей Иеговы. Огляделся — ничего, хорошее общество. Тут и уверовал. Кто я да что я — таиться не стал. В этом только спасение мое было. И не ошибся. Обнюхивали меня несколько месяцев с разных сторон какие-то люди — то очкастые, то лысые, то старые, то молодые. И оказался я... в самой Америке, в городе Нью-Йорке, в Гнилом Аду.

Пистимея непонимающе взмахнула ресницами.

— Это мы так про себя звали духовное заведение, в котором я стал учиться. По-настоящему оно называется «Библейская школа башни стражи Гилеад». По правде если сказать, не знаю, отчего ее прозвали Гнилым Адом. Жили мы райски. Может, больше и не придется так пожить. Сам господин Натан Кнорр[1] лекции там почитывал. Да... а потом меня перебросили в Польшу — там есть такое бюро Восточноевропейской зоны, которому подчинен российский Краевой комитет. А из Польши меня уж тайным путем через границу в Россию перебросили, в этот комитет, под начало Николая Цыбы... Очутясь в России, я первым делом тебе весточку. С тех пор вот и служу, вот и езжу по долам и весям. Давненько собирался сюда в родные места, да все недосуг. И потом — боязно все-таки. Сколько лет прошло, а вдруг да кто признает ненароком. На свет уж носу не показываю.

— И все-таки... зря, может,— чуть поежилась Пистимея.— Не надо бы, может, приезжать. Если нужда какая, пионеры есть.

— Нет, надо! — чуть погромче проговорил Демид и легонько пристукнул ладонью по столу.— Отчеты твои мы всегда получали регулярно и, говорю, много довольны были. Но, должен сказать, вместе с тем твои отчеты все-таки легковаты всегда. Мало изучаете с братьями и сестрами нашей духовной литературы, а ведь мы ее посылаем вам в достатке и регулярно. Совсем почти не приобщили за последние годы к святой армии великого Иеговы новых людей... Да и отчеты стали поступать все реже... Сдавать ты стала... Пистимея...

Пистимея слушала, поблескивая глазами, обиженно поджав губы.

— Мне не в одного Иегову надо верить. У меня и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты... И другие. Собственный муж вот, например. На всех надо время. Назначайте другого слугой отдела. У меня и без того дел хватает. Как и без вас, до самого сорок девятого года хватало. Тут у нас, слышала, объявились истинно православные христиане. Надо будет понюхать, что за люди. Это мне ближе. Я ведь как-никак из православных была...

[1] Кнорр Н. Г.— президент международного общества «свидетелей Иеговы».

— Ну, обиделась...— помягче сказал Демид.— Негоже нам так-то... И другого не будем назначать. У тебя связи, опыт...

Демид встал, вышел в соседнюю комнату, принес пачку журналов и брошюр, положил возле себя на стол.

— Видишь ли, Пистимея,— негромко начал он,— и нам, свидетелям Иеговы, все другие... все братья и сестры других вероучений тоже недалеки. В конце концов, все они Христа в душе носят, его слова памятуя: «Кто не со мною, тот против меня»,— все служат богу. И всех надо действительно поощрять, поддерживать и... направлять. Направлять. И вот здесь-то я и хотел бы кое о чем серьезно потолковать с тобой, для этого и вызвал. Мы не должны сейчас упускать из-под своего влияния ни одного человека, ни одного не должны терять. А практика показала — баптисты, адвентисты седьмого дня, истинно православные христиане, даже пятидесятники и хлысты чаще и... легче, что ли, поддаются мирским соблазнам, уходят из сект. Наша организация возвещателей царства божия, благословенная самим Иисусом Христом...

— Говорил бы попроще, как в прежние времена,— поморщилась Пистимея.— Ведь мы одни. А пышные слова для сегодняшней проповеди побереги.

Демид глянул на Пистимею, кивнул удовлетворенно:

— И верно. Так вот... Мне наплевать, что Иегова — это еврейский бог. Главное — секта иеговистов, как говорят у нас в советских газетах и журналах, самая реакционная... Люди из этой секты выходят редко, потому что... Ну сперва, может, и верят многие иеговистскому учению, а потом... потом просто боятся. Шутка ли — состоять в антисоветской политической организации. Так вот, Пистимея, надо этот страх у всех искусно подогревать, укреплять. А людей из других сект надо стараться перетаскивать в наше Общество свидетелей. Это сейчас будет твоей главной заботой.

— Да перетягиваю, сколь сил хватает. Та же Зинка Никулина ведь недавно еще у хлыстов была.

— Знаю, как же... Я говорю — еще порасторопней теперь нам работать надо, и всех, кого только можно...

Демид поглядел в выцветшие глаза Пистимеи, стараясь прочесть, как она воспринимает его слова. Но глаза старухи ничего не выражали. И вся она сидела бесстрастная и холодная, как камень.

— Ведь почему Краевой комитет озабочен этим? — продолжал Демид.— В последние годы мы понесли большой урон. Арестовали Николая Цыбу и его первого помощника Марию Вертельник, выследили много других членов краевого комитета. Я вот не знаю, как, каким чудом еще цел. Совсем уж недавно провалились стрефы в Закарпатской, Львовской областях, в Молдавии, на Севере. В Воркуте разгромили наши теократиче-

ские курсы . Да и вокруг вас тут... неважные дела. Вскрыты многие наши организации на Алтае, в Томске, в Иркутской области. Там у нас своя типография была. Да, пропала типография, людей поарестовали... Хорошие кадры свои потеряли. Надо пополнять. Я за тебя, признаться, боялся... Ничего, бог пронес...

Демид из лежащей перед ним стопки взял тонкую брошюрку в невзрачной серой обложке, задумчиво полистал, не глядя в нее, и захлопнул. На ее обложке Пистимея прочла: «Организационные указания для возвещателей царства. Издатель: «Ватл Товер Библе анд трант соцет. Бруклин. Нью-Йорк, США».

— Вот такие у нас дела, Пистимея,— проговорил Демид, втянул нижнюю губу в рот и принялся сосать.— Вот почему сейчас нам нужно оживить как только можно работу всех низовых групп и килок. Это сейчас наша главная задача... Да ты об этом письмо получила.

И снова принялся за губу. «Господи, чего это он, где научился?» — подумала брезгливо Пистимея.

— Как же, получала... Кое-что сделала. И... раскрыли несколько кружков. На Исидора Уварова вон дело в суд, говорят, передали.

— Ну, судить его не будут... Поманежат да отпустят. У них... хе-хе... гуманность. Одурманенный, мол, человек... Другое дело — нас бы с тобой застукали...

Пистимея снова поежилась, и Демид заметил это.

— Да, наше дело уж такое! — строго сказал он.— Гуманностью ихней нам надо пользоваться как можно шире. Это раз. И второе — надо сейчас еще глубже уйти в подполье. Как можно глубже — в этом спасение организации... и лично наше с тобой. У курьеров твоих пароли есть?

— Да какие пароли? С богом придут, с богом уйдут.

— Вот то-то и оно. Плохо это дело у тебя поставлено. Сейчас мы пересматриваем всю систему святой охраны. Пионерами назначим новых, особо проверенных и перепроверенных слуг. Приходить к тебе будут теперь всегда новые, незнакомые люди. Не только нищие, но в любом одеянии и обличье. Пароль для руководителей отделов — по евангелиям. Ну-ка, откуда это: «Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: «Я Христос»,— и многих прельстят»?

Пистимея чуточку подумала.

— Из Матфея, глава двадцать четвертая, стих пятый.

— Верно. Так вот, от двадцати четырех отнять пять — сколько будет?

— Девятнадцать.

— А если к пяти прибавить последнюю цифру главы?

---

[1] Воркутинские теократические курсы — бывшая подпольная школа для подготовки иеговистских проповедников. В течение некоторого времени на этих курсах регулярно обучалось по 35 человек. Курсы действовали по программе, полученной из Западной Германии.

— Глава двадцать четвертая... Четыре к пяти — девять выходит.

— Значит, с этим паролем наш курьер придет к тебе только в девятый месяц года, то есть в сентябре, и только девятнадцатого числа. В любой другой день незнакомый человек скажет тебе другой стих. А ты уж высчитывай, сопоставляй со днем и месяцем. Сойдется все — только тогда приглашай и открывайся.

— Господи! Какие премудрости на старости лет,— вздохнула Пистимея.

— Трудновато,— согласился Демид.— Да ведь нужда заставляет. Для курьеров от слуги отдела к слугам групп полегче — без этих прибавлений и отниманий. Далее, все эти «мамы», «Яны», «пекарни», «овощи» [1] отменяются. Теперь... в общем, вот тебе новая инструкция — очень секретный документ,— протянул Демид брошюрку в серой обложке.— В ней новый шифр. Если что, сожги, сжуй... словом, что хочешь сделай, но чтоб не попала в руки кому не следует. Дается на месяц. Заучить все на память. Ровно через месяц, день в день, за ней придут. Не дай бог, если потеряется! — зловеще предупредил Демид.

Пистимея взяла брошюрку, спрятала на груди. Демид пододвинул к ней остальную стопку.

— Вот свежие журналы «Башня стражи» и другая литература. Журналы, как прежде, размножить только от руки. И — изучать, изучать на студиях. Вообще, говорю, как можно больше усилить проповедническую работу. Главная цель ее — чтоб братья и сестры под разными предлогами, как Исидор Уваров, отказывались выполнять советские законы, уходили от мирских соблазнов, от всяких мирских дел — собраний, выборов, службы в армии. Убеждать, что все это грех. И вдалбливать, не жалея сил и времени, что армагеддон близок, что Иисус Христос уже помечает невидимым крестом мучеников за веру христианскую, помечает тех, кого за верную службу Иегова возьмет с собой в свое справедливое райское царство, остальных же испепелит в прах... В общем — в «Указаниях» все написано. А теперь...

Демид встал. Пистимея тоже поднялась.

— Поговорил бы еще с тобой — ведь столько лет не виделись, и бог знает, увидимся ли,— да время дорого. Ступай... Серафима. С Устином я еще поговорю. Ну... долгих лет тебе.

И, глубоко втянув нижнюю губу в рот, принялся громко сосать ее, глядя на Пистимею выпуклыми глазами.

Сосал и глядел до тех пор, пока Пистимея не вышла.

---

[1] Иеговисты в переписке между собой, в отчетных документах, регулярно пересылаемых в вышестоящие инстанции, пользуются различными шифрами. Например, «мама» обозначает «Краевой комитет» или любой другой руководящий орган. «Ян» — журнал «Башня стражи», «пекарня» — нелегальная типография, «овощи» — отчет о деятельности иеговистов и т. д. Шифры систематически меняются.

А в это время Устин лежал в постели, смотрел в угол потолка и пытался сообразить: уснул он хоть на минуту в эту ночь или нет? Ночь, оказывается, прошла, а ведь он вроде только-только сомкнул уставшие веки, за которые кто-то словно песочка насыпал.

Угол был густо затянут паутиной. В центре паутины висела огромная высохшая зеленая муха. Паук, видимо, давно, может быть, еще в середине лета, высосал из мухи всю кровь...

В комнату лился голубоватый утренний свет. Устин зачем-то тщательно осмотрел потолок и в каждом углу обнаружил огромные, почерневшие от пыли паучьи гнезда. «Да они что, год не убирали в этой комнате?» — удивился Морозов.

В дверь постучали, но Устин не ответил. Он спустил с кровати ноги, сел. Весь пол был усыпан листками из Демидовой папки. Вчера, после того, как ушел Демид, Устин хотел своими глазами почитать один-два листочка, хотел убедиться, действительно ли там написано то самое, что читал Демид. Он взял один листочек, пробежал глазами, взял второй, третий... И прочитал их все, один за другим, до последнего.

Папка была удивительная. «Не надо было вчера Демиду тратить весь вечер на разговоры,— горько усмехнулся про себя Устин,— не надо было Пистимее везти меня сюда. Надо было просто переслать мне эту папку с одним из нищих...»

Газетные и журнальные вырезки были подобраны с поразительной ловкостью. Устин прочитывал их одну за другой и в самом деле видел, понимал, физически ощущал, как из пепла поднималась Западная Германия, как она встала на колени, потом на одну ногу, затем на обе. Встала, начала выпрямляться, вытягиваться во весь рост. Первую скрипку во всем играла Америка. Еще в советских газетах провозглашались лозунги и здравицы в честь великой исторической дружбы русского и американского народов, а американский посол в Москве, какой-то Джордж Кеннан (черт его знает, что это за Джордж, он, Устин, никогда не слыхал о нем) уже в письме в американский государственный департамент потребовал прекратить сотрудничество военного времени с Советским Союзом, потребовал политики сдерживания коммунизма и в конце концов уничтожения его. Уничтожения! И это случилось всего через восемь месяцев после окончания войны. А еще через месяц Черчилль (кто такой Черчилль, он, Устин Морозов, знал) открыто заявил об этом в речи в американском городе Фултоне. А через полгода американский государственный секретарь Джеймс Бирнс потребовал объединения Германии. Вот оно откуда началось-то! И затем в вырезках Демида — огромнейшие цифры расходов на возрождение германского государства, германской военной мощи, убедительные факты, удивительные по своей прямоте речи американских, английских, французских, немецких генералов, президентов, премьер-министров, канцлеров. Возмущенные статьи советских

газет в ответ на эти речи, на действия западных держав. И снова цифры, снова факты, снова речи. Вот западногерманский канцлер Аденауэр заявляет, что СССР, «по сути дела, является нашим смертельным врагом». Его военный министр Штраус прямо на заседании правительства высказался, что ему известен только один военный план — «красный», то есть план войны против Советского Союза. И наконец, в советской газете черным по белому написано: «Реваншистские планы западногерманских правящих кругов преследуют следующие основные цели: 1) насильственное присоединение Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германии; 2) восстановление германских границ 1937 года; 3) захват других стран Центральной и Юго-Восточной Европы и восстановление Германской империи как государства, играющего решающую роль в Европе...»

Устин читал обо всем этом и явственно слышал голос Филиппа Меньшикова: «Россия — большая, на одной стороне ночь, на другой день. А мир еще больше, вот что. А разве может мир терпеть такую несправедливость?»

«Не может... Не может!» — гудело в голове Устина всю ночь. И, кажется, всю ночь он про себя так же горько и тяжело усмехался чему-то.

Второй раз послышался стук в дверь. Устин собрал листочки, рассыпанные на полу, сложил их в папку и крикнул:

— Ну кто там ни свет ни заря?

Дверь приоткрылась, вошла Пистимея.

— Вот она, голубушка,— нахмурил брови Устин.

— Всю ноченьку молилась... за выздоровление твое, Устинушка.— И Пистимея скорбно поджала губы.

— Вот как? — насмешливо сказал Устин.

— Ага... Утро, рассвело уже, собирайся. Я к Марфе побежала, а ты не мешкай тут, Устинушка. Ехать надо ведь нам...

— Ступай. Приду,— коротко бросил Устин.

Пистимея ушла. Морозов не спеша оделся. Одеваясь, не заметил, не слышал, как вошел Меньшиков.

Демид сел на то же место, где сидел вчера.

— Значит, так, Устин,— сказал он, поглаживая лежавшую на столе папку.— Ты поедешь сейчас домой. Захару скажешь — был припадок. Перепил, мол, горячка и хватила. Пистимея действительно не зря тебя в больницу повезла: это поможет отвязаться от всяких подозрений. Да смотри теперь у меня!

Устину почему-то показалось, что над его головой болтается паук. Но глянуть наверх побоялся.

— Заниматься будешь тем же,— продолжал Демид.— Только осторожнее, тоньше. С бригадиров-то, наверное, снимут тебя теперь.

— Должно быть.

— Ну, это ничего. Заниматься, говорю, тем же будешь. Я свой вклад делаю... для этого вот...— Демид легонько хлопнул по папке.— Зинку вон сам видел. Не будет, поди, если начнется что, мосты взрывать, как...

— Как кто?

— В кино-то ходишь, поди? Видел, однако, как такие вот... сопляхи эшелоны с немецкими солдатами под откос пускали. Так вот... чтоб не пускали — ты и... В общем, я делаю свой вклад, и ты делай свой. Поплотнее молодежью-то занимайся. Внучка этой Вороновой Марьи... как ее?..

— Шатрова Иринка.

— Вот-вот! Эта не только эшелоны под откос спускать будет. Эта... эта...— Демид не нашел подходящего выражения и замолчал.— Эта еще похлеще вырастет. Чего на нее смотреть?

— Я не смотрю.

— А чего же она у тебя, говорят, ходит, будто в радости выкупанная? — Демид заворочал своими круглыми глазами.— И этой по сердцу надо чем-то, чтоб заизвивалась от боли, чтоб вместо воздуха горстями жгучий перец заглатывала.

— Боюсь я,— выдавил из себя через силу Устин.— Не ее — Анисима боюсь. Он, змей ехидный, глаз с меня не спускает. Если что, так сразу меня...

— Боишься? — Демид встал, подошел к Морозову.— Боишься?! Да ведь по-всякому можно. Хитра лиса, да хитрей охотник.

— Тебе хорошо тут... руководить да присказки всякие вспоминать. А меня... Позавчера, например, Фрол Курганов случайно — ишь ты, совсем случайно! — наткнулся в поле на припрятанные стожки сена. Пустяк вроде, а меня оглушило, как палкой по башке. Когда Смирнова отвозил, еще один удар: «Объясни мне весь твой разговор с Кургановым у конюшни. Всю махинацию с этим сеном в Пихтовой пади объясни...» А как я объяснять буду? Вчерашней ночью — третий удар. Снова от Фролки Курганова: «Подгниют корешки-то... упадет дерево». Тебе-то не понять, может, о чем он намекает, а я знаю... Тут уж от этого удара искры из глаз посыпались, в глазах потемнело... Да что там первый, второй, третий! Чего их считать, удары! Разве их пересчитаешь, коль сыплются они в последнее время справа, слева, спереди, сзади — не успеваешь поворачиваться. А порой, говорю, даже и не знаешь, откуда они, с какой стороны... Даже племянница твоя разлюбезная, Наташка... Знаешь, поди, как у меня с ней. Пистимея, должно, в курсе держала... Боится она, а нет-нет да и полоснет глазами. А время-то идет... А ну как расклеит рот? Или тот же Анисим Шатров! Этот ничего вроде и знать-то не должен, а ведь... И этот вчера заухмылялся слюняво прямо в морду Илюшке Юргину: «У тебя, однако, макушка-то давно острижена, одни усы остались». Тоже прибауточка, а к чему она? Да и сам Илюшка, мешочник мокрогубый, окрысился на

меня: «Но, но, на равных ведь играем!» На равных! Вон как заговорил! Понятно? Вот и боюсь. Вот и... жду... со дня на день...

Демид слушал Устина терпеливо, не перебивая. Это почему-то начало успокаивать Устина, он говорил постепенно все тише и тише и наконец умолк, как-то даже недоуменно поглядывая то на Демида, то в сторону.

Меньшиков проговорил спокойно, без всякой укоризны в голосе:

— Это ты верно, Устин... Мне тут и спокойно, и безопасно. Тепло, светло, мухи не кусают.

— Да я что... я, конечно, понимаю. А все же вот... Конечно, делаю кое-что.

— Что?

— Ну, с Шатровой этой же... К Митьке Курганову она вроде... того... Румянец во всю щеку вскипает, как Митька подойдет. Я на Митьку — Варьку, дочь свою... Митька неразборчивый... он...

Демид вернулся к столу, сел на прежнее место.

— Что же... это ничего, пожалуй... давай и дальше... так. Потихонечку пока. А там видно будет. Придет время — мы ей глазищи-то выдавим, как бабушке... И еще там один подрастает вроде — Захаркин выродок.

— Мишка? Он приемный у него.

— Какая нам разница! Тут с ним так надо придумать, чтобы сразу двух зайцев убить: и самому мозги набекрень свернуть, и Захар чтоб взвыл от горя... Об Егорке подумай. Самого Митьку не забывай. И Клашку, Зинкину сестру.

— С Митькой тоже не очень. Фрол-то ведь...

— Ладно, с Фролом я, между прочим, сам собираюсь поговорить... Вот ужо обрадуется он встрече. Да и... с племянницей родимой надо бы. Погляжу, как тут дела у меня сложатся. Шибко охота поговорить с ней.— И Демид втянул нижнюю губу в рот. Потом он взял со стола папку, покачал ее, точно определяя на вес.— А это... возьми на всякий случай.

Устин взял папку, подумал о чем-то.

— Ну что ты? — резко спросил Демид.

— Да вот, думаю,— невесело промолвил Устин.— Вроде только приехал, а об колхозных людях, об моих... делах в курсе уж. Откуда это обо всем так подробно знаешь? Пистимея, что ли, растолковала?

— Вот еще забота тебе!

— Да это-то верно. Что ж... поеду. Прощай.

— Зачем прощаться? До свидания, пожалуй. И само собой: об нашей встрече чтоб никому, даже Тараске... то бишь Илюшке Юргину... чтоб ни намека, ни полнамека...

Устин мелкими шажками, как бы нехотя, шел к двери. Шел-шел и остановился.

— Чего тебе еще? — отрывисто спросил Демид.

— Да подумал вдруг... Зинка-то признала меня. Не опасно?

Демид только усмехнулся в ответ.

— Ну да, ну да...— промолвил Устин.

— Ступай с богом.

— Ага...— А сам, однако, медлил, думал о чем-то, соображал что-то. Демид ждал, измеряя его насмешливым взглядом. И потому, что Устин молчал, спросил:

— Ну, еще чего опасаешься?

— А ты не смейся, Демид,— жалобно попросил Морозов.— А ну как редактор этот... Смирнов...

— Что — Смирнов?

— Да запомнил ведь, однако, что я в горячке вывалил ему...

— Не будешь болтать, чего не положено!

— Демид! — взмолился Устин.— Но ведь он... если...

— А я что сделаю, если он — «если»? — свирепо закричал Демид.

Морозов топтался у двери, опустив голову.

— Сделать-то можно, однако. Сердце у него на последних оборотах чихает...

— Ну и что?

— Много ли надо, чтоб остановилось...

Демид вплотную подошел к Морозову:

— Ты чего это? Ты соображаешь, чем это может кончиться?

— Так это — как сделать... Зинка вон ко мне в постель ложилась. Она еще в газете, кажись, работает.

— Ну...— Демид шага на два отступил от Устина.

— Чего «ну»! А у нее ребенок от кого-то был. Должно, от Митьки Курганова.

— Так что же ты советуешь? К Смирнову, что ли, в постель положить ее? Она-то легла бы, да он не пустит.

Устин шумно выдохнул воздух.

— Зачем ее класть? Пусть напишет в райком заявление, что уже лежала. Смирнов едва услышит об таком заявлении — задохнется. Должен задохнуться. Гнилой он. Сердце-то сразу вспухнет да и лопнет... вот тебе и...

— Та-ак... Смотрите-ка, а?..— промолвил Демид не столько удивленно, сколько насмешливо.— А я-то думал, что только я один умный...

Демид отвернулся к окну и долго смотрел на глухой заснеженный забор. Устин терпеливо ждал, прижимая к животу папку.

— Ладно, Устин. Обдумаю,— сказал наконец Демид, не оборачиваясь.— Иди, скоро солнце встанет. Путь вам не ближний.

Однако Устин не двинулся с места. Он лишь взялся за дверную скобу.

— Только это ведь сегодня же надо! Ведь как можно скорей надо! — умоляюще проговорил он.

— Да я же сказал — обдумаю! — крикнул Демид и на этот раз не обернулся.— Ступай.

Устин был уверен, что Демид опять сосет свою нижнюю губу. С этой мыслью он вышел.

Глава 28

А в эти два дня, пока Устин Морозов бревном лежал дома на кровати и вспоминал прошлое, а потом вместе с женой ездил в Озерки, жизнь в Зеленом Доле шла своим чередом.

Сено из Пихтовой пади вывезли не за два, за один день. В тот же вечер, когда привезли первые три воза, Егор Кузьмин попросил Моторина к утру сделать тракторную волокушу.

— Делай наскоро, только чтобы пару рейсов выдержала,— сказал он.

— Да сгорит, что ли, оно, сено-то? — заворчали плотники, которым очень не хотелось тюкать топорами целую ночь.— Подводами вывезли бы потихоньку.

— Сказано делать — делайте! — повысил голос Егор.

И Захар Большаков одобрил его распоряжение. Конечно, можно было вывезти и подводами. Но Захару, уже хлебнувшему досыта от бескормицы, хотелось как можно скорее сено, свалившееся прямо с неба, перевезти к фермам. «Мало ли что может случиться послезавтра, даже завтра,— думал он, тревожно прислушиваясь, как ноет искалеченная когда-то Меньшиковым рука.— Однако пурга вот-вот задует. Да вдруг на неделю, а то и на две...»

Волокуша была готова к утру. Большаков приказал одному из трактористов заводить трактор.

Митька же почти всю ночь проворочался без сна. Утром встал разбитый, раздраженный.

Плохое настроение не покидало Митьку с тех пор, как Ирина Шатрова, прыгая со скирды, отказалась от его услуг, с той минуты, когда она в ответ на его шутливое предложение: «Зарывайся тогда в сено. Там тепло»,— насмешливо, даже ядовито сказала, явно намекая на Варьку Морозову, которую вместе с ним привалило пластом сена: «Да уж ты-то знаешь, тепло или холодно».

Митька сознавал, что злится в общем-то по пустякам. Но оттого, что понимал это, раздражался все больше и больше.

А в ушах звенел и звенел насмешливый девичий голосок: «Да уж ты-то знаешь, тепло или холодно... Ты-то знаешь...» Черт, будто кто записал Иринкин голос на пленку и теперь крутил и крутил без конца магнитофон.

«Подумаешь... Принцесса...» — как и там, возле скирды, сказал наконец самому себе Митька и стал размышлять, как ему теперь вести себя с Ириной. Конечно, другой бы на его месте об этих Иринкиных словах давно и думать забыл, не придал бы им значения. Но Митька не таков. Он чувствовал себя глубоко обиженным. Ведь он, Дмитрий Курганов, уже давненько всячески высказывает этой девчонке свое расположение, а она хоть бы что... Более того, она начинает с ним держаться все холоднее, все высокомернее...

Конечно, Митька мог бы отомстить кому угодно. Уж он бы расплатился со своим обидчиком так, что тот помнил бы до самой

смерти, что люди потешались бы над ним долго, очень долго. Но здесь случай особый...

С распухшей головой Митька пошел в мастерскую.

К обеду он приплелся к ферме («Зачем-то»,— как рассказывала Варька Морозова отцу). Туда из Пихтовой пади притащили уже первую волокушу — целых полтора стога. Ирина снова стояла на вершине длинного замета, принимала и укладывала вместе с Клавдией Никулиной сено. Она бросила сверху на Митьку уничтожающий взгляд, облила его гордым презрением. Этого Митька выдержать уже не мог. Он должен отомстить ей немедленно, сейчас же! Но как, как?

Филимон Колесников, Андрон Овчинников и еще несколько человек хлопотали вокруг волокуши, развязывали веревки. У скирды стояла одна Варька Морозова и почему-то ожидающе глядела на Митьку. Он закурил папиросу, но со злостью растоптал ее и шагнул к Варьке. Та быстро глянула по сторонам. Потом дразняще улыбнулась, попятилась за скирду...

Митька догнал ее в три прыжка, схватил за плечи, рванул к себе. Варькины влажные губы скривились, как от боли, она вскрикнула... Варвара вся дышала жаром, только ее мягкие губы были почему-то холодными и горьковатыми. Потом она оттолкнула Митьку и, тяжело дыша, простонала:

— Хватит! Хватит!

Больше Митька ничего и не хотел. Он задрал голову кверху, надеясь увидеть Ирину. Она стояла, отвернувшись, тоскливо сгорбившись. («Должна была увидеть, не слепая же...» — отвечала потом Варька на подробные расспросы отца.) Сверху на Митьку строго и испуганно смотрела лишь Клавдия. И Митьке стало вдруг стыдно. Но он крикнул:

— Ну, чего ты? А то спускайся, если хочешь...

— Дур-рак! — кажется, проговорила Клавдия. Он не расслышал, только видел, как пошевелились ее губы.

Митька как побитый ушел обратно в мастерскую.

На следующий день Захар Большаков снова заставил его дометывать привезенное вчера сено.

— Что я, стогомет штатный? — запротестовал Митька.— Я тракторист все-таки. Надо вон еще снежные валы нарезать на пятом поле. Везде нарезали, а там чего же? Гляди, последние бураны ударят вот-вот...

— Ладно, ладно! Раскритиковался! — остановил его Захар.— До обеда помечешь сено, а потом цепляй снегопах — и айда...

Митьке очень не хотелось метать сено. Там, наверное, опять будет Ирина. Он, само собой, не жалел, конечно, о том, что сделал. Но все же встречаться с ней сегодня не хотел бы.

Однако Ирины ни на скирде, ни возле скирды не было.

До обеда Митька с остервенением работал вилами.

Возле скирды трижды появлялся Фрол Курганов. И каждый раз он, кажется, хотел кому-то что-то сказать, но, постояв молча, уходил, сутулясь. Клавдия незаметно глядела ему вслед.

Перед самым обедом пожаловал Анисим Шатров. Он остановился метрах в пяти от Митьки, положил обе руки на костыль, смерил его из-под бровей задумчивым взглядом. Митьке это тоже не понравилось, и он спросил:

— Как, папаша, все в государстве в порядке?

Анисим ничего не ответил насмешнику, а спросил у Варьки:

— Отец что, в больницу уехал?

— Уехал. Тебе что?

— Ничего. Когда вернется-то?

— А я откуда знаю?

— Ну, ну...

И, повернувшись, пошел, тыкая костылем в снег.

Клавдия Никулина сняла платок, стряхнула с него сенную труху. Волосы у нее взмокли, слиплись беспорядочными прядями.

— Жарковато? — спросил Митька.

— Ничего, мне силы девать все равно некуда.

Митька даже чуть смутился от такого ответа. И, может, поэтому спросил то, о чем не хотел спрашивать:

— А куда делся сегодня телячий воспитатель?

Клавдия не спеша повязала платок. Потом губы ее пошевелились точно так же, как вчера, и он услышал:

— Дур-рак...

— Она что, сама видела вчера или ты ей рассказала?

Никулина закинула вилы на плечо и пошла прочь. Это окончательно взорвало Митьку, и он закричал:

— Ну так передай ей... Передай, что Митька извиняться придет... На коленях, мол, обещался приползти!

Тогда Клавдия вернулась, подошла близко-близко и сняла с плеча вилы. Поглядев прямо ему в глаза, тихо спросила:

— А если в самом деле придется... ползти?

— Мне-то?

— Тебе-то. Да если еще за счастье сочтешь, что позволит... приползти?

— Эт-то я-то? За счастье? Вот что... Вот что я тебе скажу! — Он кинул в рот папиросу.— А ты это ей скажи... Таких-то, как она,— я видывал уже... таких — пучок на пятачок... Да и то в базарный день. А посреди недели — еще дешевле...

Заиндевевшие Клашкины ресницы дрогнули, и в усталых глазах немолодой женщины расплескалась печаль.

— Нет, Митя,— грустно сказала она.— Может, ты видывал каких-нибудь. А таких еще не видел.

— Я-то?! — еще раз воскликнул Митька, искренне удивляясь ее словам.

— Ага, ты. Не приходилось тебе еще таких видеть. По простоте наивной она не верит... или не верила, что сын у Зины от

тебя. Сплетни, говорит, все это. А вчера, глядя на тебя с Варькой... Что рот раскрыл? Папироса, гляди, выпадет.

Папироса не выпала, Митька сам ее выдернул изо рта. Выдернул, хотел отбросить прочь, но вместо этого снова сунул в зубы.

— Значит... значит, вчера... Ты гляди, догадливая какая...

И Митька неестественно рассмеялся. Клавдия в упор поглядела на него, произнесла:

— А тут вроде и догадываться нечего.

И она пошла к своему дому.

— Нет, ты погоди! — рванулся было за ней Митька.— Ты объясни... с чего это все же она?

Клавдия опять приостановилась. Она хотела было рассказать, как вчера Ирина, когда Митька ушел от скирды, уткнулась ей в грудь и, рыдая, прошептала: «Да ведь не сплетни это про него... Раз он так... так может...» Она хотела рассказать, как Ирина, не в силах держаться уже на ногах, сползла по ее груди вниз, упала в сено, зарыла в него лицо, закрыла, точно от ударов, голову руками, когда Клавдия произнесла всего три слова: «Наверное, не сплетни, Иришка...» Но вместо всего этого сказала Митьке:

— Э-эх! Да ты все равно не поймешь.

И отвернулась.

Митька постоял недвижимо, глядя вслед Клавдии. Затем швырнул под ноги так и не зажженную папиросу и побежал к мастерским, где стояли тракторы.

Домой Митька заехал на минутку, схватил ломоть хлеба, откусил раза два, остальное сунул в карман.

— Митя! Митенька! — попробовала остановить его Степанида.— Ты пообедай по-человечески. Вчера не поел как следует и сегодня... Да что же это такое? Не пропадет она, ваша работа...

— Не лезь ты, мать! — крикнул Митька.— Ты мне лучше объясни, объясни...

— Да чего тебе объяснить?

— А то... про Зинку объясни! Не ты говорила мне: «Об Зинке с ее дитем не печалься. Сюда она не вернется, уж я позабочусь...»

— Так не возвратилась пока. И не приедет, насколько я знаю.

— А про ребенка... Что он... Опять же ты говорила: «Уж я сделаю, не узнают люди, чей он... Так сделаю, что, если и сама признается, не поверят ей...»

— Митенька, Митенька! И сделала. Да что стряслось-то?

— А-а...— отмахнулся Митька и выскочил из избы.

...До позднего вечера он гонял трактор взад и вперед по огромному полю, нарезая снегопахом глубокие борозды. Вернувшись домой, ни слова не говоря, бухнулся в постель.

...Утром тоже встал молча. На кухне плеснул в лицо холодной воды. И только вытираясь мохнатым полотенцем, усмехнулся про себя: «Догадывается, значит? Не видывал я таких? Дурак Митька, значит? Ладно, Митька, будь дураком, да не простаком.

Так частенько говаривает мать. Что же, если подумать — правильные слова...»

Он взял с подоконника кринку молока, накрытую блюдечком, поболтал и выпил чуть не половину. И, насвистывая, стал одеваться.

Степанида вышла из своей комнаты, заспанная, разлохмаченная, с красными рубцами на щеке.

— Ты куда, сынок, в такую рань? — спросила она, придерживая одной рукой кофточку на груди, другой приглаживая волосы.

— Пойду пробегусь на лыжах по морозцу. Разомнусь.

Морозный воздух был сух и свирепо обжигал горло. За ночь на снега, на крыши домов, на заиндевелые деревья осыпалось много звездной пыли. Эта искрящаяся пыль толстым слоем лежала и на укатанной деревенской улице. Взбивая ее лыжами, Митька побежал за околицу.

Тут он остановился, поглядел на Марьин утес. Звездная пыль сверкала и на осокоре, и на отвесной стене утеса. Но здесь она горела не тем серебристым блеском, как повсюду, а вспыхивала и переливалась цветными кругами — то голубоватыми, то розовыми, то сине-фиолетовыми.

Митька давно привык к этому удивительному свечению утеса и сейчас отметил только равнодушно: значит, скоро взойдет солнце.

Издалека, еле слышимый, донесся паровозный гудок. Митьке почудилось даже, что он улавливает перестук колес по рельсам. Он перестал дышать, напряг слух — и точно: где-то шел поезд. Мерзлые рельсы были особенно звонки, колкий морозный воздух хорошо проводил звуки — и певучий звон долетел сюда, к Марьиному утесу. Митька даже позавидовал утесу, который слушает каждый день эту музыку, и стал думать о Лене-Елене, о маленьком докторе станционного медпункта. Он вспоминал, как сидел в ее кабинетике на клеенчатой кушетке, а она откинулась на спинку стула, голова ее оказалась в полосе солнечного света. И заискрились ее волосы, пронизанные этим светом, а весь профиль лица — лоб, нос, губы и подбородок — очертила золотисто-розовая каемка...

«Значит, не придется мне никогда видеть таких? Не придется?!» — со злорадством спрашивал он не то самого себя, не то Клавдию Никулину.

Он с силой оттолкнулся палками и крупным, размашистым шагом заскользил по дороге, которая вела на станцию.

Станция была тихой, безлюдной. Маленькие домишки наперебой дымили трубами, и этот дым, поднимаясь в небо, застилал вставшее около часа назад солнце.

В медпункте никого не было, кроме низенькой и полной рыжеволосой женщины лет пятидесяти, в зеленом халате. Женщина, вероятно уборщица, протирала тряпкой стеклянный шкафчик с разнокалиберными пузырьками.

— Куда? — крикнула она ввалившемуся Митьке.— Рано еще...

Митька хмыкнул и спросил:

— А ежели вот... помрет человек от болезни?

— Черт его не возьмет, поди, за полчаса-то,— отрезала женщина и полезла в шкафчик.

Митька еще раз хмыкнул и неуклюже повернулся к двери.

— Куда? — опять крикнула женщина.— Пришел — жди. Сядь вон там, на табуретку. С температурой, что ли?

— Ага, с температурой,— промямлил Митька.

— То-то, гляжу, потный весь. На вот градусник пока.— Женщина взяла из стакана, стоящего в шкафчике, термометр, подала Митьке. Тот сунул его под мышку, уселся на табурет.

Женщина стала протирать спинку кровати, на которой позавчера лежал Смирнов.

— И что за больные только нынче пошли! — пожаловалась она.— Тот нервный, другой нервный... слово прямо нельзя сказать. Ты вот тоже — сразу назад. А чего, спрашивается, пошел? Раз больной, сиди и жди доктора. Здоровье — это для человека самое главное. И кто бы позволил тебе уйти с температурой-то?

В коридорчике медпункта кто-то застучал дверями. Женщина выпрямилась, нахмурилась, бросила на Митьку сердитый взгляд:

— Ну вот, опять Елена Степановна раньше времени... Видно, усмотрела из квартиры, что больной заявился. И откуда вас только несет. Тот больной, другой больной... Подумали бы, вас много, а она одна. Она девчонка еще хлипенькая...

— Нам девчонку и надо... Зачем нам старуху-то? — заявил вдруг Митька.

— Ох ты... гу-усь! — грозно сказала женщина, и в это время зашла Елена Степановна.

— Кажется, больной пришел, Татьяна Павловна?

— Вот он,— махнула женщина своей тряпкой так, словно хотела швырнуть ее в Митьку.

— Курганов! — тревожно воскликнула Елена Степановна, оборачиваясь к Митьке.— Что с вами? Укол беспокоит?

— Беспокоит,— подтвердил Митька.

Елена Степановна пробежала в свой кабинетик, стаскивая на ходу шубку. Уборщица вышла.

Краснова вернулась уже в халате, в такой же белой косыночке. Из того же стакана в шкафчике взяла градусник, торопливо начала стряхивать его.

— Так что же с вами... Курганов? Сильно беспокоит?

— Сильно. Круги перед глазами. Голова кружится. Прилечь бы...

— Так как же вы один... на лыжах? Ложитесь вот сюда,— показала она на кровать.

Митька тяжело поднялся, пошатнулся, будто в самом деле был очень болен. Градусник выпал у него из-под мышки и раскололся вдребезги.

— Эх...

— Ничего, ничего,— успокоила Елена Степановна,— это Татьяна Павловна правильно... Молодец она у меня. Градусник — пустяки. Тужурку положите сюда. Держитесь за меня. Пошли... Не упадете? Держитесь за шею...

Митька положил руку на маленькое, хрупкое плечико. От волос Елены Степановны пахло духами и почему-то совсем не пахло, как позавчера, лекарствами. И у него вдруг в самом деле закружилась голова, захотелось вот сейчас же, сию секунду, покончить с этим спектаклем, повернуть ее свободной рукой к себе, поцеловать, а там — будь что будет. Рука его, лежащая у нее на плечах, дрогнула.

— Осторожнее... Держитесь крепче,— быстро сказала она, и это отрезвило Митьку.

Елена Степановна довела его до койки, Митька грузно сел.

— Вот так... Ложитесь.

— Сейчас... Валенки...

Митька попытался их снять. Но руки и ноги ему будто не повиновались.

Елена Степановна присела, взялась за валенок, потянула. Потом взялась за другой...

— Ложитесь...

Митька упал на спину. Елена Степановна укрыла его, поставила под мышку новый градусник, ушла в свой кабинет.

«Что же теперь делать?» — размышлял Митька, глядя в потолок. Вот сейчас она вернется, посмотрит на градусник. Температура нормальная. Она сдвинет удивленно брови. Осмотрит спину — не воспалился ли позавчерашний укол? Какой там, к черту, воспалился! Он уж и забыл про него... Ну, можно еще сказать, что сердце колет... и еще — голова все кружится... В конце концов она поймет, что он дурачит ее. Поймет, а он что ей скажет, как будет оправдываться за все это? Извини, мол, Лена-Елена, не нашел лучшего предлога, чтобы с тобой поговорить? Когда-то, мол, убегал от тебя в тайгу, а теперь сам пришел? Ну, допустим, скажет он что-нибудь в этом роде неуклюжее, неумное. А она что? А она что?

Дорого дал бы сейчас Митька, если кто-нибудь мог бы подсказать ему, как же поведет себя через пять — десять минут эта «хлипенькая», по выражению рыжеволосой Татьяны Павловны, девчонка.

А может, она отшатнется подальше от его глупо улыбающейся рожи, побелеет от гнева и прокричит, как вчера Клашка, хрипуче и протяжно: «Дур-рак!..» Что ж...

И у Митьки стало на душе еще более невесело, тревожно и отчего-то пусто. Нет, надо было поцеловать ее, да и дело с концом... А может... у Митьки застучало сердце часто-часто... а может, так и сделать сейчас вот... она подойдет градусник вынимать, нагнется... Обхватить ее за шею, да и...

Он, может, так бы и поступил, да не успел еще продумать все до конца, когда Елена Степановна неслышно подошла к кровати, вынула градусник, села рядом на табурет и, улыбнувшись, произнесла:

— Ну?..

Митька глядел на нее таким взглядом, что улыбка ее от неожиданности разбилась, как недавно уроненный им градусник, на мелкие осколочки и исчезла. Она растерянно и смущенно взмахнула ресницами и снова произнесла, краснея до самых кончиков ушей:

— Ну что вы...

Митька рассмеялся:

— Да мало ли чего...

Но Елена Степановна вспомнила наконец о градуснике, посмотрела температуру. Смотрела она долго, будто впервые видела этот нехитрый медицинский прибор. Брови ее, аккуратненькие, чуть подкрашенные, не сдвинулись, как предполагал Митька. Они то поднимались, то опускались. Наконец она произнесла:

— Не понимаю... Температура нормальная.

— А может, он сломанный, этот градусник,— сказал Митька.— Вы сердце послушайте.— Он расстегнул рубашку, схватил руку Елены Степановны, положил на свою бугристую грудь.

Рука ее легла на Митькину грудь не сразу, ему пришлось преодолеть сопротивление, но все же легла.

Митька ощутил, что чуть-чуть вздрагивают пальцы Елены Степановны, и улыбнулся. «Ну вот и все,— подумал он,— готова. Сейчас можно и поцеловать...»

Подумать-то подумал, но осуществить свое намерение снова, в третий раз, не решился. Может быть, опять не успел, потому что Елена Степановна отдернула вдруг руку и сказала сердито:

— Послушайте... вы...

— Чего — я? Это ты послушай меня. Говорю — колет сердце. Или не будешь? Тогда я пойду.

Она закусила губу. Митька невольно сравнил ее губы с Иринкиными и подумал, что у Иринки красивее.

— Называйте меня на «вы»,— тихо попросила Елена Степановна. Выдернула из кармана халата стетоскоп. Затем решительно и резко сказала: — Снимите рубашку.

Долго и тщательно она выслушивала Митьку, не глядя ему в глаза. Затем приказала:

— Повернитесь на живот... Дышите... Так, теперь не дышите...

Помяла пальцами кожу на лопатке, куда позавчера сделала укол, и встала:

— Одевайтесь.

Митьке ничего не оставалось, как подняться с койки.

«Вот как это, оказывается, кончилось,— думал он, одеваясь.— Теперь надо оправдываться. И сказать: «Извините, раньше убегал от вас, а теперь сам пришел...» Но все это теперь Митьке



казалось тем более неумным, неуместным, слащавым. И она, конечно, не поверит, не откликнется на это. Но ведь есть, наверное, такие слова, которым бы она поверила, на которые откликнулась. Откликнулась бы, это Митька знает, чувствует... Вон пальцы-то подрагивали. И сейчас еще взглянуть боится...

Елена Степановна действительно стояла, отвернувшись, у окна, смотрела на улицу. Митька надел валенки, натянул пиджак, взялся за тужурку. Уйти так было неудобно, просто невозможно, а она молчала.

Митька потоптался у порога и спросил:

— Как он... Смирнов? Ничего доехал?

Она не ответила. Митька подождал-подождал и усмехнулся:

— Тогда прогоняйте, что ли.

— Уходите,— тихо сказала она.

И вдруг Митька, снова став самим собой, прямо, без всякого смущения, сказал:

— Слушай, Лена-Елена... Я ведь, надо понимать, не зря притопал сюда. Прокатимся на лыжах, а? Время еще раннее, больных нет. А вечером в кино сходим. Там, возле клуба, я афишку видел...

Она резко обернулась. Щеки ее, казалось, распухли, вздулись от внутреннего огня. («Эге-ге-ге! — чуть даже не присвистнул в эту секунду Митька.— Да ты, Лена-Елена, еще невиннее, чем я предполагал!»)

— Послушайте! — воскликнула она. И вдруг (этого Митька никак уж не ожидал) всхлипнула раз, другой и, опустив голову, зажав руками щеки, спросила у кого-то сквозь слезы: — Ой... Что же это происходит со мной?

И, согнувшись, как от боли, убежала в свой кабинет, захлопнула дверь.

Митька постоял-постоял, шагнул к этой двери. Он хотел уже приоткрыть ее, но услышал за дверью частое дыхание и понял, что девушка прижимает ее спиной.

«Отгородилась...» — усмехнулся он и, неслышно ступая, вышел из медпункта.

Со станции Митька вернулся в хорошем расположении духа. Лыжи он снял возле калитки, занес в сенцы, с грохотом бросил их в угол. Кое-как обмел заснеженные валенки, вошел в кухню.

— Здравствуй, мама! Чего пожрать бы...

Степанида возилась с квашней. Руки ее были чуть не по локоть в муке.

— Господи, где же ты пропадал чуть не до обеда? — проговорила она, вытирая их.

— Так... На свидание ездил. К одной образованной женщине.

Степанида вскинула брови. Спросила осторожно:

— Что это за женщина такая?

— Есть, есть одна тут,— небрежно сказал Митька, заглядывая в стоящую на шестке кастрюлю.

— Да погоди ты. Сейчас накормлю.— Степанида откинула заслонку, взяла ухват.— Остыло уж, поди. На завтрак я лапшу варила.

Митька прошел к умывальнику, сполоснул руки.

— А тут председатель, сказывал отец, растереть тебя собирается...

— Ну! — ухмыльнулся Митька.— За что это?

— Да уж чего ты, сынок, все напоперек им делаешь?

— Кому это я напоперек? — Митька сел за стол, пододвинул к себе налитую чашку.

— Как же — кому!.. Чего его дразнить, Захара-то? Председатель все же... С трактора ссадить грозится ведь... Мало, говорит, всяких штучек выбрасывает, еще сегодня на работу не вышел. И ссадит. А чего хорошего?

— Ну да! — И Митька даже скривил губу.— Пусть поищет такого тракториста еще...

— Ох, Митенька...

— Да не охай ты,— рассердился Митька.

И Степанида притихла.

Митька хлебал теплую лапшу. И по мере того как убывало в чашке, настроение его снова улучшалось.

— Дай-ка там кислого молочка, что ли, еще,— весело сказал Митька.

Пока мать ложкой накладывала из большой эмалированной миски густой, как сметана, варенец, он вылез из-за стола, глянул в настенное зеркало, подергал себя за чуб. Подмигнул сам себе: «Вот так, уважаемая гражданка Шатрова. Подумаешь, дурак! Подумаешь, не видел еще таких! Всяких я видел! Митька не будет слюни распускать перед тобой. Митька не пропадет. Пускай эта докторша не пошла сегодня со мной на лыжах кататься. Придет время — бегом за мной кинется. Эта про Зинку ничего не знает. Да коль и узнает... Не все же такие разборчивые. Вот тогда-то похлопаешь глазами, в кровь искусаешь свои красивые губки...»

Но при воспоминании об Иринкиных губах опять сдвинул брови: черт, губы-то у нее в самом деле получше, посочнее, что ли...

— Пей, Митенька,— сказала Степанида и поставила на стол полную кружку варенца. И осторожно опять спросила: — А женщина эта кто такая?

— Ну, мать...— недовольно буркнул Митька, все еще стоя у зеркала.— Хорошая женщина.

— Кто же она? Где работает?

Митька не ответил. Степанида почувствовала, что ее вопросы не понравились сыну, проговорила обиженно:

— От матери-то чего таиться? Мать больше тебя прожила, кое в чем разбирается...

— Сам я как-нибудь разберусь,— сказал Митька сухо.

— В молодости все так думают... Да... женишься раз, а плачешь целый век...

— Слушай, мать... Отвяжись, ради бога! Ни о какой женитьбе и мысли не держу пока.

Степанида сложила руки на груди, поджала губы.

Она чувствовала и знала — сын любил ее, и поэтому не понимала, отчего же он так бывает груб порой, почему его так раздражают иногда ее слова, ее забота и нежность?

А все было очень просто. Вожжи, которыми Фрол отхлестал когда-то жену, до сих пор висели на стене. Фрол убирал их только на время побелки. Но едва Стешка кончала обихаживать дом, он молча вешал их обратно.

Со временем Стешка примирилась с этим своеобразным украшением дома, со своей участью и постепенно оставила попытки «сделать вид», как она говорила, а после рождения сына вообще распрощалась со своими честолюбивыми планами...

— Гляди, береги его,— сказал Фрол жене, как только она оправилась после родов.

— Что ты! Пылинке не позволю сесть,— ответила Стешка.

И не позволяла. Сын рос, держась за материну юбку...

Когда он подрос, стал кое-что соображать, Стешка принялась его воспитывать. Фрол всегда ходил погруженный в какие-то свои хмурые думы, месяцами словно забывал о сыне и жене. Стешка лишь радовалась этому...

Из теплого воска можно вылепить любую фигуру. И Стешка лепила осторожно, незаметно, неустанно. И сказки сочиняла ему, в которых герои любыми способами, не останавливаясь ни перед чем, добивались богатства и достатка, и песни колыбельные пела про добрых молодцев, достигающих удачи хитростью, обманом, подкупами...

Когда Митьке исполнилось пять лет, она купила ему глиняный бочонок-копилку, позвала на огород и сказала:

— Вот копилочка, а вот тебе денежка. Брось-ка денежку в эту щелку.

Митька взял пятак и опустил в копилку. Монета глухо звякнула внутри бочонка.

— Ну? — спросила Стешка.

— А что «ну»? — в свою очередь спросил Митька.

— Как звенит, слышишь?

— Ага...

— Вот так... Когда появится у тебя денежка — найдешь ли, сбережешь ли на чем,— вот сюда бросай. Потихоньку накопится мно-ого. Вынешь — купишь что-нибудь. Что тебе надо?

— Куклу,— сказал Митька.

— Зачем тебе кукла?

— А дядьки Никулина Зинка все плачет и плачет. Я отнесу ей...

— Вот это зря. Ты принесешь — они посмеются: «Вот дурачок какой...» Ты лучше соберешь денежек да накупишь конфет.

Мно-ого, целый мешок. Только рассказывать никому не надо. Зароем давай вот тут ее. И отцу не говори. Появится денежка — приди тихонечко сюда и брось. Сбросишь — и прикрой копилку... А придет время, и люди удивятся: «Откуда у Митеньки столько денег?»

Теперь у Митьки была своя тайна. Мать помогала ему охранять ее.

По мере того как Митька подрастал, Степанида незаметно меняла свои приемы и методы воспитания. Что же, она была умелым воспитателем.

Учился Митька до третьего класса плохо, едва-едва не попадал во второгодники. Когда начал ходить в четвертый, Степанида сказала:

— А учиться, Митенька, надо старательно. На «хорошо» да на «отлично».

— Сама поучилась бы на «отлично»-то... Памяти нету у меня.

— А все-таки надо. Ученым да грамотным-то вон как хорошо. Смотри на Захара Большакова. Председатель, всегда в кошевке ездит да распоряжается. А неученые навоз коровий чистят. Соображаешь?

Митька молчал, пытаясь что-то сообразить. Степанида зорко наблюдала за учением сына, и он помаленьку выправился.

Оказалось, что способностей Митьке не занимать. Уже четвертый класс он окончил круглым отличником и по весне принес домой похвальный лист.

— Добро. Молодец,— сказал Фрол, потрепал сына по голове, отвернулся и тут же забыл.

Неся домой похвальный лист, Митька ожидал не только похвал, но и восторгов и, конечно, подарков. А тут всего два равнодушных слова... На ресницах у Митьки нависли слезы.

— Ничего, ничего, сынок,— успокоила его Степанида.— Отец-то наш неудачник. Не везет ему в жизни. Все на конюшне да на конюшне. А много ли там заработаешь? Видишь, как живем — не шибко в большом достатке... Вот и загруб сердцем... Зато уж ты у меня в люди выйдешь. Ты у нас одна надежда...

Говоря так, Степанида преследовала один результат, а добилась другого. Если раньше Митька сторонился угрюмого отца, поглядывая на него с робостью, испугом, то теперь незаметно переменился, в ребячьих глазенках при виде отца вспыхивали все чаще не то жалость, не то робкое участие, нежность.

— Ты чего, Дмитрий, такой печальный? — спросил однажды Фрол, видя, что сын все трется вокруг него, не осмеливаясь заговорить.

— Да мне тебя жалко,— признался Митька.

— Вот как? — Фрол нахмурил брови.— А чего меня жалеть?

— Да как же... Ты все на конюшне да на конюшне. Ну, ничего! Я-то уж в люди выйду.

Фрол нахмурился еще больше, а Митька подумал: отец не верит, что он, Митька, выйдет в люди, потерял всякую надежду. И ему захотелось как-то облегчить состояние отца, обрадовать его чем-то.

— Вот увидишь — выучусь. Учусь-то я на «отлично». Я накуплю тебе десять или двадцать костюмов сразу. А то вон в каком облезлом ходишь. Да и сейчас... сейчас я тебе денег дам... На пиджак, наверно, хватит.

Фрол удивленно поднял голову.

— Да нет, ты не думай, что украл,— поспешно проговорил Митька.— Я накопил. У меня копилка есть. На огороде зарыта...

— А ну, пойдем! — Фрол грузно поднялся со стула.

— Пойдем, пойдем! — радостно воскликнул Митька.

На огороде они выкопали из земли позеленевший бочонок. Фрол взял его в руки и тюкнул камнем. Бочонок развалился. На колени Фролу дождем высыпались пятаки, гривенники, полтинники, тоже позеленевшие, ослизлые от сырости...

Митька ждал благодарности от отца, но Фрол схватил его за руку, потащил в избу. Там он ткнул Митьку в глубь комнаты, бросил на стол горсть позеленевших монет, грозно спросил у Степаниды:

— Эт-то что? Что это, спрашиваю?!

Лицо Фрола было перекошено от гнева. Митька смотрел на отца, не понимая, что с ним. Он смотрел на испуганную, прижавшуюся в угол мать и тоже не мог сообразить: чего она так испугалась?

— Ну... что же,— проговорила Степанида жалко и растерянно.— Ну, забавлялся ребенок...

— Забавлялся?! Это — забава?! — ткнул Фрол в рассыпанные по столу пятаки и гривенники. И прибавил угрожающе: — Л-ладно! Это не пройдет тебе так...

Фрол повернулся к сыну. Митька испугался, отпрянул к самой стене.

— Выйдешь, значит, в люди? — спросил он чужим, нехорошим голосом.— Не так в люди-то выходят, дурак...

Сгреб со стола монеты и выбросил их в окно, в разросшийся под окном бурьян.

Митька не знал, выполнил ли отец свою угрозу, и если выполнил, то как. Но после этого случая мать недели две ходила мрачная, неразговорчивая, пришибленная какая-то. Митька хотел обо всем расспросить ее, но не решался. Когда мать немного пришла в себя, поинтересовался только:

— А почему отец дураком назвал меня?

— Так все потому же, сыночек... Огруб он, не верит уже ни во что. А ты не обижайся. Пусть тебя считают дурачком, а ты не будь простачком.

...Потом Степанида часто повторяла ему эту присказку.

После случая с копилкой она не поступилась своей целью. Каждое событие в деревне, каждый случай она освещала сыну особым светом. Покупал кто-нибудь обнову — она говорила: «Видишь, умеют люди жить...» Случалось у кого несчастье — она усмехалась: «Дуракам-то и посередь поля тесно... Сделал бы вот так-то, и все обошлось бы. С умом жить надо...» Приезжал в колхоз кто-нибудь из района — Степанида обязательно говорила сыну: «Видишь, с портфелем похаживает. Не житье, а сплошной праздник...»

И Митька волей-неволей начинал мыслить так же. Отец по-прежнему был хмур и неразговорчив, мать добра и ласкова.

Однако чем взрослее он становился, тем ярче проступала его неуемная, озорная и щедрая натура. Он мог, например, до хрипоты спорить, что ему за какую-то работу начислено меньше, чем положено, на столько-то сотых трудодня, и тут же вызывался безвозмездно, ради интереса, как он объяснял матери, помочь кузнецу отремонтировать десяток-другой борон. И помогал день, два, три... Он мог, например, сегодня внимательно слушать наставления матери, как поступить в том или другом случае с большой выгодой для себя, а завтра сделать совсем наоборот. А на ее укоры и неодобрительное покачивание головы небрежно отмахивался: «А-а, ладно...»

А потом все чаще стал грубить матери, покрикивать на нее, огрызаться. Но каждый раз, когда нагрубит, примолкнет и день-другой ходит виноватый...

— Вот видишь, сынок...— укоризненно говорила мать, собираясь начать какой-нибудь разговор.

Но он обычно прерывал ее:

— Хватит, мама! Сам не маленький уж, понимаю...

Что он понимал, Степанида так и не могла уразуметь. И все чаще беспокоили ее невеселые думы: не напрасно ли она потратила столько сил на Митьку, не впустую ли?..

Подошло время идти Митьке в армию. Степанида проводила его с той же беспокойной мыслью — не впустую ли?

Из армии Митька вернулся бугай бугаем — рослый, плотный, чубатый. Спорол погоны с танкистскими эмблемами, стал работать трактористом. Степанида внимательно наблюдала за сыном, но теперь боялась почему-то давать ему какие-либо советы.

А Митька принялся ухлестывать за колхозными девчатами. И вроде никому не отдавал предпочтения, бродил по деревне сразу со всеми, как петух с беспокойной стаей куриц. Только Ирины Шатровой никогда не было в этой стае. Степанида почему-то заметила это. Может, потому, что ей казалось: Митька, встречая иногда внучку старика Анисима, поглядывает на нее приценивающимся взглядом. «Ну и пусть,— думала она.— Девчушка, по всему видать, не сплошает в жизни. Сейчас, правда, пустяками занимается, цветочки под окнами садит... Да ничего, подрастет —

поумнеет. И Захар, кажется, в любимчиках держит ее. Он откроет ей дорогу в жизнь...»

Но совершенно неожиданно все ее надежды испарились в одну секунду, как испаряется дождевая капля, упавшая в жаркий костер. Однажды, возвращаясь поздним вечером с поля, она услышала в придорожных кустах какой-то шорох. Сперва Степанида испугалась. Мало ли чего... Ночь темная, оборванцы-нищие в деревню захаживают... И потом обомлела вся, но уже не от страха, а от чего-то другого.

— Митя, Митенька...— прохныкал в кустах голосишко Зинки Никулиной.— Что же дальше-то будет? Ведь беременная я...

— Тихо ты! — прикрикнул Митька.— Идет по дороге кто-то...

Степанида прошла мимо как пьяная... «Вот тебе и Зинка-тихоня! Ох она, сучка тонконогая!» — думала Степанида, ощущая желание вернуться, схватить ее за волосы, вытащить на дорогу и растоптать в лепешку, растереть...

Несколько дней она бросала на Митьку гневные взгляды. Но Митька не замечал их, был по-прежнему весел и беспечен. Тогда она не вытерпела и спросила:

— На Зинке-то... жениться, что ли, думаешь?

Митька вздрогнул, залился краской.

— Ты... откуда знаешь... про Зинку?

— От матери что скроется?

Митька опустил голову, отвернулся. Чувствуя, что мать ждет ответа, промолвил:

— Да нет, не собираюсь. Не тот товар.

Заходило сердце у Степаниды от неуемной радости. Не напрасно, не впустую истратила она столько сил на воспитание сына. Вместе с молоком, вместе с ласками сумела она таки передать ему что-то свое, затаенное. Пусть не в такой мере, как хотелось, но сумела, сумела...

— Сыночек! — воскликнула она.— Это правильно ты. Всякая девка для своего жениха родится. А ты свою не отыскал еще, не отыскал... Такую ли тебе надо! Они, Никулины-то, вечно щи лаптем хлебали...

— Ну, понесла...— недовольно буркнул Митька.

— Может, помочь тебе... распутаться с Зинкой? — не помня себя от радости, спросила Степанида.

— Сам уж я как-нибудь!..

— Ничего, я помогу, помогу! Тихонечко, незаметно. Уж я позабочусь, чтоб... сама убралась из деревни да никогда не вернулась.

— А не много ли, мать, берешь на себя? — недоверчиво спросил Митька.— Как это убралась, да еще сама?

— Я приметила — стыдливая она. Это хорошо.

— При чем тут ее стыдливость?

— Не захочет сгореть от стыда — уедет.

— Ну?

— Да, Митенька! — ласково воскликнула Степанида.— Чего допытываешься, все равно это тебе не шибко понятно будет. Да и зачем оно тебе, такое понятие? Ты только не печалься. Ни об Зинке, ни об... ее дите. А чье оно, кто знает?! Мужиков полна деревня! А Зинка еще по бригадам ездит, книжки развозит... Я так сделаю, что ежели сама признается, чей ребенок,— не поверят ей...

— Да ну тебя, мать. Придумает тоже. Ничего не надо,— сказал Митька. Сказал, однако, вяло, нерешительно и торопливо, чтоб закончить неприятный для него разговор.

А Степанида, встретив как-то Устина, оглянулась, нет ли кого поблизости, проговорила:

— Устин, помоги в беде. Век благодарить буду...

— Что за беда такая стряслась? — глянул Устин на Степаниду черным глазом.

— Будто уж и не знаешь! Я толковала с Пистимеей, она обещала с тобой поговорить... Для того ли воспитывала сына? Ночей не спала, ветру дунуть не давала... Для этой ли чумазой Зинки такого парня вырастила?

— Та-ак! — И Устин крякнул.— Спарились уж, что ли, голубки? Не замечал.

— И я не замечала. Зашло у них недалеко вроде. Так ведь долго ли? А чем глубже, тем туже будет...

— А почему, если спросить... ко мне ты? Я-то что, силой их разведу? Что я смогу тут?

— Устин,— задышала беспокойно Степанида,— уж я догадываюсь, чего ты можешь, чего нет. Пистимея обещала потолковать с тобой, попросить, чтобы побыстрей ты... А ты... время идет, а ты ничего такого...

— Да что я должен делать? — прямо и насмешливо спросил Устин.

— Зачем уж эдакие вопросы? — отвела Стешка глаза в сторону.— Мы обо всем с Пистимеей обговорили, все прикинули. Стыдливая она, Зинка, молоденькая. Не выдержит, уедет. Далеко если, то хорошо. А недалече — так Пистимея, дай ей бог здоровья, обещала подумать об Зинке дальше. Чего уж... Все ведь знаешь.

— Ничего я не знаю,— холодно ответил Устин.— Ступай, а то приметит еще Фролка. А Митьку сама держи.

Степанида так и не поняла, что это значит — отказ или обещание в помощи. Держать сына, однако, надобности не было. Вечерами он уходил из дому все реже и реже, а потом вообще перестал бывать на гулянках.

Несколько раз Степаниде попадалась на глаза растерянная, с припухшими веками Зинка. Она бросала на нее странные взгляды, будто собиралась подбежать, уткнуться в плечо и зарыдать. На всякий случай Степанида поднимала на Зинку холодные,

осуждающие глаза и проходила мимо. Проходила и думала: «Перетянула, видать, пузо-то. Ишь, не заметно ничего...»

Потом младшая дочка Антипа Никулина уехала из деревни. Все говорили — от стыда за отца дочери съехали из родительского дома. «Клашка, может, и из-за отца,— думала Степанида,— а Зинка-то знаю из-за чего, от какого стыда...»

Вскоре после этого, встретив Устина без людей, Степанида сказала:

— Вот уж спасибо тебе! Вот уж спасибо!

— Здорово живешь! — небрежно промолвил Морозов.— За что это?

— Да уж догадываюсь. Догадываюсь маленько...

Морозов пошевелил бровями, вздохнул. И, помолчав, сказал куда-то в сторону:

— Сообразительная, говорю, баба ты. Пропадешь вот зазря.

— Зазря, это верно ты...— начала было Степанида.

Но Устин опять двинул бровями:

— Ну!.. По совести, ей-богу, не знаю, за что благодаришь...

И пошел своей дорогой, не оглядываясь.

Митька после отъезда Зинки из деревни снова стал похаживать вечерами на гулянья, пропадал иногда до утра. О Зинке он вроде сразу же забыл, будто и не было в его жизни этой девчонки. И ни одним словом не поинтересовался у матери, с ее или без ее помощи уехала в Озерки дочка Антипа. Степаниду это обижало даже немного. Но вся она теперь была переполнена новым беспокойством — как бы опять не спарился с кем Митька. И однажды, не вытерпев, сказала:

— Митенька... Раз бог пронес, так чтобы снова... Я к тому это...

И тут Митька взорвался, точно бочка с порохом, в которую бросили горящую спичку:

— Т-ты, мать! Чего ты лезешь всегда мне в душу?! Что бог пронес? А может, лучше было бы, кабы не пронес он?! Кто у тебя просил этой... такой помощи?

— Сыночек, сыночек! — обиженно воскликнула Степанида.— При чем я-то здесь? Ведь сам ты отодвигаться начал, бегать от нее...

— Я, может, побегал бы, да образумился?

— Чего говоришь-то? Чего говоришь? Подумай!..

Митька, наверное, в самом деле подумал, стих, замолчал. Степанида подождала немного, качнула укоризненно головой:

— С матерью-то ты как, Митенька... Я тебя в себе носила, качала-пеленала, с ложки кормила...

— Чего уж... Ладно, мама, извини...

Когда родился у Зины сын, Антип, ее отец, беззвучно похлопал глазами и ртом. И только на другой день рассмеялся:

— Хи-хи... Вот это — трансляция. А я что говорил?

И побежал к Кургановым.

— Так как же оно, Дмитрий? Землю-то перед Зинкой кто копытами раскидывал? Ну-ка, признавайся, чей грех?

— Какой еще грех, скрипун ты слюнявый?! — подняла шум на всю деревню Степанида.— Ты чего это хочешь на сына навесить? Да я на тебя в суд за клевету...

— Не шибко, не шибко стращай-то...— попробовал было огрызнуться Антип.

Но Степанида не дала ему больше и рта раскрыть.

— Н-нет, этакое бесстыдство видали, а?! — кричала она во весь голос.— Да Зинка ведь дня дома не сидела, все по бригадам таскалась. Туда везет книжки, а оттуда что? А ну-ка, отвечай! Не можешь? А люди знают... Вон, говорю, люди,— тот же Андрон, например. И другие...

Андрон, кроме своего обычного и непонятного «сомневаюсь», по этому поводу ничего не говорил. Зато Устин Морозов подтвердил, что несколько раз видел Зинку в поле и в тайге с парнями из соседних деревень. Старушонки, посещающие молитвенный дом, при случае стали плеваться: «Распутница нечестивая! Моя кума с Ручьевки рассказывает, что Зинка, как приедет к ним, книжки свои под лавку, а сама на игрища...» — «И не говори, не говори! Юрка вон Горбатенко, болтают, шибко любитель был Зинкины книжки читать. Как она приедет, рассказывают, он сразу к ней...» — «Дык и Агафья Зиновьевна с притворовской бригады говорит...» — «А я в то лето, поварихой-то когда на стане работала, уж и нагляделась на дочерь Антипа... Одному улыбнется, перед другим аж дугой выгнется. А как стемнеет, хохоточки из кусточков...»

В конце концов сам Антип начал всем жаловаться:

— Нет, все это как отцу перенести, а? От кобылица, от кобылица! То-то я все думал — отчего ноги перед сном моет... Это куда ж с такого позору деться. Как теперь главного ответственника найти, коли Зинка сразу на десятерых указать может?

— Где уж тут найдешь! — рассудительно поддакивал Андрон.— Сомневаюсь.

Обо всем этом Митька, разумеется, знал, все разговоры слышал. Мать даже сказала ему однажды: «Заставил бы Антипа принародно прощения теперь попросить у тебя». Требовать от Никулина извинений смелости у Митьки не хватило, но по деревне он ходил теперь спокойно. С матерью вел себя так, будто был у нее в долгу, хотя нет-нет да и огрызнется на что-нибудь. И Степанида не понимала, отчего так раздражает сына ее забота и внимание.

Сейчас, сложив руки на груди и поджав губы, она молча наблюдала, как Митька рассматривает себя в зеркале, и все думала об одном и том же: отчего он лается на нее?

— Как все-таки с матерью-то ты, сынок... Обидно ведь мне.

— Да я и не хотел обидеть.

Степанида поднесла к глазам фартук. Митька увидел это в зеркало, беспокойно обернулся:

— Мама...

— Ладно уж, сынок... Пей, что ли, молочко.

Митька сел за стол, подвинул к себе кружку. Поднял глаза на мать и тут же опустил их.

— Ну, хорошо, я скажу. На станцию ездил. Докторша там одна работает в медпункте, Ленка Краснова. Да ты знаешь ее — уколы прошлым летом ставить приезжала. Вот... к ней ездил. Только я ведь... не собираюсь жениться. Ну, съездил... Так, в отместку, можно сказать, одной тут...

Степанида долго вытирала и без того сухие глаза. Опустила фартук, расправила его на коленях. Когда расправляла, руки ее чуть волновались.

— Оно всегда ведь так — сборы долгие, а женитьба в один день. Рано или поздно надо будет... хозяйку тебе.— И вдруг сказала: — Доктора-то хорошо зарабатывают...

— Вот опять! — буркнул Митька.

— Так мать же я тебе, как ты понять не можешь?! Я жизнь-то знаю маленько. И, хоть обижайся не обижайся, я скажу... Раньше вот как говорили: «Муж того возом не навозит, что жена горшком наносит. С умной женой пиры пировать, а с глупой — век горевать...» А как же? Не надо забывать, сынок, про это...

— Что еще там... говаривали раньше? — спросил Митька.

— Хоть и смеешься, а скажу, что же... Еще мудрость есть: «Невеста — как лошадь, товар темный». А на тебя — не слепая я — охотниц много. Супротив тебя-то кто из парней в деревне? Никого. Тебе-то, может, и невдомек об этом, а я ведь мать, знаю. И могут тебя быстренько обкрутить, что и не заметишь. Так кто же поможет тебе жену-то вровень выбрать, если не мать? Кто посоветует?

Митька отхлебнул из кружки. Степанида притихла.

Через некоторое время Митька все же спросил, уткнувшись в пустую кружку, точно хотел спрятать туда взявшееся краской лицо:

— Так что же... посоветуешь?

— А то и посоветую... Шутка ли — доктор! У докторов от одних подарков целое богатство. Подвалило счастье — брать надо обеими руками.

Митька поставил наконец кружку на стол, прошелся бесцельно из конца в конец комнаты. Затем присел на стул, посидел, разминая пальцами папироску. Он и не заметил, как порвалась тонкая папиросная бумага, как сухой табак сыпался и сыпался на крашеный пол, на его сыроватые еще от растаявшего снега валенки...

Примерно в тот же час Захар Большаков сидел в доме Анисима Шатрова и пил со стариком чай. Ирина, молчаливая, бледная, то тихонько подкладывала председателю чайную ложку, то неслышно пододвигала фарфоровую сахарницу. Но Захар, кажется, не видел ни сахара, ни чайной ложки. Держа в ладонях горячий стакан, он часто отхлебывал из него.

Сюда Большаков завернул, возвращаясь из самой дальней бригады. Он продрог насквозь. Анисим кивнул внучке на печь, и та немедленно вытащила чугунок с горячей водой, собрала на стол.

Сегодня утром, когда Захар совсем уж собрался ехать в бригады, Борис Дементьевич Корнеев, хмурясь, сообщил ему:

— Испортил нам Митька Курганов всю обедню, кажется.

— Какую обедню? — не понял сперва председатель.

— Вроде начал Егор помаленьку вытаскивать девку. Я за этим делом внимательно слежу. А сейчас Егор туча тучей. Я было сунулся к нему — он обложил меня злым матом...

И Корнеев рассказал Большакову, что произошло у скирды между Митькой и Варварой Морозовой.

Захар выслушал все молча.

— А тут еще Иришка в рев ударилась и... Я боюсь, как бы она Варьке теперь чего не наговорила, и тогда уж...

— Иринка-то с чего? — спросил Захар, хотя тут же и сам догадался, поднял на агронома удивленные глаза.

— Ну да, мне и самому это было в изумление, когда Клавдия Никулина рассказала,— проговорил Корнеев.— А оно, если разобраться, чего же? Мы заскорузли уж, много нам не видно. Сердчишко у нее молоденькое, а Митька парень броский.

Захар сел в кошевку, укутал поплотнее ноги старой медвежьей шкурой.

— Как, кстати, она, Клавдия?

Корнеев пожал плечами:

— Знаешь же — треплют языками по деревне... Об ней с Фролом. Тоже... древний рыцарь объявился! Смех один.

— Я о другом...

Корнеев только махнул рукой:

— Чтоб в молитвенный дом — не слышно. А старушонки похаживают к ней.

— Да-а...— невесело проговорил Захар.— Ну ладно, присматривай тут. К обеду вернусь. Ни с Егоркой, ни с Варькой пока ничего такого не надо. Тут разобраться следует осторожно. Если Варька к Егору... чего же она Митьку по сопатке тогда не съездила?

— Не знаю. А должна бы, кажется...

— Вот то-то же... Тут непонятное что-то пока для меня. Ну, поглядим... С Иришкой сам попробую потолковать, если сумею.

И сейчас, прихлебывая чай, обдумывал, как удобнее это сделать.

Анисим чай почти не пил, поглядывал беспрерывно в окошко.

— Митька-то, сказывают, на работу сегодня не вышел? — спросил старик.

— Не вышел. Ему, стервецу, уши оборвать бы,— сказал Захар.

Ирина звякнула посудой, быстро встала из-за стола, отошла к печке. Анисим проводил ее краем глаза.

— Сказывают, на полустанок утром бегал он,— продолжал старик.— Недавно воротился, я в окно видел. Заболел, может?

— Больных у нас возят,— со злостью проговорил Захар.

— Ну да, ну да...— неизвестно к чему промолвил старик.

Захар отодвинул пустой стакан, поднял глаза на Ирину:

— Я вот что хотел, дочка... Мы с тобой об Варьке Морозовой как-то...

— Вы что, сговорились?! — крикнула Ирина.— Провалиться бы ей... Не буду я, ничего не буду...

И, схватив одежду, выбежала из дому.

— Ну да, ну да...— опять промолвил свое старик и неловко полез из-за стола.

...Через несколько минут Захар вышел на крыльцо, возле которого росло огромное дерево. По улице торопился куда-то Колесников. Увидев председателя, он остановился.

— А новость ты еще не слыхал? — спросил он.— Сегодня утром Варька... ушла к Егору!

— Как ушла? — переспросил Захар, чувствуя в душе облегчение.

— Известно как. Собрала платьишки в узел, да и перетащила к Егору в дом. Я как раз у Егора сидел. «Вот, говорит, пока матушки дома нету, а то не осмелюсь при ней. И чтоб, говорит, ты, Егор, не думал, что я с Митькой...— И заплакала.— С Митькой-то, говорит, отец меня силком заставлял...»

— Силком? — переспросил Большаков.— Это зачем же?

— А черт его знает! Может, женить на ней Митьку хотел. Вернутся — я расспрошу Егора поподробней.

— Куда же они уехали? — Захар подошел к кошеве.

— Да в сельсовет, регистрироваться. Едва Варька ввалилась, Егор, понимаешь, так и просиял. Не шутейно, знать, мучился мужик. И сразу ко мне: «Сходи к Фролу, попроси подводу, чтобы в сельсовет съездить...» А чего к Фролу! Я к Корнееву побежал...

— Ну?

— Твой заместитель распорядился, чтоб Сергеев машину дал...

...Колесников зашагал дальше по направлению к своей мастерской.

Захар сел в кошевку и в это время увидел Ирину. Она стояла за деревом, прижавшись к стволу. Глаза ее были красными, губы — чуть распухшими.

— Вот видишь, а ты плакала,— проговорил Захар.

— Теперь мне что, радоваться? — спросила она.

— Так слышала же...

— Ну и что же, что слышала?! Если бы все так легко и просто было! Ведь он... Как он-то мог...— Она на секунду умолкла.— Да и какое вам всем до этого дело? Какое?

И стремительно убежала в дом.

...Лошадь шла по улице шагом, и Захар не торопил ее. Он думал сейчас о Егоре, о Варваре Морозовой, о Митьке, об Ирине, о Зине. «Если бы так все легко и просто...» Да, нелегко. И непросто. Взять хоть бы этих троих — Зину, Митьку, Ирину. Уехала Зина из деревни, недоглядел. Можно, конечно, оправдаться — за всем не усмотришь. А должен, обязан. Сам-то перед собой он вину чувствовал за Зину постоянно.

Несмотря на все разговоры и пересуды, Захар был, кажется, уверен, кто виновен в несчастье Зины. «Как же так, Дмитрий?» — попробовал он однажды поговорить с Кургановым. «О чем это вы?» — удивился Митька. Удивился слишком старательно, заранее приготовившись гордо оскорбиться подозрением... «О Зине я Никулиной»,— все же сказал Захар. И Митька действительно оскорбился, тряхнул чубом: «Я даже и разговаривать не буду... чтоб не мараться об эту грязь. И тебя, дядя Захар, не марать».

Вон как ответил Митька. И пошел, понес свой чуб. «Ну, гляди, Дмитрий, шутки шутить с жизнью, отплатит она когда-нибудь тебе, за все отвесит сполна,— предупредил он Митьку.— А правду я все равно раскопаю. И тогда уж не обессудь...» Да что ему, так и унес свой чуб.

О Зине Захар за повседневными своими делами не забывал. Ощущение вины перед девушкой точило и точило его временами. Бывая в Озерках, он не упускал случая повидать Зину, заходил в редакцию. Однако она явно тяготилась этими встречами, принималась за вычитку газетных статей, всем видом показывая, что очень занята.

Пытался он и напрямик узнать правду. Однажды, зайдя в корректорскую, сказал:

— А зря ты, Зина, так ведешь себя со мной. Я что хочу? Мне надо знать, кто с тобой так... кто отец ребенка. Ведь кто-то из наших, колхозных. Я бы его, подлеца, скрутил...

— Чего вы пристали ко мне? — заплакала девушка, уронив голову на стол.— Какое вам дело до... всего? Скрутить можно... И можно, скрученного, под мои ноги положить. Да мне-то зачем он такой?

— Тяжело ведь тебе, Зина, с ребенком,— мягче сказал Захар.— Мы бы хоть алименты с того взыскивали... Сам бы, милок, без всякого суда, выплачивал.

— Не надо мне ничего... И никого. И уходите! — еще сильнее зарыдала она.— Неужели вы не видите, что мне еще тяжелее, когда вы приходите...

Да, нелегко и непросто, размышлял далее Захар. И Зине, и Егору с Варькой, и Фролу с Клавдией. И вот Ирине теперь. Одному Митьке вроде легко пока, все для него просто...

Но, как бы там ни было, Егору с Варькой должно быть теперь легче. И горе Иринки должно улечься со временем. Не такая девчушка, чтоб могла обмануться Митькой. Придет время — и кто-нибудь развеет ее горе. Как это недавно пели девушки в клубе на концерте? «Где-то счастье, словно утро, занимается, где-то ждет меня любовь моя...» И дождется. Займется счастье, разгорится. Но вот что же будет все-таки с Зиной?

В тот раз, когда она прогнала его из редакции, он, уходя, сказал.

— Я ведь знаю, Зина, что Митька отец твоему ребенку.

— Нет! Не-ет!! — закричала она, отрывая от стола мокрое лицо.

— А я говорю — Митька! — жестко промолвил Захар.— Непонятно мне только одно: почему ты скрываешь это? Почему оберегаешь его? Ведь пойми — без твоего слова я ничего не могу... не имею права сделать с ним. Любишь ты его, что ли?

Зина ничего на это не ответила, только уронила голову на стол. Острые, худые ее плечики тряслись. Затем она встала и стремительно выбежала из редакции.

«Любит»,— понял Захар. И, уезжая тогда из Озерков, всю дорогу размышлял... Странная, однако, это штуковина — любовь. По-всякому ее понимают люди, по-всякому она заставляет их поступать...

Долгое время эти мысли бродили потом в голове Захара. Сперва он удивлялся даже: вот еще, была нужда философствовать по этому поводу! Потом понял: «нужда»-то как раз была — все та же Зинка с ее нелегкой судьбой. Забрезжило неясно в голове: помочь Зинке, видимо, можно только с помощью ее же чувства к Митьке. Не зря, выходит, она так ведет себя. Она уж ничего хорошего не ждет, но бессознательно бережет в себе эту последнюю надежду, бессознательно держится за нее. И, кажется, чем ей тяжелее, тем она держится за нее крепче...

Все это, может быть, и хорошо, думал далее Захар, но ведь держись не держись, главное-то — Митька. Как ему-то, подлецу, мозги выправить? Этого Захар долгое время не знал. И только вот в последние дни, когда заговорили по деревне во весь голос об отношениях Фрола с Клашкой, у Захара неожиданно мелькнуло: а ведь можно, однако, попытаться помочь всем разом — и Зинке с Митькой, и Клавдии с Фролом. А главную помощь всем, а прежде всего самому себе, окажет... Фрол!

Кошевка остановилась уже возле колхозной конторы, Большаков очнулся, услышав:

— Заснул, что ли? — Фрол Курганов стоял, покуривая, у крыльца.

— А-а, рыцарь...— вскинул на него глаза Захар.— Легок на помине. Здравствуй.

— Кто-кто?! — на приветствие он не ответил.

— Эй, мужики! — крикнул Большаков толкущимся на улице ребятам.— Отведите лошадь на конный двор.

— Сам отведу...— Фрол взялся было за вожжи.

Но Захар тихонько отстранил Курганова.

— Зайдем в контору. Дело есть.

В кошевку навалилась куча галдящих ребятишек. Большаков поднялся на крыльцо конторы. Курганов остался стоять на снегу. И Захар не был уверен, пойдет ли Фрол следом за ним.

Председатель разделся, похлопал руками теплые бока печки, сел за свой стол. Фрола не было.

Его не было еще минут десять. Потом дверь кабинета осторожно приоткрылась.

Не снимая шапки, Курганов присел возле стены.

— Пришел все-таки? — спросил Захар.— Долго же насмеливался!

— Я просто ждал, не взревешь ли: какого черта, мол, артачишься, приказания начальства не выполняешь!

— Ты смотри, ядовитый какой,— усмехнулся Захар.— Ну, взревел бы, тогда что?

— Тогда три года ждал бы меня...

— Ну да, сидел бы и безотрывно в окно смотрел: не идет ли Фрол Петрович Курганов?

— Вон как? — промолвил Фрол.— Жальце тоже умеешь показывать.

— Да уж такого длинного, как у тебя, во всем районе ни у кого нет. Ты ужалишь — так на всю жизнь...

Фрол понял, что Захар говорит о Стешке, опустил голову.

— Больно кусает пчела, верно. А ты знаешь... что, раз ужалив, она сама подыхает?

Захар долго глядел на Фрола. Глядел и знал, что Курганов чувствует его взгляд, понимая, что Фролу тяжело сейчас поднять голову и он, видимо, не поднимет ее, пока он, Захар, будет на него смотреть. Видно, именно таких взглядов боится Фрол, защищается от них едкими, иногда очень больными насмешками, именно поэтому никогда не остается с ним наедине. Еще удивительно, как сейчас зашел в контору.

— Эх, Фрол, Фрол! — промолвил Захар.— Сними шапку-то хоть. В конторе тепло.

— Чего ты из меня... жилы мотаешь? — в два приема выдавил из себя Фрол.— Чего?! Раздави уж лучше сразу как-нибудь, чем так-то! Не чувствую, что ли...

— Сними, говорю, шапку, жарко тут. И разденься.

— Еще издеваешься?! Еще...

Щеки Курганова побагровели. Сейчас встанет, подумал Захар, плеснет, как всегда, ведро помоев в лицо и хлопнет дверью. И верно, Фрол начал подниматься.

— Раздавливать — это твоя специальность,— жестко сказал Захар.

— Заха-ар!

В голосе Фрола, к удивлению Большакова, была безнадежная просьба, даже отчаянная мольба. Однако Захар никак не реагировал на его крик.

Подождав немного, Фрол заговорил тихим голосом, опускаясь на прежнее место:

— Выдыхаюсь, видимо, в самом деле я. Теперь давить твоя очередь подходит...— Однако тут же встрепенулся, ощетинился по-прежнему.— Но... что ж, давай. Поглядим еще, чего выдавишь! Поглядим...— И, передохнув, прибавил зловеще: — Только остерегайся! Как бы я, подыхая, не звезданул тебя намертво. Как бы...

С лица Курганова лил пот.

— Знаешь что? Передохни-ка малость и приди в себя,— сказал Захар, вылез из-за стола, подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул: — Зиновий Маркович!

Минут пятнадцать, не обращая внимания на Курганова, Большаков говорил и говорил со старым бухгалтером об оплате запасных частей для тракторов и комбайнов, об установлении денежных премий на снегозадержании, об очередной выплате колхозникам денег на трудодни. Затем долго толковали о расходах по культурно-просветительной части.

— В Ручьевку куплен аккордеон, в третью бригаду — чуть не целый струнный оркестр, для клуба четвертой — дюжина портретов и картина... Эта, с медведями,— перечислял Зиновий Маркович, загибая пальцы.— Для библиотеки только в нынешнем месяце книг закуплено — страшно подумать! — на пятьсот рублей. На пятьсот! Или на пять тысяч на старые деньги. Все, больше не дам! Ни на книги, ни на пианино.

— Какое еще пианино? — спросил Захар.

— Он не знает! — воскликнул Зиновий Маркович.— Да Шатрова Ирина мне уж с самого Нового года проходу не дает — пианино да пианино... Для клуба. Уже подсчитала, к твоему сведению, сколько мы нынче истратили на книги, спортинвентарь, гармошки-балалайки. Старательно считала. Как раз, говорит, остается на пианино. А я говорю: «Разве только на цветочные семена рубля четыре найду...»

О пианино Захар действительно слышал впервые. Значит, Ирина вела пока разведку на дальних подступах, скоро надо ждать атаки...

Наконец бухгалтер вышел. Курганов за это время в самом деле остыл, успокоился. Шапку так и не снял, только расстегнул полушубок. «Ну, упрямство,— отметил Захар.— Даже в этом».

— Так вот, Фрол Петрович, о чем я хотел с тобой...— проговорил Захар медленно.— Об наших с тобой отношениях, пожалуй, кончим раз и навсегда. Не молодые уж. Что произошло — бог тому судья, как говорится... Что же, нелегко мне было. Да и тебе, вижу. Но... к старому возврату нет. Годы, годы ведь прошли, десятки лет. Все они перетерли, как жернова. Это первое...

— И второе есть?

— Второе — об сыне твоем, Митьке.

— Значит, и он тебе дорогу перешел? — недобро ухмыльнулся Курганов.

Захар неожиданно для самого себя вскипел, сжал кулаки:

— Черт возьми! Я, говорю, свое уже отжил почти, мне уже дорогу переходить некому и незачем... А вот другому кому-нибудь... Ты что, хочешь, чтоб он на тебя походил?

Захар кричал, зная, что на Фрола кричать — все равно что в огонь лить керосин. Но не мог сдержать раздражения. Однако, к удивлению, Фрол не поднялся на дыбы.

— Что ж, это ты верно,— промолвил он, отворачивая глаза: — Кобель вырос.

— Так кто же его вырастил таким?

— Кто вырастил? — переспросил Фрол.— Кто? — И усмехнулся.— Чего теперь об этом...

Курганов сидел, уткнувшись глазами в пол. Захар смотрел не отрываясь на черный пластмассовый чернильный прибор, точно хотел дождаться, когда он побелеет.

— А ведь, наверно, Фрол, ты думал часто: «Вырастет сын, и все хорошее, что во мне есть...» — тихонько начал говорить председатель. Он оторвал взгляд от чернильного прибора и продолжал: — Есть же в тебе что-то хорошее... И чувствую — немало. «Да, вырастет — и все это хорошее заиграет в нем, заискрится». И ты, сдается мне, не раз в мечтах-то думал: «Сын лучше меня проживет жизнь. Вернее. Красивее. Полезнее. И все, что я не сумел...»

Захар умолк, потому что Фрол, резанув его взглядом исподлобья, начал поднимать голову. Но когда поднял, его глаза вдруг потухли, сделались безразличными какими-то.

— Ты... ты...— И горло Курганова перехватило, остальные слова где-то застряли.

Горло сдавливал, очевидно, воротник синей рубахи. Фрол расстегнул его. И только тогда продолжал:

— Ты что... рядом со мной на увале стоял, а?!

— На каком увале?

— Ты что... мысли мои... чужие мысли умеешь подслушивать, что ли?!

Захар обеими руками чуть в сторону отодвинул чернильный прибор, точно он ему мешал.

— Так ведь всякий отец так... примерно так думает о своих детях. Надеется на них...

Фрол сидел теперь прямо, сильно вытянув шею, будто хотел получше расслышать слова председателя. Но Захар больше ничего не говорил. Немножко подождав, Курганов нахохлился, застегнул полушубок, поглубже нахлобучив шапку, закрылся весь, наглухо.

— Что ж, и я надеюсь,— сказал он, не глядя на Большакова.— Митька еще покажет себя.

— Уже показывает. По деревне разное болтают про него. В том числе — будто бы он и с Зинкой Никулиной... Это тебя никогда не беспокоило?

— Нет, не беспокоило,— с насмешкой отозвался Фрол.

— А меня что-то тревожит.

— А ты не слушай бабьих сплетен.

— Хорошо, если сплетни.

— Поехал бы да спросил у самой Зинки.

— Спрашивал. Нет, что ли, думаешь?

— Ну? — Фрол все-таки насторожился.

Захар внимательно поглядел на него.

— Значит, сплетни? — спросил он вдруг.— Ты в этом крепко уверен?

Фрол шумно встал, всем своим видом показывая, что собирается уходить.

— Уверен. Я с Митькой говорил. Какой он там ни на есть, а врать не будет. Не приучен вроде к вранью. И Клавдия ничего толком не знает, кроме таких же сплетен. А уж Клашке-то, сестре своей, открылась бы, поди, Зинка, если тебя постеснялась... Вот так. А на Митьку, что же, удобно все валить. Ну, спасибо, что удостоил беседы. Первый раз за всю жизнь.

— Это ты меня удостоил, Фрол. Тебе спасибо.

— Ладно, не будем считаться. Пошел я. Тяжело мне с тобой говорить.

— Самое тяжелое, об чем я хотел, еще впереди,— сказал Большаков.

Курганов чуть не с минуту стоял недвижимо, как столб. Затем поднял руку и все-таки стащил с головы — медленно, словно обреченный,— шапку.

— Ну... говори! — раздельно произнес он, поворачиваясь грудью к Большакову. Губы его, жесткие, пересохшие, изломались.— Я ведь знаю... с самого начала знал... об чем ты хочешь. Давай стыди. Сын кобель, и ты, мол... рыцарь. Слово-то какое! Еще бы, дескать, на восемнадцатилетнюю девчушку какую-нибудь рот разинул. Еще бы... Э, да что! Меня стыдить — можно. И, наверное, надо. И каждый имеет право. Жена, сын, ты... все люди. И я сам... Сам себя! И стыжу! И казню! Это, может, пострашнее... и побольнее, когда сам себя... А только оно — что?

Кабы я мог... Кабы кто знал, что в душе-то у меня... Вот ты, Захар, мысли чужие умеешь читать...

— Не умею, к сожалению,— сказал Захар. Сказал затем, чтоб прервать Курганова. Захар чувствовал, почти видел, что каждое слово, прежде чем сорваться с перегоревших губ Курганова, словно ворочалось где-то внутри этого огромного, нескладного человека, долго перекатывалось, тяжелое и острое, как осколок гранита, царапая и раздирая самые больные места.

Едва раздался возглас Большакова, Фрол умолк. Дрожащими руками он ухватился за спинку стула. Но присел на самый краешек.

Но и жалкий, обессиленный, он поглядел на Захара не с благодарностью за облегчение, а с неприкрытой ненавистью и упрямо произнес:

— Что же... додавливай. Твоя, говорю, очередь.

Но Захар сделал вид, будто не заметил его взгляда, не расслышал его слов.

— Да, не умею, к сожалению, читать чужие мысли, Фрол,— продолжал он, стараясь не глядеть на Курганова.— Однако что у тебя в душе происходит, понимаю, догадываюсь. И что ж... жалею...

— Жалостливый какой...— шевельнулся было Фрол.

Но Большаков поднял руку, попросил:

— Ты погоди, успокойся. Ведь через силу хочешь вызвать гнев. У тебя уж нет его, а ты хочешь показать, что есть. А зачем?

Фрол дважды открыл и закрыл спекшиеся губы — не то намеревался и тут же раздумывал что-то сказать, не то просто глотал воздух.

— Ты знал, что я о Клавдии хотел поговорить с тобой... Знал, что не сладкий разговор будет,— и все-таки зашел,— продолжал Захар.— Почему?

Фрол молчал.

— Ну, чего же ты? Не можешь ответить? Тогда я попытаюсь...

— Давай...— мотнул белой головой Курганов.

— Потому, видно, что сам чувствуешь — не туда занесло тебя. И несет все дальше, вглубь. Сам выбраться уже не можешь. И утонешь. В одиночку не выплыть.

— Плакать, что ли, кто будет? — враждебно проговорил Фрол.— Жалко тебе меня станет?

— Самого себя ты не жалеешь, это я знаю,— сказал Захар,— но... о Клавдии беспокоишься. Она ведь, ты понимаешь, вместе с тобой пойдет ко дну. Вот и зашел в надежде, не окажут ли помощь...

Большаков, говоря все это, глядел теперь на Фрола, пытаясь поймать его взгляд. Однако Курганов не поднимал головы.

— Ну, что ты молчишь? — спросил председатель.— Так или не так?

Фрол встал, повернулся к окну, почти загородив его все широкими плечами.

— А может... не утонем еще. Счастье, что ли, нам заказано с Клашкой? Что с того, что я... чуть не вдвое старше ее? Десяток-другой годков еще похожу по земле. Тоже время... Нам для счастья хватит...

Фрол держался обеими руками за подоконник. Держался так крепко, что пальцы его побелели.

— А Степанида? А Митька? Ему тоже счастье не заказано. А если...

— Что «если»? — обернулся Фрол. По лицу его шли снова багровые пятна.— Что ты учишь меня?! Ну... беспокоюсь о Клашке, угадал, черт тебя побери! И зашел... Выслушал вот. Все правильно ты говорил тут! А к Клашке, если примет, уйду, понятно?! Всю жизнь я делал не то, что хотел бы... Всю жизнь был один. А теперь нас будет двое! Двое!! Уйду! Что мне Митька? Что Стешка?.. А-а...

Фрол взмахнул рукой и ринулся к двери.

— Нет, стой! — воскликнул Захар, поднимаясь из-за стола.

— Ага, все-таки взревел по-командирски! — тоже крикнул Фрол.— Ну, давай послушаю до конца. Больше у нас с тобой, видно, все равно разговора никогда не получится.

— Вот это-то и плохо, Фрол.

— А я так думаю — ничего.

— Нет, плохо,— повторил Большаков.— Эх, Фрол Петрович... какая кошка нам с тобой дорогу перебежала?

В голосе председателя было что-то такое, что обезоруживало Фрола.

А Захар продолжал:

— Ну, когда-то были молодыми, зелеными... Но потом ведь повзрослели, поумнели маленько. Тебя к тому же война обкатала вон, обучила. Всякого насмотрелся, поди, на фронте, узнал, почем ценится человеческая ненависть и человеческая дружба. И я думал: что бы там ни было раньше, но теперь-то ужо сойдемся, пойдем плечом к плечу. Та же война показала — плечо у тебя надежное...

— Ты не был рядом со мной на войне. Так что гляди, как бы не ошибиться в надежности.

— Нет, Фрол, не ошибаюсь... Хотя и не был на фронте. Но... плечо твое по-прежнему далеко. Не обопрешься.

— Сам крепко стоишь,— буркнул Фрол.— Да и другие есть плечи... А в общем — надоело мне. Все, что ли, выложил?

Большаков еще раз оглядел могучую, неуклюжую фигуру Курганова.

— Осталось немного, Фрол... Но осталось самое главное. Осталась Клашка.

— Об ней уже говорено.

— Да нет. Еще и не начинали.

— Так начинай тогда, чтобы тебя паралич разбил! — снова начал раздражаться Фрол.

— Ты знаешь, что ее баптисты в свои сети затягивают? — спросил спокойно Захар.

Курганов вскинул голову.

— Что? Клашку? — И усмехнулся.— А тебя они еще не пробовали охмурить?

— Ты напрасно смеешься. Никулина уже в молитвенный дом ходила.

— Это Клавдия-то? Да ты... в своем уме?! — воскликнул Фрол. Однако на крупном лице его теперь сквозь усмешку явственно проступило беспокойство.

— Я-то в своем. А вот ты... ты ее прямо в эти сети и толкаешь...

— Я... Я?! — Фрол растерялся.— Ну, знаешь!.. Не много ли на себя берешь?! Митьку в чем-то обвиняешь, меня... Прокурор выискался!

— Я никого не обвиняю. Я пытаюсь объяснить тебе...

— А что мне объяснять?! Что меня убеждать в том, чего нет?! Зачем меня, как мальчишку, тыкать... Да и вообще... Я сказал — уйду к ней. И какое, в конце концов, твое дело?! Ты живешь — и живи. А я уж как знаю...

Разбушевавшись, Фрол кричал все сильнее, все бессвязнее. Захар давно сидел за своим столом, глядел на Курганова с жалостью. Видимо, Фрол увидел наконец этот взгляд и постепенно утих. А Захар все глядел, глядел на Курганова. Так прошло минуты две-три.

— Ладно, Фрол, кончаем,— устало произнес Захар.— Сейчас ты вроде ничего не в состоянии понять. Но я тебе все-таки скажу... Потому что, в самом деле, вряд ли еще когда удастся все высказать с глазу на глаз. Я тебе скажу, а ты потом... когда придет к тебе разум, все переваришь и, я верю, поймешь. Ты поймешь, какую ты заварил с Клавдией кашу, куда ты ее затащил. Судьба у женщины не сладкая. Может, такая судьба, что горше и не бывает. Всю жизнь без мужа, который то ли был, то ли не был... Но она помнит, что был. И ждет, почти двадцать лет хранит себя для него... Видать, для счастья был рожден человек, а его, счастье это, отобрал кто-то. И вот... Чего же, истерпелась вся, изошла слезами. Ни ты, ни я не знаем, сколько она этих слез вылила... И вот показалось ей, что хоть на закате бабьих дней можно... этот голод, что ли, нестерпимый обмануть... Отогреть немножко душу...

— Зачем обманывать,— проговорил Курганов.— И зачем немножко? На ее век у меня хватит тепла.

— Нет, Фрол,— покачал головой Большаков.— Тепла-то, может, и хватит... хватило бы, коли ты одинокий был. Но у тебя жена, а самое главное — Митька, сын. Если ты даже уйдешь к Клавдии, то ненадолго.

— Ты провидец прямо. Прошлое объясняешь и будущее предсказываешь.

— Не предсказываю, а кажется мне так. Протрезвеешь — увидишь, что губишь бесповоротно Митьку. У него и так мозги набекрень съезжают, а тут и вовсе набок поползут. И бросишь Клавдию. Митьку этим уже не спасешь, а Клавдию растопчешь окончательно. Тогда-то и подберет ее Пистимея.

— До конца выложился? — спросил хрипло Курганов, когда Захар умолк.

— Нет,— подумав, сказал председатель.— Ответь мне честно, Фрол Петрович: хочешь ты счастья для Клавдии?

Курганов только окатил Захара лихорадочным взглядом.

— Тогда,— не обращая на этот взгляд ни малейшего внимания, продолжал Большаков,— постарайся уберечь ее от Пистимеи.

— Что ж, уберегу. Вот сойдемся...

— Нет, только не этим способом.

— Тогда как же?! — почти застонал Фрол.— Тогда как же?!

— Не знаю, Фрол. Но ты можешь. Может быть, теперь ты можешь это один на всей земле...

Курганов, не в силах больше находиться один на один с Большаковым, резким ударом ладони распахнул двери...

...И все-таки еще одно событие произошло за эти дни, пока Устин и Пистимея Морозовы были в Озерках.

Клавдия Никулина после того вечера, как заявился к ней Фрол Курганов, боялась выходить на улицу. Прежде чем выйти, она по нескольку раз выглядывала в каждое окно, словно высматривая, свободен ли путь. А по деревне всегда пробегала торопливо, зорко поглядывая по сторонам: нет ли где поблизости Фрола Курганова?! И если замечала его, мгновенно ныряла в переулок или заскакивала в первый попавшийся дом, так и не объясняя вразумительно хозяевам, по какой же надобности завернула.

Когда же разминуться было нельзя, она отворачивалась и, чувствуя, как начинало колотиться сердце, прижимала его левым локтем. В такие минуты она сжигала себя собственным презрением.

Но если днем еще так и сяк, то вечерами наступало самое мучительное. Вернувшись с работы в свой пустой, холодный, неуютный домишко, она обычно долго сидела в темноте не раздеваясь, слушала, как тупо стучит в голове кровь.

И какие же в эту зиму были длинные ночи! Клавдия иногда до самого утра лежала на спине не шевелясь, ощущала, как изнутри горит все ее тело, растянувшееся под одеялом, как от этого жара морщится, стягивается и будто лопается кожа на груди, на животе, на бедрах. В такие минуты она снова казнила

себя своим же собственным презрением, а к телу боялась прикоснуться. А если касалась случайно рукой груди или бедра, вздрагивала и брезгливо морщилась.

А иногда приходило, накатывалось вдруг неодолимое желание взглянуть на себя в зеркало. Она вскакивала, плотно закрывала ставни, задергивала плотно занавески. Сбрасывала с себя всю одежду и становилась перед зеркалом. Оттуда на нее удивленно и восторженно смотрела полная, хорошо сложенная, вроде еще не старая женщина. Клавдия гладила себя по груди, по животу... Но женщина из зеркала начинала вдруг хмуриться, взгляд ее коричневых, окаймленных уже густыми морщинками глаз становился все более осуждающим... Клавдия до пронзительной боли стискивала зубы, со злостью поворачивала выключатель, срывала со стены портрет Федора в березовой рамке, падала на кровать. Она прижимала этот портрет холодным стеклом к своей горячей груди и тихо плакала обильными, горькими слезами. Стекло нагревалось от ее тепла, и она, наплакавшись, тихонько засыпала.

Клавдия думала иногда, что, если бы кто увидел, кто узнал, что она спит вот так, с прижатым к груди Федькиным портретом, никто бы не понял, что ей становится от этого легче. Ей тогда некуда было бы деться от насмешек.

Но чаще всего, лежа на спине без сна, она думала о Фроле Курганове. Она ни о чем не мечтала, просто лежала и думала. Спохватываясь, начинала отгонять эти думы, убеждая себя: «Ведь он старик... старик, седой весь. И женатый... сын вон какой у него. Дура я, поганая, гадкая дурища...» Она закрывалась с головой одеялом, пыталась думать о Федоре. Но Фрол все равно лез в голову, угрюмый, беловолосый, старый... Но глаза его, усталые, много повидавшие, были молодыми, печально-ласковыми и... жалеющими ее, Клавдию. И не было ничего обидного в том, что они жалели ее. Обычно Клавдия раздражалась, у нее портилось настроение, когда бабы жалели ее за тяжелую долю, вдовью ли, девичью ли — она и сама уже не знала. Но глаза Фрола жалели не так. Они светились глубоким, мягким, исцеляющим каким-то светом. И если бы в такие минуты Фрол оказался рядом, она, Клавдия, забыла бы все. Она закрыла бы глаза плотно-плотно, чтобы случайно не увидеть чего-то (может, Стешкиных глаз), что остановило бы ее, она запрокинула бы голову и кинулась к Фролу...

Но Фрола не было. Клавдия, пошатываясь, сползала с кровати, брала со стены портрет Федора, ставила его на стол и, присев на табурет, спрашивала:

— Феденька! Феденька... Что мне делать? Что делать? И где ты? Где? Живой или мертвый? Умом понимаю — не вернешься теперь уж... А сердце шепчет иногда — живой ты, живой, не мог погибнуть... Так что же мне делать?! Помоги мне, останови, убереги...

Федор молчал. Он смотрел на Клавдию радостно и счастливо, как в тот день, когда Клавдия заставила его в Озерках, куда они приехали покупать свадебные подарки, зайти в фотографию...

Клашка опрокидывала портрет, роняла голову на мягкие пухлые руки и тяжело рыдала...

...Утром, когда Митька побежал на станцию, Клавдия столкнулась с Фролом неожиданно. Она забыла на минуту о своей предосторожности, шла по улице и думала об Иринке Шатровой: как-то она оправится теперь от горя, не свернется ли ее душа, как лепесток в кипятке? И зачем только на свет рождаются такие, как Митька, этакие козлы двуногие!

Но вдруг она вскинула голову и попятилась — Фрол стоял перед ней и глядел на нее виноватым взглядом:

— Здравствуй, Клавдия...

Она перестала пятиться. В лицо ей пахнуло, как от раскаленной печи. Она опустила голову, чтобы спасти, что ли, глаза, качнулась вперед, намереваясь проскочить мимо Фрола и бежать, бежать без оглядки. Но проскочить не удалось, он схватил ее за рукав. Не схватил, а чуть дотронулся, но какая разница... У Клавдии все равно не хватило сил вырваться. Их хватило, чтобы только прошептать смущенно и испуганно:

— Чего ты?.. Чего?! Люди ведь...

— Да я вот что хотел... Слышь, Клавдия...

— Нет, нет...— пошевелила она губами. Только пошевелила, потому что голоса у нее уже не было.

— Я... сегодня вечером... приду.

— Не надо,— крутила она головой и опять пошевелила губами.

— Я сам знаю, что не надо,— промолвил Фрол.— Так... слышишь...

Клавдия не слышала. Она рванулась всем телом, точно ее держали в цепях. Цепи лопнули, и она побежала.

В эти дни огородницы готовили уже семена для посадки. У них был свой небольшой отапливаемый складик для семян, где несколько женщин, рассыпав по столу огуречные семена, сортировали их, ссыпая в литровые банки из-под варенья. Когда вбежала Клавдия, женщины с беспокойством поглядели на нее.

— Клашенька! Да на тебе лица нет! — сказала одна из них.— Захворала никак?

— Вот... нехорошо вдруг стало... Дома еще ничего было...

— Ложись-ка. На пол, что ли, вот сюда, к печке...

Клавдия легла на расстеленные полушубки. Женщины укрыли ее чем-то сверху.

— Может, в больницу?

— Не надо... Отлежусь,— сказала Клавдия.

Через полчаса она действительно встала. И до вечера провозилась с семенами.

Уже стемнело, уже давным-давно ушли женщины. А Клавдия, не зажигая электричества, все еще сидела за столом, положив руки прямо на кучу семян, не решаясь идти домой. В небольшое оконце она глядела, как вспыхивают огни в домах, как они разгораются все ярче и ярче в сгущающейся темени, разлиновывая поперек широкую улицу желтыми полосами. В этих полосах мелькали иногда люди. Вот, сгорбившись, тыкая вокруг себя костылем, прошел Анисим Шатров. Проехал на санях Андрон Овчинников, широко прошагал куда-то Егор Кузьмин. Пробежала, оглядываясь, словно за ней кто гнался, Ксенька Лукина. Когда оглядывалась, косички ее с ленточками на концах болтались, хлестали по плечам. Потом она остановилась возле телеграфного столба. Глазенки ее возбужденно блеснули, и Клавдия поняла, что Ксенька смеется. Постояв немного, она юркнула в темный переулок. А к столбу подбежал Мишка Большаков. Он растерянно огляделся кругом, привалился к столбу спиной, отдыхая. Затем оттолкнулся от столба и пошел вдоль улицы, минуя переулок, куда шмыгнула Ксюха. А Ксюха выбежала из темноты, поглядела вслед Мишке. Подняла с дороги смерзшийся комок снега, начала подбрасывать его и ловить, как мячик. Побросав, откинула в сторону, погладила столб и тихонько, задумчиво пошла назад.

Клавдия чуть улыбнулась, вздохнула. И продолжала глядеть на полосатую дорогу. Люди проходили по ней все реже и реже. Иногда в течение часа, а может, и больше улица была пустынной.

Наконец окна стали гаснуть одно за другим. «Что же делать? Что делать?» — с тоской подумала Клавдия и опустила голову на вытянутые руки.

Когда подняла ее, улица была совершенно темной. Кое-где еще горели, правда, одиночные огоньки, но они не рассеивали уже темноты.

«Ну и пусть! Ну и пусть! — чуть не вскрикнула она, вскочила, накинула пальтишко. Торопливо принялась искать на шкафчике у дверей замок.— И пусть... Я пойду, пойду...— думала она лихорадочно.— Надо было давно идти мне, дуре. Ведь подождет-подождет на пороге у крыльца, да и уйдет... Чего уж теперь ждать Федьку, для кого беречь себя?.. Э-э...»

Клавдия думала об этом и сама презирала себя. Но именно потому, что презирала, думала с еще большим ожесточением и упрямством: «И пусть! Пускай говорят обо мне, что хотят... Пускай Стешка лопнет от ревности, от горя...— Не видела она еще с ее, с Клашкино, горя-то, не перенесла столько муки.— Лишь бы не ушел, лишь бы дождался...»

Она выскочила на улицу, побежала к своему дому. Бежала, позабыв застегнуть пальтишко, запинаясь, ничего не видя перед собой.

— От безглазая! — крикнул ей в лицо Митька Курганов, когда она чуть не сбила его.— С чего это сорвалась, спрашивается? Растрясешь ведь жир-то эдак.

Митька стоял на дороге, покуривая папироску.

— Митя? Митька...— промолвила растерянно Клавдия.— Ты извини уж, не заметила. Поздно гуляешь... Извиняй, говорю.

— Ладно,— усмехнулся Митька.— Хорошо, что мягкая такая. А то могла ведь раздавить... влюбленного человека. Сколько бы слез пролила одна образованная женщина...

Клавдия побежала дальше. Однако ноги ее с каждым шагом словно наливались свинцом. «Влюбленного человека... влюбленного человека...» — звучали и звучали у нее в ушах два Митькиных слова.— А я разве влюбленная?»

Ей стало страшно чего-то. И все ее лихорадочные мысли, эта ее поспешность казались нелепыми. И сама себе она снова казалась мерзкой, грязной, противной. «Да, он ушел, конечно. Подождал и ушел. Господи, хоть бы ушел... Или Пистимея пришла бы сейчас, помешала бы...»

Клавдия шла теперь медленно, еле переставляя ноги. Так же медленно она открыла калитку, медленно зашла в залитый лунным светом двор. Возле дома вроде никого не было. «И слава богу... И хорошо... И хорошо...» — подумала она, тут же чувствуя, как тоска разливается в груди, зажимает, словно в тиски, ее сердце.

Хрустнул где-то снег, возле сараишка в густой, чернильной темноте замаячила тень.

«Ну вот... Ну вот!» — со страхом подумала Клавдия, не понимая и не пытаясь понять, что значит это «ну вот».

А тень подошла к Клавдии и проговорила голосом Фрола Курганова:

— Я перемерз весь. Пустишь, что ли, в дом?..

Она не ответила. Фрол подождал и сказал:

— Понесет кого-нибудь черт по дороге. Дай ключ, я открою.

И тогда Клавдия подала ему ключ.

Фрол отомкнул замок, зашел в сенцы и оттуда сказал:

— Чего же стоишь там? Клавдия!

Она вздрогнула, точно ее вытянули плетью, повернулась и шагнула к крыльцу.

Дверь в комнату ей открыл Фрол. Она зашла, привалилась спиной к стене. Фрол включил электричество. Снял полушубок, кинул на лавку.

— Перемерз я,— сказал он опять и приложил руки к теплой еще печке.

Потом оба молчали. Клавдия все так же, вытянувшись, стояла возле стены, вскинув голову, глядела куда-то перед собой и ничего не видела.

— Клавдия... Ты прости меня, старого дурака,— попросил Фрол.

Клавдия вытащила из пальтишка одну руку, затем другую. Пальто упало к ее ногам. Фрол нагнулся, поднял его и повесил.

А Клавдия, все так же глядя невидящими глазами куда-то мимо Фрола, подняла руку, потащила с головы шерстяной платок. Рука ее упала вдоль тела плетью, легкий платок вывалился из пальцев. Фрол поднял его.

— Клавдия... Я сегодня у Захара был. Он говорит — не надо. А я вот пришел...

Клавдия ничего не слышала. Она всхлипнула раз, другой, третий. Оторвалась от стены, качнулась и уткнулась горячим лицом в широкую Фролову грудь.

— Федя-то... Федя-то что скажет... если вернется? — вздрагивая плечами, почти выкрикнула она.

Фрол обнял ее неумело, подумал и сказал:

— Если хочешь, Клавдия, я хоть завтра... перейду к тебе. Или чего там... вот сейчас останусь — и с концом. Всем назло — и Стешке, и Митьке... и ему, Захару...

— Что скажет Федя, когда вернется?.. Что скажет?! Что скажет?! — глотая слезы, без конца повторяла и повторяла Клавдия.

Глава 29

Из Озерков Устин и Пистимея вернулись к вечеру. Ни тот, ни другой за всю дорогу не проронили ни слова.

Возле ворот своего дома Устин вылез из кошевки. Пистимея сняла с себя тяжелый тулуп, подала его мужу и, оставшись в стеганом пальто, поехала на конный двор сдать лошадь.

Устин грузно взошел на крыльцо, толкнул дверь. Ему никто не ответил. Увидев на дверях замок, в привычном месте нашарил ключ.

В избе кинул Пистимеин тулуп, бросил на стол папку, подаренную Демидом. Снял свой тулуп, тужурку, сел на скамейку, стащил валенки и о чем-то задумался, глядя перед собой в одну точку.

Он не слышал, как застучались в сенях, не видел, что кто-то вошел. Опомнился, когда Юргин крикнул над ухом:

— Здорово! Отлечил болезни свои?

Устин не ответил ни на приветствие, ни на вопрос Юргина. Он встал, взял со стола папку, отнес ее в свою комнату. И, только вернувшись, сказал:

— Рассказывай, что тут... как тут? Все подробно.

— Хе...— протянул «Купи-продай».— Подробностей много. Оч-чень хороших. Варька вот твоя... к Егору ушла.

— Зачем? — спокойно спросил Устин. Но тут же до него что-то дошло, он вскинул тяжело брови.

— Так за этим самым... Как Антип говорит, пойдут теперь девки-мальчики. В сельсовет уже съездили. Насчет, значит, бракосочетания.

— Что-о?! — надвинулся на Юргина Устин. Потом отшатнулся, задышал громко, с хрипом.

Юргин помолчал-помолчал и проговорил:

— А также Фролка Курганов к Антиповой дочке. В общем, молодух полна деревня. Насчет свадеб только что-то не слышно...

На этот раз Устин не удивился, дернул лишь углом заросшего рта.

— А что было-то, что было! — продолжал Юргин почти восторженно.— Стешка заревела на всю деревню, как корова. Митька было на отца с кулаками — тот ему в рыло. Митрий и уполз домой. Стешка — к Захару, к Корнееву, заколотилась в конторе об пол. Они ей стакан с водой в рот выливают. Один Антип весело ходит по деревне, поддергивает штанишки: «Эт-то так, это — трансляция...»

— Заткнись! — оборвал его Устин.— Об деле, если есть что, говори.

«Купи-продай» понял с полуслова.

— А что об деле... Слух идет — снимать хочет Захар тебя с бригадиров.

— Как это снимать?

Вопрос был глупый, ненужный. И все остальное тоже глупо. Ну зачем вообще расспрашивать об этом Юргина? Как будто сам не знает.

Но все же Устин повторил свой вопрос:

— Как это снимать?

— А так... как штаны снимают на ночь, чтобы удобней спать.— Юргин аж подпрыгнул от злости.— Другого-то поставит — обломится что в карман, расставляй пошире. С голоду подохнем.

— Наворовался, поди, хватит.

— Хе! — Юргин презрительно усмехнулся и насмешливо кивнул за окно.— Ты ей это, Пистимее, скажи. Может, она и подтвердит твою резолюцию.

— Кого же вместо меня... намечают? Не слыхал?

— Как не слыхать! — опять подпрыгнул Юргин. И добавил, изливая всю свою желчь: — Мою фамилию называли, да передумают, однако, на Фролку Курганова променяют...

— Все шутишь?

— Какие шутки, когда по деревне об этом только и разговору!

По выражению лица Юргина, по едким интонациям в его голосе Устин, хотя и не сразу, понял, наконец, что речь действительно идет о Курганове.

— Постой, постой... Это после всего того... после того, как Фролка с Клашкой?! Его — в бригадиры?!

— Так это и чудно людям. Об этом и судачат по всему колхозу.

— Понятно. Ступай,— сказал устало Морозов.

Пистимея долго не возвращалась. Устин сидел и, ни о чем не думая, глядел в темнеющие окна.

Потом пришло на ум, что жена, наверное, узнала уж насчет Варьки и побежала к Егору. Егор живет далеко, на самом конце села, долго проходит. Да еще сколь там задержится...

...Пистимея пришла почти через час, кинулась было к нему со слезами...

— Устинушка, Устинушка...

— Еще чего! — холодно сказал Устин, отстраняясь.

— Да что же это за напасти на нас? Варька-то?..

— Ты же сама хотела от нее избавиться,— безжалостно промолвил Устин.

— Устин, как язык твой поворачивается...

Тогда он проговорил с насмешкой:

— А до меня доведись... Я бы на Варькином месте давно ушел... Вот что.

— Так ведь этак... кусочек по кусочку... Ведь страшно становится...

— Отчего это страшно так тебе?

Но Пистимея теперь не отвечала. Она уже стояла на коленях и торопливо шептала молитву.

...На следующее утро Устин долго не решался выйти на улицу. Все ждал почему-то, не придет ли кто — Фрол Курганов, может быть, или хотя бы Антип Никулин.

Наконец не выдержал, оделся, вышел во двор. Потоптался возле крыльца, послушал, как хрустит снег под ногами. И побрел на конный двор. Там, наверное, должен быть сейчас Курганов. Но зачем ему Фрол, он и сам не мог бы сказать. По дороге Устину встретилось несколько колхозников. Все они здоровались с ним как ни в чем не бывало. Только один остановился и спросил:

— Так что же это, Устин?.. Варька-то — это что же?

Устин молча прошел мимо.

Фрол был на конюшне. Он чистил в стойлах, выбрасывал вилами теплый еще навоз на проход.

Устин присел у дощатых ворот конюшни на кучу затхлого, полусгнившего сена, на которой позавчера лежал Смирнов. Фрол перестал бросать навоз, однако молчал.

— Что, и почистить в конюшне некому? — спросил Устин.— Зачем сам чистишь? Хотя скоро на другую работу перейдешь. Тебя, говорят, в бригадиры Захар хочет. Вместо меня, значит. За какие такие заслуги?

Фрол и теперь ничего не сказал, молча принялся за прежнее дело.

Устин несколько минут смотрел на него с нескрываемым презрением. И вдруг, несмотря на строжайшее предупреждение Демида даже насчет намеков, тихонько спросил:

— А вот интересно мне — об Демиде Меньшикове помнишь? Тот твои заслуги знает.

Фрол на какое-то время застыл в согнутом положении.

— Помнишь, стало быть,— усмехнулся Устин.— А я думал — напоминать надо.— И еще ухмыльнулся: — А коль помнишь — ничего, не обомлеешь, если... носом к носу когда сойдетесь?

Курганов со звоном отшвырнул вилы, шагнул к Устину. Морозов начал было вставать ему навстречу, но в это время у ворот послышались шаги, в конюшню вошел Захар Большаков.

— Запряги мне коня... жених,— сказал председатель Курганову.— Надо в Ручьевку съездить.— И в это время заметил Устина и обернулся: — А-а, вот он где. Я думал, в контору все же зайдешь.

— Зачем? — пожал плечами Устин.— Теперь-то зачем? Слышал ведь — с бригадирства снимаете.

Фрол вывел из самого крайнего стойла рослого жеребца. Захар и Устин остались одни. Морозов по-прежнему сидел на куче полусгнившего сена, опустив голову, смотрел на свои валенки, подшитые автомобильными покрышками.

Захар засунул руки глубоко в карманы старенького, потертого полушубка...

— Да хотя бы поинтересовался, почему снимать тебя собираемся.

Морозов скривил губы и спросил:

— А почему? Что коня угробил?

— Нет, не потому... Хотя и конь... Да нет, не поймешь ты.

— Отчего же...— глухо откликнулся Устин.— Что я, цыпленок глупый, не соображаю? Этот проклятый конь — повод только. Настоящие причины объяснять долго. Всю жизнь ты относишься ко мне с подозрением, не веришь, понять не можешь. И потому, что не можешь, убираешь с дороги. Так тебе спокойнее... Да поглядим, что еще члены правления скажут. Кроме этого коня, и доводов никаких у тебя нету, зацепиться не за что. Так или не так? Работал я, может, и не шибко хорошо, да не хуже других. Чего молчишь? Так или не так, спрашиваю?

Председатель еще некоторое время разглядывал Устина молча. А затем резко сказал:

— Ну-ка, подними голову!

У Морозова качнулась только борода.

— Поднимай, чего же ты!

Однако на этот раз Устин даже не шевельнулся.

— Боишься, значит? — еще резче проговорил Большаков.— Так чего же захныкал — «не веришь», «понять не можешь», если настоящие причины сам знаешь?

— Что я знаю? Ничего я не...— попытался было возразить Устин, однако увидел суровые глаза председателя, беспомощно умолк.

— Вот то-то и оно,— сказал Захар.— Но возьмем хотя бы и этот довод — коня. Объясни вразумительно, почему насмерть загнал? Что за причина?

— Пьяный был... Варька говорила же.

— Пьяный? Что-то не видел я, чтобы напивался ты когда до такого состояния. И где напился? В станционной чайной? Там водки не продают.

— С собой бутылка была.

— С собой? Тогда объясни: чего это молол ты Смирнову? Он вчера еще звонил мне. Под каким деревом он роется, как...

Устин ответил вяло, через силу:

— А под тем же, под которым ты все копаешься. А чего рыться под меня? Это хоть кого доведет до бешенства...

— Так... Еще один вопрос. Эти стожки почему в Пихтовой пади остались? Если уж начистоту, тоже подозрительно мне. Почему?

— А сам ты почему недоглядел? — спросил, в свою очередь, Устин.— У меня тоже не сотни глаз. За всем не усмотришь. Закрутился и забыл. А ты с Егоркой ездил потом, обсматривал поля. Чего же ты их не увидел?.. Да ладно уж, что вопросы задавать друг другу... На свете вроде все устроено просто да понятно, а не на всякий вопрос ответишь вдруг...

— Вдруг не на всякий, верно,— согласился Захар, по-прежнему внимательно глядя на Устина.— И поэтому позовем на помощь милицию. А если надо — и суд.

Внешне Устин и на эти слова никак не реагировал. Но спустя минуту все-таки спросил:

— Зачем... милицию?

— А ты как думал?!— спросил, в свою очередь, Захар.— Три стога сена не шутка. Да еще в такой год. Мы уж сообщили куда следует.

И опять Морозов сидел на прелом сене не шевелясь. Потом промолвил:

— Та-ак... Что ж, разбирайтесь...

— Уж будь спокоен, разберемся. И если напрасно роюсь под тебя, если я ошибаюсь — при всем народе попрошу у тебя прощения. Не беспокойся, сил и совести на это хватит...

Председатель направился из конюшни. Устин тоже поднялся, вышел следом и, согнувшись, побрел в сторону своего дома.

Захар подошел к запряженной Фролом кошеве, поудобнее уселся, подобрал вожжи. Но Курганов перехватил их.

— Постой. Теперь я хочу потолковать с тобой,— проговорил вдруг он.

Председатель не стал удерживать вожжи.

— А не ты ли заявил недавно, что разговаривать со мной больше никогда не будешь?

— Ты что... смеешься надо мной? Ты что это...— сухим от ярости голосом начал Фрол.

Но Большаков пожал плечами:

— При чем тут смеешься или не смеешься? Я только вспомнил, что ты говорил...

— Не притворяйся! — закричал Фрол.— Я не об этом сейчас, что я говорил, а об том, чего вы там говорите! Какой я вам, к черту, бригадир?! Чего вы там прикидываете, намечаете?

— Во-он ты об чем... Я думаю, хороший бригадир. Лучше Морозова.

— Лучше, хуже... А вы у меня спросили согласия?

— Спросим, когда придет время. Пока предварительный разговор на правлении был.

— А спрашивать нечего. Я давно тебе сказал — не лезь с этим. Не суйся! Не буду.

— Нет, будешь!

— Вон как!

— Вот так! — в тон ему ответил Большаков, выдернул вожжи.— Будешь, если еще народ доверит.

— Не надо мне вашего доверия! И вашего бригадирства!

— А вот это ты врешь. (Фрол направился было в конюшню, но при последних словах председателя обернулся.) Бригадирства, может, и не надо, чины тебя не особенно привлекают, знаю. А вот доверия людей... Это разные вещи.

— Ну-ну, давай дальше! — усмехнулся Фрол.— Правда, опять у нас с тобой разговорчик получается. Ха-арошая беседа! По-серьезному.

— Что ж, по-серьезному. Ты это чувствуешь и стараешься ухмылкой замаскироваться.

— Нечего мне маскироваться, не на войне,— упрямо сказал Фрол.— А доверие какое теперь ко мне? Семью бросил, с Клашкой сошелся. После всего разговор о бригадирстве что такое? Насмешка. И я прошу — бросьте.

Фрол говорил теперь все мягче и мягче.

— Да, видно, придется. Потому, что мое предложение... Не послушался ты меня, Фрол, наломал с Клашкой дров... И потому мое предложение о назначении тебя бригадиром вызвало удивление. Меня не поддержали.

Фрол кинул быстрый взгляд на председателя, тут же опустил глаза в землю.

— И хорошо, что не поддержали. Да и зачем это тебе?

— А затем,— спокойно проговорил Большаков,— чтоб помочь тебе, дураку, хоть в конце жизни. И в этой истории с Клавдией, и вообще. Чтоб к людям тебя немного повернуть. Но самое главное — затем, что я, несмотря ни на что, верю в тебя. И постараюсь передать эту веру всем членам правления. Постараюсь убедить их. Они поймут, я думаю.

— Вряд ли...— помедлив, вымолвил Фрол.— Не таким меня знают.

— Что ж, кто не разглядел тебя, поверят мне на слово. А все остальное от тебя будет зависеть. Ну, посторонись.

Фрол молча отступил. Большаков тронул лошадь.

Опустив голову, Курганов шел к конюшне. Потом остановился, поглядел в ту сторону, куда поехал председатель. Но не увидел ни председателя, ни деревенских домов. Он видел только, что под ослепительно белым снегом лежала перед ним земля...

Под ослепительно белым снегом лежала земля.

Снег толстым слоем покрывал крыши, пушистыми шапками висел на столбах, на ветках деревьев. Тайга под снегом стояла отяжелевшая, усталая.

Обильным куржаком были покрыты телеграфные провода. И казалось, что меж столбов натянута не проволока, а разлохмаченные, низко провисшие от собственного веса канаты.

Временами с деревьев срывались комья снега, осыпался с проводов куржак. Тогда в воздухе долго плавала и переливалась в солнечных лучах мелкая снежная пыль.

Дымились трубы. Клубы березового дыма, тоже ослепительно белые, как снег, поднимались отвесно вверх. Они напоминали летние курчавые облака, которые плавают в небе в жаркий погожий день.

Устин всегда был равнодушен к природе, никогда не обращал внимания на ее красоту. Но сейчас, понуро шагая по деревне, вдруг увидел ее, ощутил каким-то обнаженным, болезненным чувством. Он почувствовал, может, впервые в жизни, как пахнет свежий, не измятый еще ногами снег, как из тайги накатывает волнами запах стылой хвои и приятно царапает в горле, чуть кружит голову.

Зимой деревня кажется тихой, праздной, отдыхающей от летних трудов и забот. Но Устин знал, что это не так. Вон на краю деревни стучит и стучит электростанция. Это значит, что по отяжелевшим проводам-канатам в ремонтную мастерскую, в амбары, в колхозный гараж, в скотные дворы — во все службы огромного хозяйства беспрерывно течет электричество, освещая помещения, подавая воду, вращая станки. И всюду идет работа, всюду своим чередом идет жизнь.

Вот, например, скотные дворы, телятник... Устин остановился, несколько минут глядел, как хлопочут вокруг коровников девушки и пожилые женщины, то появляясь на улице, то исчезая в помещениях. Из телятника выскочила внучка старика Шатрова в одном халатике, с подоткнутым подолом — видно, мыла и чистила в стайках,— подбежала к изгороди, закричала:

— Анна Тимофеевна! Ну как?

— Растелилась, слава те господи! Телочкой. А Звездочка еще мучается,— прокричала в ответ пожилая женщина.

— Ветеринар приехал?

— Тут, тут, доченька... Ох, тяжелый нынче отел!

И обе скрылись, поспешили к своим делам.

Только Устину некуда теперь спешить. Некуда? А разве когда-нибудь было — куда?

«Да, было»,— думал он, шагая дальше. Он торопился иногда куда-то. А куда? Зачем?

С проводов все сыпался куржак. Там, где он падал, долго стоял переливающийся искрами снежный столб.

По улице шныряли вездесущие ребятишки. Раскрасневшиеся на морозе, обсыпанные снегом, они сбивали палками куржак с проводов и деревьев, с хохотом плясали в искрящихся облаках и сами переливались под лучами солнца, точно были одеты не в истертые полушубки, не в растерзанные бог знает о какие сучья и шипы пальтишки, а в диковинную царственную парчу.

Так куда же и зачем торопился иногда он, Устин Морозов? Что ж, он знал куда. Он всегда это знал...

Устин свернул в переулок, в ту сторону, где стояла давно законченная кладкой водонапорная башня. Возле башни еще летом сколотили дощатую времянку, и сейчас в ней что-то пилили, строгали, точили. Из времянки то и дело выходили люди с деревянными брусьями, рамами, коробками в руках, с изогнутыми замысловато железными трубами и скрывались в единственном дверном проеме башни. Дверь еще не была навешена, и оттуда брызгали искры электросварки.

Из башни вышел прораб Иван Моторин с запорошенными опилками плечами, в шапке с торчащими вверх ушами, остановился, вытаскивая банку с табаком. Заклеивая языком самокрутку, глянул на солнце, прищурив один глаз, и тут же напустился на высоченного, с длинными руками парня:

— А чтоб тебя... Гришка! Ты какой патрубок тащишь!

— Так сам же говорил — шестидюймовку надо.

— Правильно. А это сколько? Четыре дюйма! Голова!

Парень растерянно вертел в руках отрезок трубы.

— Ладно, этот пригодится в третьей секции. Резьбу только нарежь. Да левую, гляди, не перепутай... А-а, Устин! — воскликнул он, увидев Морозова.— Скоро, скоро, брат, дадим водичку людям. Прямо в кухни хозяйкам подадим. Свеженькую. Так что продавай к весне коромысло.

Устин постоял, как бы раздумывая, вступить с Моториным в разговор или нет. И пошел дальше.

«Дадим водичку людям...» А он, Устин, торопился иногда... Да что там — иногда! Всю жизнь он ждал тех, кто помешает «дать людям водичку». И при первой же возможности торопился к ним на помощь. Торопился, чтобы помочь им растоптать вот такую свежую красоту земли, чтоб задушить смех вон тех ребятишек. И воду... да, чтоб и воду не дали людям...

Ему вдруг захотелось почувствовать, увидеть, чему же он еще хотел помешать. Почувствовать и увидеть все до конца... Так пьянице, наверное, хочется глотнуть очередную стопку водки. Потом еще одну, и еще — до тех пор, пока не отупеет он окончательно и не свалится замертво.

Устин пошел мимо гаража к механической мастерской.

Широкие ворота гаража были распахнуты настежь. Там, в глубине черного зева, свисали с потолка электрические лампочки, поблескивали зеленые упрямые лбы автомашин, маячили люди.

Ободранная полуторка, на которой ездил сын председателя Мишка Большаков, стояла во дворе. Сам Мишка, в огромных валенках и новой фуфайке, был возле машины. Рядом с ним стоял заведующий гаражом Сергеев.

— Так как насчет новой машины, а? — спрашивал Мишка.

— Так что я? Отец...

— Отец, отец... Вы бы объяснили сами: пора, мол, Михаилу новую...

Устин не стал больше слушать. Хрустя снегом, зашагал прочь.

«Новую машину, значит, ему надо...» — думал он с ненавистью о Мишке Большакове. И этому он, Устин, хотел помешать. Чтоб не получил... «Ну-ну, погоди! Правильно за него Демид выговаривал. Погоди...»

Возле мастерской Морозов опять постоял, слушая издали грохот железа, визг токарных станков, голоса людей. О чем перекликались люди — ругались они или балагурили,— он понять так и не мог. Стоял и тупо думал: «Ну да, чтоб не грохотало тут железо, не ревели моторы, замолкли голоса...»

...А потом шел мимо амбаров, где пели женщины и девушки, сортируя семена: «Ну да, чтоб не пели, не драли горло. Распелись...» Попалась ему навстречу женщина с грудным ребенком: «Чтоб не рожали...» У конторы почти столкнулся с бухгалтером Зиновием Марковичем: «Все считает, все считает... Обломать пальцы, чтоб не считал...» Наконец увидел председателя, уезжающего из деревни в своей кошеве. «А этого вообще, вообще...»

Морозов долго смотрел вслед Захару Большакову, пока тот не скрылся из виду. Подняв голову, зачем-то огляделся вокруг.

Земля по-прежнему лежала под ослепительно белым снегом. Пылало над ней солнце, обливая ее светом, зажигая каждую снежинку, расцвечивая окна, заглядывая в каждый дом.

С необозримого заречья, где застыли огромные белые волны, все так же тянуло запахом холодного снега, из тайги — мерзлой хвоей. Над деревней они мешались, образуя, вероятно, тот самый эликсир, который очищает кровь, омолаживает человека. Так почему бы и ему, Устину, не очистить свою кровь, не помолодеть?

В какую-то секунду ему даже хотелось побежать вслед за Большаковым, догнать его, рассказать все-все — попросить места на этой земле, под этим солнцем.

Но это была только секунда. В следующий миг он уже понял, что никогда не осмелится, никогда у него не хватит сил рассказать людям, чему он пытался помешать.

Нельзя одолеть неодолимое, как нельзя снять с неба солнце и погрузить землю во мрак. Но если люди узнают, что он пытался это сделать, они не простят. Есть дела, которые люди не прощают, за которые надо расплачиваться сполна...

...Приплевшись домой, Устин разделся, сел к окну и принялся смотреть на улицу.

Он так и не спросил у жены, давно ли Демид живет в Озерках, отчего это он до сих пор не дал ему, Устину, знать о себе, а посылал нищих именно к ней. Он не спросил даже, правильна ли его догадка, что все эти годы не Демид командовал всеми ими, а она, Пистимея.

Не спрашивал он этого и сейчас.

Немного погодя он поднялся, пошел в свою комнату, принес папку, подаренную Демидом, сел почему-то с ней не за стол, а возле истопившейся уже печки, в которой еще, однако, ярко переливались березовые угли, маленько помедлил и открыл ее.

Сверху лежала свернутая вчетверо газетная вырезка. Устин развернул ее. В глаза ему бросились два места, подчеркнутые красным карандашом: «Штюльпнагель, подробно рассматривая причины поражения Германии во второй мировой войне, писал: «Никакое поражение не является окончательным. Поражения — это лишь уроки, которые нужно усвоить, готовясь к следующему, более сильному удару... Наше поражение в нынешней войне следует рассматривать всего лишь как несчастный случай в победоносном продвижении Германии по пути завоевания мира...»

— Ишь ты! — проговорил Устин, отрываясь от статьи.— Крепко режет Штюльп этот: как несчастный случай в победоносном продвижении... Ты понимаешь? Тоже, видать, не дурак, как и тот... как его,— Устин порылся в папке.— Дениц, что ли? Ага, верно...

Пистимея стояла рядом, скрестив руки на груди. Устин принялся читать другое подчеркнутое место: «История почти никогда ничего не забывает... И когда-нибудь в хранилищах Боннского генерального штаба будут, вероятно, найдены тайные меморандумы, приказы, письма, на основе которых исследователи сумеют со всей точностью рассказать о том, как в этом учреждении пятидесятых и шестидесятых годов планировали третью мировую войну...»

Устин внимательно прочитал всю статью до конца, иногда пошевеливая губами. Потом аккуратно сложил ее снова вчетверо, посидел не шевелясь в задумчивости. Иногда по его губам, по всему лицу пробегало что-то — не то вымученная усмешка, не то просто судорога.

И бросил газетную вырезку в печь, на горячие угли.

Бумага сразу покоробилась, свернулась, густо зачадила черной копотью. Потом вспыхнула, как порох, и моментально сгорела.

Легкий бумажный пепел тотчас потянуло в дымоход.

Пистимея не изменила своей позы, не шелохнулась. Она только чуть сузила глаза.

А Устин взял другую вырезку и принялся читать. Но через некоторое время поднял голову, спросил:

— Сколько, говоришь, западные немцы собираются уничтожить людей в новой войне? Два миллиарда, что ли? Хотя ведь это не ты, это Демид говорил...— Но тут, опомнившись, махнул рукой: — А-а...

И снова принялся читать.

В статейке говорилось, что в будущей войне немцы, возможно, и не планируют массовое уничтожение людей, что сейчас, подготавливая эту войну, они, может быть, штампуют и штампуют где-то на сверхсекретных подземных заводах вроде бы обыкновенные противогазы. А на самом деле... Придет пора — и они просто дадут каждому подышать вот через такой «противогаз». И у каждого выпрямятся все мозговые извилины. Эти два миллиарда людей превратятся в бессловесных, тупых идиотов. «Хозяева» пропустят каждого через специальное «воспитательное» заведение, где бывшим людям — русским, китайцам, англичанам, французам, индусам, американцам, всем, всем внушат одну-единственную мысль, проложат в мозгу одну-единственную извилину. И все земли будут покрыты стадами покорных рабов. Это будут очень удобные рабы. Они не взбунтуются, их не надо будет охранять, не надо бояться. Одного надсмотрщика хватит на целое стадо. И этот надсмотрщик не будет таскать с собой даже плети. Одно слово, один жест, один знак — и все стадо примется за работу. Каждый будет делать указанную ему работу безразлично, как машина, до тех пор, пока тот же надсмотрщик словом или жестом не прикажет эту работу прекратить... Это и будет тот «новый порядок», о котором сейчас мечтают в Западной Германии. Править всем земным шаром будут несколько тысяч избранных «господ». Этих «правителей мира» будут выводить, как цыплят, в специальных заведениях. И здесь ничего не надо выдумывать — такие «господовыводители» уже существовали на земле при Гитлере, работа инкубаторов для производства расы «хозяев» земли была уже опробована. В свое время немецкие нацисты с помощью своих выдающихся медицинских светил и авторитетов тщательно отбирали из числа чистокровных «арийцев» самых крепкозадых самок, самых крепконогих производителей и посылали в специальные дома-дворцы. Их погружали в царственный комфорт, их поили неземными напитками, кормили «священной» пищей, ублажали развлечениями, недоступными обыкновенным смертным. А они должны были делать одно — рожать и рожать «детей повышенного типа», будущих столпов тысячелетнего гитлеровского рейха, будущих «господ» земли.

— Ловко! — промолвил Устин, дочитав статью, и тоже швырнул ее в печь, взялся за третью, потом за четвертую, за пятую.

Иные вырезки были величиной в ладонь, иные — в целый газетный лист. Фотографии маневров немецких войск, диаграммы роста военного потенциала Западной Германии, карты ракетных ударов почти по всем крупным городам Советского Союза... Вот нарисовано, как и откуда будут пускать ракеты на Владивосток, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Свердловск, Горький, Москву, Ленинград...

Устин все это прочитывал, просматривал — и потом в печь, в печь, в печь. Пистимея все так же стояла рядом да все у́же и у́же сощуривала свои поблекшие от времени, когда-то голубые глаза.

Наконец в папке осталось всего несколько листов, сшитых тетрадкой, на которую раньше Устин не обратил внимания. На каждом листе сверху стояло: «Список генералов бундесвера, занимавших в прошлом военные посты в гитлеровском вермахте и участвовавших в военных преступлениях против народов Европы», «Список боннских дипломатов, занимавших важные посты в государственном и партийном аппарате нацистской Германии», «Список бывших гитлеровских судей, занимающих в настоящее время...»

Устин вскочил, затряс этими листами под носом Пистимеи, закричал ей в лицо:

— Ну, Демид, ну, Демид! Даже списочки эти умело подобрал, с напоминанием... Нет, что ты, высохшая библейская корова, перед ним! — издевался Устин, как мог.— Он, он всегда командовал, а не ты! Он сказал тебе: «Привези ко мне Устина — я враз вылечу его». И вылечил, вылечил...

Пистимея наконец уронила с груди руки, отшатнулась от мужа.

— А вот один человек недавно сказал мне: «Светлиху не испоганить ведром помоев!» Это как? Почему об этом ни одной вырезочки не положено? — тряся бородой, спрашивал Устин.

— Господи! — жалобно вымолвила Пистимея.— Какими помоями? Чего городишь?!

Устин кинулся на улицу. Пистимея побледнела как стена и вдруг впервые за много-много лет... перекрестилась невольно по-православному, метнулась, как молодая, следом.

Устин никуда и не думал бежать. Он просто стоял на дворе и жадно глотал свежий морозный воздух. Но Пистимея все-таки повисла на нем, обхватив мужа за шею, прильнув к нему, как огромная, чудовищная пиявка.

— Устин! Устюша! Опомнись, чего ты...— бормотала она.

— Да отстань ты! Ну чего, в самом деле! — крикнул на нее Устин.— Не хватит у меня сил, понятно? Нету их вообще. Не бойся...

Он оторвал от себя жену и пошел обратно в дом.

А Пистимея еще раз осенила себя крестом.

Глава 30

Петр Иванович Смирнов вычитывал сигнальный экземпляр очередного номера своей газеты. Номер получился хороший, разнообразный. В простых, бесхитростных информациях, заметках, корреспонденциях рассказывалось о будничных делах района. В одной заметке говорилось, например, что озерский райпромкомбинат вчера, в последний день января 1961 года, выполнил полтора месячных плана. В другой сообщалось, что на днях строители заканчивают отделочные работы в большом, трехэтажном жилом доме. Дом этот предназначен для рабочих кирпичного завода, для учителей средней школы, для механизаторов озерской ремонтно-тракторной станции. Окончания строительства дома давно ждали, квартиры были давно распределены. Петр Иванович на минутку закрыл глаза, представил, как весело вспыхнут вечером широкие окна и молчаливые· пока комнаты наполнятся веселым гомоном, радостью, жизнью.

Заметка называлась «Для трудящихся». Что — для трудящихся? Дом? Конечно, не для бездельников, это всем ясно. Петр Иванович зачеркнул заголовок, написал новый: «Скоро вспыхнут веселые окна».

Вся вторая полоса была посвящена селу. На ней рассказывалось, в каких невероятно тяжелых условиях проходит зимовка скота. И, по совести говоря, это была невеселая страница. В каждой заметке чувствовалось, как отчаянно изворачиваются колхозники, чтобы растянуть последние клочки сена до весенних дней, чтобы любой ценой спасти скот...

На самом видном месте была заверстана статья о благородном поступке зеленодольцев, поделившихся с колхозом в трудную минуту сеном из своих личных скудных запасов.

Третья и четвертая полосы были заполнены самым различным материалом: тут были сводки о ремонте тракторов и прочих машин, корреспонденции на школьную тему, критическая заметка о торговых работниках, фельетон о зажимщиках критики, международный обзор и статья на антирелигиозную тему.

Вечернее солнце заглядывало в оба окна. Петр Иванович сидел в простенке между ними, и прозрачные лучи, проливаясь справа и слева, падали на стол, высвечивали золотом весь его маленький скромный кабинетик.

Смирнов склонился над газетой, принялся вычитывать статью о поступке зеленодольских колхозников. Материал этот с его слов написал заведующий сельхозотделом редакции. Конечно, надо было написать самому, но, приехав из Зеленого Дола, он три дня пролежал пластом. Где-то в середине статьи стояло: «Одним из первых благородную инициативу колхозников поддержал бригадир Устин Морозов. Из своих личных запасов сена он привез на колхозную ферму два воза...»

Написано, конечно, неуклюже, коряво. Да в этом ли сейчас главное дело? «Одним из первых... поддержал...» Что он поддержал?

Петр Иванович взял ручку, собираясь вычеркнуть фамилию Морозова. Но тут же задал себе вопрос: а почему? Правильно ли это будет? Ведь в том, что он услышал в колхозе на конюшне, что наговорил ему Устин Морозов по дороге из колхоза на станцию, он никак не мог разобраться.

И все-таки...

Быстро обмакнув перо в чернильницу, он вычеркнул из статьи фамилию Устина Морозова, вздохнул с облегчением... Но... теперь вспомнил вдруг состоявшийся четыре дня назад разговор возле конторы с Фролом Кургановым...

«— Можно написать заметку в газету, что ты в тяжелую для колхоза минуту добровольно привез на артельную ферму три центнера своего сена? Хотя, откровенно сказать, не очень хочется печатать такую заметку...

— Не надо.

— Почему? Может, где-то кто-то хоть подумает о тебе с теплотой...

— А мне, может, нравится, что обо мне с ненавистью думают? А мне, может, нравится, что меня не только не любят, а ненавидят? А может, я легче дышу, когда знаю, что меня ненавидят? А?..»

Фрол говорил это сперва тихо и раздумчиво, потом голос его звучал все громче и громче, прорвалась в нем не то злость на самого себя, на весь мир, не то тяжелое, необъяснимое отчаяние...

«Не надо — так не надо»,— решил Петр Иванович и, сдавая днем статью в набор, сократил то место, где говорилось о Курганове, вставив несколько общих фраз. И все время потом его мучили сомнения. Да, печатать о Фроле ничего не хотелось. Но хочется ему или нет, а ведь именно Фрол первым, никого не спрашивая, привез на ферму свое сено...

Петр Иванович снова взялся за ручку, восстановил первоначальный текст статьи и подумал: «Интересно, с каким выражением лица будет читать Курганов о себе? Ухмыльнется, пожалуй, с никому не понятным злорадством. Чего же еще ждать от него?..»

...Смирнов быстро прочитал газету до конца. Сделанные им исправления в статье о зеленодольских колхозниках были единственными. Ошибок он тоже не обнаружил — корректор Зина Никулина, как всегда, безукоризненно вычитала днем гранки. Только в антирелигиозной статье слово «бог» трижды было набрано с прописной буквы.

Петр Иванович встал, прошелся по кабинету, разминая затекшие от долгого сидения ноги. Затем, еще раз бегло пробежав глазами по заголовкам статей и заметок, принялся думать о Зине Никулиной. Сейчас она закончит читку своего корректорского

экземпляра, молча войдет в кабинет, склонив немного набок голову, плотно завязанную платком, молча положит на стол подписанный ею номер и так же молча, не сказав ни слова, выйдет...

В последнее время Зина стала молчаливой и нелюдимой. Правда, она и раньше была не особенно разговорчива, приходила иногда на работу с опухшими, заплаканными глазами. Петр Иванович заметил это сразу же, как только принял редакцию.

— Что это с вами? — спросил он однажды.— Случилось что-нибудь?

— Ничего,— коротко ответила она, глянув на него сероватыми ледяными глазами.

Петр Иванович знал, что у Зины было какое-то несчастье в жизни, кажется, кто-то ее обманул, оставив с ребенком. Для себя он объяснил ее нелюдимость, ее холодные, ледяные глаза этой трагедией. Надо было как-то помочь ей, но как? Душа ее была, по-видимому, изранена глубоко, и малейшее неосторожное прикосновение могло вызвать прежнюю боль. Петр Иванович понимал это.

Потом он узнал, что Зина родная сестра Клавдии Никулиной, бригадира огородниц зеленодольского колхоза. Он спросил у Клавдии, что происходит с Зиной. Но Клавдия ничего вразумительного ему тоже не сказала.

— Слушай, Зина, может быть, я чем-нибудь смогу помочь тебе? — спросил однажды Петр Иванович, сразу перейдя на «ты».

— Ничего мне не надо,— опять глянула она холодными глазами.

Зина снимала у кого-то угол. Он поговорил с председателем райисполкома. Вскоре Зину вызвали в райкомхоз и выписали ордер на отдельную однокомнатную квартиру.

С ордером в кулаке она зашла к нему в кабинет.

— Это — вы? — показала она на бумажку.

— Ну что же, я...

Зина постояла-постояла, губы ее дрогнули не то от гнева, не то от какой-то гордой насмешки. Она положила ордер ему на стол и пошла.

Петр Иванович вскипел:

— Это еще что за глупости! Слышишь, Никулина? Немедленно возьми ордер! Сегодня же вселяйся...— И схватился за сердце. Он и забыл, что ему нельзя волноваться. Наваливаясь грудью на стол, прошептал: — Жене... жене позвони скорей...

И последнее, что запомнил в этот день,— потемневшие от испуга Зинины глаза.

Через два дня, когда он смог выйти на работу, Зина вошла в кабинет, виновато опустила голову.

— Простите... Я ведь не подумала. Я переехала... Спасибо.

Постепенно льдинки в ее глазах растаяли. Через стенку было слышно, как в корректорской время от времени звучал ее смех. Мимо дверей его кабинета, который вел прямо в типографию,

часто и весело стучали ее каблучки. Раньше она всегда ходила бесшумно.

Внешне Зина ничем больше не выказывала ему своей благодарности. Но Петр Иванович чувствовал, что она внимательно следит за ним, прислушивается из своей корректорской к малейшему шуму в его кабинете. И когда случались сердечные припадки, первой оказывалась возле него.

Но потом Петр Иванович обратил внимание, что смех в корректорской вспыхивать перестал, каблучками она стучала мимо кабинета все тише. Глаза ее стали печальнее, снова подернулись холодной пленочкой.

— Что с тобой опять, Зина? — спросил Петр Иванович.

Она сперва вспыхнула огнем, но тут же, в одну секунду резко побледнела.

— Опять?! Опять, говорите?! — дрожа от гнева, от оскорбления, морщась от боли, вскрикнула Зина.— Вам-то какое дело, если... если и опять?!

— Но,— попробовал успокоить ее Смирнов,— я же ничего не понимаю. Кажется, я обидел тебя чем-то? Объясни, пожалуйста...

Однако она не стала даже слушать, выбежала из кабинета, хлопнув дверью.

А тут, как назло, один за другим начались сердечные приступы. Пришлось даже, подчиняясь секретарю райкома партии Григорьеву, которому, конечно же, наговорила всяких страстей Вера Михайловна, лечь на полтора месяца в больницу.

Когда, немного оправившись, вернулся в редакцию, Зина встретила его прежним ледяным взглядом. Он еще раза два-три пытался заговорить с ней, но Зина молчаливо отворачивалась и уходила.

В последний раз она прямо сказала:

— Давайте говорить о служебных делах.

С тех пор о служебных делах только и говорили.

Только о служебных. А надо бы не только...

Приехав когда-то в район из колхоза, Зина не знала, где приклонить голову. Ночью пришла к бабке Марфе Кузьминой, надеясь, что на заезжем дворе никого из колхоза нет. Ее надежды оправдались.

— Ночуй, Зинушка, ночуй! — обрадовалась старуха.— Места много. Я хоть не одна, с богом живу, а все равно тоскливо. По какому заделью приехала-то?

Зина ответила что-то неопределенное и легла спать.

Утром, за чаем, Марфа уже говорила:

— И-и, доченька, живи-ка у меня тут... Знаю, знаю уж, эка беда ведь приключилась...

— Что вы знаете? — вскочила Зина.

— Да что уж от старухи скроется... Эвон живот! И во сне ты плакала все, то на Митьку, то на отца жалилась. А я ведь не сплю ночами-то...

— Ну и плакала! — воскликнула Зина в отчаянии.— А живота еще нет...

— Да ты сядь, сядь, касатушка,— угодливо засуетилась старуха, усадила Зину.— Вот так. Я разве одобряю твоего отца? От него чего ждать! Притвор-то эдак и не приладил к бане, и богохульник он. Но говорил господь Моисею: «Выведи злословившего из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями...» И побьет, доченька. Этому верить надо. Почто вон наказал тебя господь? Душа человеческая — храм божий, и надо держать его в чистоте, не загрязнять... А ты вот... Ну, да ничего, с божьей помощью и очистимся. Живи у меня, сердешная...

— Не собираюсь я у вас жить,— снова встала Зина.— На постой к кому-нибудь попрошусь, на работу буду устраиваться.

Марфа поглядела на нее жалостливо, покачала головой:

— Ну, ин ладно. А будет худо — приходи.

Зина нашла к вечеру квартиру, а на следующий день устроилась на работу корректором районной газеты.

И все вроде пошло у нее на лад.

Но через некоторое время хозяева квартиры, увидев, что она беременна, предложили ей съехать.

Много дней потратила Зина, чтобы найти жилье. Но теперь — тщетно.

Обегав весь поселок, она в отчаянии пришла к редактору, рассказала все чистосердечно ему о своем положении.

До Смирнова газетой руководил некто Иван Леонтьевич Петькин, человек грузный, вялый, наказанный, как говорили, жизнью. Когда-то он занимал большие посты в области, но постепенно съезжал все ниже и ниже.

— Так что же, Никулина... Я бы, собственно, рад,— сказал ей Петькин.— Но знаете, как сейчас с квартирами. У меня вон даже два литсотрудника без квартир по второму году живут. А это все-таки творческие работники... Да.

Тогда Зина пошла к Марфе Кузьминой.

— А давно бы так, касатушка моя! — все с той же старушечьей жалостью проговорила Марфа.— Хочешь — у меня живи, хочешь — я поговорю тут с одними людьми.

— Лучше поговорите, сюда из колхоза ездят.

— Только ить... предупреждаю уж, коль ты этакая,— богомольные они.

— Все равно... попросите только, чтоб пустили,— махнула Зина устало рукой.

— И верно, и правильно. Я сейчас же,— заторопилась старуха.— Веры они не нашей, не баптистской, но все равно хорошие люди.

«Хорошими людьми» оказались две старухи, такие же дряхлые, как сама Марфа. Их звали Евдокия и Гликерия.

Зину они встретили радушно, засуетились, забегали по небольшой избенке, как две юркие мыши, натащили из сеней, из подпола и еще откуда-то молока, варенья, каких-то коржиков, согрели чай, все приговаривая:

— Вот послал нам господь наш душу отзывчивую. Ничего, доченька, мы тебе будем, вдвоем-то, роднее матери. От бремени освободишься, это ничего. Новая душа божья народится — вот и праздничек для нас. За квартирку-то ничего и не надо нам. Да и зачем нам! Разве когда полушалок к празднику купишь али матерьяльцу на платье кому. А нет — ин ладно. Поблагодаришь когда — и того хватит. Молча о нас добром помянешь — и то награда...

До рождения ребенка Зина жила более или менее спокойно. Правда, старухи надоедали ей бесконечными разговорами о Христе, об освобождении души от власти тела с помощью постов, но Зина не обращала на это внимания. Только, кажется, однажды сказала:

— Что же вы все о постах толкуете, о воздержании, а сами по шесть раз в день за стол садитесь?

— Так, доченька, наше дело старушечье... А тебе вот надо еще суметь возненавидеть свое тело, аки темницу души. Такова первая заповедь христиан духовных.

— Не пойму я вас,— промолчав, сказала Зина.— Бабушка Марфа говорила: душа человеческая — храм божий, надо держать его в чистоте...

Старушки обиженно поджали губы. Евдокия проговорила:

— Каждый человек может стать достойным сосудом для воплощения божия. Марфа — баптистка, а они, баптисты, хоть и говорят об этом, да не усердно об этом заботятся. Только мы, христиане духовные, люди божьи...

— Да и мы, сестрица, много отошли от наших прежних заповедей,— возразила ей Гликерия.— Раньше у нас говорили: «Неженатые, не женитесь, женаты, разженитесь. Вы, мужеск пол, сколь можно реже глядите на жен и девиц, вы, жены и девицы, пуще огня мужчин опасайтесь». А теперь... Христос Григорий...

— Какой Григорий?! — невольно воскликнула Зина.— Христа Иисусом же называют!

Гликерия улыбнулась, открыв беззубый рот, пояснила:

— По нашей вере бог может воплотиться в любом человеке. И в тебе может, коль заслужишь. Брат Григорий вот давно удостоился. А кто удостоился, того мы зовем Христосом... Так о чем я? Ага, Христос Григорий, говорю, новые обряды ввел, не слыханные ранее.

— Ты не трогай Григория, святой он,— повысила голос Евдокия.

— А чего «не трогай»... Где видано, чтоб у духовных христиан детей макали в поганую купель! Еще бы гриву отрастил, как православный жеребец! Так и до икон дойдем.

— Гликерия! Поразит господь! — грозно предупредила Евдокия.

— Да что, я так...— сразу остыла Гликерия.

— То-то же... Христос Григорий знает, видано или не видано. В нем бог. Говорит, надо теперь детей крестить — значит, надо.

— Да я что, разве я перечу? Я только говорю. Или вот большие радения. Где это видано, чтоб свальный грех...

— Гликерия! — опять дребезжала Евдокия.

— Да я что? Я только говорю, что раньше была заповедь: вы, мужеск пол...

Так и жила Зина, слушая ежедневно бесконечные споры о заповедях духовных христиан, которые теперь нарушаются, о каком-то неведомом ей Христе Григории... И ей даже любопытно было взглянуть на него.

Однажды ее желание исполнилось.

Под вечер открылась дверь, и через порог шагнул высокий, еще не старый, красивый мужчина. Одет он был в простой пиджак из недорогого шевиота, уже выгоревший на солнце, брюки пыльные, порядком стоптанные сапоги.

Обе старухи моментально повалились на колени.

— Кланяйся, кланяйся,— шептала Зине Евдокия.— Это он, наш Христос Григорий.

Кланяться Зина не стала. Стояла у стола и молча глядела на «Христа».

Мужчина тоже поглядел на нее, усмехнулся.

— Ничего. Бог наказал раз легонько, а вдругорядь — вдогонку...— сказал он, поговорил о чем-то со старухами и вышел.

— Ох, Зинаида! Ох и гордыня в тебе... Гляди, как бы не нажить беды,— зашептали с двух боков старухи.

А Евдокия сунула замусоленную тетрадь в руку:

— Молитва тут, заучила бы да прошептала трижды семь, ложась в постель. Его, Григория-то, слова всегда сбываются. А ты ведь с дитей в утробе, рожать скоро...

Молитву учить Зина не стала, однако, когда подошло время, в больницу легла с каким-то неясным, тревожным чувством.

Но роды прошли хорошо, ребенок родился здоровый. А потом и вовсе стало ей не до старух с ихними причитаниями — днями и ночами она возилась с сыном. Зина недосыпала теперь, очень уставала, но, когда чувствовала, как торопливо посасывает мальчик горячим ртом ее грудь, тихонько улыбалась и была почти довольна своей судьбой.

Когда кончился декретный отпуск, она хотела устроить ребенка в ясли.

— Еще чего?! — закричали в один голос старухи, замахали руками.— Тама-ка сквозняки, поди, да от одних пеленок воздух

кислый. На десятерых, поди, али поболе одна нянька. А нас двое на одного... Дитё малое, беспомощное,— шутка ли, в чужие руки... Да и денег, поди, дерут за ясли...

С деньгами у Зины было плоховато, зарплаты не хватало. В последние месяцы она потратилась на пеленки, распашонки, погремушки. Да и старухи хотя и не брали за квартиру, но в каждое воскресенье просили на «гостинец христов».

Зина не вникала в смысл этих слов, не интересовалась, что это за «гостинец». И тетрадку с молитвой, сунутую ей в руку когда-то Евдокией, ни разу не открывала. Тетрадка валялась на столике, который стоял возле ее кровати.

Шли недели и месяцы, но Зина теперь времени почти не замечала. Даже в бессонные ночи, когда мальчик капризничал, Зина, укачивая его, с затаенной радостью думала, что, когда сын подрастет, они уедут куда-нибудь далеко-далеко от этих мест, заживут какой-то другой, невиданно красивой жизнью.

Но вскоре все ее мечты рухнули. Придя однажды с работы, она еще на улице услышала детский плач. Стремительно ворвалась в избу, взяла у Гликерии сына:

— Что с ним? Что?

— А ничего... Должно, щетинка колет. Следочки дегтем помазать бы...

Мальчик часто-часто дышал, метался в жару. Зина со всех ног кинулась в больницу.

Там ей сделали выговор — зачем по морозу ребенка несла в больницу, надо было врача вызвать на дом! Но тут же и успокоили: у мальчика ничего страшного, небольшая простуда. Сделали укол, дали лекарство, велели поить через каждые три часа. К утру температура должна снизиться. А к обеду обещали прислать домой врача.

Но лекарство не помогло, к утру мальчику стало хуже.

— Э-э, милая, что твои доктора! — все утро скрипели то Евдокия, то Гликерия.— Тело у каждого свое, а душа человечья богу принадлежит. А ты вот с Христосом Григорием-то как? А он ведь предупреждал. Вот и разгневался господь. И наказал...

— Да где ж доктор, где доктор? — металась Зина от окна к окну.

Прошел обед, наступил вечер — доктора не было.

— И не придет,— заявила Гликерия.— Кто ему позволит нашу святую обитель осквернять...

— Это что... что вы говорите? — догадываясь о чем-то, в ужасе проговорила Зина.

— А то и говорим,— заявила Гликерия.— Приходила докторша, да мы прогнали.

— Да вы... вы что?! — не помня себя, закричала Зина.

Тогда Евдокия, пожевав сперва беззвучно впалым ртом, сказала:

— А ты не кричи-ка... Ты носила дитё к докторам, а оно что? Вылечим твоего сына, не убивайся. От бога все. Он наказывает, он и исцеляет. Помолилась бы вот лучше. Гликерия, сбегай, поклонись Христу Григорию. Попроси: смилуйся, мол...

Старушонка проворно исчезла. Через некоторое время вернулась и, пятясь задом от дверей, беспрерывно кланялась. Через порог не спеша перешагнул Христос Григорий.

Евдокия упала на колени с возгласом: «Смилуйся, смилуйся...», за платье потянула вниз и Зину. И обезумевшая от горя Зина тоже оказалась на коленях...

Христос снисходительно усмехнулся, так же не спеша разделся.

— Усердно ли читаешь молитвы, чувствуешь ли умом неокрепшим многовеликую суть животной книги? — спросил он у Зины.

— Читает, святой пророк наш...

— И чувствует... понимать начинает,— чуть ли не в один голос заявили старухи.

Григорий кивнул, по-прежнему не спеша подошел к кроватке, развернул мальчика. Зина рванулась было, но Евдокия удержала ее:

— Ты стой, стой на коленях смиренно. В одном этом спасение.

«Христос» склонился над мальчиком, что-то шепча. Вынул из кармана банку, взял щепоть какого-то порошка, обсыпал пеленки и завернул ребенка.

— Будет жить,— изрек он, берясь за шапку.— Душа его ангельская мучается, крещения просит.— Надел полушубок и добавил: — Так что, коли не окрестите, снова ударится в жар, и тогда уж...

Еще раз поглядев на Зину, Григорий ушел.

А к утру мальчику стало легче вдруг, жар заметно пошел на убыль. Перед восходом солнца он пососал немного грудь, уснул, задышал глубоко и ровно. На лбу ребенка выступили крупные капли испарины.

— Ну вот, ну вот! — зашептали старухи в уши Зины. И опять сунули ей в руки тетрадку.— Ты читай, ты проникайся... Мы ведь грех-то на душу взяли перед Христом нашим. Сними уж...

Зина невольно приняла тетрадь, машинально раскрыла. Неровным, но четким почерком начинался текст: «И будут помниться вечные слова тебе апостола славного: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и жизни своей, тот не может быть моим учеником». Будут помниться также другие слова апостола Луки...»

...И с этого вечера поплыло все перед глазами Зины, как у пьяной. Старухи мельтешили, что-то нашептывали, рассказывали — она со всем соглашалась. Соглашалась потому, что сын выздоро-

вел, начал улыбаться, смешно водить ручонками и ножонками. Старухи советовали ей поститься — она постилась. Однажды намекнули, что хорошо бы чем-нибудь отблагодарить Христа Григория,— она, не раздумывая, отдала старухам ползарплаты.

Раза два заходил Григорий, приветливо кивал Зине, но о здоровье мальчика спрашивал почему-то у старух. Евдокия и Гликерия все кланялись, все кланялись, заверяли, что «оглашенная» Зинаида молчалива, боязлива, давно живет по законам божьего братства, ибо давно ушла от родственников, сторонится всех мирских соблазнов и пакостей,— значит, будет сия сестра верности отменной,— и что пора бы допустить ее к радениям.

— Так что ж, давайте завтра. Соберем всех братьев и сестер...

И вот поздним вечером повела Зину Гликерия по закоулкам. Зашли в дом, стоящий на краю поселка. В большой комнате сидело человек двадцать. На них с Гликерией никто не обратил даже внимания.

Через некоторое время появился из боковых дверей Григорий.

— Христос! Христос!! — как по команде, завопили люди, повалились на колени, поползли к нему.— Благослови, благослови.

Но «Христос» никого благословлять не стал.

— Братья и сестры! — завопил он, как показалось Зине, испуганно.— Нет большей радости, когда в лоно божье приходит новая обращенная душа. Помолимся же за нее господу нашему, вознесем ему свои молитвы.

Люди выстроились в круг. Григорий молча схватил Зину за руку, поставил в центр и принялся громко читать молитву. Зина не слушала, она тревожно думала о сыне: как там он с Евдокией? А кругом меж тем творилось что-то невообразимое. Вместо яркого света в комнате сейчас стоял полумрак. Люди не то пели, не то причитали, покачиваясь в такт своим завываниям. Круг то сужался, то расширялся. От всего этого Зину мутило, ей казалось, что еще немного — и ее вырвет.

— ...И говорит мудрейший из смертных: «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице...» — возвысил голос Григорий, и вся толпа колыхнулась, пошла по кругу.

— Иди, иди и ты! — подтолкнула Зину Гликерия. И Зина пошла.

А голос Григория меж тем гремел:

— Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых: муравьи народ несильный, но летом заготовляют пищу свою; горные мыши — народ слабый, но ставят дома свои на скале; у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно; паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах... И вот как, братья и сестры, следует понимать слова сии...

Но как надо их понимать — Зина уже не слышала. Хоровод внезапно рассыпался, люди запрыгали то парами, то в одиночку,



завопили кто во что горазд. Среди шума, визга, плача, стона можно было лишь разобрать отдельные выкрики: «Ой, бог!», «Ой, благодать!», «Он, он, святой дух!!»

Какой-то крик вырвался невольно и из Зининой груди.

— Кричи, кричи громче, родимая,— зашамкали над ухом Гликерины губы.— Он услышит и оборонит... И тебя, и сына. И не жалей себя! Христос Григорий смотрит. Волосы рви, лицо царапай, чтоб громче вопль исторгался...

Кругом действительно рвали волосы, царапали лица... Подчиняясь не голосу Гликерии, а чему-то другому, властному и непонятному, Зина потащила с себя платок...

...А потом опять розовое личико сына, шмыгающие перед глазами старухи, напоминания о надобности крещения младенца, сообщения о скором причащении какой-то кровью христовой.

— Уж и не знаем, с чего так Христос Григорий благоволит к тебе! — зудели и зудели старухи.— Других-то не по одному году без причащения держит. Ну и счастье тебе, девка, привалило...

«Причащение так причащение»,— равнодушно подумала Зина, не ощущая никакого счастья.

Причащаться повела ее другая старуха, Евдокия.

Весь обряд происходил в той же комнате. Однако народу было в ней намного меньше, чем на радениях,— видимо, сюда допускались только избранные.

Когда появился Григорий, все стали вдоль стен на колени.

— Братья и сестры! — усталым голосом начал Григорий.— Все вы, люди нового Израиля, знаете и помните вещие слова Исайи: помилует господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит на земле их... И воистину возлюбил нас господь... Потому что поганые тела ваши еще здесь, на грешной земле, а души уже там, на святых и чистых небесах, во владениях господних. Вы не жалеете страданий, чтоб изнурить грешные тела свои, и придет блаженная минута, когда вырвется душа каждого из вас из оков проклятых и вознесется...

Понемногу «Христос» распалялся, проповедь его становилась все красноречивее. Не жалея слов, он расписывал блаженства загробной жизни. Люди, стоящие на коленях, начали рыдать.

— ...Вижу, вижу в сонме ангелов святых, порхающих вокруг трона божьего, и душу причащающейся сегодня к великому братству нашему сестры Зинаиды. Но... что это? О господи! Голубое сияние разливается вокруг Зинаиды нашей! Это господь поворачивает к ней лик свой... Виданное ли знамение?! И ведь до причащения святого...

Голос Григория дрогнул, умолк. И тогда завыли вокруг люди, поползли на коленях к Зине, протягивая к ней руки, закричали:

— Знамение! Знамение! Знамение!

Зина отшатнулась и, вся дрожа, прижалась к высохшему, жесткому, словно дерево, телу Евдокии.

— Дура ты, не бойся! — зашептала старуха.— Радуйся, радуйся знамению великому... Ведь богородицей, значит, будешь... Да что это медлит Христос наш! Ведь причащаться скорее надо...

И действительно, Григорий заорал вдруг торопливо:

— Причащать ее скорее! Скорее!

С какого-то молодого парня сорвали рубаху, повалили его на пол вниз лицом, прижали голову и ноги. Рядом поставили миску с водой. Григорий зачерпнул ладонью из этой миски, вылил на спину парня и этой же ладонью протер смоченное место. Затем взмахнул бритвой, начертил на спине крест.

Молодой сектант дернулся, его крепче прижали к полу.

Кругом на коленях стояли «братья» и «сестры» и тягуче распевали псалмы. Гнусавое пение все нарастало.

Григорий вынул из кармана серебряную столовую ложку и этой ложкой поддел надрезанную кожу, отодрал ее. Кровь сильнее хлынула по спине, струйкой стала сбегать в граненый стакан.

Когда стакан наполнился, Григорий опрокинул его в ту же миску с водой, поднялся.

Парня перевязали. Григорий размешал воду с кровью, зачерпнул ложкой, поднес ко рту Зины. Она покорно глотнула теплую и противную розовую жидкость. И тут же, несмотря на какие-то там знамения, ее грубо оттолкнула в сторону Евдокия, сама жадно протянула иссохший рот к ложке с «Христовым» причащением. Потом и старуху оттолкнули...

...Прошло еще полгода. Зина отняла уже сына от груди. По-прежнему с ним возились старухи, беспрерывно напоминая, что пора бы уже и окрестить душу ангельскую, а не то разразится гнев господень. Однако Зина, хотя и не возражала против крещения, боялась почему-то его, все оттягивала.

А тут отец подал на нее в суд.

— Чего же это вы отцу родному не помогаете? — спросил у Зины редактор Петькин.— В суд старику пришлось обращаться. Стыдно, Никулина... Да.

— Отдай, отдай ты им все, слугам проклятого узилища,— сказали в один голос старухи.— Богатство другое ждет тебя, невиданное... Где им понять! Порадеем вот — и облегчится душа. Собирайся...

И Зина собиралась, радела. На этих радениях после памятного причащения «кровью христовой» к ней все относились с каким-то подобострастием, даже с заискиванием. Едва она появлялась, ей очищали лучшее место, когда уходила, ей услужливо накидывали на плечи пальтишко.

Несколько раз ее одевал даже сам Григорий. Зина чувствовала, что руки его, едва касаясь ее тела, вздрагивали.

Да, на радения она ходила, но все это по-прежнему было ей противно. И, покинув молитвенный дом, она каждый раз, прислонясь к дереву или к какому-нибудь забору, долго дышала

свежим воздухом, глядела на звезды. Затем торопливо бежала к сыну.

Как-то встретила ее на улице Марфа, остановила, подперев себя костылем, чтоб не упасть.

— Как живешь-то, касатушка моя?

— Ничего, живу...— ответила Зина.— Куда денешься...

Марфа оглядела ее внимательно с ног до головы, уставилась в лицо своими слезящимися глазами, словно хотела что-то просмотреть насквозь.

— Ну, ну...— прошамкала она наконец.— Будет нужда — приходи, касатушка, завсегда я согрею тебя тем теплом, которое еще осталось у меня...

И пошла, как слепая, тыкая впереди себя палкой.

Так прошло еще с полгода. За это время на квартиру, где она жила, несколько раз опять заходил Григорий. Зина боялась его еще больше, чем вначале. Она знала теперь, догадывалась, чего он от нее хочет. На всех радениях его глаза бесстыдно ползали по ней. А когда он приходил к ней на квартиру, обе старухи, суетливо пометавшись по избе, куда-то исчезали.

Но Зина каждый раз брала на руки ребенка и тоже выходила на улицу, погулять на воздухе.

— Ну, гляди, сестра моя, беда не за горой! — зловеще предупредил ее однажды Григорий.

И беда действительно пришла: как-то, придя с работы на обед, Зина обнаружила у сына температуру. Сердце ее оборвалось.

— Вот, вот,— проскрипела Евдокия,— бог-то вечно терпеть, что ли, будет...

— Я сейчас за доктором...

— Какой опять тебе доктор,— окрысилась старуха.— Крестить надо! Дотянули, поможет твой доктор теперь! Я за Христом Григорием послала, в нем одном спасение... если не поздно. Не понимаешь, что ли?

Что понимала и что не понимала теперь Зина — она и сама не знала. Она была просто запугана. И, не имея сил вмешаться, глядела, как старухи готовятся к «святому таинству»,— кряхтя, ставят на две сдвинутые скамейки черную деревянную кадку, льют в нее холодную воду, добавляют теплой, пробуют температуру пальцем. Григорий засучил рукава, вынул из кровати ее сына, развернул пеленки, что-то пробормотал и окунул ребенка в кадку раз, другой, третий... Только захлебывающийся крик ребенка привел Зину в себя. Она кинулась к Григорию, выхватила мальчика, прижала к себе.

— Слава богу, что успели приобщить дите к лику христову,— проговорил Григорий, раскатывая рукава.— Через три-четыре дня жар должен теперь спасть.— И повернулся к Зине: — А ты готовь белую рубаху. На той неделе радение всеобщего греха. Впервые тебя допускаю, приходи. И рано еще, да... есть грехи, которые тебе замаливать надобно сейчас же...

И на этот раз слова Григория странным образом сбылись. Мальчик выздоровел к концу недели, повеселел.

— Вот она, сила-то божья... милость-то господня! — умилялись старухи, крутясь возле мальчика.— А ты, Зинаида, покупай белого-то полотна. Метра четыре, однако, а то и пять. Шибко коротких рубах Григорий не любит.

И Зина покорно пошла в магазин. Вообще она после крещения, кажется, уверовала в Григория окончательно. И хотя она не представляла, что такое радение всеобщего греха, ждала его теперь с нетерпением. Ей казалось, что это будет обычное молитвенное собрание, может быть, только соберется больше народу.

А все было необычным. Во-первых, Евдокия (Гликерия осталась с сыном) привела ее не в знакомый молитвенный дом, а в какой-то не то сарай, не то подвал, тускло освещенный керосиновой лампой. Там было уже полно народу, мужчин и женщин, все в белых, почти до пят, рубахах. Ни стола, ни стульев — ничего здесь не было. Только в углу стояло что-то вроде нар, на нарах — эмалированное ведро с крышкой, рядом с ним несколько кружек и какие-то свертки.

Зина разделась в уголке, осталась в белой рубашке.

Григорий подошел к топчану с ножом в руках, принялся ворошить свертки. Затем обернулся и произнес:

— Братья и сестры, дети Израилевы! Сегодня вместо молитвы я скажу вам вот что. Благочестивый патриарх Иаков, который похоронен в пещере Махпела, в земле Ханаанской, рядом с Авраамом, Саррой, Исааком, Ревеккой и Лией, много пророческих слов произнес на смертном одре. Мы отдаем должное уму Иакова, а также деяниям его. Но божественное завещание его не признаем: Иосиф, первенец его от возлюбленной Рахили, должен был быть источником благополучия всего дома его. А Иаков передал патриаршество кровосмесителю Иуде. Но, обиженный отцом, Иосиф прожил жизнь свою как святой праведник... И вот, братья и сестры, помянем сегодня в трапезе скромной Иосифа-праведника.

«Братья» и «сестры» завыли, застонали.

А Григорий, окончив речь, снова занялся свертками. Он разворачивал бумагу, резал хлеб, селедку, вареное мясо, жареных кур и все это, не оборачиваясь, разбрасывал по грязному полу.

Кончив «накрывать стол», обернулся:

— Приступим, братья и сестры... И помните об Иосифе, нелюбимом сынке Иакова...

И сам первый встал на четвереньки, пополз, как собака, к ближайшему куску мяса. Все находившиеся в подвале завыли еще сильнее и тоже начали хватать ртами грязные куски. Потом кучами ползли к нарам, принялись расхватывать кружки. Григорий поставил ведро с нар на пол, открыл крышку, зачерпнул и выпил что-то...

Скоро по подвалу разлился противный запах водки.

— Ну а ты чего? — страшно закричал на Зину Григорий.— Уподобляйся зверю! Звери, сотворенные богом, единственные праведники на земле. Живут они по законам, раз и навсегда данным господом, неведом стыд им, не подвластны они лжи и обману. И ты... естество свое уподобляй сегодня им... Уподобляй!

Зина невольно опустилась на колени, коснулась ртом скользкого куска колбасы.

— Пей теперь. Запей,— ткнул ей в лицо кружку Григорий.

Она глотнула водки, обожглась, закашлялась...

— А теперь помолимся! — зычно провозгласил Григорий.

Тотчас мужчины сбились в одну кучу, женщины — в другую. И обе эти кучки двинулись с пением вдоль стен в разные стороны...

Зина стояла возле топчана, держалась за него, чтобы не упасть. У нее кружилась голова, звенело в ушах, больно рвало виски.

— Молись, молись! — кто-то бросил ее в женский хоровод.

И, подчиняясь той непонятной силе, которая всегда охватывала ее на радениях, она потащила с головы платок. Она уже не видела, не слышала, что кругом нее прыгали, вопили, бесновались люди в белых рубахах. Она так же прыгала, кричала, выламывала руки.

А радение шло своим чередом. Вот уж Евдокия, тяжело дыша, проковыляла в угол, обессиленно опустилась там на корточки, жадно хватая ртом спертый воздух. Вот какой-то мужчина упал и забился в истерике. Молодая женщина начала рвать на себе белую рубашку.

Хороводы рассыпались, мужчины ринулись к женщинам, женщины — к мужчинам.

Евдокия приподнялась, потянулась к лампе, висящей на стене, завернула до конца фитиль и уже в темноте снова опустилась на корточки.

— Греши, греши и ты! — заорал Зине в ухо Григорий.— Богородицей сделаю... Зря, что ли, видение было мне!

Но Зина не понимала его слов, не соображала, что он делает с ней...

...И еще прошло полгода.

Первое радение всеобщего греха потушило окончательно все проблески ее сознания, если к тому времени они еще оставались у нее, сломило окончательно ее волю, если она еще где-то теплилась в ней.

На сына она теперь не обращала внимания. С ним все время возились старухи. Что они над ним шептали, когда и чем кормили — она не интересовалась. И когда брала на руки — брала машинально, бесчувственно, точно это был не живой ребенок, а комок тряпья, неизвестно как и зачем очутившийся в ее руках.

Потом были еще радения — и простые и всеобщего греха. Зина ходила на них, уже не удивляясь, что перед ней не только расступаются «братья» и «сестры», но и кланяются ей.

Но как-то незаметно кланяться перестали, перестали и одевать ее перед уходом с молений. Она догадалась, что Григорий облюбовал себе другую богородицу — совсем молоденькую девчонку, почти девочку, недавно принятую в лоно божье... Но отнеслась к этому совершенно равнодушно.

Однажды ей приснился Митька Курганов. Он стоял в кустиках, призывно улыбался и поманивал ее пальцем. Рядом валялся почему-то велосипед.

Зина застонала, заметалась на постели и проснулась. Первой ее мыслью было: задавиться, что ли? Но тут же ее окатил холодный пот, она испуганно подумала: «А бог-то? Простит разве?» И, лежа с открытыми глазами до утра, думала: а какой он, интересно?

Первый раз за все время она попыталась представить себе бога и... не смогла. Однако это ничего не значило, бог был. Зина это знала твердо... Вероятно, он чем-то походит на Христа Григория...

Ночами она теперь подолгу и беспричинно плакала.

В это время редактора Петькина снимали с работы. Он ходил хмурый, небритый, обрюзгший. И несколько раз жаловался Зине:

— Вот, Никулина, значит, и с редакторов снимают. Отовсюду Петькина снимают. Да.

Смирнов, новый редактор, говорили, из бывших военных. И еще говорили, что он какой-то больной человек, припадочный. Зина его боялась.

А вскоре завздыхали тощие старушки, то одна, то другая: вот жизнь-то грешная нелегка, в магазинах все дорого, на базаре и того пуще. А ведь топливо на зиму припаси, обутку да одежду обнови. Белые рубахи для всеобщих радений тоже поизносились... И наконец сказали Зине прямо:

— Чего уж, доченька, второй год доживаешь. За жилье мы ни копеечки не брали. А теперь-то уж... ты не обессудь... Рубликов по сто хотя в месячишко...

— Да вы что?! — проговорила Зина.— Да за пятьдесят отдельную комнату снять можно!

— А это еще какие хозяева попадутся. А мы уж и за ребеночком твоим ходим, как за своим, и вообще удобства делали,— не отворачивая глаз, заявили старухи.— Ведь Ефимка-то когда Свищев похаживал, мы к суседкам сразу...

— Какой Ефимка?! — еще более удивилась Зина.

— Да Христос наш Гришка... В миру-то он Ефимка Свищев, на желдороге кладовщиком служит...

Зина непонимающе переводила глаза с одной старухи на другую.

— За прошлое-то мы ничего и не требуем. Ну, может, по старенькому платьишку дашь. Для тебя это не добро, а мы на базаре продадим,— как ни в чем не бывало продолжали старухи.—

А уж наперед-то по сто рублей, не меньше. Бог-то, он справедливость любит...

Однажды, придя с работы, Зина увидела, что единственный ее чемоданишко пуст.

— Это... это как же? Это что же...— только и выговорила Зина. Больше слов у нее не было.

— Да ведь сама обещала нам кой-чего из тряпья... за квартирку,— помаргивая невинно, заявила Гликерия.— Мы с сестрой Евдокией на базар снесли.

— Чего я вам обещала? Как это снесли? — повысила было голос Зина.

Но тут вмешалась Евдокия, зловеще зашипела, пристукнув по столу костлявой ладошкой:

— Чего это ишшо! Ишь, греховодница! Вот скоро причащение кровью христовой будет. Живо подскажем Григорию, чтоб обмочил твою спину-то...

Зина тотчас представила себе, как корчился от боли парень, прижатый к полу, как наклонился над ним Григорий с бритвой в руках. И примолкла.

— То-то же! — удовлетворенно промолвила Евдокия.— Вот и не вздумай тут нам... богохульствовать.

И Зина осталась почти голой. А дальше пошло еще хуже. Старухи стали забирать ежемесячно всю зарплату. Сто рублей — за квартиру, остальное — за питание. Но кормили так, что Зина всегда была голодной.

— Божье слово душу смиряет, а глад — тело,— внушали старухи.— Так и сподобишься...

Зина частенько подумывала бросить пустой чемодан у старух и подыскать себе другую квартиру. Но боялась. Как она одна с ребенком?

Однажды, возвращаясь с работы, думала невеселые свои думы. Григорий недавно предупредил — скоро радение всеобщего греха. Зина давно замечала — на молениях обшаривает ее глазами какой-то угрюмый бородатый сектант. И, услышав предупреждение Григория, содрогнулась: она знала, что произойдет на этом радении...

В переулке, словно поджидая ее, стояла Марфа, опершись на суковатый костыль. Впрочем, она действительно поджидала Зину.

— Здравствуй, касатушка. Господь с тобой, моя доченька,— заговорила Марфа.— Приметила я — все ты по этому переулочку ходишь. Как живешь-можешь-то?..

— Какая жизнь...— И Зина невольно всхлипнула, ткнулась в плечо старухе.

— Ну-ну, люди ить кругом... То-то я замечаю — неласковая ты ходишь все. Айда ко мне, на заезжем ноне никого нет...

Приведя Зину в свою каморку, Марфа опять, как в первый раз, стала поить ее чаем.

— Бабушка, бабушка, к кому ты меня толкнула! — опять заплакала Зина.— Ведь говорила — хорошие люди.

— Да ведь с богом в душе вроде... А так — кто их знал, что поганые хлыстовские обряды сполняют.

— Уйду я от них,— заявила Зина.— Пусть хоть зарежут потом, уйду. Не могу больше.

— И верно. И верно, чего тебе? — закивала Марфа.— От них, слышала я, многие уходят. Суровы шибко.— Марфа помолчала и добавила: — От них уйти можно, а от бога-то не след. И так он уж нешибко милосерден к тебе.

Зина вздохнула глубоко, прерывисто, как ребенок, которого сильно и несправедливо обидели, а теперь вот он немного успокоился и пытается не сильным еще своим умом понять — за что же?

— Скажи, бабушка, ну вот ты... Ты счастливая, довольная жизнью. Благоденствие на тебе какое-то. Как это все... пришло к тебе? — спросила задумчиво Зина.— Как его, милосердие-то, заслужить?

Старуха, кажется, не ждала этого вопроса. И тем более обрадовалась, расцвела даже.

— И-и, касатушка ты моя! — воскликнула она.— Да кака ты еще молоденька!

— Что же, мне до старости, что ли, не понять ничего?

— Поймешь, поймешь, родимая,— заторопилась старуха.— Всякие обряды тяжелые — это тьфу, богу-то они и не нужны вовсе. Христос свой крест отнес на Голгофу, своими страданиями заплатил за все грехи человеческие. Черным по белому это в святом писании объяснено все. А они, хлысты эти всякие, исусовцы... тьфу! — еще раз плюнула Марфа,— вроде и не понимают этого, все заставляют грехи людские страданием замаливать. А богом надо проникнуться просто, понять его душой. Понять и принять единожды и навсегда.

— Да как, ка-ак? — взмолилась Зина.— Они — Гликерия с Евдокией... Григорий этот — тоже ведь все говорит: проникнуться надо. А как?

Марфа помолчала, будто прикидывая что-то в уме.

— А давай-ка вот что, перепелушка моя, исделаем. Я сведу тебя завтра в одну семью. Обрядов всяких они не совершают, молитв не поют. Они Библию только изучают. Они и приютят на время. А там видно будет...

...Так Зина попала в семью озерского иеговиста Митрофана Селиванова.

Семья состояла всего из двух человек — самого Митрофана да его жены, толстой, неповоротливой, но очень доброй женщины, Екатерины Сидоровны. Впрочем, и сам Митрофан, длинный, как жердь, рябоватый мужчина, был хотя и молчалив, но добродушен и прост.

— Ну-к что, милости просим к нам,— сказал он, поглядев на Зину, когда Марфа объяснила, в чем дело.— Мы завсегда рады

помочь человеку в беде. Накорми-ка людей, Екатерина Сидоровна, чем бог послал,— и засобирался на работу. Работал он где-то в промкомбинате.— А что сынок у тебя, это ничего. Это хорошо даже, сынок-то. Пока он неразумный, мы его в ясельки, в ясельки пристроим. У меня дальняя сродственница няней там работает, она поможет устроить.

На новой квартире Зине было хорошо. Хозяева дали постель (ее матрас, подушка да одеялишко с простынями так и остались у Евдокии с Гликерией, и она махнула на все рукой — пусть пропадет лучше, чем идти к старухам), раскладушку, отвели угол. Они ни о чем не расспрашивали, с первых же дней стали относиться так, будто Зина век жила с ними.

Мальчика Селиванов действительно устроил в ясли.

По вечерам, придя с работы, Митрофан доставал Библию, подолгу сидел с ней, шевеля губами. Видимо, грамоты он был небольшой.

А частенько говорил, прежде чем сесть за свои занятия:

— Ну-ка, мать...

И жена выходила из комнаты, возвращалась, запирала двери на крючок. И только тогда подавала мужу, вынув из-за пазухи, толстую, исписанную четким почерком тетрадь. И снова Митрофан читал, шевеля губами.

Однажды он протянул тетрадь Зине:

— На-ко, почитай.

В тетрадке были переписаны какие-то статьи. Зина остановила взгляд на одной из них. Статья называлась: «Религия в политике означает войну против бога».

— Что это? — спросила Зина.

— Да ты читай, читай...

Зина стала читать. В статье рассказывалось, как в 607-м году до рождества Христова иудеи подверглись нападению и жестокой расправе со стороны Навуходоносора, царя вавилонского. Навуходоносору помогал какой-то бог Иегова, и не только помогал, но и руководил всеми его действиями. Таким образом, великий бог Иегова использовал Вавилон, чтобы привести в исполнение суд над своим мятежным народом. Потом же разгневался и жестоко покарал самого Навуходоносора.

Затем неведомый автор статьи принимался толковать, что во время второй мировой войны коммунисты служили целям демократии, помогая свергнуть Гитлера, но все же это не делает их сторонниками демократии и не исключает того, что демократы когда-либо будут бороться против коммунистов, ибо коммунисты оказывают враждебность христианству. Вот бог Иегова использовал же в своих целях идолопоклонников, а потом уничтожил их.

— Да что это? — снова спросила Зина, ничего не поняв из статьи.— Кто это такой — Иегова? При чем тут... коммунисты?

— Э-э, дочка,— протянул Селиванов, взял у нее тетрадь.— Начнем-ка мы с тобой все сначала... Спрячь-ка, мать, журнал.

— Зачем его прятать? — поинтересовалась Зина.

— Видишь ли... Истина — она всегда кровью омывается,— как-то непонятно проговорил Селиванов.— А это ведь не простая тетрадка. Это журнал наш — «Башня стражи». Увидит если его кто...

...Вскоре Зина узнала, что, оказывается, никакой не Иисус Христос, а великий Иегова «один всемогущий бог, вечно живущий и царь вечности», что этот самый Иегова «не рожден, но был создан, следовательно, не имеет начала». А Иисус Христос вовсе не равен Иегове, но является высшим его духовным созданием.

Узнала также Зина, что Сатана когда-то захотел сместить бога на его небесном троне, за что и низвергнут был с небес. Но Сатана все равно поставил под сомнение всемогущество Иеговы и поклялся отвратить от бога людей. Но Иегова изложил в Библии главные этапы, на протяжении которых люди убедятся в его всемогуществе и в бессилии Сатаны.

— И вот,— беспрестанно повторял и повторял Селиванов,— всяк, кто понял душевно эту главную идею Библии, будет на прямом и верном пути к своему спасению, а Сатана, как ни бесновался бы, бессилен будет... И придет Христос, и настанет великий день Иеговы, и разразится армагеддон, и будет, как сказал апостол Матфей, та скорбь, какой не было от начала мира доныне и не будет.

Что такое армагеддон, Зина поняла, пожалуй, раньше всего. Оказывается, произойдет рано или поздно в Палестине, близ горы Гар-Магеддон, великая битва между воинами Христа и Сатаны. Христос поразит Сатану и его темные силы, ввергнет их в бездну на тысячу лет, а затем уничтожит окончательно.

Тотчас после победы над Сатаной Христос начнет вершить праведный суд над людьми, тотчас будут уничтожены все, кто не верил в Иегову. Одновременно будут воскрешены все, кто жил праведно, верил и ждал при жизни второго пришествия Христа, хотя бы умерли они и тысячу и больше лет назад. И сотрутся все границы на земле, и будет одно справедливое теократическое государство, и будет управлять им сам Иисус Христос, сын божий...

— Это как же — на земле? — спросила однажды Зина.— А разве не возьмет нас Христос к себе на небо?

— В том и сущность и величие нашего учения, Зинаида,— сказал Селиванов.— Именно на земле будет царство божие. А небесный рай и ад — это все глупые сказки всяких иных, поганых религий. Вот, читай это место в «Башне стражи». Видишь, что им за эти сказки будет. «...Иисус Христос... вынесет свой приговор и совершит суд над всеми ложными формами богопоклонения, все ложные богопоклонения будут уничтожены.

Нераскаявшийся и необратившийся старый мир идет к своей гибели...» Счастье твое, Зинаида, что успела ты к нам прийти...

«И их, Евдокию с Гликерией, и Христа Гришку поразит господь»,— не без радостного удовлетворения подумала тогда Зина.

Понемногу Зина начала понимать, что Общество свидетелей Иеговы — большая организация, разветвленная по стране, что кто-то откуда-то ею руководит и что она сама попала в один из рядовых иеговистских кружков.

В кружке действительно не было никаких молитв, никаких обрядов. Иногда, правда, собирались по вечерам у Селивановых члены кружка, или килки, как объяснила Зине Екатерина Сидоровна, но они не прыгали, не визжали, не рвали на себе волосы, не царапали лица. Они сидели и потихоньку читали Библию, рукописные журналы «Башни стражи» или безмолвно слушали разъяснения проповедника.

Чаще всего проповеди говорил брат Семен — низкорослый, с тупым подбородком человек. Селиванов пояснил Зине, что брат Семен уважаемый человек в Обществе, что является слугой группы, которая объединяет несколько кружков в Озерках, и добавил, что этот Семен, однако, выполняет и еще кой-какие важные поручения Общества.

Этот слуга нисколько не походил на Христа Григория. Приветливый, как и Митрофан, он однажды погладил даже отечески Зину по голове, спросил:

— Ну, дочка, нравится у нас?

— Нравится...— несмело ответила Зина.

— Значит, лучше, чем в Ефимкиной секте?

Оказывается, он про нее все знал.

— Ты, брат Митрофан, помогай постичь ей мудрость Иеговы,— сказал Семен Селиванову.

— Как же, как же... И не сомневайся, брат Семен,— ответил ее квартирный хозяин.

— Вот-вот... Журнал наш переписывать давай. Она грамотная, без ошибок размножать будет. А то у нас плохо с журналами, не хватает на всех...

И Зина переписывала, сперва не особенно вникая в смысл того, что переписывает. Но постепенно начала задумываться, особенно когда приходилось ей переписывать что-то вроде этого: «С 1914 года вспыхнули две мировые войны непосредственно в сердце христианства, и во всей земной системе положение вещей ухудшается, а беспорядок увеличивается. Поднялся безбожный коммунистический великан. Он приобрел власть над третью земли, а именно над 900 с лишним миллионами людей. Христианство делает отчаянные усилия держать великана под угрозой не только затем, чтобы он глубже не проник в христианство, но чтобы он не проглотил также нехристианские нейтральные народы мира».

Однажды Зина своим четким каллиграфическим почерком вывела в тетрадке:

«...С тех пор как в 1918 году пришла к концу первая мировая война, языческие народы под водительством бога этого мира — Сатаны находились в походе к их последней битве против царства божьего. Это означает, что в 1958 году истекло сорок лет с того времени, как они находятся в походе, и ни Лига наций, ни ООН не удержали их от похода и не побудили их сложить оружие перед царством божьим...»

Вывела и спросила:

— Дядя Митрофан... Так это что же? Эти языческие народы кто? Ведь это... об нашей стране, что ли?

— А ты пиши, пиши, дочка,— улыбнулся всем своим некрасивым, рябым лицом Селиванов.— Пиши да думай. И ответ придет. Ведь божье все это.

— Божье?

— Какое же еще?! Ты пиши знай! — сказал он построже.— Да не болтай... кому не надо. Большое дело тебе доверено.

Зина и без того уже знала, что болтать не положено, что журналы, которые она переписывает, приходят из-за границы, из самой Америки,— недаром их так тщательно прячут. Иногда ей становилось от этого не по себе. Но...

Но, как бы там ни было, ей теперь было легко, во всяком случае, легче, чем до этого. А тут еще редактор газеты, Петр Иванович Смирнов, выхлопотал ей вдруг ордер на квартиру. И Зине совсем стало хорошо. Теперь как страшный, кошмарный сон вспоминались ей Гликерия с Евдокией, Христос Григорий, эти проклятые радения всеобщего греха. А ведь новый-то редактор, оказывается, не такой уж... И напрасно она его боялась... Только сильно больной человек.

И Зина из своей корректорской прислушивалась к малейшему шуму в его кабинете. И чуть что — бежала туда...

Когда Зина прощалась с Селивановым, переходя в свою квартиру, Екатерина Сидоровна напихала ей в узел всяких кренделей да ватрушек, а сам Митрофан сказал:

— Что ж, Зинаида, ступай со Христом. Ежели чем обижали тебя тут, извиняй, по-простому ведь все у нас...

— Что вы, дядя Митрофан...

— Ступай, ступай, Зинаида. Как ни ласковы люди, а свой угол, понятно, лучше. С ребенком-то одной трудненько будет. Да иногда Екатерина Сидоровна и навестит, постираться там поможет, прибраться. Ну а... Библию на вот тебе, почитывай. На студии, понятно, приходи, как положено. С сынком приходи — нянек много тут.

— Конечно, конечно, дядя Митрофан. Как же я теперь не буду ходить... И переписывать журналы буду ходить...

Зина сказала это не только в порыве благодарности Селиванову за приют и человеческую ласку. В ту минуту она была

уверена, что связана с обществом, с верой в Иегову теперь навсегда. И в первые месяцы действительно регулярно ходила вечерами к Селивановым.

Но то ли потому, что жила теперь одна и на нее никто и никак не влиял, то ли потому, что, не поняв, правда, до конца, а в чем же конечный смысл учения иеговистов, побаивалась все-таки (в самом деле — собираются тайно, как и члены секты Гришки-христа, всю свою литературу, кроме разве Библии, прячут, имена руководителей организации скрывают), Зина ходила к Селивановым все реже и реже. А потом и вовсе перестала.

Она жила теперь в новом, будто никогда раньше не известном ей мире. Сын с того времени, как она ушла от старух, ни разу не болел, рос крепким, шаловливым, звонкоголосым. Вечерами, когда Зина приносила его из яслей, он наполнял ее маленькую комнатку смехом, беспорядком, суматохой. Часто по его требованию Зина садилась на пол, начинала какую-нибудь игру. Иногда она «заигрывалась» больше, чем сын, и приходила в себя лишь после того, как мальчик просился спать...

В это время Зина нет-нет да и задумывалась о Митьке, окидывая взглядом комнату, представляла, как бы она выглядела, живи Митька здесь.

Но тут же встряхивала испуганно головой: «Нет, нет, не надо...» И снова думала о Митьке, и снова прогоняла эти мысли.

После всего, что с ней произошло, Митьке она прощать не хотела. Но и не думать о нем, с удивлением обнаружила Зина, тоже не могла.

В душе ее вроде осталась еще какая-то вера в бога. Но и веря, оказывается, можно сходить в кино или просто, уложив в кроватку сына, потихоньку включить радио и целый вечер лежать, слушать. Ни у тех старух, ни у Селивановых радио не было. А ведь какое это удовольствие! Сколько новостей, сколько музыки, сколько радости за один только вечер! Можно, оказывается, рассмеяться громко чему-нибудь (а в жизни над многим можно весело и беззаботно посмеяться!), и никто за это не осудит, не одернет.

И Зина время от времени смеялась в своей корректорской. Сперва потихоньку, по привычке глуша свой смех. Потом все громче и громче.

Библию, подаренную Селивановым, сперва почитывала иногда, пытаясь понять смысл туманных фраз. Но, может быть, больше всего потому, что понять их было нелегко, открывала эту увесистую книгу все реже и наконец спрятала на самом дне чемодана.

Несколько раз ее на улице будто случайно встречал Селиванов. Он всегда радовался и каждый раз говорил:

— А я, Зинаида, на работу иду (или с работы). Так ты чего же... на студии-то не ходишь?.. Это ведь, знаешь...

— Приду, приду скоро,— отвечала виновато Зина и неловко старалась быстрее проститься с этим в общем-то добрым человеком.

Уходя, чувствовала, что Селиванов глядит и глядит ей в спину.

Боялась Зина теперь одного — как бы не встретиться где с Христом Григорием, как бы сам он не заявился к ней. Дома всегда сидела взаперти.

У Зины оборвалось сердце, едва послышался однажды поздним вечером осторожный стук в дверь: он, Гришка...

Но это был не Гришка-Ефимка.

— А это, Зинаида Антиповна, брат Семен,— проговорили за дверью.— На минуточку, по весьма важному делу... Да Семен же Прокудин я.

Зина колебалась: открывать — не открывать?..

— Да што ты, в самом деле? Или сама выйди.

Голос, мягкий, спокойный, подкупил. Зина решила выйти.

Но едва открыла дверь, «брат» втолкнул ее обратно в комнату и по-хозяйски заложил крючок.

— Что вы делаете? Что вам надо?! — воскликнула Зина.— Ребенка разбудите...

— Я не шумливый, только сама не ори.

Прокудин бесцеремонно уселся на кровать и начал... стаскивать сапог. Электрический свет мягко поблескивал на его тупом, только сегодня выбритом подбородке.

Зина мгновение постояла, держась за край стола, и кинулась к дверям. Но «брат» Семен схватил ее на полдороге, зажал рот широкой и жесткой, как неоструганная доска, ладонью.

— К-куда! У Ефимки богородицей была, а тут брезгуешь...

...Уходил Семен Прокудин перед рассветом, не зажигая электричества.

— Заруби себе одно: из общества нашего добровольно люди не уходят,— говорил он и, кряхтя, натягивал сапоги.— Если мы их отпускаем когда, дык только на время — срок отсидеть. А сроки свидетелям Иеговы дают разные... Значит, в эту пятницу чтоб была на студии. Да гляди мне...

С этого-то времени и перестал звучать Зинин смех в корректорской, глаза ее снова заледенели. И на вопрос Петра Ивановича — что это опять с ней происходит, Зина закричала, морщась от боли: «Вам-то какое дело, если... если и опять!» — а вскоре, чтобы раз и навсегда избавиться от расспросов редактора, прямо сказала: «Давайте говорить о служебных делах».

И Петр Иванович Смирнов, пожав плечами, стал говорить с ней только о служебных. Он, насколько это было для него возможным, не упускал ее из поля зрения. И ничего необычного за ней не замечал. В редакцию она всегда являлась вовремя, работу свою выполняла аккуратно. А к ее молчаливости и ледяным глазам он привык.

И все-таки ему постоянно казалось, что с Никулиной надо бы суметь как-то поговорить не только о служебных делах. И сейчас вот, кажется, особенно необходимо...

Открылась дверь, вошла Зина с газетой в руке. Она, как Смирнов и предполагал, действительно молча положила на стол подписанный ею корректорский экземпляр и так же молча пошла назад.

— Одну минутку,— остановил ее Петр Иванович.— Ошибок нет?

— Я внимательно все прочитала. Нету.

— А вот это, посмотри,— Петр Иванович постучал карандашом по разостланной на столе газете.— В трех местах слово «бог» набрано с прописной буквы. Как же ты не заметила, Зина? Ни в гранках, ни в полосе...

Зина стояла возле стола, чуть склонив голову, печально, даже с какой-то жалостью, глядела на Петра Ивановича.

Ее шея, подбородок, голова были туго обмотаны черным платком.

Петр Иванович заметил, что повязывать платок таким образом она стала месяца два назад. И он все время хотел ей сказать, что зря она заматывается, как старуха, что шея и волосы у нее очень красивые. Но не решался. Ему казалось, он был уверен, что она снова закричит, морщась от боли.

— Так как же, Зина, ты этого не заметила? — повторил он свой вопрос.— Слово «бог» всегда пишется с маленькой буквы.

— Нет, Петр Иванович,— тихо возразила она,— слово «бог» надо писать с большой буквы.

Смирнов, стараясь вникнуть в смысл ее слов, приподнял брови. Потом опустил их и снова приподнял.

— То есть... Погоди, как это с большой?

— Так... С большой...

Вдруг резко затрещал телефон. Смирнов сразу догадался — звонит Григорьев. Секретаря райкома партии телефонистки с районного коммутатора всегда соединяли особенно старательно.

— Зайди-ка, Петр Иванович,— глуховато донеслось из трубки.

— Иду,— ответил Смирнов, положил трубку, поднял глаза на Зину.— Это почему же слово «бог» надо писать с большой буквы?!

— Потому, что это не просто слово. Это Бог,— сказала Зина и, не обращая больше внимания на Петра Ивановича, вышла.

Григорьев не сидел за своим рабочим столом, а расхаживал по длинному кабинету, время от времени поглаживая почему-то бритую голову.

— Понимаешь, была тут у меня сегодня одна девушка,— сказал он наконец.— Даже дважды была. Утром принесла заявление на тебя...

— На меня?! — удивился Петр Иванович.

— Ага, да еще какое! Будто ты... фу, черт, не выговоришь даже! В общем, будто... запугал ты, брат, ее, к сожительству склонил... И прочая ерунда.

Петр Иванович не сразу и понял, о чем речь, что такое «склонил к сожительству».

— Интересно...— промолвил он.

— Еще бы... А в обед прибежала и забрала бумагу обратно. «Зря я, говорит, ничего такого не было...» И умоляла тебе ничего не говорить. Это я уж...

— Та-ак... Кто же это?

— Корректорша твоя.

— Никулина?!

Петр Иванович встал. Впрочем, тут же снова опустился в кресло. Григорьев сел за стол, положил руки на стекло, которым были прижаты всякие списки, сводки, телефонные номера.

— Так что же это происходит с девушкой, а? — спросил Григорьев не то у Смирнова, не то сам у себя.— Вот что интересно, брат!

— Да... мне всегда казалось...— промолвил Петр Иванович.

— Что казалось?

— Да что с ней не только о служебных делах надо было говорить. Мы вот все воспитываем народ... с трибуны, через газету, как угодно... А у себя под носом... Сегодня так и ахнул: слово «бог», говорит, надо писать с большой буквы.

Григорьев быстро взглянул на Смирнова, затем постучал пальцами по стеклу.

— Не дремлют, выходит, охотнички-то за душами. А мы часто... ушами хлопаем.

— Выходит — хлопаем,— виновато проговорил Смирнов.

Глава 31

Длинный пологий увал за Зеленым Долом, по склону которого кое-где растут могучие кедры, летом обычно безлюден. По весне, когда увал покрывается нежно-зеленой травкой, здесь несколько недель пасут скот.

Но, рано вытаяв под солнцем, рано зазеленев, весь склон под тем же солнцем рано и выгорает. Под жгучими, почти всегда отвесными лучами травка, не набрав силы, никнет, валится, жухнет, рассыпается в пыль. Скот сюда уж больше не выгоняют, целое лето увал, черный, молчаливый, с завистью смотрит через деревню, через Светлиху на зеленые, искрящиеся по утрам холодно-матовой росой зареченские луга да на полыхающий всеми цветами радуги Марьин утес.

Теперь до самой зимы сюда, на увал, разве только поднимется на рассвете какой-нибудь колхозник, чтобы полюбоваться

дымной и росной зареченской неоглядью да расцвеченным первыми лучами утесом.

Зато зимой это самое оживленное место в округе. Каждый день здесь стоит ребячий смех и галдеж, усиливающийся обычно к вечеру.

И сколько молодой зеленодольский люд в щепки изломал на этом увале лыж, вдребезги поразбивал санок, поистер валенок, штанов, полушубков (ибо кататься с увала, когда залоснится спуск, можно ведь как угодно, и без всяких лыж да санок — стоя, сидя, на боку), сколько здесь расквашено носов, растеряно шапок, рукавиц — этого не знает, пожалуй, никто.

В течение каждой зимы у зеленодольской ребятни бывает несколько особенных дней. Это когда на утрамбованный ветрами и морозами снежный пласт, на разъезженные и до блеска отглянцованные спуски с увала, которым несть числа, нападает за ночь в ладонь или две свежего, мягкого снежка, а утром ударит оттепель. Молодой снежок сделается тогда влажным, липким. Тут уж не покатаешься, тут просто лыжи от налипшего на них снега не продернешь.

Тут самое время раскалывать снежные шары.

Делается это просто. Накатывается на вершине увала снежный комок величиной с арбуз, становится прямо против какого-нибудь кедра, растущего далеко у подножия увала, и сталкивается вниз.

Снежный шар катится и катится, быстро увеличиваясь в размерах, оставляя за собой неглубокую дорожку, катится со свистом, все быстрее и быстрее. Если он развалится по пути от собственной тяжести, не беда,— это даже еще лучше, потому что каждый обломок все равно устремляется вниз, наворачивает на себя липкий снег, с каждым метром снова увеличиваясь в размерах... Это лучше потому, что вероятность попадания увеличивается во много раз.

И в конце концов какой-нибудь шар да раскалывается об могучий ствол дерева, вызывая неописуемый восторг ребятишек. Раскалывается со звоном, в брызги, в пыль.

...И Пистимея Морозова, урожденная Серафима Аркадьевна Клычкова, дочь бывшего уральского купца и промышленника по прозвищу «Аркашка-монах», или «Таежный клык», несостоявшаяся золотопромышленница, глядя иногда на эти детские забавы, смутно думала, что все ее «дело» чем-то похоже на такой же вот снежный шар...

После возвращения Устина и Пистимеи из Озерков прошла ровно неделя.

Перед грозой умолкают птицы, съеживаются, ищут глухие, укромные места. Перед пожаром лесные звери тревожно нюхают воздух, мечутся по зарослям, стараясь уйти от гибели.

Примерно так же вела себя всю эту неделю Пистимея Морозова. Правда, ничего страшного еще не случилось. Устин с того дня, как пожег содержимое Демидовой папки, бревном лежит дома. Ну, это ничего, теперь не бригадир, может и полежать. Отлежится да встанет. Следователи, вызванные Захаром в колхоз, ничего, кажется, «не расследовали». Егор Кузьмин, «зятек», ходит туча тучей, но, слава богу, на все вопросы — и здесь, и в районе, куда вызывали его недавно вместе с Устином,— твердит одно: не знал, что в Пихтовой пади сено осталось. Фрол Курганов — вот молодец! — вообще послал к чертовой матери всех следователей, когда они сунулись было к нему с каким-то вопросом:

— Идите вы... И не лезьте. Приехали жуликов ловить — так ловите. А я ничего не знаю.

Присылал еще тревожные вести Семен Прокудин из Озерков — Зинку Никулину крутят там в райкоме, что ли: с чьих слов заявление на редактора написала да почему обратно взяла? Плачет, мокрохвостка, но отбивается: «Отстаньте, ничего и ни на кого я не писала, а вера в бога — мое личное дело». Хорошо, знать, ее обтесали Ефимка Свищев с Семкой Прокудиным. Да, у этих лапы-то, как у чертей, примнут — аж мясо от костей отстанет и никогда не приживет.

Да, может, все и кончится хорошо, только бы Демид убрался поскорей из этих краев. Чего он, не понимает, что ли! Тот же Семка сообщил — с Кургановым хочет свидеться Дорофей Трофимович да с племянницей Натальей Лукиной и тогда только отбудет. Посоветовала Пистимея — не время сейчас для этих свиданий, как бы не случилась беда. Да послушает ли Демид? Высоко теперь летает, далеко глядит. А далеко ли? Надо бы послушаться, как в прежние времена. Каким-то особым чутьем, которое вырабатывалось у нее годами, чует она — не время...

...Да, Пистимея чуяла. Не зря она снова начала тайком креститься своим обрубком по-староверски. Родная-то вера, может, надежнее отведет беду...

Большую часть суток она проводила в молитвенном доме. Но склонялась ли она там над Библией, возилась ли с горшками в своей избе, семенила ли, завернутая в потертый полушубок, по улицам Зеленого Дола, она видела и знала, что делают сейчас ее муж Устин, ее зять Егор Кузьмин, председатель колхоза Большаков... Она знала, что происходит в деревне, во всем районе, будто у нее сейчас было сто глаз, сто ушей, двести ноздрей... Нет, ее-то уж, если что, не застанут врасплох. Надо вот только какого-нибудь надежного человека держать под рукой. Но где его взять? На мужа нельзя теперь положиться. Был муж, да весь вышел... Разве Илюшка вот Юргин... Тоже, конечно, не шибкая надежда. Да ведь больше нет никого рядом...

Из Озерков они приехали в воскресенье. Сегодня тоже было воскресенье...

Утро вставало мутное, морозное. С заречья тянул ветерок, сдувая с крыш верхний, не окрепший еще снежок.

Несмотря на воскресенье, Захар поднялся в обычное время. Мишка уже убежал в гараж, к своей автомашине — что-то зажигание забарахлило. И Захар в одиночестве заканчивал завтрак, поглядывая на розовеющие окна.

В сенях кто-то застучал чем-то деревянным, потом слышно было — долго шарил дверную ручку. Захар уже поднялся, шагнул к порогу, но дверь открылась, и, напустив холоду, в комнату вошел Анисим Шатров.

— Это что, пропасть, что ли, настает...— произнес он, разматывая заледенелый шарф. Потом долго расстегивал окоченевшими пальцами полушубок и, скинув наконец его, прошел к столу, бренча по полу костылем, сел, ладонями обхватил горячий электрический чайник, пытаясь отогреть пальцы.— Все косточки ночью так и разламывало, едва-едва поднялся. К вечеру, однако, пурга заметет, слышишь, Захар,— сказал старик, оставляя в покое чайник.— С сивера все небо мутью заволокло. Ты это имей...

— Как же, имею в виду,— промолвил Захар, налил Анисиму чаю.— У меня у самого правое плечо — как барометр. В магазине такого не купишь.

— Ага,— кивнул старик и, зажав в ладонях стакан, долго глядел куда-то мимо Захара.— Как же — помню про твое плечо — сам, кажись, перевязывал когда-то... А я думаю — схожу пораньше, а то не застану ведь тебя...

Старик был в поношенном, но опрятном, хорошо отглаженном пиджачишке, теплом вязаном свитере, добротных новых валенках. Но все равно тепло не держалось уж в этом теле.

— Не доживу я, Захарыч, до весны, должно...— тоскливо сообщил Анисим и неглубоко, едва слышно, вздохнул.

— Ну что ты, Анисим Семеныч. Пей чай-то, грейся. Вот варенье, Мишка недавно на целый год закупил...

— Ну как же, сейчас, сейчас! — встрепенулся Анисим.— Недавно ты у меня в гостях был, а теперь я вот пожаловал...

Необычным казался Захару его приход. Какая забота привела старика?

Шатров отхлебнул раза два из стакана, долго кряхтел, шевелился, будто стараясь поудобнее устроиться на стуле.

— Я ведь что, Захарыч... Иришка-то все плачет,— сообщил он.— Днем, кажись, ладно, ничего, а ночью слышу — нет, плачет. Об чем — не говорит, да ведь чего... Митька-то, слух идет, к докторше на станцию все бегает.

Захар тоже слышал этот «слух», от Юргина, кажется, или от Антипа Никулина. И тоже понимал теперь, отчего Иринка плачет.

А старик вынул трубку, набил не спеша табаком, но прикурить по обыкновению забыл.

— И как я его, стервеца такого, проглядел, пень старый! — безжалостно обругал себя Анисим, будто в том, что случилось меж Иринкой и Митькой, виноват целиком он.

— Сложные это штуковины — люди,— проговорил невольно Захар.— Кто же знал, что меж ними... И что он, Митька...

— Не-ет, как это я-то проглядел,— упрямо возразил старик.— Я их всех наскрозь вижу — и Фролку, и Устинку Морозова, и всех других... придурков. А тут...

— Чего ты видишь? — насторожился Захар.

— Ну... может, не наскрозь,— словно желая успокоить Захара, промолвил Шатров.— Может, так, блазнится. А все ж таки он ежится под моим глазом, коробится, как береста на угольях.

— Да кто?

— А Устинка же, говорю.

Захар Большаков достал из кармана спички, чиркнул и поднес к Анисимовой трубке. Тот принялся раскуривать ее, в трубке что-то забулькало, захрипело.

— Отчего же ему коробиться, Анисим Семеныч? — словно без всякого уже интереса, спросил Большаков.

— Известно, без причины в заднем месте не колет.— И вдруг Анисим задал такой вопрос, какого Захар менее всего ожидал: — Ты Фильку-то Меньшикова помнишь?

— Филиппа Меньшикова?!

— Ну да, ну да...— помотал старик торопливо бороденкой.— Как же тебе не помнить! Плечо-то, говорю, перевязывал сам тебе. А только за меня ты пострадал, парень, меня к хвосту лошади привязать бы надо. Ведь это я Фильку-то... из амбара тогда...

— Ты?!

Захар отшатнулся от стола так, что затрещала спинка стула. Анисим невозмутимо посасывал потухшую трубку.

— Значит, ты... пол в амбаре пропилил?

— Ага, я это...

— Та-ак,— усмехнулся Захар.— И куда же Филипп делся? Может, ты знаешь, где Меньшиков до сих пор живет-поживает?

— Как не знать. В Светлихе вон.

— Как... в Светлихе?

— От непонятливый...

И только тут Захар сообразил, что мысли его ударились, видимо, не в ту сторону. И спросил хрипло:

— Ты... утопил его?

— Да, выходит...

— За что?

— Так Марью-то Воронову на утесе он ведь...

— Откуда ты узнал, что он?

— А узнал уж... Давнее дело, чего спрашивать. Дайка, что ль, чайку погорячее. Аль остыло там?

Большаков включил электрический чайник, принялся крутить папиросу.

— Ну дела-а,— промолвил он, глотнув табачного дыма.

— Так я думал — ваш-то суд еще засудит его али нет,— сказал старик.— А тут уж надежно...

— Как же ты его?

— Дык что... все это просто было. Вы его связали — да в амбар. Ночью подошел я — милиционер-то, который охранник был у дверей, спит, аж ноздри от свиста рвутся. Приволок я лопату из дому да ножовку прихватил. Подрылся под амбар, пилить потихоньку начал. Филька сообразил, что к нему. Только думал, что Демид это. «Пили, говорит, Демидушка, посильнее, милиционер храпом исходит. Коли проснется, я тут, у дверей, отвлеку его». Когда увидал, что это я, даже недовольный вроде стал: «А, это ты, Аниська... Не ждал».

Старик закашлялся от дыма Захаровой папиросы, однако сам чиркнул спичкой, разжег свою холодную трубку и продолжал:

— А потом-то что?.. Хотел я его там же, в амбаре... приколоть к полу. Да нет, думаю, пусть испытает, стерва... Выволок его на воздух. Он: «Ты руки мне развяжи».— «Успеется, говорю, топай быстрей к речке, к лодкам, спустишься вниз по Светлихе...» Согрелся чайник-то?

Захар молча налил ему новый стакан.

— Ну да... По дороге к речке почуял он неладное — все голову начал заворачивать: «Чего ты мне руки не развязываешь?» — «Не оборачивай, говорю, башку-то, не то лопатой вот снесу...» И поторапливаю его, потому что чудиться мне стало — крадется кто-то следом за нами...

— Кто же это крался? — спросил Большаков, когда старик замолчал.

— А жена его, Матрена, с дочкой. Спроси-ка сейчас у Натальи — она скажет, должно... если помнит. Должна бы помнить... Близко-то подходить побоялись, а закричать тоже нельзя. Я с Филькой на лодку, они — на другую. Плывут поодаль. Тут-то я их и разглядел. Ну, думаю, и черт с вами, глядите. Мне-то все равно... Переплыли, привел я Фильку на утес. А Матрена все за нами крадется по кустам, Наташка, слышно, хныкает... Да, привел, спрашиваю: «Узнаешь место? Тогда читай молитву...» Филипп-то, будто и правда для молитвы, на колени пал... Ну, это и хорошо — легче мне было камень ему на шею повесить. Потом, значит, спихнул его с утеса вниз. Вот так. Не помню уж, кто закричал благим матом — он ли, Филька, жена ли его в кустах... С того и тронулась она, Матрена-то, умом...

Старик выпил торопливо чай и, опять уставившись мимо Захара, принялся хрипеть холодной трубкой.

— Что же ты, дед, раньше обо всем этом молчал? — взволнованно воскликнул Захар.

— Ишь ты, какой горячий...— Анисим вынул изо рта трубку.— Да и зачем тебе знать было об том...

Большаков встал из-за стола, принялся ходить из угла в угол. Анисим сидел неподвижно, но краем глаза наблюдал за председателем.

— А то ишшо начали бы таскать меня: как дело было, да зачем, да почему... А у меня сердце и так всю жизнь кровью сочится. Зачем ковырять его?

Захар, дымя папиросой, стоял теперь у окна, глядел на улицу.

— Ну, хорошо,— обернулся он.— Ну, хорошо... А зачем ты сейчас-то мне... об Фильке?

Старик, помаргивая, ответил ровно и спокойно:

— А затем... Устинка-то Морозов, может, таким же вот Филькой где-нибудь был.

— Что-о? Ты соображаешь, об чем говоришь?

Однако на этот удивленный возглас старик только пожал плечами.

— Дык об чем блазнится... Да и тебе... и Филимону вон. Чего уж глаза-то вываливаешь? Только вас-то он обводит, а передо мной корчится, как на огне...

— Так чего же ты, Анисим, чего ж ты мне раньше никогда не говорил, что он... корчится? — снова спросил Захар Большаков.

— А ты спрашивал?

— Да как у тебя спросишь, коли ты всю жизнь как... кочан капустный! Попробуй раздень его до кочерыжки! Не разрубать же тебя, как кочан...

Старик еще пососал маленько свою трубку и, постанывая, вылез из-за стола, заковылял к порогу. Там поставил костыль к стенке, выбил на ладонь из трубки пепел, высыпал его в таз, подставленный под умывальник, и начал одеваться.

Замотав шею шарфом, вздохнул и проговорил:

— Это верно ты все, Захарыч... Сейчас ты ить сказал: человечины — это сложные штуковины. Вот и я... Что за штуковина такая прожила на свете? Зачем? Для чего? Мне и самому неведомо. Жил, небо коптил...

Анисим натянул полушубок, застегнулся.

— А токмо я и того не сказал бы тебе сейчас, кабы не догорел бы пепел вот,— указал старик на таз, в котором плавали выбитые из трубки хлопья...— Да кабы не Иринка. Ведь я что, Захарушка, пришел? Чую — одна скоро она останется. Плачет, вишь, она... Молодо-зелено. Так я попросить тебя пришел, чтоб ты ей, коль не за отца... Ну ладно, ладно, ты не говори ничего,— торопливо попросил Шатров, видя, что Захар собирается что-то сказать.— Зачем слова-то? Не надо...

Он плотно насадил шапку почти на самые глаза, взял костыль, прежним голосом продолжал:

— Да, и того не сказал бы... И не пришел бы к тебе сюда, кабы тогда, в далекий голодный год, два пуда муки мне не дал,

нам, не поддержал. Ты забыл уж, может, а я помню. Добро человеческое — оно вечно помнится. Вот и говорю — гляди за Устином. Коня он загнал, вишь ты. А с чего?

— Ну с чего? — переспросил Захар.

— А я почем знаю! — чуть повысил голос старик. Но тут же добавил потише: — С того, может, что прижигает, ему невмоготу уж, коробится, как на угольях... За женой его, этой старой ведьмой, гляди.

— Вроде глядим...

— Ой ли... Туда ли?

Анисим постоял в задумчивости, положил обе руки на костыль. Потом еще раз вздохнул:

— А может, я не туда. Ну да чего теперь? Туда, не туда — отглядел свое... А все блазнится — компания у них одна. Устинка, жена его, этот Илюшка-недоносок. Да и наше дурачье — Антипка, Овчинников Андрон, Фролка... Вот тоже Фролка-то, штуковина с хреновиной. Знавал я его, как же... Вместе по девкам шастали... А вот завернулся с чего-то, как я, в эти... как ты сказал?... в капустные листья.

— Послушай, Анисим Семеныч...— шагнул было к нему Захар.

Но старик торопливо взялся за дверную ручку.

— Нет уж, Захарушка, ты ни об чем не расспрашивай меня,— сказал Анисим.— Что знал, тебе сам сказал. За всю жизнь я, может, так подробно ни с кем не беседовал, как с тобой вот да с Петькой-редактором недавно. И то потому, что шибко уж тяжело на душе. Люди, если разобраться, всю жизнь добра мне желали и много его сделали. Это я сейчас только понял. Вот и говорю, зачало давить на душе. Вот и, думаю, облегчусь перед смертью... Уж как могу.

— Да что ты, в самом деле, умирать засобирался раньше времени? — не вытерпел Захар.

Но старик на это только махнул рукой:

— Так ты помни, об чем рассказал я...

И ушел.

Захар долго глядел на захлопнувшуюся за Анисимом дверь, сел на табурет тут же, возле порога, пытаясь хоть немного разобраться, что тут к чему.

Наскоро прибрав со стола и не переставая думать о разговоре с Шатровым, оделся, пошел к амбарам. Еще вчера вечером он хотел глянуть, как там готовят яровые семена, да не успел.

Проходя мимо усадьбы Натальи Лукиной, он замедлил шаги. А потом решительно повернул к невысокому крылечку.

Наталья встретила его каким-то испуганно-отсутствующим взглядом, прижавшись в кухонном углу.

— Здравствуй, Наталья... Да ты чего это?

— А-а, ты, Захарыч,— произнесла она, суетливо схватила стул.— Напугалась я чего-то. В сенях ты сильно стучал... Садись.

Наталья в самом деле была мертвенно-бледной. Но постепенно лицо ее отходило, на нем проступали медленно розоватые пятна. Чувствуя, видимо, это, Наталья отвернулась.

«Странно, однако...» — подумал Захар, присаживаясь. Вслух же спросил:

— Чего тебе в собственном дому пугаться?

— Ох, Захар...— промолвила она, не оборачиваясь.— Многого я боюсь...

И Наталья замолчала. Захар подождал-подождал и спросил:

— Значит, это верно, что Анисим... отца твоего, Филиппа Меньшикова...

Покачнувшись, Наталья начала тихонько оседать. Она упала бы, но Захар сорвался со стула, подхватил ее.

— Наталья... Слушай, Наталья...— затормошил ее Большаков.— Да чего ты...

И тогда она, обмякшая, уронила ему на плечо голову, заплакала навзрыд.

— Вот с того дня, как Анисим... я и боюсь всего, Захарыч...— еле выговорила она сквозь слезы.— Я ведь давно хотела обо всем поговорить с тобой... А в первую голову об Устине Морозове, да не решалась все...

Захар не удивился и при имени Устина Морозова. Ему почему-то казалось, что так все и должно было случиться, именно о нем и должна была заговорить Наталья.

— Ты успокойся... Успокойся, Наталья,— погладил он ее плечо.— Садись вот. Ну-ка, расскажи... про Устина...

— Я сейчас, я сейчас...— по-детски всхлипнула Наталья.— Может, чайку попьешь?

— Пил уже только что, с Анисимом.

Наталья присела к столу, поправила выбившиеся из-под платка волосы, концом этого же платка вытерла мокрые глаза. Захар сел с другого краю.

Лукина еще тяжело дышала. Большаков терпеливо ждал, пока она успокоится.

— Ну вот,— промолвила наконец женщина.— Мать, значит, помешалась тогда умом... помнишь же. Потом померла. А я ничего, отошла. Солнышко мне заулыбалось... А тут вскоре приезжий, Устин Морозов, чувствую, как коршун, меня высматривать начал...

...Долог был рассказ Натальи. Но Большаков ни разу не перебил ее. Он слушал, хмурясь все больше и больше, да иногда начинал нервно постукивать костяшками пальцев по столу. Стук этот почему-то пугал Наталью, она сбивалась. Захар убирал руку со стола.

— ...И вот, Захар, все казалось мне — живой еще дядюшка мой Демид, отцов младший брат, и Морозов знает, где он...— заканчивала Наталья.— И не напрасно, однако, казалось... Вчера пришло письмо... вот оно, почитай.

Наталья прошла к этажерке, вынула из черной палехской шкатулки конверт, протянула его Большакову. Но в это время в сенях затопал кто-то, рванул дверь. В избу ворвался Филимон Колесников, закричал:

— Захар! Беда!! А я по всей деревне тебя ищу...

— Какая беда?! — обомлел Большаков, вскакивая. В мозгу заметалось: «Пожар где-нибудь приключился? Не сено ли сгорело? Коровы за ночь попадали?» — Какая... Что там случилось?

— Игнатий Круглов, ручьевский бригадир, звонил. Там у них, у этих богомолов Уваровых...

— Да что у богомолов? Говори толком...

— Толком я и сам не знаю. Уваровы эти, говорит Круглов, врача Краснову собаками затравили.

— Краснову?! Как собаками?

Но дожидаться ответа не стал. Сунув машинально письмо в карман, председатель выскочил на улицу и побежал в контору, к телефону. Колесников — за ним.

Через пять минут он знал уже все, что произошло в бригаде у Круглова. Глава уваровского рода, старик Евдоким, ночью заставил жену одного из своих сыновей, того самого Исидора, что недавно разорвал в военкомате документы, стать голыми коленками в снег и всю ночь замаливать какие-то грехи. Рано утром колхозники заметили в ограде уваровского дома полузамерзшую женщину. Не обращая внимания на двух огромных псов, рвавшихся с цепей, они подняли уже бесчувственную жену Исидора, Анну, внесли в дом и погнали машину в станционный поселок за врачом. Елену Степановну привезли в колхоз еще до солнцевосхода. Возле калитки ее встретил сам Евдоким, затряс костылем:

— Куда? Не погань подворья, не позволю! Сами, коли что, выходим, святой молитвой...

— Пустите же! — воскликнула Елена Степановна, оттолкнула старика, вбежала в калитку.

Двери в дом оказались запертыми. Стоя на высоком крыльце, Елена Степановна колотила в дверь кулаками.

А старик Уваров тем временем не спеша запер калитку, не торопясь проковылял в глубь двора и спустил с цепей обеих собак. Свирепые псы, каждый чуть не с годовалого теленка, сволокли Елену Степановну с крыльца, повалили в снег...

Когда толпившиеся на улице колхозники вбежали во двор и палками разогнали собак, окровавленная девушка была уже без сознания.

Игнат Круглов сообщил обо всем в район. Оттуда выехали «скорая помощь» и милиция...

— Ну-ка, кто там...— кончив говорить по телефону, крикнул Захар в бухгалтерию.— Сбегайте в гараж, пусть мой «газик» сюда подгонят...

И молча принялся шагать по кабинету, не находя себе места.

— Из района-то успеют ли пробиться? — проговорил подошедший Корнеев.— Мести зачинает.

— Да? — Захар поглядел в окно. По улицам уже ползали, извиваясь, как живые, длинные снежные струи. Когда бежал в контору, он как-то не заметил их.— Верно, черт! Гляди, Борис Дементьевич, чтоб все в порядке тут...

— Как же не глядеть... Все проверил сейчас. Фрола Курганова нет только на месте. В Озерки, что ли, до свету уехал...

— Как уехал? Зачем? Ты, что ли, отпустил?

— У меня он не спрашивался. Я думал, у тебя...

За окном зашумела машина.

— Ну ладно, там разберемся.— Председатель заторопился на улицу.

— Захар, возьми. Непогодь все-таки.— Филимон Колесников сорвал со стены тяжелый тулуп.

— Ага, давай... Ну, поехал... Да,— обернулся Захар у самого порога,— с Морозовых глаз мне не спускайте, с обоих. Приеду — тоже разберемся...

...«Газик» рванулся, стремительно выкатился за деревню. Здесь, оказывается, свистела уже почти настоящая метель. Дорогу еще не перемело, но встречь неслись упругие белые ленты поземки, грозя разрезать машину на несколько частей. Потом «газик» нырнул в лес, стало потише.

Захар, глядя вперед, на качающиеся под ветром деревья, думал об Устине Морозове. «Если правда все то, о чем рассказала Наталья, то что же это за птица? И ведь Анисим, собственно, о том же... А мы со Смирновым недавно: «Не иеговист ли он, не пятидесятник?» Какой, к черту... А впрочем, в этих сектах кого только нет! Может, в самую десятку угадал редактор?»

«Газик» снова выскочил на открытое поле. Ветер гнал снежную пыль теперь по всей ширине дорожного полотна, и оно дымилось, дымилось, словно собираясь вспыхнуть настоящим огнем.

Брезентовый верх «газика» продувало насквозь, и Захар продрог. Он попросил шофера остановиться, взял с заднего сиденья тулуп, натянул его. Снова поехали. И только тут Захар вспомнил о письме, которое дала Наталья.

В письме было всего три фразы: «Здравствуй, племянница. Каково поживаешь? Приезжай в эту среду на базар».

Ни подписи, ни даты — ничего.

«Так вон отчего Наталья... напуганная такая! — только сейчас встрепенулся Захар.— Там, в деревне, как-то смялись ее последние слова из-за прихода Филимона, оглушил он своим криком: «Беда!» Но ведь это... это же делать что-то надо немедля!..»

А «газик» меж тем снова юркнул в лес. Сразу стало темнее. Но Захар все-таки разглядел штамп на конверте. Письмо было послано из Озерков два дня назад.

Лесной полусумрак, глухой шум деревьев успокоили немного Захара. «В среду на базар,— подумал он.— Ладно, сегодня воскресенье только. Вернусь — обдумаем. Секретарю райкома, Григорьеву, позвонить, видно, надо...»

Снова поредел лес, а вскоре замаячили впереди крайние домишки Ручьевки. «Газик» стал у бригадной конторы. С крыльца закричали:

— У Игната Прохоровича в квартире она лежит! А Уварова в своем дому...— Видимо, Круглов предусмотрительно поставил тут дежурить человека.

...Елена Степановна лежала на кровати, перемотанная чистыми тряпками. Только голова была забинтована настоящими, больничными бинтами. Она лежала безмолвно и, кажется, даже не дышала. Вкруг нее хлопотали женщины, прикладывая к телу какие-то примочки. Тут же находился сам Игнат Круглов.

— Ну?! — спросил Большаков.

— Ничего... Кровь остановили,— сказал Круглов.— Скоро должны уж врачи подъехать.

— Сильно ее?

— Порядочно. У Евдокима не собаки — волки. Айда пока к ним! Анна все спрашивает почто-то, приехал ли ты...

— Пойдем.

По дороге к Уваровым Игнат Круглов проговорил негромко и виновато:

— Не стонет Краснова, не мечется. Плачет только... молча. Лицо ведь попортили псы ей... рубцы, должно, будут...

Анна Уварова, в отличие от Красновой, металась в жару на кровати, стонала, хватала воздух пересохшими губами. Вокруг нее тоже хлопотали приставленные Кругловым женщины. Ни самого Евдокима, ни Исидора в доме не было. Оказывается, Круглов велел отвести их на всякий случай в контору, под присмотр троих мужиков. И псов тоже распорядился убрать.

Увидев председателя, Анна приподнялась на постели.

— Ты это, Захар? — спросила она.— Ну вот, ну вот... Не могу я больше, мочи нет. На... —И она сняла с шеи длинный ключ, протянула Большакову.— Тебе хотела передать в собственные руки. Чтоб надежнее...— И она снова упала на кровать.

Никто ничего не понимал. Захар взял ключ, повертел его в руках.

— Погоди-ка, Анна,— подошел к ней Круглов.— Ты объясни...

— Сами все поймете... Лезьте в подпол... Ох, горят у меня ноги! И все нутро...

— Да что им открывать в подполе?

— Погоди, Игнат,— сказал, в свою очередь, Большаков.— Засвети фонарь какой или лампу.

Он открыл крышку подпола, сбросил мешающий ему полушубок и полез вниз. В подполе было темно, сыро, пахло гнилью

и плесенью. Бледноватый, неровный свет лампы, которую держал Круглов, с трудом рассеял темень, осветил угол, загаженный кошками, заплясал на невысокой двери из плах. В противоположном углу, прижатая к земляной стене светом фонаря, притаилась кошка. Два ее глаза разгорались зеленовато-безумным пламенем.

Захар шагнул к двери в земляной стене. Кошка дико мяукнула и метнулась вдоль стены к лазейке.

Захар разглядел в двери замочную скважину, сунул туда ключ, повернул его. За дверью оказался какой-то узкий туннель.

Обшитый неоструганными прогнившими досками, сквозь которые сыпалась земля, подземный ход метра через три завернул круто вправо и привел Большакова с Кругловым еще к одной двери, обитой крест-накрест полосовым железом. Эта дверь была массивнее прежней, крепче, новее. Впрочем, некоторые доски из обшивки подземного хода тоже были новыми, видно, совсем недавно поставленными вместо сгнивших.

Захар открыл ее тем же ключом, толкнул. И они с Кругловым увидели небольшую комнату, если это можно было назвать комнатой. Четыре шага в длину, три в ширину. Высокие пятиметровые стены из тех же неоструганных плах — черные, прогнившие насквозь доски чередовались с белыми, недавно поставленными взамен сопревших. И наверху, в потолке, небольшое заледенелое оконце. Оно было черным, только поперек, как сквозь щелястый закрытый ставень, чуть пробивались три узенькие светлые полоски. Оконце, как в тюрьме, было густо перекрещено толстыми железными прутьями. В одном углу стоял некрашеный стол и стул, в другом — что-то наподобие нар. На нарах лежало тряпье, а на тряпье — лохматый, заросший грязью человек.

Захар, ошеломленный, стоял с ключом в руке и молча глядел на странного жителя подземелья.

— Да он живой ли? — проговорил Круглов.

— Живой как червяк земной,— ответил человек, не шевелясь.

С потолка, прикрытая большим металлическим абажуром, свисала небольшая керосиновая лампа.

Человек на нарах медленно приподнялся, сел и долго смотрел на Большакова с Кругловым провалившимися черными глазами. В них ничего не отражалось, как у слепого. Воскового цвета кожа на скулах была так тонка и прозрачна, что казалось — редковатые, грязного цвета волосы растут прямо на лицевых костях.

— Да ты... кто? — спросил Круглов.

Вместо ответа человек, не вставая с нар, плюнул в сторону лохани, но не попал, тяжелый плевок шлепнулся на пол. Затем почесал плоскую грудь сквозь измятую, влажную и прилипающую к телу рубашку, прошел к столу, на котором стоял котелок, лежал кусок хлеба, и начал молча и торопливо есть. Одной

рукой он держал котелок, другой быстро черпал деревянной ложкой. Вычерпав котелок, облизал со всех сторон ложку и, уставившись взглядом в стену, стал жевать хлеб. Крошки сыпались на стол, он сгребал их в дрожащую, такую же желтую, как лицо, ладонь и тоже кидал в заросший рот.

— Подстригли бы, что ли, меня,— проговорил вдруг человек, расцарапывая ногтями грязь на голове.

И тут Круглов чуть не выронил лампу, закричал:

— Ленька?! Да ведь это... Ленька Уваров, старший сын Исидора, что в сорок четвертом, осенью, в Светлихе утонул!..

От этого крика человек, царапавший голову, вздрогнул. Рука его упала с мягким стуком на грязный, засаленный стол.

— Ленька! Ты ли это? — качнулся к столу Круглов.

Человек вскочил, отпрянул в угол и уже оттуда оскалился, как зверь, сжимая в руках пустой котелок.

— А вы... вы кто? — прохрипел он, дрожа всем телом.— Вы откуда? Что надо?

Круглов опомнился, почувствовав, что председатель крепко сжимает его руку и тянет к выходу.

— Но, Захар... это ведь... Разве можно его тут оставлять?

— Нельзя,— проговорил Захар Большаков, кажется, не разжимая губ.— И выводить его отсюда без милиции не следует. Дело тут, видать, не шуточное...

...Анна по-прежнему металась на кровати. Она то стонала, то выкрикивала беспрерывно: «Леня! Ленюшка, сыночек мой...»

Бредила она или была в сознании — понять никто не мог. Женщины, хлопотавшие вокруг ее кровати, вопросительно глядели на председателя с бригадиром, но ничего не спрашивали, понимая, что скоро и без того станет все известно.

Большаков взял из рук бригадира лампу, поставил на стол, сказал:

— Ступай позвони. Скоро там врачи и... милиция...

Затем подошел к больной, склонился над ней, положил ей на лоб ладонь.

— Анна, Анна! — дважды проговорил он.— Ты слышишь меня?

Женщина затихла, чуть кивнула головой и заплакала.

— Ничего, теперь все хорошо будет. Ты расскажи, как же это... С Ленькой?.. И за что тебя на мороз?

По горячим щекам женщины обильно потекли слезы.

— Ну хорошо, хорошо... Потом расскажешь, когда выздоровеешь,— чтобы успокоить ее, сказал Захар.

— Нет,— снова пошевелила головой Анна.— Может, я и не выздоровлю. А сыночка моего он, Евдоким, в подземелье... А сам переполох поднял — утонул, мол... Все по наущению и благословению... матери Серафимы.

— Что за Серафима такая?

— Дык ваша... зеленодольская, проклятая, в миру — Пистимея Морозова.

В голову Захара словно молотком заколотили. Он медленно начал поднимать над кроватью голову, точно хотел уклониться от этих ударов, медленно, с трудом поднялся. А женщина продолжала говорить, через силу выталкивая иногда слова по одному:

— Она ить, Серафима, самолично иногда спускалась к Ленюшке. Все божьей карой грозилась. И отшибла у ребенка ум. Когда Исидор пришел с фронту, и его запугали с Евдокимом... И меня. Шутка ли, мол, сына... От армии... от войны... укрыли. Не погладят, мол, за это... Сколько я слез тайком пролила... А потом не стало их, слез-то. Кончились. Сказала я — не могу больше, объявлю всем людям, пойду... Евдоким-то и сказал тогда — бес в тебе заговорил! И заставил... меня... выморозить его... беса.

Большаков слышал и не слышал ее последние слова. Перед глазами его запрыгали строчки: «Здравствуй, племянница. Каково поживаешь? Приезжай в эту среду на базар». Опять в голове заметалось: «Но ведь надо же что-то делать, немедля... хотя и в среду только на базар зовут. Кто зовет? И что сейчас можно было сделать, в этакую непогодь?»

За окном выло и стонало. Ветер свистел в печной трубе, рвал оконные стекла и в бессильной ярости кидал в них целыми ведрами снега.

Слишком много обрушилось сегодня на Захара событий. И он не то чтобы растерялся, но как-то не мог пока связать их одно с другим, хотя чувствовал уже, что какая-то связь между ними существует.

Из-за стона ветра никто не расслышал шума шагов на крыльце и в сенях. Дверь в избу раскрылась тоже бесшумно, и через порог переступили три заляпанные снегом фигуры. В одной из них Большаков узнал старшую дочь Круглова, в другой — Веру Михайловну Смирнову. Третий — мужчина — был Захару незнаком. Но Большаков понял, что это тоже врач и что возле Красновой они уже побывали.

Вера Михайловна торопливо раздевалась. Мужчина спросил горячей воды, чтобы вымыть руки.

— Хорошо хоть, что врачи раньше милиции поспели,— сказал Захар.

— Да, да,— ответил мужчина, взглянув поверх очков на Большакова.— Я попрошу кого-нибудь из женщин остаться, остальным выйти.

Захар оделся и вышел. На улице хлестала самая свирепая пурга. Ветер чуть не сорвал с него и не унес в белую муть шапку. В последнюю секунду Большаков успел схватить ее рукой. «Как еще пробились? — подумал он о врачах.— А милиция ведь может застрять. Давно ли выехали? Что там Круглов вызвонил?»

Большаков хотел было бежать в контору, но вдруг подумал: а куда же выходит из Ленькиного подземелья зарешеченное оконце в потолке? Он припомнил, как они с Кругловым шли по узкому туннелю. Метра через три туннель круто завернул вправо. Значит, оконце должно быть где-то здесь, во внутреннем дворе. Но где?

Весь двор, когда-то чисто разметенный от снега, сейчас вновь был засыпан сугробами. В самом углу двора стоял огромный, на двое ворот, сарай. Одни ворота были распахнуты,— видимо, ветром. К ним и шагнул Захар.

Первое, что увидел Большаков, заглянув в сарай, были куры. Нахохлившись от непогоды, они сидели на кучах всякой рухляди, наваленной по углам.

Потом Захар разглядел в щелястом деревянном полу что-то вроде крышки люка без кольца, без всякой ручки. В углу заметил крючок из толстой проволоки, поднял его, сунул в щель между досками, потянул...

Это был действительно люк. Он был застеклен.

Захлопнув люк и прикрыв ворота, Большаков заспешил в контору. Мокрый снег давно облепил его с ног до головы, в лицо словно хлестали тяжелыми мокрыми тряпками. Захар, отворачиваясь от свирепого ветра, шел, ничего не видя, на ощупь.

Неожиданно он столкнулся с кем-то, услышал взволнованный голос Круглова:

— Захар?! Еще новость... Там, в Озерках...

Но дальнейшие слова бригадира заглушил порыв ветра.

— Что — в Озерках? — стараясь пересилить свист пурги, закричал Большаков.— Милиция выехала?

— Выехала! — прокричал в ответ Круглов.— Там, говорят, Демида арестовали...

— Какого... Демида?

— Да вашего бывшего, Меньшикова...

Но Захар, прежде чем переспросить, и сам обо всем догадался. «Ну вот... наконец-то!» — вздохнул он, освобождаясь от какой-то тяжести. Он, хотя и не знал точно, кто прислал письмо Наталье, каким-то подсознательным чутьем все же ощущал, что это Демид. И так же подсознательно опасался, как бы Демид не скрылся бесследно раньше времени, узнав о событиях в Ручьевке. Почему эти события могли напугать Меньшикова, Захар не в состоянии был бы объяснить. Но тоже, оказывается, смутно предполагал — могли. «Что ж, теперь не надо Наталье в среду ехать в Озерки»,— опять подумал Захар с тем же облегчением и спросил:

— Как же его... и где взяли?

— Этого не знаю. Там где-то на линии провода ветром захлестывает все время. Подробно не поговоришь.

— Пошли-ка опять в контору.

В конторе Захар долго крутил телефон. Но в трубке слышался только визг и треск. Наконец еле слышно отозвалась телефонистка районного коммутатора. Захар попросил вызвать или милицию, или секретаря райкома Григорьева, или квартиру редактора районной газеты Смирнова.

— Говорите скорее, пока опять не замкнуло,— предупредила телефонистка и соединила его со Смирновым.

Редактор газеты сообщил, что два часа назад Фрол Курганов приволок в милицию Демида Меньшикова и еще какого-то Семена Прокудина. Все трое были окровавлены, у Курганова оказались две ножевые раны, правда, неопасные. Когда стали спрашивать, что за людей он привел, что вообще случилось, Курганов выложил на стол пистолет и нож со словами: «А вот разбирайтесь...»

— Вот и все, что я сам знаю! — прокричал в трубку Петр Иванович.— На улице черт-те что творится, выйти не решаюсь. Вера Михайловна доехала?

— Тут уже, Петр Иванович. Тут,— успокоил Смирнова Захар.

— Ага... А Елена Степановна как?

— Хорошего мало... Но вроде выживет...

Смирнов несколько секунд помолчал. Захар тоже молча держал трубку.

— Фрол Курганов, видимо, отобрал в драке с Меньшиковым и этим Прокудиным нож и пистолет,— сказал наконец Смирнов.— Ты слышишь меня? Как еще они не пристрелили его...

В трубке защелкало, засвистело, и все смолкло. Видимо, провода опять где-то захлестнуло, а может быть, пурга завалила телеграфный столб.

— Значит, вот так,— вешая бесполезную теперь трубку телефона, сказал Захар.— Фрол его, оказывается, арестовал.

— Фрол? Курганов, что ли? — удивленно переспросил Круглов.

Но председатель уже не ответил. Он снова принялся крутить телефон. «А Устин-то! — тревожно металось у него в голове.— Как же у меня вышибло. Вот кто может теперь скрыться, если правда все то, о чем говорила Наталья... Как бы не проглядели Корнеев с Колесниковым, понадеявшись на непогоду. Надо их еще предупредить...»

Но трубка по-прежнему была мертва.

— Э-э, черт! — выругался Захар и быстро пошел из конторы. На крыльце остановился, подал ключ от уваровского подземелья Круглову: — Приедет милиция — доставайте Леньку. И чтоб свидетели были... Ну, да милиция знает. А я... мне обязательно надо в Зеленый Дол. Где моя машина?

— Там же, возле моей хаты, стоит. Только ведь...

В глубине снежного месива засветились автомобильные фары, потом замаячило черное пятно.

18*

— Это милиция,— сказал Круглов.

— Ага, тем лучше. Сколько их приехало?

Милиционеров оказалось двое. Большаков тотчас же попросил одного из них ехать с ним в Зеленый Дол.

— Да что у вас тут, целое разбойничье гнездо, что ли?! — воскликнул недовольно один из милиционеров, которому очень не хотелось снова куда-то тащиться сквозь пургу.

— Видно, гнездо,— мрачно сказал Захар.— А выводки по всему району расползлись.— И повернулся к шоферу: — Лопата есть? Мосты оба ведущие?

— Оба-то оба,— буркнул шофер.— Да ведь не пробьемся теперь, однако.

— Надо, браток, пробиться,— сказал Большаков.

...Через минуту милицейская машина с трудом развернулась по глубокому снегу и утонула в ревущей снежной круговерти.

А в Зеленом Доле меж тем происходило следующее...

Пистимея, с утра беспокойно крутившаяся возле окон, видела, как Анисим Шатров проковылял к дому Захара Большакова. Она проводила его взглядом до самых дверей, незаметно перекрестилась и начала шептать молитву.

Однако Устин, лежа на кровати, все увидел, услышал и мрачно усмехнулся.

— Господи, чего ты,— сказала она.

— Ничего. Жрать давай,— ответил Устин.

Гремя заслонкой и чугунами, Пистимея не спускала глаз с председательского дома. Вот из него вышел Анисим... Затем показался сам Захар. Тут уж старуха, забыв о недочищенной картошке, просто прильнула к стеклу.

Захар шагал по улице, направляясь, кажется, в сторону амбаров. Пистимея следила за ним, пока было возможно, затем набросила шаленку и выскочила на улицу.

Когда вернулась и, присев у окна же на лавку, снова принялась за картошку, руки ее подрагивали. Картофелины часто выскальзывали, плюхались обратно в ведро с водой.

— Ну, кто там куда направился? — все тем же насмешливым голосом спросил Устин.— С чего ты вдруг каждый след начала нюхать? Подпирает, что ли?

Пистимея со зла бросила теперь картофелину обратно в ведро сама. Но тут же подавила в себе эту секундную вспышку, продолжала свое дело.

В ведро падали и падали длинные картофельные стружки. Устин все глядел и глядел на жену, чуть злорадно прищурясь. И тогда она промолвила:

— Председатель это пошел... к Наталье. А ты еще... скалишься!

— Ну и что с того? Он ко многим ходит.

— Дурак! — в сердцах буркнула Пистимея. Но тут же прибавила жалобно: — Прости ты меня, господи.

— Вот и дождался от тебя ласкового словца,— сказал Устин и отвернулся к стене.

— Так ведь к Наталье, говорю, пошел... К Наталье...

— А-а, пусть хоть к самому сатане.

В голосе Устина была теперь усталость и безразличие. Пистимея долго-долго глядела на мужа. Потом тихонько положила кухонный ножик, неслышно оделась, словно остерегалась, как бы не услышал муж, и побежала в молитвенный дом.

...Вернулась она бледная как полотно. Устин лежал в прежней позе, словно неживой. Печь прогорела. Старуха подкинула туда дров, внимательно глядела, как они разгораются. В одной руке снова держала нож, в другой — картофелину.

В избу заскочил Илюшка Юргин, закричал:

— Слыхали, а?! В Ручьевке-то что приключилось! Захар туда укатил...

— Тише ты,— попросила Пистимея.— Вишь, спит Устин. Ступай, ступай...

— То есть как «ступай»! — удивился Юргин.— А я говорю — в Ручьевке-то... Ведь эдак, ежели что... и нас... Недаром же ты сказала вчера — будь под рукой...

— Да пошел ты отсюда! — крикнула Пистимея, заглушая его последние слова. И принялась выталкивать Юргина в сени.

Устин, однако, не спал. Он слышал, как в сенях жена и Юргин о чем-то долго разговаривали. Голоса то усиливались, то затихали. Но слов из-за свиста ветра за окнами разобрать было нельзя.

Наконец Юргин ушел, хлопнув дверью. Пистимея вернулась к печке.

— Ты дашь сегодня позавтракать или нет? — раздраженно спросил Устин.— Или с голоду решила уморить?

Пистимея сидела возле печки, задумчивая, положив маленькие, сморщенные руки на высохшие коленки. Маленькая головка, туго обмотанная черным платком, была глубоко втянута в плечи.

Голос мужа заставил ее вздрогнуть. Она зачем-то принялась разглаживать ладонями юбку на коленях, потом сказала:

— Скоро, скоро... накормлю уж... Устинушка. Приставила уж варево.

— Чего там Илюшка болтал? Что в Ручьевке случилось?

— Дык это... Уваровские собаки докторшу покусали. Эту Краснову, что уколы приезжала делать.

Об Анне Уваровой, простоявшей чуть не всю ночь на коленях в снегу, Пистимея говорить ничего не стала.

В комнате надолго установилось безмолвие, точно в ней не было ни одной живой души. Лишь тоскливо пело в трубе, да ветер, налетая порывами, дребезжал оконными стеклами.

Пистимея перекрестилась, вздохнула и встала. Она заглянула в печку, затем, не разгибаясь, повернула голову к дверям и так

застыла, окаменела — у порога стояла уборщица конторы Наталья Лукина.

— Иди в контору,— сказала Наталья.— Больная тебя зовет.

— Ка... какая еще больная? — Пистимея с трудом выпрямилась. В позвоночнике ее что-то щелкнуло, будто переломилось.

— Да Марфа Кузьмина. Занедужила, говорит, что-то. Об чем-то спросить хочет.

— Она ведь... Приехала с Озерков, что ли, она?

— Зачем... По телефону просит.

Больше ни о чем не спрашивая, Пистимея кинулась на улицу.

В колхозной конторе по случаю воскресенья никого не было, на недомытом полу стояло ведро с грязной водой, валялась мокрая тряпка.

Запыхавшаяся от быстрой ходьбы Пистимея чуть не опрокинула это ведро. Еще не успев поднести трубку к уху, она закричала, косясь на дверь,— Наталью она оставила на несколько шагов позади:

— Марфушка? Я слушаю. Ага, я... Чего? Кто просил передать? Дочка Семена Прокудина? А что? Говори громче, щелкает в трубке-то, аж в голове звенит. Что? Фрол... Дорофея Трофимыча... и Семена в мили... О господи! О гос...

И Пистимея смолкла, едва вошла Наталья. Поджав губы, она только слушала, уставив стекленеющие глаза на Лукину. Раздевшись, Наталья принялась домывать пол.

А потом вошел в контору Филимон Колесников в наспех накинутом полушубке.

— Что это тут? В чем дело? — спросил он.— Гляжу в окно — вы наперегонки с Пистимеей бегаете.

— Да вон,— указала Наталья мокрой тряпкой на телефон.— Егорки Кузьмина мать, что ли, захворала.

— Ага, ладно, Марфушка,— заговорила наконец в трубку Пистимея осипшим голосом, отворачиваясь от цепкого взгляда Филимона.— Все понятно... Дык ты, значит, эдак сделай: три пучка богородской травки возьми да стебелька четыре подорожника. Ага... а в аптеке березовых почек спроси. И завари травушку, а как закипит, подорожник туда брось да ложку этих почек. И пей на ночь... Ну все. Разведреет — я навещу тебя. А сейчас вот побегу домой, накормлю Устина — да в молитвенный дом... Помолюсь за тебя.

Повесила трубку и, ни на кого не глядя, пошла из конторы.

— Что там с Марфой? — спросил Устин, едва она показалась в дверях.

— Ничего... Бог милостив. Сейчас, сейчас накормлю тебя! И заметалась по избе.

Всегда была Пистимея услужлива, но, возможно, никогда она так не суетилась, чтоб угодить мужу. Впрочем, Устин не заметил этой ее торопливости, а вернее — не обратил никакого внимания. Буря за окном, Захар, Демид, больная Марфа, собственная

жена — все ему было сейчас безразлично. Ел он в последние дни тоже без всякого интереса и разбора, не ощущая даже вкуса.

Однако сейчас, когда жена собрала на стол, он хлебнул ложку-другую и тупо уставился в тарелку.

— Горчит, что ли, а? — поднял он глаза на жену.

Возле Пистимеи тоже стояла полная тарелка, но она не притрагивалась еще к ней. То резала хлеб, то бегала беспрерывно к шкафу с посудой, к печке. И слова мужа застали ее возле печки.

Пистимея спокойно подошла к своей тарелке, зачерпнула в ложку немного супа, попробовала:

— Верно, чем-то припахивает. Уголек, может, упал какой или щепочка.

— Щепочка?! — переспросил Устин, и в глазах его метнулось что-то нехорошее. Однако он еще хлебнул ложку.— Не-ет, ты у меня попробуй.

— Господи! — всхлипнула Пистимея.— Да ты в уме ли, Устинушка?! Что у тебя на мыслях-то! Недавно молол насчет Варьки что-то... С одной ведь чугунки наливала тебе и себе, ты же видел.

Устин это действительно видел. Но все-таки стукнул кулаком по столу.

— Пробуй, тебе говорят!

Тогда Пистимея вытерла слезы фартуком, переставила его тарелку к себе, а свою пододвинула мужу. И молча начала есть, временами по-прежнему всхлипывая.

Это Устина успокоило. Когда у жены осталось супа полтарелки, он склонился над своей, быстро опростал ее. Съел потом половину курицы, выпил стакан чаю и снова завалился на кровать.

А Пистимея торопливо выскочила в сени, прихватив с собой пустую литровую кружку, оттуда в коровник. Пестрая корова, тяжело отдуваясь, равнодушно жевала свою жвачку. За загородкой глухо постукивали копытцами по деревянному настилу две овцы.

Пистимея легла животом на эту загородку, глубоко засунула в рот два пальца...

Рвало ее долго, но не сильно. Только что съеденный суп выливался под ноги овцам маленькими порциями, пузырясь и застывая на унавоженных досках. Но старуха все пихала и пихала в рот холодные пальцы.

Когда ее начало выворачивать насухую, она, пошатываясь, пробрела с кружкой к корове, присела и начала дергать ее беспалой рукой за соски. Скоро кружка была полной. Почти без передыха она выпила все молоко и снова принялась доить...

А потом опять легла животом на овечью загородку...

Кружку старуха оставила там же, в коровнике. Она ей больше была не нужна.

В избу она вернулась с бидоном керосина. Устин, обливаясь потом (даже борода у него вся смокла и словно прилипла к груди), лежал на спине и тяжело дышал, жадно открывая рот. Он не закричал, увидев жену, хотя силы на то, чтобы крикнуть, у него, пожалуй, еще хватило бы. Он только спросил у нее тоскливо, задыхаясь:

— Зачем же ты... этак-то уж? И за что?

Пистимея не ответила. Не обращая на мужа никакого внимания, она раскрыла сундуки и чемоданы, начала вытряхивать на пол всякое тряпье.

— Ведь я все равно бы сам... Я все обдумывал, как мне лучше... Но зачем... зачем ты... этак-то? — опять проговорил Устин.

И опять Пистимея не ответила.

Она натянула на себя пару теплых штанов, теплую вязаную кофточку. Поверх надела пиджак. Вытащила ни разу не надеванную еще пуховую шаль.

Затем в углу под лавкой отколупала ножом штукатурку, вынула из тайника несколько пачек денег. Пачки эти высыпала в небольшой мешочек с заплечными лямками, а пустой ящичек зачем-то задвинула на прежнее место.

Все это она проделывала не торопясь, однако не позволяя себе ни одного лишнего движения. Глаза ее матово поблескивали, губы все время были сжаты.

Устин корчился на кровати. У него, видимо, палило в груди, он хотел расстегнуть или разорвать ворот рубахи, попытался поднять руку. Но на полпути она опала плетью...

А Пистимея уже разбрызгивала, разливала по всей комнате керосин.

Устин перестал даже корчиться, затих. Повернув к жене голову, он смотрел теперь на Пистимею. Глаза его, казалось, выгорали от черного огня

— Вон ты... как еще...— прохрипел он. И вдруг пронзительно, обезумевшим голосом, в котором слышались и гнев, и протест, и мольба, и жажда жизни, закричал: — Да за что же?! За что?!!

Пистимея стояла возле порога, одетая в новый полушубок, туго подпоясанная Устиновым ремнем, с мешочком в руках.

— Не помощник ты мне теперь, Устинушка,— сказала она спокойно.— Все ветки из Филь... Да чего уж там Филькой прикрываться теперь... Все ветки из того деревца, что я посадила тебе в душу, не только пообламывались — само деревце подгнило. Я хотела недавно полить его да приживить... Но уж мертвому-то что припарки... Ну, да... прощаю тебе на этом пороге все, Устинушка. А мне уж бог простит.

Устин глядел и глядел на нее выпученными глазами. Она перекрестила его своим обрубком издали, потом чиркнула спичку и бросила ее на облитый керосином ворох одежды. Где-то в середине этой кучи взметнулось пламя и быстро начало расползаться.

Пистимея захлопнула за собой дверь, щелкнула замком, ключ положила в карман. Точно так же закрыла она двери сенок, захлебываясь от встречного ветра, побежала к бане, стоявшей на огороде.

Там с двумя парами лыж ее ждал «Купи-продай».

— Деньги-то взяла? — первым делом спросил он.

Вместо ответа Пистимея вытащила из-за каменки ломик, подала Юргину:

— Ты не на мешок мой гляди, выверни-ка вот эту доску в потолке.

Доска отскочила быстро, вниз упал небольшой проржавевший металлический ящичек. Стукнувшись об пол, он раскрылся, из него посыпались гнутые серебряные ложки, золотые кольца, серьги, табакерки. И просто комья золота, сбитые из тех же колец и сережек.

Несмотря на то, что в бане было темновато, Юргин сразу узнал некоторые вещи, вываленные когда-то Филиппом Меньшиковым из его, звягинского, мешка на стол в болотной избушке. Узнал, потому что помнил их в «лицо» всю жизнь.

— Гляди-ка, целенькие! — обрадованно воскликнул он.— А я думал — нету уж их на свете...

— Не болтай! Клади сюда! — прикрикнула Пистимея, раскрывая свой мешочек.— Шарь лучше по всему полу, чтоб не закатилось куда.

С полминуты, пыхтя и толкая друг друга, они ползали по холодному полу, освещая спичками все уголки.

— Теперь прибивай доску на место! — снова распорядилась Пистимея, продолжая ползать на карачках.— Живо чтоб! Время для нас дороже золота. Вместо молотка камень возьми с каменки...

Когда уже встали на лыжи, Юргин покосился на тощий мешочек, висевший за плечами Пистимеи.

— И общинные деньги взяла?

— Нет, оставила.

— Ну да, ну да. После реформы-то деньги емкие. Одна бумажка, а в ней тысяча...

Пистимея поглядела на свой дом. Вероятно, через крышу уже валил дым, но из-за плотной пурги ничего не было видно.

— Неужели еще на лыжах сможешь? — спросил Юргин, с сомнением глядя на Пистимею.

— За горло будут хватать, так и на коньках побежишь... Тут уж можешь не можешь...

И она, чуть пригнувшись, первая шагнула в сторону.

Юргин помог ей перелезть через огородную изгородь.

— А куда мы... хоть на первый-то раз?

— Ступай вперед и не разговаривай... А я по следу как-нибудь... Спустимся по Светлихе, потом Чертово ущелье обо-

гнем... Недалече лесник один живет... богобоязненный. Непогодь переждем, а там видно будет...

Через несколько минут Пистимея еще раз оглянулась, протерла от мокрого снега глаза. Домов деревни уже не было видно. Но где-то там, в глубине серой, воющей мути, стелился по ветру желтоватый хвост из искр...

Этот же хвост увидел и Захар Большаков, подбегая к деревне. Милицейская машина все-таки застряла окончательно в полукилометре от Зеленого Дола.

В деревне стояла невообразимая суматоха. Дом Морозовых взялся сплошным костром. Из каждого бревна хлестало пламя, бешено раздуваемое ветром. А вокруг бегали, что-то кричали колхозники, не слыша друг друга. Но помочь никто ничем уже не мог.

— Все вон к тем домам! — каждому чуть ли не в ухо орал Корнеев, махая руками по направлению огненного хвоста.— Следите, чтоб от искр не занялись...

К счастью, ветер дул все время в одном направлении, и искры осыпали только несколько домов. К тому же дома были залеплены мокрым снегом.

Да и дом Устина Морозова сгорел быстро, в каких-нибудь полчаса...

— А где сами Устин с Пистимеей? — спросил Захар у Корнеева, глядя, как пурга заметает тлеющие головешки.

— Боюсь, что... тут,— показал Корнеев на пепелище.— Мы с Филимоном глаз не спускали с их ворот. На всякий случай я у Колесникова сидел, из моих-то окон устиновского дома не видно. Погибель, конечно, метет, да мы бы вроде видели, кабы из ворот кто вышел... А вот Юргин...

— Ну?

— А Юргин вошел... в эти ворота. Я все гляжу — когда же он выйдет. А увидел — сноп искр над крышей. Черти, думаю, соломой, что ли, печь топят... А тут и пламя хлестануло. Побежали, толкнулись в дверь — закрыто. Да и поздно уж, балки затрещали...

— Еще не лучше...— выслушав его, промолвил Захар.

Подбежала жена Илюшки Юргина, запричитала:

— Моего-то не видели? А, слышите, что ль? Ведь он сказал мне: «К Устину пойду посижу...»

— Раньше времени не поднимай паники,— сказал Захар.— Может, сидит у кого да водку пьет. Найдется.

Но Юргин так и не нашелся.

...Пурга бушевала четыре дня. Когда она затихла, колхозники под присмотром двух криминалистов из области расчистили пожарище. Криминалисты нашли под пеплом обгорелые человеческие кости.

Но сколько человек погибло во время пожара, не мог сказать определенно ни тот, ни другой.


ЭПИЛОГ

1

Наступала весна.

Утрами еще хорошо подмораживало, но уже часам к десяти со всех крыш начинала сыпаться веселая, искристая капель, а в размякший снег то и дело ухали едва ли не полупудовые ледяные сосульки.

К обеду снег распускался на всех улицах, холодная кашица далеко брызгала из-под колес автомашин, хлюпала под ногами.

А над лесом с утра и до вечера стояла легкая, пахучая синеватая дымка. Чем она пахла, сразу нельзя было и разобрать. И влажным снегом, и оттаявшей хвоей, и потеплевшим высоким небом.

Особенно пахуча эта дымка была по утрам...

На полустанке с проходящего поезда сошли четверо — Фрол Курганов, Клавдия Никулина, Егор Кузьмин и Варвара Морозова. Они молча постояли на платформе, молча проводили уходящий поезд и так же молча зашагали в сторону Зеленого Дола.

За всю дорогу никто из них также не проронил ни слова. Лишь когда поравнялись с Марьиным утесом, Фрол поглядел на великан осокорь, могуче развесивший во все стороны свои отмякшие уже ветви, и промолвил:

— Пахнет-то как!

Они возвращались из Озерков, где только что закончился суд над Демидом Меньшиковым, Ефимом Свищевым, Семеном Прокудиным, Евдокимом и Исидором Уваровыми. По их делу в качестве свидетелей были привлечены Фрол Курганов, Наталья Лукина, Зина Никулина и ее отец Антип, Андрон Овчинников, Митрофан Селиванов с женой, озерские сектантки Гликерия и Евдокия, почти вся семья Уваровых, кроме Анны (едва вывели из подземелья дрожащего Леньку, Анна метнулась к нему навстречу с кровати, обхватила сына руками; когда ее снова положили на кровать, она была уже без сознания, а через неделю, так и не придя в себя, умерла).

Для свидетельских показаний вызывали также Захара Большакова, Петра Смирнова, Варвару Морозову, Марфу Кузьмину и ее сына Егора. Впрочем, Егор сразу же добровольно пересел со свидетельской скамьи на скамью подсудимых, признавшись во всех своих делах.

Варька заголосила во весь голос, кинулась к Егору, прижалась к нему.

— Нет, нет... не может быть! — выкрикивала она, мотая головой.— А как же я тогда буду? А с кем же я...

— Ничего, что есть, то есть,— погладил ее по плечу Егор.— Отсижу да вернусь честным. Ты меня жди, Варюшка...

Вслед за ним поднялся Фрол Курганов и заявил, что его место тоже рядом с Егором, что он считает себя виновным в убийстве Марьи Вороновой.

Зал так и ахнул.

Клавдия со Степанидой в свидетели не попали. Но они тоже находились в районном клубе, где происходило заседание областного выездного суда.

Выслушав заявление Фрола, Клавдия ничего не сказала, только сильно-сильно побледнела. А Степанида в перерыве протиснулась к ней, облила торжествующе-злорадным взглядом:

— Попользовалась чужим мужиком? Натешилась счастьем? Так тебе и надо, потаскуха... И ему, убивцу...

Клавдия молча отвернулась.

Степанида больше в Озерки не ездила. Клавдия же в колхоз не возвращалась до окончания суда, жила у Зины.

Суд длился целых две недели. И все это время Зеленый Дол кипел, как в котле. В деревне с темна до темна только и было разговоров:

— Вот это Устин с Пистимеей... Морозовы так Морозовы. И как же мы только жили с ними!

— А ведь Демидку-то Меньшикова я помню еще. Чего он там, в суде, мелет?

— Да что... При нем документы нашли на другое имя. Для того, говорит, сделал, чтоб пенсию получать. А дружок его и брякнул: никакой ты не пенсионер, а этот... верховный иеговист...

— Вон как! Ну а он?

— А почем я знаю... Сегодня к ночи свежие новости будут.

— Захара-то как они, сволочи! Фрол-то, ничего себе... женил Захара...

— Как он, Курганов, Демида словил, не рассказывали на суде?

— Вызывал зачем-то его Меньшиков...

— Н-но?

— Вот тебе и «н-но»! У них одна лавочка. Ну а там... не поладили чего-то. Слово за слово — да и за бороды. На шум

подбежал Прокудин, ударил Фролку ножом. Только этому медведю что нож! Рыкнул лишь и, обернувшись, пнул Прокудина. Тот и присел, зажав руки меж ног. Тогда Демид пистолет к Фролову затылку подставил. Ну да Фрол... Сумел, в общем, и пистолет вывернуть...

— Ну, сушить теперь сухариков Клашке-то, молодухе. Ежели еще и про Марью Воронову все правда...

— Туманное дело, давно было. Фрол говорит, что не убивал ее, убивали Филька с Демидом. А Фрол по пьянке впутался...

— Это Фрол так говорит, а Демид — иначе. Главный, говорит, убивец — ты. Ты на утес ее заволок, ты голову камнем разбил, а потом и глаза ей... ножом. Да еще и приговаривал: «Не будешь, потаскуха, на Аниську Шатрова глядеть...»

— Господи, это подумать только! Да ежели правда, пусть его, убивца...

— Разберутся. И Егору, должно, приварят как за вредительство. А все же, конечно...

— А наш Овчинников, говорят, только головой крутит да все твердит свое: «Сомневаюсь». В чем это он сомневается?

— Да ни в чем. У дурака всегда присловье дурацкое есть. Не знаешь, что ли.

— А Смирнов ничего не рассказывал там такого?

— И-и, милая! Вчера к вечеру такое размоталось! Демид-то разговорился, прижатый. Будто Устин в какой-то Усть-Каменке... какую-то Полинку, невесту этого Смирнова...

— Знаю уж про невесту. Я про самого редактора спрашиваю.

— А Марфа, слух идет, из ума выжила. На все вопросы отвечает одно и то же: «А я почем знаю, что Пистимее нужно было? То Зинку Евдокии с Гликерией подкинь, то с Митрофановыми сведи...»

— Да-а... А Зинка-то... Вот что, оказывается, выделывали над ней! Досталось девке приданое...

— Так и Демид, что ли, у немцев служил? Ну что там, ты же только с Озерков?

— Утром из коровника чистишь-чистишь, а в каком-нибудь углу да останется... Так и на земле... Не только Демид, но и Прокудин этот, и Свищев. Сегодня разговорились, милые, наперебой. Прокудин родом из Сибири, а тот, Свищев, на Украине где-то жил, в войну от эвакуации спрятался. Немцы пришли — он сразу к ним... Сопляк еще был, а уж полицейским служил. Прокудин же рассказал, что после одного боя убитым притворился, чтоб в плен попасть. И тоже живодером каким-то у них работал.

— А старик Евдоким что там?

— Это не старик, а... «В смерти Анны, говорит, виновным себя не считаю. А не помри она — снова на мороз ее выставил бы, потому как бес в ней сидит. И во всех вас бесы, бесы, бесы...

Погубили Серафиму святую!» И завопил что-то, псалом вроде, метаться по залу начал, принялся у милиционеров оружие вырывать... Вот кто с ума сошел, а не Марфа. В общем, для него уже суд вроде кончился, в психолечебницу увезли, для определения...

— А Исидор?

— Тот орет: «Сын мой, что хочу, то и делаю с ним! И с женой тоже. А если отца тронете, я, говорит, после тюрьмы разыщу вас всех, и судей и заседателей, на каждого особый нож припасу. Поэтому лучше к расстрелу приговорите. Все равно Христос придет. Он явится и воскресит».

— Воскресит, жди подольше... Даже вон Демид, как почуял, что расстрелом пахнет, распустил слюни: «Смилуйтесь, всю правду расскажу. Что угодно дайте, только не смертную казнь». А уж он-то, поди, знает, воскресит или не воскресит.

— Так что же он рассказал?

— Многое... И что Фрол не убивал Марью. «Это мы, говорит, ее с Филькой. И камень Филька над ней поднял и... глаза ей потом». Все, мол, так и было, как Фрол говорил.

— Прямо гора с плеч! Я и то думаю — Фрол, конечно, такой-сякой, да не мог он эдак...

— Да-а, дела... А все-таки куда Пистимея с Юргиным... или как его на суде называли?.. Звягин Тарас... куда они делись все же? Неужели сгорели? Да ее, саламандру такую, разве сожжет огонь...

...Суд приговорил Демида Меньшикова, Семена Прокудина и Ефима Свищева к расстрелу. Исидора Уварова за религиозное изуверство — к пятнадцати годам заключения. В отношении Евдокима суд вынес определение — поместить его в психиатрическую больницу, а по излечении вновь рассмотреть его дело.

Едва судья зачитал это место приговора, как среди полнейшей тишины раздался громкий возглас Антипа Никулина:

— Эт-то — ух-х! Эт-то — трансляция...

Никулина просто-напросто вывели из клуба.

Егору Кузьмину, учитывая его добровольное признание и чистосердечное раскаяние, определили условный срок заключения — пять лет.

Из-за отсутствия состава преступления суд не счел возможным привлечь Фрола Курганова к ответственности.

Заслушав приговор, Фрол ссутулился, обмяк, посерел, будто это не Исидору Уварову, а ему дали пятнадцать лет тюрьмы.

Впрочем, всю неимоверную тяжесть своего наказания чувствовал только он сам.

...Фрол от полустанка до Зеленого Дола тоже прошагал горбатясь, будто когда-то что-то потерял на этой дороге, а теперь надеялся найти.

И в деревню он вошел, не поднимая головы...

2

Наступала весна.

Почти вытаял из-под снега весь увал за Зеленым Долом. Синеватая дрожащая дымка затягивала теперь небо не только над лесом, но и над всем заречьем. Там еще лежали метровые снега, но в полдень над ними уже катались взад-вперед теплые и тяжелые волны воздуха.

На Светлихе кое-где закипели первые, пока еще небольшие промоины. Ездить через реку было нельзя, да и пешком переходить небезопасно.

На берегу под большим казаном дымился костер, кругом слышался стук молотков. Это конопатили и заливали варом карбузы для Анисимова парома.

В прошлые годы всю эту работу колхозники выполняли под присмотром самого паромщика. Нынче Анисима на берегу не было. Уже с месяц, как он занемог, слег в постель...

...С проходящего поезда на полустанке сошли на этот раз трое: Мишка Большаков, Зина Никулина и ее почти трехгодовалый сынишка.

Михаил был в фуфайке, Зина — в легком пальто.

Помахав вслед поезду, Мишка поднял ее чемодан.

— Не забыла — вот по этой дороге нам...

— Не забыла,— ответила Зина, поправляя у сынишки шарфик.— Пойдем, сынок, домой?

— Пойде-ем! — охотно согласился мальчишка, поставив, однако, тут же условие: — Маленько — ножками, а потом — на ручках.

И они пошли тоже в сторону Зеленого Дола.

Они были немного разговорчивее, чем шагавшие по этой же дороге несколько дней назад Фрол, Клавдия, Егор и Варвара.

— Эх, черт, через Светлиху нельзя не то что на машине, даже на подводе. Далеко ведь, устанешь с малышом,— уже не один раз говорил Мишка.

И Зина каждый раз отвечала:

— Ничего, дойдем потихоньку.

— Конечно... А Ксенька сейчас, однако, билеты по литературе зубрит. У нее первый экзамен — по литературе. Как думаешь, сдаст?

— Сдаст, сдаст...

Дочка Натальи Лукиной, оканчивающая десятый класс, всю зиму жила в райцентре, приезжая домой только в воскресенье.

— Что-то у нее не ладится с литературой,— снова начал Мишка.— Однако не могу понять — как это не ладится! «Не

люблю»,— говорит. А как это можно — литературу не любить?! Вот послушай хотя бы место из «Прометея»...

— Миша! — умоляюще попросила Зина.

— Нет, ты садись на чемодан, отдыхай и слушай,— безоговорочно распорядился Михаил.— Вот.

...Но ты молчал самолюбиво —
Ответа на было с небес,
И тайну жизни горделиво
Скрывал завистливый Зевес;
Но ты молчал, но ты, с презреньем
Грозя могучею рукой,
Моим гордился униженьем,
Моею тешился тоской.
И проклял я мою молитву,
Мой детский страх перед тобой,
И ополчился я на битву,
В последний выступая бой.
Война, владыка величавый,
Война престолу твоему!
По ступеням твоей державы
Я протеку войной кровавой,
Я ад и небо подниму!

Чем дальше Михаил декламировал, тем более воодушевлялся. Сперва он сильно рубил воздух руками, но постепенно перестал ими размахивать. Глаза его горели возбужденно, щеки тоже пылали.

В эти секунды Мишка был очень красивым, и Зина откровенно любовалась им.

— Ну как? — спросил он, останавливаясь.

— Да что... Хорошо, Миша.

— А ты дальше, дальше послушай!

...Иду, иду с толпой могучею,
С кровавой ратию моей!
Зевес, ты слышишь ли за тучею
Моих озлобленных детей?
Схватись за громы, бог обиженный,
Разлейся в молниях, Зевес!
Но... трепещи за трон униженный,
За дряхлый свод твоих небес!..

Зина тоже почти на память успела за несколько дней заучить эту поэму о Прометее, «восставшем в защиту людей, против тирании могущественного отца всех богов Зевса». Благодаря бесконечным Мишкиным разъяснениям она знала, что поэму написал «малоизвестный русский поэт середины прошлого века Эдуард Иванович Губер», но что, хотя он и малоизвестный, «очень, очень жалко», что его поэму не проходят в школе, и уж совсем непростительно, как это он, Мишка, не узнал «о таком замечательном сочинении» раньше. Зине стало известно также, что на поэму Губера Мишка наткнулся совсем недавно, когда для колхозной библиотеки закупали новую партию книг, быстро

выучил ее наизусть, и сейчас она является его любимым произведением.

— Ты же знаешь, Зина, что Прометей, этот замечательный борец за человеческую свободу, в мировой литературе занимает выдающееся место,— читал Михаил ей целые лекции.— Ты же должна помнить: о Прометее писали Эсхил, Гёте, Байрон, Шелли... И вот, оказывается, Губер Эдуард Иванович...

И Мишка цитировал Губера, Шелли, Байрона и опять Губера...

В те дни Зине было не до Прометея, не до самого Михаила, неизвестно как и почему очутившегося возле нее. Помнится, он остановил ее на улице и спросил: «Ты не узнаешь, что ли, меня? Я Мишка Большаков». Она сказала, что узнает, и прошла мимо. В эти дни начинался судебный процесс, и ей было очень тяжело. Она, кажется, отдала бы три четверти своей жизни, лишь бы не предавать гласности все, что с ней произошло.

Но отделаться от Мишки оказалось не так-то просто. Он то и дело объявлялся рядом, что-то рассказывал...

На суде она заявила, что ни на какие вопросы отвечать не будет. Михаила попросила больше не подходить к ней и ни о чем с ней не говорить.

Но Мишка все-таки заявился прямо на квартиру и прямо спросил:

— Слушай, да разве ты в самом деле веришь в этого... в бога?

— Тебе-то что?! — с ненавистью крикнула Зина.

— А то, что не можешь ты в него верить! — закричал и Мишка, даже багровея от гнева.— Они тебя запутали.

— Мне-то легче от того? — уже спокойнее проговорила Зина.

— Да ведь... Пустяки все это. Всякое бывает.

— Пустяки? — переспросила неживым голосом Зина.— Ну, так слушай, какие это пустяки...

И она, сама не зная почему, рассказала все, начиная с Митьки Курганова. Рассказывала, глядя прямо ему в глаза. Мишка о многих вещах, бесспорно, слышал впервые. И потому иногда он становился бледным, иногда пунцово-красным. Но он выслушал все внимательно и решительно произнес:

— Пустяки все, Зина. Ты же хороший человек.

— Хороший? — прошептала Зина.— Ты... сказал...

И она упала на кровать, затряслась в рыданиях.

Мишка стоял рядом в растерянности. Он нерешительно протянул руку, чтоб успокоить Зину, но, едва коснулся плеча, отпрянул, словно обжегся. Потом все-таки погладил.

— Знаешь, давай будем вместе на суд ходить,— сказал он.— А там расскажешь все, как было. Видишь, ты же вот попробовала мне рассказать... И ничего...

Зина и сама теперь понимала, что она именно «попробовала»... Приподнялась и спросила:

— Ты-то... почему возле меня оказался? Вырос ты, оказывается. Когда я уезжала из деревни, ты вот такой еще был.

— Так сейчас... много тут наших,— чуть смешавшись, ответил Мишка.— Батю вот тоже вызвали как свидетеля...

Зеленодольских и в самом деле в райцентре сейчас было много. Сестра Клавдия уже несколько дней жила в ее квартире. Но всем им было не до нее, пропащей Зинки Никулиной. И только вот Мишка...

Зина не знала, что несколько дней назад Захар Большаков сказал сыну:

— Хочу попросить тебя об одном деле, Михаил... Ты Зину Никулину помнишь?

— Эта наша бывшая? Как же...

— Понимаешь, Миша... На время суда ее нельзя оставлять одну. Не мог бы ты поехать вместе со мной в Озёрки и там как-нибудь с ней? Ксению еще попросил бы. Правда, у той экзамены скоро...

— Ладно, батя. Присмотрим.

Видимо, вместо «присмотрим» следовало сказать какое-то другое слово. Но ничего не поделаешь, вылетело само собой это, и Мишка опустил глаза.

— И вообще, сынок,— продолжал отец,— мы ее попробуем потом вернуть в деревню. Ты это знай на всякий случай...

Ксеньке действительно было некогда, и Мишка «присматривал» за Никулиной один.

...Зина поднялась с кровати, поправила волосы и сказала:

— А в бога я, Миша... Не знаю, в общем. Может, действительно запутали меня, а может, на самом деле верила.

— Что «на самом»?! Что «на самом»?! — с горячностью дважды воскликнул Михаил.— Вера в бога — это... это... Я даже не знаю, что это такое! Да нет таких сил в природе, которые могли бы человеческий разум... затуманить, что ли, сковать, запереть в каком-то ящике. «На самом» — не бывает. И богов никаких вообще нет. Ну ладно, когда-то люди верили — есть. Говорили: самый могущественный бог — Зевс. Но и этот всесильный бог ничего не мог сделать с человеком по имени Прометей, с его гордым духом. Слушай, я тут недавно одну замечательную поэму раскопал... И вот даже у этого самого Зевса только и хватило сил, чтоб приковать Прометея к скале. И уж как не мучил он человека! А Прометей все равно ему:

...Ты не сковал души моей свободной,
Ты гордого не преклонил чела!

Это значит — гордого чела, гордой головы Прометея бог не в силах был склонить,— пояснил Мишка.—Понимаешь, Зина! И дальше:

...Моя рука в оковах замерла,
Но вечных дум, но мысли благородной
Вся власть твоя разрушить не могла.
Где мщения отравленное жало?
Где божий гром? Где молния небес?..
Твоих цепей для Прометея мало —
Я не гожусь в рабы твои, Зевес!

...И этот паренек стал каждый день провожать ее в суд и из суда. И все толковал, толковал о Прометее...

Бывали минуты, когда Зине казалось, что Михаил со своим Прометеем осточертел ей. И она тогда говорила в сердцах: неужели он не может хоть немного помолчать?

Однажды утром в условленный час Мишкин стук в квартиру не раздался. Клавдия уже собралась, а Зина что-то медлила.

— Чего же ты? Пойдем,— сказала сестра.

— Я сейчас, ты иди...

Зина подождала еще пятнадцать минут, еще пять. Стука не было. И ей стало нехорошо, тоскливо и как-то даже горько.

Когда до начала судебного заседания осталось всего десять минут, она поняла, что Мишка вообще не придет. Она вышла из дому, сжалась, чувствуя себя беззащитной. И, глядя в землю, придерживая обеими руками платок под подбородком, побежала торопливо вдоль улицы.

У Зины было такое чувство, что сегодня, сейчас, с ней должно произойти что-то страшное, непоправимое.

Дорога к районному Дому культуры, где шел суд, проходила мимо заезжего двора колхоза «Рассвет», и Зина припомнила вдруг, что каждое утро, когда они с Мишкой пробегали мимо, Марфа Кузьмина, опершись на свой костыль-клюку, стояла возле калитки. Она никогда ничего им не говорила, только смотрела, полуприкрыв глаза, да как-то странно качала маленькой, высохшей головой.

И каждый раз, проходя мимо, Зина невольно оглядывалась. Старуха все смотрела им вслед, все покачивала головой. И у Зины бежали мурашки по спине.

И сегодня, как всегда, Марфа стояла на своем месте, словно часовой. Голова ее была повязана наглухо теплой вязаной шалью, под которой был виден синий ситцевый платок в черную крапинку. Увидев Зину, старуха засеменила на середину дороги.

Поздоровавшись, Зина хотела все-таки проскочить мимо, но Марфа зацепила ее своей клюкой.

— Слышь-ка, касатушка моя,— скрипуче промолвила Марфа.— Здравствуй, здравствуй, дочушка. Все торопишься?

— Опаздываю. Суд уж начался, однако,— промолвила Зина.

— Ну да, ну да... Нелегко тебе, моя сердешная. Как же, как же, и меня вызывали, супостаты проклятые...

— Пустите,— сказала Зина, пытаясь обойти старуху.

— А нехорошо, касатушка ты моя, ох, нехорошо! — Марфа обиженно пожевала дряблыми губами. В ее глазах-щелочках плеснулось недовольство, но, впрочем, тут же погасло.— А уж я ли для тебя добра не делала... А ты все с каким-то шалопаем ходишь. Захаркин, что ли, парень? Чего он тебя опекает? Сторонись ты их, проклятых, они до добра не доведут.

— Чего вы от меня хотите?

— Да что мне от тебя надо? Ничего. И вообще от людей-то... ведь помирать скоро... Я тебе все доброе слово сказать хотела... И поклониться тебе... Да ты все за сына Захаркина прячешься. Охо-хо, неразумно дитя человеческое, покуль господь не облагодетельствует...

— Чего мне кланяться...

— Как же, как же... Не прогневала ты господа на судилище этом, не стала со своими пытчиками разговаривать. Благостно это господу, он не забудет...

— Отстаньте вы со своим господом! — вскрикнула вдруг Зина.— Надо все рассказать, все.

— Зинаида! — Старуха даже пристукнула костылем о мерзлую дорогу. И вскрик у нее получился такой же сухой, скрипучий, похожий на звук от удара палки об мерзлый снег.— Одумайся, Зинаида! — Марфа тяжело дышала.— То-то у меня сердце не на месте. Дай, думаю, поговорю с Зинушкой.

— Не надо говорить со мной, бабушка,— произнесла Зина, глядя в сторону.— Думаете, легко мне говорить будет... все это... рассказывать, что они со мной делали? А в себе носить еще тяжельше.

Старуха почти вплотную прижалась к Зине, задышала ей в лицо тяжело и смрадно:

— Не губи ты себя, Зинаида. Молчи. Мы не простим, ежели...

— Кто это «мы»?! — Зина в испуге отшатнулась.— Чего ты меня пугаешь? Чем?

— Господь с тобой, господь с тобой! — забормотала старуха сразу каким-то глухим голосом. Чувствовались в нем нотки обиды и растерянности.— Кто тебя пугает, неразумная? Я, можно сказать, больше от добра к тебе... советую... Ить молодая ты еще, и дитё у тебя. Подумай об нем...

— Не касайтесь хоть ребенка... грязными руками,— сказала Зина.

Марфа по-прежнему стояла посреди улицы, загораживая Зине дорогу, по своему обыкновению опираясь обеими руками на клюку. Она смотрела теперь на Зину глазами-щелочками внимательно и спокойно, время от времени незаметно помаргивая.

Зина тоже молчала. Неяркое, низко висевшее над землей зимнее солнце освещало двух этих женщин, старую и молодую. Голова старухи, видимо, мерзла, она запустила руку под шаль, пониже на лоб сдвинула платок, затем потуже затянула шаль.

Зина вспомнила, что этот синий в крапинку платок она подарила когда-то старухе в благодарность за то, что та помогла избавиться от проклятых старух Евдокии и Гликерии и устроила ее на квартиру к Селивановым. Наконец Зина встрепенулась, сделала несколько шагов, намереваясь обойти старуху.

— Ну, ин ладно, ступай,— тотчас произнесла Марфа, однако не трогаясь с места, не меняя своей позы.— А только помни наш разговор. Худо бывает тому, кто, по слабости души не вытерпев божьих испытаний, ведает об них нехристям, глумится над деяниями божьими, продает нашего господа, как Иуда проклятый. Тяжки бывают божьи испытания, но еще тяжельше божья кара за отступничество да за предательство. Таких-то господь карает, не щадя, не жалея...

Зина обошла наконец старуху и побежала, не оглядываясь, вдоль улицы. Марфа двинулась к своей калитке, тыча перед собой, как слепая, костылем...

В клуб Зина зашла подавленная, напуганная этой встречей с Марфой, ее последними словами. Она села на свое обычное место и в течение всего дня озиралась по сторонам, надеясь отыскать в просторном клубном зале, битком набитом людьми, добродушно-восторженное, усеянное мелкими веснушками Мишкино лицо. Под вечер он все-таки попался ей на глаза. Увидев, что Зина смотрит на него, улыбнулся во весь рот, привстал и помахал рукой.

— Что же ты, Миша, не зашел утром за мной? — спросила Зина, когда окончилось заседание.

— Да мне показалось... что я тут со своими стихами тебе...

— Нет уж, ты заходи, пожалуйста,— попросила она. И, помолчав, добавила: — Мне надо поговорить с тобой... посоветоваться. Очень надо...

Через несколько дней на суде Зина рассказала обо всем, что видела, что ей пришлось испытать в секте Григория-христа, у иеговистов. Она также призналась, что кляузу на редактора ее заставили написать Меньшиков с Прокудиным. Но потом она опомнилась и в тот же день забрала ее у секретаря райкома.

Процесс кончился поздно вечером. Михаил подхватил Зину у самого выхода из клуба, закричал:

— Вот и все! Вот и все!! Ты понимаешь, что это все кончилось? — И зашептал в ухо: — А знаешь что? Давай до самого утра ночные поезда смотреть. Мы с Ксенькой уже договорились,— вон она стоит, ждет.

— Давай,— покорно сказала Зина, еще не пришедшая в себя от всего, что ей пришлось перенести.

И они втроем бродили по райцентру до рассвета, неизменно выходя к вокзалу, чтобы проводить очередной ночной поезд. Зина ни о чем не говорила в течение всей ночи, и Мишка с Ксень-

кой ни о чем ее не спрашивали, занятые, казалось, только сами собой. Мишка почти беспрерывно читал различные стихи. О чем-то, наверно, очень веселом рассказывала Ксенька, потому что Мишка то и дело заразительно смеялся. Но Зина никак не могла вникнуть в эти рассказы, не могла удержать в памяти хотя бы одну строчку из Мишкиных стихов. Приветливо мигали в вышине звезды, в ночном сумраке чернели обжитые, уютные дома, в лицо дул легонько освежающий ветерок. И уплывали в темноту поездные огоньки, затихал медленно стук вагонных колес.

— А ведь хорошо,— сказала она, уставшая, успокоенная, когда они остановились возле ее квартиры и смотрели на просачивающийся на горизонте рассвет.— Спасибо, Миша. И тебе, Ксения. Я отдохнула возле вас. Вы ведь любите друг друга? Да, я поняла...

Хорошо, что было еще темно, а то бы Ксенька и Мишка, наверное, разбежались в разные стороны. А так оба догадались, что хлынувшая в лицо краска незаметна.

— Вот еще! С чего бы это мы? — неестественным голосом произнесла Ксенька.

Мишка же лишь долго и старательно кашлял.

— До свидания, ребята,— улыбнулась Зина, подала им руку.

Ксенька пожала ее молча. Михаил же сказал:

— Слушай, а что тебе Озерки? Чего в них? Возвращайся домой, а?

— Не-ет,— покачала головой Зина.

— А я знаю — вернешься! Вот посмотришь! Да ты же не можешь не вернуться! — окончательно оправившись от смущения, воскликнул он с такой же горячностью, с какой недавно закричал, что она, Зина, не может верить в бога.— Я говорю — вернешься! И это будет здорово!

...И Михаил оказался прав. Вот она возвращается в Зеленый Дол. Что заставило ее это сделать? Ее уговаривала вернуться сестра, несколько раз заводил об этом речь председатель колхоза, дважды, кажется, приезжал в последние дни с такой же целью даже Фрол Курганов. Она слушала их, отрицательно мотала головой, но — странно! — в ушах ее звенел Мишкин голос: «Ты же не можешь не вернуться!»

И в душе она была согласна с этим. Кроме того, ей было страшно одной тут, в Озерках, где жила Марфа Кузьмина. В ушах Зины все еще звучали слова старухи: «Тяжки бывают божьи испытания, но еще тяжельше божья кара за отступничество да за предательство. Таких-то господь карает, не щадя, не жалея...»

В конце концов она сказала вчера председателю, случайно встретившись с ним возле редакции:

— Я подумаю, Захар Захарович... Может быть, попозже, летом...

А сегодня утром ворвался к ней Мишка Большаков — шумный, возбужденный.

— Чего попозже?! Чего летом?! — закричал он с порога.— Где у тебя сын? В яслях? Айда за ним!.. Хотя нет, постой, сходим потом. Сейчас укладывай чемодан. Бери пока самое необходимое, а переправа через Светлиху наладится — я все твое барахло в тот же день перевезу... Хотя постой и с чемоданом — сперва в редакцию увольняться. Пиши заявление! Бумага, чернила есть? Нету! Ну, в редакции напишешь. Да не стой ты, чего стоишь?! На, одевайся... Светлиха вот-вот может тронуться...

Перед таким натиском Зина не устояла, надела пальто. Да, откровенно говоря, она ждала Мишку, почему-то была уверена, что он немедленно явится за нею.

Редактор не удивился, когда она положила ему на стол заявление с просьбой об увольнении.

— Ну что же, Зина, желаю тебе счастья,— сказал Петр Иванович, накладывая резолюцию.

...Через Светлиху они перебирались еще засветло, прошли по улицам деревни, не обращая внимания на удивленные и откровенно любопытные взгляды зеленодольцев, остановились возле крыльца, на котором стоял Антип.

— Зинка! — воскликнул тот.— Ты домой, что ли? Значит, правду говорил Захар...

— А он что, обманывал тебя когда? — ответил за нее Михаил.— Держи, папаша, чемодан.

— Да, Зинушка! Да эт-то ведь...— воскликнул Антип, прослезившись.— Да ты прости старого отца-дурака! Он ведь все, Устинка Морозов, науськивал. И на тебя. И на Клавдию. Заходи, чего же... Обои заходите...

— Мне в гараж надо еще сбегать, там машину ремонтирую. И так Сергеев, наверное, шкуру спустит, что долго... А я вообще-то зайду, Зина. До свиданья...

Мишка побежал, уже на ходу оборачиваясь и махая рукой. А Зина стояла на низеньком крылечке, держала на руках уморившегося за дорогу сынишку, смотрела вслед Михаилу и думала, что она безмерно благодарна за что-то этому бесхитростному, чистому парнишке, и пусть он будет очень, очень счастливым...

3

Наступала весна.

Снега на зареченских лугах осели, сделались крупитчатыми и грязными. Пастухам, выгнавшим скот на просохший, хотя и не зазеленевший еще увал, было видно, что среди снежных равнин там и сям стали проступать черные пятна воды. Эти лужи с каждым днем увеличивались, съедая снежные берега, в полдень от-

свечивали жаркой медью. На них вольготно и безопасно чувствовали себя дикие утки, пролетающие ежедневно над деревней длинными вереницами.

Вешние лужи разлились и по всем улицам деревни. Утки на них, правда, не садились, только ошалевшие воробьи крутились у самой воды, беспрерывно затевая неизвестно из-за чего жестокие драки.

Целый день кругом все текло, сверкало, стучало, гремело. Текли ручьи, сверкали под солнцем огромные разводья на Светлихе и чисто промытые окна домов, стучали кузнечные молотки, гремело железо в колхозной механической мастерской...

На пашнях протаивали высокие места, и от черных лысин шел пар, точно они перегрелись под снегом за долгую зиму...

На этот раз с поезда, сделавшего на полустанке минутную остановку, сошел только один человек. Не дожидаясь, когда состав тронется, он закинул на плечи тощий мешок и быстро пошел той же дорогой, что и Фрол с Клавдией, Егор Кузьмин с Варварой и Михаил с Зиной.

Звали человека Митька Курганов. Он возвращался домой, в Зеленый Дол. Но откуда возвращался — этого он и сам не знал.

...События последних месяцев оглушили его, запутали, сбили обычную его бесшабашность и самоуверенность.

Все началось с ухода отца к Клавдии Никулиной. Митька, как и Степанида, узнал об этом ранним утром, когда им кто-то сообщил, что Фрол ночевал у Клавдии. Едва осмыслив случившееся, он остолбенел и онемел. Как?! У Клашки?! О которой у самого Митьки нет-нет да мелькали вороватые мыслишки...

А мать стонала и причитала, болтая растрепанной головой.

— Сыночек мой! Отец-то... Видано ли! Позор-то какой! Уж я ли не берегла дом? Что заработано, что с огороду когда продано — все в дом, в свое гнездо... А он сам вертопрах, к вертопрахе и ушел...

Митькины уши были словно заложены ватой, голос матери доходил еле-еле. Сорвавшись, он побежал к дому Никулиной, схватил отца за грудь:

— Ты что устраиваешь, отец?! Ты к кому это...

От отцовского удара он отлетел в угол, стер рукавом с подбородка просочившуюся полоску крови. Вату из ушей отец тоже, вероятно, выбил, потому что Митька отчетливо услышал:

— Сопляк еще мне... чтобы понимал!

— За... за что?! — прохрипел Митька, нагнул голову, готовясь ринуться на отца.

— За все. Половину — за внучку Шатрова. Но, но, охолоника, не то и остаток получишь! Другая половина потяжельше будет.

Митька, может, и не «охолонул», но повел головой, будто прислушавшись к чему-то.

— При чем тут Шатрова?

— При том... На станцию-то к кому бегал? Зачем?

— А-а! — Митька нехорошо ухмыльнулся.— Так за этим же, за чем ты сюда вот. Только я холостой вроде...

Отец поглядел на него и произнес:

— Вроде и другая половина тебе... не лишняя будет.

В голосе его было такое, отчего Митька снова повел головой.

— Интересно рассуждаешь, батя. Тебе можно, а мне... Не вижу логики...

— Молоко-то еще на губах висит, чтоб увидеть. Оближи сперва их...

Эти слова смертельно обидели Митьку. Он снова наклонил голову, но, не решаясь броситься на отца, весь вздрагивал, топтался на месте.

— Молоко?! Облизать, значит? — переспросил он.— Что ж, ладно... Я с Зинкой жил, ты с Клашкой живи. Обратаем сеструх...

Фрол как стоял, так и продолжал стоять, не шелохнувшись. Он только начал медленно бледнеть.

По мере того как Фрола заливала бледность, все черты его крупного лица становились резче, отчетливее — Курганов будто бы каменел на глазах.

— Что-о?! — спросил он, шевеля губами.

— Вот тебе и что... Оно складно у нас получится, в лад.

— Значит... сын у Зинки...

— Что — сын?! — Митька еще раз, но теперь глуповато усмехнулся.— И у тебя теперь будет.

— Дмитрий?!

Митька опомнился, когда уже висел в воздухе. Отец держал его на весу, то поднося поближе к глазам, то отстраняя подальше, словно выбирая, с какого расстояния можно лучше всего рассмотреть сына.

— Батя... батя... — хрипел Митька.

— Гляди мне в глаза! Гляди! — закричал Фрол.

Митька было посмотрел, но, моргнув виновато раз-другой, отвел взгляд. Из отцовских глаз, больших, усталых, мутных, выкатывались крупные слезы, упали вниз, оставив на шершавой коже щек впалые полоски.

— Эх ты... сын,— через силу, еле слышно, произнес Фрол, проглотил тяжелый комок, поставил Митьку на пол, отвернул от себя и толкнул к двери.

Митька не то чтобы не понял, он упрямо не хотел понимать, что означали слова отца. Он постоял маленько на улице, поднял воротник тужурки, сунул руки в карманы и двинулся прочь.

По переулку торопилась куда-то Ирина. Митька глянул на нее и с тем же упрямством подумал, что надо бы завтра смотаться на полустанок, к докторше.

Однако следующий день был чем-то занят, еще следующий — тоже. А потом известие из Ручьевки, пурга, пожар, арест какого-то Меньшикова... И разговоры, пересуды всколыхнувшейся деревни...

Всем этим Митька был ошарашен, оглушен и, кажется, напуган. Он слушал все деревенские разговоры, но своего отношения к случившемуся никак и никому не высказывал.

Однажды мать спросила у него осторожно:

— Что, Митенька... Правда, что докторшу собаки шибко изувечили? Болтают — страшно. А может, и не сильно? Ты бы узнал...

— Узнаем,— буркнул Митька. А у самого мелькнуло где-то торопливо: «Может, хорошо, что больше не пошел к ней».

Краснова была очень плоха, нужно было срочно доставить ее в районную больницу. Но путь из Ручьевки до Озерков на автомашине она могла не выдержать.

Вера Михайловна разрешила на автомашине привезти ее лишь на полустанок, а дальше — обязательно поездом.

Дорога из Ручьевки до полустанка только через Зеленый Дол. И в Зеленом Доле больной потребовались отдых и перевязка.

Вера Михайловна спросила, у кого дом попросторнее и почище. Корнеев кивнул на Иринку, но Шатрова уже сама показывала шоферу на свой дом.

В Зеленом Доле больной стало хуже, пришлось заночевать.

Женщины, помогавшие врачам на квартире у Шатровых, охали потом и стонали.

— Вместо личика-то кусок мяса. Пропала девка...

Иринка, выплескивая на помойку окровавленную воду, была заплаканной.

«Хорошо, что не пошел тогда...» — опять подумал Митька. Но вспомнил две мокрые полоски на щеках отца, и ему стало неловко от своих мыслей, он нахмурился. Однако тут же отмахнулся от всего: «А-а, что я, жених, что ли, ей...»

И снова стал веселым и беспечным.

Наутро Краснову увезли. Вера Михайловна попросила для помощи в дороге одного человека. И снова вызвалась Иринка.

Потом она ездила в Озерки каждую неделю, привозя неутешительные вести.

Из райцентра вообще в эти дни поступали малоприятные известия. По делу Меньшикова, Прокудина и Уваровых началось следствие, арестовали какого-то Ефима Свищева. Из колхоза в район вызывали то председателя, то Наталью Лукину, то Егора Кузьмина. Следователи опять наезжали в Зеленый Дол, подолгу толковали о чем-то с деревенскими старухами баптистками.

Но Митьке до всего этого не было теперь ровно никакого дела. У него возникло в эти дни вдруг неодолимое желание — обязательно помириться с Ириной. Ему почему-то стало казать-

ся, что Ирина даже если и догадалась о Зинкином сыне, не придала этому особого значения. Подулась маленько и простила. Или готова простить при первом же намеке, что он, Митька, желает такого прощения. И, распушив чуб, искуривая папиросу за папиросой, не обращая внимания на многозначительные ухмылки окружающих, он бродил вечерами близ ее дома или вокруг телятника, не решаясь, однако, войти ни туда, ни сюда. А может быть, не шел сознательно. Он все-таки надеялся,— да что там надеялся — был уверен, что Ирина сама, пробегая мимо, приостановит шаг и, склонив голову, бросит ему какое-нибудь слово. Ведь он не кто-нибудь, а Митька все-таки, и она не слепая, не глупая, понимает, чего он ходит. Оба они гордые, но Митькино тщеславие, едва только Шатрова обронит какое-нибудь слово, будет удовлетворено, он тотчас подойдет к ней, поступясь остатками своего превосходства. К женщинам надо проявлять иногда великодушие.

Но Иринка, пробегая мимо, хотя и склоняла голову, но шагов не приостанавливала, ничего не говорила. Да она, кажется, не столько склоняла голову, сколько отворачивалась.

Сперва это Митьку забавляло. «Ну, ну, поглядим, на сколько характеру хватит!» Потом начало удивлять: «Эко, даже ученая докторша вроде... А тут?» Затем повергло в недоумение, разозлило. И в конце концов его опять охватило прежнее беспокойство и тревога.

А Иринка ни разу так с ним и не заговорила. Правда, иногда она поднимала голову. Только на ее лице было написано такое, что лучше бы она и не глядела на него.

— Ты... чего это? — недовольно спросил Митька однажды, забыв, что первых слов ждал от нее.

Но девушка только губы скривила презрительно.

«Ну и ладно!» — как обычно, взорвался Митька про себя и перестал ходить к ее дому и к телятнику.

Однако беспокойство и тревога на этот раз не проходили. Он сделался раздражительным, утрами вставал с постели мятым и, сидя на кровати, подолгу наблюдал, как мать подметает забросанный его ночными окурками пол.

— Да чего уж, сыночек! — сказала она как-то и вздохнула.— Чего уж так казнить себя? Хорошая жена подворачивалась, да ведь... богу, видно, не угодил ты чем-то. Всяк тянется повыше, а берет, что ближе... пока другой не схватил наперед...

— Это о чем ты? — спросил он, поводя головой, как во время разговора с отцом. Слова матери еще больше испугали Митьку, обозлили.

— Так об ней же, об Шатровой... Чего, говорю, уж казниться... А с калекой если жить, тоже...

— Замолчи! — гневно оборвал ее Митька.

...Прошла еще неделя. И вдруг...

Вдруг Иринка сама зашла к Кургановым.

— Ирка! Давно бы так! — воскликнул Митька, чувствуя, как разливается у него где-то внутри торжество. Еще у него мельком пронеслось в сознании: «Надо бы посдержаннее, не ронять себя... Да ладно, чего уж там...»

Но в следующую секунду испарилось это торжество, а его щедрое великодушие обернулось какой-то дурацкой глупостью.

— С Леной плохо,— сказала Иринка от порога, не глядя на Митьку, протирая варежкой дверную скобу.— Она просит тебя... приехать к ней.

В лицо Митьке кинулся жар. Он почувствовал, что сгорает,— от стыда за самого себя. И, столбом торча посреди комнаты, не знал, что ей ответить, молчал.

— Что это еще за Лена? — с холодной неприязнью спросила мать.— Чем это ее Митька утешить может? И почему он должен...

— Вот... именно,— произнес Митька, хотя и не собирался говорить такого. Губы произнесли эти слова сами собой...

Ирина боком ударилась о дверь, выскочила на улицу так, будто ее с невероятной силой вышвырнули вон.

А Митька бухнулся на стул и начал думать: что же это с ним происходит? Он, кажется, теперь уверен, что происходит. Происходить начало с того момента, как отец звезданул по морде со словами: «Половину — за внучку Шатрова». Но — что?

Митька был не глуп. Он ясно понимал, отчего покраснел, выслушав Иринку. И он понимал, что происходит с ним. Но боялся признаться, что понимает. Гордость его не позволяла признаться...

И не позволяла еще долго. И увела его далеко...

Из этого «далеко» он и возвращался сейчас, топая по раскисшей дороге к Зеленому Долу, невесело и нелестно размышляя о самом себе.

...Все время после прихода в их дом Ирины и до позавчерашнего дня он жил в каком-то полусне и будто уже не подчинялся самому себе. Через неделю после ее посещения с ним разговаривала по телефону врач Вера Михайловна Смирнова. Она говорила спокойно, по-матерински, называя его «Митенька»:

— Митенька, Лене очень тяжело. Сейчас ничего страшного уже нет, она будет жить. Но ей будет намного легче, если вы приедете. Приезжайте, вы облегчите ее страдания. Слышите, Митя? Я прошу вас...

Митька слышал. Но он не сказал ни «да», ни «нет», пробормотав что-то невразумительное.

— Так ждем, Митя,— сказала Вера Михайловна, закончив разговор.

Телефонная трубка словно прикипела к его уху. Он оторвал ее с трудом.

В Озерки он не поехал. Его ждали, а он не ехал. Кругом только и говорили, что о приближающемся судебном процессе — а он не слышал. Потом обсуждали вынесенный приговор — он, кажется, даже не поинтересовался, кому это расстрел, кому тюрьма.

Даже когда мать сказала однажды как бы между прочим: «А ведь про докторшу-то эту твою говорят — ничего, дескать, Смирнова, мол, сколько-то операций сделала ей на лице. Вроде и рубцов заметно не будет. Да лицо что? С лица не воду пить...» — Митька пропустил это между ушей.

К этому времени в его мозгу вновь зашевелилась одна и та же мысль: не может быть, чтоб Шатрова так вот и отбросила его прочь, как истрепавшуюся вещь, его, Митьку?! Зашевелилась, подогревая все более и более.

И вот на прошлой неделе он все-таки, не понимая, как это случилось, оказался в доме Шатровых.

Старик Анисим лежал, укрытый, на кровати. Рядом, на табуретке, стояли пузырьки с лекарствами.

— Вот, Ирка...— тяжело дыша, выдавил Курганов, опускаясь на лавку.— Я пришел... сам пришел.

— Незачем тебе приходить сюда.

Анисим шевельнулся, с трудом повернул землистое, осунувшееся лицо.

— Почто же, поговорите,— сказал он уже явно через силу.— Хорошо, что пришел... Вы поговорите, а я послушаю.

Митька вынул было папиросу.

— Не кури, пожалуйста,— предупредила Ирина. Она поправила деду подушки, одеяло, отошла в глубь комнаты и оттуда произнесла: — Ну?

— Так почему же... незачем мне? — спросил Митька, не поднимая головы.— Я же не глупый и вижу, что я тебе... И вот я — сам... Ты это... понимаешь?

— Понимаю,— тихо произнесла Иринка.

— Ну...

— А вот что... Хорошо, что раньше не пришел. Я ведь поверила бы тебе, как...

— А сейчас — не веришь разве? — быстро спросил, почти выкрикнул Митька.

— А что сейчас! — повысила голос Ирина.— Тебе потянулся навстречу цветок, а ты под сапог его... Да тебе не в первый ведь раз.

— Как... под сапог?

— Молчи! Все ты понимаешь! — уже сквозь слезы выкрикнула Ирина, отвернулась. Но тут же справилась с собой, заговорила спокойнее: — А потом... потом я до конца узнала и про Зину, и вообще, какой ты... какая душонка у тебя гадкая и мизерная.

— Мелкая, может? — усмехнулся Митька, чувствуя, что опять может взорваться его оскорбленное самолюбие.

— Нет, мизерная. И тогда словно другим сапогом ты...

Митька помолчал, обдумывая, как ее разубедить в этом. Но придумать ничего не мог и спросил:

— И что теперь?

— Ничего. Погляди, что там, под сапогами твоими...

Митька поднялся.

— Я и помру теперь спокойно,— проговорил вдруг Анисим.— Поговорила, Иринушка, ты хорошо...

— Значит, все? — спросил Митька, шумно дыша.— И с концом?

— Все,— по-прежнему не глядя на него, ответила Иринка.

Только на улице Митька заметил, что вспотел, что от пота он весь мокрый. И только здесь, кажется, осознал до конца, что это ведь, собственно, ему от ворот поворот...

Он растоптал вынутую еще там, у «них», папиросу так, что от нее ничего не осталось. Он стремительно зашагал по улице, не видя ни встречных, ни поперечных...

Опомнился он уже на краю деревни, сообразил, что идет не туда. Повернулся, побежал домой, схватил новый костюм, переоделся.

— Ты куда, Митенька? — с беспокойством спросила мать.

— Я ей покажу, я покажу! — закричал Митька, рассовывая в карманы деньги.— Я вот возьму и на калеке женюсь! Пусть тогда от зависти порычит!

Митька не соображал, что говорит. Зато Степанида отлично соображала и все понимала.

— И то, и то...— поспешно закивала она.

— Что «и то»? — повернул к ней Митька взлохмаченную голову.

— Да, сказывают, вылечили ее, и рубцов...

— А пусть хоть вся в рубцах! Пусть хоть страшилище страшное...

Митька выскочил из дому, крупно зашагал на полустанок.

...В поликлинике Вера Михайловна встретила Курганова с некоторым удивлением. Затем сухо сказала:

— Я думаю, теперь-то незачем. Нет надобности.

— Нет, есть! — решительно отрубил Митька.— Мне — есть! Пустите, или... я сам.

Вера Михайловна пожала плечами:

— Что ж... пожалуйста.

...Елена Степановна лежала в четырехкоечной палате возле окна и глядела в потолок.

— Здравствуйте,— несмело сказал Митька, останавливаясь возле койки.

Краснова медленно повернула к нему голову, в глазах ее что-то дрогнуло.

Митька ожидал ее увидеть забинтованной, похудевшей, как старик Анисим, с глубокими шрамами на щеках. Никаких бинтов, никаких шрамов не было. Только на правом виске расходились лучиками бледноватые полоски да на лбу, у самых волос была наклеена пока тоненькая полоска пластыря.

Рядом с кроватью стояла белая тумбочка, на ней лежало несколько журналов, книг, овальное зеркало с целлулоидной ручкой.

Елена Степановна долго смотрела на Митьку, точно никак не могла узнать его.

— Это вы? — еле слышно проговорила наконец.

— Я.— Митька улыбнулся. И подумал, что улыбка его, видимо, жалкая и ненужная.

А девушка снова принялась не мигая глядеть в потолок. Глаза ее заблестели, потом наполнились слезами. Митька стоял, как истукан, не зная, не соображая, что ему теперь делать, что говорить.

А Елена Степановна, как и тогда, зимой, в станционном медпункте, тихо произнесла:

— Уходите.

...Как Митька вышел из поликлиники, как добрался домой — он не помнил. Вагонные колеса всю дорогу отстукивали и отстукивали: «У-хо-ди-те... У-хо-ди-те...» Совсем почти не подмерзшая за ночь снежная жижа от самого полустанка до Зеленого Дола чавкала под сапогами, издевалась: «Уй-дешь? Уй-дешь?»

«Черта с два! — почти криком кричал Митька.— Черта с два!» Но что «черта с два» — и сам не мог бы объяснить. Просто билась в мозгу, как бабочка об оконные стекла, одна и та же мысль: «Кажется, Зинка ведь Никулина вчера приехала. Ага, Зинка, Зинка, Зинка...»

И он, минуя свой дом, направился к Никулиным.

Когда заходил в сени, у него мелькнула злорадная мысль о матери: «А ведь приведу ей сейчас, однако, жену в дом. Вытянет лицо от радости...»

Едва он вошел в избу, Зина встала из-за стола, за которым шила рубашку малышу. Она растерянно поглядела на Митьку, потом на кровать, где, укрытый толстым стеганым одеялом, спал сынишка, и снова на Митьку.

— Чего так смотришь? — спросил он, будто обиженный холодным приемом.

— Неожиданно ты...— промолвила Зина, комкая в руках шитье.

— Значит, не ждала?

— Как я могу ждать... после всего?.. Зачем?..

Митька истолковал ее слова по-своему.

— И все-таки я пришел, несмотря, что с тобой все это... Назло всем. Всем! — выкрикнул он.— Одевайся, айда к нам! А завтра расписываться поедем...

Однако Зина не тронулась с места. Она только положила недошитую рубашку на стол. Но освободившиеся руки ей деть было некуда, и она зажала в кулаках уже измятые куски материи.

— Как это назло? — дрогнувшим голосом спросила она.— И кому это всем?

— А всем, кто шибко уж загордился. Думают, Митька у их ног ползать будет... Нет, не-ет! — Он возбужденно расхаживал по комнате, размахивая руками.— Но я знаю, знаю: как распишемся с тобой, откроют рот от зависти... Собирайся, что ли!

Зина вроде и не замечала, что Митька на нее кричит. Она прежним голосом спросила:

— Как это от зависти?

— А так... Знают ведь, что с тобой там... в Озерках, выделывали... А я говорю — назло! Да сколько тебя ждать?! Где твое пальто?

Митька снял с вешалки пальто, протянул ей. Но Зина, отступив назад, прижав к груди недошитую детскую рубашку, тихо произнесла вдруг:

— Вон отсюда.

Митька глянул в ее глаза и на этот раз в одно мгновение понял весь смысл сказанного.

— Но... послушай,— промолвил он, сразу обескураженный, придавленный.— Почему же?.. Ведь... как-никак сын у нас.

— Во-он! — закричала Зина, не помня себя.— Ненавижу! Ненавижу! Ты пришел только потому, чтоб назло... чтоб открыли рот от изумления: на Зинке женился, которая... которую там, в Озерках... А кто меня туда бросил? Из-за чего все это со мной... случилось?!

— Зинка! Зина... Погоди...— пятился Митька от ее глаз.— Я в самом деле, может, в горячке...

Но Зина уже ничего не хотела слушать.

— Вон! Вон!! Вон!! — трижды вскрикнула она, плача навзрыд. Подбежала к двери и распахнула ее...

Тогда Митька выронил Зинино пальто, склонил голову. Чуб его колыхнулся.

...Теперь он очнулся лишь далеко-далеко от Зеленого Дола, на какой-то крохотной забайкальской станции, в насквозь продуваемом весенним ветром деревянном вокзальчике. И то потому, что милиционер тряхнул его за плечо:

— Гражданин, куда едете?

Да, куда и откуда?

Ничего вразумительного ни милиционеру, ни себе Митька ответить не мог. Не скажешь же, что все эти дни в голове стучало и стучало: «Все! Уходите!! Вон!! Все!! Уходите...» То ли опять вагонные колеса стучали, то ли долбила в виски кровь.

— Куда, спрашиваю, следуете? — построже спросил милиционер.— Сутки сидите здесь. Все поезда прошли.

Да, видимо, сутки. С тех пор, как проводница вагона принесла ему отобранный при посадке билет и сказала: «Следующая ваша станция». Почему его? Ах да, при покупке билета он сунул кассиру сколько-то мятых бумажек со словами: «На все... Докуда хватит...» Значит, вчера билет кончился.

— Пройдемте-ка, гражданин,— сказал наконец милиционер, опять трогая Митьку за плечо.

— Куда пройдемте? Сейчас мой поезд.

— Какой это?

— А вот он...

На станции, скрипя железными тормозами, действительно останавливался какой-то пассажирский состав.

К счастью, в карманах нашлись еще кое-какие деньги. На вопросительный взгляд усатого билетного кассира Митька буркнул первое слово, которое пришло на ум: «Озерки».

Милиционер вышел из вокзальчика следом за Митькой, проводил его до самого вагона. И стоял на перроне до тех пор, пока поезд не тронулся.

И только когда вновь застучали колеса: «Все! Уходите!! Вон!!» — Митька очнулся наконец окончательно. Очнулся — и с каким-то испуганным и горьким недоумением подумал: «Почему же «уходите»? Почему «вон»?!»

Вдоль вагона, переваливаясь, шла толстая женщина в белом халате и выкрикивала: «Пирожки, колбаска, бутерброды...» У Митьки засосало в животе, и он понял, что давно не ел.

На сдачу, отсчитанную ему усатым билетным кассиром, Митька купил пирожков, колбасы, бутылку лимонада и, пристроившись у окна, начал есть.

А потом сидел, наблюдая, как проплывают назад вытаявшие гольцы, ощетинившиеся голым, редковатым березняком склоны холмов, мелкие неуютные деревушки с почерневшими избами, как мелькают мимо телеграфные столбы, будки путевых обходчиков, мосты, речушки, города.

В Митькиной голове тоже проплывали куда-то какие-то мысли, картины.

...Вот отец — всегда молчаливый, угрюмый, неласковый, чужой. С чего он такой? Он, Митька, об этом никогда ведь не задумывался, оказывается... Может, потому, что мать исчерпывающе объяснила как-то: «Не везет отцу в жизни, все на конюшне да на конюшне. И живем,— сказала мать,— не шибко в большом достатке. Зато ты в люди выйдешь, ты у нас одна надежда...»

И вот мать — ласковая, понятная, заботливая. Помнится, на сон рассказывала она всегда сказки, пела песни про удальцов да молодцов. И уж как бы там, в доме, ни было насчет достатка, ему, Митьке, всегда находился сладкий кусок.

И Митька любил мать, по-детски считая, что она самая умная и добрая из всех матерей. Он любил ее и став взрослым, хоть иногда и раздражался, грубил ей, не понимая отчего и зачем.

Не понимал тогда, не понимает этого и сейчас.

Мать часто повторяла: «Будь дурачком, да не простачком». Митька в душе соглашался с этим, хотя ему всегда становилось неприятно, когда мать говорила так... Когда-то, после истории с Зинкой, мать сказала: «Такую ли тебе в жены надо!» Что ж, сам Митька считал так же, а ведь опять неловко стало ему после таких слов матери. Или вот совсем уж недавно: «Супротив тебя-то кто из парней в деревне? Никого...» Верно, никого, это Митька знал. Но снова в душе остался какой-то осадок, что-то вроде свернулось и расправляется неохотно.

А с отцом — наоборот. Груб он, иногда и подзатыльник, бывало, даст. Митька сперва рассердится, а потом посмотрит со стороны сам на себя — ничего, такой же... Копилка помнится. Расколол ее отец, все монеты выбросил в окно, в разросшийся бурьян. И опять ничего. А выбросила бы их мать — ого, сколько бы горя!

Недавно отец совсем уж смертельно обидел и мать и его, Митьку, да еще звезданул кулаком в лицо. Ух как быстро стал накаляться Митька, словно электрическая спираль! Но отец сразу будто и спираль ту выключил, объяснив: «Половину — за внучку Шатрова».

Было что-то в словах отца такое, что немного остудило его. Правда, Митька все-таки выложил ему про Зину. Но что же было в словах отца?

...Митькины мысли ползли, тянулись медленно и тяжело, словно низкие облака, цепляющиеся за верхушки деревьев. Но одновременно в голове мелькало, как телеграфные столбы за окном, и другое:

«Это — забава?!» — кричит отец не ему, Митьке, а матери и тычет рукой в рассыпанные по столу пятаки и гривенники из расколотой копилки...

«Дур-рак... Может, ты и видел каких-нибудь. А таких еще не видел»,— грустно говорит Клашка, поправляя платок. Заиндевевшие ее ресницы чуть подрагивают.

«Гляди мне в глаза! Гляди!!!» — с болью в голосе кричит отец. Он, Митька, чувствует эту боль, видит, как из больших, усталых отцовских глаз катятся крупные слезы...

«И хорошо, что раньше не пришел. Я бы ведь поверила тебе...»

«И что теперь?»

«Ничего. Погляди, что там, под сапогами твоими...» Девушка даже не глядит на него.

Отвернулась и другая, глаза ее полны слез:

«Уходите...»

А третья, побледнев, кричит, распахивая ему двери:

19*

«Вон!!»

...Митька все смотрел, смотрел в вагонное окно. Проплывали назад станции, перелески, поселки, большие села, огромные города. Но ничего этого он, кажется, не видел. Он не слышал, что делается и в самом вагоне. Иногда хмурился от своих мыслей, кисло морщился. И опять задумчивость разливалась по его лицу.

Он еще не понимал, что к чему в этих мыслях. Расскажи постороннему о Митькиной жизни, поведай об этих его раздумьях — и постороннему в два счета было бы все ясно. А самому Митьке — пока нет.

Ясно ему было, кажется, сейчас только одно — хорошо, что он едет обратно домой. Там — отец, там... все. И никто никогда не узнает, что он уезжал. Зачем им знать? Только вот поезд медленно что-то ползет. А ему, Митьке, надо скорее добраться до Озерков, затем до полустанка, потом до родной деревни. Ведь Светлиха того и гляди тронется.

...Светлиха еще не тронулась, и Митька ее перешел, может быть, одним из последних перед половодьем.

Степанида всплеснула руками при его появлении.

— Ладно! — сказал Митька.— Помыться бы.

В голосе сына было что-то незнакомое, пугающее. Степанида ничего больше не стала спрашивать, побежала топить баню.

И вот Митька, красный, распарившийся в бане, с не просохшими еще волосами, сидит за столом и пьет чай. Степанида, вздыхая, возится в соседней комнате.

Наконец она выходит оттуда в новой черной юбке, в теплом черном жакете. И направляется к двери.

— Куда это? — приподнимает Митька влажный чуб.

— Так я это... к жене Илюшки Юргина схожу. Ненадолго.

— Зачем?

— Так ведь что же... Сиротами остались мы с тобой, сыночек, при живом отце да муже. А за сирот один заступник — господь...

— Господь, значит? — Митька отодвинул стакан с недопитым чаем.

— Вот и помолюсь за тебя. И за себя маленько. Молитвенный дом-то закрывают наш. Во враждебных целях, говорят, использовался. Какие уж там цели... Все Захарка с Корнеевым стараются. Так мы у Юргиной собираемся...

Митька выслушал мать внешне бесстрастно. Это, собственно, не было для него неожиданностью — мать и раньше заглядывала иногда, тайком от мужа, в молитвенный дом. Она даже говорила сыну с полуулыбкой:

— Митенька, сбегаю-ка я к богомолкам нашим вонючим. Если придет отец, скажи, что у соседки я...

Митька с той же полуулыбкой отвечал:

— Ладно уж...

Все походило на безобидную игру.

Сейчас Митька вдруг почувствовал: если это и была игра, она кончилась.

— Вот что, мать,— сказал он, медленно вставая из-за стола.— Никуда ты не пойдешь... И чтоб больше я ничего подобного не слышал.

— Митенька! — Степанида так и осела. Глаза ее блеснули тускло, беспомощно.— Да что же это?! Надо мной отец всю жизнь... стоял, а теперь — сын... Сын?!

Вместо ответа Митька подошел к двери и закинул ее на крючок.

4

Еще весны душистой нега
К нам не успела низойти,
Еще овраги полны снега,
Еще зарей гремит телега
На замороженном пути...—

мурлыкал Мишка Большаков, лазая вокруг своей полуторки, позвякивая ключами. Иногда он умолкал, сосредоточенно рылся в инструментальном ящике. И опять откуда-нибудь из-под машины доносилось:

...Едва лишь в полдень солнце греет,
Краснеет липа в высоте...

— Пушкин? — попытался определить Сергеев, выйдя из гаража.

— Что вы! Не-ет...— помотал головой парень.

— Тогда этот... который про Геракла с Прометеем?

— Нет, и не Губер.

— Ну, брат, тогда сдаюсь,— улыбнулся Сергеев.— В школе, понимаешь, давно учился.

— Да я вам скажу! — с готовностью воскликнул Мишка.— Это Фет. Афанасий Афанасьевич Фет. Вот, слушайте:

...Едва лишь в полдень солнце греет,—

с новым жаром начал Мишка.—

Краснеет липа в высоте,
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей еще не смеет
Запеть в смородинном кусте.
Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролетных журавлях,
И, их глазами провожая,
Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках.

— А ну, как? — подступил Мишка к Сергееву, чуть не хватая его за тужурку.— Здорово? А ведь помещик был, эксплуататор, в общем. А понимал, чувствовал природу.

— Ладно, поглядим, как ты, труженик, автомобильный мотор понимаешь! Ну-ка, заводи!

Мишка залез в кабину, высунул в дверцу свое круглое, веснушчатое лицо:

— А ведь, правда, березняк-то желтоватый такой стоит вон там под увалом, я вчера видел. И журавли кричат в небе. Вы слышали?

Сергеев, вероятно, слышал, потому что журавли, устало махая крыльями, тянулись над деревней в эти дни нескончаемыми звеньями. И немногочисленные в этих краях редковатые рощицы берез действительно казались, особенно вечерами, на закате солнца, желтоватыми пятнами на фоне потемневшей земли. И соловьи еще не пели, и Чертово ущелье почти доверху забито снегом. Все это было правдой.

Неправда лишь, что солнце грело еле-еле. Оно сейчас щедро разгоралось с самого утра, поливая землю неиссякаемым своим теплом, вешние потоки гремели все громче и с каждым днем все дольше.

Наконец снега поплыли неудержимо. Они расплавлялись, таяли прямо на виду. Сплошным морем взялось заречье.

Но не было на этом «море» ни волн, ни ряби. Вешние дни в Зеленом Доле всегда стояли тихие, безветренные, щедрые. Наконец и в лесных балках забушевали, закипели от ярости целые реки. Там низвергались с шумом, с ревом, с грохотом тяжелые водопады, далеко разбрасывая холодные, тяжелые брызги.

А Светлиха в эти дни словно грозила раз и навсегда опровергнуть свое название. С каждым днем она, тяжелея, вспучивалась, синела от натуги, даже чернела.

Наконец часов в пять вечера со звоном разломилась она от берега до берега наискосок. Показалась вдоль разлома длинная узенькая лента темной воды, с минуту покачались друг перед другом два ледяных поля, чуточку разошлись. И оба с треском раскололись на множество льдин, которые задвигались, закрутились, поползли вниз. Но теперь на реке им было тесно, метровой толщины льдины, скрежеща, разбрасывали гальку, вспахивая землю, полезли на берег. Берег был еще мерзлый, упругий, непоколебимый, льдины ломались, но все равно лезли и лезли...

...Фрол Курганов, в вымокшей тужурке, в расквашенных сапогах, сидел на давно вытаявшем пне, глядел, как ползут на берег многотонные льдины, как они со скрежетом, со стоном корежатся, ломаются. Иные падают, сползают обратно вниз, в воду, и, повернувшись другим боком, снова лезут вверх, на довольно крутой в этом месте берег. Иные разламываются на

сотни хрустальных осколков, куски поувесистее со звоном плюхаются на камни, в воду, прыгают, раскатываются по ледяным торосам, а мелочь фонтанами взлетает чуть не к его ногам.

Напротив Фрола, на другой стороне реки, могуче стоял Марьин утес. Об его каменную грудь бились огромные ледяные глыбы, бешено крутились. Средь ледяного месива бурлила, весело вскипала вода, радуясь долгожданному освобождению. Вода брызгала во все стороны, иногда со свистом вырывалась между остервенело трущихся друг о друга льдин. Упругие струи взлетали высоко вверх, точно пытаясь достать свесившиеся над ними ветви осокоря.

А осокорь стоял величаво и недосягаемо. За утесом, за осокорем клонилось к горизонту солнце. Но оно словно застряло, запуталось длинными космами в прутьях огромного дерева и теперь не думало из них выбираться, намереваясь вечно лежать, покачиваться в ветвях, отдыхая от своих тысячелетних трудов.

Фрол недвижимо сидел на пне, смотрел на утес, на осокорь, на запутавшееся в его ветвях солнце. Время от времени только чуть приподнимались и опускались его густые разлохмаченные брови да появлялось и исчезало что-то печальное, невысказанное в уголках его крепких сильных губ.

Зачем он, Фрол, пришел сюда, зачем, проваливаясь в снеговой жиже, убрел за деревню? Чтоб побыть одному, посидеть, подумать в тишине? Но какая тут, к черту, тишина! Трещат перед ним льды, звенят сзади в тайге лесные птахи, и ревет сбоку весенний поток, выливаясь по овражку в Светлиху. Мутная вода хлещет, как из огромной трубы, вниз, размывая высокий берег, волоча на себе сучья, кустарники, прошлогодние листья, комья перепутанных, выдранных где-то с корнями трав...

Возле Фрола, у его ног, лежит на длинном шесте рыболовный сачок. Может, половить рыбы пришел сюда Фрол Курганов? Да, он так и сказал Клавдии еще в обед, вылезая из-за стола, оставляя почти полные тарелки:

— Не хочется что-то мясного. Рыбки, что ли, пойти принести на ужин.

Сказал, не поднимая на Клашку глаза.

— Иди,— тихонько сказала она, бороздя ложкой в тарелке.— Только... осторожней там... Не рухни где-нибудь. Берега обопрели.

Берега обопрели, это верно. И кажется, вся рыба, какая есть в Светлихе, наморившаяся подо льдом, сбилась, сгрудилась сейчас у берегов, чтоб подышать кислородом, вливающимся в реку с вешними потоками. Чебаков и окунишек в эту пору даже ребятишки черпали самодельными сачками чуть не целыми ведрами.

Но рыба ему была не нужна. Это Фрол понимал.

Понимала это и Клавдия.

В ту холодную январскую ночь, когда пришел к ней Фрол, она так и не сомкнула глаз. Она все лежала, все смотрела в темноту, отодвинувшись от Фрола, но все равно чувствуя рядом его большое грузное тело. Иногда волнуясь, как девчонка, протягивала руку, касалась его плеча или груди, но тут же отдергивала ее, отодвигаясь дальше, к самой стене.

Временами ей казалось, что откуда-то сверху, из темноты, смотрят на нее обиженные, укоряющие глаза Федора. Тогда она зажимала в зубах угол одеяла, чтоб не закричать, и беззвучно плакала...

Лишь перед рассветом она насмелилась все-таки положить руку Фролу на грудь, осторожно обняла его, приткнулась к его жесткому плечу, волнующему незнакомым, неизведанным запахом, улыбнулась про себя облегченно, радостно — и уснула.

Утром встали с восходом солнца. Стараясь не глядеть на Фрола, Клавдия неловко металась по комнате, собирая завтрак. Лицо ее пылало от волнения и еще от чего-то, глаза поблескивали, и она, не замечая, улыбалась сама себе. Фрол тоже улыбнулся и проговорил:

— Помоложе бы мне быть...

— Ну что ты еще...— подняла Клашка счастливые глаза.

— Ничего, Клавдия, поживем!

После завтрака она побежала на работу. Фрол задержался.

Когда она заглянула в обед домой, Фрол по-прежнему сидел за столом в расстегнутой рубахе, какой-то помятый, взлохмаченный, хмурый. В сторону Клавдии не поднял даже головы.

У Клашки все оборвалось внутри. Она тяжело подняла руку, расстегнула одну пуговицу фуфайки, другую. На третью не хватило сил.

Глаза ее блуждали по комнате, как у пьяной, будто она хотела рассмотреть, где же сидит Фрол, ее муж, и не могла. Стоять она тоже не могла и тяжело прислонилась к стене.

— Что... случилось... Фрол? — язык ей повиновался с трудом.

— Митька был,— ответил Фрол, помедлив.— Сын-то у Зинки... сестры твоей... от него.

И долго-долго оба молчали.

Наконец Фрол с трудом разогнул затекшую от долгого неподвижного сидения спину и проговорил, как утром:

— Ничего, Клавдия... Ничего. Что ж теперь делать? Как-нибудь проживем. Пойду на работу все-таки...

...И хотя они продолжали жить вместе, Клавдия с тех пор больше не улыбалась. Фрол тоже все время был неразговорчивый, вроде отрешенный от жизни. Иногда он словно бы приходил в себя, пытался пошутить, сказать ей ласковое слово, как-то приласкать, но все это получалось неестественно, вымученно, холодно и не приносило радости ни ей, ни ему.

Клавдия понимала, что если у нее с Фролом и было счастье, то оно продолжалось только одно утро — с того момента, как она уткнулась в его плечо, и до возвращения в обед с работы; если и было, то кончилось в ту минуту, когда она, переступив порог, увидела смятого и взлохмаченного Фрола.

Клавдия хотела на другой же день поговорить с Фролом начистоту, разрубить надвое узел, который еще не успел затянуться. Но не решилась, не хватило сил. Не решилась и на другой день... А тут закрутилось, завертелось все в Зеленом Доле, заколыхались будто у нее перед глазами крыши домов, деревья: Демид Меньшиков, Устин, Пистимея... И Фрол, Фрол Курганов в больнице, изрезанный ножами!

...Едва она услышала эту весть, схватилась и в чем была побежала куда-то. Еще хлестала пурга, сквозь серую муть была почти не видна дорога. Она, эта заснеженная дорога, почему-то вздымалась круто вверх, и Клашка карабкалась по ней.

Клавдия и не слышала, как ее догнала автомашина, почти не видела Сергеева, который тряс ее за плечо. Она только еле-еле разобрала его крик:

— Рехнулась ты, баба! Пропадешь. Айда в машину!

— Поедем, а? Поедем! — ухватилась теперь за плечо Сергеева сама Клашка.— Ведь ему там плохо... Он помирает, может.

— Куда в такую непогодь. Не пробьемся.

— Тогда я — пешком. Я — пешком.

...Когда они приехали в Озерки, пурга немного притихла. Фрол не умирал. Он лежал в небольшой, теплой и чистенькой палате с перебинтованной рукой и грудью, тепло и благодарно улыбался, как в первое утро их жизни.

Больше он уже никогда так не улыбался. Да и не до улыбок было: следствие, суд...

Перед судом он сказал Клашке:

— Хотел я тебе рассказать про свою жизнь нескладную, облегчиться. Да вот другому судье придется. На следствии я всего про себя не говорил. Боялся, что ли? Не знаю... А сейчас — скажу...— И через минуту добавил:— Что бы мне ни присудили — будет по справедливости. А только Митьке, сыну, скажешь так: отец виноват, но подлецом он никогда не был. Скажи, что я, мол, велел так передать. И еще — пусть о сыне своем подумает...

Клавдия не очень-то уразумела, что передать Митьке, но обещала.

Передавать не пришлось. Фрола не засудили. И он сказал:

— С Митькой я сам теперь. И с Зинкой. Но с сестрой и ты поговори — пусть в родную деревню возвращается. А?

— Ладно,— покорно сказала она.

Клавдия говорила с Зиной. Та лишь мотала головой и отвечала:

— Не поеду, ни за что! Чего вы с Фролом привязались!

— Значит, и Фрол уговаривает тебя вернуться?

— Ну да, и Фрол... А еще раньше Мишка Большаков все вокруг меня вертелся, уши своими стихами прожужжал. И тоже — возвращайся, да и все, в Зеленый Дол... А сейчас отец его, Захар Захарыч, покою не дает. Как приедет в Озерки, так обязательно...

— А Фрол-то,— глядя в сторону, проговорила Клавдия,— он... почему?

— Надо, говорит, с Митькой вам жизнь налаживать. У ребенка, говорит, отец должен быть. Должен, конечно... Да легко ли мне... после всего... Но если и захотела бы... он сам, Митька, не захочет. Правда, Фрол говорит...

— Что он говорит? — еще тише спросила Клавдия.

— Что с Митькой он уладит. Да все равно, если и уладит, что за жизнь у нас будет? Как мы в одной деревне... Ты с Фролом, я с Митькой. Люди-то что скажут...

— С Фролом у нас не будет жизни, Зинушка,— сказала Клавдия.— Уйдет он все равно. Не мое, видно, счастье. Так что подумай.

— Нет, нет! — говорила Зина. Но по ее голосу Клавдия поняла, что сестра колеблется.

...Фрол, однако, не уходил, после суда жил у нее. Это было ей непонятно. Жил и молчал.

Недавно Фрола все-таки назначили бригадиром. Клавдия сготовила хороший ужин, купила бутылку водки.

— Спасибо, Клавдия. Хорошая ты,— сказал он. Но и только.

Он выпил стакан водки. Клавдия чувствовала — чтоб не обидеть ее.

В последующие дни он тоже молчал. Клавдия понимала — молчит Фрол теперь не от замкнутости, не от обиды на нее и на себя, не оттого, что не знает, как от нее отделаться. Она по тысяче мелочей, недоступных чужому глазу, видела, что этот нескладный и некрасивый человек любит ее и был бы рад прожить с ней остаток дней. Он молчит от горя, от внутренней боли, понимая, что нельзя, не может жить с ней, Клавдией Никулиной. Вон Зина уже приехала в деревню. Вон Митька, говорят, забегал уж однажды к ее сестре. Сам Фрол изредка заходит к ней.

Клавдии было нелегко. Но она не решалась говорить о чем-либо с Фролом, не решалась спросить и у сестры, зачем ходит к ней Фрол. И зачем спрашивать, когда все и так ясно. И люди,

обычно падкие на пересуды, никак не комментировали этих событий. Может быть, они и судачили меж собой, но ей виду не показывали.

Особым чутьем Клавдия понимала: ее, кажется, оберегают от всяких волнений,— видно, так наказал Большаков. Но ей от этого было не легче, она словно попала в какую-то пустоту, где нет ни ветерка, ни звука.

И сегодня за обедом, не в силах больше выносить этой пустоты, начала было:

— Я хотела, Фрол...

А Фрол поспешно полез из-за стола, оставляя почти нетронутым обед:

— Не хочется что-то мясного. Рыбки, что ли, пойти принести на ужин.

— Иди,— тихонько сказала она, бороздя ложкой в тарелке...

...Солнце все-таки выпуталось из цепких ветвей осокоря, скатилось вниз, за подернутые вечерней дымкой зареченские луга. Скатилось, чтобы завтра подняться с другого края земли.

И ледоход почти прошел. По Светлихе плыли теперь редковатые большие льдины, плыли важно, торжественно, будто именно ради них, чтобы освободить, расчистить им путь, кипела недавно тут вода, разбрасывая, кроша и поспешно угоняя вниз ледяное месиво.

В воздухе быстро холодало. Птахи за спиной умолкли. Сбоку, все тише и тише, гремел вешний поток, иссякая постепенно, обнажая еще мерзлые, но все-таки порядком источенные бока оврага.

Фрол встал, закинул сачок на плечо, пошел в деревню.

Ужинать он не стал, только сидел за столом и все смотрел на Клавдию. Она не поднимала головы и тоже почти ничего не ела.

Так прошло десять минут, двадцать.

— Чего же ты... ешь,— сказала Клавдия.

Фрол вздохнул и положил ложку.

— Видишь, как оно получается у нас,— проговорил он. Клавдия по-прежнему не подняла головы. Но Фрол заметил, что на стол упала ее бесшумная слезинка.— Ну, ну, Клавдия... Не надо,— попросил он.— Ты же знаешь, что я... с тобой бы... хотел...

— Господи! — воскликнула она, поднимая голову. Щеки ее, обветренные, горячие, блестели от слез.— А я разве не хотела бы?! Да ведь... Я не виню тебя. Я понимаю. Мне только жалко тебя.

Фрол встал, подошел к раздавленной горем женщине, погладил ее по мягким волосам тяжелой, заскорузлой, выдубленной конским потом рукой.

— Хорошая ты, Клавдия... Захар правильно сказал: для счастья была ты, видно, рождена, да судьба твоя на телеге где-то ехала, а телега сломалась.

— Господи! — опять воскликнула Клавдия.— Ничего, ничего... Только не надо так... Ты иди... Я вижу, каково тебе...

Фрол все стоял возле нее, все гладил по голове.

— Я бы давно ушел...— тихо проронил Курганов.— Да вот... все об этом господе твоем думал... Я не знал, как тебе сказать... Я все боялся, чтобы ты... Захар меня тоже предупреждал... И сейчас боюсь... Главная-то змея сгорела, видать. Но... старушонки опять начнут ходить к тебе.

Речь Фрола была бессвязной, сбивчивой. Клашка запрокинула голову, глянула на Фрола снизу вверх, все поняла, закрутила головой и уткнулась ему в бок.

— Нет, нет... Теперь не будут. Не пущу. Ты не бойся... Только...

— Вот и хорошо. Вот и хорошо. Тогда... что ж...

— Только,— Клавдия еще сильнее прижалась к его боку,— только ты, Фрол, помоги мне еще немного...

— Да я что угодно для тебя... Ты подскажи — как...

— Я все ждала... Надеялась — ребенок у меня будет. Тогда бы мне все нипочем. Доехала бы тогда моя судьба... на той телеге. А вроде нету пока, ничего не чувствую... Ты понимаешь?

Фрол понимал. Но ничего не говорил, пораженный такой просьбой.

— Ты прости меня, дуру,— прошептала Клавдия, оторвавшись от Фрола, поставила руки локтями на стол и спрятала в ладонях лицо.— Только не думай обо мне плохо. А теперь иди. Мне стыдно на тебя смотреть...

И Фрол неслышно отошел. Стараясь не скрипнуть, он прикрыл за собой дверь.

На улице Курганов долго стоял под звездным небом, курил и прислушивался, не раздастся ли какой звук из Клашкиного дома. Ему казалось, что, если бы Клавдия вышла сейчас на крыльцо, позвала его, он, не раздумывая, с радостью и облегчением вбежал бы обратно в этот домишко, и уже навсегда. И уже никто и уже ничто не заставило бы его покинуть Клавдию.

Влажный холодный воздух гулял над деревней, качал голые кусты. Было слышно, как бьют в берега несильные волны Светлихи.

Целую зиму берега реки были безмолвны, но теперь ожили. И Фрол вспомнил почему-то, как он прошлым летом сидел в темноте у крохотного озерка и слушал еле уловимый шорох его волн. Слушал, а потом подошла Клавдия...

...Из дома Никулиной не раздавалось ни звука, хозяйка его не выходила на крыльцо. Фрол медленно двинулся вдоль по улице.

Шел не спеша, будто обдумывая на ходу, что ж теперь делать, куда повернуть.

Повернул к квартире Антипа Никулина.

Зина, читавшая книжку, быстро отложила ее, беспокойно поднялась. По ее лицу заметалась тревога. Она подбежала к кровати, на которой посапывал во сне сынишка, тщательно укрыла его.

— Что же, Зинушка... Давай мальца,— сказал Курганов.

— Фрол Петрович! Дядя Фрол...— промолвила Зина неуверенно, беспомощно, загораживая собой кровать.

— Чего — дядя! Я тебе теперь — отец. Договорились ведь.

— Не знаю... Не верю я... Боюсь, не выйдет ничего. Митька — он ведь такой... Он гордый...

Из-за занавески вышел Антип Никулин, напустился на дочь:

— А чего тут не знать? И чего не верить?. Вы с Митькой не девки-мальчики. И дитё у вас — тоже человек. Митька что? Был герой — хвост трубой. Да пришлось в колечко завязать. Я к тому, что и Митька ныноче стал иначе... Фрол Петрович все это правильно делает. И ты не бойся... А я к Клахе пойду жить. Повинюсь перед ней, простит отца.

Антип был по-прежнему многословен. Но теперь в его словах стала появляться какая-то доля смысла.

— Давай сынка, Зинушка,— еще раз сказал Фрол.— На улице маленько ветрено, заверни потеплее. И жди Митьку. Придет — построже с ним. Пусть в ногах, дьявол, поползает. Ничего, Антип Минеич правильно говорит, пришлось Митьке хвост завязывать. Во время завязки он надломился даже. Больно, конечно. Потому понимает — надо залечивать... Ничего...

— Конечно! — опять вмешался Антип.— Да мы, Зинушка, с тобой тут вдвоем его так в оборот возьмем...

— А тебя, Антип Минеич, я прошу: как Митька в дом — ты из дому. Понял? — проговорил Фрол.— Найди уж причину. Пускай сами они... своим умом договариваются.

Антип сперва поморгал, потом торопливо закивал:

— Ну как же, как же... Понятное дело — меж двух третий лишний, хотя бы и отец. Я сразу, сразу... Это раньше, бывало, отцы-то неразумные сатрапили над детьми, а ныноче... Уйду, уйду, Петрович...

Мальчишка спал крепко. Зина завернула его в стеганое одеяло, поперек перевязала, чтоб не распахнулось на улице, стареньким платком. Фрол принял тяжелый сверток, толкнул ногой дверь.

...По улице шел осторожно, боясь поскользнуться...

...У калитки своего дома помедлил, постоял, глядя в ту сторону, где жила Клавдия Никулина.

...На крыльцо поднимался горбатясь, грузно, тяжело. Наверное, так в старые времена всходили на плаху.

Степанида на кухне возилась с кринками, разливала в них из подойника молоко. Увидев входящего мужа, выпрямилась, откачнулась в сторону, выронив подойник, опрокинув с кухонного стола рукавом полную кринку. Подойник, загремев, покатился под стол, кринка с глухим звуком раскололась на несколько черепков, белая лужа поползла под ноги Фролу.

Из соседней комнаты выбежал Митька. Увидев отца, тоже замер, сдвинув брови. Грудь его была оголена, и он машинально принялся обеими руками застегивать на рубахе пуговицы.

Но застегнул только до половины, опустил руки. С минуту все трое молча стояли друг против друга.

Потом Фрол положил ребенка на кровать, стоявшую тут же, на кухне, развязал платок, развернул одеяло. Мальчику там было жарко. Почувствовав свободу и свежий воздух, он зашевелился, раскинул ножки и ручки, зачмокал губами. И вдруг открыл глаза, пролепетал сквозь сон:

— Где мама? Где мама?

— Сейчас придет,— сказал Фрол.

Ребенок перевернулся на бочок, лицом к Митьке, чему-то улыбнулся и опять задышал ровно и глубоко.

Фрол присел на табуретку, поглядел на молочную лужу.

— Чего ж ты? Подотри,— сказал он Степаниде.

У нее задрожали губы, из глаз хлынули слезы. Она вытерла концом платка глаза и взялась за тряпку.

Степанида подтирала пол, а Митька все глядел то на отца, то на ребенка.

— Зачем ты его принес? — проговорил он.

— А ты как, набегался? — в свою очередь спросил Фрол.

— Куда это я бегал?

— Тебе лучше знать. Я же следил за тобой, подлецом.— Митька медленно опустил чубатую голову. А Фрол прибавил: — Вот-вот... Так недолго и совсем уронить ее.

Степанида меж тем подтерла пол, собрала глиняные черепки.

— А ты, Степанида, прости меня,— глухо вымолвил Фрол. Вымолвил и долго-долго ждал ответа. Но жена молчала.— Так прощаешь, что ли? Подурил я — опомнился. Помогли хорошие люди опомниться. Давайте жить. Вот он, внук, у нас с тобой...

Степанида только всхлипнула.

Прошла еще минута. И еще.

— Так что же ты стоишь? — спросил Фрол у сына.— Слышал же — ребенок мать зовет. Ступай, веди...

— Ты же наблюдательный, так должен знать — ходил я к ней,— сказал Митька.— Выгнала.

— Выгнала?! А ты хотел, чтоб она тебе на шею бросилась? — Голос Фрола начал наливаться твердостью.— Может, и теперь погонит прочь, как... нашкодившего пса. А ты, не стыдясь, на колени перед ней. Мало будет — с улицы на карачках в дом



вползай и проси прощения. Я вот старый человек, а просил. А мне легче, что ли? Сам швырнул ее в грязь, сам и отмывай. Да отмоешь когда — благодари, что она смилостивилась.

Митька шевельнулся было, но с места не тронулся.

— Сынок, ты ведь понимаешь все,— другим, теплым, чуть печальным голосом продолжал Фрол.— Ведь накипь у тебя только сверху. А под ней — человеческое сердце.

— Что ж, Митенька,— проговорила вдруг и Степанида.— Видно, идти надо. Душонка женская мяконькая и добрая. Может, оттает, распустится. Сходи, сынок...

Митька еще постоял, поглядел на сына. Поднял руку, застегнул пуговицы до конца. Шагнул к вешалке, снял тужурку...

5

А весна между тем наступала и наступала.

Синее небо над Зеленым Долом с каждым днем голубело и голубело. И казалось, что оно поднимается все выше и выше.

Растаяли снега на полях и в лесах, вешние воды, прозвенев, скатились в ложбины, в низкие места, а оттуда — тысячами ручейков и ручьев в Светлиху, замутив ее чистые воды.

Пашни были еще мокрыми. В тайге, особенно в глухих, тенистых местах, под слоем мокрых прошлогодних листьев лежали грязные ледяные глызы.

Но и осокорь на утесе уже отяжелел, вольготнее распустил во все стороны свои голые пока ветви, сизовато поблескивая, плавая в космах теплых туманов, поднимающихся с земли.

Деревню все плотнее заволакивало острым запахом оттаивающей, просыпающейся к жизни земли, набухающих почек.

Потом к этому запаху начал примешиваться холодновато-терпкий, пьянящий аромат. Это значит, на лугах и в тайге зацвели подснежники, а на деревьях начали лопаться первые почки.

И только Чертово ущелье все еще дышало влажным холодом. Там, на дне, все еще лежал снег...

Когда зацвели подснежники и начали лопаться почки на деревьях, умер Анисим Шатров.

Перед самой кончиной он велел Иринке сбегать за председателем.

Когда Захар пришел, старик долго-долго глядел на него молча.

— Тяжело мне, Захарыч, помирать-то,— вымолвил он наконец.— От твоих слов тяжело... от этих, что на кочан я похож. Вот все думаю — верно ведь ты определил.

— Да я же, Семеныч... Я же не хотел обидеть тебя, когда сказал так,— мягко произнес Большаков.

— Что — ты... Сам я себя обидел. Обездолил, проще. Свернулся в кочан, а развернуться не мог. От этого тяжело...

С его щеки упала слезинка. Старик попросил:

— Хоть и не по заслугам будет честь, а попрошу вас... похороните меня там же, под осокорем...

Это были его последние слова.

Похоронили Анисима там, где он просил.

...Мертвым лежать спокойно, а живым — жить.

Вскоре зашевелился, загудел Зеленый Дол, зазвенел голосами. Зарычали грузовики, затрещали тракторы. Весь этот гул и грохот в несколько дней уполз за Светлиху, и вот уже первые зерна упали в прогревшуюся пашню.

Деревня обезлюдела. По улицам только часто и торопливо шныряли грузовики, развозившие от семенных амбаров во все стороны тугие многопудовые мешки.

Однажды утром к амбарам подошла худенькая девчонка, присела на солнцепеке и раскрыла книжку. Но она не столько читала, сколько следила за подъезжающими и отъезжающими грузовиками.

Когда показалась обшарпанная полуторка, она вскочила, замахала книжкой. Из кабинки высунулся Мишка Большаков, заулыбался.

Он подогнал машину к раскрытым дверям амбара, выскочил из кабинки, подбежал к девушке:

— Ксеня! Вот здорово! Ты надолго приехала?

— На денек всего,— ответила Ксения.— Мамку проведать... И вообще подышать воздухом.

— Вот здорово! — опять воскликнул Мишка.— А тебе сейчас... тяжело, наверное?

— Да как сказать... не шибко легко, Миша,— ответила она.— Ну, ничего. Литературу больше уже не сдавать.

И вдруг, когда прошли первые минуты встречи, оба смутились, замолчали.

Колхозники, не обращая на них внимания, грузили машину.

Ковыряя землю носком ботинка, Ксения спросила:

— Ты куда семена возишь?

— На зареченские пашни. А сейчас батя велел в третью бригаду отвезти. Там у них не хватает, что ли...

Неожиданно Мишкин голос перехватило. Но он промолвил все же:

— Слушай... Поедем со мной? Проветришься... А в лесу — цветов!

— Нет, что ты... Физику надо зубрить. До свиданья.

И она пошла прочь от амбаров. Но пошла не к дому, а вдоль улицы, на край деревни.

Через несколько минут Мишка догнал ее уже за деревней, притормозил, распахнул дверцу. И девушка быстро шмыгнула в кабинку.

— Только ты остановись, где побольше цветов,— сказала, краснея, девушка.

Мишка заглушил мотор возле небольшой полянки, сплошь усеянной подснежниками.

Ксенька тотчас забрела в траву, шла и шла по полянке, спускающейся к берегу лесной речушки, выбирала самые лучшие цветы. Но вдруг остановилась, к чему-то прислушиваясь. К ней подбежал Мишка.

— Гляди, каких я тебе нашел!

— Тише! — прошептала девушка.— Там, на берегу, кто-то разговаривает, что ли...

Оба замерли. За невысокими кустами, огородившими поляну, булькала речушка. Потом в самом деле послышались голоса.

Мужской:

— Машина, что ли, остановилась на дороге?

И женский:

— Да нет, проехала вроде.

Парень и девушка несколько секунд стояли недвижимо, не зная, что делать.

— Пойдем... потихоньку,— потянула девушка Мишку за рукав к дороге.

Но в это время из-за кустов опять еле слышно донеслось:

— Не надо больше встречаться нам, Фрол. Не надо. Вскоре после того, как ты ушел от меня, я почувствовала — ребенок будет... Спасибо тебе. Я уж думала — возьму какого-нибудь сиротку из детдома. Да разве со своим-то сравнить!

За кустами помолчали. Потом снова:

— И как же теперь, Клавдия? Я тоже думал: как оно все это выйдет, если ребенок будет? Чей он — кому ж не ясно... Степанида — это ничего. А Митька, Зина? Только-только вроде прилаживаться друг к другу стали...

— Уеду, однако, куда-нибудь я...

— Совсем?

— Почто же... Года через три-четыре — вернусь. Скажу — из детдома взяла. Или... Да и кому какое дело тогда, откуда у меня ребенок...

— Плохо это, уезжать-то...

— Нехорошо. Не хочется. Да что ж... Зато теперь у меня счастье есть. Когда будет можно, я и ребенку своему и всем скажу, кто его отец. Ладно?

— Конечно, чего ж тут... Да-а, вон как даже оно бывает, в жизни-то...

Ксенька с Мишкой стояли не шелохнувшись, пораженные чем-то большим, таинственным и пока им не совсем понятным.

Первая опомнилась Ксенька. Она нагнулась, осторожно зачем-то положила на землю нарванные цветы и тихонько пошла к машине.

— Букет соберем где-нибудь в другом месте, на обратном пути,— сказала она, когда Мишка тихонько тронул грузовик.— А кто это там говорил — не знаешь?

— Нет, не угадал по голосу.

— Вот и я не угадала. Ладно?

— Ладно.

Но минут через пять девушка все же вздохнула:

— Ей и так, тете Клаше, тяжело.

На обратном пути остановились далеко от этой поляны.

— Айда поглубже в лес,— сказал Мишка.— Там, в прохладце, они еще только-то расцветают.

В сумеречных, холодноватых зарослях цветы действительно были свежими, крепкими. Желтоватыми огоньками они манили Ксеньку с Мишкой все глубже и глубже. Только чем дальше отходили от дороги, тем все гуще становился какой-то гнилой, смрадный запах.

— Пойдем назад,— проговорила наконец Ксенька.— Тут что-то...

— Действительно,— сказал Мишка.— Падалью, что ли, воняет. Видно, зверь какой-то подох... Пошли!

— Сейчас... Вон тот цветок только...

Ксенька сделала несколько шагов в сторону, нагнулась за цветком. И вдруг выронила собранный букет, отпрыгнула с криком «А-а!», дрожа, прижалась к Мишке.

— Что... кто?! — воскликнул Михаил тоже испуганно, однако обхватил девушку, загородил ее от непонятной еще опасности своим телом.

— Там, там...— беспрерывно повторяла Ксенька, увлекая его прочь.

— Да что там? Кто?

— Не знаю... Пойдем, ради бога, пойдем... Человек вроде там...

— Опять человек?! Какой? Откуда? Показалось тебе...

— Не знаю... Нет, не показалось...

Несколько секунд они стояли, прижавшись друг к другу.

— Постой-ка,— вымолвил потом Мишка, отпуская девушку, шагнул к зарослям, возле которых валялись брошенные цветы, раздвинул цепкие кустарники.

— Миша, Миша...

Но Мишка уже махал ей рукой, приглашая подойти.

В зарослях, вниз лицом, распространяя гнетущий трупный запах, лежал человек в полушубке, валенках, но без шапки. Впрочем, шапка валялась тут же, в нескольких сантиметрах от головы, если ее можно было назвать головой. Спутанные волосы отопрели, отвалились клочьями. Кожа на голове тоже разложилась, обнажив желтоватые кости черепа...

— Поедем, Миша,— простонала Ксенька,— в деревне скажем...

— Поедем,— сказал Мишка.— А это что?

Он увидел невдалеке от шапки какой-то мешочек, нагнулся и поднял его. В мешочке что-то звякнуло.

— Интересно,— пробурчал Мишка, стараясь развязать мешочек, стянутый узлом.

— Не могу больше,— промолвила Ксенька.— Пойдем, возле машины развяжешь.

Но Мишка не мог развязать крепкий узел и возле машины. Тогда он вынул нож, перерезал бечевку. К его ногам посыпались в мягкую траву влажные, разбухшие от сырости пачки денег, комья золота, серьги...

Увидев все это, Ксенька вскрикнула и отскочила прочь как ужаленная.

...Спустя два часа к этой же лужайке подъехали Захар Большаков, Фрол Курганов и еще несколько колхозников.

Труп опознать не удалось, так как лицо почти целиком разложилось.

— Поглядите, нет ли документов в карманах,— сказал Захар.

Документов не было. В одном кармане нашли всего лишь коробку спичек, а в другом — изогнутую железку.

— Ну-ка, ну-ка, дайте ее сюда,— сразу протянул к ней руку Захар. И долго рассматривал ее со всех сторон.— А где, Миша, ты мешок нашел? — спросил Захар у сына.

— А вот здесь, возле... возле головы лежал. А это что у тебя? Камертон, кажется.

Да, в руках председателя был тот самый «гамеркон», который когда-то, давным-давно, Илюшка Юргин предлагал Захару купить.

— Кто это его? — спросил снова Мишка, указывая на труп.

— Кто? Да, это бы интересно нам узнать,— промолвил Большаков.

...Юргина никто не убивал.

В тот морозный, пуржистый день не поделили Пистимея и Юргин меж собой заветный мешочек.

Илюшка Юргин шел сперва впереди и беспрестанно оглядывался: отстанет еще, старая корова, с мешочком-то, выдохнется и завалится в снег, заметет ее... ищи-свищи потом...

Он шел и думал только об этом мешочке. И в голове у него постепенно складывался план.

Пурга бешено завывала, выхлестывала снегом глаза. Ветер становился резче, холоднее — кажется, заворачивало на мороз.

Но Юргин ничего не ощущал — ни холода, ни хлестких ударов ветра.

Спустившись по Светлихе километра на полтора, они свернули влево и пошли по лесной просеке, которая упиралась в Чертово ущелье.

— Илюшка! Илья, гляди там, не ухни! — то и дело хрипло кричала Пистимея.— Сейчас тут край где-то должен быть.

— Ничего-о, я гляжу-у,— оборачиваясь, отвечал Юргин, а сам шел и шел вперед, нагнув голову.

И все-таки страшный обрыв он действительно чуть не проглядел, чуть не нырнул в бездну. Он в страхе отшатнулся, ударился о подошедшую Пистимею.

— Эт, черт, в самом деле ить...

— Я же говорила...

— Мне казалось, далеко еще.

Пистимея, открыв рот, тяжело дышала. Сморщенное лицо ее от смертельной усталости сделалось совсем крошечным, почернело, точно обуглилось.

— Устала, гляжу? — спросил Юргин.

— Ага, тяжко. Годы-то... Горло ссохлось. Ничего, теперь вот только обогнуть ущелье...

— Передохни маленько. А я тем временем... Чего-то лыжина хлябает на ноге.

Он нагнулся, перевязал ремень.

— Ну-ка, чего оно сейчас...— Юргин сделал несколько шагов назад, вернулся, остановившись теперь позади старухи.— Ага, ничего, стало... Так это... давай мешочек, все полегче будет.

— Ничего. Невелика тяжесть.

Но Юргин сунул овчинные рукавицы за пазуху и решительно принялся снимать мешочек с ее плеч.

— Давай, давай, чего уж...

— А я говорю — не лезь! Не трогай! — прикрикнула Пистимея.

— А я говорю — дай сюда! — рявкнул Юргин, сдернул с ее плеч мешок и одновременно что есть силы толкнул старуху вниз в пропасть.

— А-ай! — коротко взвизгнула Пистимея.— Ах ты... Илья... Тараска, что ты... Тара-ас!!

Юргин испугался не своего настоящего имени. «Это откуда она кричит? — огнем опалило у него в голове.— Не свалилась, что ли? А если у старой карги оружие? Ведь пристрелит, пристрелит... отберет мешочек. Скорей ходу! Не догонит, где ей...»

И он мигом забросил мешочек за спину, машинально схватил голыми руками лыжные палки, оттолкнулся и нырнул в снежную муть.

— Тарас, Тара-ас...— услышал он сквозь вой ветра.— Пропадешь ведь без меня... Все равно пропадешь...

«Это с деньгами-то?» — злорадно подумал Юргин, наддавая ходу. Он не заметил, как у него из-за пазухи выпали рукавицы, ветер подхватил их, поволок назад и швырнул в ущелье.

...Пистимея действительно не свалилась в пропасть... Падая от толчка, она ударилась о кривую сосенку, росшую в камнях под обрывом, и тотчас поползла прочь от ущелья, судорожно загребая под себя снег. Когда отползла метра на полтора, прокричала, что Тарас все равно пропадет без нее, затем обмякла, вытянулась на снегу, отдыхая.

Несколько минут она лежала как мертвая. Вьюга начала уже заметать ее. Наконец пошевелилась, села, поглядела вниз, в пропасть.

Ущелье напоминало гигантский кипящий котел. Снизу вспучивались клубы снежной пыли, разрастались и исчезали, уступая место другим. Внизу, под этими клубами, что-то ухало, стонало, гудело.

Пистимея содрогнулась.

Еще немного посидев, она с трудом поднялась, стряхнула зачем-то с себя снег, поправила лыжи и, пошатываясь, побрела вдоль ущелья...

...А Юргин меж тем бежал и бежал назад по просеке, пока не почувствовал, что руки его закоченели. Он на секунду остановился, поглядел назад, довольно подул на руки, собираясь их всунуть в рукавицы. Но рукавиц за пазухой не оказалось.

Он растерянно оглядел снег вокруг себя, даже ковырнул его палкой, будто надеялся найти здесь рукавицы.

А руки меж тем уже побелели. Он сунул их в карманы полушубка. Там они вроде отогрелись, однако начали гореть, словно он опустил их в кипяток.

Нет рукавиц — бесполезны в такой мороз лыжные палки. Он бросил их, опять пошел по просеке, но метров через триста свернул налево, в лес, надеясь кратчайшим путем добраться до полустанка, а там незаметно сесть на поезд и...

Без лыжных палок идти было неудобно, ветер, налетая со страшной силой, чуть не опрокидывал его. Чтобы удержать равновесие, Юргин часто выдергивал руки из карманов, балансировал ими. Потом, чувствуя, что они опять леденели, снова прятал их в карманы.

Ветер бил со всех сторон — с боков, в спину, в лицо. Несколько раз Юргин падал. Но поднимался — и шел, шел, шел. Вот-вот должен был кончиться лес, открыться Светлиха. А за Светлихой чистое поле.

Но Светлиха точно пропала куда-то. Неожиданно Юргину показалось — да ведь он не туда идет! С просеки надо было повернуть налево, а он, кажется, повернул направо.

У Юргина даже ноги подкосились.

Посидев немного на снегу, он зашагал назад.

Вдруг он подумал — а назад ли идет? Ведь кажется... кажется, он идет прямо к ущелью. Ну да, вон даже слышно, как гудит там и ухает.

Но гудело и ухало кругом. И все-таки Юргин опять повернул назад.

...А потом он бессчетное количество раз поворачивал назад. Шел, шел и опять поворачивал.

Между тем наступал вечер. Темнота наваливалась быстро, стремительно. И в темноте еще яростнее заревел ветер.

Когда совсем стемнело, Юргин наступил на пенек, правая лыжа хрустнула. И тотчас зазвенел в мозгу голос Пистимеи: «Пропадешь ведь без меня все равно...»

«Верно, теперь пропаду»,— с ужасом подумал Юргин.

И все-таки он, сбросив бесполезную теперь и левую лыжу, увязая по пояс в снегу, пытался куда-то идти. Снег насыпался в валенки, таял там. Скоро портянки стали мокрыми. Потом они быстро оледенели, пальцы ног начало покалывать, подергивать судорогой. А в груди было жарко, внутри все обжигало. Юргин распахивал полушубок, но, понимая все-таки, что жар этот обманчив, застегивался. Когда застегивался, пальцы его будто обламывались.

...По сугробам, среди непроходимых буреломов, Юргин путался всю ночь. Только к утру он окончательно выбился из сил и, чувствуя, что засыпает, упал лицом вниз в горячий сугроб. Последней мыслью его было: «Надо бы мешочек-то под голову, на всякий случай...» Он привстал на колени, снял мешочек. Но положить под голову у него уже не хватило сил.

Через полчаса он закоченел.

...Колхозники еще раз оглядели труп.

— Ну что же,— промолвил Захар медленно,— так или иначе, но один беглец вроде отыскался.

— Думаешь, их двое было? — спросил Корнеев.

Председатель только пожал плечами.

— Надо же милицию сюда! — воскликнул Мишка.— Может, они и другого отыщут.

— Послано за милицией,— сказал кто-то.

Другой или другая так и не отыскалась. Но вскоре она дала о себе знать.

Ровно через два дня после того, когда нашли труп Юргина, потерялся сынишка Зины и Митьки Кургановых, а еще через три исчезла из деревни и сама Зина.

Все началось в теплое, солнечное утро. По высокому небу проплывали небольшие кучки облаков. Зина выпустила сынишку погулять во двор.

— Только на дорогу не выходи, сынок,— сказала Зина, выводя его на крыльцо.

— Ладно,— пообещал мальчик, задрал голову, с любопытством рассматривая облака.— А куда это они плывут?

— Какой ты у меня любопытный! — рассмеялась радостно Зина.— Они уплывают подальше от деревни, в тайгу, чтоб людям солнышко не загораживать.

— Ага,— подумав, согласился мальчик.— И чтоб мне теплее было от солнышка.

Зина поцеловала сынишку и вернулась в дом, принялась готовить завтрак. Фрол еще на рассвете ушел в колхозную контору. Митька убежал в ремонтную мастерскую, а Степанида с утра затеяла стирку.

Захлопотавшись, женщины не заметили, как прошел час. Пришел завтракать Фрол, следом за ним Митька.

— Крикни там сына, Митя,— попросила Зина, собирая на стол.— Где-то он тут, возле дома.

— Как же я не приметил мужика,— сказал Митька, выходя из дома. Минут через пять вернулся.— Слушай, нету его.

— Да он, может, к Корнеевым ушел,— проговорила Степанида.— Он все с ихними ребятишками играет.

Митька опять шагнул за порог. Через четверть часа он возвратился с тем же:

— Нигде нету...

— Господи! — встревожилась Зина, принялась развязывать на спине тесемки ситцевого фартука.

— Да чего ты? Найдется,— проговорила Степанида.— В какую дыру они, пострелы, только не залезут! Заигрался где-нибудь... Ешь давай...

— Нет, нет, вы завтракайте...— Разволновавшись, Зина никак не могла развязать тесемки.— Я сейчас, сейчас...

И прямо в фартуке выскочила на улицу. Через полчаса она, растрепанная, бледная, появилась в кухне, лихорадочно окинула ее глазами, бросилась в одну комнату, в другую.

— Не пришел? Я думала...

Фрол Курганов аккуратно поставил на стол недопитый стакан чаю. Митька, куривший после завтрака у раскрытого окна, поднялся с табуретки, выбросил на улицу папиросу.

— Сыночек, сыночек...— дважды всхлипнула Зина как-то тоскливо, беспомощно прислонилась спиной к стене, скомкала обеими руками фартук, уткнулась в него лицом и стала медленно оседать на пол.

— Зина, Зина!! — бросился к ней Митька, подхватил.

— Ну-ка... Спокойно у меня! — глухо произнес Фрол.— Нечего раньше времени... Найдем. Не иголка, а человек все же... Ты, Степанида, гляди за ней...

И снял с гвоздя фуражку.

Митька побежал из дому следом за отцом...

...К обеду на ногах был весь колхоз. Метр за метром обшарили всю деревню. Мальчишка не находился.

Заметались по деревне разные предположения и догадки:

— Может, утонул. Выбежал на берег Светлихи гальками поиграть, да и...

— Или уснул где-нибудь в укромном местечке. Надо еще поискать...

— В тайге надо поискать, мужики. В прошлом году мой несмышленыш пошел за цветочками, да и заблудился. Ладно Фрол Петрович с бригады ехал, услышал плач в лесу...

Последнее предложение было вернее всего, потому что стало известно: кто-то утром якобы увидел, как мальчик направлялся к увалу, за которым начинается тайга, и спросил: «Ты куда это, парень, шагаешь?» Мальчик ответил: «Пойду погляжу, куда облака уплывают». Но кто это видел — в суматохе так и не могли выяснить.

Захар Большаков разбил людей на группы и послал прочесывать тайгу. Они бродили по лесу весь остаток дня, всю ночь, освещая заросли факелами и электрическими фонарями.

Но все было напрасно. Захар сообщил о происшествии в милицию.

Наступило утро. В бешеной сутолоке прошел еще один день... И еще один...

...Митька, Фрол, Степанида, не сомкнувшие за эти трое суток ни на минуту глаз, осунулись, похудели. Вместе со всеми Степанида искала мальчишку по деревне, а Митька и Фрол лазили по тайге. Только Зина никуда не выходила из дому. Она почти все время ходила из угла в угол, глядела перед собой остекленевшими глазами, но ничего не видела, натыкалась на стол, кровати, стулья и все повторяла и повторяла: «Сыночек... сыночек мой...»

— Степанида, глаз не спускай с нее,— сказал жене на второй день Фрол, заскочивший на минуту выпить хоть кружку молока.

Зина три дня тоже не спала, ничего не ела. Глаза ее глубоко ввалились, потухли и ничего больше не выражали — ни отчаянья, ни тоски, ни горя. Это были пустые глаза. В них промелькнуло что-то, вспыхнул на миг и тотчас же погас какой-то огонек, когда Митька, вернувшись на третий день из леса, ободранный, исцарапанный ветками, молча швырнул в угол измятую синюю тряпку.

Митька посидел на табуретке, покачался из стороны в сторону, зажав голову руками, точно хотел оторвать ее и отшвырнуть прочь. Затем встал.

— Зинушка, ты легла бы, отдохнула...

— Нет, нет! — отскочила Зина, загородилась от Митьки руками.— Надо искать, я найду сыночка... Я знаю... я знаю... О господи!

— Зина...

— Ты иди, Митенька,— слабо сказала Зина, глядя неживыми глазами на брошенную Митькой в угол тряпку.— Ты иди... тоже поищи...

Митька покорно вышел.

Уже садилось солнце. Зина стояла недвижимо у окна и глядела, не отрываясь, не мигая, как оно закатывается.

Когда стемнело, Степанида пошла доить корову. Едва она вышла, Зина торопливо отыскала на этажерке какой-то клочок бумаги, огрызок карандаша и нацарапала: «Митенька, прости...» Зачеркнула и написала: «Не прощает бог, кто глумится над его деяниями...» Снова зачеркнула и вывела дрожащей рукой: «За отступничество кару я должна понести. Искать меня не надо, не найдете... Митенька, Митенька...»

Она хотела прибавить еще что-то, но не смогла, видимо, найти нужных слов. Бросила карандаш, положила бумажку под подушку своей кровати, отыскала и надела легкий жакетик, тихонько, на цыпочках выскользнула из дому и, прижимаясь к самым стенам домов, побежала к переправе.

На пароме никого не было. Убедившись в этом, она, срывая ногти, отвязала его от припаромка. Потом, подумав, выдернула из волос гребенку и бросила на берег. Еще помедлив, сняла жакетик и швырнула в воду...

Фрол и Митька не спали и эту, четвертую ночь, безуспешно пытаясь разыскать теперь хотя бы Зину. Утром Митька, едва держась на ногах, приплелся домой, упал на кровать и на несколько часов забылся.

К обеду он все-таки прохватился от тяжелого, бредового сна, с трудом оторвал от подушки голову. Подушка сбилась, он хотел машинально ее поправить и обнаружил Зинину записку.

— Батя, мама...— закричал он что есть силы.

— Да поспи ты, сынок, поспи,— проговорила Степанида.— Мыслимо ли эдак... захвораешь еще...

— Где... где отец?! — закричал Митька.

— О-ох... сейчас и не поймешь, кто — где.

Митька сорвался и побежал на улицу...

...Только еще через день утром нашли на берегу возле парома Зинину гребенку, а к середине дня в Светлихе, недалеко за деревней, выловили ее жакетик.

— Зинушка, Зинушка, дочушка ты моя...— плакал Антип, обессиленный, разбитый, валяясь на кровати в своем домишке.— Ведь это я, я погубитель ее, люди...

Клавдия отпаивала отца, не отходя от него ни на шаг.

Труп Зины искали по всей Светлихе, но так и не нашли.

Фролу седеть уже больше было некуда, а у Митьки появились за эти дни первые серебряные пряди.

Когда стало ясно, что поиски Зины и ее с Митькой сына бесполезны, в доме Кургановых установилась могильная тишина. Сам Митька лежал на кровати как мертвый, отвернувшись лицом к стене. Фрол, сгорбившись, сидел у порога и курил папиросу за папиросой. По дому неслышно ходила одна Степанида.

На исходе дня к Кургановым зашел Егор Кузьмин.

— Я насчет устройства летних лагерей, Фрол Петрович.

— Что?.. А-а, сейчас...— промолвил Фрол, видимо, даже не соображая, что говорит.

Посидели, помолчали. Егор увидел тряпку, валявшуюся у стены, несколько секунд смотрел на нее, нагнулся и поднял. Это был синий ситцевый платок в черную крапинку.

— Откуда это у вас? — спросил Егор.

— Что?— очнулся Фрол.— А-а! Степанида, однако, чего платки разбрасываешь, подбери,— сказал Фрол жене.

Степанида взяла из рук Егора платок, повертела.

— У меня сроду такого не бывало.

— Это платок моей матери,— сказал Егор.

— Что?! — в третий раз переспросил Фрол, взял платок из рук жены.— А как он тут оказался?

— Мать приезжала недавно к нам. Варьке все божьей карой грозила, стращала чем-то. Меня прокляла. Проклятый теперь я сын.

Фрол тупо глядел на платок, вертя его в руках.

— Я говорю, как он у нас-то оказался?

— Это я нашел его в лесу,— сказал, оборачиваясь, Митька.

— Где? В каком месте? — вскричал Фрол.

— Там, за увалом...

Фрол несколько секунд тяжело дышал, мял платок, будто он обжигал ему руки. Наконец закричал:

— Когда она приезжала?

— Недавно. Постой, припомню... Ну да, приехала за день до того, как... ваш малец потерялся... Переночевала, а утром рано уехала...

Еще немножно помедлив, Фрол вдруг, ни слова не говоря, сорвался с места, выскочил из дому и побежал к председателю.

Большаков, видимо, только что вернулся откуда-то и, фыркая у рукомойника, умывался.

— Захар... Захар! — воскликнул Фрол, едва переступив порог.— А что, если не утонула Зинка?! А что, если мальчонка не сам потерялся? Вот платок. Егор говорит...

— Погоди,— попросил Захар, вытираясь.— Рассказывай по порядку, не торопясь.

Выслушав Фрола, Большаков налил воды в электрический чайник, ткнул вилку в розетку. Затем сел за стол и потер ладонями уставшее лицо.

— Может быть, и так,— сказал он, еще помедлив.— Мне Мишка рассказывал, что Марфа во время суда стращала Зину всякими божескими карами, запугивала и даже недвусмысленно предупреждала, что если она не будет молчать на суде обо всех ихних делах, то... Поэтому может быть...

— Да что может быть?! — вскричал Курганов.— Надо ехать в Озерки, брать эту щуку обомшелую за жабры...

— Уплыла уже она, эта щука хитрая. Я только что из Озерков...

— Ну?! — простонал Фрол.

— Чего «ну»? Когда Зина исчезла, мне сразу стукнуло, что парнишка не просто потерялся. А тут как раз и Мишка рассказал, что Зина тогда передала ему один разговор с Марфой, спрашивала, как ей теперь быть... Я тем же часом в Озерки... Да... нету там Марфы. По нашему заезжему двору одни мыши бегают да Библия на полу валяется...

Через две недели в Зеленый Дол, на имя Митьки Курганова, пришло письмо от... Зины.

«Милый мой Митенька,— писала Зина,— как же мне тяжело тут и муторно... Но это ничего, скоро сойдет благоденствие на меня. Хоть тело мое сейчас страдает, но умом я понимаю, что скоро... скоро сойдет. Только бы вытерпеть все божьи испытания. А послал мне бог за отступничество мое и хулу на него распятие на святом кресте... Ничего, Митенька, некоторые, кто искренне раскаивается, выдерживают и такое испытание. А во мне силы прибывают, это я чувствую, потому что раскаялась. И готовлюсь...

Пишу тебе только потому, чтобы ты не беспокоился за сыночка. Он жив и здоров. Я поняла, что должна его отдать во служение господу. Наша святая матерь говорит, что за это мне простится половина грехов... Меня не ищи, никогда не найдешь, я ушла из сего мира и забыла уже, как меня звали... Писать тебе больше не буду, потому что нельзя мне, невозможно...»

Зина писала словно под дождем — весь листок, вырванный из ученической тетради, был густо закапан крупными каплями. Некоторые слова размылись этими каплями, расползлись, и их почти невозможно разобрать. На конверте стоял штемпель: «Поезд Москва — Владивосток».

Митька дочитал письмо, и оно выпало у него из рук. Фрол подобрал его. А Митька, как слепой, попавший в незнакомую квартиру, долго тыкался в стены, искал дверь. Наконец нащупал ее, толкнул и вышел на улицу. И пошел, пошел по улице, за деревню...

— Дмитрий! Митя! — обеспокоенно крикнул Фрол, выскочив из дому.

Митька даже не оглянулся. Может быть, не слышал.

Тогда Фрол догнал сына и пошел рядом. Митька не обратил на это никакого внимания.

Так они, не замечая друг друга, шли и шли рядом по лесной дороге, под вечерним солнцем.

Когда солнце село, Фрол потянул сына за рукав. Митька покорно повернулся, и они пошли обратно, вернулись в деревню, миновали свой дом и вышли на противоположный конец села...

Потом всю ночь бродили под звездным небом по окрестностям села, по заброшенным лесным дорогам, зараставшим

мягкой, пружинящей под ногами травой, несколько раз выходили на берег Светлихи...

На солнцевосходе вернулись в деревню, подошли к своему дому, Митька сел на ступеньку крыльца, Фрол устало опустился рядом.

И долго они еще сидели молча. Ветер-утренник обдувал их, перебирал пряди белых волос Фрола Курганова, трепал спутанный Митькин чуб, наполовину тоже теперь белый, будто покрытый первым осенним инеем.

— Батя... отец...— хрипло проговорил наконец Митька.— Неужели нельзя найти их? Я пройду всю страну, город за городом, деревню за деревней... Ты слышишь?

Фрол все слышал. Он помедлил, повернулся к сыну, посмотрел на его высохшее лицо. И промолчал. Да и что было говорить? Эх, Митька, мол, теперь-то ты понимаешь, что наделал?

Всякие слова казались сейчас лишними, ненужными, не имеющими смысла.

А главное — никакие слова не принесли бы сейчас Митьке облегчения.

6

Шла по земле весна...

А весной даже небольшие реки текут стремительно и бурливо, разбивая об утесы и каменистые берега, перемалывая в водоворотах все, что туда попадает: ноздреватые, как ломти серого хлеба, льдины, полуметровой толщины бревна, вывороченные с корневищами деревья, захваченные половодьем с низких мест рубленые дома...

А потом, слив лишние воды, успокоившись и войдя в берега, почти до самой середины лета выбрасывают на песчаные отмели гнилые обломки, почерневшую щепу, всякий мусор.

Время тоже течет, как река, тоже перемалывает и выбрасывает на берег всякое гнилье и мусор. И воздух год от года становится свежее, а земля — чище...

Анатолий Степанович Иванов

ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ

М., «Советский писатель», 1986, 608 стр.
План выпуска 1986 г. № 52

Редактор
Г. А. Блистанова

Художественный редактор
В. В. Медведев

Технический редактор
Т. С. Казовская

Корректоры
Т. Н. Гуляева и И. Е. Данилина

ИБ № 5532

Сдано в набор 18.12.85. Подписано в печать 08.05.86. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 38. Уч.-изд. л. 41,88. Тираж 100 000 экз. Цена 4 р. 20 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Набрано на минской полиграфической фабрике «Красная звезда» МППО им. Я. Коласа, 220079, г. Минск, 1-й Загородный пер., 3. Отпечатано на Минской фабрике цветной печати, 220600, г. Минск, ул. Корженевского, 20.
Заказ № 265

Иванов А. С.

И 20 Тени исчезают в полдень: Роман.— М.: Советский писатель, 1986.— 608 с.

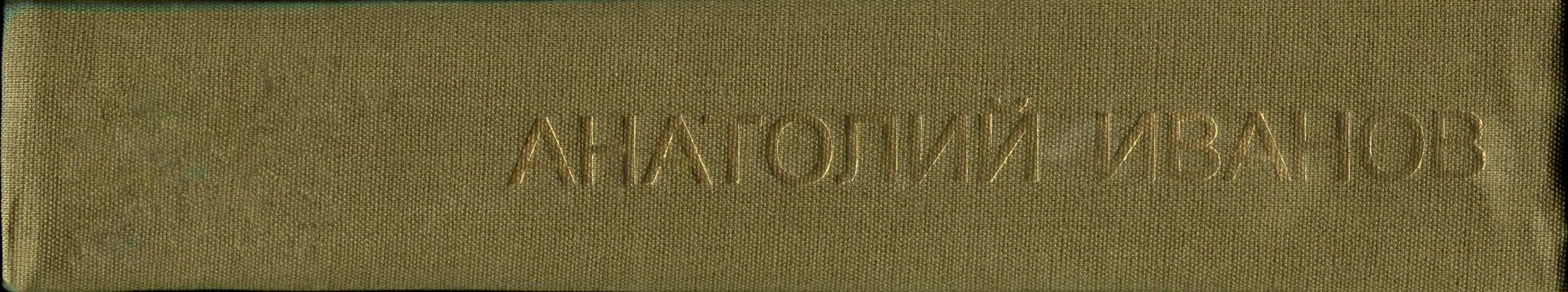
В центре романа Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» столкновение двух непримиримых идеологий, двух миров.

Писатель ставит острые социальные и нравственные проблемы, показывает необходимость борьбы со зловещими тенями прошлого.

И $\frac{4702010200—205}{083(02)—86}$ 52—86 **ББК 84.Р7**



4 р. 20 к.


АНАТОЛИЙ ИВАНОВ